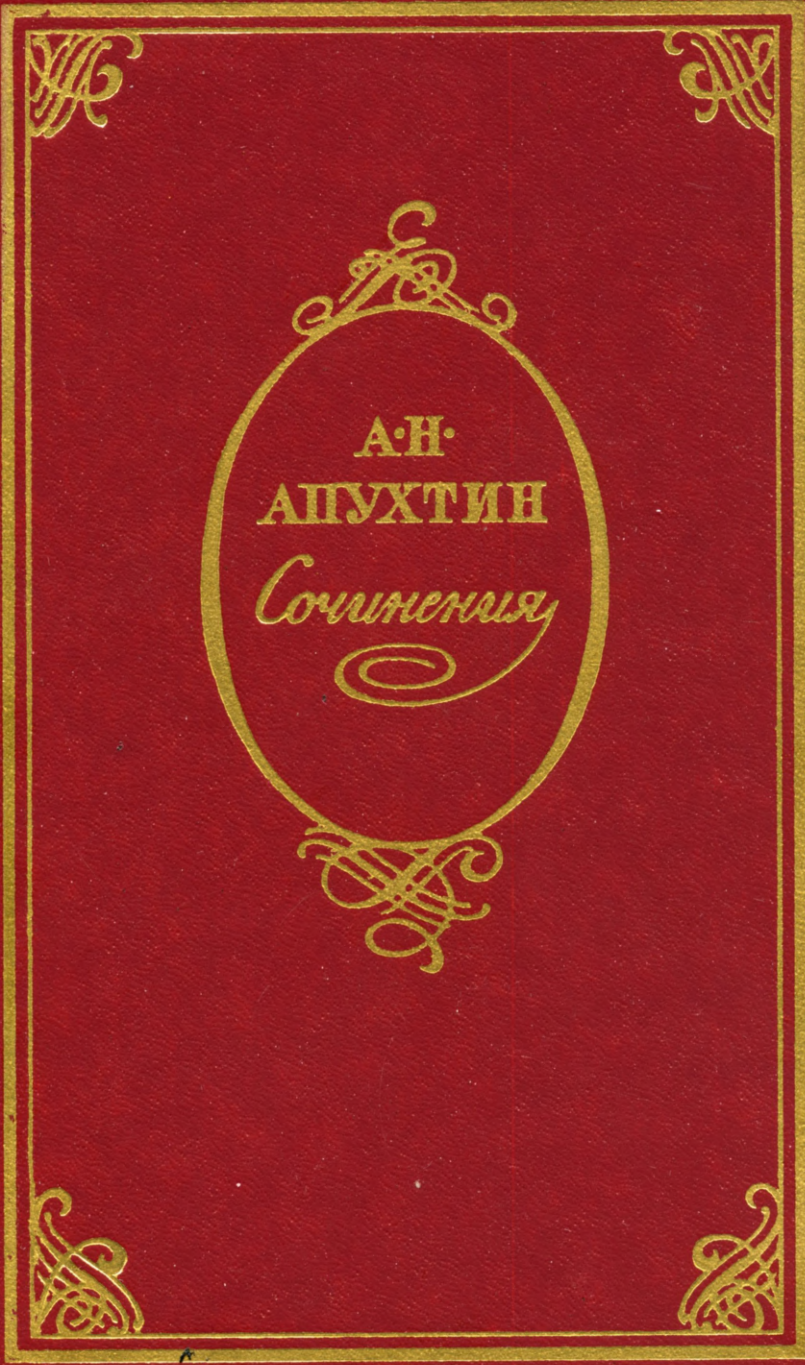




А.Н.  
АПУХТИН



А.Н.  
АПУХТИН  
*Сочинения*





А·Н·

АПУХТИН

*Сочинения*

А·Н·  
АПУХТИН  
*Сочинения*



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1985

А·Н·  
АПУХТИН  
*Сочинения*

СТИХОТВОРЕНИЯ  
•  
ПРОЗА



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1985

Тексты стихотворений печатаются по изданию:

Апухтин А. Н. Стихотворения (Большая серия «Библиотеки поэта»).  
Л., Советский писатель, 1961

Тексты прозы печатаются по изданию:

Сочинения А. Н. Апухтина, СПб., 1898

Составление и подготовка текстов

А. Ф. Захаркина

Вступительная статья

М. В. Отрадина

Примечания

Р. А. Шацевой

Оформление художника

С. Гераскевича



## А. Н. АПУХТИН

1840—1893

Алексей Николаевич Апухтин, по свидетельству одного из его друзей, не раз говорил, что ему не нравится «рассаживание писателей по клеткам, с приклейкой каждому раз и навсегда определенного ярлыка»<sup>1</sup>. Пожалуй, надо признать, что сам Апухтин не избежал этой участи. В сознании широкого читателя он живет прежде всего как автор стихотворений, ставших популярными романсами. При упоминании его имени прежде всего вспоминаются: «Ночи безумные, ночи бессонные...», «Пара гнедых», «Разбитая ваза»... Эти положенные на музыку произведения Апухтина как бы заслонили все остальное, что он сделал в литературе. Во всем объеме его писательское наследие известно пока немногим. А проза его широкому читателю практически и совсем незнакома. Между тем Михаил Булгаков считал, что Апухтин-прозаик даже интереснее Апухтина-поэта. Автор «Мастера и Маргариты» восхищался его повестями: «Апухтин — тонкий, мягкий, ироничный прозаик. <...> Какой культурный писатель»<sup>2</sup>. Данная книга — самое полное советское издание произведений Апухтина — поможет читателю полнее и глубже узнать этого талантливого писателя.

А. Н. Апухтин родился 15 ноября 1840 года в городе Болхове Орловской губернии. Детские годы Апухтина прошли в родовом имении его отца — деревне Павлодар Калужской губернии. Первый биограф поэта, его друг Модест Чайковский писал: «Поэтический дар Алексея Николаевича сказался очень рано; сначала он выражался в страсти к чтению и к стихам преимущественно, причем обнаружилась его изумительная память. <...> До десятилетнего возраста он уже знал Пушкина и Лермонтова и, одновременно с их стихами, декламировал и свои собственные»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Жиркевич А. В. Поэт милостию божией.— Исторический вестник, 1906, № 11, с. 489.

<sup>2</sup> См.: Чудакова Мариэтта. Библиотека М. Булгакова и круг его чтения.— В кн.: Встречи с книгой. М., 1979, с. 245.

<sup>3</sup> Чайковский Модест. Алексей Николаевич Апухтин.— В кн.: Апухтин А. Н. Соч., 7-е изд. СПб., 1912, с. VII.

По отцу и матери Апухтин принадлежал к старинным дворянским родам и потому смог поступить в закрытое учебное заведение — Училище правоведения, где готовили судейских чиновников и высший персонал для министерства юстиции. В училище Апухтин продолжает писать стихи и быстро завоевывает среди однокашников славу «будущего Пушкина». В 1854 и в 1855 годах по ходатайству директора училища А. П. Языкова в газете «Русский инвалид» впервые напечатаны два стихотворения юного поэта: «Эпаминонд» и «Подражание арабскому».

Однокашником Апухтина по училищу был П. И. Чайковский, с которым они очень подружились и пронесли потом эту дружбу через всю жизнь. Вспоминая годы, проведенные в училище, Апухтин написал в стихотворении «П. Чайковскому»:

Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»,  
Забыв училище и мир,  
Мечтали мы о славе идеальной...  
Искусство было наш кумир,  
И жизнь для нас была обвеена мечтами.

Позднее Чайковский создал несколько ставших известными музыкальных произведений на слова Апухтина: «День ли царит, тишина ли ночная...», «Ни отзыва, ни слова, ни привета...», «Ночи безумные...», «Забить так скоро...».

Известность Апухтина выходит за пределы училища. В 1855 году в дневнике влиятельного в те годы критика А. В. Дружинина появилась запись: «Толстой (Л. Н. Толстой.— М. О.) представил мне мальчика — поэта Апухтина, из Училища правоведения»<sup>1</sup>. От юного поэта уже многого ждут. Пожалуй, более всех уверен, что ожидания не напрасны, И. С. Тургенев. «Приведа к Панаеву знакомиться Апухтина,— пишет в своих воспоминаниях А. Я. Панаева,— тогда еще юного правоведа, он предсказывал, что такой поэтический талант, каким обладает Апухтин, составит в литературе эпоху и что Апухтин своими стихами приобретет такую же известность, как Пушкин и Лермонтов»<sup>2</sup>.

Несомненно, Тургенев смотрел на Апухтина как на восходящую звезду. И когда молодым поэтом был написан цикл «Деревенские очерки» (1859), по рекомендации Тургенева их напечатали в «Современнике». «Появиться в «Современнике» значило сразу стать знаменитостью. Для юноши двадцати лет от роду ничего не могло быть приятнее, как попасть в подобные счастливычки»,— писал сотрудник журнала поэт К. Случевский<sup>3</sup>. Стихи приписались ко времени: в них отразились настроения, близкие тогда многим,— это была пора ожиданий, пора подготовки реформ.

Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды,  
Пусть ты — унынья страна...  
Нет, я не верю, что песня свободы  
Этим полям не дана!

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1. М., Художественная литература, 1978, с. 71.

<sup>2</sup> И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 1. М., Художественная литература, 1983, с. 114.

<sup>3</sup> Альманах «Денница». СПб., 1900, с. 200.



Голос молодого поэта был замечен. Размышления о родном проселке, о «зреющем поле», о «песнях отчизны» были проникнуты горячим и искренним лирическим чувством. Стихи выражали сочувствие страдающему народу и, естественно, соответствовали настроениям демократического читателя.

В стихах цикла явственно звучат социальные мотивы. Не случайно «Деревенские очерки» при публикации в «Современнике» сильно пострадали от цензурных искажений.

Братья! Будьте же готовы,  
Не смущайтесь — близок час:  
Срок окончится суровый,  
С ваших плеч спадут оковы,  
Перегнившие на вас! —

эта строфа из стихотворения «Селенье» опубликована без двух последних строк. В некоторых стихотворениях вырезаны целые строфы.

В заметке об издании «Современника» на 1860 год, подписанной Некрасовым и Панаевым, сказано, что журнал и впредь собирается публиковать «лучшие произведения русской литературы», и Апухтин был назван в ряду таких писателей, как Островский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов, Полонский. Честь немалая! А Добролюбов, имея в виду поэтическое творчество Апухтина, назвал его «подающим надежды правоведем»<sup>1</sup>. Казалось, что через несколько лет после дебюта в «Современнике» Апухтин станет уже известным или даже знаменитым поэтом... Но в жизни все произошло иначе. С начала 60-годов Апухтин почти ничего не печатает, мало пишет, «перестает, — как он выразился, — седлать Пегаса». Бурная эпоха 60-х годов будто не коснулась его, как поэт он ее «не заметил». Критик А. М. Скабичевский писал с удивлением: «Перед нами своего рода феномен в виде человека 60-х годов, для которого этих 60-х годов как бы совсем не существовало и который, находясь в них, сумел каким-то фантастическим образом прожить вне их»<sup>2</sup>.

Апухтин захотел остаться в стороне от общественной и литературной борьбы, «вне литературных партий и направлений». «Никакие силы не заставят меня выйти на арену, загроможденную подлостями, доносами и... семинаристами!» — писал он в письме к П. И. Чайковскому в 1865 году<sup>3</sup>. Апухтин не примкнул ни к левым, ни к правым и оказался вне литературы. Он любил называть себя «дилетантом» в литературе. В как бы шуточном стихотворении «Дилетант» он, подражая «Моей родословной» Пушкина, написал:

Что мне до русского Парнаса?  
Я — неизвестный дилетант!

Зарабатывать деньги литературным трудом казалось ему делом оскорбительным. О своей поэме «Год в монастыре» после ее опубликования он сказал, что она «обесцечена типографским станком». Такое отношение к литературному труду во второй половине XIX века было уже явным анахронизмом.

<sup>1</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М.—Л., Художественная литература, 1964, с. 385.

<sup>2</sup> Скабичевский А. М. Соч., т. II. СПб., 1903, с. 500.

<sup>3</sup> Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. 1. М., 1900, с. 242.

И все же литературное творчество всегда оставалось главным делом его жизни, он был очень квалифицированным, профессионально очень умелым литератором. Уже ранние произведения Апухтина поразили читателей высоким уровнем владения стихом, поэтическим мастерством. А после смерти поэта С. Венгеров писал, что в его стихах была изысканность, но изысканность «естественная, непринужденная»<sup>1</sup>. Стихи Апухтина никогда не кажутся тяжеловесными, вымученными. Это не только свидетельство таланта, но и следствие упорного профессионального труда.

При всех заявлениях Апухтина о своем дилетантстве у него были свои продуманные творческие принципы, свои авторитеты, своя эстетическая позиция. В литературе для Апухтина было два высших авторитета: Пушкин и Лев Толстой. Об этом он говорил неоднократно. Еще в 1865 году, во время своей недолгой службы в Орле, он прочел две публичные лекции о Пушкине. Пафос этих его выступлений — спор с Писаревым в вопросе о значении поэзии Пушкина.

Именно к этому времени относятся резкие выпады Апухтина против социально-активного демократического искусства. Нельзя сказать, что он изменил гуманистическим идеалам своей юности, когда были созданы «Деревенские очерки». В 1864 году он работает над поэмой «Село Колотовка». Написанные части поэмы отмечены горячим чувством любви к «бедному полю», сочувствием к «бездольным братьям». «Из всех произведений Апухтина периода зрелости, — отметил исследователь, — наиболее близки Некрасову именно эти отрывки из поэмы «Село Колотовка»<sup>2</sup>. Но резкие высказывания и категоричные декларации разрушителей эстетики, ниспровергателей Пушкина испугали Апухтина, это помешало ему понять истинный смысл мощного демократического движения 1860-х годов.

В 70-е годы Апухтин по-прежнему мало печатается, пишет только для себя. Но стихотворения его получают все большее и большее распространение: их переписывают, композиторы сочиняют романсы на слова Апухтина, его произведения регулярно включаются в сборники «Чтец-декламатор», их читают с эстрады. К началу 80-х годов Апухтин — литературная знаменитость. Первый сборник его вышел в 1886 году тиражом 3000 экземпляров. Сборник выдержал три прижизненных и семь посмертных изданий. Но в сознании читателей поэзия Апухтина уже не связывалась с традицией демократического искусства журнала «Современник» конца 1850-х годов, где двадцать лет назад он так многообещающе начинал.

Наивысший успех Апухтина не случайно пришелся на 1880-е годы. Дело не только в том, что окреп и отшлифовался его талант. Апухтинское творчество оказалось очень актуальным для читателей 1880-х годов. Многие его стихи, написанные ранее, были восприняты как «сегодняшние».

1880-е годы остались в нашей истории как эпоха «безвременья»: ретроградный правительственный курс Александра III, кризис народничества, разногласия в демократической среде и — как следствие — резкий спад общественной активности. «Духовной полночью» (К. Случевский), «ночью жизни»

---

<sup>1</sup> Венгеров С. А. Н. Апухтин. — Новый энциклопедический словарь, т. III. СПб., с. 246.

<sup>2</sup> Коварский Н. А. А. Н. Апухтин. — В кн.: Апухтин А. Н. Стихотворения. Л., Советский писатель, 1961, с. 48.

(С. Надсон) называли это десятилетие современники Апухтина. А Блок в предисловии к поэме «Возмездие» сказал об этом времени: «...глухие (<...>) апухтинские годы». Апухтин дал точный диагноз души героя времени, души, пораженной скепсисом, атрофией воли, тоской:

И нет в тебе теплого места для веры,  
И нет для безверия силы в тебе.

Такой душе не хватает сил («кто так устроил, что воля слаба»), чтобы достойно противостоять враждебному миру, чтобы это противостояние, столкновение с конкретно-историческими и «роковыми» силами могло обрести трагический смысл и высоту. Герой 80-х заранее готов к поражению. Такой тип сознания, такую жизненную позицию очень точно раскрыл Апухтин. Что-то в нем самом, в его таланте было органически близко эпохе «безвременья».

Еще в молодости Апухтин написал письмо Тургеневу с жалобами на жизнь: не уверен в своем таланте, «окружающая среда тяготит». Тургенев советовал молодому поэту меньше думать «о своих страданиях и радостях» и «не предаваться мленью грусти»<sup>1</sup>. Но какие-то коренные свойства души Апухтина помешали ему последовать советам знаменитого писателя. Возникший еще в юношеских стихах мотив тоски, душевной усталости, разочарования не замолкал в его творчестве и особенно сильно зазвучал в 80-е годы. «Выпаив» из 60-х годов, Апухтин так органично вошел в жизнь 80-х: настроения этих лет созрели в нем загодя, но именно в эпоху «безвременья» они стали актуальными, были восприняты многими как «свои».

Разрабатывая несколько излюбленных тем («роковая любовь», ностальгия по прошлому, одиночество человека в мире «измен, страстей и зла»), Апухтин обращается к различным поэтическим жанрам. Особо следует сказать о его элегиях, романах и стихотворениях, тяготеющих к большой поэтической форме: психологической новелле и поэме.

Далеко не все стихотворения Апухтина, проникнутые элегическими настроениями, можно отнести к «чистым» элегиям. Но несомненно, что этот жанр оказался очень близок Апухтину. При всем разнообразии и даже противоречивости черт, которыми отмечены элегии Апухтина, в них можно увидеть особенность, которая объединяет эти произведения с глубинной традицией жанра. Оттолкнувшись от конкретных, порой «сиюминутных» переживаний и наблюдений (ночной шум моря, шелест осенних листьев, свет падающей звезды), поэтическая мысль взмывает и легко уходит на высоту общечеловеческих по своему смыслу мотивов: неизбежное угасание под давлением времени чувств, власть безжалостной судьбы, неотвратимость смерти. В лучших элегиях Апухтину (в этом сказался опыт предшествующей поэзии, прежде всего — Пушкина) удавалось достичь не только органичного и сбалансированного сочетания «сиюминутного» и «вечного», но и точного раскрытия эмоционального мира, психологии героя.

Одинокая, измученная душа во власти мертвящего холода жизни — вот, пожалуй, стержневой мотив апухтинских стихотворений этого плана. Что в поэтическом мире Апухтина противостоит, что может противостоять

---

<sup>1</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. III. М.—Л., 1961, с. 238—239.

жестокости жизни, в которой человек обречен на «сомнения, измены, страдания»? Прежде всего — память. Пожалуй, можно говорить об особом типе апухтинских элегий — элегии-воспоминания («О, боже, как хорош прохладный вечер лета...», «Над связкой писем», «Прости меня, прости! Когда в душе мятежной...»). У апухтинского лирического героя главное в жизни (счастье, радость, взаимная любовь) — обычно в прошлом. Наиболее дорого, близко то, что уже ушло, что отодвинуто временем. Герой Апухтина очень чувствителен к грузу времени: «Я не год пережил, а десятки годов». Но память не подвластна времени, и искусство в этом ее главный союзник. Об этом прямо сказано в стихотворении «К поэзии».

Лирический герой Апухтина по строю чувств и мыслей очень близок самому автору, больше всего мучается одним — загадкой любви. В лирическом мире Апухтина это — главный вопрос жизни. Обычно любовь у Апухтина — «отравленное счастье», чувство дисгармоничное, несущее не только радость, но и страдание. Очень часто это — говоря тютчевским языком — «поединок роковой». Точнее: Апухтин очень подробно, психологически убедительно раскрывает отношения, которые можно назвать завершившимся поединком, потому что один из двоих — чаще он, реже она — оказался в роли побежденного, подчиненного, зависимого.

Незванная, любовь войдет в твой тихий дом,  
Наполнит дни твои блаженством и слезами  
И сделает тебя героем и... рабом.

Апухтин охотно прослеживает развитие чувства, когда зависимость от другого человека оборачивается утратой воли, рабским подчинением. Но даже в этих мучительных и для постороннего глаза унижительных отношениях герой Апухтина может находить и находит радость.

Может быть, самое существенное в том, что и такая любовь в мире Апухтина не может унизить человека. Любовь у него всегда — знак живой души, души, поднятой над обыденностью. В поэзии Апухтина, как потом у Блока, «только влюбленный имеет право на звание человека». Герой Апухтина беззащитен перед чувством любви, и в этом необходимая мера его человечности. Ни победить, ни избыть такого чувства герой Апухтина не может: «недуг неизлечим». Это любовь-страсть, если вспомнить известную классификацию Стендаля.

Апухтинскому герою ведомо эгоистическое, даже злое начало в любви, в любви, которая сродни ненависти, но тем ценнее, что его любовь может подняться, возвыситься (через муки и страдание) до любви-поклонения, любви нравственно просветленной:

Порою злая мысль, подкравшись в тишине,  
Змеиным языком нашептывает мне:  
«Как ты смешон с твоим участием глубоким!  
Умрешь ты, как и жил, скитальцем одиноким,  
Ведь это счастье чужое, не твое!»  
Горька мне эта мысль, но я гоню ее  
И радуюсь тому, что счастье чужое  
Мне счастья моего милей, дороже вдвое!

Как и в стихотворениях элегического плана, в романах Апухтина любовь — доминирующая, ключевая тема.

Романс, как особый литературный жанр, был утверждён в нашей литературе Пушкиным и Баратынским. В середине прошлого века к нему особенно часто обращались Фет, Полонский и А. К. Толстой. Романская стихия очень заметна в поэзии Апухтина.

Романс — жанр всем хорошо знакомый, но ещё мало изученный. В природе его есть противоречие, загадка. Романс, в том числе и апухтинский, обычно наполнен традиционной поэтической лексикой, «поэтизмами», бывшими не раз в ходу оборотами. То, что в других стихах воспринималось бы как nepозволительная банальность, как явная слабость, в романсе принимается как норма. В романсе слово не только несёт свой лексический или образный смысл, но и является опорой для эмоции, музыки чувств, которая возникает как бы поверх слов. Романс использует «готовый, в своем роде общезначимый язык страстей и эмоций»<sup>1</sup>. Легко узнаваемые образы, привычная романсная лексика моментально настраивает нас на определенный строй эмоций и переживаний.

Романс всегда наивен, точнее — как бы наивен. «Наивность,— писал один из критиков апухтинской поры,— сама по себе уже есть поэзия»<sup>2</sup>. Романс ждёт от читателя готовности довериться его эмоции. Иначе романс может показаться «голым», иронически настроенное сознание «не слышит» музыки романса. Пример тому — мнение критика М. А. Протопопова, который писал, что ничего, кроме бессмыслицы, в знаменитом романсе Апухтина «Ночи безумные...», «в этом наборе созвучий» он не усматривает<sup>3</sup>.

Ночи безумные, ночи бессонные,  
Речи бессвязные, взоры усталые...  
Ночи, последним огнем озаренные,  
Осени мертвой цветы запоздалые.

Слабость этого стихотворения критик увидел в том, что в эти обобщенные формулы каждым читателем «вкладывался подходящий обстоятельствам смысл»<sup>4</sup>. Критик почувствовал жанровую природу произведения, но не принял «условий игры», не признал эстетической значимости жанра.

Романс — это «музыка», возникающая над обыденностью, вопреки ей. Романс демократичен, потому что он подразумевает чувства всякого человека. Он оказывается «впору» каждому, кто его «слышит». Романсное слово используется для простого, но не примитивного чувства.

В романсе не только особая атмосфера, свой строй эмоций, но и своя система ценностей. Любовь имеет здесь абсолютный смысл и абсолютную ценность. Романс порой даёт психологическое объяснение чувств и поступков или ссылается на роковую судьбу, но, как правило, не прибегает к социальным мотивировкам. Как точно выразился исследователь этого жанра, в романсе «не любят, потому что не любят»<sup>5</sup>. «Философия» романса очень близка Апухтину.

<sup>1</sup> Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974, с. 238.

<sup>2</sup> Андреевский С. А. Литературные очерки. СПб., 1902, с. 438.

<sup>3</sup> Протопопов М. А. Писатель-дилетант.— Русское богатство, 1896, № 2, с. 59.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Петровский М. «Езда в остров любви», или Что такое русский романс.— Вопросы литературы, 1984, № 5, с. 72.

Образ любви, попадая в романсную атмосферу, утрачивает часть своей индивидуальности как неповторимое чувство именно этого человека, но выигрывает в силе эмоции, интенсивности чувства. Романы Апухтина наполнены оборотами типа: «с безумною тоской», «слепа я страсть», «изнывшая душа», «безумный пыл». Но вставленные в подновленный контекст, иначе инструментованные, эти кочующие образы вновь оживают. Вот что писал Ю. Н. Тынянов о Блоке, который тоже не боялся таких банальностей: «Он предпочитает традиционные, даже стертые образы («ходячие истины»), так как в них хранится старая эмоциональность; слегка подновленная, она сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности»<sup>1</sup>. Романский опыт Апухтина, как отметил Ю. Н. Тынянов, пригодился Блоку.

Все более и более частое в 70-е и особенно в 80-е годы обращение Апухтина к большим сюжетным стихотворениям свидетельствовало о возрастающем интересе поэта к социально-историческим мотивам. Романский, камерный мир при всей его притягательной силе начинает восприниматься поэтом как ограниченный, недостаточный. Наглядный пример — цикл стихотворений «О цыганах». Цыганская жизнь — традиционная тема романса. Вспомним Аполлона Григорьева, Фета, Полонского, из поэтов XX века — Блока. Апухтин, казалось бы, находится в русле традиции: цыганский мир и у него — это мир сильных чувств и страстей.

В них сила есть пустыни знойной  
И ширь свободная степей...  
И страсти пламень беспокойный  
Порою брызжет из очей...

Чувство освобождения, испытываемое человеком, соприкоснувшимся с этим миром, — обманное, «на миг», но это чувство сильное и горячее. Тут можно вспомнить и толстовского Федора Протасова с его знаменитой репликой: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...» Но в сюжет цикла «О цыганах» Апухтин вводит и жанровые, бытовые мечты. Такой сюжет уже не удержать в рамках и интонациях романса.

Им света мало свет наш придал,  
Он только шелком их одел;  
Корысть — единственный их идол,  
И бедность — вечный их удел.

Высокое (степи, страсть, свобода) и низкое (корысть, погруженность в мелочные заботы дня) увидено в одном мире, в одних и тех же людях. Эта жизнь описана с внутренней убежденностью в том, что «в правде грязи нет». В этих словах, сказанных Апухтиным в стихотворении «Графу Л. Н. Толстому», выражен критерий, которому поэт следовал в своих наиболее зрелых произведениях и исходя из которого он очень высоко ставил реалистическое искусство автора «Войны и мира» и «Анны Карениной».

На первый взгляд поэтический мир Апухтина может показаться интимным, камерным. Но внимательный читатель заметит: в его стихах запечатлен духовный и душевный опыт человека хоть и далекого от общественной борьбы,

---

<sup>1</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 121.

но не терявшего интереса к «проклятым» вопросам века, то есть вопросам о смысле жизни, о причинах человеческих страданий, о высшей справедливости. Возраставший с годами интерес поэта к этим вопросам раздвигал рамки его поэтического мира.

В конце 70-х и в 80-е годы у Апухтина все явственнее ощущается тяготение к большой стихотворной форме. Заметно стремление найти «выход из лирической уединенности» (Блок). Более пристальный интерес к внутреннему миру героя ведет к созданию произведений, близких к психологической новелле («Накануне», «С курьерским поездом», «Перед операцией»). В этих произведениях сказалось очень благотворное для Апухтина влияние русской психологической прозы, прежде всего — романа.

Одной из самых интересных попыток Апухтина создать объективный образ современного человека, героя 80-х годов, было стихотворение «Из бумаг прокурора». Произведение построено как внутренний монолог (или дневник) и предсмертное письмо самоубийцы, адресованное прокурору. Как и многие другие произведения Апухтина («Сумасшедший», «Перед операцией», «Год в монастыре»), это стихотворение является как бы драматическим монологом, рассчитанным на актерское исполнение, на слуховое восприятие. Обилие прозаизмов, разговорная интонация, частые переносы из строки в строку, астрофическое построение стихотворения — самые различные средства поэт использует для того, чтобы текст был воспринят читателем как живая, взволнованная речь героя. Герой стихотворения «Из бумаг прокурора» во многом близок к лирическому «я» самого автора. Но при этом явно заметно стремление взглянуть на такого героя объективно, выявить в нем черты, обусловленные временем, общим строем жизни, историческими и социальными причинами. Стихотворение имеет документальную основу. Известный юрист А. Ф. Кони, беседы с которым впрямую повлияли на возникновение замысла произведения, писал в своих воспоминаниях: «Апухтин очень заинтересовался приведенными мною статистическими данными и содержанием предсмертных писем самоубийц»<sup>1</sup>.

Обратившись к злободневной, «газетной» теме, Апухтин попытался изнутри раскрыть сознание человека, которому «жизнь переносить больше не под силу». Что заставило его героя зарядить пистолет и уединиться в номере гостиницы? Утрата интереса к жизни? Несчастливая любовь? Разочарование в людях? Душевный недуг? И то, и другое, и третье. Апухтин и не стремился дать однозначный ответ на этот вопрос. «Если бы была какая-нибудь ясно определенная причина, то совершенно устранился бы эпидемический характер болезни, на который я хотел обратить внимание»<sup>2</sup>, — говорил он. Вспомним известное некрасовское стихотворение «Утро». Там тот же мотив: «...кто-то покончил с собой». Мы не знаем, кто он, некрасовский герой, и почему решил застрелиться. Но весь строй лаконично описанной столичной жизни таков («на позорную площадь кого-то провезли», «проститутка домой послешает», офицеры едут за город — «будет дуэль», «дворник вора колотит»), что читатель понимает: в этом городе люди неизбежно должны стреляться.

Сознание апухтинского героя, решившего уйти из жизни, не замкнуто на самом себе. Он способен замечать боль и страдание других, порой очень

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М., 1969, с. 306.

<sup>2</sup> Жиркевич А. В. Поэт милостью божией, с. 498.

далеких людей. Вот до гостиничной комнаты долетел свист локомотива — в столицу прибыл поезд. Герой стихотворения думает о тех, кто приехал:

Кто с этим поездом к нам едет? Что за гости?  
Рабочие, конечно, бедный люд...  
Из дальних деревень они сюда везут  
Здоровье, бодрость, силы молодые  
И все оставят здесь...

За этими размышлениями угадывается жизненный опыт, который может быть соотнесен с очерками Ф. Решетникова («На заработки») и И. Куцевского («В Петербург! На медовую реку Неву!»), в которых описаны трудные судьбы людей, приехавших в столицу на поиски счастья. Так вопреки неоднократным заявлениям Апухтина о его стремлении служить только «вечным идеалам» логика его собственного творчества все чаще и чаще выводила его к «проклятым» вопросам современной жизни.

Судьбы героев многих стихотворений Апухтина (таких, как: «В убогом рубище, недвижна и мертва...», «Старая цыганка», «Год в монастыре», «Из бумаг прокурора») яснее прочитываются в контексте всего его творчества, в контексте русской литературы второй половины XIX века. В этом случае многое в этих судьбах если не проясняется до конца, то существенно уточняется. Мы начинаем видеть их не исключительный, а общий смысл. Ущербность, неуравновешенность, болезненность героев этих произведений в сознании читателя так или иначе связывается с социальными недугами общества, нравственной атмосферой русской жизни тех лет.

Зараза нравственной чумы  
Над нами носится, и ловит, и тревожит  
Порабощенные умы...—

сказано в стихотворении «Из бумаг прокурора». Особенность многих произведений Апухтина 80-х годов в том, что теперь он осмысливает характер героя в его конкретной социально-исторической обусловленности. Судьба человека включается в поток времени. Усиление эпического начала в творчестве Апухтина органично приводит его к прозе.

При жизни Апухтин не опубликовал ни одного из своих прозаических произведений, хотя он читал их — и с большим успехом — в различных салонах.

В конце 80-х годов Апухтин задумал и начал писать роман, посвященный очень важному этапу в истории: переходу от николаевской эпохи к периоду реформ. Судьбы главных героев рисуются на фоне больших исторических событий: Крымская война, падение Севастополя. Это было время переоценки ценностей, поэтому в романе так много споров: о западниках и славянофилах, об освобождении крестьян, о реформах, которые предстояли России. Апухтина интересуют люди, способные аналитически мыслить, трезво смотреть на жизнь русского общества. «Мы привыкли исполнять, но отвыкли думать», — говорит генерал Дольский, рассуждая о николаевском правлении. Главного героя романа Владимира Угарова, приехавшего в столицу в дни обороны Севастополя, более всего поразило — он имеет в виду петербургские «верхи», — что здесь «забыли или не хотят думать, что где-то на юге ежечасно льется русская кровь, и наши братья погибают в непосильной борьбе».



И в своем первом прозаическом произведении Апухтин не выглядит начинающим беллетристом. Эти главы из романа легко читаются, в них умело намечены сюжетные линии, даны точные, психологически убедительные характеристики некоторых персонажей. Дело не только в том, что оказался богатый навык поэтического творчества автора, в романе чувствуется опыт русской психологической прозы XIX века, прежде всего — толстовской.

Роман не был завершен. Как признавался сам Апухтин, ему встретились трудности, которые он «не мог преодолеть»<sup>1</sup>. Очевидно, на определенном этапе работы автор понял, что искусно выполненные описания усадебной и столичной жизни, психологически убедительные характеристики персонажей еще не превращают произведение в роман, который подразумевает наличие значительного, общественного по своей сути конфликта, который мог бы развернуться в сюжет и объединить распадающиеся части повествования.

Незаурядный талант Апухтина-прозаика проявился в двух его повестях и в рассказе, которые он успел завершить. В прозе Апухтин — тут явно сказался его поэтический опыт — тяготеет к повествованию от первого лица: это письма («Архив графини Д\*\*», 1890), дневник («Дневник Павлика Дольского», 1891), внутренний монолог героя («Между смертью и жизнью», 1892). Повествование от первого лица — знак повышенного интереса к внутреннему миру героя, его психологии. Удачи Апухтина-прозаика, несомненно, связаны с тем, что к этому времени он уже написал несколько больших стихотворений с подробно разработанными сюжетами.

В повести «Архив графини Д\*\*» Апухтин использовал традиционную эпистолярную форму. Отступление от традиции было в том, что в повести нет писем главной героини: мы знакомимся только с письмами к ней. Письма самой графини автору оказались не нужны: по письмам, адресованным графине, читатель имеет возможность с необходимой полнотой судить о ее поступках, нравственных принципах, строе чувств. Письма девяти корреспондентов создают как бы систему зеркал, в которых отражаются различные лики героини: графини Екатерины Александровны Д\*\*, сперва вице-, а потом председательницы Общества спасения погибающих девиц, светской дамы, петербургской красавицы, соблюдающей все внешние формы приличия, но в своей скрытой, интимной жизни, в исполнении «капризов», «без колебанья переходящая ту черту, перед которой другие остановились бы в страхе». Письма, записки, депеши выстроены в хронологическом порядке. Первое и последнее письма помечены 25 марта: прошел год в жизни героев повести.

Сквозь обычно сдержанный тон писем к светской даме прорываются самые различные чувства и эмоции: обида, зависть, злость, угроза. Стиль писем становится важной чертой характеристики персонажа. Сравним возвышенно-банальные послания Можайского с лаконичными депешами кутилы Кудряшина или письма болтливой княгини Кривобокой с вежливо-издевательскими посланиями Василисы Медяшкиной. Сергей Залыгин отметил, что самое существенное в этой апухтинской повести — «лаконизм произведения и безупречная его организация, совершенство формы, умение в одной короткой записке или даже депеше изобразить характер и развить событие»<sup>2</sup>. Михаил

<sup>1</sup> Жиркевич А. В. Поэт милостию божией, с. 497.

<sup>2</sup> Залыгин Сергей. Литературные заботы. М., 1982, с. 341.

Булгаков, как уже упоминалось выше, восхищаясь мастерством Апухтина, отметил «Архив графини Д\*\*» как «прекрасно сделанную вещь»<sup>1</sup>.

Читатель апухтинской повести узнает о графине из различных писем больше, чем знает о ней любой из ее корреспондентов. Это создает дополнительный, слегка комический эффект. Так, мы знаем, почему графиня не разрешила Можайскому проводить ее до Москвы, почему она, к удивлению мужа, задержалась там на несколько дней (там ждал ее Кудряшин), — а муж и Можайский этого не знают. Поэтому иронически для читателя звучит, казалось бы, традиционное для официального письма обращение «преосвященного отца Никодима» к графине Д\*\*: «Верная и добродетельная супруга, чадолубивая и нежная мать...»

Большинство героев прозаических произведений Апухтина — люди «света». Жизнь людей этого круга писатель знал не понаслышке: он был своим человеком в светских гостиных Петербурга (кстати, взгляд Апухтина проницателен и трезв, а юмор, присущий его прозе, защищает его от морализаторства и дидактизма). Жизнь «света» диктует свои условия, иногда обременительные. Среди героев повести только графиня Д\*\* нисколько не чувствует гнета, неестественности светских норм и законов. Пожалуй, можно сказать, что она сама и есть олицетворение этой жизни: блестящей внешне и ущербной по ее нравственной и духовной сути. Жизнь по принципам графини Д\*\* строится с ориентацией на условности, а не на живые, естественные чувства. «Расставаясь со своими «капризами», — пишет графине ее подруга Мария Боярова, — ты не испытываешь и сотой доли того, что выстрадала я из-за моего первого и последнего увлечения». Единственное поражение, которое терпит в повести главная героиня, — поражение от Василисы Медяшкиной, приживалки в доме богатой родственницы графини. Светская дама столкнулась с аморальностью другого, непривычного ей толка — и проиграла.

В этой повести возникает мотив лицедейства, маски, театрального представления. Мотив, к которому Апухтин неоднократно обращался и в своей поэзии. Наиболее яркий пример — стихотворение «Актеры», построенное на уподоблении жизни театру. Но не тому театру, где высокое искусство помогает современникам понять, «как тяжело и обидно страдает человек в родимом их краю» («Памяти Мартынова»), где, как потом скажет Блок, от «истины ходячей» человеку становится «больно и светло», а театру как фальшивому лицедейству, когда за внешней праздничностью скрывают убогую и безнравственную суть жизни. И дело не только в том, что маска, театр в жизни — для Апухтина признак лицемерия, неискренности. Ему не менее важен другой аспект этого мотива: человек в маске проживает не свою, чужую жизнь. Так жила до катастрофы Мария Боярова, так случилось с князем Трубчевским, героем фантастического рассказа. Об этом думает после своей катастрофы Павлик Дольский. Страдания, которые пережила Мария Боярова, помогли ей «очнуться», по-новому взглянуть на жизнь людей света. В ней проснулись естественные, но заглушенные было в петербургской жизни чувства: любовь к детям, к природе.

Потрясение, которое дает возможность герою обрести новый взгляд на себя и на мир, пережить, так сказать, «момент истины», — очень важный

---

<sup>1</sup> См.: Чудакова Мариэтта. Библиотека М. Булгакова и круг его чтения, с. 245.

мотив и в повести «Дневник Павлика Дольского», как потом и в фантастическом рассказе «Между смертью и жизнью». Первая же страница повести Апухтина может вызвать в памяти читателя повесть Тургенева «Дневник лишнего человека». Герой Апухтина, как и тургеневский Чулкатурин, во время болезни начинает вести дневник. Оба героя мысленно прослеживают свою жизнь, задают себе самые главные вопросы и пытаются на них ответить. В каком-то смысле Павлик Дольский тоже «лишний» человек. Числился камер-пажом, камергером, гусаром, мировым посредником, и, можно сказать, никем не был. Точнее, всегда был одним и тем же: не изменяющимся, не стареющим, не чувствующим груза лет Павликом Дольским. Дожил почти до пятидесяти — а все Павлик. В отличие от Чулкатурина, который мучается своей «лишностью», Дольский, не размышляя, как бы интуитивно нашел вариант комфортного существования в роли «лишнего», в роли наблюдателя по отношению к жизни. Павлик Дольский так устроен, что его катастрофа не может быть связана ни с его общественной жизнью (она для него всегда что-то внешнее: было, например, время либеральных увлечений, оно коснулось Павлика, но не более того), ни с его внутренним миром, который у этого героя надежно сбалансирован. «С грузом опыта, с усталюю душой», — написал Апухтин в одном стихотворении. Вот этого-то и нет у Дольского: ни груза, ни усталости. Он не тратит себя в жизни, не желает тратить (скажем, он так и не попытался узнать, что на самом деле было причиной смерти его друга: злая воля жены или трагическая случайность), за это жизнь мстит ему, не дарует ему мудрость. Очень тонко показано это качество героя в истории его «осеннего» чувства. Дольский влюбляется в семнадцатилетнюю девочку. Он пытается анализировать свое чувство «по Тютчеву»: «последняя любовь» — «блаженство и безнадежность». Но, в отличие от любви, описанной Тютчевым, чувство Павлика Дольского — не катастрофичное, камерное, «домашнее». «Из <...> стихов Тютчева я безнадежность как-то забыл», — признается он сам. Не тот масштаб чувств и страдания.

Отношение к этому герою у Апухтина неоднозначное: и сочувствие, даже лирическая близость, и в то же время объективный, аналитический взгляд. Этот характер — удача писателя. Павлики дольские — особый тип сознания, их мимикрия универсальна, их надо уметь отличать и в XX веке.

Как и в повестях Апухтина, в его фантастическом рассказе «Между смертью и жизнью» очень важен мотив духовного прозрения героя под воздействием каких-то чрезвычайных обстоятельств. Сюжет рассказа основан на явной условности: после своей смерти герой продолжает думать, продолжает видеть и слышать все, что происходит вокруг него. Он замечает, как много неестественности, театральности в поведении людей, появляющихся в его комнате. Стремление «приблизиться к истине» приводит князя к мысли — и это самый главный итог, — что такой неестественностью, театральностью была искажена его собственная жизнь, он жил в угоду кому-то и чему-то: не свою жизнь прожил. «Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене», — с горечью думает герой Апухтина.

Князь Трубчевский не постиг истину, не нашел ответа на свой главный вопрос: в чем смысл человеческой жизни? Но его нравственное обновление, несомненно, оказалось важным этапом на пути к истине. Думается, и фантастический мотив переселения душ, который в конце прошлого века вызывал

повышенный интерес, понадобился Апухтину для того, чтобы выразить мысль: движение к истине бесконечно.

В своей прозе Апухтин часто обращался к темам, которые уже затрагивались в его стихах. Связь с поэзией в этих произведениях ощущается и в склонности автора к афористичности, ярким образным выражениям. Но проза не воспринимается как перепевы писателем самого себя, и она не нуждается в нашей читательской снисходительности как не «настоящая» проза, а проза поэта.

О творчестве Апухтина в целом можно сказать: он был разным, он менялся. Несомненно, что пережитая им когда-то слава уже не возродится, но так же несомненно, что его произведения способны вызывать у сегодняшнего читателя не только исторический, но и художественный интерес. На ярком литературном небосклоне русского XIX века апухтинская звезда не затерялась, ее свет доходит до нас.

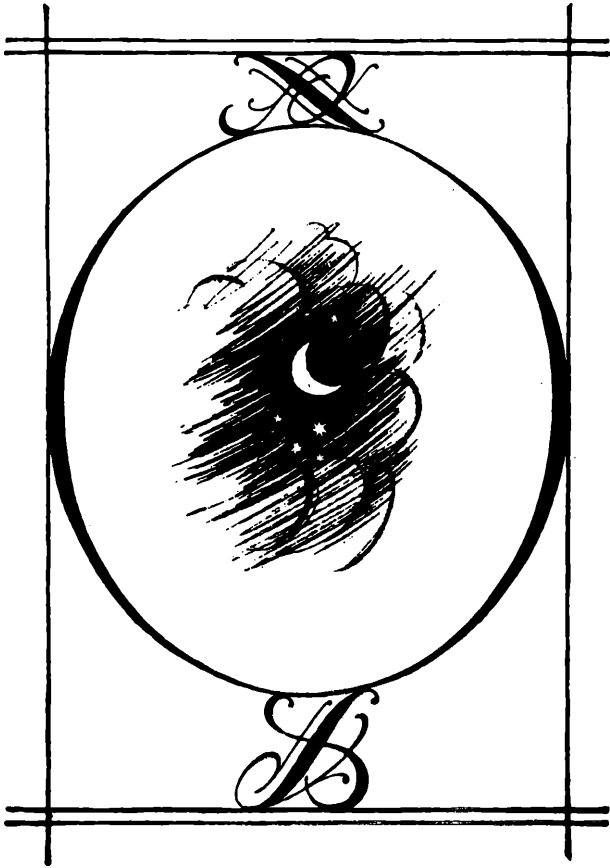
*М. Отрадин*





**СТИХОТВОРЕНИЯ**







### К РОДИНЕ

Далёко от тебя, о родина святая,  
Уж целый год я жил в краях страны чужой  
И часто о тебе грустил, вспоминая  
Покой и счастье, минувшее с тобой.  
И вот в стране зимы, болот, снегов глубоких,  
Где, так же одинок, и я печалью жил,  
Я сохранил в душе остаток чувств высоких,  
К тебе всю прежнюю любовь я сохранил.

Теперь опять увижусь я с тобою,  
В моей груди вновь запылает кровь,  
Я примирюсь с своей судьбою,  
И явится мне вдохновенье вновь!  
Уж близко, близко... Всё смотрю я вдаль,  
С волнением чего-то ожидаю  
И с каждою тропинкой вспоминаю  
То радость смутную, то тихую печаль.  
И вспоминаю я свои былые годы,  
Как мирно здесь и счастливо я жил,  
Как улыбался я всем красотам природы  
И в дебрях с эхом говорил.  
Уж скоро, скоро... Лошади бегут,  
Ямщик летит, вполголос напевая,  
И через несколько минут  
Увижу я тебя, о родина святая!

15 июня 1853

### ЦВЕТОК

Река бежит, река шумит,  
Гордясь волною серебристой,  
И над волной, блестя красой,  
Плывет цветок душистый.

«Зачем, цветок, тебя увлек  
Поток волны красою?  
Взгляни, уж мгла везде легла  
Над пышною рекою;  
Вот и луна, осенена  
Таинственным мерцаньем,  
Над бездной вод средь звезд плывет  
С трепещущим сияньем...  
Прогонит день ночную тень,  
От сна воспрянут люди,  
И станет мать детей ласкать  
У жаркой, сонной груди,  
И божий мир, как счастья пир,  
Предстанет пред тобою...  
А ты летишь и не томишь  
Себя кручиной злою,  
Что, может быть, тебе уж жить  
Недолго. остается  
И что с волной цветок иной  
Беспечен понесется!»  
Река шумит и быстро мчит  
Цветок наш за собою,  
И, как во сне, припав к волне,  
Он плачет над волною.

29 июня 1854

## ДВА ПОЭТА

Блажен, блажен поэт, который цепи света  
На прелесть дум и чувств свободных не менял:  
Ему высокое название поэта  
Дарит толпа с венком восторженных похвал.  
И золото бежит к избраннику фортуны  
За гимн невежеству, порокам и страстям.  
Но холодно звучат тогда поэта струны,  
Над жертвою его нечистый фимиам...  
И, насладившись богатством и чинами,  
Заснет он наконец навеки средь могил,  
И слава кончится похвальными стихами  
Того, кто сам толпу бессмысленно хвалил.  
Но если он поймет свое предназначенье,  
И станет с лирою он мыслить и страдать,  
И дивной силою святого вдохновенья  
Порок смеющийся стихом начнет карать,—  
То пусть не ждет себе сердечного привета  
Толпы бессмысленной, холодной и глухой...



И горько потечет земная жизнь поэта,  
Но не погаснет огонь в курильнице святой.  
Умрет... И кое-где проснутся сожаленья...  
Но только внук, греха не видя за собой,  
Смеется над предками, с улыбкою презренья,  
Почтит могучий стих холодной похвалой...

*Июль 1854*

#### СТАРАЯ ДОРОГА

Я еду. На небе высоко  
Плывет уж бледная луна,  
И от селенья недалеко  
Дорога старая видна.  
И по дороге неизбитой  
Звонки проезжих не гудят,  
И лишь таинственно ракиты  
По сторонам ее стоят,  
И из-за них глядят уныло  
Уж полусгнившие столбы  
Да одинокая могила  
Без упования и мольбы.  
И крест святынею своею  
Могилы той не сторожит,  
Лишь, наклонившись над нею,  
Угрюмо шепчет ряд раки.  
И есть в окрестности преданье,  
Что на могиле страшной той  
Пресек свое существованье  
Один страдалец молодой.  
Однажды в ночь сюда пришел он  
И имя бога не призвал,  
Но, адских мук и страсти полон,  
Он в грудь вонзил себе кинжал.  
И неотпетая могила  
Дана преступника костям.  
В ней песня слышалась уныло,  
И тень являлась по ночам.  
Всегда с боязнию и тревогой  
Крестьянин мимо проходил,—  
И скоро новую дорогу  
Труд человека проложил...

*10 августа 1854*

ПОЭТ

Взгляните на него, поэта наших дней,  
Лежащего во прахе пред толпою:  
Она — кумир его, и ей  
Поет он гимн, венчанный похвалою.  
Толпа сказала: «Не дерзай  
Гласить нам истину холодными устами!  
Не нужно правды нам, скорее расточай  
Запасы льстивых слов пред нами».

И он в душе оледенил  
Огонь вскипающего чувства,  
И тот огонь священный заменил  
Одною ржавчиной искусства;  
Он безрассудно пренебрег  
Души высокое стремленье

И дерзко произнес, низверженный пророк,  
Слова упрека и сомненья;  
Воспел порочный пир палат,  
Презренья к жизни дух бесплодный,  
Приличьем скрашенный разврат,  
И гордость мелкую, и эгоизм холодный...

Взгляните: вот и кончил он,  
И, золото схватив дрожащею рукою,  
Бежит поэт к бесславному покою,  
Как раб, трудами изнурен!  
Таков ли был питомец Феба,  
Когда, святого чувства полн,  
Он пел красу родного неба,  
И шум лесов, и ярость волн;  
Когда в простых и сладких звуках  
Творцу миров он гимны пел?  
Их слушал раб в тяжелых муках,  
Пред ними варвар цепенел!  
Поэт не требовал награды, —  
Не для толпы он песнь слагал:  
Он покидал, свободный, грады,  
В дубравы тихие бежал,  
И там, где горы возвышались,  
В свободной, дикой стороне,  
Поэта песни раздавались  
В ненарушимой тишине.

29 сентября 1854

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

О снега первого нежданное явление,  
Приветствую тебя в моем уединеньи!  
Уединенье? Да! Среди толпы людей  
Я так же одинок, как ландыш, из полей  
Родных отторженный суровою рукою;  
Среди прекрасных роз поник он головою,  
И в рошу мирную из мраморных палат  
Его желанья свободные летят.  
Приветствую тебя! Неведомою силой  
Ты в смутной памяти былое оживило,  
Мечтанья прошлых дней той юности златой,  
Как утро зимнее, прекрасной и живой!  
Картин знакомый ряд встает передо мною:  
Я вижу небеса, подернутые мглою,  
И скатерть снежную на сглаженных полях,  
И крыши белые, и иней на дровах;  
Вдали чернеет лес. С сиянием Авроры  
По окнам разослал мороз свои узоры;  
Там, за деревьями, роскошно и светло  
Блестит замерзлых вод прозрачное стекло;  
Там курится дымок над кровлями овинов...  
В соседней комнате я слышу треск каминов,  
К ним истопник бредет и шум своих шагов  
Разносит за собой с тяжелой ношей дров.  
С какою радостью живой, нелицемерной,  
Бывало, я встречал тебя, предвестник верный  
Зимы... Как я любил и сон ее снегов,  
И длинную семью прекрасных вечеров!  
Как часто, вокруг стола собравшись семьею,  
Мы проводили их в беседах меж собою,  
И ласки нежные иль звонкий смех порой  
Сменяли чтение обычной чередой.  
Я помню длинный зал, вечернею порою  
Его перебежал я детскою стопою,  
И часто пред окном, как будто бы сквозь сон,  
Я становился вдруг, испуган, поражен,  
А прелесть дивная морозной, зимней ночи  
Манила и звала встревоженные очи...  
Светила чудные сияли в вышине  
И, улыбаяся, смотрели в душу мне;  
Чистейшим серебром поля вдали сияли,  
Леса пустынные недвижимо стояли;  
Всё спало... Лишь мороз под окнами трещал...  
И жутко было мне, и к няне я бежал.  
Я помню комнатку... Пред образом горела  
Лампада тусклая; старушка там сидела...  
И сладок был мне звук ее речей простых,

Любовью дышащих... увы! не слышу их  
Среди надутых фраз да слов бездушных ныне:  
Уж третью зиму я встречаю на чужбине,  
Далеко от нее, от родины святой,  
Не с шумной радостью, но с хладною тоской,  
И сердце жжалось... но в холоде страданий  
Ты возбудил во мне толпу воспоминаний,  
Ты годы юности внезапно оживил,  
И я тебя в душе за то благословил...  
О, взвейся, легкий снег, над родиною дальней!  
Чтоб поселянин мог, природы сын печальный,  
Скорей плоды трудов по зимнему пути  
За плату скудную в продажу отвезти!

*11 октября 1854*

### ЭПАМИНОНД

Когда на лаврах Мантиней  
Герой Эллады умирал  
И сонм друзей, держа трофеи,  
Страдальца ложе окружал,—  
Мгновенный огонь одушевленья  
Взор потухавший озарил.  
И так, со взором убежденья,  
Он окружавшим говорил:  
«Друзья, не плачьте надо мною!  
Недолговечен наш удел;  
Блажен, кто жизни суетою  
Еще измерить не успел,  
Но кто за честь отчизны милой  
Ее вовеки не щадил,  
Разил врага,— и над могилой  
Его незлобливо простил!  
Да, я умру, и прах мой тленный  
Пустынный вихорь разнесет,  
Но счастье родины священной  
Красою новой зацветет!»  
Умолк... Друзья еще внимали...  
И видел месяц золотой,  
Как, наклонившись, рыдали  
Они над урной роковой.  
Но слава имени героя  
Его потомству предала,  
И этой славы, взятой с боя,  
И смерть сама не отняла.

Пронзен ядром в пылу сраженья,  
Корнилов мертв в гробу лежит...

Но всей Руси благословенье  
И в мир иной за ним летит.  
Еще при грозном Наварине  
Он украшеньем флота был;  
Поборник правды и святыни,  
Врагов отечества громил,  
И Севастополь величавый  
Надежней стен оберегал...  
Но смерть поспорила со славой,  
И верный сын России пал,  
За славу, честь родного края,  
Как древний Грек, он гордо пал,  
И, всё земное покидая,  
Он имя родины призвал.  
Но у бессмертия порога  
Он, верой пламенной горя,  
Как христианин, вспомнил бога,  
Как верноподданный — царя.  
О, пусть же ангел светозарный  
Твою могилу осенит  
И гимн России благодарной  
На ней немолчно зазвучит!

26 октября 1854

### ЗИМОЙ

Зима. Пахнул в лицо мне воздух чистый...  
Уж сумерки повисли над землей,  
Трещит мороз, и пылью серебристой  
Ложится снег на гладкой мостовой.  
Порой фонарь огнистой полосой  
Мелькнет... Да звон на небе прогудит...  
    Неугомонною толпою  
    Народ по улицам спешит.

И грустно мне!  
    И мысль моя далеко,  
И вижу я отчизны край родной:  
Угрюмый лес задумался глубоко,  
И звезды мирно шепчутся с землей,  
Лучи луны на инее трепещут,  
И мерзлый пар летает от земли,  
    А в окнах светятся и блещут  
    Гостеприимные огни.

6 января 1855

## ПОДРАЖАНИЕ АРАБСКОМУ

В Аравии знойной поныне живет  
Усопшего Межде счастливый народ,  
И мудры их старцы, и жены прекрасны,  
И юношей сонмы гяурам ужасны,  
Но как затмеваются звезды луной,  
Так всех затмевал их Набек молодой.

Прекрасен он был, и могуч, и богат.  
В степях Аравийских верблюдов и стад  
Имел он в избытке, отраду Востока,  
Но краше всех благ и даров от пророка  
Его кобылица гнедая была —  
Из пламени ада литая стрела.

Чтоб ей удивляться, из западных стран  
К нему притекали толпы мусульман,  
Язычник и рыцарь в железе и стали.  
Поэты ей сладкие песни слагали,  
И славный певец аравийских могил  
Набеку такие слова говорил:

«Ты, солнца светлейший, богат не один,  
Таких же, как ты, я богатств властелин;  
От выси Синая до стен Абушера  
Победой прославлено имя Дагера.  
И, море святое увидя со скал,  
На лиру певца я меч променял.

И вот я узрел кобылицу твою.  
Я к ней пристрастился... и, раб твой, молю —  
Отдай мне ее и минуты покою,  
На что мне богатства? Они пред тобою...  
Возьми их себе и владей ими век!»  
Молчаньем суровым ответил Набек.

Вот едет Набек по равнинам пустынь  
Аравии знойной... И видит: пред ним  
Склоняется старец в одежде убогой:  
«Аллах тебе в помощь и милость от бога,  
Набек милосердный». — «Ты знаешь меня?»  
— «Твоей не узнать кобылицы нельзя».

— «Ты беден?» — «Богатство меня не манит,  
А голод терзает и жажда томит  
В пустыне бесследной, три дня и три ночи  
Не ведали сна утомленные очи,

Из этой пустыни исторгни меня».  
И слышит: «Садися ко мне на коня».

— «И рад бы, о путник, да сил уже нет,—  
Был дряхлого нищего слабый ответ.—  
Но ты мне поможешь, во имя пророка!»  
Слезает Набек во мгновение ока,  
И нищий, поддержан могучей рукой,  
Свободен, сидит уж на шее крутой.

И старца внезапно меняется вид,  
Он с юной отвагой коня горячит.  
И конь, распутивши широкую гриву,  
В пустыне понесся, веселый, игривый;  
Блеснули на солнце, исчезли в пыли!  
Лишь имя Дагера звучало вдали!

Набек, пораженный как громом, стоит,  
Не видит, не слышит и, мрачен, молчит,  
Везде пред очами его кобылица,  
А солнце пустыню палит без границы,  
А весь он осыпан песком золотым,  
А груды червонцев лежат перед ним.

*3 февраля 1855*

## ГОЛГОФА

Распятый на кресте нечистыми руками,  
Меж двух разбойников сын божий умирал.  
Кругом мучители нестройными толпами,  
У ног рыдала мать; девятый час настал:  
Он предал дух отцу.— И тьма объяла землю.  
И гром гремел, и, гласу гнева внемля,  
Евреи в страхе пали ниц...  
И дрогнула земля; разверзлась тьма гробниц,  
И мертвые, восстав, явились живыми...

А между тем в далеком Риме  
Надменный временщик безумно пировал,  
Стяжанием неправедным богатый,  
И у ворот его палаты  
Голодный нищий умирал.  
А между тем софист, на догматы ученья  
Все доводы ума напрасно истощив,  
Под бременем неправд, под игом заблужденья,  
Являлся в сонмищах уныл и молчалив.

Народ блуждал во тьме порока,  
Неслись стенания с земли.  
Всё ждало истины...  
И скоро от востока  
Пришельцы новое ученье принесли.  
И, старцы разумом и юные душою,  
С молитвой пламенной, с крестом на раменах,  
Они пришли — и пали в прах  
Слепые мудрецы пред речию святою.  
И нищий жизнь благословил,  
И в запустении богатого обитель,  
И в прахе идола, а в храмах бога сил  
Сияет на кресте голгофский искупитель!

17 апреля 1855

#### МАЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Месяц вешний, ты ли это?  
Ты, предвестник близкий лета,  
Месяц песен соловья?  
Май ли, жалуясь украдкой,  
Ревматизмом, лихорадкой  
В лазарете встретил я?

Скучно! Вечер темный длится —  
Словно зимний! Печь дымится,  
Крупный дождь в окно стучит;  
Все попрятались от стужи,  
Только слышно, как чрез лужи  
Сонный ванька дребезжит.

А в краю, где протекали  
Без забот и без печали  
Первой юности года,  
Потухает луч заката  
И зажглась во тьме богато  
Ночи мирная звезда.

Вдоль околицы мелькая,  
Поселян толпа густая  
С поля тянется домой;  
Зеленеет пышно нива,  
И под липою стыдливо  
Зреет ландыш молодой.

27 мая 1855



## УЖЕНЬЕ

Над водою склонялися липы густые,  
Отражались в воде небеса голубые,  
И деревья и небо, волнуясь слегка,  
В величавой красе колебала река.

И так тихо кругом... Обаяния полны,  
С берегами крутыми шепталися волны,  
Говорливо журча... И меж них, одиночек,  
Под лучами заката блесстел поплавок.

Вот он дрогнул слегка, и опять предо мною  
Неподвижно и прямо стоит над водою,  
Вот опять в глубину невинно скользит  
Под немолчный и радостный смех нереид.

А в душе пролетает за думою дума...  
О, как сладко вдали от житейского шума  
Предаваться мечтам, их лелеять душой  
И, природу любя, жить с ней жизнью одной.

Я мечтаю о многом, о детстве счастливом,  
И вдруг вижу себя я ребенком игривым,  
И, как прежде бывало, уж мыслию я  
Обегаю дубравы, сады и поля.

Я мечтаю о том, когда слово науки  
Заменило природы мне сладкие звуки...  
И о многом, о чем так отрадно мечтать  
И чего невозможно в словах рассказать.

А всё тихо кругом... Обаяния полны,  
С крутизнами зелеными шепчутся волны,  
И деревья и небо, волнуясь слегка,  
В красоте величавой колеблет река.

29 июня 1855

## ПРЕДЧУВСТВИЕ

*А. П. Апухтиной*

Не знаю почему, но сердце замирает,  
Не знаю почему, но вся душа дрожит,  
Но сон очей моих усталых не смыкает,  
Но ум мучительно над сердцем тяготит.

Я к ложу жаркому приникнул головою,  
И, кажется, всю жизнь я выплакать готов...  
И быстро предо мной проходят чередою  
Все дрязги мелкие всех прожитых годов.

Я вспоминаю всё: надежды и сомненья,  
Былые радости и горе прежних дней,  
И в памяти моей, как черные виденья,  
Мелькают образы знакомые людей...

А мысль о будущем, как червь, меня снедает,  
Немого ужаса душа моя полна,  
И тьма меня томит, и давит, и смущает,  
И не дожидаться мне обманчивого сна.

*1 июля 1855*

#### ВЕЧЕР

Окно отворено... Последний луч заката  
Потух... Широкий путь лежит передо мной;  
Вдали виднеются рассыпанные хаты;  
Акации сплелись над спящею водой;  
Всё стихло в глубине разросшегося сада...  
Порой по небесам зарница пробежит;  
Протяжный звук рогов скликает с поля стадо  
И в чутком воздухе далеко дребезжит.  
Яснее видит ум, свободней грудь трепещет,  
И сердце полное сомненья гонит прочь...  
О, скоро ли луна во тьме небес заблещет  
И трепетно сойдет пленительная ночь!..

*15 июля 1855*

#### ОБЛАКА

*Н. П. Барышникову*

Сверкает солнце жгучее,  
В саду ни ветерка,  
А по небу летучие  
Проходят облака.  
Я в час полудня знойного,  
В томящий мертвый час  
Волненья беспокойного  
Люблю смотреть на вас.  
Но в зное те ж холодные,  
Без цели и следа,  
Несетесь вы, свободные,  
Неведомо куда.

Всё небо облетаете...  
То хмуритесь порой,  
То весело играете  
На твёрди голубой.  
А в вечера росистые,  
Когда с закатом дня  
Лилово-золотистые  
Глядите на меня!  
Вы, цепью изумрудною  
Носясь в вышине,  
Какие думы чудные  
Нашептывали мне!..  
А ночью при сиянии  
Чарующей луны  
Стоите в обаянии,  
Кругом озарены;  
Когда всё сном объятое  
Попряталось в тени,  
Вы, светлые, крылатые,  
Мелькаете одни!

*3 августа 1855*

#### БЛИЗОСТЬ ОСЕНИ

Еще осенние туманы  
Не скрыли рощи златотканой;  
Еще и солнце иногда  
На небе светит, и порою  
Летают низко над землею  
Унылых ласточек стада,—

Но листья желтыми коврами  
Шумят уж грустно под ногами,  
Сыреет пестрая земля;  
Куда ни кинешь, взор пытливый  
Встречает высохшие нивы  
И обнаженные поля.

И долго ходишь в вечер длинный  
Без цели в комнате пустынной...  
Все как-то пасмурно молчит;  
Лишь бьется маятник докучный,  
Да ветер свищет однозвучно,  
Да дождь под окнами стучит.

*14 августа 1855*

## ОТЪЕЗД

Осенний ветер так уныло  
В полях свистал,  
Когда края отчизны милой  
Я покидал.

Смотрели грустно сосны, ели  
И небеса.  
И как-то пасмурно шумели  
Кругом леса.

И застилал туман чужую  
Черту земли,  
И кони на гору крутую  
Едва везли.

*26 августа 1855*

## НЯНЯ

Не тоскуй, моя родная,  
Не слези твоих очей;  
Как найдет кручина злая,  
Не отплачешься от ней.  
Посмотри-ка, я лампадку  
Пред иконою зажгла,  
Оглянись: в углу кроватка  
И богата и светла.

Оглянись же: перед нами  
Сладко спит младенец твой  
С темно-синими глазами,  
С светло-русой головой.  
Не боится темной ночи:  
Безмятежен сон его;  
Смотрят ангельские очи  
Прямо с неба на него.

Вот когда с него была ты,  
От родимого села  
В барский дом из дымной хаты  
Я кормилицей вошла.  
Всё на свете я забыла!  
Изо всех одну любя,  
И ласкала, и кормила,  
И голубила тебя.

Подросла, моя родная...  
С чистой, пламенной душой,  
А красавица такая,  
Что и не было другой.  
Ни кручины, ни печали —  
Как ребенок весела...  
Женихи к тебе езжали:  
За богатого пошла.

С тех-то пор веселья дума  
И на ум к тебе нейдет;  
Целый день сидишь угрюмо,  
Ночи плачешь напролет.  
Дорогая, золотая,  
Не кручинься, не жалея...  
Не тоскуй, моя родная,  
Не слези твоих очей.

Глянь, как теплится лампадка  
Пред иконой, посмотри,  
Как наш ангел дремлет сладко  
От зари и до зари.  
Над постелькою рыдая,  
Сна младенца не разбей...  
Не тоскуй, моя родная,  
Не слези твоих очей.

*13 ноября 1855*

### ШАРМАНЩИК

Темно и пасмурно... По улице пустой  
Шарманщик, сгорбленный под гнетом тяжелой ноши,  
Едва, едва бредет с поникшей головой...  
И тонут, и скользят в грязи его калоши...  
Кругом так скучно: серый небосклон,  
Дома, покрытые туманной пеленою...  
И песней жалобной, младенчески-простою  
Шарманщик в забытье невольно погружен.  
О чем он думает с улыбкою печальной?  
Он видит, может быть, края отчизны дальней,  
И солнце жгучее, и тишь своих морей,  
И небо синее Италии своей...  
Он видит вечный Рим.— Там в рубище торговка  
Сидит на площади, печальна и бледна;  
Склонилася на грудь кудрявая головка,  
Усталости томительной полна...

С ней рядом девочка... На Север, одиноки,  
 И день и ночь они глядят  
 И ждут его, шарманщика, назад  
 С мешками золота и с почестью высокой...  
 Природу чудную он видит: перед ним,  
 Лучами внешними взлелеян и храним,  
 Цветет зеленый мирт и желтый померанец...  
 Ветвями длинными сплелися кущи роз...  
 Под тихий говор сладких грёз  
 Забылся бедный чужестранец!  
 Он видит уж себя среди своих полей...  
 Он слышит ласковых речей  
 Давно не слышанные звуки...  
 О нет, не их он слышит...  
 Крик босых ребят  
 Преследует шарманщика; горят  
 Окостеневшие и трепетные руки...  
 И мочит дождь его, и холодно ему,  
 И весь он изнемог под гнетом тяжкой ноши,  
 И, как назло владельцу своему,  
 И тонут, и скользят в грязи его калоши.  
 . . . . .

26 ноября 1855

#### ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

Длинные улицы блещут огнями,  
 Молкнут, объятые сном;  
 Небо усыпано ярко звездами,  
 Светом облито кругом.  
 Чудная ночь! Незаметно мерцает  
 Тусклый огонь фонарей.  
 Снег ослепительным блеском сияет,  
 Тысячью искрясь лучей.  
 Точно волшебством каким-то объятый,  
 Воздух недвижим ночной...  
  
 Город прославленный, город богатый,  
 Я не прельщуся тобой.  
 Пусть твоя ночь в непробудном молчаньи  
 И хороша и светла,—  
 Ты затаил в себе много страданья,  
 Много пороков и зла.  
 Пусть на тебя с высоты недоступной  
 Звезды приветно глядят,  
 Только и видят они твой преступный,  
 Твой закоснелый разврат.

В пышном чертоге, облитые светом,  
Залы огнями горят.  
Вот и невеста: роскошным букетом  
Скрашен небрежный наряд,  
Кудри волнами бегут золотые...  
С ней поседелый жених;  
Как-то неловко глядят молодые,  
Холодом веет от них.  
Плачет несчастная жертва расчета,  
Плачет... Но как же ей быть?  
Надо долги попечителя-мота  
Этим замужеством покрыть...  
В грустном раздумье стоит, замирая,  
Темных предчувствий полна...  
Ей не на радость ты, ночь золотая!  
Небо, и свет, и луна  
Ей напевают печальные чувства...

Зимнего снега бледней,  
Мается труженик бедный искусства  
В комнатке грязной своей.  
Болен, бедняк, исказило мученье  
Юности светлой черты.  
Он, не питая свое вдохновенье,  
Не согревая мечты,  
Смотрит на небо в волнении жадном,  
Ищет луны золотой...  
Нет! Он прощается с сном безотрадным,  
С жизнью своей молодой.

Всё околдовано, всё онемело!  
А в переулке глухом,  
Снегом скрипя, пробирается смело  
Рослый мужик с топором.  
Грозен и зол его вид одичалый...  
Он притаился и ждет:  
Вот на пирушке ночной запоздалый  
Мимо пройдет пешеход...  
Он не на деньги блестящие жаден,  
Не на богатство; как зверь,  
Голоден он и, как зверь, беспощаден...  
Что ему люди теперь?  
Он не слушает их увещаний,  
Не побоится угроз...

Боже мой! Сколько незримых страданий!  
Сколько невидимых слез!  
Чудная ночь! Незаметно мерцает  
Тусклый огонь фонарей;

Снег ослепительным блеском сияет,  
Тысячью искрясь лучей;  
Длинные улицы блещут огнями,  
Молкнут, объятые сном;  
Небо усыпано ярко звездами,  
Светом облито кругом.

*13 января 1856*

#### К СЛАВЯНОФИЛАМ

О чем шумите вы, квасные патриоты?  
К чему ваш бедный труд и жалкие заботы?  
Ведь ваши возгласы России не смутят.  
И так ей дорого достался этот клад  
Славянских доблестей... И, варварства остаток,  
Над нею тяготит татарский отпечаток:  
Невежеством, как тьмой, кругом обложена,  
Рассвета пышного напрасно ждет она,  
И бедные рабы в надежде доли новой  
По-прежнему влачат тяжелые оковы...  
Вам мало этого, хотите больше вы:  
Чтоб снова у ворот ликующей Москвы  
Явился белый царь, и грозный, и правдивый,  
Могучий властелин, отец чадолюбивый...  
А безглагольные любимцы перед ним,  
Опричники, неслись по улицам пустым...  
Чтоб в Думе поп воссел писать свои решенья,  
Чтоб чернокнижием звалось просвещение,  
И родины краса, боярин молодой  
Дрался, бесчинствовал, кичился пред женой,  
А в тереме царя, пред образом закона  
Валяясь и кряхтя, лизал подножье трона.

*25 января 1856*

#### ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

Зимний воздух сжат дремотой...  
В темной зале всё молчит;  
За обычную работой  
Няня старая сидит.  
Вот зевнула, засыпает,  
Что-то под нос бормоча...  
И печально догорает  
Одинокая свеча.



Подле няни на подушке  
Позабывтое дитя  
То глядит в лицо старушке,  
Взором радостно блестя,  
То, кудрявою головкой  
Наклонившись над столом,  
Боязливо и неловко  
Озирается кругом.

Недалёко за стеною  
И веселие, и смех,  
Но — с задумчивой душою  
Мальчик прячется от всех.  
Не боится, как другие,  
Этой мертвой тишины...  
И глаза его большие  
На окно обращены.

Ризой белою, пушистой  
Ели искрятся светло;  
Блещет тканью серебристой  
Льдом одетое стекло;  
Сторона лесов далеких  
Снегом вся занесена,  
И глядит с небес высоких  
Круглолицая луна.

А ребенок невеселый  
К няне жметса и дрожит...  
В зале маятник тяжелый  
Утомительно стучит.  
Няня спицами качает,  
Что-то под нос бормоча...  
И едва, едва мерцает  
Нагоревшая свеча...

*26 февраля 1856*

## ЖИЗНЬ

*К. П. Апухтиной*

Песня туманная, песня далекая,  
И бесконечная, и заунывная,  
Доля печальная, жизнь одинокая,  
Слез и страдания цепь непрерывная...

Грустным аккордом она начинается...  
В звуках аккорда, простого и длинного,  
Слышу я, вопль из души вырывается,  
Вопль за утратою детства невинного.

Далее звуков раскаты широкие —  
Юного сердца мечты благородные:  
Вера, терпения чувства высокие,  
Страсти живые, желанья свободные.

Что же находим мы? В чувствах — страдания,  
В страсти — мученья залог бесконечного,  
В людях — обман... А мечты и желанья?  
Боже мой! Много ли в них долговечного?

Старость подходит часами невольными,  
Тише и тише аккорды печальные...  
Ждем, чтоб над нами, в гробу безглагольными,  
Звуки кругом раздались погребальные...

После... Но если и есть за могилою  
Песни иные, живые, веселые,  
Жаль нам допеть нашу песню унылую,  
Трудно нам сбросить оковы тяжелые!..

29 февраля 1856

#### ШАРМАНКА

*М. А. Пухтиной*

Я иду через площадь... Звездáми  
Не усыпано небо впотьмах...  
Только слякоть да грязь пред глазами,  
А шарманки мотивы в ушах.

И откуда те звуки, не знаю,  
Но, под них забываться любя,  
Всё прошедшее я вспоминаю  
И ребенком вновь вижу себя.

В долгий вечер, бывало, зимою  
У рояли я сонный сижу.  
Ты играешь, а я за тобою  
Неотвязчивым взором слежу.

То исчезнут из глаз твои руки,  
То по клавишам явятся вдруг,  
И чудесные, стройные звуки  
Так ласкают и нежат мой слух.

А потом я рукою нетвердой  
Повторяю урок в тишине,  
И приятней живого аккорда  
Твой же голос слышится мне.

Вот он тише звучит и слабее,  
Вот пропал он в пространстве пустом...  
А шарманка всё громче, звучнее,  
Всё болезненней ноет кругом.

Вспоминаю я пору иную  
И вот вижу: в столице, зимой,  
И с колоннами залу большую,  
И оркестр у подмосток большой.

Его речи, живой, музыкальной,  
Так отрадно, мечтая, внимать,  
То веселой, то томно-печальной,  
И со мною твой образ опять.

И какие бы думе мятежной  
Ни напомнил названья язык,  
Всё мне слышится голос твой нежный,  
Всё мне видится ясный твой лик.

Может быть, и теперь пред роялью,  
Как и прежде, бывало, сидишь  
И с спокойною, тихой печалью  
На далекое поле глядишь.

Может быть, ты с невольной слезою  
Вспоминаешь теперь обо мне?  
И ты видишь: с постылой душою,  
В незнакомой, чужой стороне

Я иду через площадь... Мечтами  
Сердце полно о радостных днях...  
Только слякоть да грязь пред глазами,  
И шарманки мотивы в ушах.

*25 марта 1856*

#### НА НЕВЕ ВЕЧЕРОМ

Плывем. Ни шороха. Ни звука. Тишина.  
Нестройный шум толпы всё дальше замирает,  
И зданий и дерев немая сторона  
Из глаз тихонько ускользает.

Пльвем. Уж зарево полнеба облегло;  
Багровые струи сверкают перед нами;  
Качаяся, скользит покорное весло  
Над полусонными водами...

И сердце просится в неведомую даль,  
В душе проносятся неясные мечтанья,  
И радость томная, и светлая печаль,  
И непонятные желанья.

И так мне хорошо, и так душа полна,  
Что взор с смущением невольным замечает,  
Как зданий и дерев другая сторона  
Всё ближе, ближе подступает.

*30 мая 1856*

### ДОРОГОЙ

*П. И. Чайковскому*

Едешь, едешь в гору, в гору...  
Солнце так и жжет;  
Ни души! Навстречу взору  
Только пыль встает.

Вон, мечты мои волнуя,  
Будто столб вдали...  
Но уж цифры не могу я  
Различить в пыли.

И томит меня дремлю,  
Жарко в голове...  
Точно, помнишь, мы с тобою  
Едем по Неве.

Всё замолкло. Не колышет  
Сонная волна...  
Сердце жадно волей дышит,  
Негой грудь полна,

И под мерное качанье  
Блещущей лады  
Мы молчим, тая дыханье  
В сладком забытии...

Но тряскá моя телега,  
И далек мой путь,  
А до мирного ночлега  
Не могу заснуть.

И опять всё в гору, в гору  
Едешь,— и опять  
Те ж поля являют взору  
Ту ж пустую гладь.

*15 июня 1856*

### ОЖИДАНИЕ ГРОЗЫ

*Н. Д. Карпову*

Ночь близка... На небе черном  
Серых туч ползет громада;  
Всё молчит в лесу нагорном,  
В глубине пустого сада.

Тьмой и сном объаты воды...  
Душен воздух... Вечер длится...  
В этом отдыхе природы  
Что-то грозное таится.

Ночь настанет. Черной тучей  
Пыль поднимется сильнее,  
Липы с силою могучей  
Зашатаются в аллее.

Дождь закапает над нами  
И, собираясь понемногу,  
Хлынет мутными ручьями  
На пылящую дорогу.

Неба пасмурные своды  
Ярким светом озарятся:  
Забушуют эти воды,  
Блеском неба загорятся,

И, пока с краев до края  
Будут пламенем объаты,  
Загудят, не умолкая,  
Грома тяжкие раскаты.

*16 июля 1856*

## ОСЕННЯЯ ПРИМЕТА

Всюду грустная примета:  
В серых тучах небеса;  
Отцветающего лета  
Равнодушная краса;  
Утром холод, днем туманы,  
Шум несносный желобов;  
В час заката — блик багряный  
Отшумевших облаков;

Ночью бури завыванье,  
Иль под кровом тишины  
Одинокие мечтанья,  
Очарованные сны;  
В поле ветер на просторе,  
Крик ворон издавека,  
Дома — скука, в сердце — горе,  
Тайный холод и тоска.

Пору осени унылой  
Сердце с трепетом зовет:  
Вы мне близки, вы мне милы,  
Дни осенних непогод;  
Вечер сумрачный и длинный,  
Мрак томительный ночей...  
Увядай, мой сад пустынный,  
Осыпайся поскорей.

*16 августа 1856*

## ОТРЫВОК

*(Из А. Мюссе)*

Что так усиленно сердце больное  
Бьется, и просит, и жаждет покоя?  
Чем я взволнован, испуган в ночи?  
Стукнула дверь, застонав и заноя,  
Гаснущей лампы блеснули лучи...  
Боже мой! Дух мне в груди захватило!  
Кто-то зовет меня, шепчет уныло...  
Кто-то вошел... Моя келья пуста,  
Нет никого, это полночь пробило...  
О, одиночество, о, нищета!

*2 сентября 1856*

## НОЧЬ

К\*\*\*

Замолкли, путаясь, пустые звуки дня,  
Один я наконец, всё спит кругом меня;  
Всё будто замерло... Но я не сплю: мне больно  
За день, в бездействии утраченный невольно.  
От лампы бледный свет, бродящий по стенам,  
Враждебным кажется испуганным очам;  
Часы так глухо бьют, и с каждым их ударом  
Я чую новый миг, прожитый мною даром.  
И в грезах пламенных меж призраков иных  
Я вижу образ твой, создание дум моих;  
Уж сердце чуткое бежит к нему пугливо...  
Но он так холоден к печали молчаливой,  
И так безрадостен, и так неуловим,  
Что содрогаюсь я и трепещу пред ним...

Но утро близится... Тусклей огня мерцанье,  
Тусклей в моей душе горят воспоминанья...  
Хоть на мгновение обманчивый покой  
Коснется вежд моих... А завтра, ангел мой,  
Опять в часы труда, в часы дневного бденья,  
Ты мне предстанешь вдруг, как грозное виденье.  
Томясь, увижу я средь мелкой суеты  
Осмеянную грусть, разбитые мечты  
И чувство светлое, как небо в час рассвета,  
Заглохшее впотьмах без слов и без ответа!..  
И скучный день пройдет бесплодно... И опять  
В мучительной тоске я буду ночи ждать,  
Чтобы хоть язвами любви неутолимой  
Я любоваться мог, один, никем не зримый...

20 октября 1856

## ОТВЕТ АНОНИМУ

О друг неведомый! Предмет моей мечты,  
Мой светлый идеал в посланьи безымянном  
Так грубо очертить напрасно хочешь ты:  
Я клеветам не верю странным.

А если ты и прав,— я чудный призрак мой,  
Я ту любовь купил ценой таких страданий,  
Что не отдам ее за мертвенный покой,  
За жизнь без муки и желаний.

Так, ярким пламенем утешен и согрет,  
Младенец самый страх и горе забывает,  
И тянется к огню, и ловит беглый свет,  
И крикам няни не внимает.

29 октября 1856

### БОЖИЙ МИР

*В. Н. Юферову*

Как на божий мир, премудрый и прекрасный,  
Я взгляну прилежней думой беспристрастной,

Точно будто тщетно плача и тоскуя,  
У дороги пыльной в знойный день стою я...

Тянется дорога полосой длинной,  
Тянется до моря... Всё на ней пустынно!

Нет кругом деревьев, лишь одни кривые  
Высятся печально веи верстовые;

И по той дороге вдаль неутомимо  
Идут пешеходы мимо всё да мимо.

Что у них за лица? С невеселой думой  
Смотрят исподлобья злобно и угрюмо;

Те без рук, другие глухи, а иные  
Идут спотыкаясь, точно как слепые.

Тесно им всем вместе, ни один не может  
Своротить с дороги — всех перетревожит...

Разве что телега пробежит порою,  
Бледных трупов ряд оставя за собою...

Мрут они... Телега бедняков сдавила —  
Что ж! Не в первый раз ведь слабых давит сила;

И телеге тоже ведь не меньше горя:  
Только поскорее добежит до моря...

И опять всё смолкнет... И всё мимо, мимо  
Идут пешеходы вдаль неутомимо,

Идут без ночлега, идут в полдень знойный,  
С пылью поднимая гул шагов нестройный.



Где ж конец дороги?

За верстой последней,  
Омывая берег у скалы соседней,

Под лучами солнца, в блеске с небом споря,  
Плещется и бьется золотое море.

Вод его не видя, шуму их не внемля,  
Бедные ступают прямо как на землю;

Воды, расступаясь, путников, как братьев,  
Тихо принимают в мертвые объятия,

И они всё так же злобно и угрюмо  
Исчезают в море без следа и шума.

Говорят, что в море, в этой бездне чудной,  
Взыщется сторицей путь их многотрудный,

Что за каждый шаг их по дороге пыльной  
Там вознагражденье пышно и обильно!

Говорят... А море в красоте небесной  
Также нам незримо, также неизвестно,

А мы видим только вехи верстовые —  
Прожитые даром годы молодые,

Да друг друга видим — пешеходов темных,—  
Тружеников вечных, странников бездомных,

Видим жизнь пустую, путь прямой и дальний,  
Пыльную дорогу — божий мир печальный...

*15 ноября 1856*

#### ПОСЛЕ БАЛА

Уж к утру близилось... Унынье превозмочь  
На шумном празднике не мог я и тоскливо  
Оставил скучный пир. Как день, сияла ночь.  
Через Неву домой я ехал торопливо.

Всё было так мертво и тихо на реке.  
Казались небеса спокойствием объяты;  
Облитые луной, белели вдалеке  
Угрюмые дворцы, заснувшие палаты;

И скрип моих саней один звучал кругом,  
Но музыке иной внимал я слухом жадным:  
То тихий стон ее в безмолвии ночном  
Мне душу потрясал каким-то сном отрадным.

И чудилось мне: под тканью золотой,  
При ярком говоре толпы немых видений,  
В неведомой красе носились предо мной  
Такие светлые, сияющие тени...

То вдруг какой-то страх и чувство пустоты  
Сжимали грудь мою... Сменяя призрак ложный,  
Другие чередой являлись мечты,  
Другой носился бред, и странный и тревожный.

Пустыней белою тот пир казался мне;  
Тоска моя росла, росла, как стон разлуки...  
И как-то жалобно дрожали в тишине  
Напева бального отрывочные звуки.

*4 января 1857*

\* \* \*

Напрасно в час печали непонятной  
Я говорю порой,  
Что разлюбил навек и безвозвратно  
Несчастный призрак твой,  
Что скоро всё пройдет, как сновиденье...  
Но отчего ж пока  
Меня томят и прежнее волненье,  
И робость, и тоска?  
Зачем везде, одной мечтой томимый,  
Я слышу в шуме дня,  
Как тот же он, живой, неотразимый,  
Преследует меня?  
Настанет ночь. Едва в мечтаньях странных  
Начну я засыпать,  
Над миром грез и образов туманных  
Он носится опять.

Проснусь ли я, припомню ль сон мятежный,  
Он тут: глаза блестят;  
Таким огнем, такою лаской нежной  
Горит могучий взгляд...  
Он шепчет мне: «Забудь твои сомненья!»  
Я слышу звуки слов...  
И весь дрожу, и снова все мученья  
Переносить готов.

18 марта 1857

22 МАРТА 1857 ГОДА

*Н. И. Мартынову*

О, боже мой! Зачем средь шума и движенья,  
Среди толпы веселой и живой  
Я вдруг почувствовал невольное смущенье,  
Исполнился внезапною тоской?  
При звуках музыки, под звуки жизни шумной,  
При возгласах ликующих друзей  
Картины грустные любви моей безумной  
Предстали мне полнее и живей.  
Я бодро вновь терплю, что в страсти безнадежной  
Уж выстрадал, чего уж больше нет,  
Я снова лепечу слова молитвы нежной,  
Я слышу вопль — и слышу смех в ответ.  
Я вижу в темноте сверкающие очи,  
Я чувствую, как снова жгут они...  
Я вижу все в слезах проплаканные ночи,  
Все в праздности утраченные дни!  
И в будущее я смотрю мечтой несмелой...  
Как страшно мне, как всё печально в нем!  
Вот пир окончится... и в зале опустелой  
Потухнет свет... И ночь пройдет. Потом,  
Смеясь, разъедутся, как в праздники, бывало,  
Товарищи досугов годовых;  
Останется у всех в душе о нас так мало,  
Забудется так много у иных...  
Но я... забуду ли прожитые печали,  
То, что уж мной оплакано давно?  
Нет, в сердце любящем, как в этой полной зале,  
Всё станет вновь и пусто и темно.  
И этих тайных слез, и этой горькой муки,  
И этой страшной мертвой пустоты  
Не заглушат вовек ни шумной жизни звуки,  
Ни юных лет веселые мечты.

22 марта 1857

## РУССКИЕ ПЕСНИ

Как сроднились вы со мною,  
Песни родины моей,  
Как внемлю я вам порою,  
Если вечером с полей  
Вы доносите, живые,  
И в безмолвии ночном  
Мне созвучья дорогие  
Долго слышатся потом.

Не могучий дар свободы,  
Не монахи мудрецы,—  
Создавали вас невзгоды  
Да безвестные певцы.  
Но в тяжелые години  
Весь народ, до траты сил,  
Весь — певец своей кручины —  
Вас в крови своей носил.

И как много в этих звуках  
Непонятого слилось!  
Что за удаль в самых муках,  
Сколько в смехе тайных слез!  
Вечным рабством бедной девы,  
Вечной бедностью мужей  
Дышат грустные напевы  
Недосказанных речей...

Что за речи, за герои!  
То — бог весть какой поры —  
Молодецкие разбои,  
Богатырские пиры;  
То Москва, татарин злобный,  
Володимир, князь святой...  
То, журчанью вод подобный,  
Плач княгини молодой.

Годы идут чередою...  
Песни нашей старины  
Тем же рабством и тоскою,  
Той же жалобой полны;  
А подчас всё так же вольно  
Славят солнышко-царя,  
Да свой Киев богомольный,  
Да Илью-богатыря.

*1 июля 1857*

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

О, помнишь ли, давно,— еще детьми мы были —  
На шумном вечере мы встретились с тобой.  
Но этот шум и блеск нас нѣхотя томили,  
Мы вышли на балкон. Мы мало говорили,  
Нас ночь объяла вдруг отрадной тишиной.

Сквозь стекла виделось нам бледных свеч мерцанье,  
Из комнат слышался нестройный гул речей;  
А в небе виделось горячих звезд сверканье,  
Из сада слышалось деревьев колыханье,  
Над ближней рощей пел влюбленный соловей.

Я на тебя смотрел. Я чувство молодое  
Любовию тогда назвать еще не смел..  
Но я взволнован был в торжественном покое,  
Но я дышавшее безмолвие ночное  
Прервать ни голосом, ни вздохом не хотел.

Чему-то тайному разгадки неизбежной  
Я с первым звуком ждал... Мгновение прошло.  
И вдруг я зарыдал, проникнут грустью нежной,  
А в глубине души светло и безмятежно  
Такое полное веселие цвело.

8 июля 1857

## УСПОКОЕНИЕ

Я видел труп ее безгласный!..  
Я на темневшие черты —  
Следы минувшей красоты —  
Смотрел и долго и напрасно!  
А с поля говор долетал,  
Народ толпился в длинной зале,  
Дьячок, крестясь, псалтырь читал,  
У гроба женщины рыдали,  
И, с бледным отблеском свечи  
В окне сливаясь незаметно,  
Кругом вечерние лучи  
Ложились мягко и приветно.

И я, смущенный, в сад пошел..  
(Тоска и страх меня томили.)  
Но сад всё так же мирно цвел,  
Густые липы те же были,  
Всё так же синего пруда  
Струи блестели в синей дали,  
Всё так же птицы иногда

Над темной рощей распевали.  
И ветер, тихо пролетев,  
Скользил по елям заостренным,  
Звонящий иволги напев  
Сливая с плачем отдаленным.

23 июля 1857

СЕРЕНАДА ШУБЕРТА

Ночь уносит голос страстный,  
Близок день труда...  
О, не медли, друг прекрасный,  
О, приди сюда!

Здесь свежо росы дыханье,  
Звучен плеск ручья,  
Здесь так полны обаянья  
Песни соловья!

И так внятны в этом пеньи,  
В этот час любви,  
Все рыданья, все мученья,  
Все мольбы мои!

11 сентября 1857

\* \* \*

Я знал его, любви прекрасный сон,  
С неясными мечтами вдохновенья...  
Как плеск струи, был тих вначале он,  
Как майский день, светлы его виденья.  
Но чем быстрее сгущался мрак ночной,  
Чем дальше вглубь виденья проникали,  
Тем всё бледней неслись они толпой,  
И образы другие их сменяли.

Я знал его, любви тяжелый бред,  
С неясными порывами страданья,  
Со всей горячностью незрелых лет,  
Со всей борьбой ревнивого терзанья...  
Я изнывал. Томителен и жгуч,  
Он с тьмою рос и нестерпимо длился...  
Но день пришел, и первый солнца луч  
Рассеял мрак. И призрак ночи скрылся.

Когда ж теперь с невольною тоской,  
Чрез много дней томим воспоминаньем,  
Я на тебя гляжу, о ангел мой,  
И трепещу несбыточным желаньем,—

Тогда, поверь, далекий страсти гул  
Меня страшит, я счастьем не грежу:  
Мне кажется, что сладко я заснул  
И что сейчас мучительно забрежу.

*Сентябрь 1857*

СЕГОДНЯ МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ...

«Шестнадцать только лет!» — с улыбкою холодной  
Твердили часто мне друзья: —  
«И в эти-то года такой тоской бесплодной  
Звучит элегия твоя!  
О, нет! Напрасно, вняв ребяческим мечтаньям,  
О них рассказывал ты нам;  
Не верим мы твоим непризнанным страданиям,  
Твоим проплаканным ночам.  
Взгляни на нас: толпой беспечно горделивой  
Идем мы с жребием своим,  
И жребий наш течет так мирно, так счастливо,  
Что мы иного не хотим.  
На чувство каждое мы смотрим безразлично,  
А если и грустим порой,  
Смотри, как наша грусть спокойна и прилична,  
Как вся проникнута собой!  
Пускай же говорят, что теплого участия  
В нас горе ближних не найдет,  
Что наша цель мелка, что грубо наше счастье,  
Что нами двигает расчет;  
Давно прошла пора, когда не для забавы  
Таких бы слушали речей:  
Теперь иной уж век, теперь иные нравы,  
Иные страсти у людей.  
А ты? Ты жить, как мы, не хочешь, не умеешь,  
И, полон гордой суеты,  
Еще, как неба дар, возносишь и лелеешь  
Свои безумные мечты...  
Поэт, беги ты их, как губительной заразы,—  
Их судит строгая молва,  
И все они, поверь, одни пустые фразы  
И заученные слова!»

Не для судей моих в ответ на суд жестокий,  
Но для тебя, былых годов  
Мой друг единственный, печальный и далекий,  
Я сердце высказать готов.  
Ты понял скорбь души, заглохшей на чужбине,  
Но сам нередко говорил,

Что должен я беречь и прятать, как святыню,  
Ее невысказанный пыл.  
Ты музу скромную, не зная оправданья,  
Так откровенно презирал...  
О, я тебе скажу, как часто в час страданья  
Ее, изменницу, я звал!  
Я расскажу тебе, как я в тоске нежданной,  
Ища желаньям предел,  
Однажды полюбил... такой любовью странной,  
Что долго верить ей не смел.  
Бог ведь, избыток чувств рвался ли неотвязно  
Излиться вдруг на ком-нибудь,  
Воображение ль кипело силой праздной,  
Дышала ль чувственностью грудь,—  
Но только знаю я, что в жизни одинокой  
То были лучшие года,  
Что я так пламенно, правдиво и глубоко  
Любить не буду никогда.  
И что ж? Неузнанны, осмеяны, разбиты,  
К ногам вседневной суеты  
Попадали кругом, внезапной тьмой покрыты,  
Мои горячие мечты.  
Во тьме глухих ночей, глотая молча слезы  
(А слез, как счастья, я ждал!),  
Проклятьями корил я девственные грезы  
И понапрасну проклинал...  
Порой на будущность надежда золотая  
Еще светлела впереди,  
Но скоро и она погасла, умирая,  
В моей измученной груди...

Тому уж год прошел, то было ночью темной.  
Раз, помню, выбившись из сил,  
Покинув шумный пир, по площади огромной  
Я торопливо проходил.  
Бог знает, отчего тогда толпы веселой  
Мне жизнь казалась далека,  
И на сердце моем, как камня гнет тяжелый,  
Лежала черная тоска.  
Я помню, мокрый снег мне хлопьями нещадно  
Летел в лицо; над головой  
Холодный ветер выл; пучиной безотрадной  
Висело небо надо мной.  
Я подошел к Неве... Из-за свинцовой дали  
Она глядела все темней,  
И волны в полосах багровых колебали  
Зловещий отблеск фонарей.  
Я задрожал... И вдруг, отчаяньем томимый,  
С последним ропотом любви



На мысль ужасную напал... О, мимо, мимо,  
Воспоминания мои!

. . . . .  
. . . . .

Но образы иные

Меня преследуют порой:

То детства мирного виденья золотые  
Встают нежданно предо мной,  
И через длинный ряд тоски, забот, сомненья  
Опять мне слышатся в тиши  
И игры шумные, и тихие моления,  
И смех неопытной души.  
То снова новичком себя я вижу в школе...  
Мой громкий смех замолк давно;  
Я жадно рвусь душой к родным полям и к воле,  
Мне все так дико и темно.  
И тут-то в первый раз, небесного напева  
Кидая звуки по земле,  
Явилась мне она, божественная дева,  
С сияньем музыки на челе.  
Могучей красотой она не поражала,  
Не обнажала скромных плеч,  
Но сладость тихую мне в душу проливала  
Ее замедленная речь.  
С тех пор везде со мной: в трудах, в часы досуга,  
В мечте обманчивого сна,  
С словами нежными заботливого друга,  
Как тень, носилась она;  
Дрожащий звук струны, шумящий в поле колос,  
Весь трепет жизни в ней кипел;  
С рыданием любви ее сливался голос  
И песни жалобные пел.  
Но, утомленная моей борьбой печальной,  
Моих усилий не ценя,  
Уже давно, давно с усмешкою печальной  
Она покинула меня;  
И для меня с тех пор весь мир исчез, объятый  
Какой-то страшной пустотой,  
И сердце сражено последнею утратой,  
Забилось прежнею тоской.

Вчера еще в толпе, один, ища свободы,  
Я, незамеченный, бродил  
И тихо вспоминал все прожитые годы,  
Все, что я в сердце схоронил.  
«Семнадцать только лет! — твердил я, изнывая,—  
А сколько горечи, и зла,  
И бесполезных мук мне эта жизнь пустая  
Уже с собою принесла!»

Я чувствовал, как рос во мне порыв мятежный,  
Как желчь кипела все сильней,  
Как мне противен был и говор неизбежный,  
И шум затверженных речей...  
И вдруг передо мной, небесного напева  
Кидая звуки по земле,  
Явилась она, божественная дева,  
С сияньем музы на челе.  
Как я затрепетал, проникнут чудным взором,  
Как разом сердце расцвело!  
Но строгой важностью и пламенным укором  
Дышало милое чело.  
«Когда взволнован ты,— она мне говорила,—  
Когда с тяжелою тоской  
Тебя влечет к добру неведомая сила,  
Тогда зови меня и пой!  
Я в голос твой пролью живые звуки рая,  
И пусть не слушают его,  
Но с ним твоя печаль, как пыль, исчезнет злая  
От дуновенья моего!  
Но в час, когда томим ты мыслью беспокойной,  
Меня, посланницу любви,  
Для желчных выходов, для злобы недостойной  
И не тревожь, и не зови!..»  
Скажи ж, о муза, мне: святому обещанью  
Теперь ты будешь ли верней?  
По-прежнему ль к борьбе, к труду и упованью  
Пойдешь ты спутницей моей?  
И много ли годов, тая остаток силы,  
С тобой мне об руку идти,  
И доведешь ли ты скитальца до могилы  
Или покинешь на пути?  
А может быть, на стон едва воскресшей груди  
Ты безответно замолчишь,  
Ты сердце скорбное обманешь, точно люди,  
И точно радость — улетишь?..  
Быть может, и теперь, как смерть неумолима,  
Затем явилась ты сюда,  
Чтобы в последний раз блеснуть неотразимо  
И чтоб погибнуть навсегда?

*СПб., 15 ноября 1857*

#### КОМЕТА

*(Из Беранже)*

Бог шлет на нас ужасную комету,  
Мы участи своей не избежим.  
Я чувствую, конец подходит свету;  
Все компасы исчезнут вместе с ним.

С пирушки прочь вы, пившие без меры,  
Не многим был по вкусу этот пир,—  
На исповедь скорее, лицемеры!  
Довольно с нас: состарелся наш мир.

Да, бедный шар, тебе борьбы отважной  
Не выдержать; настал последний час:  
Как спущенный с веревки змей бумажный,  
Ты полетишь, качаясь и крутясь.  
Перед тобой безвестная дорога...  
Лети туда, в безоблачный эфир...  
Погаснет он — светил еще так много!  
Довольно с нас: состарелся наш мир...

О, мало ли опошленных стремлений,  
Прозваньями украшенных глушцов,  
Грабительств, войн, обманов, заблуждений  
Рабов-царей и подданных рабов?  
О, мало ль мы от будущего ждали,  
Лелеяли наш мелочный кумир...  
Нет, слишком много желчи и печали.  
Довольно с нас: состарелся наш мир.

А молодежь твердит мне: «Всё в движеньи,  
Всё под шумок гнилые цепи рвет,  
И светит газ, и зреет просвещение,  
И по морю летает пароход...  
Вот подожди, раз двадцать минет лето —  
На мрак ночной повеет дня зефир...»  
— Я тридцать лет, друзья, всё жду рассвета!  
Довольно с нас: состарелся наш мир.

Была пора: во мне любовь кипела,  
В груди кипел запас горячих сил...  
Не покидать счастливого предела  
Тогда я землю пламенно молил!  
Но я отцвел; краса бежит поэта;  
Навек умолк веселых песен клир...  
Иди ж скорей, нещадная комета.—  
Довольно с нас — состарелся наш мир.

*2 декабря 1857*

#### В ТЕАТРЕ

Часто, наскучив игрой бесталанною,  
Я забываюсь в толпе,  
Разные мысли, несвязные, странные,  
Бродят тогда в голове.

Тихо мне шепчет мечта неотлучная:  
Вот наша жизнь пред тобой,  
Та же комедия, длинная, скучная,  
Разве что автор другой.  
А ведь сначала, полны ожидания,  
Входим мы... Пламень в груди...  
Много порывов, и слез, и желания,  
Много надежд впереди.  
Но чуть ступили на сцену мы новую —  
Пламень мгновенно погас:  
Глупо лепечем мы роль бестолковую,  
Холодно слушают нас.  
Если ж среди болтовни утомительной  
В ком-нибудь вырвется стон  
И зазвучит обо всем, что мучительно  
В сердце подслушает он,—  
Тут-то захлопают!.. Рукоплескания,  
Крики... Минута пройдет...  
Мощное слово любви и страдания  
Так же бесплодно замрет.  
Тянутся, тянутся сцены тяжелые,  
Стынут, черствея, сердца,  
Мы пропускаем уж сцены веселые,  
Ждем терпеливо конца.  
Занавесь спущена... Лавры завидные,  
Может гордиться артист;  
Слышно порой сожаленье обидное,  
Чаще зевота и свист.  
Вот и разъехались... Толки безвредные  
Кончены... Говор затих,  
Мы-то куда ж теперь денемся, бедные,  
Гаеры жалкие их!  
В длинном гробу, как на дроги наемные,  
Ляжем,— и в путь без сумы  
Прямо домой через улицы темные  
Тихо потащимся мы.  
Выедем за город... Поле широкое...  
Камни, деревья, кресты...  
Снизу чернеет нам яма глубокая,  
Звезды глядят с высоты...  
Тут мы и станем... И связанных странников  
Только бы сдать поскорей —  
В грязный чулан нас запрут, как изгнанников  
С родины милой своей.  
Долго ли нас там продержат — не сказано,  
Что там — не знает никто,  
Да и нам знать-то того не приказано,  
Знает хозяин про то.

28 декабря 1857

## РАССВЕТ

Видали ль вы рассвета час  
За ночью темной и ненастной?  
Давно уж буря пронеслась,  
Давно уж смолкнул гул ужасный,  
Но всё кругом еще хранит  
Тяжелый след грозы нестройной,  
Всё ждет чего-то и молчит!..  
Всё полно мысли беспокойной.

Но вот у тучи роковой  
Вдруг прояснился угол белый;  
Вот за далекою горой  
С востока что-то заалело;  
Вон там повыше брызнул свет.  
Он вновь исчезнет ли за тучей  
Иль станет славный и могучий  
Среди небес?..

Ответа нет...

Но звук пастушеской свирели  
Уж слышен в тишине полей,  
И воздух кажется теплей,  
И птички ранние запели.  
Туманы, сдвинувшись сперва,  
Несутся, ветром вдаль гонимы.

Теперь таков наш край родимый,  
Теперь Россия такова.

*6 января 1858*

## К ПРОПАВШИМ ПИСЬМАМ

Как по товарищу недавней нищеты  
Друзья терзаются живые,  
Так плачу я о вас, заветные листы,  
Воспоминая дорогие!..  
Бывало, утомясь страдать и проклинать,  
Томим бесцельною тревогой,  
Я с напряжением прочитывал опять  
Убогих тайн запас убогий.  
В одних я уловлял участия краткий миг,  
В других какой-то смех притворный,  
И всё благословлял, и всё в мечтах моих  
Хранил я долго и упорно.

Но больше всех одно мне памятно... Оно  
Кругом исписано всё было,  
Наместо подписи — чернильное пятно,  
Как бы стыдился, имя скрыло;  
Так много было в нем раскаянья и слез,  
Так мало слов и фразы шумной,  
Что, помню, я и сам тоски не перенес  
И зарыдал над ним, безумный.  
Кому же нужно ты, нескладное письмо,  
Зачем другой тобой владеет?  
Кто разберет в тебе страдания клеймо  
И оценить тебя сумеет?  
Хозяин новый твой не скажет ли, шутя,  
Что чувства в авторе глубоки,  
Иль просто осмеет, как глупое дитя,  
Твои оплаканные строки?..  
Найду ли я тебя? Как знать! Пройдут года,  
Тебя вернет мне добрый гений...  
Но как мы встретимся?.. Что буду я тогда,  
Затерянный в глуши сомнений?  
Быть может, как рука, писавшая тебя,  
Ты станешь чуждо мне с годами,  
А может быть, опять, страдая и любя,  
Я оболью тебя слезами!..  
Бог весть! Но та рука еще живет; на ней,  
Когда-то теплой и любимой,  
Всей страсти, всей тоски, всей муки прежних дней  
Хранится след неизгладимый.  
А ты?.. Твой след пропал... Один в тиши ночной  
С пустой шкатулкой сижу я,  
Сгоревшая свеча дрожит передо мной,  
И сердце замерло, тоскуя.

25 января 1858

Е. А. ХВОСТОВОЙ

*Экспромт*

Добры к поэтам молодым,  
Вы каждым опытом моим  
Велели мне делиться с вами;  
Но я боюсь... Иной поэт,  
Чудесным пламенем согрет,  
Вас пел могучими стихами.

Вы были молоды тогда,  
Для вдохновенного труда  
Ему любовь была награда.

Вы отцвели — поэт угас,  
Но он поклялся помнить вас  
И в небесах, и в муках ада.

Я верю клятве роковой,  
Я вам дрожащею рукой  
Пишу свои стихотворенья  
И как несмелый ученик  
У вас хотя б на этот миг  
Прошу *его* благословенья.

*1 февраля 1858*

#### МОЕ ОПРАВДАНИЕ

Не осуждай меня холодной думой,  
Не говори, что только тот страдал,  
Кто в нищете влачил свой век угрюмый,  
Кто жизни яд до капли выпивал.

А тот, кого едва не с колыбели  
Тяжелое сомнение гнетет,  
Кто пред собой не видит ясной цели  
И день за днем безрадостно живет;

Кто навсегда утратил веру в счастье,  
Томясь, молил отрады у людей  
И не нашел желанного участия,  
И потерял изменчивых друзей;

Чей скорбный стон, стесненный горький шепот  
В тиши ночей мучительно звучал...  
Ужели в том таиться должен ропот?  
Ужели тот, о, боже! не страдал!

*12 марта 1858*

#### В ВАГОНЕ

Спите, соседи мои!  
Я не засну, я считаю украдкой  
Старые язвы свои...  
Вам же ведь спится спокойно и сладко,  
Спите, соседи мои!

Что за сомненье в груди!  
Боже, куда и зачем я поеду?

Есть ли хоть цель впереди?  
Разве чтоб быть изголовьем соседу...  
Спите, соседи мои!

Что за тревоги в крови!  
А, ты опять тут, бывшее страданье,  
Вечная жажда любви...  
О, удалитесь, засните, желанья...  
Спите, мученья мои!

Но уж тусклей огоньки  
Блещут за стеклами... Ночь убегает,  
Сердце болит от тоски,  
Тихо глаза мне дремота смыкает...  
Спите, соседи мои!

*27 марта 1858*

#### РАСЧЕТ

Я так тебя любил, как ты любить не можешь:  
Безумно, пламенно... с рыданием немым.  
Потухла страсть моя, недуг неизлечим,—  
Ему забвеньем не поможешь!

Всё кончено... Иной я отдаюсь судьбе,  
С ней я могу идти бесстрастно до могилы;  
Ей весь избыток чувств, ей весь остаток силы,  
Одно проклятие — тебе.

*6 июня 1858*

#### А. А. ФЕТУ

Прости, прости, поэт! Раз, сам того не чая,  
На музу ты надел причудливый убор;  
Он был ей не к лицу, как вихорь — ночи мая,  
Как русской деве — томный взор!

Его заметила на музе величавой  
Девчонка резвая, бежавшая за ней,  
И стала хохотать, кривляясь лукаво  
Перед богинею твоей.

Но строгая жена с улыбкою взирала  
На хохот и прыжки дикарки молодой,  
И, гордая, прошла и снова заблестала  
Неувядаемой красой.

*1858*



Гремела музыка, горели ярко свечи,  
Вдвоем мы слушали, как шумный длился бал,  
Твоя дрожала грудь, твои пылали плечи,  
Так ласков голос был, так нежны были речи;  
Но я в смущении не верил и молчал.

В тяжелый горький час последнего прощанья  
С улыбкой на лице я пред тобой стоял,  
Рвалась грудь моя от боли и страданья,  
Печальна и бледна, ты жаждала признанья...  
Но я в волнении томился и молчал.

Я ехал. Путь лежал передо мной широко...  
Я думал о тебе, я всё припоминал,  
О, тут я понял всё, я полюбил глубоко,  
Я говорить хотел, но ты была далеко,  
Но ветер выл кругом... я плакал и молчал.

22 июля 1858

MEMENTO MORI\*

Когда о смерти мысль приходит мне случайно,  
Я не смущаюсь ее глубокой тайной,  
И, право, не крушусь, где сброшу этот прах,  
Напрасно гибнущую силу;  
На пышном ложе ли, в изгнании ли, в волнах,  
Для похорон друзья сберутся ли уныло,  
Напьются ли они на тех похоронах  
Иль неотпетого свезут меня в могилу,—  
Мне это всё равно... Но если, боже мой!  
Но если не всего меня разрушит тленье  
И жизнь за гробом есть,—услышь мой стон больной,  
Услышь мое тревожное моленье!

Пусть я умру весной. Когда последний снег  
Растает на полях и радостно на всех  
Пахнет дыханье жизни новой,  
Когда бессмертия постигну я мечту,  
Дай мне перелететь опять на землю ту,  
Где я страдал так горько и сурово.  
Дай мне хоть раз еще взглянуть на те поля,  
Узнать, всё так же ли вращается земля  
В своем величьи неизменном,

---

\* Помни о смерти (лат.).

И те же ли там дни, и так же ли роса  
Слетает по утрам на берег полусонный,  
И так же ль сини небеса,  
И так же ль рощи благовонны?  
Когда ж умолкнет всё и тихо над землей  
Зажжется свод небес далекими огнями,  
Через волны облаков, облитые луной,  
Я понесусь назад, неслышный и немой,  
Несметными окутанный крылами.  
Навстречу мне деревья, задрожав,  
В последний раз пошлют свой ропот вечный,  
Я буду понимать и шум глухой дубрав,  
И трели соловья, и тихий шелест трав,  
И речки говор бесконечный.  
И тем, по ком страдал я чувством молодым,  
Кого любил с таким самозабвением,  
Явлюся я... не другом их былым,  
Не призраком могилы роковым,  
Но грезой легкою, но тихим сновиденьем.  
Я всё им расскажу. Пускай хоть в этот час  
Они поймут, какой огонь свободный  
В груди моей горел, и тлел он, и угас,  
Неоцененный и бесплодный.  
Я им скажу, как я в былые дни  
Из душевной темноты напрасно к свету рвался,  
Как заблуждаются они,  
Как я до гроба заблуждался!

*19 сентября 1858*

\* \* \*

Глянь, как тускло и бесплодно  
Солнце осени глядит,  
Как печально дождь холодный  
Каплет, каплет на гранит.

Так без счастья, без свободы,  
Увядая день за днем,  
Скучно длятся наши годы  
В ожидании тупом.

Если б страсть хоть на мгновенье  
Отуманила глаза,  
Если б вечер наслажденья,  
Если б долгая гроза!

Бьются ровно наши груди,  
Одиноки вечера...  
Что за небо, что за люди,  
Что за скучная пора?

19 октября 1858

19 ОКТЯБРЯ 1858 ГОДА

*Памяти Пушкина*

Я видел блеск свечей, я слышал скрипок вой,  
Но мысль была чужда напевам бестолковым,  
И тень забытая носилась предо мной  
В своем величии суровом.

Курчавым мальчиком, под сень иных садов  
Вошел он в первый раз, исполненный смущенья;  
Он помнил этот день среди своих пиров,  
Среди невзгод и заточенья.

Я вижу: дремлет он при свете камелька,  
Он только ветра свист да голос бури слышит;  
Он плачет, он один... и жадная рука  
Привет друзьям далеким шлет.

Увы! где те друзья? Увы! где тот поэт?  
Невинной жертвою пал труп его кровавый...  
Пируйте ж, юноши: его меж вами нет,  
Он не смутит вас дерзкой славой!

19 октября 1858

ИЗ ЛЕНАУ

Вечер бурный и дождливый  
Гаснет... Всё молчит кругом;  
Только грустно шепчут ивы,  
Наклоняясь над прудом.

Я покинул край счастливый...  
Слезы жгучие тоски —  
Лейтесь, лейтесь... Плачут ивы,  
Ветер клонит тростники.

Ты одна сквозь мрак тоскливый  
Светишь, друг, мне иногда,  
Как сквозь плачущие ивы  
Светит вечера звезда.

21 ноября 1858

## ИЗ ГЕЙНЕ

Меня вы терзали, томили,  
Измучили сердце тоской,  
Одни — своей скучной любовью,  
Другие — жестокой враждой.

Вы хлеб отравили мне, ядом  
Вы кубок наполнили мой,  
Одни — своей скучной любовью,  
Другие — жестокой враждой.

Лишь та, что всех больше терзала  
И мучила с первого дня,—  
Как мало она враждовала,  
Как мало любила меня.

*29 ноября 1858*

## ИЗ БАЙРОНА

Мечтать в полях, взбегать на выси гор,  
Медлительно среди лесов дремучих  
Переходить, где никогда топор  
Не пролагал следов своих могучих;  
Без цели мчаться по полям пустым,  
И слушать волн немолчное журчанье,  
И всё мечтать — не значит быть одним...  
То — разговор с природой и слиянье,  
То — девственных красот немое созерцанье!..

Но, посреди забот толпы людской,  
Всё видеть, слышать, чувствовать глубоко,  
И одному бродить в тоске немой,  
И скукою измучиться жестоко...  
И никого не встретить из людей,  
Кому бы рассказать души мученья,  
Кто вспомнил бы по смерти нас теплей,  
Чем всё, что лжет, и льстит, и кроет мщенье...  
Вот — одиночество... вот, вот — уединенье!

*4 декабря 1858*

## МОЛОДАЯ УЗНИЦА

(Из А. Шенье)

«Неспелый колос ждет, не тронутый косой,  
Всё лето виноград питается росой,  
Грозящей осени не чуя;  
Я также хороша, я также молода!  
Пусть все полны кругом и страха, и стыда,—  
Холодной смерти не хочу я!

Лишь стойк сгорбленный бежит навстречу к ней,  
Я плачу, грустная... В окно тюрьмы моей  
Приветно смотрит блеск лазури,  
За днем безрадостным и радостный придет:  
Увы! Кто пил всегда без пресыщенья мед?  
Кто видел океан без бури?

Широкая мечта живет в моей груди,  
Тюрьма гнетет меня напрасно: впереди  
Летит, летит надежда смело...  
Так, чудом избежав охотника сетей,  
В родные небеса счастливей и смелей  
Несется с песней Филомела.

О, мне ли умереть? Упреком не смущен,  
Спокойно и легко проносится мой сон  
Без дум, без призраков ужасных;  
Явлюсь ли утром, все приветствуют меня,  
И радость тихую в глазах читаю я  
У этих узников несчастных.

Жизнь, как знакомый путь, передо мной светла,  
Еще деревьев тех немного я прошла,  
Что смотрят на дорогу нашу;  
Пир жизни начался, и, кланяясь гостям,  
Едва, едва поднести успела я к губам  
Свою наполненную чашу.

Весна моя цветет, я жатвы жду с серпом:  
Как солнце, обойдя вселенную кругом,  
Я кончить год хочу тяжелый;  
Как зреющий цветок, краса своих полей,  
Я свет увидела из утренних лучей,—  
Я кончить день хочу веселый.

О смерть! Меня твой лик забвеньем не манит.  
Ступай утешить тех, кого печаль томит  
Иль совесть мучит, негодуя...

А у меня в груди тепло струится кровь,  
Мне рощи темные, мне песни, мне любовь...  
Холодной смерти не хочу я!»

Так, пробудясь в тюрьме, печальный узник сам,  
Внимал тревожно я замедленным речам  
Какой-то узницы... И муки,  
И ужас, и тюрьму — я всё позабывал  
И в стройные стихи, томясь, перелагал  
Ее пленительные звуки.

Те песни, чудные свидетели тюрьмы,  
Кого-нибудь склонят певицу этой тьмы  
Искать, назвать ее своею...  
Был полон прелести аккорд звеневших нот,  
И, как она, за дни бояться станет тот,  
Кто будет проводить их с нею.

*13 декабря 1858*

#### ИЗ ГЕЙНЕ

Три мудрых царя из полуденных стран  
Кричали, шатаясь по свету:  
«Скажите, ребята, нам путь в Вифлеем!» —  
И шли, не дождавшись ответа.

Дороги в тот город не ведал никто,  
Цари не смущались этим:  
Звезда золотая их с неба вела  
Назло непонятливым детям.

Над домом Иосифа стала звезда;  
Цари туда тихо вступали;  
Теленок ревел там, ребенок кричал,  
Святые цари подпевали.

*13 декабря 1858*

#### ИЗ ГЕЙНЕ

Я каждую ночь тебя вижу во сне  
В толпе незнакомых видений,  
Приветливо ты улыбаешься мне,  
Я плачу, упав на колени.

Ты долго и грустно глядишь на меня  
И светлой качаешь головкой,  
И капают слезы из глаз у меня,  
И что-то твержу я неловко.

Ты тихое слово мне шепчешь в ответ,  
Ты ветку даешь мне открыто.  
Проснулся — и ветки твоей уже нет,  
И слово твое позабыто.

22 декабря 1858

#### М-МЕ ВОЛЬНИС

Искусству все пожертвовать умея,  
Давно, давно явилась ты к нам,  
Прелестная, сияющая «фея»  
По имени, по сердцу, по очам.  
Я был еще тогда ребенком неразумным,  
Я лепетать умел едва,  
Но помню: о тебе уж радостно и шумно  
Кричала громкая молва.

Страдания умом не постигая,  
Я в первый раз в театре был. И вот  
Явилась ты печальная, седая,  
Иссохшая под бременем невзгод.  
О дочери стена, ты на пол вдруг упала,  
Твой голос тихо замирал...  
Тут в первый раз душа во мне затрепетала,  
И, как безумный, я рыдал.

Томим тоской, утратив смех и веру,  
Чтоб отдохнуть усталую душой,  
Недавно я пошел внимать Мольеру,  
И ты опять явилась предо мной.  
Смеясь, упала ты под гром рукоплесканья,  
Твой голос весело звучал...  
О, в этот миг я все позабывал страданья  
И как безумный хохотал.

На жизнь давно глядишь ты строгим взором,  
И много лет тобой погребено,  
Но твой талант окреп под их напором,  
Как Франции кипучее вино.  
И между тем как все вокруг тебя бледнеет,  
Ты — как вечерняя звезда,  
Которая то вдруг исчезнет, то светлеет,  
Не угасая никогда.

24 декабря 1858

Н. А. НЕВЕДОМСКОЙ

Я слушал вас... Мои мечты  
Летели вдаль от светской скуки;  
Над шумом праздной суеты  
Неслись чарующие звуки.

Я слушал вас... И мне едва  
Не снились вновь, как в час разлуки,  
Давно замолкшие слова,  
Давно исчезнувшие звуки.

Я слушал вас... И ныла грудь,  
И сердце рвалось от муки,  
И слово горькое «забудь»  
Твердили гаснувшие звуки...

*30 декабря 1858*



## ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРКИ

1

### ПОСВЯЩЕНИЕ

Еще свежа твоя могила,  
Еще и вьюга с высоты  
Ни разу снегом не покрыла  
Ее поблекшие цветы;  
Но я устал от жизни этой,  
И безотрадней и тупой,  
Твоим дыханьем не согретой,  
С твоими днями не слитой.

Увы! ребенок ослепленный,  
Иного я от жизни ждал:  
В тумане берег отдаленный  
Мне так приветливо сиял.  
Я думал: счастья, страсти шумной  
Мне много будет на пути...  
И, боже! как хотел, безумный,  
Я в дверь закрытую войти!



И я поплыл... Но что я видел  
На том желанном берегу,  
Как запылал, возненавидел,—  
Пересказать я не могу.  
И вот, с разбитою душою,  
Мечту отбросивши свою,  
Я перед дверью роковою  
В недоумении стою.  
Остановлюсь ли у дороги,  
С пустой смешаюсь ли толпой,  
Иль, не стерпев души тревоги,  
Отважно кинусь я на бой?  
В борьбе неравной юный воин,  
В боях неопытный боец,—  
Как ты, я буду ль тверд, спокоен,  
Как ты, паду ли наконец?

О, где б твой дух, для нас незримый,  
Теперь счастливый ни витал,  
Услышь мой стих, мой труд любимый:  
Я их от сердца оторвал!  
А если нет тебя... О, боже!  
К кому ж идти? Я здесь чужой...  
Ты и теперь мне всех дороже  
В могиле темной и немой.

*13 августа 1859*

2

В ПОЛДЕНЬ

Как стелется по ветру рожь золотая  
Широкой волной,  
Как пыль поднимается, путь застилая  
Густою стеной!

Как грудь моя ноет тоской безымянной,  
Мученьем былым...  
О, если бы встретить мне друга неожиданно  
И плакать бы с ним!

Но горькие слезы я лью только с вами,  
Пустые поля...  
Сама ты горька и полита слезами,  
Родная земля!

*27 июня 1859*

## ПРОСЕЛОК

По Руси великой, без конца, без края,  
 Тянется дорожка, узкая, кривая,  
 Чрез леса да реки, по степям, по нивам,  
 Всё бежит куда-то шагом торопливым,  
 И чудес хоть мало встретишь той дорогой,  
 Но мне мил и близок вид ее убогой.  
 Утро ли займется на небе румяном —  
 Вся она рососою блещет под туманом;  
 Ветерок разносит из поляны сонной  
 Скошенного сена запах благовонный;  
 Всё молчит, всё дремлет,— в утреннем покое  
 Только ржи мелькает море золотое,  
 Да куда ни глянешь освеженным взором,  
 Отовсюду веет тишью и простором.  
 На гору ль въезжаешь — за горой селенье  
 С церковью зеленой видно в отдалении.  
 Вот и деревенька, барский дом повыше...  
 Покосились набок сломанные крыши.  
 Ни садов, ни речки; в роще невысокой  
 Липа да орешник разрослись широко,  
 А вдали, над прудом, высится плотина...  
 Бедная картина! Милая картина!..  
 Уж с серпами в поле шумно идут жницы,  
 Между лип немолчно распевают птицы,  
 За клячонкой жалкой мужичок шагает,  
 С диким воплем стадо путь перебегаёт.  
 Жарко... День, краснея, всходит понемногу...  
 Скоро на большую выедем дорогу.  
 Там скрипят обозы, там стоят ракиты.  
 Из краев заморских к нам тропой пробитой  
 Там идет крикливо всякая новинка...  
 Там ты и заглохнешь, русская тропинка!

По Руси великой, без конца, без края,  
 Тянется дорожка, узкая, кривая.  
 На большую съехал — впереди застава,  
 Сзади пыль да версты... Смотришь, а направо  
 Слова вьется путь мой лентою узорной —  
 Тот же прихотливый, тот же непокорный!

6 июля 1858

## ПЕСНИ

Май на дворе... Началися посевы,  
 Пахарь поет за сохой...  
 Снова внемлю вам, родные напевы,  
 С той же глубокой тоской!

Но не одно гореванье тупое —  
 Плод бесконечных скорбей,—  
 Мне уже слышится что-то иное  
 В песнях отчизны моей.

Льются смелей заунывные звуки,  
 Полные сил молодых.  
 Многих годов пережитые муки  
 Грозно скопились в них...

Так вот и кажется, с первым призывом  
 Грянут они из оков  
 К вольным степям, к нескончаемым нивам,  
 В глубь необъятных лесов.

Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды,  
 Пусть ты — унынья страна...  
 Нет, я не верю, что песня свободы  
 Этим полям не дана!

*10 мая 1858*

## ЛЕТНЕЙ РОЗЕ

Что так долго и жестоко  
 Не цвела ты, дочь Востока,  
 Гостья нашей стороны?  
 Пронеслись они, блистая,  
 Золотые ночи мая,  
 Золотые дни весны.

Знаешь, тут под тенью сонной  
 Ждал кого-то и, влюбленный,  
 Пел немолчно соловей;

Пел так тихо и так нежно,  
Так глубоко безнадежно  
Об изменнице своей!

Если б ты тогда явилась,—  
Как бы чудно оживилась  
Песня, полная тоской;  
Как бы он, певец крылатый,  
Наслаждением объятый,  
Изнывал перед тобой!

Словно перлы дорогие,  
На листы твои живые  
Тихо б падала роса;  
И сквозь сумрачные ели  
Высоко б на вас глядели  
Голубые небеса.

*19 июня 1858*

6

Вчера у окна мы сидели в молчаньи...  
Мерцание звезд, соловья замиранье,  
Шумящие листья в окно,  
И нега, и трепет... Не правда ль, всё это  
Давно уже было другими воспето  
И нам уж знакомо давно?

Но я был взволнован мечтой невозможной;  
Чего-то в прошедшем искал я тревожно,  
Забывтые спрашивал сны...  
В ответ только звезды светлее горели,  
Да слышались громче далекие трели  
Певца улетающей весны.

*16 мая 1858*

7

ГРУСТЬ ДЕВУШКИ

*Идиллия*

Жарко мне! Не спится...  
Месяц уж давно,  
Красный весь, глядится  
В низкое окно.

Призатихло в поле,  
В избах полегли;  
Уж слышней на воле  
Запах конопли,  
Уж туманы скрыли  
Потемневший путь...  
Слезы ль, соловьи ли —  
Не дают заснуть...

Жарко мне! Не спится...  
Сон от глаз гоня,  
Что-то шевелится  
В сердце у меня.  
Точно плачет кто-то,  
Стонет позади...  
В голове забота,  
Камень на груди;  
Точно я сгораю  
И хочу обнять...  
А кого — не знаю,  
Не могу понять.

Завтра воскресенье...  
Гости к нам придут,  
И меня в селенье,  
В церковь повезут.  
Средь лесов дремучих  
Свадьба будет там...  
Сколько слез горячих  
Лить мне по ночам!  
Все свои печали  
Я таю от дня...  
Если б только знали,  
Знали про меня!

Как вчера я встала  
Да на пашню шла,  
Парня повстречала  
С ближнего села.  
Нрава, знать, такого —  
Больно уж не смел:  
Не сказал ни слова,  
Только посмотрел...  
Да с тех пор томится  
Вся душа тоской...  
Пусть же веселится  
Мой жених седой!

Только из тумана  
Солнышко блеснет,  
Поднимусь я рано,  
Выйду из ворот...  
Нет, боюсь признаться...  
Как отцу сказать?  
Станет брат ругаться,  
Заколотит мать...  
Жарко мне! Не спится...  
Месяц уж давно,  
Красный весь, глядится  
В низкое окно.

24 июля 1858

8

### СОСЕД

Как я люблю тебя, дородный мой сосед,  
Когда, дыша приятною неизменной,  
Ты плавной поступью приходишь на обед,  
С улыбкой вкрадчиво-смиренной!  
Мне нравятся в тебе — твой сладкий голосок,  
Избыток важности и дум благочестивых,  
И тихо льющийся, заманчивый поток  
Твоих бесед медоточивых;  
Порою мысль твоя спокойно-высока,  
Порой приходишь ты в волнение,  
Касаясь не без желчи, хоть слегка,  
Ошибок старого дьячка  
И молодого поколенья...  
И, долго слушая, под звук твоих речей  
Я забываюсь... Тогда в мечте моей  
Мне чудится, что, сев в большие дроги,  
На паре толстых лошадей  
Плетусь я по большой дороге.  
Навстречу мне пустынный путь лежит:  
Нет ни столбов, ни вех, ни гор, ни перевоза,  
Ни даже тощеньких ракиг,  
Ни даже длинного обоза,—  
Всё гладко и мертво; густая пыль кругом...  
А серый пристяжной с своей подругой жирной  
По знойному пути бредут себе шажком,  
И я полудремлю, раскачиваясь мирно.

26 мая 1858

## СЕЛЕНЬЕ

Здравствуй, старое селенье,  
 Я знавал тебя давно.  
 Снова песни в отдаленьи,  
 И, как прежде, это пенье  
 На лугах повторено.

И широко за лугами  
 Лесом красится земля;  
 И зернистыми снопами  
 Скоро лягут под серпами.  
 Отягченные поля.

Но, как зреющее поле,  
 Не цветут твои жнецы;  
 Но в ужасной дикой доле,  
 В сокружительной неволе  
 Долго жили их отцы;

Но духовными плодами  
 Не блестит твоя земля;  
 Но горючими слезами,  
 Но кровавыми ручьями  
 Смочены твои поля.

Братья! Будьте же готовы,  
 Не смущайтесь — близок час:  
 Срок окончится суровый,  
 С ваших плеч спадут оковы,  
 Перегившие на вас!

Будет полдень молчаливый,  
 Будет жаркая пора...  
 И тогда, в тот день счастливый,  
 Собирайте ваши нивы,  
 Пойте песни до утра!

О, тогда от умиленья  
 Встрепенутся вам черед!  
 О, тогда-то на селенье  
 Луч могучий просвещенья  
 С неба вольности блеснет!

*16 июля 1858*

## ПРОЩАНИЕ С ДЕРЕВНЕЙ

Прощай, приют родной, где я с мечтой ленивой  
 Без горя проводил задумчивые дни.

Благодарю за мир, за твой покой счастливый,  
 За вдохновения твои!

Увы, в последний раз в тоскливом упоеньи  
 Гляжу на этот сад, на дальние леса;  
 Меня отсюда мчит иное назначенье,

И ждут иные небеса.

А если, жизнью смят, обманутый мечтами,  
 К тебе, как блудный сын, я снова возвращусь,—  
 Кого еще найду меж старыми друзьями

И так ли с новыми сойдуся?

И ты... что будешь ты, страна моя родная?  
 Поймет ли твой народ всю тяжесть прежних лет?  
 И буду ль видеть я, хоть свой закат встречая,  
 Твой полный счастья рассвет?

26 июня 1858



## ГРЕЦИЯ

*Посвящается Н. Ф. Щербине*

Поэт, ты видел их развалины святые,  
 Селенья бедные и храмы вековые,—  
 Ты видел Грецию, и на твои глаза  
 Являлась горькая художника слеза.  
 Скажи, когда, склонясь под тенью сикоморы,  
 Ты тихо вдаль вперял задумчивые взоры  
 И море синее плескалось пред тобой,—  
 Послушная мечта тебе шептала ль страстно  
 О временах иных, стране совсем иной,  
 Стране, где было всё так юно и прекрасно?  
 Где мысль еще жила о веке золотом,  
 Без рабства и без слез... Где в блеске молодом,  
 Обожествленная преданьями народа,  
 Цвела и нежилась могучая природа...  
 Где, внемля набожно оракула словам,  
 Доверчивый народ бежал к своим богам  
 С веселой шуткою и речью откровенной,  
 Где боги не были угрозой для вселенной,  
 Но идеалами великими полны...  
 Где за преданием не пряталось чувство,  
 Где были красоте лампы возжжены,  
 Где Эрос сам был бог, а цель была искусство:



Где выше всех венков стоял венок певца,  
Где пред напевами хиосского слепца  
Склонялись мудрецы, и судьи, и гетеры;  
Где в мысли знали жизнь, в любви не знали меры,  
Где всё любило, всё, со страстью, с полнотою,  
Где наслаждения бессмертный не боялся,  
Где молодой Нарцисс своею красотой  
В томительной тоске до смерти любовался,  
Где царь пред статуей любовью пламенел,  
Где даже лебедя пленить умела Леда  
И, верно, с трепетом зеленый мирт глядел  
На грудь Аспазии, на кудри Ганимеда...

*13 января 1859*

\* \* \*

Волшебные слова любви и упоенья  
Я слышал наконец из милых уст твоих,  
Но в странной робости последнего сомненья  
Твой голос ласковый затих.

Давно, когда, в цветах синяя и блистая,  
Неслася над землей счастливая весна,  
Я помню, видел раз, как глыба снеговая  
На солнце таяла одна.

Одна... кругом и жизнь, и говор, и движенье...  
Но солнце всё горит, звучней бегут ручьи...  
И в полдень снега нет, и радость обновленья  
До утра пели соловьи.

О, дай же доступ мне, моей любви мятежной,  
О, сбрось последний снег, растай, растай скорей...  
И я тогда зальюсь такою песней нежной,  
Какой не ведал соловей!

*5 февраля 1859*

#### В ГОРЬКУЮ МИНУТУ

Небо было черно, ночь была темна.  
Помнишь, мы стояли молча у окна,  
Непробудно спал уж деревенский дом.  
Ветер выл сердито под твоим окном,  
Дождь шумел по крыше, стекла поливал;  
Свечка догорела, маятник стучал...  
Медленно вздыхая, ты глядела вдаль,  
Нас обоих грызла старая печаль!

Ты заговорила тихо, горячо...  
Ты мне положила руку на плечо...  
И в волненьи жадном я приник к тебе...  
Я так горько плакал, плакал о себе!  
Сердце разрывалось, билось тяжело...  
То давно уж было, то давно прошло!

. . . . .  
. . . . .

О, как небо черно, о, как ночь темна,  
Как домами тяжело даль заслонена...  
Слез уж нет... один я... и в душе моей,  
Верь, еще темнее и еще черней.

*7 февраля 1859*

\* \* \*

Когда так радостно в объятиях твоих  
Я забывал весь мир с его волненьем шумным,  
О будущем тогда не думал я. В тот миг  
Я полон был тобой да счастьем безумным.

Но ты ушла. Один, покинутый тобой,  
Я посмотрел кругом в восторге опьяенья,  
И сердце в первый раз забилося тоской,  
Как бы предчувствием далекого мученья.

Последний поцелуй звучал в моих ушах,  
Последние слова носились близко где-то...  
Я звал тебя опять, я звал тебя в слезах,  
Но ночь была глуха, и не было ответа!

С тех пор я всё зову... Развенчана мечта,  
Пошли иные дни, пошли иные ночи...  
О, боже мой! Как лгут прекрасные уста,  
Как холодны твои пленительные очи!

*16 февраля 1859*

\* \* \*

Мне было весело вчера на сцене шумной;  
Я так же, как и все, комедию играл;  
И радовался я, и плакал я безумно,  
И мне театр рукоплескал.

Мне было весело за ужином веселым,  
Заздравный свой стакан я также поднимал,  
Хоть ныла грудь моя в смущении тяжелом  
И голос в шутке замирал.

Мне было весело... Над выходкой забавной  
Смеясь, ушла толпа, веселый говор стих,—  
И я пошел взглянуть на залу, где недавно  
Так много, много было их!

Огонь давно потух. На сцене опустелой  
Валялися очки с афишею цветной,  
Из окон лунный свет бродил по ней несмело,  
Да мышь скреблася за стеной.

И с камнем на сердце оттуда убежал я,  
Бессонный и немой сидел я до утра;  
И плакал, плакал я, и слез уж не считал я...  
Мне было весело вчера.

*19 апреля 1859*

\* \* \*

Мы на сцене играли с тобой  
И так нежно тогда целовались,  
Что все фарсы комедии той  
Мне возвышенной драмой казались.

И в веселый прощания час  
Мне почудились дикие стоны:  
Будто обнял в последний я раз  
Холодеющий труп Дездемоны...

Позабыт неискусный актер,  
Поцелуи давно отзвучали,  
Но я горько томлюся с тех пор  
В безысходной и жгучей печали.

И горит, и волнуется кровь,  
На устах пламенеют лобзанья...  
Не комедия ль эта любовь,  
Не комедия ль эти страданья?

*20 апреля 1859*

\* \* \*

Какое горе ждет меня?  
Что мне зловещий сон пророчит?  
Какого тягостного дня  
Судьба еще добиться хочет?  
Я так страдал, я столько слез  
Таил во тьме ночей безгласных,  
Я столько молча перенес  
Обид тяжелых и напрасных;  
Я так измучен, оглушен  
Всей жизнью, дикой и нестройной,  
Что, как бы страшен ни был сон,  
Я дней грядущих жду спокойно...  
Не так ли в схватке боевой  
Солдат израненный ложится  
И, чуя смерть над головой,  
О жизни гаснущей томится,  
Но вражьи пуль уж не боится,  
Заслыша визг их пред собой.

3 мая 1859

\* \* \*

Ни веселья, ни сладких мечтаний  
Ты в судьбе не видала своей:  
Твоя жизнь была цепью страданий  
И тяжелых, томительных дней.  
Видно, господу было так нужно:  
Тебе крест он тяжелый судил,  
Этот крест мы несли с тобой дружно,  
Он обоих нас жал и давил.  
Помню я, как в минуту разлуки  
Ты рыдала, родная моя,  
Как, дрожа, твои бледные руки  
Горячо обнимали меня:  
Всю любовь, все мечты, все желанья —  
Всё в слова перелить я хотел,  
Но последнее слово страданья,—  
Оно замерло в миг расставанья,  
Я его досказать не успел!

Это слово сказала могила:  
Не состарившись, ты умерла,  
Оттого — что ты слишком любила,  
Оттого — что ты жить не могла!

Ты спокойна в могиле безгласной,  
Но один я в борьбе изнемог...  
Он тяжел, этот крест ежечасный,  
Он на грудь мне всей тяжестью лег!  
И пока моя кровь не остынет,  
Пока тлеет в груди моей жар,  
Он меня до конца не покинет,  
Как твой лучший и символ, и дар!

*24 мая 1859*

\* \* \*

Когда был я ребенком, родная моя,  
Если детское горе томило меня,  
Я к тебе приходил, и мой плач утихал:  
На груди у тебя я в слезах засыпал.

Я пришел к тебе вновь... Ты лежишь тут одна,  
Твоя келья темна, твоя ночь холодна,  
Ни привета кругом, ни росы, ни огня...  
Я пришел к тебе... жизнь истомила меня.

О, возьми, обними, уврачуй, успокой  
Мое сердце больное рукою родной,  
О, скорей бы к тебе мне, как прежде, на грудь,  
О, скорей бы мне там задремать и заснуть.

*11 июня 1859*

\* \* \*

О, боже, как хорош прохладный вечер лета,  
Какая тишина!  
Всю ночь я просидеть готов бы до рассвета  
У этого окна.  
Какой-то темный лик мелькает по аллее,  
И воздух недвижим,  
И кажется, что там еще, еще темнее  
За садом молодым.  
Уж поздно... Всё сильнее цветов благоуханье,  
Сейчас взойдет луна...  
На небесах покой, и на земле молчанье,  
И всюду тишина.

Давно ли в этот сад в чудесный вечер мая  
Входили мы вдвоем?  
О, сколько, сколько раз его мы, не смолкая,  
Бывало, обойдем!  
И вот я здесь один, с измученной, усталой,  
Разбитою душой.  
Мне хочется рыдать, припавши, как бывало,  
К груди твоей родной...  
Я жду... но не слышать знакомого привета,  
Душа болит одна...  
О, боже, как хорош прохладный вечер лета,  
Какая тишина!

14 июня 1859

\* \* \*

Безмесячная ночь дышала негой кроткой;  
Усталый я лежал на скошенной траве.  
Мне снилась девушка с ленивою походкой,  
С венком из васильков на юной голове.

И пела мне она: «Зачем так безответно  
Вчера, безумец мой, ты следовал за мной?  
Я не люблю тебя, хоть слушала приветно  
Признанья и мольбы души твоей больной.

Но... но мне жаль тебя... Сквозь смех твой  
в час прощанья  
Я слезы слышала... Душа моя тепла,  
И верь, что все мечты и все твои страданья  
Из слушавшей толпы одна я поняла.

А ты, ты уж мечтал с волнением невежды,  
Что я сама томлюсь, страдая и любя...  
О, кинь твой детский бред, разбей твои надежды,  
Я не хочу любить, я не люблю тебя!»

И ясный взор ее блеснул улыбкой кроткой,  
И около меня по скошенной траве,  
Смеясь, она прошла ленивою походкой  
С венком из васильков на юной голове.

22 июня 1859

\* \* \*

Я люблю тебя так оттого,  
Что из пошлых и гордых собою  
Не напомнишь ты мне никого  
Откровенной и ясной душою,  
Что с участием могла ты понять  
Роковую борьбу человека,  
Что в тебе уловил я печать  
Отдаленного, лучшего века!  
Я люблю тебя так потому,  
Что не любишь ты мертвого слова,  
Что не веришь ты слепо уму,  
Что чужда ты расчета мирского;  
Что горячее сердце твое  
Часто бьется тревожно и шибко...  
Что смиряется горе мое  
Пред твоей миротворной улыбкой!

24 июля 1859

\* \* \*

Не в первый день весны, цветущей и прохладной,  
Увидел я тебя!  
Нет, осень близилась, рукою беспощадной  
Хватая и губя.

Но чудный вечер был. Дряхлеющее лето  
Прощалось с землей,  
Поблекшая трава была, как в час рассвета,  
Увлажена росой;

Над садом высохшим, над рощами лежала  
Немая тишина;  
Темнели небеса, и в темноте блистала  
Багровая луна.

Не в первый сон любви, цветущей и мятежной,  
Увидел я тебя!  
Нет! прежде пережил я много грусти нежной,  
Страдая и любя.

Но чудный вечер был. Беспечными словами  
Прощался я с тобой;  
Томилась грудь моя и новыми мечтами,  
И старую тоской.

Я ждал: в лице твоём пройдет ли тень печали,  
Не брызнет ли слеза?  
Но ты смеялася... И в темноте блистали  
Светло твои глаза.

9 августа 1859

## МАЮ

Бывало, с детскими мечтами  
Являлся ты как ангел дня,  
Блистая белыми крылами,  
Весенним голосом звеня;  
Твой взор горел огнем надежды,  
Ты волновал мечтами кровь  
И сыпал с радужной одежды  
Цветы, и рифмы, и любовь.

Прошли года. Ты вновь со мною,  
Но грустно юное чело,  
Глаза подернулись тоскою,  
Одежду пылью занесло.  
Ты смотришь холодно и строго,  
Веселый голос твой затих,  
И белых перьев много, много  
Из крыльев выпало твоих.

Минуют дни, пройдут недели...  
В изнеможении тупом,  
Забытый всеми, на постели  
Я буду спать глубоким сном.  
Слетев под брошенную крышу,  
Ты скажешь мне: «Проснись, брат!»  
Но слов твоих я не услышу,  
Могильным холодом объят.

1859



## ВЕСЕННИЕ ПЕСНИ

1

О, удались навек, тяжелый дух сомненья,  
О, не тревожь меня печалью старины;  
Когда так пламенно природы обновленье  
И так свежительно дыхание весны;



Когда так радостно над душными стенами,  
Над снегом тающим, над пестрою толпой  
Сверкают небеса горячими лучами,  
Пророчат ласточки свободу и покой;  
Когда во мне самом, тоски моей сильнее,  
Теснят ее гурьбой веселые мечты,  
Когда я чувствую, дрожа и пламенея,  
Присутствие во всем знакомой красоты;  
Когда мои глаза, объятые дремотой,  
Навстречу тянутся к мелькнувшему лучу...  
Когда мне хочется прижать к груди кого-то,  
Когда не знаю я, кого обнять хочу;  
Когда весь этот мир любви и наслажденья  
С природой заодно так молод и хорош...  
О, удались навек, тяжелый дух сомненья,  
Печалью старую мне сердца не тревожь!

*20 апреля 1857*

2

Опять я очнулся с природой!  
И кажется, вновь надо мной  
Всё радостно грезит свободой,  
Всё веет и дышит весной.

Опять в безотчетном томленьи,  
Усталый, предавшись труду,  
Я дней без труда и волненья  
С каким-то волнением жду.

И слышу, как жизнь молодая  
Желания будит в крови,  
Как сердце дрожит, изнывая  
Тоской беспредметной любви...

Опять эти звуки былого,  
И счастья ребяческий бред...  
И всё, что понятно без слова,  
И всё, чему имени нет.

*15 мая 1857*

3

Весенней ночи сумрак влажный  
Струями льется предо мной,  
И что-то шепчет гул протяжный  
Над обновленную землей.

Зачем, о звезды, вы глядите  
Сквозь эти мягкие струи?  
О чем так громко вы журчите,  
Неугомонные ручьи?

Вам долго слух без мысли внемлет,  
К вам без тоски прикован взор...  
И сладко грудь мою объемяет  
Какой-то тающий простор.

*10 апреля 1858*

4

Затих утомительный говор людей,  
Потухла свеча у постели моей,  
Уж близок рассвет; мне не спится давно...  
Болит мое сердце, устало оно.  
Но кто же приник к изголовью со мной?  
Ты ль это, мой призрак, мой ангел земной?  
О, верь мне, тебя я люблю глубоко...  
Как девственной груди дыханье легко,  
Как светит и греет твой ласковый взгляд,  
Как кротко в тиши твои речи звучат!  
Ты руку мне жмешь — она жарче огня...  
Ты долго и нежно целуешь меня...  
Ты тихо уходишь... О, боже! Постою...  
Останься, мой ангел, останься со мной!  
Ведь этих лобзаний, навеянных сном,  
Ведь этого счастья не будет потом!  
Ведь завтра опять ты мне бросишь едва  
Холодные взгляды, пустые слова,  
Ведь сердце опять запылает тоской...  
Останься, мой ангел, мне сладко с тобой!

*16 апреля 1859*

5

#### ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснулся я... В раскрытое окно  
Повеяло прохладой и цветами;  
Уж солнце ходит по небу давно,  
А соловей не молкнет за кустами...  
Я слушаю: так песнь его полна  
Тоскливого и страстного желанья,  
Так радостно проносится весна,  
Что кажется, на что б еще страданье?

Но мне всю ночь ужасный снился сон,  
Но дважды я всё с той же грезой бился,  
И каждый раз был стоном пробужден,  
И после долго плакал и томился...  
Мне тяжело. О нет, в немой ночи  
Отраднее сносить такие грезы,  
О, слишком жгут весенние лучи  
Еще недавно высохшие слезы!

9 мая 1858

6

УТЕШЕНИЕ ВЕСНЫ

Не плачь, мой певец одинокой,  
Покуда кипит в тебе кровь.  
Я знаю: коварно, жестоко  
Тебя обманула любовь.

Я знаю: любовь незабвенна...  
Но слушай: тебе я верна,  
Моя красота неизменна,  
Мне вечная юность дана!

Покроют ли небо туманы,  
Приблизится ль осени час,  
В далекие, теплые страны  
Надолго я скроюсь от вас.

Как часто в томленьях недуга  
Ты будешь меня призывать,  
Ты ждать меня будешь как друга,  
Как нежно любимую мать!

Приду я... На душу больную  
Навею чудесные сны  
И язвы легко уврачую  
Твоей безрассудной весны!

Когда же по мелочи, скупю  
Растратишь ты жизнь и — старик —  
Начнешь равнодушно и тупо  
Мой ласковый слушать язык,—

Тихонько, родными руками,  
Я вежды твои опущу,  
Твой гроб увенчаю цветами,  
Твой темный приют посету,

А там — под покровом могилы —  
Умолкнут и стоны любви,  
И смех, и кипевшие силы,  
И скучные песни твои!

5 мая 1859

7

Опять весна! Опять какой-то гений  
Мне шепчет незнакомые слова,  
И сердце жаждет новых песнопений,  
И в забытии кружится голова.  
Опять кругом зазеленели нивы,  
Черемуха цветет, блестит роса,  
И над землей, светлы и горделивы,  
Как купол храма, блещут небеса.

Но этой жизни мне теперь уж мало,  
Душа моя тоской отравлена...  
Не так она являлась мне, бывало,  
Красавица, волшебница-весна!  
Сперва ребенка языку природы  
Она, смеясь, учила в тишине,  
И для меня сбирала хороводы,  
И первый стих нашептывала мне.

Потом, когда с тревогой непонятной  
Зажглася в сердце отрока любовь,  
Она пришла и речью благодатной  
Живила сны и волновала кровь:  
Свидания влюбленным назначала,  
Ждала, томилась с нами заодно,  
Мелодией по клавишам звучала,  
Врывалась в раскрытое окно.

Теперь на жизнь гляжу я оком мужа,  
И к сердцу моему, как в дверь тюрьмы,  
Уж начала подкрадываться стужа,  
Печальная предвестница зимы...  
Проходят дни без страсти и без дела,  
И чья-то тень глядит из-за угла...  
Что ж, неужели юность улетела?  
Ужели жизнь прошла и отцвела?

Погибну ль я в борьбе святой и честной  
Иль просто так умру в объятьях сна,—  
Явися мне в моей могиле тесной,

Красавица, волшебница-весна!  
Покрой меня травой и свежим дерном,  
Как прежде, разукрась свои черты,  
И над моим забытым трупом черным  
Рассыпь свои любимые цветы!..

<1862>



#### ПАМЯТИ МАРТЫНОВА

С тяжелой думою и с головой усталой  
Недвижно я стоял в убогом храме том,  
Где несколько свечей печально догорало  
Да несколько друзей молилися о *нем*.

И всё мне виделся запуганный и бледный,  
И жалкий человек... Смущением томим,  
Он всех собой смешил, и так шутил безвредно,  
И все довольны были им.

Но вот он вновь стоит, едва мигая глазом...  
Над головой его все беды пронеслись...  
Он только замолчал, и все замолкли разом,—  
И слезы градом полились...

Все зрители твои: и воин, грудью смелой  
Творивший чудеса на скачках и балах,  
И толстый бюрократ с душою, очерствелой  
В интригах мелких и чинах,

И отрок, и старик... и даже наши дамы,  
Так равнодушные к отчизне и к тебе,  
Так любящие визг французской модной драмы,  
Так нагло льстящие себе,—

Все поняли они, как тяжело и обидно  
Страдает человек в родимом их краю,  
И каждому из них вдруг сделалось так стыдно  
За жизнь счастливую свою!

Конечно, завтра же, по-прежнему бездушны,  
Начнут они давить всех близких и чужих.  
Но хоть на миг один ты, гению послушный,  
Нашел остатки сердца в них!

*Август или сентябрь 1860*

Малыгин родился в глуши степной,  
 На бледный север вовсе не похожей,  
 Разнообразной, пестрой и живой.  
 Отца не знал он, матери он тоже  
 Лишился рано... но едва, едва,  
 Как дивный сон, как звук волшебной сказки,  
 Он помнил чьи-то пламенные ласки  
 И нежные любимые слова.  
 Он помнил, что неведомая сила  
 Его к какой-то женщине влекла,  
 Что вечером она его крестила,  
 И голову к нему на грудь клонила,  
 И долго оторваться не могла;  
 И что однажды, в тихий вечер мая,  
 Когда в расцвете нежилась весна,  
 Она лежала, глаз не открывая,  
 Как мрамор неподвижна и бледна;  
 Он помнил, как дьячки псалтырь читали,  
 Как плакал он и как в тот грозный час  
 Под окнами цветы благоухали,  
 Жужжа из окон пчелы вылетали  
 И чья-то песня громкая неслась.  
 Потом он жил у старой, строгой тетки,  
 Пред образом святителя Петра  
 Молившейся с утра и до утра  
 И с важностью перебиравшей четки.  
 И мальчик стал неловок, нелюдим,  
 Акафисты читал ей ежедневно,  
 И, чуть зашнется, слышит, как над ним  
 Уж раздается тетки голос гневный:  
 «Да что ты, Миша, всё глядишь в окно?»  
 И Миша, точно, глаз отвести от сада  
 Не мог. В саду темнело уж давно,  
 В окно лилась вечерняя прохлада;  
 Последний луч заката догорал,  
 За речкою излучистой краснея...  
 И, кончив чтение, тотчас убежал  
 Он из дому. Широкая аллея  
 Тянулась вдаль. Оттуда старый дом  
 Еще казался старей и мрачнее,  
 Там каждый кустик был ему знаком  
 И длинные ракиты улыбались

Еще с верхушек... Он дохнуть не смел  
И, весь дрожа от радости, глядел,  
Как в синем небе звезды загорались...

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

1860

2

CHANSON À VOIRE\*

Если измена тебя поразила,  
Если тоскуешь ты, плача, любя,  
Если в борьбе истощается сила,  
Если обида терзает тебя,  
Сердце ли рвется,  
Ноет ли грудь,—  
Пей, пока пьется,  
Всё позабудь!

Выпьешь, заискрится сила во взоре,  
Бури, нужда и борьба нипочем...  
Старые раны, вчерашнее горе,—  
Всё обойдется, залется вином.  
Жизнь пронесется  
Лучше, скорей,  
Пей, пока пьется,  
Сил не жалей!

Если ж любим ты и счастлив мечтою,  
Годы беспечности мигом пройдут,  
В темной могиле, под рыхлой землею  
Мысли, и чувства, и ласки замрут.  
Жизнь пронесется  
Счастья быстрей...  
Пей, пока пьется,  
Пей веселей!

Что нам все радости, что наслажденья?  
Долго на свете им жить не дано...  
Дай нам забвенья, о, только забвенья,  
Легкой дрембой отумань нас, вино!  
Сердце ль смеется,  
Ноет ли грудь,—  
Пей, пока пьется,  
Всё позабудь!

1858

---

\* Застольная песня (фр.).

Минувшей юности своей  
 Забыв волнения и измены,  
 Отцы уж с отроческих дней  
 Подготавлиют нас для сцены.—  
 Нам говорят: «Ничтожен свет,  
 В нем все злодеи или дети,  
 В нем сердца нет, в нем правды нет,  
 Но будь и ты как все на свете!»  
 И вот, чтоб выйти напоказ,  
 Мы наряжаемся в уборной;  
 Пока никто не видит нас,  
 Мы смотрим гордо и задорно.  
 Вот вышли молча и дрожим,  
 Но оправляемся мы скоро  
 И с чувством роли говорим,  
 Украдкой глядя на суфлера.  
 И говорим мы о добре,  
 О жизни честной и свободной,  
 Что в первой юности поре  
 Звучит тепло и благородно;  
 О том, что жертва — наш девиз,  
 О том, что все мы, люди,— братья,  
 И публике из-за кулис  
 Мы шлем горячие объятья.  
 И говорим мы о любви,  
 К неверной простирая руки,  
 О том, какой огонь в крови,  
 О том, какие в сердце муки;  
 И сами видим без труда,  
 Как Дездемона наша мило,  
 Лицо закрывши от стыда,  
 Чтоб побледнеть, кладет белила.  
 Потом, не зная, хороши ль  
 Иль дурны были монологи,  
 За бестолковый водевиль  
 Уж мы беремся без тревоги.  
 И мы смеемся надо всем,  
 Тряся горбом и головою,  
 Не замечая между тем,  
 Что мы смеялись над собою!  
 Но холод в нашу грудь проник,  
 Устали мы — пора с дороги:  
 На лбу чуть держится парик,  
 Слезает горб, слабеют ноги...  
 Конец.— Теперь что ж делать нам?  
 Большая зала опустела...  
 Далеко автор где-то там...



Ему до нас какое дело?  
И, сняв парик, умыв лицо,  
Одежды сбросив шутовские,  
Мы все, усталые, больные,  
Лениво сходим на крыльцо.  
Нам тяжело, нам больно, стыдно,  
Пустые улицы темны,  
На черном небе звезд не видно —  
Огни давно погашены..  
Мы зябнем, стынем, изнывая,  
А зимний воздух недвижим,  
И обнимает ночь глухая  
Нас мертвым холодом своим.

<1861>

#### СОВРЕМЕННЫМ ВИТИЯМ

Посреди гнетущих и послушных,  
Посреди злодеев и рабов  
Я устал от ваших фраз бездушных,  
От дрожащих ненавистью слов!  
Мне противно лгать и лицемерить,  
Нестерпимо — отрицаем жить...  
Я хочу во что-нибудь да верить,  
Что-нибудь всем сердцем полюбить!

Как монах, творя обет желанный,  
Я б хотел по знойному пути  
К берегам земли обетованной  
По песку горячему идти;  
Чтобы слезы падали ручьями,  
Чтоб от веры трепетала грудь,  
Чтоб с пути, пробитого веками,  
Мне ни разу не пришлось свернуть!

Чтоб оазис в золотые страны  
Отдохнуть меня манил и звал,  
Чтоб вдали тянулись караваны,  
Шел корабль, — а я бы всё шагал!  
Чтоб глаза слипались от дороги,  
Чтоб сгорали жаждою уста,  
Чтоб мои подкашивались ноги  
Под тяжелым бременем креста...

1861

## В ТЕАТРЕ

Покинутый тобой, один в толпе бездушной  
Я в онемении стоял:  
Их крикам радости внимал я равнодушно,  
Их диких слез не понимал.

А ты? Твои глаза блестели хладнокровно,  
Твой детский смех мне слышен был,  
И сердце билось твое спокойно, ровно,  
Смирняя свой ненужный пыл.

Не знало сердце то, что близ него другое,  
Уязвлено, оскорблено,  
Дрожало, мучилось в насильственном покое,  
Тоской и злобою полно!

Не знали те глаза, что ищут их другие,  
Что молят жалости они,  
Глаза печальные, усталые, сухие,  
Как в хатах зимние огни!

1863

## ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

Холодна, прозрачна и уныла,  
Ночь вчера мне тихо говорила:  
«Не дивися, друг, что я бледна  
И как день блестеть осуждена,  
Что до утра этот блеск прозрачный  
Не затмится хоть минутой мрачной,  
Что светла я в вашей стороне...  
Не дивись и не завидуй мне.  
Прносясь без усталости над вами,  
Я прочла пытливыми очами  
Столько горя, столько слез и зла,  
Что сама заснуть я не могла!  
Да и кто же спит у вас? Не те ли,  
Что весь день трудились и терпели  
И теперь работают в слезах?  
Уж не те ль заснули, что в цепях  
Вспоминать должны любовь, природу  
И свою любимую свободу?  
Уж не он ли спит, мечтатель мой,  
С юным сердцем, с любящей душой?»

Нет, ко мне бежит он в исступленьи,  
Молит хоть участия иль забвенья...  
Но утешить власть мне не дана:  
Я как лед бледна и холодна...  
Только спят у вас глупцы, злодеи:  
Их не душат слезы да идеи,  
Совести их не в чем упрекать...  
Эти чисты, эти могут спать».

1863

## СУДЬБА

*К 5-й симфонии Бетховена*

С своей походною клюкой,  
С своими мрачными очами,  
Судьба, как грозный часовой,  
Повсюду следует за нами.  
Бедой лицо ее грозит,  
Она в угрозах поседела,  
Она уж многих одолела,  
И всё стучит, и всё стучит:  
Стук, стук, стук...  
Полно, друг,  
Брось за счастьем гоняться!  
Стук, стук, стук...

Бедняк совсем обжился с ней:  
Рука с рукой они гуляют,  
Собирают вместе хлеб с полей,  
В награду вместе голодают.  
День целый дождь его кропит,  
По вечерам ласкает вьюга,  
А ночью с горя да с испуга  
Судьба сквозь сон ему стучит:  
Стук, стук, стук...  
Глянь-ка, друг,  
Как другие поживают!  
Стук, стук, стук...

Другие праздновать сошлись  
Богатство, молодость и славу.  
Их песни радостно неслись,  
Вино сменилось им в забаву;  
Давно уж пир у них шумит,  
Но смолкли вдруг, бледнея, гости...

Рукой, дрожащею от злости,  
Судьба в окошко к ним стучит:  
    Стук, стук, стук...  
        Новый друг  
К вам пришел, готовьте место!  
    Стук, стук, стук...

Герой на жертву всё принес.  
Он говорил, что люди братья,  
За братьев пролил много слез,  
За слезы слышал их проклятья.  
Он верно слабых защитит,  
Он к ним придет, долой с дороги!  
Но отчего ж недвижны ноги  
И что-то на ногах стучит?  
    Стук, стук, стук...  
        Скован друг  
Человечества, свободы...  
    Стук, стук, стук...

Но есть же счастье на земле!  
Однажды, полный ожиданья,  
С восторгом юным на челе  
Пришел счастливец на свиданье!  
Еще один он, всё молчит,  
Заря за рощей потухает,  
И соловей уж затихает,  
А сердце бьется и стучит:  
    Стук, стук, стук...  
        Милый друг,  
Ты придешь ли на свиданье?  
    Стук, стук, стук...

Но вот идет она, и вмиг  
Любовь, тревога, ожиданье,  
Блаженство — всё слилось у них  
В одно безумное лобзанье!  
Немая ночь на них глядит,  
Всё небо залито огнями,  
А кто-то тихо за кустами  
Клюкой докучною стучит:  
    Стук, стук, стук...  
        Старый друг  
К вам пришел, довольно счастья!  
    Стук, стук, стук...

## СМЕРТЬ АХУНДА

Он умирал один на скудном, жестком ложе  
У взморья Дарданелл,  
Куда, по прихоти богатого вельможи,  
Принести себя велел.  
Когда рабы ушли, плечами пожимая,  
В смущении немом,  
Какой-то радостью забилась грудь больная,  
И он взглянул кругом.  
Кругом виднелися знакомые мечети,  
Знакомые дворцы,  
Где будут умирать изнеженные дети,  
Где умерли отцы;  
Но берег исчезал в его поникшем взоре...  
И, тяжело горячи,  
Как золотая сеть, охватывали море  
Последние лучи.  
Стемнело. В синие окутавшись одежды,  
Затеплилась звезда,  
Но тут уставшие и старческие вежды  
Закрылись навсегда.  
И жадно начал он внимать, дивясь чуду,  
Не грянет ли волна?  
Но на море была, и в воздухе, и всюду  
Немая тишина.  
Он умирал один... Вдруг длинными листьями  
Дрогнули деревья,  
И кто-то подошел чуть слышными шагами,—  
Послышались слова...  
Уж не любовники ль сошлись здесь так поздно?  
Их разговор был тих...  
И всё бы отдал он, Ахунд, властитель грозный,  
Чтоб только видеть их.

«Смотри-ка,— говорил один из них, зевая,—  
Как вечер-то хорош!  
Я ждал тебя давно, краса родного края,  
Я знал, что ты придешь!»  
— «А я? Я всё ждала, чтоб все уснули дома,  
Чтоб выбежать потом,  
Дорога предо мной, темна и незнакома,  
Вилася за плетнем.  
Скажи же мне теперь, зачем ты, мой желанный,  
Прийти сюда велел?  
Послушай, что с тобой? Ты смотришь как-то странно,  
Ты слишком близко сел!  
А я люблю тебя на свете всех сильнее,  
За что,— и не пойму...

Есть юноши у нас, они тебя свежее  
И выше по уму.  
Вот даже есть один — как смоль густые брови,  
Румянец молодой...  
Он всё бы отдал мне, всё, всё, до капли крови,  
Чтоб звать своей женой.  
Его бесстрашен дух и тихи разговоры,  
В щеках играет кровь...  
Но мне не по сердцу его живые взоры  
И скучная любовь!  
Ну, слушай, как-то раз по этой вот дороге  
Я шла с восходом дня...  
Но что же, что с тобой? Ты, кажется, в тревоге,  
Не слушаешь меня...  
О, боже мой! Глаза твои как угли стали,  
Горит твоя рука...»

И вдруг в последний раз все струны задрожали  
В душе у старика,  
Ему почудились горячие объятия...  
Всё смолкло вокруг него...  
Потом он слышал вздох, и тихий шелест платья,  
И больше ничего.

1863

#### РОМАНС

Помню, в вечер невозвратный  
Посреди толпы чужой  
Чей-то образ благодатный  
Тихо веял предо мной.

Помню, в час неожиданной встречи  
И смятение, и страх,  
Недосказанные речи  
Замирали на устах...

Помню, помню, в ночь глухую  
Я не спал... Часы неслись,  
И на грудь мою больную  
Слезы жгучие лились...

А сквозь слезы с речью внятной  
И с улыбкой молодой  
Чей-то образ благодатный  
Тихо веял предо мной.

1863 (?)

На родине моей картины величавой  
Искать напрасно будет взор.  
Ни пышных городов, покрытых громкой славой,  
Ни цепи живописных гор,—  
Нет, только хижины; овраги да осины  
Среди желтеющей травы...  
И стелются кругом унылые равнины,  
Необозримы... и мертвы.

На родине моей не светит просвещенье  
Лучами мирными нигде,  
Коснеют, мучатся и гибнут поколенья  
В бессмысленной вражде;  
Все грезы юности, вода сурово бровью,  
Поносит старый сибарит,  
А сын на труд отца, добытый часто кровью,  
С насмешкою глядит.

На родине моей для женщины печально  
Проходят лучшие года;  
Весь век живет она рабынею опальной  
Под гнетом тяжкого труда;  
Богата — ну так будь ты куклою пустою,  
Бедна — мученьям нет конца...  
И рано старятся под жизнью трудовой  
Черты прелестного лица.

На родине моей не слышно громких песен,  
Ликующих стихов;  
Как древний Вавилон, наш край угрюм и тесен  
Для звуков пламенных певцов.  
С погостов да из хат несется песня наша,  
Нуждою сложенá,  
И льется через край наполненная чаша,  
Тоскою жгучею полна.

На родине моей невесело живется  
С нуждой и горем пополам;  
Умрем — и ничего от нас не остается  
На пользу будущим векам.  
Всю жизнь одни мечты о счастье, о воле  
Среди тупых забот...  
И бедны те мечты, как бедно наше поле,  
Как беден наш народ.

Огонек в полусгнившей избенке  
 Посреди потемневших полей,  
 Да плетень полусгнивший в сторонке,  
 Да визгливые стоны грачей,—  
 Что вы мне так неожиданно предстали  
 В этот час одинокий ночной,  
 Что вы сердце привычное сжали  
 Безысходною старой тоской?  
 Еле дышат усталые кони,  
 Жмет колеса сыпучий песок,  
 Словно жду я какой-то погони,  
 Словно путь мой тяжел и далек!  
 Огонек в полусгнившей избенке,  
 Ты мне кажешься плачем больным  
 По родимой моей по сторонке,  
 По бездольным по братьям моим.  
 И зачем я так жадно тоскую,  
 И зачем мне дорога тяжка?  
 Видно, въелася в землю родную  
 Ты, родная кручина-тоска!  
 Тобой вспахана наша земля,  
 Тобой строены хата и дом,  
 Тебя с рожью усталая жница  
 Подрезает тяжелым серпом;  
 Ты гнетешь богатырскую силу,  
 Ты всю жизнь на дороге сидишь,  
 Вместе с заступом роешь могилу,  
 Из могилы упреком глядишь.  
 С молоком ты играешь в ребенке,  
 С поцелуем ты к юноше льнешь...  
 Огонек в полусгнившей избенке,  
 Старых ран не буди, не тревожь!

За огоньком другой, и третий,  
 И потянулись избы в ряд...  
 Собаки воют, плачут дети,  
 Лучины дымные горят.  
 Ну, трогай шибче! За рекою  
 Мне церковь старая видна.  
 Крестов и насыпей толпою  
 Она кругом обложена.

. . . . .  
 . . . . .



Отчего в одиноком мечтаньи,  
В шуме дня и в ночной тишине,  
Ты, погибшее рано создание,  
Стало часто являться ко мне?  
Вот как дело печальное было:  
Вздумал свадьбу соорудить сосед,  
Целый день накануне варила  
Кухня яства на званый обед.  
Ровно в полдень сошлись, повенчали,  
И невеста была весела.  
Только тетки тайком замечали,  
Что бледна она что-то была.  
Гости все налицо, разодеты.  
Время. Свадебный стынет обед...  
Да невеста запряталась где-то.  
Ищут, кличут,— нигде ее нет.  
Вдруг мальчишка-садовник вбегает,  
Босоногий, с лопатой в руке,  
И, от страха дрожа, объявляет,  
Что «утопла невеста в реке».—  
Суматоха... Кричат во всю глотку:  
«Люди, девушки, в реку, спасать!»  
Кто про невод кричит, кто про лодку  
И не знают, с чего им начать.  
Через час наконец отыскали,  
Принесли, положили на стол.  
Тут записка нашлась, и в печали  
Безысходной хозяин прочел:  
«Вот, рарá и татап, на прощанье  
Вам последнее слово мое:  
Я исполнила ваше желанье,  
Так исполню ж теперь и свое!»  
Изумлялися все чрезвычайно  
И причину сыскать не могли.  
И донине та страшная тайна  
Спит безмолвная в недрах земли.  
Погрустили родные прилично,  
И утешился скоро жених,  
И, к людскому страданью привычный,  
Позабыл бы давно я о них.  
Но зачем же в безмолвном мечтаньи,

В шуме дня и в ночной тишине,  
Ты, погибшее рано создание,  
Так упорно являешься мне?  
Ты лежишь на столе как живая...  
На лице изумленье и страх,  
И улыбка скривилась немая  
На твоих побелевших губах.  
И сплетаются травы речные  
В волосах и в венчалном венке,  
И чернеют следы роковые  
На холодной, на бледной руке...  
. . . . .  
. . . . .

1864

#### МИНУТЫ СЧАСТЬЯ

Не там отраднo счастье веет,  
Где шум и царство суеты:  
Там сердце скоро холодеет  
И блекнут яркие мечты.

Но вечер тихий, образ нежный  
И речи долгие в тиши  
О всём, что будит ум мятежный  
И струны спящие души,—

О, вот они, минуты счастья,  
Когда, как зорька в небесах,  
Блеснет внезапно луч участия  
В чужих внимательных очах,

Когда любви горячей слово  
Растет на сердце как напев,  
И с языка слететь готово,  
И замирает, не слетев...

1865

#### ПЕПИТЕ

(Из А. Мюссе)

Когда на землю ночь спустилась  
И сад твой охватила мгла;  
Когда ты с матерью простилась  
И уж молиться начала;

В тот час, когда, в тревоги света  
Смотря усталую душой,  
У ночи просишь ты ответа  
И чепчик развязался твой;

Когда кругом всё тьмой покрыто,  
А в небе теплится звезда,—  
Скажи, мой друг, моя Пепита,  
О чем ты думаешь тогда?

Кто знает детские мечтанья?  
Быть может, мысль твоя летит  
Туда, где сладки упованья  
И где действительность молчит;

О героине ли романа,  
Тобой оставленной в слезах;  
Быть может, о дворцах султана,  
О поцелуях, о мужьях;

О той, чья страсть тебе открыта  
В обмене мыслей молодом;  
Быть может, обо мне, Пепита...  
Быть может, ровно ни о чем.

1865

#### ДВЕ ГРЕЗЫ

Измученный тревогою дневною,  
Я лег в постель без памяти и сил,  
И голос твой, носяся надо мною,  
Насмешливо и резко говорил:  
«Что ты глядишь так пасмурно, так мрачно?  
Ты, говорят, влюблен в меня, поэт?  
К моей душе, спокойной и прозрачной,  
И доступа твоим мечтаньям нет.  
Как чужды мне твои пустые бредни!  
И что же в том, что любишь ты меня?  
Не первый ты, не будешь и последний  
Гореть и тлеть от этого огня!  
Ты говоришь, что в шумном вихре света  
Меня ты ищешь, дышишь только мной...  
И от других давно я слышу это,  
Окружена влюбленною толпой.  
Я поняла души твоей мученье,  
Но от тебя, поэт, не утаю:

Не жалость, нет, а только изумленье  
Да тайный смех волнуют грудь мою!»  
Проснулся я.— Враждебная, немая  
Вокруг меня царила тишина,  
И фонари мне слали, догорая,  
Свой тусклый свет из дальнего окна.  
Бессильною поникнув головою,  
Едва дыша, я снова засыпал,  
И голос твой, носяся надо мною,  
Приветливо и ласково звучал:  
«Люби меня, люби! Какое дело,  
Когда любовь в душе заговорит,  
И до того, что в прошлом наболело,  
И до того, что в будущем грозит?  
Моя душа уж свыклася с твоею,  
Я не люблю, но мысль отрадна мне,  
Что сердце есть, которым я владею,  
В котором я господствую вполне.  
Коснется ли меня тупая злоба,  
Подкрадется ль нежданная тоска,  
Я буду знать, что, верная до гроба,  
Меня поддержит крепкая рука!  
О, не вверяйся детскому обману,  
Себя надеждой жалкой не губи:  
Любить тебя я не хочу, не стану,  
Но ты, поэт, люби меня, люби!»  
Проснулся я.— Уж день сырой и мгlistый  
Глядел в окно. Твой голос вдруг затих,  
Но долго он без слов, протяжный, чистый,  
Как арфы звук, звенел в ушах моих.

*Начало 1860-х годов*

#### АСТРАМ

Поздние гости отцветшего лета,  
Шепчутся ваши головки понурые,  
Словно клянете вы дни без просвета,  
Словно пугают вас ноченьки хмурые...

Розы — вот те отцвели, да хоть жили...  
Нечего вам помянуть пред кончиною:  
Звезды весенние вам не светили,  
Песней не тешились вы соловьиною...

*Начало 1860-х годов*

## ГАДАНЬЕ

Ну, старая, гадай! Тоска мне сердце гложет,  
Веселой болтовней меня развесели,  
Авось твой разговор убить часы поможет,  
И скучный день пройдет, как многие прошли!

«Ох, не грешно ль в воскресенье?  
С нами господняя сила!  
Тяжко мое прегрешение...  
Ну, да уж я разложила!

Едешь в дорогу ты дальнюю,  
Путь твой не весел обратный:  
Новость услышишь печальную  
И разговор неприятный.

Видишь: большая компания  
Вместе с тобой веселится,  
Но исполненья желания  
Лучше не жди: не случится.

Что-то грозит неизвестное...  
Карты-то, карты какие!  
Будет письмо интересное,  
Хлопоты будут большие!

На сердце дама червонная...  
С гордой душою такую:  
Словно к тебе благосклонная,  
Словно играет тобою!

Глядя в лицо ее строгое,  
Грустен и робок ты будешь:  
Хочешь сказать ей про многое,  
Свидишься,— всё позабудешь!

Мысли твои все червонные,  
Слезы-то будто из лейки,  
Думушки, ночи бессонные,—  
Всё от нее, от злодейки!

Волюшка крепкая скручена,  
Словно дитя ты пред нею...  
Как твое сердце замучено,  
Я и сказать не умею!

Тянутся дни нестерпимые,  
Мысли сплетаются злые...  
Батюшки светы родимые!  
Карты-то, карты какие!!.»

Умолкла старая. В зловещей тишине  
Насупившись сидит.— Скажи, что это значит?  
Старуха, что с тобой? Ты плачешь обо мне?  
Так только мать одна об детском горе плачет,  
И стоит ли того? — Я знаю наперед  
Всё то, что сбудется, и не ропщу на бога:  
Дорога выйдет мне, и горе подойдет,  
Там будут хлопоты, а там опять дорога...  
Ну полно же, не плачь! Гадай иль говори,  
Пусть голос твой звучит мне песней похоронной,  
Но только, старая, мне в сердце не смотри  
И не рассказывай об даме об червонной!

*Начало 1860-х годов*

### ДОРОЖНАЯ ДУМА

Позднею ночью, равниною снежной  
Еду я. Тихо. Всё в поле молчит...  
Глухо звучат по дороге безбрежной  
Скрип от полозьев и топот копыт.

Всё, что, прощаясь, ты мне говорила,  
Снова твержу я в невольной тоске.  
Долог мой путь, и дорога уныла...  
Что-то в уютном твоём уголке?

Слышен ли смех? Догорают ли свечи?  
Так же ль блистает твой взор, как вчера?  
Те же ли смелые, юные речи  
Будут немолчно звучать до утра?

Кто там с тобой? Ты глядишь ли бесстрастно  
Или трепещешь, волнуясь, любя?  
Только б тебе полюбить не напрасно,  
Только б другие любили тебя!

Только бы кончился день без печали,  
Только бы вечер прошел веселей,  
Только бы сны золотые летали  
Над головою усталой твоей!

Только бы счастье со светлыми днями  
Так же гналось по пятам за тобой,  
Как наши тени бегут за санями  
Снежной равниной порою ночной!

*1865 или 1866*

## НИОБЕЯ

(Займствовано из «Метаморфоз» Овидия)

Над трупами милых своих сыновей  
Стояла в слезах Ниобея.  
Лицо у ней мрамора было белей,  
И губы шептали, бледнея:  
«Насыться, Латона, печалью моей,  
Умеешь ты мстить за обиду!  
Не ты ли прислала мне гневных детей:  
И Феба, и дочь Артемиду?  
Их семеро было вчера у меня,  
Могучих сынов Амфиона,  
Сегодня... О, лучше б не видеть мне дня...  
Насыться, насыться, Латона!  
Мой первенец милый, Исмен молодой,  
На бурном коне проносился  
И вдруг, пораженный незримой стрелой,  
С коня бездыханен свалился.  
То видя, исполнился страхом Сипил,  
И в бегстве искал он спасенья,  
Но бог беспощадный его поразил,  
Бегущего с поля мученья.  
И третий мой сын, незабвенный Тантал,  
Могучему деду подобный  
Не именем только, но силой, — он пал,  
Стрелою настигнутый злобной.  
С ним вместе погиб дорогой мой Файдим,  
Напрасно ища меня взором;  
Как дубы высокие, пали за ним  
И Дамасихтон с Алфенором.  
Один оставался лишь Илионей,  
Прекрасный, любимый, счастливый,  
Как бог, красотою волшебной своей  
Пленявший родимые Фивы.  
Как сильно хотелось отроку жить,  
Как, полон неведомой муки,  
Он начал богов о пощаде молить,  
Он поднял бессильные руки...  
Мольба его так непритворна была,  
Что сжалился бог лучезарный...  
Но поздно! Летит роковая стрела,  
Стрелы не воротить коварной,  
И тихая смерть, словно сон среди дня,  
Закрыла прелестные очи...  
Их семеро было вчера у меня...  
О, длиться б всегда этой ночи!  
Как жадно, Латона, ждала ты зари,  
Чтоб тяжкие видеть утраты...

А всё же и ныне, богиня, смотри:  
    Меня победить не могла ты!  
А всё же к презренным твоим алтарям  
    Не придут венчаные жены,  
Не будет куриться на них фимиам  
    Во славу богини Латоны!  
Вы, боги, всеильны над нашей судьбой,  
    Бороться не можем мы с вами:  
Вы нас побиваете камнем, стрелой,  
    Болезнями или громами...  
Но если в беде, в униженьи тупом  
    Мы силу души сохранили,  
Но если мы, павши, проклятья вам шлем,—  
    Ужель вы тогда победили?  
Гордись же, Латона, победою дня,  
    Пируй в ликованьях напрасных!  
Но семь дочерей еще есть у меня,  
    Семь дев молодых и прекрасных...  
Для них буду жить я! Их нежно любя,  
    Любуясь их лаской приветной,  
Я, смертная, всё же счастливей тебя,  
    Богини едва не бездетной!»  
Еще отзвучать не успели слова,  
    Как слышит, дрожа, Ниобея,  
Что в воздухе знойном звенит тетива,  
    Всё ближе звенит и сильнее...  
И падают вдруг ее шесть дочерей  
    Без жизни одна за другою...  
Так падают летом колосья полей,  
    Сраженные жадной косою.  
Седьмая еще оставалась одна,  
    И с криком: «О боги, спасите!» —  
На грудь Ниобеи припала она,  
    Моля свою мать о защите.  
Смутилась царица. Странданье, испуг  
    Душой овладели сильнее,  
И гордое сердце растаяло вдруг  
    В стесненной груди Ниобеи.  
«Латона, богиня, прости мне вину  
    (Лепечет жена Амфиона),  
Одну хоть оставь мне, одну лишь, одну...  
    О, сжался, о, сжался, Латона!»  
И крепко прижала к груди она дочь,  
    Полна безотчетной надежды,



Но нет ей пощады,— и вечная ночь  
Сомкнула уж юные вежды.  
Стоит Ниобея безмолвна, бледна,  
Текут ее слезы ручьями...  
И чудо! Глядят: каменеет она  
С поднятыми к небу руками.  
Тяжелая глыба влилась в ее грудь,  
Не видит она и не слышит,  
И воздух не смеет в лицо ей дохнуть,  
И ветер волос не колышет.  
Затихли отчаянье, гордость и стыд,  
Бессильно замолкли угрозы...  
В красе упоительной мрамор стоит  
И точит обильные слезы.

*Лето 1867*

\* \* \*

Я ждал тебя... Часы ползли уныло,  
Как старые, докучные враги...  
Всю ночь меня будил твой голос милый  
И чьи-то слышались шаги...

Я ждал тебя... Прозрачен, свеж и светел,  
Осенний день повеял над землей...  
В немой тоске я день прекрасный встретил  
Одною жгучею слезой...

Пойми хоть раз, что в этой жизни шумной,  
Чтоб быть с тобой,— я каждый миг ловлю,  
Что я люблю, люблю тебя безумно...  
Как жизнь, как счастье люблю!..

*1867*

\* \* \*

Ни отзыва, ни слова, ни привета,  
Пустынею меж нами мир лежит,  
И мысль моя с вопросом без ответа  
Испуганно над сердцем тяготит:

Ужель среди часов тоски и гнева  
Прошедшее исчезнет без следа,  
Как легкий звук забытого напева,  
Как в мрак ночной упавшая звезда?

*1867*

## К МОРЮ

Увы, не в первый раз, с подавленным рыданием,  
Я подхожу к твоим волнам  
И, утомясь бесплодным ожиданием,  
Всю ночь просиживаю там...

Тому уж много лет: неведомая сила  
Явилась ко мне, как в мнимо-светлый рай,  
Меня, как глупого ребенка, заманила,  
Шепнула мне — люби, сказала мне — страдай!  
И с той поры, ее велению послушный,  
Я с каждым днем любил сильнее и больней...

О, как я гнал любовь, как я боролся с ней,

Как покорялся малодушно!..  
Но наконец, устав страдать,  
Я думал — пронеслась невзгода..  
Я думал — вот моя свобода  
Ко мне вернулась опять...

И что ж: томим тоскою, снова  
Сижусь на этом берегу,

Как жалкий раб, клянусь свои оковы,

Но — сбросить цепи не могу.

О, если слышишь ты глагол, тебе понятный,

О море темное, приют сердец больных,—

Пусть исцелят меня простор твой необъятный

И вечный ропот волн твоих.

Пускай твердят они мне ежечасно

Об оскорблениях, изменах, обо всем,

Что вынес я в терпении тупом...

. . . . .  
Теперь довольно. Уж мне прежних дней не видеть,

Но если суждено мне дальше жизнь влачить,

Дай силы мне, чтоб мог я ненавидеть,

Дай ты безумье мне, чтоб мог я позабыть!..

1867

## МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

В саду Гефсиманском стоял он один,

Предсмертною мукой томимый.

Отцу всеблагому в тоске нестерпимой

Молился страдающий сын.

«Когда то возможно,

Пусть, отче, минует мя чаша сия,

Однако да сбудется воля твоя...»

И шел он к апостолам с душой тревожной,  
Но, скованы тяжкой дрембй,  
Апостолы спали под тенью оливы,  
И тихо сказал он им: «Как не могли вы  
Единого часа побдети со мной?  
Молитесь! Плоть немощна ваша!..»  
И шел он молиться опять:  
«Но если не может меня миновать —  
Не пить чтоб ее — эта чаша,  
Пусть будет, как хочешь ты, отче!» И вновь  
Объял его ужас смертельный,  
И пот его падал на землю как кровь,  
И ждал он в тоске беспредельной.  
И снова к апостолам он подходил,  
Но спали апостолы сном непробудным,  
И те же слова он отцу говорил,  
И пал на лицо, и скорбел, и тужил,  
Смущаясь в борении трудном!..

О, если б я мог  
В саду Гефсиманском явиться с мольбами,  
И видеть следы от божественных ног,  
И жгучими плакать слезами!  
О, если б я мог  
Упасть на холодный песок  
И землю лобзать ту святую,  
Где так одиноко страдала любовь,  
Где пот от лица его падал как кровь,  
Где чашу он ждал роковую!  
О, если б в ту ночь кто-нибудь,  
В ту страшную ночь искупленья,  
Страдальцу в изнывшую грудь  
Влил слово одно утешенья!  
Но было всё тихо во мраке ночном,  
Но спали апостолы тягостным сном,  
Забыв, что грозит им невзгода;  
И в сад Гефсиманский с дрекольем, с мечом,  
Влекомы Иудой, входили тайком  
Несметные сонмы народа!

1868

#### НОЧЬ В МОНПЛЕЗИРЕ

На берег сходит ночь, беззвучна и тепла,  
Не видно кораблей из-за туманной дали,  
И, словно очи без числа,  
Над морем звезды замигали.

Ни шелеста в деревьях вековых,  
 Ни звука голоса людского,  
 И кажется, что всё навек уснуть готово  
 В объятиях ночных.  
 Но морю не до сна. Каким-то гневом полны,  
 Надменные, нахмуренные волны  
 О берег бьются и стучат;  
 Чего-то требует их ропот непонятный,  
 В их шуме с ночью благодатной  
 Какой-то слышится разлад.  
 С каким же ты гигантом в споре?  
 Чего же хочешь ты, бушующее море,  
 От бедных жителей земных?  
 Кому ты плешь свои веленья?  
 И в этот час, когда весь мир затих,  
 Кто выдвинул мятежное волнение  
 Из недр неведомых твоих?  
 Ответа нет... Громадою нестройной  
 Кипит и пенится вода...  
 Не так ли в сердце иногда,  
 Когда кругом всё тихо и спокойно,  
 И ровно дышит грудь, и ясно блещет взор,  
 И весело звучит знакомый разговор,—  
 Вдруг поднимается нежданное волнение:  
 Зачем весь этот блеск, откуда этот шум?  
 Что значит этих бурных дум  
 Неодолимое стремление?  
 Не вспыхнул ли любви заветный огонек,  
 Предвестье ль это близкого ненастья,  
 Воспоминание ль утраченного счастья  
 Иль в сонной совести проснувшийся упрек?  
 Кто может это знать?  
 Но разум понимает,  
 Что в сердце есть у нас такая глубина,  
 Куда и мысль не проникает;  
 Откуда, как с морского дна,  
 Могучим трепетом полна,  
 Неведомая сила вылетает  
 И что-то смутно повторяет,  
 Как набежавшая волна.

1868

#### ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Кончалось лето. Астры отцвели...  
 Под гнетом жгучей, тягостной печали  
 Я сел на старую скамью,

А листья надо мной, склоняясь, шептали  
Мне повесть грустную свою.

«Давно ли мы цвели под знойным блеском лета,  
И вот уж осень нам грозит,  
Не много дней тепла и света  
Судьба гнетущая сулит.  
Но что ж, пускай холодными руками  
Зима охватит скоро нас,  
Мы счастливы теперь, под этими лучами,  
Нам жизнь милей в прощальный час.  
Смотри, как золотом облит наш парк печальный,  
Как радостно цветы в последний раз блестят,  
Смотри, как пышно-погребально  
Горит над рощами закат!  
Мы знаем, что, как сон, ненастье пронесется,  
Что снегу не всегда поляны покрывать,  
Что явится весна, что всё кругом проснется,—  
Но мы... проснемся ли опять?  
Вот здесь, под кровом нашей тени,  
Где груды хвороста теперь лежат в пыли,  
Когда-то цвел роскошный куст сирени  
И розы пышные цвели.  
Пришла весна; во славу новым розам  
Запел, как прежде, соловей,  
Но бедная сирень, охвачена морозом,  
Не подняла своих ветвей.  
А если к жизни вновь вернутся липы наши,  
Не мы увидим их возврат,  
И вместо нас, быть может, лучше, краше  
Другие листья заблестят.—  
Ну что ж, пускай холодными руками  
Зима охватит скоро нас,  
Мы счастливы теперь, под бледными лучами,  
Нам жизнь милей в прощальный час.  
Помеди, смерть! Еще б хоть день отрады...  
А может быть, сейчас, клоня верхушки ив,  
Сорвет на землю без пощады  
Нас ветра буйного порыв...  
Желтея, ляжем мы под липами родными...  
И даже ты, об нас мечтающий с тоской,  
Ты встанешь со скамьи, рассеянный, больной,  
И, полон мыслями своими,  
Раздавишь нас небрежною ногой».

Осенней ночи тень густая  
Над садом высохшим легла.  
О, как душа моя больная  
В тоске любви изнемогла!  
Какие б вынес я страданья,  
Чтоб в этот миг из-за кустов  
Твое почувствовать дыханье,  
Услышать шум твоих шагов!

1868

### СТРАНСТВУЮЩАЯ МЫСЛЬ

С той поры, как прощальный привет  
Горячо прозвучал между нами,  
Моя мысль за тобою вослед  
Полетела, махая крылами.

Целый день неотступно она  
Вдоль по рельсам чугунным скользила,  
Всё тобою одною полна,  
И ревниво твой сон сторожила.

А теперь среди мрака ночей,  
Изнывая заботою нежной,  
За кибиткой дорожной твоей  
Она скачет пустынею снежной.

Она видит, как под гору вниз  
Мчатся кони усталые смело,  
И как иней на соснах повис,  
И как всё кругом голо и бело.

То с тобой она вместе дрожит,  
Засыпая в санях, как в постели,  
И тебе о былом говорит  
Под суровые звуки метели;

То на станции бедной сидит,  
Согреваясь с тобой самоваром,  
И с безмолвным участием следит  
За его убегающим паром...

Всё на юг она мчится, на юг,  
Уносимая жаркой любовью,  
И войдет она в дом твой как друг,  
И приникнет с тобой к изголовью!

1868

Мне снился сон (то был ужасный сон!)...  
Что я стою пред статуей твоею,  
Как некогда стоял Пигмалион,  
В тоске моля воскреснуть Галатею.

Высокое, спокойное чело  
Античную сияло красотою,  
Глаза смотрели кротко и светло,  
И все черты дышали добротою...

Вдруг побледнел я и не мог вздохнуть  
От небывалой, нестерпимой муки:  
Неистово за горло и за грудь  
Меня схватили мраморные руки

И начали душить меня и рвать,  
Как бы дрожа от злого нетерпенья...  
Я вырваться хотел и убежать,  
Но, словно труп, остался без движения...

Я изнывал, я выбился из сил,  
Но, в ужасе смертельном холодея,  
Измученный, я всё ж тебя любил,  
Я всё твердил: «Воскресни, Галатея!..»

И на тебя взглянуть я мог едва  
С надеждою, мольбою о пощаде...  
Ни жалости, ни даже торжества  
Я не прочел в твоём спокойном взгляде...

По-прежнему высокое чело  
Античную сияло красотою,  
Глаза смотрели кротко и светло,  
И все черты дышали добротою...

Тут холод смерти в грудь мою проник,  
В последний раз я прошептал: «Воскресни!..»  
И вдруг в ответ на мой предсмертный крик  
Раздался звук твоей веселой песни...

К ГРЕТХЕН

*Во время представления «Le petit Faust» \**

И ты осмеяна, и твой черед настал!  
Но боже правый! Гретхен, ты ли это?  
Ты — чистое создание поэта,  
Ты — красоты бессмертный идеал!  
О, если б твой творец явился между нами  
Из заточенья своего,  
Какими б жгучими слезами  
Сверкнул орлиный взор его!  
О, как бы он страдал, томился поминутно,  
Узнав дитя своей мечты,  
Свои любимые черты  
В чертах француженки распутной!  
Но твой творец давно в земле сырой,  
Не вспомнила о нем смеющаяся зала,  
И каждой шутке площадной  
Бессмысленно толпа рукоплескала...  
Наш век таков.— Ему и дела нет,  
Что тысячи людей рыдали над тобою,  
Что некогда твоею красотою  
Был целый край утешен и согрет.  
Ему бы только в храм внести слова порока,  
Бесценный мрамор грязью забросать,  
Да пошлости наклеивать печать  
На всё, что чисто и высоко!

*Лето или осень 1869*

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ О СЕВАСТОПОЛЕ

Не веселую, братцы, вам песню спою,  
Не могучую песню победы,  
Что певали отцы в Бородинском бою,  
Что певали в Очакове деды.

Я спою вам о том, как от южных полей  
Поднималось облако пыли,  
Как сходили враги без числа с кораблей  
И пришли к нам, и нас победили.

А и так победили, что долго потом  
Не совались к нам с дерзким вопросом,  
А и так победили, что с кислым лицом  
И с разбитым отчалили носом.

---

\* «Маленький Фауст» (фр.).



Я спою, как, покинув и дом и семью,  
Шел в дружину помещик богатый,  
Как мужик, обнимая бабенку свою,  
Выходил ополченцем из хаты.

Я спою, как росла богатырская рать,  
Шли бойцы из железа и стали,  
И как знали они, что идут умирать,  
И как свято они умирали!

Как красавицы наши сиделками шли  
К безотрадному их изголовью,  
Как за каждый клочок нашей русской земли  
Нам платили враги своей кровью;

Как под грохот гранат, как сквозь пламя  
и дым,  
Под немолчные, тяжкие стоны  
Выходили редуты один за другим,  
Грозной тенью росли бастионы;

И одиннадцать месяцев длилась резня,  
И одиннадцать месяцев целых  
Чудотворная крепость, Россию храня,  
Хоронила сынов ее смелых...

Пусть не радостна песня, что вам я пою,  
Да не хуже той песни победы,  
Что певали отцы в Бородинском бою,  
Что певали в Очакове деды.

1869

\* \* \*

Сухие, редкие, нечаянные встречи,  
Пустой, ничтожный разговор,  
Твои умышленно-уклончивые речи,  
И твой намеренно-холодный, строгий взор,—  
Всё говорит, что надо нам расстаться,  
Что счастье было и прошло...

Но в этом так же горько мне сознаться,  
Как кончить с жизнью тяжело.  
Так в детстве, помню я, когда меня будили  
И зимний день глядел в замерзшее окно,—  
О, как остаться там уста мои молили,  
Где так тепло, уютно и темно!

В подушки прятался я, плача от волненья,  
Дневной тревогой оглушен,  
И засыпал, счастливый на мгновенье,  
Стараясь на лету поймать недавний сон,  
Бояся потерять ребяческие бредни...  
Такой же детский страх теперь объял меня.  
Прости мне этот сон последний  
При свете тусклого, грозящего мне дня!

1869, 1874

#### НА БАЛЕ

Блещут огнями палаты просторные,  
Музыки грохот не молкнет в ушах.  
Нового года ждут взгляды притворные,  
Новое счастье у всех на устах.

Душу мне давит тоска нестерпимая,  
Хочется дальше от этих людей...  
Мной не забытая, вечно любимая,  
Что-то теперь на могиле твоей?

Спят ли спокойно в глубоком молчании,  
Прежнюю радость и горе тая,  
Словно застывшие в лунном сиянии,  
Желтая церковь и насыпь твоя?

Или туман неприветливый стелется,  
Или, гонима незримым врагом,  
С дикими воплями злая метелица  
Плачет, и скачет, и воеет кругом,

И покрывает сугробами снежными  
Всё, что от нас невозвратно ушло:  
Очи, со взглядами кроткими, нежными,  
Сердце, что прежде так билось тепло!

1860-е годы

#### К МОЛОДОСТИ

Светлый призрак, кроткий и любимый,  
Что ты дразнишь, вдаль меня маня?  
Чуждым звуком с высоты незримой  
Голос твой доходит до меня.

Вкруг меня всё сумраком одето...  
Что же мне, поверженному в прах,  
До того, что ты сияешь где-то  
В недоступном блеске и лучах?

Те лучи согреть меня не могут —  
Всё ушло, чем жизнь была тепла,  
Только видеть мне ясней помогут,  
Что за ночь вокруг меня легла!

Если ж в сердце встрепенется сила  
И оно, как прежде, задрожит,  
Широко раскрытая могила  
На меня насмешливо глядит.

*1860-е годы*

## РЕКВИЕМ

*Requiem aeternam dona eis,  
Domine, et lux perpetua luceat  
eis\*.*

1

Вечный покой отстрадавшему много томительных лет,  
Пусть осияет раба твоего нескончаемый свет!  
Дай ему, господи, дай ему, наша защита, покров,  
Вечный покой со святыми твоими во веки веков!

2

*Dies irae...\*\**

О, что за день тогда ужасный встанет,  
Когда архангела труба  
Над изумленным миром грянет  
И воскресит владыку и раба!

О, как они, смутясь, поникнут долу,  
Цари могучие земли,  
Когда к всевышнему престолу  
Они предстанут в прахе и в пыли!

---

\* Вечный покой дай им, господи, и вечный свет их осияет (*лат.*).

\*\* День гнева... (*лат.*)

Дела и мысли строго разбирая,  
Воссядет вечный судия,  
Прочтется книга роковая,  
Где вписаны все тайны бытия.

Всё, что таилось от людского зренья,  
Наружу выплывет со дна,  
И не останется без мщенья  
Забытая обида ни одна!

И доброго, и вредного посева  
Плоды пожнуты все тогда...  
То будет день тоски и гнева,  
То будет день унынья и стыда!

3

Без могучей силы знания  
И без гордости былой  
Человек, венец создання,  
Робок станет пред тобой.

Если в день тот безутешный  
Даже праведник вздрогнёт,  
Что же он ответит — грешный?  
Где защитника найдет?

Всё внезапно прояснится,  
Что казалось темно,  
Встрепенется, разгорится  
Совесь, спавшая давно.

И когда она укажет  
На земное бытие,  
Что он скажет, что он скажет  
В оправдание свое?

4

С воплем бессилия, с криком печали  
Жалок и слаб он явился на свет,  
В это мгновенье ему не сказали:  
Выбор свободен — живи или нет.

С детства твердили ему ежечасно:  
Сколько б ни встретил ты горя, потерь,  
Помни, что в мире всё мудро, прекрасно,  
Люди все братья,— люби их и верь!  
В юную душу с мечтою и думой  
Страсти нахлынули мутной волной...  
«Надо бороться»,— сказали угрюмо  
Те, что царили над юной душой.  
Были усилья тревожны и жгучи,  
Но не по силам приплася борьба.  
Кто так устроил, что страсти могучи,  
Кто так устроил, что воля слаба?  
Много любил он, любовь изменяла,  
Дружба... увы, изменила и та;  
Зависть к ней тихо подкралась сначала,  
С завистью вместе пришла клевета.  
Скрылись друзья, отвернулись братья...  
Господи, господи, видел ты сам,  
Как шевельнулись впервые проклятья  
Счастью быломu, вчерашним мечтам;  
Как постепенно, в тоске изнывая,  
Видя одни лишь неправды земли,  
Ожесточилась душа молодая,  
Как одинокие слезы текли;  
Как наконец, утомяся борьбою,  
Возненавидя себя и людей,  
Он усомнился скорбящей душою  
В мудрости мира и в правде твоей!  
Скучной толпой проносились годы,  
Бури стихали, ясел его путь...  
Изредка только, как гул непогоды,  
Память стучала в разбитую грудь.  
Только что тихие дни засияли —  
Смерть на пороге... откуда? зачем?  
С воплем бессилия, с криком печали  
Он повалился недвижен и нем.  
Вот он, смотрите, лежит без дыханья...  
Боже! к чему он родился и рос?  
Эти сомненья, измены, страданья,—  
Боже, зачем же он их перенес?  
Пусть хоть слеза над усопшим прольется,  
Пусть хоть теперь замолчит клевета...  
Сердце, горячее сердце не бьется,  
Вежды сомкнуты, безмолвны уста.  
Скоро нещадное, грозное тленье  
Ляжет печатью на нем роковой...  
Дай ему, боже, грехов отпущенье,  
Дай ему вечный покой!

Вечный покой отстрадавшему много томительных лет.  
 Пусть сияет раба твоего нескончаемый свет!  
 Дай ему, господи, дай ему, наша защита, покров,  
 Вечный покой со святыми твоими во веки веков!..

*Конец 1860-х годов*

\* \* \*

О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом,  
 Как эта чистая, далекая звезда!  
 На землю темную она глядит с приветом,  
 Чужда ее страстям, свободна и горда.  
 И только иногда, услыша в отдаленьи  
 Любви безумной стон, отчаянный призыв,  
 Она вздрогнёт сама,— и в жалости, в смятеньи  
 На землю падает, о небе позабыв!

*Конец 1860-х годов*

### ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

*(Из норвежских сказок)*

Зимняя ночь холодна и темна.  
 Словно застыла в морозе луна.  
 Буря то плачет, то злобно шипит,  
 Снежные тучи над кровлей крутит.  
 В хижине тесной над сыном больным  
 Мать наклонилась и шепчется с ним.

С ы н

Матушка, тяжким забылся я сном...  
 Кто это плачет и стонет кругом?  
 Матушка, слышишь, как буря шумит?  
 Адское пламя мне очи слепит.

М а т ь

Полно, мой сын, то не ада лучи,  
 Сучья березы пылают в печи.  
 Что нам за дело, что буря грозна?  
 В хижину к нам не ворвется она.

С ы н

Матушка, слушай, недолго мне жить,  
 Душу хочу пред тобою открыть:

Помнишь, ты слышала прошлой зимой,  
Как заблудился я в чаще лесной?  
Долго я шел, утихала метель,  
Вижу — поляна, знакомая ель,  
Юная дева под елью стоит,  
Манит рукою и словно дрожит.  
«Юноша,— шепчет она,— подойди,  
Душу согрей у меня на груди...»  
Я обомлел пред ее красотой,  
Я красоты и не видел такой:  
Стройная, светлая, ласковый взгляд,  
Очи куда-то глубоко глядят,  
Белые ризы пушистой волной  
Падают, ярко блестя под луной...  
Дрогнуло сердце, почуя любовь,  
Страстью неведомой вспыхнула кровь;  
Всё позабыл я в тот миг роковой,  
Даже не вспомнил молитвы святой.—  
Целую зиму, лишь ночь посветлей,  
Я приходил на свидание к ней  
И до утра, пока месяц сиял,  
Бледные руки ее целовал.  
Раз в упоении, полный огня,  
Я говорю ей: «Ты любишь меня?»  
— «Нет, говорит, я правдива, не лгу,  
Я полюбить не хочу, не могу;  
Тщетной надеждой себя не губи,  
Но, если хочешь, меня полюби». .  
Жесткое слово кольнуло ножом;  
Скоро, безумец, забыл я о нем.  
В бурю не раз, весела и грозна,  
Странные песни певала она:  
Всё о какой-то полярной стране,  
Где не мечтают о завтрашнем дне,  
Нет ни забот, ни огня, ни воды,—  
Вечное счастье и вечные льды.  
Чем становилось время теплей,  
Тем эта песня звучала грустней;  
В день, как растаял на кровле снежок,  
Я уж найти моей милой не мог.  
Много тебе со мной плакать пришлось!  
Лето безжизненным сном пронеслось.  
С радостью, вам непонятной, смешной,  
Слушал я ветра осеннего вой;  
Жадно следил я, как стыла земля,  
Рощи желтели, пустели поля,  
Как исстрадавшийся лист отпадал,  
Как его медленно дождь добивал,  
Как наш ручей затянулся во льду...

Раз на поляну я тихо иду,  
Смутно надежду в душе затая...  
Вижу: стоит дорогая моя,  
Стройная, светлая, ласковый взгляд,  
Очи глубоко, глубоко глядят...  
С трепетом я на колени упал,  
Всё рассказал: как томился и ждал,  
Как моя жизнь только ею полна...  
Но равнодушно смотрела она.  
«Что мне в твоих безрассудных мечтах,  
В том, что ты бледен, и желт, и зачах?  
Жалкий безумец! Со смертью в крови  
Всё еще ждешь ты какой-то любви!»  
— «Ну,— говорю я с рыданием ей,—  
Ну не люби, да хотя пожалей!»  
— «Нет, говорит, я правдива, не лгу,  
Я ни любить, ни жалеть не могу!»  
Преобразились черты ее вмиг:  
Холодом смерти повеяло с них.  
Бросив мне полный презрения взор,  
Скрылась со смехом она... С этих пор  
Я и не помню, что было со мной!  
Помню лишь взор беспощадный, немой,  
Жегший меня наяву и во сне,  
Мучивший душу в ночной тишине...  
Вот и теперь, посмотри, оглянись...  
Это она! ее очи впились,  
В душу вливают смятенье и страх,  
Злая усмешка скользит на губах...

### М а т ь

Сын мой, то призрак: не бойся его.  
Здесь, в этой хижине, нет никого.  
Сядь, как бывало, и слез не таи,  
Я уврачую все раны твои.

### С ы н

Матушка, прежний мой пламень потух:  
Сам я стал холоден, сам я стал сух;  
Лучше уйди, не ласкай меня, мать!  
Ласки тебе я не в силах отдать.

### М а т ь

Сын мой, я жесткое слово прошу,  
Злобным упреком тебя не смущу,  
Что мне в объятьях и ласках твоих?  
Матери сердце тепло и без них.



## С ы н

Матушка, смерть уж в окошко стучит...  
Душу одно лишь желанье томит  
В этот последний и горестный час:  
Встретить ее хоть один еще раз,  
Чтобы под звук наших песен былых  
Таять в объятьях ее ледяных!

Смолкла беседа. Со стоном глухим  
Сын повалился. Лежит недвижим,  
Тихо дыханье, как будто заснул...  
Длинную песню сверчок затянул...  
Молится старая, шепчет, не спит...  
Буря то плачет, то злобно шипит,  
Воет, в замерзшее рвется стекло...  
Словно ей жаль, что в избушке тепло,  
Словно досадно ей, ведьме лихой,  
Что не кончается долго больной,  
Что над постелью, где бедный лежит,  
Матери сердце надеждой дрожит!

*Конец 1860-х годов*

## ВСТРЕЧА

Тропинкой узкою я шел в ночи немой,  
И в черном женщина явилась предо мной.  
Остановился я, дрожа, как в лихорадке...  
Одежды траурной рассыпанные складки,  
Седые волосы на сгорбленных плечах —  
Всё в душу скорбную вливало тайный страх.  
Хотел я своротить, но места было мало;  
Хотел бежать назад, но силы не хватало,  
Горела голова, дышала тяжело грудь...  
И вздумал я в лицо старухи заглянуть,  
Но то, что я прочел в ее недвижимом взоре,  
Таило новое, неведомое горе.  
Сомненья, жалости в нем не было следа,  
Не злоба то была, не месть и не вражда,  
Но что-то темное, как ночи дуновенье,  
Неумолимое, как времени теченье.  
Она сказала мне: «Я смерть, иди со мной!»  
Уж чуял я ее дыханье над собой,  
Вдруг сильная рука, неведомо откуда,  
Схватила, и меня, какой-то силой чуда,

Перенесла в мой дом...

Живу я, но с тех пор  
Ничей не радует меня волшебный взор,  
Не могут уж ничьи приветливые речи  
Заставить позабыть слова той страшной встречи.

*Конец 1860-х годов*

\* \* \*

Опять в моей душе тревоги и мечты,  
И льется скорбный стих, бессонницы отрада...  
О, рви их поскорей — последние цветы  
Из моего поблекнувшего сада!  
Их много сожжено случайною грозой,  
Размыто ранними дождями,  
А осень близится неслышною стопой  
С ночами хмурыми, с бессолнечными днями.  
Уж ветер выл холодный по ночам,  
Сухими листьями дорожки покрывая;  
Уже к далеким, теплым небесам  
Промчалась журавлей заботливая стая,  
И между липами, из-за нагих ветвей  
Сквозит зловещее, чернеющее поле...  
Последние цветы сомкнулися тесней...  
О, рви же, рви же их скорей,  
Дай им хоть день еще прожить в тепле и холе!

*Конец 1860-х годов*

#### КОРОЛЕВА

Пир шумит.— Король Филипп ликует,  
И, его веселие деля,  
Вместе с ним победу торжествует  
Пышный двор Филиппа короля.

Отчего ж огнями блещет зала?  
Чем король обрадовал страну?  
У соседа — верного вассала —  
Он увез красавицу жену.

И среди рабов своих покорных  
Молодецки, весело глядит:  
Что ему до толков не придворных?  
Муж потерпит, папа разрешит.—

Шумен пир.— Прелестная Бертрада  
Оживляет, веселит гостей,  
А внизу, в дверях, в аллеях сада,  
Принцы, графы шепчутся о ней.

Что же там мелькнуло белой тенью,  
Исчезало в зелени кустов  
И опять, подобно привиденью,  
Двигается без шума и без слов?

«Это Берта, Берта королева!» —  
Пронеслось мгновенно здесь и там,  
И, как стая гончих, справа, слева  
Принцы, графы кинулись к дверям.

И была ужасная минута:  
К ним, шатаясь, подошла она,  
Горем — будто бременем — согнута,  
Страстью — будто зноем — спалена.

«О, зачем, зачем,— она шептала,—  
Вы стоите грозною толпой?  
Десять лет я вам повелевала,—  
Был ли кто из вас обижен мной?»

О Филипп, пускай падут проклятья  
На жестокий день, в который ты  
В первый раз отверг мои объятья,  
Вняв словам бесстыдной клеветы!

Если б ты изгнанник был бездомный,  
Я бы шла без усталости с тобой  
По лесам осенней ночью темной,  
По полям в палящий летний зной.

Гнет болезни, голода страданья  
И твои упреки без числа —  
Я бы всё сносила без роптанья,  
Я бы снова счастлива была!

Если б в битве, обгаренный кровью,  
Ты лежал в предсмертном забвении,  
К твоему склонившись изголовью,  
Омывала б раны я твои.

Я бы знала все твои желанья,  
Поняла бы гаснущую речь,  
Я б сумела каждое дыханье,  
Каждый трепет сердца подстеречь.

Если б смерти одолела сила —  
В жгучую печаль погружена,  
Я б сама глаза твои закрыла,  
Я б с тобой осталася одна...

Старцы, жены, юноши и девы —  
Все б пришли, печаль мою деля,  
Но никто бы ближе королевы  
Не стоял ко гробу короля!

Что со мною? Страсть меня туманит,  
Жжет огонь обманутой любви...  
Пусть конец твой долго не настанет,  
О король мой, царствуй и живи!

За одно приветливое слово,  
За один волшебный прежний взор  
Я сносить безропотно готова  
Годы ссылки, муку и позор.

Я смущать не стану ликованья;  
Я спокойна; ровно дышит грудь...  
О, пустите, дайте на прощанье  
На него хоть раз еще взглянуть!»

Но напрасно робкою мольбою  
Засветился королевы взгляд:  
Неприступной каменной стеною  
Перед ней придворные стоят...

Пир шумит. Прелестная Бертрада  
Все сердца пленяет и живит,  
А в глуши темнеющего сада  
Чей-то смех, безумный смех звучит.

И, тот смех узнав, смеются тоже  
Принцы, графы, баловни судьбы,  
Пред несчастьем — гордые вельможи,  
Пред успехом — подлые рабы.

*Конец 1860-х годов*

БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

*В альбом О. А. Козловой*

Хоть стих наш устарел, но преклони свой слух  
И знай, что их уж нет, когда-то бодро певших,  
Их песня замерла, и взор у них потух,  
И перья выпали из рук окоченевших!

Но смерть не всё взяла. Средь этих урн и плит  
Неизгладимый след минувших дней таится:  
Все струны порвались, но звук еще дрожит,  
И жертвенник погас, но дым еще струится.

*Конец 1860-х годов*

#### СТАРАЯ ЦЫГАНКА

Пир в разгаре. Случайно сошлись сюда,  
Чтоб вином отвести себе душу  
И послушать красавицу Грушу,  
Разношерстные всё господа:  
Тут помещик расслабленный, старый,  
Тут усатый полковник, безусый корнет,  
Изучающий нравы поэт  
И чиновников юных две пары.  
Притворяются гости, что весело им,  
И плохое шампанское льется рекою...

Но цыганке одной этот пир нестерпим.  
Она села, к стене прислонясь головою,  
Вся в морщинах, дырявая шаль на плечах,  
И суровое, злое презренье  
Загорается часто в потухших глазах:  
Не по сердцу ей модное пенье...  
«Да, уж песни теперь не услышишь такой,  
От которой захочется плакать самой!  
Да и люди не те: им до прежних далече...  
Вот хоть этот чиновник,— плюгавый такой,  
Что, Наташу обнявши рукой,  
Говорит непристойные речи,—  
Он ведь шагу не ступит для ней... В кошельке  
Вся душа-то у них... Да, не то, что бывало!»  
Так шептала цыганка в бессильной тоске,  
И минувшее, сбросив на миг покрывало,  
Перед нею росло — воскресало.

Ночь у Яра. Московская знать  
Собралась как для важного дела,  
Чтобы Маню — так звали ее — услыхать,  
Да и как же в ту ночь она пела!  
«Ты почувствуй», — выводит она, наклонясь,  
А сама между тем замечает,  
Что высокий, осанистый князь  
С нее огненных глаз не спускает.

Полюбила она с того самого дня  
 Первой страстью горячей, невинной,  
 Больше братьев родных, «жарче дня и огня»,  
 Как певалось в песне старинной.  
 Для него бы снесла она стыд и позор,  
 Убежала бы с ним безрассудно,  
 Но такой учредили за нею надзор,  
 Что и видеться было им трудно.  
 Раз заснула она среди слез.  
 «Князь приехал!» — кричат ей... Во сне аль серьезно?  
 Двадцать тысяч он в табор привез  
 И умчал ее ночью морозной.  
 Прожила она с князем пять лет,  
 Много счастья узнала, но много и бед...  
 Чего больше? спросите — она не ответит,  
 Но от горя исчезнул и след,  
 Только счастье звездой далекою светит!  
 Раз всю ночь она князя ждала,  
 Воротился он бледный от гнева, печали;  
 В этот день его мать прокляла  
 И в опеку имение взяли.  
 И теперь часто видит цыганка во сне,  
 Как сказал он тогда ей: «Эх, Маша,  
 Что нам думать о завтрашнем дне?  
 А теперь хоть минута, да наша!»  
 Довелось ей спознаться и с «завтрашним днем»:  
 Серебро продала, с жемчугами рассталась,  
 В деревянный, заброшенный дом  
 Из дворца своего перебралась,  
 И под эту кровлею вновь  
 Она с бедностью встретилась смело:  
 Те же песни и та же любовь...  
 А до прочего что ей за дело?  
 Это время сияет цыганке вдали,  
 Но другие картины пред ней пролетели.  
 Раз — под самый под Троицын день — к ней пришли  
 И сказали, что князь, мол, убит на дуэли.  
 Не забыть никогда ей ту страшную ночь,  
 А пойти туда на́ дом не смела.  
 Наконец поутру ей уж стало невмочь:  
 Она черное платье надела,  
 Робким шагом вошла она в княжеский дом,  
 Но как князя голубчика там увидала  
 С восковым, неподвижным лицом,  
 Так на труп его с воплем упала!  
 Зашептали кругом: «Не сошла бы с ума!  
 Знать, взаправду цыганка любила...»  
 Подошла к ней старуха княгиня сама,  
 Образок ей дала... и простила.

Еще Маня красива была в те года,  
Много к ней молодцов подбивалось,—  
Но, прожитою долей горда,  
Она верною князю осталась;  
А как помер сынок ее — славный такой,  
На отца был похож до смешного,—  
Воротилась цыганка в свой табор родной  
И запела для хлеба насущного снова!  
И опять забродила по русской земле,  
Только Марьей Васильевной стала из Мани...  
Пела в Нижнем, в Калуге, в Орле,  
Побывала в Крыму и в Казани;  
В Курске — помнится — раз, в Коренной,  
Губернаторше голос ее полюбился,  
Обласкала она ее пуще родной,  
И потом ей весь город дивился.  
Но теперь уж давно праздною тенью она  
Доживает свой век и поет только в хоре...

А могла бы пропеть и одна  
Про ушедшие вдаль времена,  
Про бродячее старое горе,  
Про веселое с милым житье  
Да про жгучие слезы разлуки...  
Замечталась цыганка...

Ее забытье  
Прерывают нахальные звуки.  
Груша, как-то весь стан изогнув,  
Подражая кокотке развязной,  
Шансонетку поет. «Ньюф, ньюф, ньюф...»—  
Раздается припев безобразный.  
«Ньюф, ньюф, ньюф,— шепчет старая вслед,—  
Что такое? Слова не людские,  
В них ни смысла, ни совести нет...  
Сгинет табор под песни такие!»  
Так обидно ей, горько,— хоть плачь!

Пир в разгаре. Хвативши трактирной отравы,  
Спит поэт, изучающий нравы,  
Пьет довольный собою усач,  
Расходился чиновник плюгавый:  
Он чужую фуражку надел набекрень  
И плясать бы готов, да стыдится.

Неприветливый, пасмурный день  
В разноцветные стекла глядится.

*Конец 1860-х годов*

А. С. ДАРГОМЫЖСКОМУ

С отрадой тайною, с горячим нетерпеньем  
Мы песни ждем твоей, задумчивый певец!

Как жадно тысячи сердец  
Тебе откликнутся могучим упоеньем!  
Художники бессмертны: уж давно  
Покинул нас поэта светлый гений,  
И вот «волшебной силой песнопений»  
Ты воскресаешь то, что им погребено.  
Пускай всю жизнь его терзал венец терновый,  
Пусть и теперь над ним звучит неправый суд,  
Поэта песни не умрут:  
Где замирает мысль и умолкает слово,  
Там с новой силою аккорды потекут...  
Певец родной, ты брат поэта нам родного,  
Его безмолвна ночь, твой ярко блещет день,—  
Так вызови ж скорей, творец «Русалки», снова  
Его тоскующую тень!

*Конец 1860-х годов*

A LA POINTE\*

Недвижно безмолвное море,  
По берегу чинно идут  
Знакомые лица, и в сборе  
Весь праздный, гуляющий люд.

Проходит банкир бородатый,  
Гремит офицер налашом,  
Попарно снуют дипломаты  
С серьезным и кислым лицом.

Как мумии, важны и прямы,  
В колясках своих дорогих  
Болтают нарядные дамы,  
Но речи не клеются их.

«Вы будете завтра у Зины?..»  
— «Княгине мой низкий поклон...»  
— «Из Бадена пишут кузины,  
Что Бисмарк испортил сезон...»

---

\* На стрелке (*фр.*).



Блондинка с улыбкой небесной  
Лепечет, поднявши лорнет:  
«Как солнце заходит чудесно!»  
А солнца давно уже нет.

Гуманное общество теща,  
Несется приятная весть:  
Пришла из Берлина депеша:  
Убитых не могут и счесть.

Графиня супруга толкает:  
«Однако, мой друг, посмотри,  
Как весело Рейс выступает,  
Как грустен несчастный Флери».

Не слышно веселого звука,  
И гордо на всем берегу  
Царит величавая скука,  
Столь чтимая в светском кругу.

Темнеет. Роса набежала.  
Туманом оделся залив.  
Разъехались дамы сначала,  
Запас новостей истощив.

Наружно смиренны и кротки,  
На промысел выгодный свой  
Отправились в город кокотки  
Беспечной и хищной гурьбой.

И следом за ними, зевая,  
Дивя их своей пустотой,  
Ушла молодежь золотая  
Оканчивать день трудовой.

Рассеялись всадников кучи,  
Коляски исчезли в пыли,  
На западе хмурые тучи  
Как полог свинцовый легли.

Один я.— Опять падо мною  
Везде тишина и простор;  
В лесу, далеко, за водою,  
Как молния вспыхнул костер.

Как рвется душа, изпывая,  
На яркое пламя костра!  
Кинит здесь беседа живая  
И будет кипеть до утра;

От холода, скуки, ненастья  
Здесь, верно, надежный приют;  
Быть может, неожиданное счастье  
Свило себе гнездышко тут.

И сердце трепещет невольно...  
И знаю я: ехать пора,  
Но как-то расстаться мне больно  
С далеким мерцаньем костра.

*10 августа 1870*

\* \* \*

Приветствую вас, дни труда и вдохновенья!  
Опять блестя минувшей красотой,  
Являются мне жизни впечатленья  
И в ярких образах толпятся предо мной.  
Но, суетой вседневною объята,  
Моя душа порой глуха на этот зов  
И тщетно молит к прежнему возврата,  
И вырваться не может из оков...  
Так лебедь, занесенный в край безводный  
И с жизнью свыкшийся иной,  
Порою хочет, гордый и свободный,  
Лететь к стране своей родной...  
Но взор его потух, отяжелели крылья,  
И если удалось ему на миг взлететь,—  
То только чтоб свое почувствовать бессилье  
И песнь последнюю пропеть!

*1870, 1885(?)*

#### УМИРАЮЩАЯ МАТЬ

*(С французского)*

«Что, умерла, жива? Потихе говорите,  
Быть может, удалось на время ей заснуть...»  
И кто-то предложил: ребенка принесите  
И положите ей на грудь!  
И вот на месте том, где прежде сердце билось,  
Ребенок с плачем скрыл лицо свое...  
О, если и теперь она не пробудилась,—  
Всё кончено, молитесь за нее!

*1871*

## ОГОНЕК

Дрожа от холода, измучившись в пути,  
Застигнутый врасплох суровою метелью,  
Я думал: лошадям меня не довести  
И будет мне сугроб последнею постелью...

Вдруг яркий огонек блеснул в лесу глухом,  
Гостеприимная открылась дверь пред нами,  
В уютной комнате, пред светлым камельком,  
Сижку обвеянный крылатыми мечтами.

Давно молчавшая опять звучит струна,  
Опять трепещет грудь волненьями былыми,  
И в сердце ожила старинная весна,  
Весна с черемухой и липами родными...

Теперь не страшен мне протяжный бури вой,  
Грозящий издали бедою полуночной,  
Здесь — пристань мирная, здесь — счастье и покой,  
Хоть краток тот покой и счастье то непрочное.

О, что до этого! Пускай мой путь далек,  
Пусть завтра вновь меня настигнет буря злая,  
Теперь мне хорошо... Свети, мой огонек,  
Свети и грей меня, на подвиг ободряя!

1871

\* \* \*

Честь имею донести Вашему  
Высокоблагородию, что в огородах  
мещанки Ефимовой найдено  
мертвое тело.

*(Из полицейского рапорта)*

В убогом рублище, недвижна и мертва,  
Она покоилась среди пустого поля.  
К бревну прислонена, лежала голова.  
Какая выпала вчера ей злая доля?  
Зашиб ли хмель ее среди вечерней тьмы,  
Испуганный ли вор хватил ее в смятении,  
Недуг ли поразил, — еще не знали мы  
И уловить в лице старались выраженье.  
Но веяло оно покоем неземным;  
Народ стоял кругом, как бы дивясь чуду,  
И каждый клал свой грош в одну большую груду,  
И деньги сыпались к устам ее немым.  
Вчера их вымолить она бы не сумела...

Да, эти щедрые и поздние гроши,  
Что, может быть, спасли б нуждавшееся тело,  
Народ охотнее бросает для души.—  
Был чудный вешний день. По кочкам зеленели  
Побеги свежие рождавшейся травы,  
И дети бегали, и жаворонки пели...  
Прохладный ветерок, вокруг мертвой головы  
Космами жидкими волос ее играя,  
Казалось, лепетал о счастье и весне,  
И небо синее в прозрачной вышине  
Смеялось над землей, как эпиграмма злая!

1871(?)

\* \* \*

Истомил меня жизни безрадостный сон,  
Ненавистна мне память бывшего,  
Я в прошедшем моем, как в тюрьме, заключен  
Под надзором тюремщика злого.

Захочу ли уйти, захочу ли шагнуть,—  
Роковая стена не пускает,  
Лишь оковы звучат, да сжимается грудь,  
Да бессонная совесть терзает.

Но под взглядом твоим распадается цепь,  
И я весь освещаюсь тобою,  
Как цветами нежданно одетая степь,  
Как туман, серебримый луною...

<1872>

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

Лет двадцать пять назад спала родная сцена,  
И сон ее был тяжек и глубок...  
Но вы сказали ей: что ж, «Бедность не порок»,  
И с ней произошла благая перемена.  
Бесценных перлов ряд театру подаря,  
За ним «Доходное» вы утвердили «место»,  
И наша сцена, вам благодаря,  
Уже не «Бедная невеста».  
Заслуги ваши гордо вознеслись,  
А кто не видит их иль понимает ложно,  
Тому сказать с успехом можно:  
«Не в свои сани не садись!»

18 февраля 1872

## ТВОЯ СЛЕЗА

Твоя слеза катилась за слезой,  
Твоя душа сжималась молодая,  
Внимая речи лживой и чужой...  
И я в тот миг не мог упасть, рыдая,  
Перед тобой!

Твоя слеза проникла в сердце мне,  
И всё, что было горького, больного  
Запрятано в сердечной глубине,—  
Под этою слезою всплыло снова,  
Как в страшном сне!

Не в первый раз собирается гроза,  
И страха перед ней душа не знала!  
Теперь дрожу я... Робкие глаза  
Глядят куда-то вдаль... куда упала  
Твоя слеза!

1872

## ЛЮБОВЬ

Когда без страсти и без дела  
Бесцветно дни мои текли,  
Она как буря налетела  
И унесла меня с земли.

Она меня лишила веры  
И вдохновение зажгла,  
Дала мне счастье без меры  
И слезы, слезы без числа...

Сухими, жесткими словами  
Терзала сердце мне порой,  
И хохотала над слезами,  
И издевалась над тоской;

А иногда горячим словом  
И взором ласковых очей  
Гнала печаль,— и в блеске новом  
В душе светилась моей!

Я всё забыл, дышу лишь ею,  
Всю жизнь я отдал ей во власть,  
Благословить ее не смею  
И не могу ее проклясть.

1872

\* \* \*

(С французского)

О, смейся надо мной за то, что безучастно  
Я в мире не иду пробитою тропой,  
За то, что песен дар и жизнь я сжег напрасно,  
За то, что гибну я... О, смейся надо мной!

Глумись и хохочи с безжалостным укором —  
Толпа почит твоя смех сочувствием живым;  
Все будут за тебя, проклятья грянут хором,  
И камни полетят послушно за твоим.

И если, совладать с тоскою не умея,  
Изнывшая душа застонет, задрожит...  
Скорей сдави мне грудь, прерви мой стон скорее,  
А то, быть может, бог услышит и простит.

1872

А. Н. МУРАВЬЕВУ

Уставши на пути, тернистом и далеком,  
Приют для отдыха волшебный создал ты.  
На всё минувшее давно спокойным оком  
Ты смотришь с этой высоты.  
Пусть там внизу кругом клокочет жизнь иная  
В тупой вражде томящихся людей,—  
Сюда лишь изредка доходит, замирая,  
Невнятный гул рыданий и страстей.  
Здесь сладко отдохнуть. Всё веет тишиною,  
И даль безмерно хороша,  
И, выше уносясь доверчивой мечтою,  
Не видит ничего меж небом и собою  
На миг восставшая душа.

Июнь 1873

\* \* \*

Черная туча висит над полями,  
Шепчутся клены, березы качаются,  
Дубы столетние машут ветвями,  
Точно со мной говорить собираются.

«Что тебе нужно, пришлец бесприютный?  
(Голос их важный с вершины мне чудится.)  
Думаешь, отдых вкушая минутный,  
Так вот и прошлое всё позабудется?»

Нет, ты словами себя не обманешь:  
Спета она, твоя песенка скудная!  
Новую песню уж ты не затянешь,  
Хоть и звучит она, близкая, чудная!

Сердце усталое, сердце больное  
Звуков волшебных напрасно искало бы:  
Здесь, между нами, ищи ты покоя,  
С жизнью простися без стонов и жалобы.

Смерти боишься ты? Страх малодушный!  
Всё, что томило игрой бесполезною:  
Мысли, и чувства, и стих, им послушный,—  
Смерть остановит рукою железною.

Всё, клеветавшее тайно, незримо,  
Всё, угнетавшее с дикою силою,  
Вмиг разлетится, как облако дыма,  
Над неповинною, свежей могилою!

Если же кто-нибудь тишь гробовую  
Вздохом нарушит, слезою участия,  
О, за слезу бы ты отдал такую  
Все свои призраки прошлого счастья!

Тихо, прохладно лежать между нами,  
Тень наша шире и шорох приветнее...»  
В вечер ненастный, качая ветвями,  
Так говорили мне дубы столетние.

*30 июля 1873*

#### МАРИИ ДМИТРИЕВНЕ ЖЕДРИНСКОЙ

Когда путем несносным и суровым  
Мне стала жизнь в родимой стороне,  
Оазис я нашел под вашим кровом,  
И отдохнуть отрадно было мне.

И старые и новые печали,  
Вчерашний бред и думы прошлых дней  
В моей душе вы сердцем прочитали  
И сгладили улыбкою своей.

И понял я, смущен улыбкой этой,  
Что царство зла отсюда далеко,  
И понял я, чем всё кругом согрето  
И отчего здесь дышится легко.

Но дни летят... С невольным содроганьем  
Смотрю на черный, отдаленный путь:  
Он страшен мне, и, словно пред изгнашем,  
Пророческой тоской стеснилась грудь.

И тщетно ум теряется в вопросах:  
Где встретимся? Когда? И даст ли бог  
Когда-нибудь мой страннический посох  
Сложить опять у ваших милых пог?

*2 августа 1873*

#### МУХИ

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:  
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!  
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая,  
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая,  
Валится книга из рук, разговор унадает, бледнея...  
Эх, кабы вечер придвинулся! Эх, кабы ночь поскорее!

Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:  
Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою!  
Только прогонишь одну, а уж в сердце впилась другая,—  
Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!  
Хочешь забыть, разлюбить, а всё любишь сильнее и больше...  
Эх! кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!

*1873*

#### ШВЕЙЦАРКЕ

Целую ночь я в постели метался,  
Ветер осенний, сердитый  
Выл падо мной;  
Словно при мне чей-то сон продолжался,  
Некогда здесь позабытый,  
Сон, мне чужой.

Снились мне дальней Швейцарии горы...  
Скованы вечными льдами  
Выси тех гор,



И отдыхают смущенные взоры  
В светлых долинах с садами,  
В глади озер.

Славно жилось бы. Семья-то большая...  
Часто под старую крышу  
Входит нужда.  
Надо расстаться... «Прощай, дорогая!  
Голос твой милый услышу  
Вряд ли когда!»

Свет нелюбимого, бледного неба...  
Звуки наречья чужого  
Дразнят как шум;  
Горькая жизнь для насущного хлеба,  
Жизнь воздержанья тупого.  
Сдавленных дум.

Если же сердце зашепчет о страсти,  
Если с неведомой силой  
Вспыхнут мечты.—  
Прочь их гони, не веряйся их власти,  
Образ забудь этот милый,  
Эти черты.

Жизнь пронесется бесцветно-пустая...  
В бездну забвенья угрюмо  
Канет она...  
Так, у подножья скалы отдыхая,  
Смоет песчинку без шума  
Моря волна.

Вдруг пробудился я. День начинался,  
Билося сердце, объято  
Странной тоской;  
Снова заснул я, и вновь продолжался  
Виденный кем-то, когда-то  
Сон, мне чужой.

Чья-то улыбка и яркие очи,  
Звуки альпийской свирели,  
Ропот судьбе,—  
Всё, что в безмолвные, долгие ночи  
В этой забытой постели  
Снилось тебе!

## О ЦЫГАНАХ

*Посвящается А. И. Гончарову*

### 1

Когда в Москве первопрестольной  
С тобой сойдемся мы вдвоем,  
Уж знаю я, куда неволью  
Умчит нас тройка вечером.

Туда весь день, на прибыль зорки,  
Стяжанья жаждою полны,  
Толпами лупят с Живодерки  
Индейца бедные сыны.

Им чужд их предок безобразный,  
И, правду надобно сказать,  
На них легла изнанкой грязной  
Цивилизации печать.

Им света мало свет наш придал,  
Он только шелком их одел;  
Корысть — единственный их идол,  
И бедность — вечный их удел.

Искусства также там, хоть тресни,  
Ты не найдешь — напрасный труд:  
Там исказят мотивы песни  
И стих поэта переврут.

Но гнаться ль нам за совершенством?  
Что нам за дело до того,  
Что так назойливо с «блаженством»  
У них рифмует «божество»?

В них сила есть пустыни знойной  
И ширь свободная степей,  
И страсти пламень беспокойный  
Порою брызжет из очей.

В них есть какой-то, хоть и детский,  
Но обольщающий обман...  
Вот почему на раут светский  
Не променяем мы цыган.

### 2

Льется вино. Усачи полукругом,  
Черны, небриты, стоят, не моргнут,  
Смуглые феи сидят друг за другом:

Саша, Параша и Маша — все тут.  
Что же все смолкли? Их ночь утомила,  
Вот отдохнут, запоют погода.  
Липочка «Няню» давно пробасила;  
В глупом экстазе зрачками вода,  
«Утро туманное» Саша пропела...  
Ох! да была же она хороша,  
Долгий роман она в жизни имела,  
Знала цыганка, что значит душа!  
Но зажила в ней сердечная рана,  
Старые бури забыты давно,  
В этом лице не ищите романа:  
Сытостью властной дышит оно.  
Что ж и мудреного, что процветает  
Духом и здравием Саша моя?  
С выручки полной она получает,  
Шутка ли, три с половиной пая.  
Те, что постарше и менее пылки,  
Заняты ужином скромным своим;  
Всюду сигары, пустые бутылки,  
Тучами ходит по комнате дым.  
Старая Анна хлопочет за чаем,  
«Жубы» болят отчего-то у ней,  
Только, никем и ничем не смущаем,  
Коля бренчит на гитаре своей;  
Голос прелестный раздался... О, боже!  
Паша поет, не для ней, вишь, весна...  
Не для тебя, так скажи, для кого же?  
Ты черноброва, свежа и стройна,  
Из-под ресниц твоих солнца светлее  
Тянутся вешнего счастья лучи...  
«Ну-ка, затягивай «Лен», да живее!»  
Грянула песня. Гудят усачи.  
Липочка скачет, несется куда же?  
Где остановишься ты на пути?  
Лица горят; Марья Карповна даже,  
Кажется, хочет вприсядку пойти...  
Кончено... Стой! Неужли ж расставаться?  
Как-нибудь надо вам сон перевозмочь.  
«Ну-ка, цыганки, живей, одеваться!  
Едем к нам в город доканчивать ночь!»

3

И морозом, и метелью  
Охватило нас кругом,  
Смотрят брачно постелью  
Сани, крытые ковром.

«Паша! к нам — сюда! Дорóгой  
Будем петь, садись правой...  
Липа здесь! Живее трогай,  
Не жалея же лошадей!»

Подхватили лихо кони,  
Ветер свищет, словно зверь...  
От какой бы мы погони  
Не умчались теперь?

И какая бы кручина  
Не забылася легко?  
Всюду снежная равнина,  
До заставы далеко;

В небе темь и мгла густая,  
И не видно ямщика,  
И дрожит в руке другая  
Чья-то теплая рука!

4

Вот и приехали... «Ну, шевелися,  
Чаю скорее, за ромом пошли!»  
Мигом по комнатам все разбрелися,  
С жадным вниманием дом обошли,  
Всё любопытно им: двери, паркеты,  
Книги, альбомы, звонок за стеной...  
Вот и красавиц московских портреты:  
«Кто из них, Паша, сравнится с тобой?»  
Вот собрались, уселись за чаем,  
Тише признанья, но смех веселей...  
Только, ничем и никем не смущаем,  
Коля бренчит на гитаре своей.  
Длятся часы. Задушевное пенье,  
Словно волшебный таинственный сон,  
Льет нам минутное жизни забвенье...  
Вдруг раздался неожиданный звон:  
Колокол грянул из церкви соседней...  
Знаю, он разом веселье смутит!  
«Что это? К ранней звонили обедне?» —  
Старая Анна вприсонках ворчит.  
Вот и прощанье звучит роковое:  
«Поздно, до завтра, пора по домам!»  
Утро туманное, утро седое,  
Знать, и взаправду подкралось к нам.

Один я... Город шевелится,  
 Морозный день глядит в окно;  
 Я лег в постель, но мне не спится:  
 В душе и пусто и темно,  
 И жаль мне ночи беззаботной,  
 В которой, на один хоть час,  
 Блеснула гостьей мимолетной  
 Жизнь, не похожая на нас.  
 И снова голос полуночный  
 Звучит при тусклом свете дня:  
 Весна придет в свой час урочный,  
 Весна придет... не для меня!

1873

ПАМЯТИ Н. Д. КАРПОВА

С тех пор, как помню жизнь, я помню и тебя.  
 С улыбкой слушая младенческий мой лепет  
 И музу детскую навеки полюбя,  
 Ты знал мой первый стих и первый сердца трепет.

В мятежной юности, кипя избытком сил,  
 Я гордо в путь пошел с доверчивой душою,  
 И всюду на пути тебя я находил,  
 В безоблачный ли день, в ночи ли под грозюю.

Как часто, утомясь гонением врагов,  
 Предавшись горькому, томящему бессилью,  
 К тебе спасался я, как под родимый кров  
 Спасается беглец, покрыт дорожной пылью!

Полвека прожил ты, но каждый день милей  
 Казалась жизнь тебе,— ты до конца был молод.  
 Как не было седин на голове твоей,  
 Так сердца твоего не тронул жизни холод.

Мне так дика, чужда твоей кончины весть,  
 Так долго об руку с тобой я шел на свете,  
 Что, вылив из души неволью строки эти,  
 Я всё еще хочу тебе же их прочесть!

1873

## ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ

Бывало, теша ум в мечтаньях суеверных,  
Когда ты падала огнистой полосой,  
Тебе вверял я рой желаний эфемерных,  
Сменявшихся в душе нестройною толпой.  
Теперь опять ты шлешь мне кроткое сиянье,  
И взором я прильнул к летящему лучу.  
В душе горит одно заветное желанье,  
Но вверить я его не в силах... и молчу.  
Как думы долгие, лишивши их покрова,  
В одежду чуждую решуся я облечь?  
Как жизнь всю перелить в одно пустое слово?  
Как сердце разменять на суетную речь?  
О, если можешь ты, сроднясь с моей душою,  
Минуту счастья послать ей хоть одну,  
Тогда блесну, как ты, огнистой полосою  
И радостно в ночи безвестной утону.

1873

\* \* \*

Как бедный пилигрим, без крова и друзей,  
Томится жаждою среди нагих степей,  
Так, одиночеством, усталостью томимый,  
Безумно жажду я любви недостижимой.  
Не нужны страннику ни жемчуг, ни алмаз,  
На груды золота он не поднимет глаз,  
За чистую струю нежданного потока  
Он с радостью отдаст сокровища Востока.  
Не нужны мне страстей мятежные огни,  
Ни ночи бурные, ни пламенные дни,  
Ни пошлой ревности привычные страданья,  
Ни речи страстные, ни долгие лобзанья...  
Мне б только луч любви!.. Я жду, зову его...  
И если он блеснет из сердца твоего  
В пожатии руки, в немом сиянии взора,  
В небрежном лепете пустого разговора...  
О, как я в этот миг душою полюблю,  
С какою радостью судьбу благословлю!..  
И пусть потом вся жизнь в бессилии угрюмом  
Терзает и томит меня нестройным шумом!

1873

Ни у домашнего, простого камелька,  
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной  
Нам не забыть его, седого старика,  
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!

Ленивой поступью прошел он жизни путь,  
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил,  
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,  
Он был как голубь чист и как младенец светел.

Искусства, знания, события наших дней —  
Всё отклик верный в нем будило неизбежно,  
И словом, брошенным на факты и людей,  
Он клейма вечные накладывал небрежно...

Вы помните его в кругу его друзей?  
Как мысли сыпались неожиданные, живые,  
Как забывали мы под звук его речей  
И вечер длившийся, и годы прожитые!

В нем злобы не было. Когда ж он говорил,  
Язвительно смеясь над жизнью или веком,  
То самый смех его нас с жизнью мирил,  
А светлый лик его мирил нас с человеком!

*Между 1873 и 1875*

\* \* \*

*(М. Д. Жедринской)*

В уютном уголке сидели мы вдвоем,  
В открытое окно впивались наши очи,  
И, напрягая слух, в безмолвии ночном  
Чего-то ждали мы от этой тихой ночи.

Звон колокольчика нам чудился порой,  
Пугал нас лай собак, тревожил листьев шорох...  
О, сколько нежности и жалости немой,  
Не трата лишних слов, читали мы во взорах!

И сколько, сколько раз, сквозь сумрак новых лет,  
Светиться будет мне тот уголок уютный,  
И ночи тишина, и яркий лампы свет,  
И сердца чуткого обман ежеминутный!

*24 августа 1874*

## ВЕНЕЦИЯ

### 1

В развалинах забытого дворца  
Водили нас две нищие старухи,  
И речи их лилися без конца.  
«Синьоры, словно дождь среди засухи,  
Нам дорог ваш визит; мы стары, глухи  
И не пленим вас нежностью лица,  
Но радуйтесь тому, что нас узнали:  
Ведь мы с сестрой последние Микьяли.

### 2

Вы слышите: Микьяли... Как звучит!  
Об нас не раз, конечно, вы читали,  
Поэт о наших предках говорит,  
Историк их занес в свои скрижали,  
И вы по всей Италии едва ли  
Найдете род, чтоб был так знаменит.  
Так не были богаты и могучи  
Ни Пезаро, ни Фоскари, ни Пучи...

### 3

Ну, а теперь наш древний блеск угас.  
И кто же разорил нас в пух? — Ребенок!  
Племянник Гаэтано был у нас,  
Он поручён нам был почти с пеленок;  
И вырос он красавцем: строен, тонок...  
Как было не прощать его проказ!  
А жить он начал уже слишком рано...  
Всему виной племянник Гаэтано.

### 4

Анконские поместья он спустил,  
Палаццо продал с статуями вместе,  
Картины пропил, вазы перебил,  
Брильянты взял, чтоб подарить невесте,  
А проиграл их шулерам в Триесте.  
А впрочем, он прекрасный малый был,  
Характера в нем только было мало...  
Мы плакали, когда его не стало.



Смотрите, вот висит его портрет  
 С задумчивой, кудрявой головою;  
 А вот над ним — тому уж много лет,—  
 С букетами в руках и мы с сестрою.  
 Тогда мы обе славились красою,  
 Теперь, увы... давно пропал и след  
 От прошлого... А думается: всё же  
 На нас теперь хоть несколько похоже.

А вот Франческо... С этим не шути,  
 В его глазах не сыщешь сострадания:  
 Он заседал в Совете десяти,  
 Ловил, казнил, вымучивал признанья,  
 За то и сам под старость, в наказанье,  
 Он должен был тяжелый крест нести:  
 Три сына было у него,— все трое  
 Убиты в роковом Лепантском бое.

Вот в мантии старик, с лицом сухим:  
 Антонио... Мы им гордиться можем:  
 За доброту он всеми был любим,  
 Сенатором был долго, после дожем,  
 Но, ревностью, как демоном, тревожим,  
 К жене своей он был неумолим!  
 Вот и она, красавица Тереза:  
 Портрет ее — работы Веронеза —

Так, кажется, и дышит с полотна...  
 Она была из рода Морозини...  
 Смотрите, что за плечи, как стройна,  
 Улыбка ангела, глаза богини,  
 И хоть молва нещадна,— как святыни,  
 Терезы не касалась она.  
 Ей о любви никто б не заикнулся,  
 Но тут король, к несчастью, подвернулся.

Король тот Генрих Третий был. О нем  
 В семействе нашем памятно преданье,  
 Его портрет мы свято бережем.

О Франции храня воспоминанье,  
Он в Кракове скучал как бы в изгнаньи  
И не хотел быть польским королем.  
По смерти брата, чуя трон побольше,  
Решился он в Париж бежать из Польши.

10

Дорóгой к нам господь его привел.  
Июльской ночью плыл он меж дворцами,  
Народ кричал из тысячи гондол,  
Сливался пушек гром с колоколами,  
Венеция блистала вся огнями.  
В палаццо Фоскарини он вошел...  
Все плакали: мужчины, дамы, дети...  
Великий государь был Генрих Третий!

11

Республика давала бал гостям...  
Король с Терезой встретился на бале.  
Что было дальше — неизвестно нам,  
Но только мужу что-то насаказали,  
И он, Терезу утопив в канале,  
Венчался снова в церкви Фрари, там,  
Где памятник великого Кановы...  
Но старику был брак несчастлив новый».

12

И длился об Антонио рассказ,  
О бедствиях его второго брака...  
Но начало тянуть на воздух нас  
Из душных стен, из плесени и мрака...  
Старухи были нищие,— однако  
От денег отказались и не раз  
Нам на прощанье гордо повторяли:  
«Да, да,— ведь мы последние Микьяли!»

13

Я бросился в гондолу и велел  
Куда-нибудь подальше плыть. Смеркалось...  
Канал в лучах заката чуть блестел,  
Дул ветерок, и туча надвигалась.

152

Навстречу к нам гондола приближалась,  
Под звук гитары звучный тенор пел,  
И громко раздавались над волнами  
Заветные слова: *dimmi che m'ami\**.

14

Венеция! Кто счастлив и любим,  
Чья жизнь лучом сочувствия согрета,  
Тот, подойдя к развалинам твоим,  
В них не найдет желанного привета.  
Ты на призыв не дашь ему ответа,  
Ему покой твой слишком недвижим,  
Твой долгий сон без жалоб и без шума  
Его смутит, как тягостная дума.

15

Но кто устал, кто бурей жизни смят,  
Кому стремиться и спешить напрасно,  
Кого вопросы дня не шевелят,  
Чье сердце спит бессильно и безгласно,  
Кто в каждом дне грядущем видит ясно  
Один бесцельный повторений ряд,—  
Того с тобой обрадует свиданье...  
И ты пришла! И ты — воспоминанье!..

16

Когда больная мысль начнет вникать  
В твою судьбу былую глубже, шире,  
Она не дожа будет представлять,  
Плывущего в короне и порфире,  
А пытки, казни, мост *Dei Sospiri\*\** —  
Всё, всё, на чем страдания печать...  
Какие тайны горя и измены  
Хранят безмолвно мраморные стены!..

17

Как был людьми глубоко оскорблен,  
Какую должен был понести потерю,  
Кто написал, в темнице заключен  
Без окон и дверей, подобно зверю:

---

\* скажи мне, что любишь меня (*ит.*).

\*\* Мост Вздохов (*ит.*).

«Спаси господь от тех, кому я верю,—  
От тех, кому не верю, я спасен!»  
Он, может быть, великим был поэтом,—  
История твоя в двестишты этом!

18

Страданья чашу выпивши до дна,  
Ты снова жить, страдать не захотела,  
В объятых заколдованного сна,  
В минувшем блеске ты окаменела:  
Твой дож пропал, твой Марк давно без дела,  
Твой лев не страшен, площадь не нужна,  
В твоих дворцах пустынных дышит тленье...  
Везде покой, могила, разрушенье...

19

Могила!.. да! но отчего ж порой  
Ты хороша, пленительна, могила?  
Зачем она увядшей красотой  
Забывтых снов так много воскресила,  
Душе напомнив, что в ней прежде жило?  
Ужель обманчив так ее покой?  
Ужели сердцу суждено стремиться,  
Пока оно не перестанет биться?..

20

Мы долго плыли... Вот зажглась звезда,  
Луна нас обдала потоком света;  
От прежней тучи нет теперь следа,  
Как ризой, небо звездами одето.  
«Джузеппе! Пенпо!» — прозвучало где-то...  
Всё замерло: и воздух и вода.  
Гоцдола наша двигалась без шума,  
Налево берег Лидо спал угрюмо.

21

О, никогда на родине моей  
В года любви и страстного волненья  
Не мучили души моей сильней  
Тоска по жизни, жажда увлеченья!  
Хотелось забыться на мгновенье,  
Стряхнуть бывшее, высказать скорей  
Кому-нибудь, что душу наполняло...  
Я был один, и всё кругом молчало...

А издали, луной озарена,  
 Венеция, средь темных вод белея,  
 Вся в серебро и мрамор убрана,  
 Являлась мне как сказочная фея.  
 Спускалась ночь, теплом и счастьем вея;  
 Едва катилась сонная волна,  
 Дрожало сердце, тайной грустью сжато,  
 И тенор пел вдали «О, sol beato»... \*

1874

\* \* \*

В темную ночь, непроглядную,  
 Думы такие несвязные  
 Бродят в моей голове.  
 Вижу я степь безотрадную...  
 Люди и призраки разные  
 Ходят по желтой траве.

Вижу селение дальше...  
 Детской мечтой озаренные,  
 Годы катились там... но...  
 Комнаты смотрят печальнее,  
 Липы стоят обнаженные,  
 Песни замолкли давно.

Осень... Большою дорогою  
 Едут обозы скрипучие,  
 Ветер шумит по кустам.  
 Станция... крыша убогая...  
 Слезы старинные, жгучие  
 Снова текут по щекам.

Вижу я оргию шумную,  
 Бальные пары за парюю,  
 Блеск набежавшей весны,—  
 Всю мою юность безумную,  
 Все увлечения старые,  
 Все позабытые сны.

Снится мне счастье прожитое...  
 Очи недавно любимые  
 Ярко горят в темноте;  
 Месяц... окошко раскрытое...  
 Речи, с мечтой уносимые...  
 Речи так ласковы те!

---

\* О, прекрасное солнце (*ит.*).

Помнишь, как с радостью жадною  
Слушал я речи тебе праздные,  
Как я поверил тебе!  
В темную ночь, непроглядную,  
Думы такие несвязные  
Бродят в моей голове!

1875

«ПРАЗДНИКОМ ПРАЗДНИК»

Торжественный гул не смолкает в Кремле,  
Кадила дымятся, проносится стройное пенье...  
Как будто на мертвой земле  
Свершается вновь воскресенье!  
Народные волны ликуют, куда-то спеша...  
Зачем в этот час меня горькая мысль одолела?  
Под гнетом усталого, слабого тела  
Тебе не воскреснуть, разбитая жизнью душа!  
Напрасно рвалася ты к свету и жаждала воли;  
Конец недалек: ты, как прежде, во тьме и в пыли;  
Житейские дразги тебя искололи,  
Тяжелые думы тебя извели;  
И вот, утомясь, исстрадавшись без меры,  
Позорно сдалась ты гнетущей судьбе...  
И нет в тебе теплого места для веры,  
И нет для безверия силы в тебе!

*Начало 1870-х годов*

\* \* \*

ИСХОД, ГЛАВА XIV, СТИХ XX

Когда Израиля в пустыне враг настиг,  
Чтоб путь ему пресечь в обещанные страны,  
Тогда господь столп облачный воздвиг,  
Который разделил враждующие станы.  
Одних он тьмой объял до утренних лучей,  
Другим всю ночь он лил потоки света.

О, как душе тоскующей моей  
Близка святая повесть эта!  
В пустыне жизненной мы встретились давно,  
Друг друга ищем мы и сердцем и очами,  
Но сблизиться нам, верь, не суждено:

Столп облачный стоит и между нами.  
Тебе он светит яркою звездой,  
Как солнца луч тебя он греет,  
А мой удел, увы! другой:  
Оттуда мне лишь ночью веет,  
И безотрадной и глухой!

*Начало 1870-х годов*

## С КУРЬЕРСКИМ ПОЕЗДОМ

### 1

«Ну, как мы встретимся? — невольно думал он,  
По снегу рыхлому к вокзалу подъезжая.—  
Уж я не юноша и вовсе не влюблен...  
Зачем же я дрожу? Ужели страсть былая  
Опять как ураган ворвется в грудь мою  
Иль только разожгли меня воспоминанья?»  
И опустил он на мерзлую скамью,  
Исполнен жгучего, немого ожидания.  
Давно, давно, еще студентом молодым,  
Он с нею встретился в глуши деревни дальней.  
О том, как он любил и как он был любим  
Любовью первой, глубокой, идеальной,  
Как планы смелые чертила с ним она,  
Идее и любви всем жертвовать умея,  
Про то никто не знал, а знала лишь одна  
Высоких тополей тенистая аллея.  
Пришлось расстаться им, прошел несносный год.  
Он курс уже кончал, и новой, лучшей доли  
Была близка пора... И вдруг он узнает,  
Что замужем она, и вышла против воли.  
Чуть не сошел с ума, едва не умер он,  
Давал нелепые, безумные обеты,  
Потом оправился... С прошедшим примирен,  
Писал ей изредка и получал ответы;  
Потом в тупой борьбе с лишениями, с нуждой  
Прошли бесцветные, томительные годы;  
Он привыкал к цепям, и образ дорогой  
Лишь изредка блеснул лучом былой свободы,  
Потом бледнел, бледнел, потом совсем угас.  
И вот, как одержал над сердцем он победу,  
Как в тине жизненной по горло он погряз,—  
Вдруг весть неожиданная: «Муж умер, и я еду».  
— «Ну, как мы встретимся?» А поезд опоздал...  
Как ожидание бывает нестерпимо!

Толпою пестрою наполнился вокзал,  
Гурьба артельщиков прошла, болтая, мимо,  
А поезда всё нет, пора б ему прийти!  
Вот раздался свисток, дым по дороге взвился...  
И, тяжело дыша, как бы устав в пути,  
Железный паровоз пред ним остановился.

2

«Ну, как мы встретимся?» — так думала она,  
Пока на всех порах курьерский поезд мчался.  
Уж зимний день глядел из тусклого окна,  
Но убаюканный вагон не просыпался.  
Старалась и она заснуть в ночной тиши,  
Но сон, упрямый сон бежал всё время мимо:  
Со дна глубокого взволнованной души  
Воспоминания рвались неудержимо.  
Курьерским поездом, спеша бог весть куда,  
Промчалась жизнь ее без смысла и без цели.  
Когда-то, в лучшие, забытые года,  
И в ней горел огонь, и в ней мечты кипели!  
Но в обществе тупом, среди чуждых ей натур  
Тот огонек задут безжалостной рукою:  
Покойный муж ее был грубый самодур,  
Он каждый сердца звук встречал насмешкой злою.  
Был человек один.— Тот понял, тот любил...  
А чем она ему ответила? — Обманом...  
Что ж делать? Для борьбы ей не хватило сил,  
Да и могла ль она бороться с целым станом?  
И вот увидеться им снова суждено...  
Как встретятся они? Он находил когда-то  
Ее красавицей, но это так давно...  
Изменять хоть кого утрата за утратой!  
А впрочем... Не блестя, как прежде, красотой,  
Черты остались те ж, и то же выраженьё...  
И стало весело ей вдруг при мысли той,  
Всё оживилось в ее воображеньи!  
Сидевший близ нее и спавший пассажир  
Качался так смешно, с осанкой генерала,  
Что, глядя на него и на его мундир,  
Бог знает отчего, она захохотала.  
Но вот проснулись все,— теперь уж не заснуть...  
Кондуктор отобрал с достоинством билеты;  
Вот фабрики пошли, свисток — и кончен путь.  
Объятья, возгласы, знакомые приветы...  
Но где же, где же он? Не видно за толпой,  
Но он, конечно, здесь... О, боже, неужели  
Тот, что глядит сюда, вон этот, пожилой,  
С очками синими и в меховой шинели?



И встретились они, и поняли без слов,  
 Пока слова текли обычной чередою,  
 Что бремя прожитых бессмысленно годов  
 Меж ними бездною лежало роковою.  
 О, никогда еще потраченные дни  
 Среди чужих людей, в тоске уединенья,  
 С такою ясностью не вспомнили они,  
 Как в это краткое и горькое мгновенье!  
 Недаром злая жизнь их гнула до земли,  
 Забрасывая их слоями грязи, пыли...  
 Заботы на лице морщинами легли,  
 И думы серебром их головы покрыли!  
 И поняли они, что жалки их мечты,  
 Что под туманами осеннего ненастья  
 Они — поблекшие и поздние цветы —  
 Не возродятся вновь для солнца и для счастья!  
 И вот, рука в руке и взоры опустив,  
 Они стоят в толпе, боясь прервать молчанье...  
 И в глубь минувшего, в сердечный их архив  
 Уже уходит прочь еще воспоминанье!  
 Ему припомнилась та мерзлая скамья,  
 Где ждал он поезда в волнении томящем,  
 Она же думала, тревогу затая:  
 «Как было хорошо, когда в вагоне я  
 Смеялась от души над пассажиром спящим!»

*Начало 1870-х годов*

\* \* \*

В дверях покинутого храма  
 С кадил недвижных фимиама  
 Еще струился синий дым,  
 Когда за юною четою  
 Пошли мы пестрою толпою,  
 Под небом ясным, голубым.

Покровом облаков прозрачных  
 Оно, казалось, новобрачных  
 Благословляло с высоты,  
 И звуки музыки дрожали,  
 И словно счастье обещали  
 Благоухавшие цветы.

Людское горе забывая,  
 Душа смягчалась больная  
 И оживала в этот час...

И тихим, чистым упоением,  
Как будто сладким сновидением,  
Отвсюду веяло на нас.

*Начало 1870-х годов*

\* \* \*

Ночи безумные, ночи бессонные,  
Речи несвязные, взоры усталые...  
Ночи, последним огнем озаренные,  
Осени мертвой цветы запоздалые!

Пусть даже время рукой беспощадною  
Мне указало, что было в вас ложного,  
Всё же лечу я к вам памятью жадною,  
В прошлом ответа ищу невозможного...

Вкрадчивым шепотом вы заглушаете  
Звуки дневные, несносные, шумные...  
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,  
Ночи бессонные, ночи безумные!

1876

#### НАКАНУНЕ

Она задумчиво сидела меж гостей,  
И в близком будущем мечта ее витала...  
Надолго едет муж... О, только б поскорей!  
«Я ваша навсегда!» — она на днях писала.  
Вот он стоит пред ней — не муж, а тот, другой —  
И смотрит на нее таким победным взглядом...  
«Нет,— думает она,— не сладишь ты со мной:  
Тебе ль, мечтателю, идти со мною рядом?  
Ползти у ног моих судьбой ты обречен,  
Я этот гордый ум согну рукою властной;  
Как обессиленный, раздавленный Самсон,  
Признание свое забудешь в неге страстной!»  
Прочел ли юноша ту мысль в ее глазах,—  
Но взор по-прежнему сиял победной силой...  
«Посмотрим, кто скорей измучится в цепях»,—  
Довольное лицо, казалось, говорило.  
Кто победит из них? Пускай решит судьба...  
Но любят ли они? Что это? страсть слепая  
Иль самолюбия бесцельная борьба?

Бог знает!

Их речам рассеянно внимая,  
Сидит поодаль муж с нахмуренным лицом;  
Он знает, что его изгнание погубит...  
Но что до этого? Кто думает о нем?  
Он жертвой должен быть! Его вина: он любит.

1876

\* \* \*

В житейском холоде дрожа и изнывая,  
Я думал, что любви в усталом сердце нет,  
И вдруг в меня пахнул теплом и солнцем мая  
Нежданный твой привет.

И снова образ твой, задумчивый, и милый,  
И неразгаданный царит в душе моей,  
Царит с сознанием могущества и силы,  
Но с лаской прежних дней.

Как разгадать тебя? Когда любви томленье  
С мольбами и тоской я нес к твоим ногам  
И говорил тебе: «Я жизнь, и вдохновенье,  
И всё тебе отдам!»

Твой беспощадный взор сулил мне смерть и муку;  
Когда же мертвецом без веры и любви  
На землю я упал... ты подаешь мне руку  
И говоришь: «Живи!»

<1877>

#### ПУБЛИКА

*(Во время представления Росси)*

Артист окончил акт. Недружно и несмело  
Рукоплекания раздалися в рядах.  
Однако вышел он... Вдруг что-то заблестело  
У капельмейстера в руках.  
Что это? — Смотрят все в тревоге жадной...  
Подарок ценный, вот другой,  
А вслед за ними и венок громадный...  
Преобразилось всё. Отвсюду крики, вой...

Нет вызовам конца! Платками машут дамы,  
И был бы даже вызван автор драмы,  
Когда б был жив... Куда ни глянь,  
Успех венчается всеобщим приговором.  
Кого же чествуют? Кому восторгов дань?  
Артисту? — Нет: венку с серебряным прибором!

18 марта 1877

#### П. ЧАЙКОВСКОМУ

Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»,  
Забыв училище и мир,  
Мечтали мы о славе идеальной...  
Искусство было наш кумир,  
И жизнь для нас была обвеяна мечтами.  
Увы, прошли года, и с ужасом в груди  
Мы сознаем, что всё уже за нами,  
Что холод смерти впереди.  
Мечты твои сбылись. Презрев тропой избитой,  
Ты новый путь себе настойчиво пробил,  
Ты с бою славу взял и жадно пил  
Из этой чаши ядовитой.  
О, знаю, знаю я, как жестко и давно  
Тебе за это мстил какой-то рок суровый  
И сколько в твой венец лавровый  
Колючих терний вплетено.  
Но туча разошлась. Душе твоей послушны,  
Воскресли звуки дней былых,  
И злобы лепет малодушный  
Пред ними замер и затих.  
А я, кончая путь «непризнанным» поэтом,  
Горжусь, что угадал я искру божества  
В тебе, тогда мерцавшую едва,  
Горящую теперь таким могучим светом.

Декабрь (?) 1877

#### ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Когда в грязи и лжи возникшему кумиру  
Пожертвован везде искусства идеал,  
О вечной красоте напоминая миру,  
Твой мощный голос прозвучал.

Глубоких струн души твои коснулись руки,  
Ты в жизни понял всё и всё простил, поэт!  
Ты из нее извлек чарующие звуки,  
Ты знал, что в правде грязи нет.

Кто по земле ползет, шипя на всё змеєю,  
Тот видит сор один... и только для орла,  
Парящего легко и вольно над землею,  
Вся даль безбрежная светла!

1877

#### НАД СВЯЗКОЙ ПИСЕМ

Не я один тебя любил  
И, жизнь отдав тебе охотно,  
В очах задумчивых ловил  
Хоть призрак ласки мимолетной;  
Не я один в тиши ночей  
Припоминал с тревогой тайной  
И каждый звук твоих речей,  
И взор, мне брошенный случайно.

И не во мне одном душа,  
Смущаясь встречею холодной,  
Безумной ревностью дыша,  
Томилась горько и бесплодно.  
Как побежденный властелин,  
Забыв всю тяжесть униженья,  
Не я один, не я один  
Молил простить мои мученья!

О, кто же он, соперник мой?  
Его не видел я, не знаю,  
Но с непонятною тоской  
Я эти жалобы читаю.  
Его любовь во мне жива,  
И, весь в ее волшебной власти,  
Твержу горячие слова  
Хотя чужой, но близкой страсти.

1877

#### БРАТЬЯМ

Светает... Не в силах тоски превозмочь,  
Заснуть я не мог в эту бурную ночь.  
Через реки, и горы, и степи простор  
Вас, братья далекие, ищет мой взор.

Что с вами? Дрожите ли вы под дождем  
В убогой палатке, прикрывшись плащом,  
Вы стонете ль в ранах, томитесь в плену,  
Иль пали в бою за родную страну,  
И жизнь отлетела от лиц дорогих,  
И голос ваш милый навеки затих?..  
О господи! лютой пылая враждой,  
Два стана давно уж стоят пред тобой;  
О помощи молят тебя их уста,  
Один за Аллаха, другой за Христа;  
Без устали, дружно во имя твое  
Работают пушка, и штык, и ружье...  
Но, боже! один ты, и вера одна,  
Кровавая жертва тебе не нужна.  
Яви же борцам негодующий лик,  
Скажи им, что мир твой хорош и велик,  
И слово забытое братской любви  
В сердцах, омраченных враждой, оживи!

1877

\* \* \*

Птичкой ты резвой росла,  
Клетка твоя золоченая  
Стала душна и мала.  
Старая няня ученая  
Песню твою поняла.

Что тебе угол родной,  
Матери ласки приветные!  
Жизни ты жаждешь иной.  
Годы прошли незаметные...  
Близится день роковой.

Ярким дивясь лучам,  
Крылья расправив несмелые,  
Ты улетишь к небесам...  
Тучки гуляют там белые,  
Воля и солнышко там!

В келье забытой твоей  
Жизнь потечет безотрадная...  
О, ты тогда пожалей,  
Птичка моя ненаглядная,  
Тех, кто останется в ней!

1878

## ДВЕ ВЕТКИ

Верхние ветви зеленого, стройного клена,  
В горьком раздумье слежу я за вами с балкона.

Грустно вы смотрите: ваше житье незавидно;  
Что на земле нас волнует — того вам не видно.

В синее небо вы взор устремили напрасно:  
Небо — безжалостно, небо — так гордо-бесстрастно!

Бури ль вы ждете? Быть может, раскрывши объятия,  
Встретитесь вы, как давно разлученные братья?..

Нет, никогда вам не встретиться! Ветер застонет,  
Листья крутя, он дрожащую ветку наклонит,

Но, неизменный, суровый закон выполняя,  
Тотчас от ветки родной отшатнется другая...

Бедные ветви, утешьтесь! Вы слишком высоки:  
Вот отчего вы так грустны и так одиноки!

1878

\* \* \*

Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет...  
В ушах раздавался прощальный привет,  
Дышал он неожиданною лаской...  
Свинцовое море шумело кругом...  
Всё это мне кажется сладостным сном,  
Волшебной, несбыточной сказкой!

О нет, то не сон был! В дали голубой  
Две белые чайки неслись над водой,  
И серые тучки летели,—  
И всё, что сказать я не мог и не смел,  
Кипело в душе... и восток чуть адел,  
И волны шумели, шумели!..

1879

\* \* \*

Снова один я... Опять без значенья  
День убегает за днем,  
Сердце испуганно ждет запустенья,  
Словно покинутый дом.

Заперты ставни, забиты ворота,  
Сад догнивает пустой...  
Где же ты светишь и греешь кого ты,  
Мой огонек дорогой?

Видишь, мне жизнь без тебя не под силу,  
Прошлое давит мне грудь,  
Словно в раскрытую грозно могилу,  
Страшно туда заглянуть.

Тянется жизнь, как постылая сказка,  
Холодом веет от ней...  
О, мне нужна твоя тихая ласка,  
Воздуха, солнца нужней!..

1879

\* \* \*

Я ее победил, роковую любовь,  
Я убил ее, злую змею,  
Что без жалости, жадно пила мою кровь,  
Что измучила душу мою!  
Я свободен, спокоен опять —  
Но не радостен этот покой.

Если ночью начну я в мечтах засыпать,  
Ты сидишь, как бывало, со мной.  
Мне мерещатся снова они —  
Эти жаркие летние дни,  
Эти долгие ночи бессонные,  
Безмятежные моря струи,  
Разговоры и ласки твои,  
Тихим смехом твоим озаренные.  
А проснулся я: ночь, как могила, темна,  
И подушка моя холодна,  
И мне некому сердца излить.  
И напрасно молю я волшебного сна,  
Чтоб на миг мою жизнь позабыть.  
Если ж многие дни без свиданья пройдут,  
Я тоскую, не помня измен и обид;  
Если песню, что любишь ты, вдруг запоют,  
Если имя твое невзначай назовут,—  
Мое сердце, как прежде, дрожит!  
Укажи же мне путь, назови мне страну,  
Где прошедшее я прокляну,  
Где бы мог не рыдать я с безумной тоской  
В одинокий полуночный час,



Где бы образ твой, некогда мне дорогой,  
    Побледнел и погас!  
    Куда скрыться мне? — Дай же ответ!!.  
Но ответа не слышно, страны такой нет,  
И, как перлы в загадочной бездне морей,  
    Как на небе вечернем звезда,  
Против воли моей, против воли твоей,  
    Ты со мною везде и всегда!

*1870-е годы*

\* \* \*

Средь смеха праздного, среди пустого гула,  
Мне душу за тебя томит невольный страх:  
Я видел, как слеза украдкой блеснула  
    В твоих потупленных очах.

Твой беззащитный челн сломила злая буря,  
На берег выброшен неопытный пловец.  
Откинувши весло и голову понуря,  
    Ты ждешь: наступит ли конец?

Не унывай, пловец! Как сон, минует горе,  
Затихнет бури свист и ропот волн седых,  
И покоренное, ликующее море  
    У ног уляжется твоих.

*1870-е годы*

\* \* \*

Прости меня, прости! Когда в душе мятежной  
    Угас безумный пыл,  
С укором образ твой, чарующий и нежный,  
    Передо мною всплыл.

О, я тогда хотел, тому укору вторя,  
    Убить слепую страсть,  
Хотел в слезах любви, раскаянья и горя  
    К ногам твоим упасть!

Хотел все помыслы, желанья, наслажденья —  
    Всё в жертву принести;  
Я жертвы не принес, не стою я прощенья...  
    Прости меня, прости!

*1870-е годы*

ПАРА ГНЕДЫХ  
(Перевод из *Донаурова*)

Пара гнедых, запряженных с зарею,  
Тоших, голодных и грустных на вид,  
Вечно бредете вы мелкой рысцою,  
Вечно куда-то ваш кучер спешит.  
Были когда-то и вы рысаками  
И кучеров вы имели лихих,  
Ваша хозяйка состарелась с вами,  
Пара гнедых!

Ваша хозяйка в старинные годы  
Много имела хозяев сама,  
Опытных в дом привлекала из моды,  
Более нежных сводила с ума.  
Таял в объятьях любовник счастливый,  
Таял порой капитал у иных;  
Часто стоять на конюшне могли вы,  
Пара гнедых!

Грек из Одессы и жид из Варшавы,  
Юный корнет и седой генерал —  
Каждый искал в ней любви и забавы  
И на груди у нее засыпал.  
Где же они, в какой новой богине  
Ищут теперь идеалов своих?  
Вы, только вы и верны ей доньне,  
Пара гнедых!

Вот отчего, запрягаясь с зарею  
И голодая по несколько дней,  
Вы подвигаетесь мелкой рысцою  
И возбуждаете смех у людей.  
Старость, как ночь, вам и ей угрожает,  
Говор толпы невозвратно затих,  
И только кнут вас порою ласкает,  
Пара гнедых!

*1870-е годы*

БОГИНЯ И ПЕВЕЦ  
(Из *Овидия*)

Пел богиню влюбленный певец, и тоской его голос звучал...  
Вняв той песне, богиня сошла, красотой лучезарной сияя,  
И к божественно юному телу певец в упоеньи припал,  
Задыхаясь от счастья, лобзанием жгучим его покрывая.

Говорила богиня певцу: «Не томися, певец мой, тоской,  
Я когда-нибудь снова сойду на твое одинокое ложе —  
Оттого что ни в ком на Олимпе не встретишь мне страсти такой,  
Оттого что безумные ласки твои красоты мне дороже».

*1870-е годы*

### ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

«Я вновь пред тобою  
стою очарован...»

О, пой, моя милая, пой, не смолкая,  
Любимую песню мою  
О том, как, тревожно той песне внимая,  
Я вновь пред тобою стою!

Та песня напомнит мне время былое,  
Которым душа так полна,  
И страх, что щемит мое сердце больное,  
Быть может, рассеет она.

Боюсь я, что голос мой, скорбный и нежный,  
Тебя своей страстью смутит,  
Боюсь, что от жизни моей безнадежной  
Улыбка твоя отлетит.

Мне жизнь без тебя словно полночь глухая  
В чужом и безвестном краю...  
О, пой, моя милая, пой, не смолкая,  
Любимую песню мою!

*1870-е годы*

### ДВА ГОЛОСА

*Посвящается С. А. и Е. К. Зыбиным*

Два голоса, прелестью тихой полны,  
Носились над шумом салонным,  
И две уж давно не звучавших струны  
Им вторили в сердце смущенном.

И матери голос раздумьем звучал  
Про счастье, давно прожитое,  
Про жизненный путь между мелей и скал,  
Про тихую радость покоя.

И дочери голос надеждой звучал  
    Про силу людского участия,  
Про блеск оживленных, сияющих зал,  
    Про жажду неизвестного счастья.

Казалось, что, в небе лазурном горя,  
    С прекрасной вечерней зарею  
Сливается пышная утра заря,—  
    И блещут одной красотою.

*1870-е годы*

\* \* \*

Мне не жаль, что тобою я не был любим,—  
    Я любви недостоин твоей!  
Мне не жаль, что теперь я разлукой томим,—  
    Я в разлуке люблю горячей;

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам  
    Унижения чашу до дна,  
Что к проклятьям моим, и к слезам, и к мольбам  
    Оставалась ты холодна;

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,  
    Мое сердце сжигал и томил,  
Но мне жаль, что когда-то я жил без любви,  
    Но мне жаль, что я мало любил!

*1870-е годы*

#### РАЗБИТАЯ ВАЗА

*(Подражание Сюлли-Прюдому)*

Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,  
Ударом веера толкнула ты небрежно,  
И трещина, едва заметная, на ней  
Осталась... Но с тех пор прошло не много дней,  
Небрежность детская твоя давно забыта,  
А вазе уж грозит нежданная беда!  
Увял ее цветок; ушла ее вода...  
    Не тронь ее: она разбита.

Так сердца моего коснулась ты рукой —  
    Рукою нежной и любимой,—  
И с той поры на нем, как от обиды злой,  
    Остался след неизгладимый.

Оно как прежде бьется и живет,  
От всех его страданье скрыто,  
Но рана глубока и каждый день растет...  
Не тронь его: оно разбито.

*1870-е годы*

\* \* \*

Когда любовь охватит нас  
Своими крепкими когтями,  
Когда за взглядом гордых глаз  
Следим мы робкими глазами,  
Когда не в силах превозмочь  
Мы сердца мук и, как на страже,  
Повсюду нас и день и ночь  
Гнетет всё мысль одна и та же;  
Когда в безмолвии, как тать,  
К душе подкрадётся измена,—  
Мы рвемся, ропщем и бежать  
Хотим из тягостного плена.  
Мы просим воли у судьбы,  
Клянем любовь — приют обмана,  
И, как восставшие рабы,  
Кричим: «Долой, долой тирана!»

Но если боги, вняв мольбам,  
Освободят нас от неволи,  
Как пуст покажется он нам,  
Спокойный мир без мук и боли.  
О, как захочется нам вновь  
Цепей, давно проклятых нами.  
Ночей с безумными слезами  
И слов, сжигающих нам кровь...  
Промчатся дни без наслажденья,  
Минуют годы без следа,  
Пустыней скучной, без волненья  
Нам жизнь покажется...

. . . . . Тогда,  
Как предки наши, мы с гонцами  
Пошлем врагам такой привет:  
«Обильно сердце в нас мечтами,  
Но в нем теперь порядка нет,  
Придите княжители над нами...»

*1870-е годы*

## ВОСПОМИНАНИЕ

Как тиха эта ночь! Всё сидел бы без дум,  
Да дышал полной грудью, да слушал...  
И боишься, чтоб говор какой или шум  
Этот чудный покой не нарушил.  
Но покоя душе моей нет! Его прочь  
Гонит дума печальная...  
Мне иная припомнилась ночь —  
Роковая, прощальная...

В эту ночь — о, теперь, хоть теперь,  
Когда кануло всё без возврата,  
Когда всё так далёко, поверь,  
Я люблю тебя нежно и свято! —  
Мы сидели одни. Блédный день наступал,  
Догорали ненужные свечи.  
Я речам твоим жадно внимал...  
Были сухи и едки те речи.

То сарказмом звучали, иронией злой,  
То, как будто ища мне мучения нового,  
Замолкали искусно порой,  
Чтоб не дать объясненья готового.  
В этот миг я бы руки с мольбою простер:  
«О, скажи мне хоть слово участия,  
Брось, как прежде, хоть ласковый взор,—  
Мне иного не надобно счастья!»

Но обида сковала язык,  
Головой я бессильно поник.  
Всё, что гордостью было, в душе подымалось;  
Всё, что нежностью было, беспомощно сжалось,  
А твой голос звучал торжеством  
И насмешкой терзал ядовитую  
Над моим помертвелым лицом  
Да над жизнью моею разбитою...

*Конец 1870-х или начало 1880-х годов*

\* \* \*

День ли царит, тишина ли ночная,  
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,  
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,  
Дума всё та же, одна, роковая,—  
Всё о тебе!

С нею не страшен мне призрак былого,  
Сердце воспрянуло, снова любя...  
Вера, мечты, вдохновенное слово,  
Всё, что в душе дорогого, святого,—  
Всё от тебя!

Будут ли дни мои ясны, унылы,  
Скоро ли сгину я, жизнь загубя,—  
Знаю одно: что до самой могилы  
Помыслы, чувства, и песни, и силы,—  
Всё для тебя!

<1880>

#### ПАМЯТНАЯ НОЧЬ

Зачем в тиши ночной, из сумрака былого,  
Ты, роковая ночь, являешься мне снова  
И смотришь на меня со страхом и тоской?  
— То было уж давно... на станции глухой,  
Где ждал я поезда... Я помню, как сначала  
Дымился самовар и печь в углу трещала;  
Курил и слушал я часов шиневший бой,  
Далекий лай собак да сбоку, за стеной,  
Храпенье громкое... И вдруг, среди раздумья,—  
То было ль забытье, иль тяжкий миг безумья —  
Замолкло, замерло, потухло всё кругом.  
Луна, как мертвый лик, глядела в мертвый дом,  
Сигара выпала из рук, и мне казалось,  
Что жизнь во мне самом внезапно оборвалась.  
Я всё тогда забыл: кто я, зачем я тут?  
Казалось, что не я — другие люди ждут  
Другого поезда на станции убогой.  
Не мог я разобрать, их мало или много,  
Мне было всё равно, что медлит поезд тот,  
Что опоздает он, что вовсе не придет...  
Не знаю, долго ли то длилось испытанье,  
Но тяжело и теперь о нем воспоминанье!

С тех пор прошли года. В тиши немых могил  
Родных людей и чувств я много схоронил,  
Измен, страстей и зла вседневные картины  
По сердцу провели глубокие морщины,  
И с грузом опыта, с усталую душой  
Я вновь сижу один на станции глухой.  
Я поезда не жду, увы!.. пройдет он мимо...  
Мне нечего желать, и жить мне нестерпимо!

1880

## НА НОВЫЙ 1881 ГОД

Вся зала ожидания полна,  
Партер притих, -сейчас начнется пьеса.  
Передо мной, безмолвна и грозна,  
Волнуется грядущего завеса.

Как я, бывало, взор туда вперял,  
Как смутный каждый звук ловил оттуда!  
Каких-то новых слов я вечно ждал,  
Какого-то неслыханного чуда.

О Новый год! Теперь мне всё равно,  
Несешь ли ты мне смерть и разрушенье,  
Иль прежних лет мне видеть суждено  
Бесцветное, тупое повторенье...

Немного грез — осколки светлых дней —  
Как вихрем, он безжалостно развеет,  
Еще немного отпадет друзей,  
Еще немного сердце зачерствеет.

*Декабрь 1880 (?)*

### К ПОЭЗИИ

*Посвящается А. В. Панаевой*

В эти дни ожиданья тупого,  
В эти тяжкие, тусклые дни,  
О, явись нам, волшебница, снова  
И весною неожиданной дохни!

От насилий, измен и коварства,  
От кровавых раздоров людских  
Уноси в свое светлое царство  
Ты глашатаев верных своих!

Позабудь роковые сомненья  
И, бессмертной сияя красой,  
Нам последнюю песнь утешенья,  
Лучезарную песню пропой!

Как напевы чарующей сказки,  
Будет песня легка и жива;  
Мы услышим в ней матери ласки  
И молитвы забытой слова;



Нам припомнятся юности годы,  
И пиры золотой старины,  
И мечты бескорыстной свободы,  
И любви задушевные сны.

Пой с могучей, неслыханной силой,  
Воскреси, воскреси еще раз  
Всё, что было нам свято и мило,  
Всё, чем жизнь улыбалась для нас!

1881

#### ОТРАВЛЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Зачем загадывать, мечтать о дне грядущем,  
Когда день нынешний так светел и хорош?  
Зачем твердить всегда в унынии гнетущем,  
Что счастье ветрено, что счастья не вернешь?  
Пушай мне суждены мучения разлуки  
И одиночества томительные дни,—  
Сегодня я с тобой, твои целую руки,  
И ночь тиха, и мы одни.  
О, если бы я мог, хоть в эту ночь немую,  
Забиться в грезах золотых  
И всё прошедшее, как ношу роковую,  
Сложить у милых ног твоих.  
Но сердце робкое, привыкшее бояться,  
Не оживет в роскошном сне,  
Не верит счастью, не смеет забываться  
И речи скорбные нашептывает мне.  
Когда я удалюсь, исполненный смущенья,  
И отзвучат шаги мои едва,  
Ты вспомнишь, может быть, с улыбкою сомненья  
Мои тревожные моления,  
Мои горячие и нежные слова.  
Когда враги мои холодною толпою  
Начнут меня язвить и их услышишь ты,  
Ты равнодушною поникнешь головою  
И замолчишь пред наглою враждою,  
Пред голосом нелепой клеветы.  
Когда в сырой земле я буду спать глубоко,  
Бессилен, недвижим и всеми позабыт,—  
Моей могилы одинокой  
Твоя слеза не оросит.  
И, может быть, в минуту злую,  
Когда мечты твои в прошедшее уйдут,  
Мою любовь, всю жизнь мою былую  
Ты призовешь на строгий суд;

О, в этот страшный час тревоги, заблужденья,  
Томившие когда-то эту грудь,  
Мои невольные бессильные паденья  
Ты мне прости и позабудь.  
Пойми тогда, хоть с поздним сожаленьем,  
Что в мире том, где друг твой жил,  
Никто тебя с таким самозабвеньем,  
С таким страданьем не любил.

1881

#### НА НОВЫЙ ГОД

Безотрадные ночи! Счастливые дни!  
Как стрела, как мечта пронеслись они.  
Я не год пережил, а десятки годов,  
То страдал и томился под гнетом оков,  
То несбыточным счастьем был опьянен...  
Я не знаю, то правда была или сон.

Мчалась тройка по свежему снегу в глуши,  
И была ты со мной, и кругом ни души...  
Лишь мелькали деревья в серебряной мгле,  
И казалось, что всё в небесах, на земле  
Мне шептало: люби, позабудь обо всем...  
Я не знаю, что правдою было, что сном!

И теперь меня мысль роковая гнетет:  
Что пошлет он мне, новый, неведомый год?  
Ждет ли светлое счастье меня впереди,  
Иль последнее пламя потухнет в груди,  
И опять побреду я живым мертвецом...  
Я не знаю, что правдою будет, что сном!

*Декабрь 1881 (?)*

\* \* \*

Из отроческих лет он выходил едва,  
Когда она его безумно полюбила  
За кудри детские, за пылкие слова.  
Семью и мужа — всё она тогда забыла!

Теперь пред юношей, роскошна и пышна,  
Вся жизнь раскинулась, орел расправил крылья,  
И чует в воздухе недоброе она,  
И замирает вся от гневного бессилья.

В тревоге и тоске ее блуждает взгляд,  
Как будто в нем застыл вопрос и сердце гложет:  
«Где он, что с ним, и с кем часы его летят?..»  
Всё знать она должна и знать, увы! — не может.

И мечется она, всем слухам и речам  
Внимая горячо, то веря, то не веря,  
Бесцельной яростью напоминая нам  
Предсмертные прыжки израненного зверя.

*Март 1882*

Г. КАРЦОВУ

Настойчиво, прилежно, терпеливо,  
Порой таинственно, как тать,  
Плоды моей фантазии ленивой  
Ты в эту вписывал тетрадь.

Укрой ее от любопытных взоров,  
Не отдавай на суд людей,  
На смех и гул пристрастных приговоров  
Заветный мир души моей!

Когда ж улягусь я на дне могилы  
И, покорясь своей судьбе,  
Одну лишь память праздного кутилы  
Оставлю в мире по себе,—

Пускай тебе тетрадь напомнит эта  
Сердечной дружбы нашей дни,  
И ты тогда забытого поэта  
Хоть добрым словом помяни!

1882

ПИСЬМО

Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь:  
Я не писала Вам давно.  
Я думаю, Вам это всё равно.  
Там, где живете Вы и, значит, веселитесь,  
В роскошной южной стороне,  
Вы, может быть, забыли обо мне.  
И я про всё забыть была готова...  
Но встреча странная — и вот  
С волшебной силою из сумрака былого  
Передо мной Ваш образ восстает.

Сегодня, проезжая мимо,  
 К N. N. случайно я зашла.  
 С княгиней, Вами некогда любимой,  
 Я встретилась у чайного стола.  
 Нас познакомили, двумя-тремя словами  
 Мы обменялись, но жадными глазами  
 Впились мы друг в друга. Взор немой,  
 Казалось, проникал на дно души другой.  
 Хотелось мне ей броситься на шею  
 И долго, долго плакать вместе с нею!

Хотелось мне сказать ей: «Ты близка  
 Моей душе. У нас одна тоска,  
 Нас одинаково грызет и мучит совесть,  
 И, если оттого не станешь ты грустной,  
 Я расскажу тебе всю повесть  
 Души истерзанной твоей.  
 Ты встретила его впервые в вихре бала,  
 Пленительней его до этих пор  
 Ты никого еще не знала:  
 Он был красив как бог, и нежен, и остер.  
 Он ездить стал к тебе, почтительный, влюбленный,  
 Но, покорясь его уму,  
 Решилась твердо ты остаться непреклонной —  
 И отдалась безропотно ему.  
 Дни счастья прошли как сновиденье,  
 Другие наступили дни...  
 О, дни ревнивых слез, обманов, охлажденья,  
 Кому из нас не памятливы они?  
 Когда его встречала ты покорно,  
 Прощала всё ему, любя,  
 Он называл твою печаль притворной  
 И комедьянткою тебя.  
 Когда же приходил условный час свиданья  
 И в доме наступала тишина,  
 В томительной тревоге ожиданья  
 Садилась ты у темного окна.  
 Понуривши головку молодую  
 И приподняв тяжелые драпри,  
 Не шевелясь, сидела до зари,  
 Вперяя взоры в улицу пустую.  
 Ты с жадностью ловила каждый звук,  
 Привыкла различать кареты стук  
 От стука дрожек издалёка.  
 Но вот всё ближе, ближе, вот  
 Остановился кто-то у ворот...  
 Вскочила ты в одно мгновенье ока,  
 Бежишь к дверям... напрасный труд:  
 Обман, опять обман! О, что за наказание!

И вот опять на несколько минут  
Царит немое, мертвое молчанье,  
Лишь видно фонарей неровное мерцанье,  
И скучные часы убийственно ползут.  
И проходила ночь, кипела жизнь дневная...  
Тогда ты шла к себе с огнем в крови  
И падала в подушки, замирая  
От бешенства, и горя, и любви!»

Из этого, конечно, я ни слова  
Княгине не сказала. Разговор  
У нас лениво шел про разный вздор,  
И имени, для нас обоих дорогого,  
Мы не решились назвать.  
Настало вдруг неловкое молчанье,  
Княгиня встала. На прощанье  
Хотелось мне ей крепко руку сжать,  
И дружбою у нас окончиться могло бы,  
Но в этот миг прочла я столько злобы  
В ее измученных глазах,  
Что на меня нашел невольный страх,  
И молча мы расстались, я — с поклоном,  
Она — с кивком небрежным головы...

Я начала свое письмо на *вы*,  
Но продолжать не в силах этим тоном.  
Мне хочется сказать тебе, что я  
Всегда, везде по-прежнему твоя,  
Что дорожу я этой тайной,  
Что женщина, которую случайно  
Любил ты хоть на миг один,  
Уж никогда тебя забыть не может,  
Что день и ночь ее воспоминанье гложет,  
Как злой палач, как милый властелин.  
Она не задрожит пред светским приговором:  
По первому движенью твоему  
Покинет свет, семью, как душную тюрьму,  
И будет счастлива одним своим позором!  
Она отдаст последний грош,  
Чтоб быть твоей рабой, служанкой,  
Иль верным псом твоим — Дианкой,  
Которую ласкаешь ты и бьешь!

*P. S.*

Тревога, ночь,— вот что письмо мне диктовало...  
Теперь, при свете дня, оно  
Мне только кажется смешно,  
Но изорвать его мне как-то жалко стало!  
Пусть к Вам оно летит от берегов Невы,

Хотя бы для того... чтоб рассердились Вы.  
Какое дело Вам, что там Вас любят где-то?  
Лишь та, что возле Вас, волнует Вашу кровь.  
И знайте: я не жду ответа  
Ни на письмо, ни на любовь.  
Вам чувство каждое всегда казалось рабством,  
А отвечать на письма... Боже мой!  
На Вашем языке, столь вежливом порой,  
Вы это называли «бабством».

*Ноябрь 1882*

### БРЕД

Несется четверка могучих коней,  
Несется как вихорь на воле,  
Несется под зноем палящих лучей  
И топчет бесплодное поле.

То смех раздается, то шепот вдвоем...  
Всё грохот колес заглушает,  
Но ветер подслушал те речи тайком  
И злобно их мне повторяет.

И в грезах недуга, в безмолвьи ночей  
Я слышу: меня нагоняя,  
Несется четверка могучих коней,  
Несется нещадная, злая.

И давит мне грудь в непосильной борьбе,  
И топчет с неистовой силой  
То сердце, что было так верно тебе,  
Тебя горячо так любило!

И странно ты смотришь с поникшим челом  
На эти бесцельные муки,  
И жалость проснулася в сердце твоём:  
Ко мне простираешь ты руки...

Но шепот и грохот сильней и грозней...  
И, пыль по дороге взметая,  
Несется четверка могучих коней,  
Безжизненный труп оставляя.

*1882*

## МУЗЕ

Умолкни навсегда. Тоску и сердца жар  
Не выставляй врагам для утешенья...  
Проклятье вам, минуты вдохновенья,  
Проклятие тебе, ненужный песен дар!  
Мой голос прозвучит в пустыне одиноко,  
Участья не найдет души изнывшей крик...  
О смерть, иди теперь! Без жалоб, без упрека  
Я встречу твой суровый лик.  
Ты всё-таки теплей, чем эти люди-братья:  
Не жжешь изменой ты, не дышишь клеветой...  
Раскрой же мне свои железные объятия,  
Пошли мне наконец забвенья и покой!

*Февраль 1883*

## ССОРА

Ночь давно уж царила над миром,  
А они, чтоб оканчивать споры,  
Всё сидели за дружеским пиром,  
Но не дружные шли разговоры.  
Понемногу словами пустыми  
Раздражались они до мученья,  
Словно кто-то сидел между ними  
И нашептывал им оскорбленья.  
И сверкали тревожные взгляды,  
Искаженные лица горели,  
Обвиненья росли без пощады  
И упреки без смысла и цели.  
Всё, что прежде в душе накопело,  
Всё, чем жизнь их язвила пустая,  
Они вспомнили злобно и смело,  
Друг на друге то зло вымещая...

Наступила минута молчанья;  
Она вечностью им показалась,  
И при виде чужого страданья  
К ним невольная жалость подкралась.  
Им хотелось чудесною силой  
Воротить всё, что сказано было,  
И слететь уже было готово  
Задушевное, теплое слово,  
И, быть может, сквозь мрак раздраженья,  
Им — измученным гневом и горем —  
Уже виделся миг примиренья,  
Как маяк лучезарный над морем.

Проходили часы за часами,  
А друзья всё смотрели врагами,  
Голоса возвышались снова...  
Задушевное, теплое слово,  
Что за миг так легко им казалось,  
Не припомнилось им, не сказалось,  
А слова набегали другие,  
Безотрадные, жесткие, злые;  
И сверкали тревожные взгляды,  
Искаженные лица горели,  
Обвиненья росли без пощады  
И упреки без смысла и цели...  
И уж ночь не царила над миром,  
А они неразлучной четой  
Всё сидели за дружеским пиром,  
Словно тешась безумной враждой!  
Вот и утра лучи заблестели...  
Новый день не принес примиренья...  
Потухавшие свечи тускнели,  
Как сердца без любви и прощенья.

*Апрель 1883*

\* \* \*

О да, поверил я. Мне верить так отраднo...  
Зачем же вновь в полночной тишине  
Сомненья злобный червь упрямо, беспощадно  
И душу мне грызет, и спать мешает мне?

Зачем... когда ничтожными словами  
Мы обменяемся... я чувствую с тоской,  
Что тайна, как стена, стоит меж нами,  
Что в мире я один, что я тебе чужой.

И вновь участия миг в твоём ловлю я взгляде,  
И сердце рвется пополам,  
И, как преступнику, с мольбой о пощаде  
Мне хочется упасть к твоим ногам.

Что сделал я тебе? Такой безумной муки  
Не пожелаешь и врагу...  
Он близок, грозный час разлуки,—  
И верить нужно мне, и верить не могу!

*Май 1883*



\* \* \*

Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных  
Сгорают юные, беспечные года,  
Средь пошлостей людских, среди невзгод случайных  
Люби, люби всегда!

Пусть жгучая тоска всю ночь тебя терзает,  
Минута — от тоски не будет и следа,  
И счастье тебя охватит, засияет...  
Люби, люби всегда!

Я думы новые в твоём читаю взоре,  
И жалость светит в нём, как дальняя звезда,  
И понимаешь ты теплей чужое горе...  
Люби, люби всегда!

*Август 1883*

\* \* \*

О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою  
Позабыла, простила она,  
Что для ней я живу, и дышу, и пою,  
Что вся жизнь моя ей отдана!

Что унять не могу я мятежную кровь,  
Что над этою страстью больной  
Засияла иная,—святая любовь,  
Так, как небо блестит над землей!

О, сходите ко мне, вдохновенья лучи,  
Зажигайтесь ярче, теплей,  
Задушевная песня, скорей прозвучи,  
Прозвучи для нее и о ней!

*12 ноября 1883*

#### ПОСВЯЩЕНИЕ

*К «Году в монастыре»*

О, возврати мне вновь огонь, и вдохновенье,  
И светлую любовь недавней старины,  
И наших первых встреч счастливое волнение,  
И красотой твоей навеянные сны!

Останови на мне чарующие взоры,  
Когда-то ласково встречавшие мой стих,  
Дай мне услышать вновь былые разговоры,  
Доверчивый рассказ надежд и дум твоих.

Опять настрою я ослабленную лиру,  
Опять я жить начну, не мучась, но любя,  
И пусть погибну я — но на прощанье миру  
Хочу я бросить песнь, достойную тебя.

1883

ГОД В МОНАСТЫРЕ  
(Отрывки из дневника)

15 ноября

О, наконец! Из вражеского стана  
Я убежал, израненный боец...  
Из мира лжи, измены и обмана  
Полуживой я спасся наконец!  
В моей душе ни злобы нет, ни мщенья,  
На подвиги и жертвы я готов...

Обитель мира, смерти и забвенья,  
Прими меня под твой смиренный кров!

16 ноября

Игумен призывал меня. Он важен,  
Но обходителен; радушно заявил,  
Что я к монастырю уж «приукажен»,  
И камилавкою меня благословил.  
Затем сказал: «Ты будешь в послушаньи  
У старца Михаила. Он стоит  
Как некий столб меж нас, им наш украшен скит,  
И он у всех в великом почитаньи.  
Все помыслы ему ты должен открывать  
И исполнять безропотно веленья,  
Да снизойдет к тебе господня благодать  
И да обрящешь путь спасенья!»

Итак, свершилось: я монах!  
И в первый раз в своей одежде новой  
Ко всенощной пошел. В ребяческих мечтах  
Мне так пленительно звучало это слово,

И раем монастырь казался мне тогда.  
Потом я в омут жизни окунулся  
И веру потерял... Но вот прошли года,—  
И к детским грезам снова я вернулся.

*1 декабря*

Уж две недели я живу в монастыре  
Среди молчания и тишины глубокой.  
Наш монастырь построен на горе  
И обнесен оградой высокой.  
Из башни летом вид чудесный, говорят,  
На дальние леса, озера и селенья;  
Меж кельями разбросанными — сад,  
Где множество цветов и редкие растенья  
(Цветами монастырь наш славился давно).  
Весной в нем рай земной, но ныне  
Глубоким снегом всё занесено,  
Всё кажется мне белою пустыней,  
И только куполы церквей  
Сверкают золотом над ней.  
Направо от ворот, вблизи собора,  
Из-за деревьев едва видна,  
Моя уютится келья в два окна.  
Приманки мало в ней для суетного взора:  
Дощатая кровать, покрытая ковром,  
Два стула кожаных, меж окон стол дубовый  
И полка книг церковных над столом;  
В киоте лик Христа, на нем венец терновый.

Жизнь монастырская без бурь и без страстей  
Мне кажется каким-то сном беспечным.  
Не слышу светских фраз, затверженных речей  
С их вечной ложью и злословьем вечным,  
Не вижу пошлых, злобных лиц...  
Одно смущает: недостаток веры,  
Но бог поможет мне; его любви нет меры  
И милосердью нет границ!  
Проснувшись, каждый день я к старцу Михаилу  
Иду на послушанье в скит.  
Ему на вид лет сто, он ходит через силу,  
Но взор его сверкает и горит  
Глубокой, крепкой верой в бога  
И в душу смотрит пристально и строго.  
Вчера сказал он с гневом мне,  
Что одержим я духом своеволья  
И гордости, подобно сатане;  
Потом повел меня в подполье  
И показал мне гроб, в котором тридцать лет

Спит, как мертвец, он, саваном одет,  
Готовясь к жизни бесконечной...  
Я с умилением и горестью сердечной  
Смотрел на этот одр унынья и борьбы.  
Но старец спит в нем только летом;  
Теперь в гробу суровом этом  
Хранятся овощи, картофель и грибы.

*10 декабря*

День знаменательный, и как бы я его  
Мог описать, когда бы был поэтом!  
По приказанью старца моего  
Поехал я рубить дрова с рассветом  
В сосновый бор. Я помню, в первый раз  
Я проезжал его, томим тяжелой думой;  
Октябрьский серый вечер гас,  
И лес казался мне могилою угрюмой:  
Так был тогда он мрачен и уныл!  
Теперь блеснул он мне красою небывалой.  
В восторге, как ребенок малый,  
Я вежды широко раскрыл.  
Покрыта парчевым блестящим одеяньем,  
Стояла предо мной гигантская сосна;  
Кругом глубокая такая тишина,  
Что нарушать ее боялся я дыханьем.  
Деревья стройные, как небеса светлы,  
Вели, казалось, в глубь серебряного сада,  
И хлопья снежные, пушисты, тяжелы,  
Повисли на ветвях, как гроздья винограда.  
И долго я стоял без мыслей и без слов...  
Когда же топора впервые звук раздался,  
Весь лес заговорил, затопал, засмеялся  
Как бы от тысячи невидимых шагов.  
А щеки мне щипал мороз сердитый,  
И я рубил, рубил, один в глуши лесной...  
К полудню возвратился я домой  
Усталый, инеем покрытый.  
О, никогда, мои друзья,  
Так не был весел и доволен я  
На ваших сходках монотонных  
И на цинических пирах,  
На ваших раутах игриво-похоронных,  
На ваших скучных пикниках!

*12 декабря*

Неверие мое меня томит и мучит,  
Я слепо верить не могу.  
Пусть разум веры враг и нас лукаво учит,

Но нехотя внимаю я врагу.  
Увы, заблудшая овца я в божьем стаде...  
Наш ризничий — известный Варлаам —  
Читал сегодня проповедь об аде.  
Подробно, радостно, как будто видел сам,  
Описывал, что делается там:  
И стоны грешников, молящих о пощаде,  
И совести, и глаз, и рук, и ног  
Разнообразные страданья...  
Я заглушить в душе не мог негодованья.  
Ужели правосудный бог  
За краткий миг грехопаденья  
Нас мукой вечною казнит?  
И вечером побрел я в скит,  
Чтоб эти мысли и сомненья  
Поведать старцу. Старец Михаил  
Отчасти только мне сомненья разрешил.  
Он мне сказал, что, верно, с колыбели  
Во мне все мысли грешные живут,  
Что я смердящий пес и дьявольский сосуд...  
Да, помыслы мои успеха не имели!

20 декабря

Увы! меня открыли! Пишет брат,  
Что всюду о моем побеге говорят,  
Что все смеются до упаду,  
Что басней города я стал, к стыду друзей,  
И просит прекратить скорей  
Мою, как говорит он, «ескападу».  
Я басня города! Не всё ли мне равно?  
В далекой, ранней юности, бывало,  
Боялся я того, что может быть смешно,  
Но это чувство скоро миновало.  
Теперь, когда с людьми все связи порваны,  
Как сами мне они и жалки, и смешны!  
Мне дела нет до мненья света,  
Но мнение одно хотел бы я узнать...  
Что говорит *она*? Впервые слово это  
Я заношу в заветную тетрадь...  
Ее не назвал я... но что-то  
Кольнуло сердце, как ножом.  
Ужель ничем, ничем: ни трудною работой,  
Ни долгою молитвой, ни постом  
Из сердца вырвать не придется  
Воспоминаний роковых?  
Оно, как прежде, ими бьется,  
Они и в снах, и в помыслах моих,  
Смешно же лгать перед самим собою...  
Но этих помыслов я старцу не открою!

24 декабря

Восторженный канон Дамаскина  
У всенощной сегодня пели,  
И умилением душа была полна,  
И чудные слова мне душу разогрели.  
«Владыка в древности чудесно спас народ,  
Он волны осушил морские...»  
О верю, верю, он и в наши дни придет  
И чудеса свершит другие.  
О боже! не народ — последний из людей  
Зовет тебя, тоскою смертной полный...  
В моей душе бушуют также волны  
Воспоминаний и страстей.  
О, осуши же их своей могучей дланью!  
Как солнцем освети греховных мыслей тьму...  
О, снизойди к ничтожному созданию!  
О, помоги неверью моему!

31 декабря

На монастырской башне полночь бьет,  
И в бездну падает тяжелый, грустный год.  
Я с ним простился тихо, хладнокровно,  
Один в своем углу: всё спит в монастыре.  
У нас и службы нет церковной,  
Здесь Новый год встречают в сентябре.  
В миру, бывало, я, в гостинной шумной стоя,  
Вел тихий разговор с судьбой наедине.  
Молил я счастья,— теперь молю покоя...  
Чего еще желать, к чему стремиться мне?  
А год тому назад... Мы были вместе с нею,  
Как будущее нам казалось светло,  
Как сердце жгла она улыбкою своею,  
Как платью белое к ней шло!

11 января

Сегодня сценою печальной  
Весь монастырь взволнован был.  
Есть послушник у нас, по имени Кирилл.  
Пришел он из Сибири дальней  
Еще весной и все привлек сердца  
Своею кротостью и верой без предела.  
Он сын единственный богатого купца,  
Но верой пламенной душа его горела  
От первых детских лет. Таил он мысль свою,  
И вот однажды бросил дом, семью,

Оставивши письмо, что на служенье богу  
Уходит он. Отец и мать  
Чуть не сошли с ума; потом его искать  
Отправились в безвестную дорогу.  
Семь месяцев, влача томительные дни,  
По всем монастырям скитались они.  
Вчера с надеждою последней  
Приехали сюда, не зная ничего,  
И нынче вдруг за раннюю обедней  
Увидели Кирюшу своего...

Вся братия стояла у собора,  
Кирилл молчал, не поднимая взора.  
Отец — осанистый, седой как лунь старик —  
Степенно начал речь, но стольких впечатлений  
Не вынесла душа: он головой поник  
И стал пред сыном на колени.  
Он заклинал его Христом  
Вернуться снова в отчий дом,  
Он говорил, как жизнь ему постыла...  
«На что богатства мне? Кому их передать?  
Кирюша, воротись! Возьмет меня могила —  
Опять придешь сюда: тебе недолго ждать!»  
Игумен отвечал красноречиво, ясно,  
Что это благодать, а не напасть,  
Что горевать отцу напрасно,  
Что сын его избрал благу часть,  
Что он грехи отцовские замолит,  
Что тяжело идти от света в тьму,  
Что, впрочем, он его остаться не неволит:  
«Пускай решает сам по сердцу своему!»  
А мать молчала. Робкими глазами  
Смотрела то на сына, то на храм,  
И зарыдала вдруг, припав к его ногам,  
И таял белый снег под жгучими слезами.  
Кирилл бледнел, бледнел; в душе его опять,  
Казалось, перелом какой-то совершался,  
Не выдержал и он: обняв отца и мать,  
Заплакал горько... но остался.  
Так наша жизнь идет: везде борьба, разлад...  
Кого ж ты осудил, о правосудный боже?  
И правы старики, и сын не виноват,  
И долгу своему игумен верен тоже...  
Как разрешить вопрос? Что радость для одних,  
Другим — причина для страданья...  
Решать я не могу задач таких...  
Но только матери рыданья  
Сильней всего звучат в ушах моих!

2 февраля

Второе февраля... О, вечер роковой,  
В который всё ушло: моя свобода,  
И гордость сердца, и покой...  
Бог знает почему — тому назад три года —  
Забрел я к ней. Она была больна,  
Но приняла меня. До этих пор мы в свете  
Встречались часто с ней, и встречи эти  
Меня порой лишали сна  
И жгли тревогою минутной,  
Как бы предчувствием далеким... но пока  
В душе то чувство жило смутно,  
Как подо льдом живет бурливая река.  
Она была больна, ее лицо горело,  
И в лихорадочном огне  
С такой решимостью, с такой отвагой смелой  
Глубокий взор ее скользил по мне!  
От белой лампы свет ложился так приветно;  
Часы летели. Мы вдвоем,  
Шутя, смеясь, болтали обо всем,  
И тихий вечер канул незаметно.  
А в сердце, как девятый вал,  
Могучей страсти пыл и рос и поднимался,  
Всё поняла она, но я не понимал...  
Не помню, как я с ней расстался,  
Как вышел я в тумане на крыльцо...  
Когда ж немая ночь пахнула мне в лицо,  
Я понял, что меня влечет неудержимо  
К ее ногам... и в сладком забытьи  
Вернулся я домой... о, мимо, мимо,  
Воспоминания мои!

7 февраля

Зачем былого пыл тревожный  
Ворвался вихрем в жизнь мою  
И разбудил неосторожно  
В груди дремавшую змею?  
Она опять вонзила в сердце жало,  
По старым ранам вьется и ползет,  
И мучит, мучит, как бывало,  
И мне молиться не дает.  
А завтра пост. Дрожа от страха,  
Впервые исповедь монаха  
Я должен богу принести...  
Пошли же, господи, мне силу на пути,



Дай мне источник слез и чистые восторги,  
Вручи мне крепкое копьё,  
Которым, как святой Георгий,  
Я б раздавил прошедшее мое!

9 февраля

(Из великого канона)

Помощник, покровитель мой!  
Явился он ко мне, и я от мук избавлен,  
Он бог мой, славно он прославлен,  
И вознесу его я скорбною душой.

С чего начну свои оплакивать деянья,  
Какое положу начало для рыдания  
О грешном, пройденном пути?  
Но, милосердый, ты меня прости!

Душа несчастная! Как Ева,  
Полна ты страха и стыда...  
Зачем, зачем, коснувшись древа,  
Вкусила ты безумного плода?

Адам достойно изгнан был из рая  
За то, что заповедь одну не сохранил;  
А я какую кару заслужил,  
Твой веленья вечно нарушая?

От юности моей погрязнул я в страстях,  
Богатство растерял, как жалкий расточитель,  
Но не отринь меня, поверженного в прах,  
Хоть при конце спаси меня, спаситель!

Весь язвами и ранами покрыт,  
Страдаю я невыносимо;  
Увидевши меня, прошел священник мимо  
И отвернулся, набожный левит...

Но ты, извлекший мир из тьмы могильной,  
О, сжался надо мной! — мой близится конец...  
Как сына блудного прими меня, отец!  
Спаси, спаси меня, всемогущий!

13 февраля

Труды говения я твердо перенес,  
Господь послал мне много теплых слез  
И покаянья искреннее слово...

Но нынче — в день причастия святого,—  
Когда к часам я шел в собор,  
Передо мною женщина входила...  
Я задрожал, как лист, вся кровь во мне застыла,  
О, боже мой! она!.. Упорный, долгий взор  
Ее заставил оглянуться.  
Нет, обманулся я. Как мог я обмануться?  
И сходства не было: ее походка, рост —  
И только... Но с тех пор я исповедь и пост —  
Все позабыл, молиться я не смею,  
Покинула меня святая благодать,  
Я снова полон только ею,  
О ней лишь я могу и думать и писать!  
Два месяца безоблачного счастья!  
Пусть невозвратно канули они,  
Но как не вспомнить в печальный день ненастья  
Про теплые, про солнечные дни?  
Потом пошли язвительные споры,  
Пошел обидный, мелочный разлад,  
Обманов горьких длинный ряд,  
Ничем не вызванные ссоры...  
В угоду ей я стал рабом,  
Я поборол в себе и ревность, и желанья;  
Безропотно сносил, когда с моим врагом  
Она спешила на свиданье.  
Но этим я не мог ее смягчить...  
С каким рассчитанным стараньем  
Умела мне она всю душу истомить  
То жестким словом, то молчаньем!  
И часто я хотел ей в сердце заглянуть;  
В недоуменьи молчаливом  
Смотрел я на нее, надеясь что-нибудь  
Прочесть в лице ее красивом.  
Но я не узнавал в безжалостных чертах  
Черты, что были мне так дороги и милы;  
Они в меня вселяли только страх...  
Два года я терпел и мучился в цепях,  
Но наконец терпеть не стало силы...  
Я убежал...  
Мне монастырь святой  
Казался пристанью надежной,  
Расстаться надо мне и с этою мечтой!  
Напрасно переплыл я океан безбрежный,  
Напрасно мой челнок от грозных спасся волн,—  
На камни острые наткнулся он неожиданно,  
И хлынула вода, и тонет бедный челн  
В виду земли обетованной.

Как медленно проходит день за днем,  
 Как в одиночестве моем  
 Мне ночи кажутся и долги, и унылы!  
 Всю душу рассказать хотелось бы порой,  
 Но иноки безмолвны, как могилы...  
 Как будто чувствуют они, что я *чужой*,  
 И от меня невольно сторонятся...  
 Игумен, ризничий боятся,  
 Что я уйду из их монастыря,  
 И часто мне читают поученья,  
 О нуждах братии охотно говоря;  
 Но речи их звучат без убежденья.  
 А духовник мой, старец Михаил,  
 На днях в своем гробу навеки опочил.  
 Готовясь отойти к неведомому миру,  
 Он долго говорил о вере, о кресте,  
 И пел чуть слышным голосом стихиру:  
 «Не осуди меня, Христе!»  
 Потом, заметя наше огорченье,  
 Он нам сказал: «Не страшен смертный час!  
 Чего вы плачете? То глупость плачет в вас,  
 Не смерть увижу я, но воскресенье!»  
 Когда ж в последний раз он стал благословлять,  
 Какой-то радостью чудесной, неземною  
 Светился взор его. Да, с верою такую  
 Легко и жить, и умирать!

3 апреля

Христос воскрес! Природа воскресает,  
 Бегут, шумят весенние ручьи,  
 И теплый ветерок и нежит и ласкает  
 Глаза усталые мои.  
 Сегодня к старцу Михаилу  
 Пошел я в скит на свежую могилу.  
 Чудесный вечер был. Из церкви надо мной  
 Неслось пасхальное, торжественное пенье,  
 И пахло ладаном, разрытою землей,  
 И всё так звало жить, сулило воскресенье!  
 О, боже! думал я, зачем томлюсь я тут?  
 Мне тридцать лет, совсем здоров я телом,  
 И наслаждение, и труд  
 Могли бы быть еще моим уделом,  
 А между тем я жалкий труп душой.  
 Мне места в мире нет. Давно ли  
 Я полной жизнью жил и гордо жаждал воли,  
 Надеялся на счастье и покой?

От тех надежд и тени не осталось,  
И призрак юности исчез...  
А в церкви громко раздавалось:  
«Христос воскрес! Христос воскрес!»

2 мая

«Она была твоя!» — шептал мне вечер мая,  
Дразнила долго песня соловья,  
Теперь он замолчал, и эта ночь немая  
Мне шепчет вновь: «Она была твоя!»  
Как листья тополей в сиянии серебристом,  
Мерцает прошлое, погибшее давно;  
О нем мне говорят и звезды в небе чистом,  
И запах резеды, ворвавшийся в окно.  
И некуда бежать, и мучит ночь немая,  
Рисуя милые, знакомые черты...  
О незабвенная, о вечно дорогая,  
Откликнись, отзовись, скажи мне: где же ты?  
Вот видишь: без тебя мне жить невыносимо,  
Я изнемог, я выбился из сил;  
Обиды, горе, зло — я всё забыл, простил,  
Одна любовь во мне горит неугасимо!  
Дай подышать с тобой мне воздухом одним,  
Откликнись, отзовись, явись хоть на мгновенье,  
А там пускай опять хоть годы заточенья  
С могильным холодом своим!

4 мая

Две ночи страшные один в тоске безгласной,  
Не зная отдыха, ни сна,  
Я просидел у этого окна.  
И третья ночь прошла, чуть брезжит день  
ненастный,  
По небу тучи серые ползут.  
Сейчас ударит колокол соборный,  
По всем дорожкам сада там и тут  
Монахи медленно в своей одежде черной,  
Как привидения, идут.  
И я туда пойду, попробую забыться,  
Попробую унять бушующую страсть,  
К ногам спасителя упасть  
И долго плакать и молиться!

28 мая

О ты, который мне и жизнь и разум дал,  
Которого я с детства чтил душою  
И милосердным называл!  
В немом отчаянии стою я пред тобою.

Все наши помыслы и чувства от тебя,  
Мы дышим, движемся, твоей покорны власти...  
Зачем же ты караешь нас за страсти,  
Зачем же мы так мучимся, любя?

И, если от греха нам убежать случится,  
Он гонится за нами по пятам,  
В убогой келье грезюю гнездится,  
Мечтой врывается в твой храм.

Вот я пришел к тебе, измученный, усталый,  
Всю веру детских лет в душе своей храня...  
Но ты услышал ли призыв мой запоздалый,  
Как сына блудного ты принял ли меня?  
О нет! в дыму кадил, при звуках песнопенья,  
Молиться я не мог, и образ роковой  
Преследовал, томил, смеялся надо мной...

Теперь я не прошу ни счастья, ни забвенья,  
Нет у меня ни сил, ни слез...

Пошли мне смерть, пошли мне смерть скорее!

Чтоб мой язык, в безумьи цепenea,

Тебе хулы не произнес;

Чтоб дикий стон последней муки

Не заглушил молитвенный псалом;

Чтоб на себя не наложил я руки

Перед твоим безмолвным алтарем!

*25 сентября*

Как на старинного, покинутого друга  
Смотрю я на тебя, забытая тетрадь!

Четыре месяца в томлении недуга

Не мог тебе я душу поверять.

За дерзкие слова, за ропот мой греховный

Господь достойно покарал меня:

Раз летом иноки на паперти церковной

Меня нашли с восходом дня

И в келью принесли. Я помню, что сначала

Болезнь меня безжалостно терзала.

То гвоздь несносный, муча по ночам,

В моем мозгу пылавшем шевелился,

То мне казалось, что какой-то храм

С колоннами ко мне на грудь валился;

И горем я, и жаждой был томим.

Потом утихла боль, прошли порывы горя,

И я безгласен, недвижим

Лежал на дне неведомого моря.

Среди туманной, вечной мглы

Я видел только волн движение,

И были волны те так мягки и теплы,

Так нежило меня прикосновение

Их тонких струй. Особенно одна

Была хорошая, горячая волна.  
 Я ждал ее. Я часто издалёка  
 Следил, как шла она высокою стеной,  
 И разбивалась надо мной,  
 И в кровь мою вливалась глубоко.  
 Нередко пробуждался я от сна,  
 И жутко было мне, и ночь была черна;  
 Тогда, невольным страхом полный,  
 Спешил я вновь забыться сном,  
 И снова я лежал на дне морском,  
 И снова вокруг меня катились волны, волны...  
 Однажды я проснулся, и ясней  
 Во мне явилось сознание,  
 Что я еще живу среди людей  
 И обречен на прежнее страданье.  
 Какой тоской заныла грудь,  
 Как показался мне ужасен мир холодный,  
 И жадным взором я искал чего-нибудь,  
 Чтоб прекратить мой век бесплодный...  
 Вдруг образ матери передо мной предстал,  
 Давно забытый образ. В колыбели  
 Меня, казалось, чьи-то руки грели,  
 И чей-то голос тихо напевал:  
  
 «Дитя мое, с тех пор как в гробе тесном  
 Навек меня зарыли под землей,  
 Моя душа, живя в краю небесном,  
 Незримая, везде была с тобой.  
  
 Слепая ль страсть твой разум омрачала,  
 Обида ли терзала в тишине,  
 Я знала всё, я всё тебе прощала,  
 Я плакала с тобой наедине.  
  
 Когда ж к тебе толпой неслися грезы  
 И мир дремал, в раздумье погружен,  
 Я с глаз твоих свевала молча слезы  
 И тихо улыбалась сквозь сон.  
  
 И в этот час одна я видеть смела,  
 Как сердце разрывается твое...  
 Но я сама любила и терпела,  
 Сама жила,— терпи, дитя мое!»  
  
 И я терплю и вяну. Дни, недели  
 Гурьбою скучной пролетели.  
  
 Умру ли я, иль нет,— мне всё равно.  
 Желанья тонут в мертвенном покое.  
 И равнодушные тупые  
 В груди осталось одно.

Сейчас меня игумен посетил  
 И объявил мне с видом снисхождения,  
 Что я болезнью грех свой искупил  
 И рясофорного достоин постриженья,  
 Что если я произнесу обет,  
 Мне в мир возврата больше нет.  
 Он дал мне две недели срока,  
 Чтоб укрепиться телом и умом,  
 Чтобы молитвой и постом  
 Очиститься от скверны и порока.  
 Не зная, что сказать, в тоске потупя взор,  
 Я молча выслушал нежданный приговор,  
 И, настоятеля приняв благословенье,  
 Шатаюсь, проводил до сада я его...  
 В саду всё было пусто и мертво.  
 Всё было прах и разрушенье.  
 Лежал везде туман густою пеленой.  
 Я долго взором, полным муки,  
 Смотрел на тополь бедный мой.  
 Как бы молящие, беспомощные руки,  
 Он к небу ветви голые простер,  
 И листья желтые всю землю покрывали —  
 Символ забвенья и печали,  
 Рукою смерти вытканый ковер!

6 ноября

Последний день свободы, колебанья  
 Уж занялся над тусклою землей,  
 В последний раз любви воспоминанья  
 Насмешливо прощаются со мной.

А завтра я дрожащими устами  
 Произнесу монашества обет.  
 Я в божий храм, сияющий огнями,  
 Войду босой и рубищем одет.

И над душой, как в гробе мирно спящей,  
 Волной неслышной время протечет,  
 И к смерти той, суровой, настоящей,  
 Не будет мне замечен переход.

По темной, узкой лестнице шагая,  
 С трудом спускался я... Но близок день:  
 Я встрепенусь и, посох свой роняя,  
 Сойду одну последнюю ступень.

Засни же, сердце! Молодости милой  
Не поминай! Окончена борьба...  
О господи, теперь прости, помилуй,  
Мятежного, безумного раба!

*В тот же день вечером*

Она меня зовет! Как с неба гром неожиданный  
Среди холодного и пасмурного дня,  
Пять строк ее письма упали на меня...  
Что это? Бред или сон несбыточный и странный?  
Пять строк всего... но сотни умных книг  
Сказали б меньше мне. В груди воскресла сила,  
И радость страшная, безумная на миг  
Всего меня зажгла и охватила!  
О да, безумец я! Что ждет меня? Позор!  
Не в силах я обдумывать решенья:  
Ей жизнь моя нужна, к чему же размышленья?  
Когда уйдет вся братия в собор,  
Я накануне постриженья  
Отсюда убегу, как вор,  
Погоню слышащий, дрожащий под ударом...  
А завтра иноки начнут меня судить,  
И будет важно им игумен говорить:  
«Да, вы его чуждались недаром!  
Как хищный волк он вторгся к нам,  
В обитель праведную божью;  
Своей кощунственной ложью  
Он осквернил господний храм!»  
Нет, верьте: не лгала душа моя больная,  
Я оставляю здесь правдивый мой дневник,  
И, может быть, хотя мой грех велик,  
Меня простите вы, его читая.  
А там что ждет меня? Собрание палачей,  
Ненужные слова, невольные ошибки,  
Врагов коварные улыбки  
И шуточки плоские друзей.  
Довольно неудач и прежде рок суровый  
Мне сеял на пути: смешон я в их глазах;  
Теперь у них предлог насмешки новый:  
Я — неудавшийся монах!  
А ты, что скажешь ты, родная, дорогая?  
Ты засмеешься ли, заплачешь надо мной,  
Или, по-прежнему, терзая,  
Окутаешь себя корою ледяной?  
Быть может, вспомнишь ты о счастье позабытом,  
И жалость робким, трепетным лучом  
Проснется в сердце молодом...



Нет, в этом сердце, для меня закрытом,  
Не шевельнется ничего...  
Но жизнь моя нужна, разгадка в этом слове —  
Возьми ж ее с последней каплей крови,  
С последним стоном сердца моего!  
Как вольный мученик иду я на мученье,  
Тернистый путь не здесь, а там:  
Там ждет меня иное отречение,  
Там ждет меня иной, бездушный храм!  
Прощай же, тихая, смиренная обитель!  
По миру странствуя, тоскуя и любя,  
Преступный твой беглец, твой мимолетный житель  
Не раз благословит, как родину, тебя!  
Прощай, убогая, оплаканная келья,  
Где год тому назад с надеждою такой  
Справлял я праздник новоселья,  
Где думал отдохнуть усталую душой!  
Хотелось бы сказать еще мне много, много  
Того, что душу жгло сомнением и тревогой,  
Что в этот вечно памятный мне год  
Обдумал я в тиши уединенья...  
Но некогда писать, мне дороги мгновенья:  
Скорее в путь! Она меня зовет!

1883

«ОГЛАШЕНИИ, ИЗЫДИТЕ!»

В пустыне мыкаясь, скиталец бесприютный  
Однажды вечером увидел светлый храм.  
Огни горели там, курился фимиам,  
И пенье слышалось... Надеждою минутной  
В нем оживился дух.— Давно уж он блуждал,  
Иссохло сердце в нем, изныла грудь с дороги;  
Колочим тернием истерзанные ноги  
И дождь давно не освежал.  
Что в долгих странствиях на сердце накалило,  
О чем он мыслил, что любил —  
Всё странник в жаркую молитву перелил  
И в храм вступил походкою несмелой.  
Но тут кругом раздался крик:  
«Кто этот новый гость? Зачем в обитель бога  
Пришлец незнаемый проник?  
Здесь места нет ему, долой его с порога!» —  
И был из храма изгнан он,  
Проклятьями, как громом, поражен.  
И вот пред ним опять безрадостно и ровно  
Дорога стелется... Уж поздно. День погас.

А он? Он всё стоит у паперти церковной,  
Чтобы на божий храм взглянуть в последний раз.  
Не ждет он от него пощады, ни прощенья,  
К земле бессильная склонилась голова,  
И, весь дрожа под гнетом оскорбления,  
Он слушает, исполненный смущенья,  
Его клянущие слова.

1883

#### ПАМЯТИ НЕПТУНА \*

В часы бессонницы, под тяжким гнетом горя,  
Я вспомнил о тебе, возница верный мой,  
Нептуном прозванный за сходство с богом моря...  
Двенадцать целых лет, в мороз, и в дождь, и в зной,  
Ты всё меня возил, усталости не зная,  
И ночи целые, покуда жизнь я жег,  
Нередко ждал меня, на козлах засыпая...  
Ты думал ли о чем? Про это знает бог,  
Но по чертам твоим не мог я догадаться,  
Ты всё молчал, молчал и, помню, только раз  
Сквозь зубы проворчал, не поднимая глаз:  
«Что убиваетесь? Не нужно убиваться...»  
Зачем же в эту ночь, чрез много, много лет,  
Мне вспомнился простой, нехитрый твой совет  
И снова я ему обрадован как другу?

Томился часто ты по родине своей,  
И «на побывку» ты отправился в Калугу,  
Но побыл там, увы! недолго: десять дней.  
Лета ли подошли, недугом ли сраженный,  
Внучат и сыновей толпою окруженный,  
Переселился ты в иной, безвестный свет.  
Хоть лучшим миром он зовется безрассудно,  
Но в том, по-моему, еще заслуги нет:  
Быть лучше нашего ему весьма не трудно.  
Мир праху твоему, покой твоим костям.  
Земля толпы людской теплее и приветней.  
Но жаль, что, изменив привычке многолетней,  
Ты не отвез меня туда, где скрылся сам.

1883

---

\* Кучер Василий. (Примеч. А. Н. Апухтина.)

## ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Мне всё равно, что я лежу больной,  
Что чай мой горек, как микстура,  
Что голова в огне, что пульс неровен мой,  
Что сорок градусов моя температура!  
Болезни не страшат меня...  
Но признаюсь: меня жестоко  
Пугают два несносных дня,  
Что проведу от вас далеко.  
Я так безумно рад, что я теперь люблю,  
Что я дышать могу лишь вами!  
Как часто я впиваюсь в вас глазами  
И взор ваш каждый раз с волнением ловлю!  
Вспоминаньями я полон дорогими,  
И хочет отгадать послушная мечта,  
Где вы теперь, и с кем, и мыслями какими  
Головка ваша занята...  
Немая ночь мне не дает ответа,  
И только чудится мне в пламенном бреду,  
Что с вами об руку иду  
Я посреди завистливого света,  
Что вы моя, навек моя,  
Что я карать могу врагов неправых,  
Что страх вселять имею право я  
В завистниц ваших глупых, но лукавых...  
Когда ж очнуся я среди мертвой тишины —  
Как голова горит, как грудь полна страданья!  
И хуже всех болезней мне сознанье,  
Что те мечты мечтами быть должны.

9 января 1884

## ПЕВИЦА

С хозяйкой под руку, спокойно, величаво  
Она идет к роялю. Всё молчит,  
И смотрит на нее с улыбкою лукавой  
Девиц и дам завистливый синклит.  
Она красавица, по приговору света  
Давно ей этот титул дан;  
Глубокие глаза ее полны привета,  
И строен, и высок ее цветущий стан.  
Она запела... как-то тихо, вяло,  
И к музыканту обращенный взор  
Изобразил немой укор,—  
Она не в голосе, всем это ясно стало...  
Но вот минута робости прошла,

Вот голос дрогнул от волненья,  
И словно буря вдохновенья  
Ее на крыльях унесла.  
И песня полилась, широкая, как море:  
То страсть нам слышалась, кипящая в крови,  
То робкие мольбы, разбитой жизни горе,  
То жгучая тоска отринутой любви...  
О, как могла понять так верно сердца муки  
Она, красавица, беспечная на взгляд?  
Откуда эти тающие звуки,  
Что за душу хватают и щемят?

И вспомнилася мне другая зала,  
Большая, темная... Дрожащим огоньком  
В углу горел камин, одна свеча мерцала,  
И у рояля были мы вдвоем.  
Она сидела бледная, больная,  
Рассеянно вперея куда-то взор,  
По клавишам рукой перебирая...

Невесел был наш разговор:  
«Меня не удивят ни злоба, ни измена,—  
Она сказала голосом глухим,—  
Увы, я так привыкла к ним!»  
И, словно вырвавшись из плена,  
Две крупные слезы скатились по щекам.—  
А мне хотелось упасть к ее ногам,

И думал я в тоске глубокой:  
Зачем так создан свет, что зло царит одно,  
Зачем, зачем страдать осуждено  
Всё то, что так прекрасно и высоко?  
Мечты мои прервал рукоплесканий гром.

Вскочило всё, заволновалось,  
И впечатление глубоким мне казалось!  
Мгновение прошло — и вновь звучит кругом,  
С обычной пустотой и пошлостью своею,  
Речей салонных гул; спокойна и светла  
Она сидит у чайного стола;  
Банальный фимиам мужчины жгут пред нею,  
И сладкие ей речи говорит  
Девиц и дам сияющий синклит.

*Май 1884*

#### ПОЗДНЕЕ МЩЕНИЕ

Она не может спать. Назойливая, злая  
Тоска ее грызет. Пылает голова,  
И душит мрак ее, и давит тишь ночная...  
Знакомый голос, ей по сердцу ударяя,  
Лепечет страшные, безумные слова:

«Когда, потупив взор, походкою усталой  
Сегодня тихо шла за гробом ты моим,  
Ты думала, что всё меж нами миновало...  
Но в комнату твою вошел я, как бывало,  
И снова мы с тобой о прошлом говорим.

Ты помнишь, сколько раз ты верность мне сулила,  
А я тебя молил о правде лишь одной?  
Но ложью ты мне жизнь как ядом отравила,  
Все тайны прошлого сказала мне могила,  
И вся душа твоя открыта предо мной.

Я всё тебе прощал: обманы, оскорбленья,  
Я только для тебя хотел дышать и жить...  
Ты предала меня врагам без сожаленья...  
И вот теперь она пришла, минута мщенья,  
Теперь я силен тем, что не могу простить.

Я силен потому, что труп не шевельнется,  
Не запыхает взор от блеска красоты,  
Что сердце, полное тобою, уж не бьется,  
Что в мой свинцовый гроб твой голос не ворвется,  
Что нет в нем воздуха, которым дышишь ты!

Я буду мстить тебе. Когда, вернувшись с бала,  
Ты, сбросив свой наряд, останешься одна,  
В невольном забытьи задремлешь ты сначала,  
Но в комнату твою войду я, как бывало,  
И ночь твоя пройдет тревожно и без сна.

И всё, забытое среди дневного гула,  
Тогда припомнишь ты: и день тот роковой,  
Когда безжалостно меня ты обманула,  
И тот, когда меня так грубо оттолкнула,  
И тот, когда так зло смеялась надо мной!

Я мщу тебе за то, что жил я пресмыкаясь,  
В безвыходной тоске дары небес губя,  
За то, что я погиб, словам твоим вверяясь;  
За то, что, чуя смерть и с жизнью расставаясь,  
Я проклял эту жизнь, и душу, и тебя!!.»

*Июль 1884*

\* \* \*

Письмо у ней в руках. Прелестная головка  
Склонилася над ним; одна в ночной тиши,  
И мысль меня страшит, что, может быть, неловко  
И грустно ей читать тот стон моей души...

О, только б ей прожить счастливой и любимой,  
Не даром ввериться пленительным мечтам...  
И помыслы мои всю ночь не удержиимо,  
Как волны Волхова, текут к ее ногам...

21 сентября 1884

\* \* \*

Два сердца любящих и чающих ответа  
Случайно встретились в пустыне черствой света,  
Но долго робостью томилися они.  
И вечной суетой наполненные дни,  
И светской черни суд, без смысла, без пощады,  
Им клали на пути тяжелые преграды;  
И, словно нехотя, в тиши полей пустых  
С рыданьем вырвалась святая тайна их.  
С тех пор помчались дни, как сон волшебный, странный,  
Преграды рушились, и близок день желанный,  
Когда прекрасный сон не будет больше сном...

И ночи целые я думаю о нем,  
Об этом близком дне... В тумане ожидания  
Грядущего еще не ясны очертанья,  
И страстно допросить хочу я у судьбы:  
Грозят ли им часы сомнений и борьбы,  
Иль ждет их долгое, безоблачное счастье?  
Душа моя полна тревоги и участия;  
Порою злая мысль, подкравшись в тишине,  
Змеиным языком нашептывает мне:  
«Как ты смешон с твоим участием глубоким!  
Умрешь ты, как и жил, скитальцем одиноким,  
Ведь это счастье чужое, не твое!»  
Горька мне эта мысль, но я гоню ее  
И радуюсь тому, что счастье чужое  
Мне счастья моего милей, дороже вдвое!

8 декабря 1884

О, будьте счастливы! Без жалоб, без упрека,  
Без вопля ревности пустой  
Я с вами расстаюсь... Пускай один, далеко  
Я буду жить с безумною тоской,  
С горячими, хоть поздними мольбами  
Перед потухшим алтарем.  
О, будьте счастливы,— я лишний между вами,  
О, будьте счастливы вдвоем!

Но я б хотел — прости мое желанье,—  
Чтобы назло слепой судьбе  
Порою в светлый миг свиданья  
Мой образ виделся тебе;  
Чтоб в тихом уголке иль средь тревоги бальной  
Смутил тебя мой стих печальный,  
Как иногда при блеске фонарей  
Смущает поезд погребальный  
На свадьбу едущих гостей.

*Декабрь 1884*

#### ПЕШЕХОД

Без волнения, без тревоги  
Он по жизненной дороге  
Всё шагает день и ночь,  
И тоски, его гнетущей,  
Сердце медленно грызущей,  
Он не в силах превозмочь.

Те, что знали, что любили,  
Спят давно в сырой могиле;  
Средь неведомых равнин  
Разбрелися остальные —  
Жизни спутники бывшие...  
Он один, совсем один.

Равнодушный и бесстрастный  
Он встречает день прекрасный,  
Солнце только жжет его;  
Злая буря-непогода  
Не пугает пешехода,  
И не ждет он ничего.

Мимо храма он проходит  
И с кладбища глаз не сводит,  
Смотрит с жадною тоской...  
Там окончится мученье,  
Там прощенье, примиренье,  
Там забвенье, там покой!

Но, увы! не наступает  
Миг желанный... Он шагает  
День и ночь, тоской томим...  
Даже смерть его забыла,  
Даже вовремя могила  
Не открылась перед ним!

*Февраль 1885*

#### ОТВЕТ НА ПИСЬМО

Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь:  
Я никогда Вам не писал,  
Я и теперь не заслужу похвал,  
Но Вы за правду не сердитесь!  
Письмо мое — упрек. От берегов Невы  
Один приятель пишет мне, что Вы  
Свое письмо распространили в свете.  
Скажите — для чего? Ужели толки эти  
О том, что было так давно  
На дне души погребено,  
Вам кажутся уместны и приличны?  
На вечере одном был ужин симпатичный,  
Там неизвестный мне толстяк  
Читал его на память, кое-как...  
И все потешились вволю  
Над Вашим пламенным письмом!..  
Потом обоих нас подвергнули контролю  
(Чему способствовал отчасти самый дом).  
Две милые, пленительные дамы  
Хотели знать, кто я таков, притом  
Каким отвечу я письмом,  
И все подробности интимной нашей драмы.  
Прошу Вас довести до сведения их,  
Что я — бездушный эгоист, пожалуй,  
Но, в сущности, простой и добрый малый,  
Что много глупостей наделал я больших  
Из одного минутного порыва...



А что касается до нашего разрыва —  
Его хотели Вы. Иначе, видит бог,  
Я был бы и теперь у Ваших милых ног.

*P. S.*

Прости мне тон письма небрежный:  
Его я начал в шуме дня.  
Теперь всё спит кругом, чарующий и нежный  
Твой образ кротко смотрит на меня!  
О, брось твой душный свет, забудь бывшее горе,  
Приди, приди ко мне, прими бывшую власть!  
Здесь море ждет тебя, широкое, как страсть,  
И страсть, широкая, как море.  
Ты здесь найдешь опять всё счастье прежних лет,  
И ласку, и любовь, и даже то страданье,  
Которое порой гнетет существованье,  
Но без которого вся жизнь — бессвязный бред.

8 ноября 1885

\* \* \*

Как пловец утомленный, без веры, без сил,  
Я о берегу жадно мечтал и молчал;  
Но мне берег несносен, тяжел мне покой,  
Словно полог свинцовый висит надо мной...  
Уноси ж меня снова, безумный мой челн,  
В необъятную ширь расходившихся волн!  
Не страшат меня тучи, ни буря, ни гром...  
Только б изредка всё утихало кругом,  
И чуть слышный, приветливый говор волны  
Навевал мне на душу волшебные сны,  
И в победной красе, выходя из-за туч,  
Согревал меня солнца ласкающий луч!

1885

#### СТАРАЯ ЛЮБОВЬ

О, не гони меня,— твердит она, вздыхая,—  
Не проклинай докучный мой приход,  
Еще не раз душа твоя больная  
Меня, быть может, призовет!  
Я только тень... зачем же против тени  
Старинную враждующую рать  
Упреков, жалоб и сомнений  
С невольной злобой вызывать?

Я только тень, я призрак без названья,  
Мой жертвенник упал, огонь на нем погас,  
Но есть меж нами связь; та связь — твои страдания:  
Они навек соединили нас.  
Ты можешь позабыть и ласки, и объятья,  
И речи нежные, и тихий блеск очей,  
Но не забудешь жгучие проклятья,  
Смущавшие покой твоих ночей.  
И верь мне: чем сильнее росло твоё волнение,  
Чем больше ты страдал, без пользы жизнь губя,  
Тем ближе чуял ты мое прикосновение,  
Тем явственней звучал мой голос для тебя.  
Благодари меня за всё: за пыл мечтаний,  
За счастье и обман, за солнце и грозу,  
За каждый вопль разбитых упований,  
За каждую пролитую слезу;  
И если, жизнью смят, в томлении недуга,  
Меня ты призовешь, к тебе явлюсь я вновь,  
Я, лучших дней твоих забытая подруга,  
Я старая и верная любовь!

<1886>

#### ПАМЯТИ ПРОШЛОГО

Не стучись ко мне в ночь бессонную,  
Не буди любовь схороненную,  
Мне твой образ чужд и язык твой нем,  
Я в гробу лежу, я затих совсем.  
Мысли ясные мглой окутались,  
Нити жизни все перепутались,  
И не знаю я, кто играет мной,  
Кто мне верный друг, кто мне враг лихой.

С злой усмешкою, с речью горькою  
Ты приснилась мне перед зорькою...  
Не смотри ты так, подожди хоть дня,  
Я в гробу лежу, обмани меня...  
Ведь умершим лгут, ведь удел живых —  
Ряд измен, обид, оскорблений злых...  
А едва умрем, — на прощание  
Нам надгробное шлют рыдание,  
Возглашают нам память вечную,  
Обещают жизнь... бесконечную!

<1886>

## ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Вы говорите, доктор, что исход  
Сомнителен? Ну что ж, господня воля!  
Уж мне пошел пятидесятый год,  
Довольно я жила. Вот только бедный Коля  
Меня смущает: слишком пылкий нрав,  
Идеям новым предан он так страстно,  
Мне трудно спорить с ним; он, может быть, и прав;  
Боюсь, что жизнь свою загубит он напрасно.  
О, если б мне дожить до радостного дня,  
Когда он кончит курс и выберет дорогу.  
Мне хлороформ не нужно: слава богу,  
Привыкла к мукам я... А около меня  
Портреты всех детей поставьте, доктор милый,  
Пока могу смотреть, хочу я видеть их.  
Поверьте: в лицах дорогих  
Я больше почерпну терпения и силы!..  
Вы видите: вон там, на той стене,  
В дубовой рамке Коля, в черной — Митя...  
Вы помните, когда он умер в дифтерите  
Здесь, на моих руках, вы всё твердили мне,  
Что заражусь я непременно тоже.  
Не заразилась я, прошло тринадцать лет...  
Что вытерпела я болезней, горя... боже!  
Вы, доктор, знаете... А где же Саша? Нет!  
Тут он с своей женой... Бог с нею!  
Снимите тот портрет, в мундире, подле вас;  
Неволью духом я слабею,  
Как только встречу взгляд ее холодных глаз;  
Всё Сашу мучит в ней: бесцельное кокетство,  
Характер адский, дикая вражда  
К семейству нашему... Вы знали Сашу с детства,  
Не жаловался он ребенком никогда,  
А тут, в последний раз,— но это между нами —  
Он начал говорить мне о жене,  
Потом вдруг замолчал, упал на грудь ко мне  
И плакал детскими, бессильными слезами...  
Я людям всё теперь простить должна,  
Но каюсь: этих слез я не простила...  
А прежде как она любила,  
Каким казалась ангелом она!..  
Вот Оля с детками. За этих, умирая,  
Спокойна я. Наташа, ангел мой!  
Уставила в меня глазенки, как живая,  
И хочет выскочить из рамки золотой.  
Мне больно шевельнуть рукой. Перекрестите  
Хоть вы меня... Смешно вам, старый атеист,  
Что ж делать, бог простит! Вот так... Да отворите

Окно. Как воздух свеж и чист!  
Как быстро тучки белые несутся  
По неразгаданным, далеким небесам...  
Да, вот еще: к моим похоронам,  
Конечно, дети соберутся.  
Скажите им, что, умирая, мать  
Благословила их и любит, но ни слова,  
Что я так мучилась... Зачем их огорчать!  
Ну, доктор, а теперь начните — я готова!..

*Июль 1886*

## СТАРОСТЬ

Бредет в глухом лесу усталый пешеход  
И слышит: кто-то там, далёко, за кустами,  
Неровными и робкими шагами  
За ним, как вор подкравшийся, ползет.  
Заныло сердце в нем, и он остановился.  
«Не враг ли тайный гонится за мной?  
Нет, мне почудилось: то, верно, лист сухой,  
Цепляясь за ветви, повалился  
Иль заяц пробежал...» Кругом не видно зги,  
Он продолжает путь знакомою тропкою.  
Но вот всё явственней он слышит за собою  
Всё те же робкие, неровные шаги.  
И только рассвело, он видит: близко, рядом  
Идет старуха нищая с клюкой,  
Окинула его пытливым взглядом  
И говорит: «Скиталец бедный мой!  
Ужель своей походкою усталой  
Ты от меня надеялся уйти?  
На тяжком жизненном пути  
Исколесил ты верст немало.  
Ведь скоро, гордость затая,  
Искать начнешь ты спутника иль крова...  
Я старость, я пришла без зова,  
Подруга новая твоя!  
На прежних ты роптал, ты проклинал измену...  
О, я не изменю, щедра я и добра:  
Я на глаза очки тебе надену,  
В усы и бороду подсыплю серебра;  
Смешной румянец щек твоих я смою,  
Чело почтенными морщинами покрою,  
Всё изменю в тебе: улыбку, поступь, взгляд...  
Чтоб не скучал ты в праздности со мною,  
К тебе болезней целый ряд  
Привью заботливой рукою.

Тебя в ненастные, сомнительные дни  
Я шарфом обвяжу, подам тебе калоши...  
А зубы, волосы... На что тебе они?  
Тебя избавлю я от этой лишней ноши.  
Но есть могучий дар, он только мне знаком:  
Я опыт дам тебе, в нем истина и знание!  
Всю жизнь ты их искал и сердцем и умом  
И воздвигал на них причудливое зданье.  
    В нем, правда, было много красоты,  
    Но зданье это так непрочное!  
Я объясню тебе, как ошибался ты;  
    Я докажу умно и точно,  
Что дружбою всю жизнь ты называл расчет,  
    Любовью — крови глупое волнение,  
    Наукою — бессвязных мыслей сброд,  
    Свободою — залог порабощенья,  
А славой — болтунов изменчивое мненье  
    И клеветы предательский почет...»  
«Старуха, замолчи, остановись, довольно!  
    (Несчастный молит пешеход.)  
Недаром сердце сжалось так больно,  
Когда я издали почувял твой приход!  
На что мне опыт твой? Я от твоей науки  
Потрекса б с ужасом и в прежние года.  
Покончи разом всё: бери лопату в руки,  
Могилу вырой мне, столкни меня туда...  
Не хочешь? — Так уйди! Душа еще богата  
Воспоминанием... надеждами полна,  
    И, если дань тебе нужна,  
Пожалуй, уноси с собою без возврата  
Здоровье, крепость сил, румянец прежних дней,  
Но веру в жизнь оставь, оставь мне увлеченье,  
    Дай мне пожить хотя еще мгновенье  
    В святых обманах юности моей!»  
Увы, не отогнать докучную старуху!  
Без устали она всё движется вперед,  
То шепчет и язвит, к его склонившись уху,  
То за руку его хватает и ведет.  
И привыкает он к старухе понемногу:  
Не сердит уж его пустая болтовня,  
И, если про давно пройденную дорогу  
Она заговорит, глумясь и дразня,  
Он чувствует в душе одну тупую скуку,  
Безропотно бредет за спутницей своей  
И, вяло слушая поток ее речей,  
Сам опирается на немощную руку.

*Июль 1886*

А. Г. РУБИНШТЕЙНУ

*По поводу «исторических концертов»*

Увенчанный давно всемирной громкой славой,  
Ты лавр историка вплетаешь в свой венок,  
И с честью занял ты свой скромный уголок  
    Под сенью новой музы величавой.  
В былую жизнь людей душою погружен,  
Ты не описывал их пламенных раздоров,  
Ни всех нарушенных, хоть «вечных» договоров,  
Ни бедствий без числа народов и племен...  
Ты в звуках воскресил с могучим вдохновеньем,  
Что было дорого отжившим поколениям,  
    То, что, подобно яркому лучу,  
Гнетущий жизни мрак порою разгоняло,  
    Что жить с любовью равной помогало  
    И бедняку, и богачу!

1886

\* \* \*

Проложен жизни путь бесплодными степями,  
И глушь, и мрак... ни хаты, ни куста...  
    Спит сердце; скованы цепями  
    И разум, и уста,  
    И даль пред нами  
    Пуста.

И вдруг покажется не так тяжка дорога,  
Захочется и петь, и мыслить вновь.  
    На небе звезд горит так много,  
    Так бурно льется кровь...  
    Мечты, тревога,  
    Любовь!

О, где же те мечты? Где радости, печали,  
Светившие нам ярко столько лет?  
    От их огней в туманной дали  
    Чуть виден слабый свет...  
    И те пропали...  
    Их нет.

<1888>

Классически я жизнь окончу тут.  
Я номер взял в гостинице, известной  
Тем, что она излюбленный приют  
Людей, как я, которым в мире тесно;  
Слегка поужинал, спросил  
Бутылку хересу, бумаги и чернил  
И разбудить себя велел часу в девятом.

Следя прилежно за собой,  
Я в зеркало взглянул. В лице, слегка помятом  
Бессонными ночами и тоской,  
Следов не видно лихорадки.  
Револьвер осмотрел я: всё в порядке...  
Теперь пора мне приступить к письму.  
Так принято: пред смертью на прощанье  
Всегда строчат кому-нибудь посланье...  
И я писать готов, не знаю лишь кому.

Писать родным... зачем? Нежданное наследство  
Утешит скоро их в утрате дорогой.  
Писать товарищам, друзьям, любимым с детства...  
Да где они? Нас жизненной волной  
Судьба давно навеки разделила,  
И будет им, как я, чужда моя могила...  
Вот если написать кому-нибудь из них —  
Из светских болтунов, приятелей моих, —  
О, боже мой, какую я услугу  
Им оказать бы мог! Приятель с тем письмом  
Перебегать начнет из дома в дом  
И расточать хвалы исчезнувшему другу...  
Про мой конец он выдумает сам  
Какой-нибудь роман в игривом роде  
И, забавляя им от скуки мрущих дам,  
Неделю целую, пожалуй, будет в моде.  
Есть у меня знакомый прокурор  
С болезненным лицом и умными глазами...  
Случайность странная: нередко между нами  
Самоубийц касался разговор.  
Он этим делом занят специально;  
Чуть где-нибудь случилась беда,  
Уж он сейчас бежит туда  
С своей улыбкою печальной  
И всё исследует: как, что и почему.  
С научной целью напишу ему  
О собственном конце отчет подробный...  
В статистику его пошлю мой вклад загробный!

«Любезный прокурор, вам интересно знать,  
Зачем я кончил жизнь так неприлично?

Сказать по правде, я логично  
Вам правоту свою не мог бы доказать,  
Но снисхождения достоин я. Когда бы  
Вы поручились мне, что я умру...  
Ну хоть, положим, завтра ввечеру,  
От воспаленья или острой жабы,  
Я б терпеливо ждал. Но я совсем здоров  
И вовсе не смотрю в могилу;  
Могу еще прожить я множество годов,  
А жизнь переносить мне больше не под силу,  
И, как бы я ее ни жег и ни ломал,  
Боюсь: не сузится мой пищевой канал  
И не расширится аорта...  
А потому я смерть избрал иного сорта.

Я жил, как многие, как все почти живут  
Из круга нашего,— я жил для наслажденья;  
Работника здоровый, бодрый труд  
Мне незнаком был с самого рожденья.  
Но с отроческих лет я начал в жизнь вникать,  
В людские действия, их цели и причины,  
И стерлась детской веры благодать,  
Как бледной краски след с неконченной картины.  
Когда ж при свете разума и книг  
Мне в даль веков пришлось углубиться,  
Я человечество столь гордое постиг,  
Но не постиг того, чем так ему гордиться?

Близ солнца, на одной из маленьких планет  
Живет двуногий зверь некрупного сложенья,  
Живет сравнительно еще немного лет  
И думает, что он венец творенья;  
Что все сокровища еще неизвестных стран  
Для прихоти его природа сотворила,  
Что для него горят небесные светила,  
Что для него ревет в час бури океан.  
И борется зверек с судьбой насколько можно,  
Хлопочет день и ночь о счастье своем,  
С расчетом на века устраивает дом...  
Но ветер на него пахнул неосторожно —  
И нет его... пропал и след...  
И, умирая, он не знает,  
Зачем явился он на свет,  
К чему он жил, куда он исчезает.  
При этой краткости житейского пути,  
В таком убожестве неведенья, бессилья  
Должны бы спутники соединить усилья



И дружно общий крест нести...  
Нет, люди — эти бедные микробы —  
Друг с другом борются, полны  
Нелепой зависти и злобы.  
Им слезы ближнего нужны,  
Чтоб жизнью наслаждаться вдвое,  
Им больше горя нет, как счастье чужое!  
Властители, рабы, народы, племена —  
Все дышат лишь враждой, и все стоят на страже...  
Куда ни посмотри, везде одна и та же  
Упорная, безумная война!  
Невыносимо жить!

Я вижу: с нетерпеньем  
Послание мое вы прочитали вновь,  
И прокурорский взор туманится сомнением...  
«Нет, это всё не то, тут, верно, есть любовь...»  
Так режиссер в молчании строгом  
За ролью новичка следит из-за кулис...  
«Ищите женщину» — ведь это ваш девиз?  
Вы правы, вы нашли. А я — клянуся богом,—  
Я не искал ее. Нежданная, она  
Явилась предо мной, и так же, как начало,  
Негадан был конец... Но вам сознания мало,  
Вам исповедь подробная нужна.  
Хотите имя знать? Хотите номер дома  
Иль цвет ее волос? Не всё ли вам равно?  
Поверьте мне: она вам незнакома  
И наш угрюмый край покинула давно.

О, где теперь она? В какой стране далекой  
Красуется ее спокойное чело?  
Где ты, мой грозный бич, каравший так жестоко,  
Где ты, мой светлый луч, ласкавший так тепло?

Давно потух огонь, давно угасли страсти,  
Как сон, пропали дни страданий и тревог...  
Но выйти из твоей неотразимой власти,  
Но позабыть тебя я всё-таки не мог!

И если б ты сюда вошла в мой час последний,  
Как прежде гордая, без речи о любви,  
И прошептала мне: «Оставь пустые бредни,  
Забудем прошлое, я так хочу, живи!» —

О, даже и теперь я счастья слезами  
Ответил бы на зов души твоей родной  
И, как послушный раб, опять, гремя цепями,  
Не зная сам куда, побрел бы за тобой...

Но нет, ты не войдешь. Из мрака ледяного  
В меня не брызнет свет от взора твоего,  
И звуки голоса, когда-то дорогого,  
Не вырвут, не спасут, не скажут ничего.

Однако я вдался в лиризм... Некстати!  
Смешно элегию писать перед концом...  
А впрочем, я пишу не для печати,  
И лучше кончить дни стихом,  
Чем жизни подводить печальные итоги...  
Да, если б вспомнил я обид бесцельных ряд  
И тайной клеветы всегда могучий яд,  
Все дни, прожитые в мучительной тревоге,  
Все ночи, проведенные в слезах,  
Всё то, чем я обязан людям-братьям,—  
Я разразился бы на жизнь таким проклятьем,  
Что содрогнуться б мог создатель в небесах!  
Но я не так воспитан; уваженье  
Привык иметь к предметам я святым  
И, не ропща на провиденье,  
Почтительно склоняюся пред ним.

В какую рубрику меня вы поместите?  
Кто виноват? Любовь, наука или сплин?  
Но если б не нашли разумных вы причин,  
То всё же моего поступка не сочтите  
За легкомысленный порыв.  
Я даже помню день, когда, весь мир забыв,  
Читал и жег я строки дорогие  
И мысль покончить жизнь явилась мне впервые.  
Тогда во мне самом всё было сожжено,  
Разбито, попорано... И, смутная сначала,  
Та мысль в больное сердце, как зерно  
На почву благодарную, упала.  
Она таилась на самом дне души,  
Под грудой тлеющего пепла;  
Среди тяжелых дум она в ночной тиши  
Сознательно сложилась и окрепла...  
О, посмотрите же кругом!  
Не я один ищу спасения в покое,—  
В эпоху общего унынья мы живем.  
Какое-то поветрие больное —  
Зараза нравственной чумы —  
Над нами носится, и ловит, и тревожит  
Порабощенные умы.  
И в этой самой комнате, быть может,  
Такие же, как я, изгнанники земли  
Последние часы раздумья провели.  
Их лица бледные, дрожа от смертной муки,

Мелькают предо мной в зловещей тишине,  
Окровавленные, блуждающие руки  
Они из недр земли протягивают мне...  
Они преступники. Они без позволения  
Ушли в безвестный путь из пристани земной...  
Но обвинять ли их? Винить ли жизни строй,  
Бессмысленный и злой, не знающий прощенья?

Как опытный и сведущий юрист,  
Все степени вины обсудите вы здраво.

Вот застрелился гимназист,  
Не выдержав экзамена... Он, право,  
Не меньше виноват. С платформы под вагон  
Прыгну́л седой банкир, сыгравший неудачно;  
Повесился бедняк затем, что жил невзрачно,  
Что жизни благами не пользовался он...

О, эти блага жизни... С наслажденьем  
Я б отдал их за жизнь лишений и труда...  
Но только б мне забыть прожитые года,  
Но только бы я мог смотреть не с отвращеньем,  
А с теплой верой детских дней  
На лица злобные людей.

Не думайте, чтоб я, судя их строго,  
Себя считал умней и лучше много,

Чтоб я несчастный мой конец  
Другим хотел поставить в образец.

Я не ряжуся в мантию героя,  
И верьте, что мучительно весь век  
Я презирал себя. Что я такое?

Я просто жалкий, слабый человек

И, может быть, слегка больной — душевно.

Вам это лучше знать. Вы часто, ежедневно

Субъектов видите таких;

Сравните, что у вас написано о них,

И, к сведенью приняв науки указанья,

Постановите приговор.

Прощайте же, любезный прокурор...

Жаль, не могу сказать вам: до свиданья».

Письмо окончено, и выпита до дна

Бутылка скверного вина.

Я отворил окно. На улицы пустые

Громадой черною смотрели облака.

Осенний ветер дул, и капли дождевые

Лениво падали, как слезы старика.

Потухли фонари. Казалось, поневоле

Веселый город наш в холодной мгле уснул

И замер вдалеке последних дрожек гул.

Так час прошел, иль два, а может быть и боле...

Не знаю. Вдруг в безмолвии ночном  
 Отчетливо, протяжно и тоскливо  
 Раздался дальний свист локомотива...  
 О, этот звук давно уж мне знаком!  
 В часы бессонницы до бешенства, до злости,  
 Бывало, он терзал меня,  
 Напоминая близость дня...  
 Кто с этим поездом к нам едет? Что за гости?  
 Рабочие, конечно, бедный люд...  
 Из дальних деревень они сюда везут  
 Здоровье, бодрость, силы молодые,  
 И всё оставят здесь...

Поля мои родные!  
 И я, увы! не в добрый час  
 Для призраков пустых когда-то бросил вас.  
 Мне кажется, что там, в далеком старом доме,  
 Я мог бы жить еще...

Июльский день затих.  
 Избавившись от всех трудов дневных,  
 Я вышел в радостной истоме  
 На покривившийся балкон.  
 Перед балконом старый клен  
 Раскинул ветви, ярко зеленея,  
 И пышных лип широкая аллея  
 Ведет в заглохший сад. В вечерней тишине  
 Не шелохнется лист, цветы блестят росой,  
 И запах сена с песней удалюю  
 Из-за реки доносятся ко мне.  
 Вот легкий шум шагов. Вдали, платком махая,  
 Идет ко мне жена... О нет, не та — другая:  
 Простая, кроткая, и дети жмутся к ней...  
 Детей побольше, маленьких детей!

За липы спрятался последний луч заката,  
 Тепла немая ночь. Вот ужин, а потом  
 Беседа тихая, Бетховена соната,  
 Прогулка по саду вдвоем,  
 И крепкий сон до нового рассвета...  
 И так, вдали от суетного света,  
 Летели б дни и годы без числа...  
 О, боже мой! Стучат... Ужели ночь прошла?  
 Да, тусклый, мокрый день сурово  
 Глядит в окно. Что ж, разве отворить?  
 Попробовать еще по-новому пожить?

Нет, тяжело! Увидеть снова  
 Толпу противных лиц со злобою в глазах,  
 И уши длинные на плоских головах,  
 И этот наглый взгляд, предательский и  
лживый...
 Услышать снова хор фальшивый

Тупых, затверженных речей...  
Нет, ни за что! Опять стучат... Скорей!  
Пусть мой последний стих, как я, бобыль ненужный,  
Останется без рифмы...

*Октябрь 1888*

К. Д. НИЛОВУ

Ты нас покидаешь, пловец беспокойный,  
Для дальней Камчатки, для Африки знойной...

Но нашему ты не завидуешь покою:  
Увы! над несчастной, померкшей страной

Склонилось так много тревоги и горя,  
Что верная пристань — в бушующем море!

Там волны и звезды,— вверяйся их власти...  
Здесь бури страшнее: здесь люди и страсти.

*1880-е годы*

\* \* \*

О, не сердись за то, что в час тревожной муки  
Проклятья, жалобы лепечет мой язык:  
То жизнью прошлой навеянные звуки,  
То сдавленной души неудержимый крик.

Ты слушаешь меня — и стынет злое горе,  
Ты тихо скажешь: «Верь», — и верю я, любя...  
Вся жизнь моя в твоём глубоком, кротком взоре,  
Я всё могу проклясть, но только не тебя.

Дрожат листы берез от холода ночного...  
Но им ли сетовать на яркий солнца луч,  
Когда, рассеяв тьму, он с неба голубого  
Теплом их обольет, прекрасен и могуч?

*1880-е годы*

\* \* \*

«Прощай!» — твержу тебе с невольными слезами,  
Ты говоришь: разлука недолга...  
Но видишь ли: ручей пробился между нами,  
Поток сердит и круты берега.

Прощай. Мой путь уныл. Кругом нависли тучи.  
Ручей уже растет и речкой побежит. |  
Чем дальше я пойду, тем берег будет круче,  
И скоро голос мой к тебе не долетит.

Тогда забуду ль я о днях, когда-то милых,  
Забуду ль всё, что, верно, помнишь ты,  
Иль с горечью пойму, что я забыть не в силах,  
И в бездну брошусь с высоты?

*1880-е годы*

### СУМАСШЕДШИЙ

Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх

И можете держать себя свободно,

Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях

Я королем был избран всенародно,

Но это всё равно. Смущают мысль мою

Все эти почести, приветствия, поклоны...

Я день и ночь пишу законы

Для счастья подданных и очень устаю.

Как вам моя понравилась столица?

Вы из далеких стран? А впрочем, ваши лица

Напоминают мне знакомые черты,

Как будто я встречал, имен еще не зная,

Вас где-то, там, давно...

Ах, Маша, это ты?

О милая моя, родная, дорогая!

Ну, обними меня, как счастлив я, как рад!

И Коля... здравствуй, милый брат!

Вы не поверите, как хорошо мне с вами,

Как мне легко теперь! Но что с тобой, Мари?

Как ты осунулась... страдаешь всё глазами?

Садись ко мне поближе, говори,

Что наша Оля? Всё растет? Здорова?

О, господи! Что дал бы я, чтоб снова

Расцеловать ее, прижать к моей груди...

Ты приведешь ее?.. Нет, нет, не приводи!

Расплачется, пожалуй, не узнает,

Как, помнишь, было раз... А ты теперь о чем

Рыдаешь? Перестань! Ты видишь, молодцом

Я стал совсем, и доктор уверяет,

Что это легкий рецидив,

Что скоро всё пройдет, что нужно лишь терпенье...

О да, я терпелив, я очень терпелив,

Но всё-таки... за что? В чем наше преступление?..

Что дед мой болен был, что болен был отец,

Что этим призраком меня пугали с детства,—  
Так что ж из этого? Я мог же, наконец,  
Не получить проклятого наследства!..  
Так много лет прошло, и жили мы с тобой  
Так дружно, хорошо, и всё нам улыбалось...  
Как это началось? Да, летом, в сильный зной,  
Мы рвали васильки, и вдруг мне показалось...

. . . . .

Да, васильки, васильки...  
Много мелькало их в поле...  
Помнишь, до самой реки  
Мы их собирали для Оли.

Олечка бросит цветок  
В реку, головку наклонит...  
«Папа,— кричит,— василек  
Мой уплывет, не утонет?!»

Я ее на руки брал,  
В глазки смотрел голубые,  
Ножки ее целовал,  
Бледные ножки, худые.

Как эти дни далеки...  
Долго ль томиться я буду?  
Всё васильки, васильки,  
Красные, желтые всюду...

Видишь, торчат на стене,  
Слышишь, сбегают по крыше,  
Вот подползают ко мне,  
Лезут всё выше и выше...

Слышишь, смеются они...  
Боже, за что эти муки?  
Маша, спаси, отгони,  
Крепче сожми мои руки!

Поздно! Вошли, ворвались,  
Стали стеной между нами,  
В голову так и впились,  
Колют ее лепестками.

Рвется вся грудь от тоски...  
Боже! куда мне деваться?  
Всё васильки, васильки...  
Как они смеют смеяться?

. . . . .

Однако что же вы сидите предо мной?  
Как смеете смотреть вы дерзкими глазами?  
Вы избалованы моею добротой,  
Но всё же я король, и я расправлюсь с вами!  
Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме!  
Для этого меня безумным вы признали...  
Так я вам докажу, что я в своем уме:  
Ты мне жена, а ты — ты брат ее... Что, взяли?  
Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена.  
Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни?  
Что делать, милая, не даром вся страна  
Давно уж требует твоей позорной казни!  
Но, впрочем, может быть, смягчу я приговор  
И благодати пример подам родному краю.  
Я не за казни, нет, все эти казни — вздор.  
Я взвешу, посмотрю, подумаю... не знаю...  
    Эй, стража, люди, кто-нибудь!  
    Гони их в шею всех, мне надо  
    Быть одному... Вперед же не забудь:  
    Сюда никто не входит без доклада.

<1890>

#### ГОЛОС ИЗДАЛЕКА

О, не тоскуй по мне! Я там, где нет страданья...  
Забудь былых скорбей мучительные сны...  
Пусть будут обо мне твои воспоминанья  
    Светлей, чем первый день весны.  
О, не тоскуй по мне! Меж нами нет разлуки:  
Я так же, как и встарь, душе твоей близка,  
Меня по-прежнему твои терзают муки,  
    Меня гнетет твоя тоска.  
Живи! Ты должен жить. И если силой чуда  
Ты снова здесь найдешь отраду и покой,  
То знай, что это я откликнулась оттуда  
    На зов души твоей больной.

Октябрь 1891

#### НА БАЛЕ

Ум, красота, благородное сердце и сила,—  
Всю свою щедрость судьба на него расточила.

Но отчего же в толпе он глядит так угрюмо?  
В светлых очах его спряталась черная дума.



Мог бы расправить орел свои юные крылья,  
Счастье, успехи пришли бы к нему без усилья,

Но у колонны один он стоит недвижимо.  
Блеск, суета — всё бесследно проносится мимо.

Раннее горе коснулось души его чуткой...  
И позабыть невозможно, и вспомнить так жутко!

Годы прошли, но под гнетом былого виденья  
Блекнут пред ним мимолетные жизни явленья...

Пусть позолотой мишурною свет его манит,  
Жизни, как людям, он верить не хочет, не станет!

*1 ноября 1892*

\* \* \*

Опять пишу тебе, но этих горьких строк  
Читать не будешь ты... Нас жизненный поток  
Навеки разлучил. Чужие мы отныне,  
И скорбный голос мой теряется в пустыне.  
Но я тебе пишу затем, что я привык  
Всё поверять тебе, что шепчет мой язык  
Без цели, нехотя, твои былые речи,  
Что я считаю жизнь от нашей первой встречи,  
Что милый образ твой мне каждый день милей,  
Что нет покоя мне без бурь минувших дней,  
Что муки ревности и ссор безумных муки  
Мне счастьем кажутся пред ужасом разлуки.

*1892*

\* \* \*

Всё, чем я жил, в чем ждал отрады,  
Слова развеяли твои...  
Так снег последний без пощады  
Уносят вешние ручьи...  
И целый день, с насмешкой злою,  
Другие речи заглушив,  
Они носились надо мною,  
Как неотвязчивый мотив.

Один я. Длится ночь немая.  
Покоя нет душе моей...  
О, как томит меня, пугая,  
Холодный мрак грядущих дней!  
Ты не согреешь этот холод,  
Ты не осветишь эту тьму...  
Твои слова, как тяжкий молот,  
Стучат по сердцу моему.

1892

\* \* \*

О, что за облако над Русью пролетело,  
Какой тяжелый сон в пустеющих полях!  
Но жалость мощная проснулася в сердцах  
И через черный год проходит нитью белой.  
К чему ж уныние? Зачем бесплодный страх?  
И хату бедняка, и царские палаты  
Одним святым узлом связала эта нить:  
И труженика дань, и креза дар богатый,  
И тихий звук стиха, и музыки раскаты,  
И лепту юношей, едва начавших жить.  
Родник любви течет на дне души глубокою,  
Как пылью, засорен житейской суетой...  
Но туча пронеслась ненастьем и грозой,—  
Родник бежит ручьем. Он вырвется потоком,  
Он смоем сор и пыль широкою волной.

1892

\* \* \*

Перед судом толпы коварной и кичливой  
С поникшей головой меня увидишь ты  
И суетных похвал услышишь лепет лживый,  
Пропитанный враждой и ядом клеветы.  
Но твой безмолвный взор, доверчивый и милый,  
На помощь мне придет с участием живым...

Так гибнущий пловец, уже теряя силы,  
Всё смотрит на маяк, горящий перед ним.  
Свети же, мой маяк! Пусть буря, завывая,  
Качает бедный челн, пусть высится волна,  
Пуускай вокруг меня и мрак, и ночь глухая...  
Ты светишь, мой маяк,— мне гибель не страшна!

1893

\* \* \*

Вот тебе старые песни поэта —  
Я их слагал в молодые года,  
Долго таил от бездушного света,  
И, не найдя в нем живого ответа,  
Смолкли они навсегда.

Зреет в душе моей песня иная...  
Как ни гони ее, как ни таи,—  
Песня та вырвется, громко рыдая,  
Стоном безумной любви заглушая  
Старые песни мои.

1893 (?)



## СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

### ОРФЕЙ И ПЯЦ

Слушать предсмертные песни Орфея друзья собралися.  
Нагло бранясь и крича, вдруг показался паяц.  
Тотчас же шумной толпой убежали друзья за паяцем...  
Грустно на камне один песню окончил Орфей.

### К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Во тьме исчезнувших веков,  
В борьбе с безжалостной природой  
Ты родилась под звук оков  
И в мир повеяла свободой.  
Ты людям счастье в дар несла,  
Забвенья рабства и печали,—  
Богини светлого чела  
В тебе безумцы не признали.  
Ты им внушала только страх,  
Твои советы их томили;  
Тебя сжигали на кострах,  
Тебя на плаху волочили,—  
Но голос твой звучал, как медь,  
Из мрака тюрем, из груди пепла...  
Ты не хотела умереть,  
Ты в истязаниях окрепла!  
Прошли века; устав в борьбе,  
Тебя клыня и ненавидя,  
Враги воздвигли храм тебе,  
Твое могущество увидя!  
Страдал ли человек с тех пор,  
Иль кровь лилася по-пустому,

Тебе всё ставили в укор,  
Хоть ты учила их другому!  
Ты дожила до наших дней...  
Но так ли надо жить богине?  
В когтях невежд и палачей  
Ты изнываешь и доньше.  
Твои неверные жрецы  
Тебя бесчестят всенародно,  
Со злом бессильные бойцы  
Друг с другом борются бесплодно.  
Останови же их! Пора  
Им протянуть друг другу руки  
Во имя чести и добра,  
Во имя света и науки...  
Но всё напрасно! Голос твой  
Уже не слышен в общем гаме,  
И гул от брани площадной  
Один звучит в пустынном храме,  
И так же тупо, как и встарь,  
Отжившим вторя поколениям,  
На твой поруганный алтарь  
Глядит толпа с недоумением.

\* \* \*

Ты говоришь: моя душа — загадка,  
Моей тоски причина не ясна;  
Ко мне неожиданно, словно лихорадка,  
По временам является она.

Загадки нет. И счастье, и страданье,  
И ночь, и день — всё, всё тобой полно,  
И без тебя мое существованье  
Мне кажется бесцветно и смешно.

Когда тебе грозит болезнь иль горе,  
Когда укор безжалостный и злой  
Читаю я в твоём холодном взоре,—  
Я падаю смущенною душой.

Но скажешь ты мне ласковое слово —  
И горе всё куда-то унесло...  
Ты — грозный бич, карающий сурово,  
Ты — светлый луч, ласкающий тепло,

\* \* \*

К ней в пустую гостиную голубь влетел  
Темно-сизый, махая крылами.  
Уже близилась осень, и лес пожелтел  
За пустыми, нагими полями.

И казалось, что в день этот, темный, сырой,  
Гость неожиданный явился с приветом,  
Что пахнуло опять позабытой весной  
И горячим исчезнувшим летом.

Шумно жить без любви ей досталось в удел.  
Сердце пусто, дом полон гостями...  
Но в заснувшую душу к ней голубь влетел  
Темно-сизый, махая крылами.

Озарится ль в душе то, что было темно,  
От неожиданного яркого света,  
Или вылетит голубь, тоскуя, в окно,  
На призыв не дождавшись ответа?

\* \* \*

Когда, в объятиях продажных замирая,  
Потушишь ты огонь, пылающий в крови,—  
Как устыдишься ты невольных слов любви,  
Что ночь тебе подсказывала злая!  
И целый день потом ты бродишь сам не свой,  
Тебя гнетет воспоминанье это,  
И жизнь, как день осенний без просвета,  
Такою кажется бесцветной и пустой!  
Но верь мне: близок час! Неслышными шагами,  
Не званная, любовь войдет в твой тихий дом,  
Наполнит дни твои блаженством и слезами  
И сделает тебя героем и... рабом.  
Тебя не устроят ни гнет судьбы суровой,  
Ни цепи тяжкие, ни пошлый суд людей...  
И ты отдашь всю жизнь за ласковое слово,  
За милый, добрый взгляд задумчивых очей!

#### БЕССОННИЦА

Проходят часы за часами  
Несносной, враждебной толпой...  
На помощь с тоской и слезами  
Зову я твой образ родной!

Я всё, что в душе накопело,  
Забуду,— но только взгляни  
Доверчиво, ясно и смело,  
Как прежде, в счастливые дни!

Твой образ глядит из тумана;  
Увы! заслонен он другим —  
Тем демоном лжи и обмана,  
Мучителем старым моим!

Проходят часы за часами...  
Тускнеет и гаснет твой взор,  
Шипит и растет между нами  
Обидный, безумный раздор...

Вот утра лучи шевельнулись...  
Я в том же тупом забытии...  
Совсем от меня отвернулись  
Потухшие очи твои.



## ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### ПЕРО

Несясь дорогою большою,  
Перо гусиное в сторонке вижу я,  
И вот уж странною мечтою  
Душа наполнилась моя.  
Скажи, давно ли гусь тобою любовался,  
Увидя образ свой в серебряных волнах,  
Или когда пред самкой красовался  
И чувства выражал ей в пламенных словах?  
Потом, когда на кухню гусь попался  
И повар там его искусно общипал,  
На чью ты долю, друг, достался,  
И кто тебя дорогой потерял?  
Помещик ли тобой свои расходы  
В тетрадку ветхую писал  
И вечерком, любуясь природой,  
В зубах тобою ковырял?  
А может быть, помещик, светских правил,  
Сам погружен в важнейшие дела,  
Приказчику именье предоставил:  
Скажи, всегда ль рука его лгала?  
Чиновник ли в порыве вдохновенья  
По десяти листов тобою в день марал  
И в сладкий миг отдохновенья  
Тебя в зубах с достоинством держал?  
Но если же плешивая Фемида  
Уж до советника дошла,  
Ты отдышал, мой друг: большая Немезида  
Тебя только для подписи брала.  
В руках Фиглярина ль в сей пасмурной юдоли  
Ты лавочку в Гороховой хвалил  
И под ярмом хозяйской воли,



Как меч Суворова, ты Гоголя разил?  
 Твой хвост откушен, друг: как рифм найти, не зная,  
 Писака ли тебя с досадою изгрыз,  
 Иль крыса белая, под старость отдыхая,  
 Не кинула ль тебя на долю черных крыс?  
     Иль, может быть, душевные беседы  
     Поэт векам передавал тобой:  
 Отечества ли пел он громкие победы  
     Иль подличал пред старшими порой;  
     Элегии ль унылые напевы,  
 Или сонета звук, иль нежный мадригал  
     Любви прелестной юной девы,  
     Как дар великий, посвящал;  
 Иль с чудною могущественной лирой  
     Он за века минувшие летал;  
 Или карал людей он едкою сатирой  
     И колкой эпиграммой обличал?..  
     И, может быть, людьми гонимый  
     За обличенье их страстей,  
 И в самом бедствии ничем не победимый,  
 Он бросил здесь тебя с проклятьем на людей.

26 июля 1854

#### ЖЕЛАНИЕ СЛАВЯНИНА

Дайте мне наряд суровый,  
 Дайте мурмолку мою,  
 Пред скамьею стол дубовый,  
 Деревянную скамью.  
 Дайте с луком буженины,  
 Псов ужасных на цепях  
 Да лубочные картины  
 На некрашенных стенах.

Дайте мне большую полку  
 Всевозможных древних книг,  
 Голубую одноколку,  
 Челядинцев верховых.  
 Пусть увижу в доме новом  
 Золотую старину  
 Да в кокошнике парчовом  
 Белобрысую жену.

Чтоб подруга дорогая  
 Всё сидела бы одна,  
 Полотенце вышивая  
 У закрытого окна,

А на пир с лицом смиренным  
Выходила бы она  
И огромный кубок с пенным  
Выпивала бы до дна...

5 июля 1855

#### ГЕНИЙ ПОЭТА

*П. И. Чайковскому*

Чудный гений! В тьму пучин  
Бросил стих свой исполин...  
Шею вывернув Пегасу,  
Музу вздевши на аркан,  
В тропы лбом, пятой к Парнасу,  
Мощный скачет великан.

14 ноября 1855

#### ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Денек веселый! С давних пор  
Обычай есть патриархальный  
У нас: и лгать, и всякий вздор  
Сегодня всем пороть нахально.  
Хоть ложь-то, впрочем, привилась  
Так хорошо к нам в самом деле,  
Что каждый день в году у нас  
Отчасти — первое апреля.

Но вот N.N., приятель мой,  
Он вечно лжет и мрачен вечно;  
Не мудрено: его порой  
Бранят за то... Теперь беспечно  
Смеется, шутит... Как понять?  
А! понимаю: пустомеля  
Всем безопасно может врать:  
Сегодня первое апреля.

Приносят мне письмо. Его  
Я чуть не рву от нетерпенья.  
Оно от друга моего.  
Однако что за удивленье!  
В нем столько чувства, даже честь  
Во всем: и в мыслях и на деле.  
Смотрю на надпись: так и есть!  
Читаю: первое апреля.

— Откуда вы, друзья мои?  
Чайковский? — «Я сидел у Лего».  
— А ты, Селецкий? — «У Морни...»  
— А Эртель? — «У Кобылы пегой...»  
— А Каратаев? — «Дома был...»  
— А Галкин? — «Прямо от Бореля...»  
— Как, что за чушь? Ах, я забыл,  
Ведь нынче первое апреля.

Знакомых встретите... на вас  
Все смотрят с подозреньем тоже.  
«Скажите мне, который час?» —  
Вдруг спросят как-то злей и строже.  
— Такой-то. — «Ах, неправда, нет:  
Вы с нами пошутить хотели...»  
Что ж, нынче шутит целый свет:  
Сегодня первое апреля.

А я теперь, наоборот,  
Способен даже больше верить:  
Сегодня всякий, правда, лжет,  
Зато не нужно лицемерить...  
Сегодня можно говорить  
Всю правду, метко в друга целя,  
Потом всё в шутку обратить:  
«Сегодня первое апреля».

Сегодня мне скажите вы,  
Что не берут в России взяток,  
Что город есть скверней Москвы,  
Что в «Пчелке» мало опечаток,  
Что в свете мало дураков...  
Вполне достигнете вы цели,  
Всему поверить я готов:  
Сегодня первое апреля.

*5 апреля 1857*

## П. ЧАЙКОВСКОМУ

### *Послание*

Нет, над письмом твоим напрасно я сижу,  
Тебя напрасно проклиная,  
Увы! там адреса нигде не нахожу,  
Куда писать тебе, не знаю.  
Не посылать же мне «через Феба на Парнас»...  
Во-первых, имени такого,  
Как Феб иль Аполлон, и в святцах нет у нас  
(Нельзя ж святым считать Попова),

А во-вторых, Парнас высок, и на него  
 Кривые ноги почтальона  
 Пути не обретут, как не обрел его  
 Наш критик Пухты и Платона...  
 Что делать? Не пишу. А много б твой «поэт»  
 Порассказал тебе невольно:  
 Как потерял он вдруг и деньги и билет,  
 Попавши в град первопрестольный;  
 Как из Москвы, трясаясь, в телеге он скакал  
 С певцом любви, певцом Украины,  
 Как сей певец ему секретно поверял  
 Давно известные всем тайны.  
 Как он, измученный, боялся каждый миг  
 Внезапной смерти от удара,  
 Как, наконец, пешком торжественно достиг  
 Полей роскошных Павлодара;  
 Как он ничем еще не занялся пока  
 И в мирной лени — слава богу! —  
 Энциклопедию, стихи обоих «К» —  
 Всё забывает понемногу;  
 Но как друзей своих, наперекор судьбе,  
 Он помнит вечно, и тоскует,  
 За макаронами мечтает о тебе,  
 А за «безе» тебя целует,  
 Как, разорвав вчера тетрадь стихов своих,  
 Он крикнул, точно Дон-Диего:  
 Спаси его, господь, от пакостей таких,  
 Как ты спасал его от Лего!

.....

5 июля 1857

#### ПАРОДИЯ

Боже, в каком я теперь упоении  
 С «Вестником Русским» в руках!  
 Что за прелестные стихотворения,  
 Ах!

Там Данилевский и А. П. таинственный,  
 Майков — наш флюгер-поэт,  
 Лучше же всех несравненный, единственный —  
 Фет.

Много бессмыслиц прочтешь патетических,  
 Множество фраз посреди,  
 Много и рифм, а картин поэтических  
 Жди!

18 февраля 1858

## РУССКОЙ ГЕТЕРЕ

В изящной Греции гетеры молодые  
С толпою мудрецов сидели до зари,  
Гипотезы судили мировые  
И розами венчали алтари...  
Тот век давно прошел... К богам исчезла вера,  
Чудесный мир забыт... И ты, моя гетера,  
Твой нрав веселый не таков:  
К лицу тебе твоя пастушеская шляпа,  
И изо всех языческих богов  
Ты любишь — одного Приапа.

13 января 1859

## ОЖИДАНИЕ

(Подражание Ламартину)

В час тихий вечера, над озером зеркальным,  
Я ждал, уединясь в раздумии печальном,  
И долго я смотрел при шелесте древес  
На ясную лазурь темнеющих небес.  
Кругом передо мной широкий дол тянулся;  
Так тихо было всё, что лист не шевельнулся;  
Носился ветерок над спящею водой,  
И небо чистое висело надо мной.  
Я ждал, я ждал, я ждал — никто не появлялся,  
Один лишь голос мой пустынно раздавался,  
И дума грустная запала в ум тогда:  
Зачем и для чего я приходил сюда?  
Никто не назначал мне тайного свиданья,  
Ждать было некого... К чему же ожиданье?

.....  
Я в мире одинок, и мне волнует кровь  
Раздумье тихое скорее, чем любовь.  
Но всё-таки я ждал... Я ждал, чтоб ночь глухая  
На землю спала бы, кругом благоухая,  
Чтоб опрокинулся весь этот свод небес  
В пучину озера, при шелесте древес.  
Потом, припомнив все печали и утраты,  
Я тихо арию пропел из «Травиаты»  
И шагом медленным понес к себе домой  
Измученную грудь, убитую тоской...

.....

<1860>

В АЛЬБОМ

Е. Е. А.

Вчера на чудном, светлом бале,  
От вальса быстрого устав,  
Вы, невзначай и задрожав,  
Свою перчатку разорвали.  
И я подумал: «О, мой бог!..  
(А на душе так было сладко)  
Я был бы счастлив, если б мог  
Быть той разорванной перчаткой!»

КАРОЛИНЕ КАРЛОВНЕ ПАВЛОВОЙ

*По прочтении ее поэмы «Кадриль»*

Я прочитал, я прочитал,  
Я перечитывал три раза  
И наизусть припоминал  
Страницы вашего рассказа.  
Какие рифмы, что за стиль!  
Восторга слез я лил немало,  
И сердце страстно танцевало  
Под ваш пленительный кадриль.  
Теперь в душе одно желанье:  
О, если б где-нибудь в собраньи  
Или на бале встретить вас,  
Всю окруженную цветами,—  
И провести в беседе с вами  
Хотя один ничтожный час;  
О ходе русского прогресса  
Тираду длинную сказать...  
О Пушкине потолковать...  
И после... с вами, поэтесса,  
Одну кадриль протанцевать!

1860

ЭЛЕГИЯ

*Посвящается г. О. Дютшу,  
автору оперы «Кроатка, или Соперница»*

Я видел, видел их... Исполненный вниманья,  
Я слушал юношей, и жен, и стариков,  
А вокруг меня неслись свистки, рукоплесканья  
И гул несвязных голосов.

Но что ж! Ни Лазарев, то яростный, то нежный,  
Ни даже пламенный Серов  
Не вызвали б моей элегии мятежной  
И гармонических стихов.  
Я молча бы прошел пред их гремящей славой...  
Но в утро то мой юный ум  
Пленял иной художник величавый,  
Иной властитель наших дум.  
То был великий Дютш, по музыке приятной  
Всем гениям возвышенный собрат;  
Происхождением — германец, вероятно,  
Душою — истинный кроат.  
Но боже, боже мой! как шатко всё земное!  
Как гений глубоко способен упадать!  
Он позабыл сердец сочувствие святое,  
Он Лазарева стал лукаво порицать.  
И вдруг — от ужаса перо мое немеет! —  
Маэстро закричал, взглянувши на него:  
«Соперница» твоя соперниц не имеет,  
Уж хуже нету ничего!»  
Смутился Дютш. Смутилося собранье,  
Услышав эти словеса,  
И громче прежнего неслись рукоплесканья  
И завывали голоса.

*Между декабрем 1860 и апрелем 1861*

#### КРАСНОМУ ЯБЛОЧКУ ЧЕРВОТОЧИНКА НЕ В УКОР

*Пословица в одном действии, в стихах  
Подражание великосветским комедиям-пословицам  
русского театра*

Граф, 30 л.  
Графиня, 20 л.  
Князь, 22 л.  
Слуга, 40 л.

Театр представляет богато убранную гостиную.

#### ЯВЛЕНИЕ 1

Графиня  
(одна)

Как скучно быть одной...

#### ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и слуга (входя).

Слуга

К вам князь.

Графиня

Проси скорее.

ЯВЛЕНИЕ 3

Князь, за ним слуга.

Князь

Войти ли мне иль нет, пленительная фея?  
Мне сердце всё твердит: любовь в ее груди,  
А опыт говорит: уйди, уйди, уйди!

Слуга уходит.

ЯВЛЕНИЕ 4

Графиня и князь.

Графиня

Я не ждала вас, князь...

Князь

А я... я жду ответа!  
Для вас я пренебрег родными, мнением света,  
Свободой, деньгами, кредитом у Дюссо...  
Для вас, для вас одной я, словом, бросил всё...  
Я думаю, всегда для дамы это лестно...

Графиня

Вы попрекаете, и очень неуместно.

Князь

Я попрекаю, я? Пусть вас накажет бог!  
Подумать даже я подобного не мог.  
Но слушайте: когда с небес ударят грозы  
И землю обольют живительным дождем,  
Земля с отчаяньем глотает эти слезы,  
И стонет, и дрожит в безмолвии немом.  
Но вот умчался гром, и солнце уж над нами  
Сияет весело весенними лучами,  
Всё радуется здесь, красуется, цветет,  
А дождь, вина всему, уж больше не идет!  
Мне часто в голову приходит то сравненье:  
Любовь есть солнце, да! Она наш верный вождь;  
Я — вся земля, я — всё цветущее творенье,

А вы — вы дождь!

К чему же поведет бесплодная гордыня?  
Вот что я нынче вам хотел сказать, графиня.

Графиня

Я долго слушала вас, вовсе не сердясь...  
Теперь уж ваш черед меня послушать, князь.



Князь

Я превращаюсь в слух... Клянуся Аполлоном,  
Я рад бы сделаться на этот миг шпионом.

Графиня  
(небрежно)

И выгодно б для вас остаться им, я чай?  
(*Переменив тон и становясь в позу.*)  
Случалось ли когда вам, просто, невзначай,  
Остановить на том досужее вниманье:  
Какое женщине дается воспитанье?  
С пеленок связана, не понята никем,  
Она доверчиво в мужчинах зрит эдем,  
Когда ж приблизится коварный искуситель,  
Ей прямо говорит: «Подальше не хотите ль»,  
И, всеми брошена, палимая стыдом,  
Она прощает всё и молится о нем...  
Теперь скажите мне по совести признание:  
Какое женщине дается воспитанье?

Князь

Графиня, вы меня заставили краснеть...  
Ну, можно ль лучше вас на вещи все смотреть?  
На память мне пришел один куплет французской,  
Импровизация княгини Чернопузской...

Графиня

Импровизация тогда лишь хороша,  
Когда в ней есть и ум, и чувство, и душа.

Князь

А кстати, где ваш муж?

Графиня

Он в клубе.

Князь

Неужели?

(*Целуя руку ей.*)

И он оставил вас для этой мелкой цели?  
(*Становясь на колени.*)  
Он вас покинул, вас? Ваш муж, ей-богу, глуп!

ЯВЛЕНИЕ 5

Граф  
(*показываясь в дверях*)

Я здесь, я слышал всё, я не поехал в клуб!

Князь  
(*в сторону*)

Некстати же я стал пред нею на колени!

Г р а ф и н я

*(в сторону)*

Предвижу много я кровавых объяснений!

Г р а ф

*(язвительно)*

Достойный ловелас! Извольте выйти вон!

К н я з ь

*(спокойно)*

Мое почтенье, граф! Графине мой поклон!

*(Изяцко кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 6

Графиня и граф.

Г р а ф

Ну что, довольны вы моей судьбой печальной?  
По счастью, я для вас не изверг театральный:  
Не стану проклинать, не стану убивать,  
А просто вам скажу, что мне на вас плевать!  
Не стану выставлять я ваших черных пятен,  
*И дым отечества мне сладок и приятен,*  
Но прыгать я готов на сажень от земли,  
*Когда подумаю, кого вы предпочли...*

Г р а ф и н я

Подумайте ж и вы — скажу вам в оправданье,—  
Какое женщине дается воспитанье?  
С пеленок связана...

Г р а ф

*(подсказывая с иронией)*

Не понята никем...

Г р а ф и н я

*(не понимая иронии)*

Она доверчиво в мужчинах зрит эдем...

Г р а ф

Довольно! Это я давно на память знаю  
И «Сын отечества» читать предпочитаю!  
*(Иронически кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 7

Г р а ф и н я

*(одна)*

Как скучно быть одной...

*(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 8

С л у г а

(входя на цыпочках)

Да, погляжу в окно.  
Лизету милую к себе я жду давно...  
Однако надо мне подумать в ожиданьи:  
Какое женщине дается воспитанье?

Задумывается. Занавес медленно опускается. Картина.

<1862>

К ПОРТРЕТУ И. В. ВЕРНАДСКОГО

Приличней похвалы ему нельзя сказать:  
Мать дочери велит статьи его читать.

<1862>

К ПОРТРЕТУ А. Н. СЕРОВА

О музыке судя лет сорок вкось и вкривь,  
Над Ростиславом он отпраздновал победу.  
Сначала выпустил Юдифь,  
Потом — Рогнеду.

Из музыканта он вдруг педагогом стал,  
Но в педагогии покрылся вечным срамом.  
Плохое воспитанье дал  
Он этим дамам:

Одна Владимира хотела уморить,  
Другая пьяного прельстила Олоферна,  
И обе так привыкли выть,  
Что даже скверно.

24 августа 1869

СОВЕТ МОЛОДОМУ КОМПОЗИТОРУ

По поводу оперы Серова «Не так живи, как хочется»

Чтоб в музыке упрочиться,  
О юный неофит,  
Не так пиши, как хочется,  
А как Серов велит!

29 ноября 1869

Когда будете, дети, студентами,  
 Не ломайте голов над моментами,  
 Над Гамлэтами, Лирами, Кентами,  
 Над царями и над президентами,  
 Над морями и над континентами,  
 Не якшайтесь там с оппонентами,  
 Поступайте хитро с конкурентами.  
 А как кончите курс эминентами  
 И на службу пойдете с патентами —  
 Не глядите на службе доцентами  
 И не брезгайте, дети, презентами!  
 Окружайте себя контрагентами,  
 Говорите всегда комплиментами,  
 У начальников будьте клиентами,  
 Утешайте их жен инструментами,  
 Угощайте старух пеперментами —  
 Воздадут вам за это с процентами:  
 Обошьют вам мундир позументами,  
 Грудь украсят звездáми и лентами!..  
 А когда доктора с орнаментами  
 Назовут вас, увы, пациентами  
 И уморят вас медикаментами...  
 Отпоет архиерей вас с регентами,  
 Хоронить понесут с ассистентами,  
 Обеспечат детей ваших рентами  
 (Чтоб им в опере быть абонентами)  
 И прикроют ваш прах монументами.

*1860-е годы*

#### ЯПОНСКИЙ РОМАНС

Наша мать Япония,  
 Словно Македония  
 Древняя, цветет.  
 Мужеством, смирением  
 И долготерпением  
 Славен наш народ.

В целой Средней Азии  
 Славятся Аспазии  
 Нашей стороны...  
 В Индии и далее,  
 Даже и в Австралии  
 Всеми почтены.

Где большой рукав реки  
Нила — гордость Африки,—  
Наш гремит талант.  
И его в Америке  
Часто до истерики  
Прославляет Грант.

А Европа бедная  
Пьет, от страха бледная,  
Наш же желтый чай.  
Даже мандаринами,  
Будто апельсинами,  
Лакомится, чай.

Наша мать Япония,  
Словно Македония  
Древняя, цветет.  
Воинство несметное,  
С виду незаметное,  
Край наш стережет.

До Торжка и Старицы  
Славны наши старицы —  
Жизнию святой,  
Жены — сладострастием,  
Вдовы — беспристрастием,  
Девы — красотой.

Но не вечно счастье —  
В светлый миг ненастия  
Надо ожидать:  
Весть пришла ужасная,  
И страна несчастная  
Мается опять.

Дремлющие воины  
Вновь обеспокоены,  
Морщатся от дел;  
Все пришли в смятение,  
Всех без исключения  
Ужас одолел:

Всё добро микадино  
В сундуки укладено,  
И микадо сам  
К идолам из олова  
Гнет покорно голову,  
Курит фимиам.

Что ж все так смутились,  
Переполошились  
В нашей стороне?  
— Генерала Сколкова,  
Капитана Волкова...  
Ждут в Сахалине.

*1860-е годы*

В. А. ВИЛЛАМОВУ

*Ответ на послание*

Напрасно дружеским обухом  
Меня ты думаешь поднять...  
Ну, можно ли с подобным брюхом  
Стихи без усталости писать?•  
Мне жить приятней неизвестным,  
Я свой покой ценю как рай...  
Не называй меня небесным  
И у земли не отнимай!

*Апрель 1870*

В. А. ЖЕДРИНСКОМУ

С тобой размеры изучая,  
Я думал, каждому из нас  
Судьба назначена иная:  
Ты ярко блещешь, я угас.

Твои за жизнь напрасны страхи;  
Пускайся крепче и бодрей,  
То развернись, как амфибрахий,  
То вдруг сожмись, как хорей.

Мои же дни темны и тихи.  
В своей застрявши скорлупе,  
И я плетуся, как пиррихий,  
К чужой примазавшись стопе.

*1871*

ПО ПОВОДУ НАЗНАЧЕНИЯ М. Н. ЛОНГИНОВА  
УПРАВЛЯЮЩИМ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

Ниспослан некий вождь на пишущую братью,  
Быв губернатором немного лет в Орле...  
Актера я знавал... Он тоже был Варле...  
Но управлять ему не довелось печатью.

1871

ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ ПЕТРА ПЕРВОГО

Двести лет тому назад  
Соизволил царь родиться...  
Раз, приехавши в Карлсбад,  
Вздумал шпруделя напиться.  
Двадцать восемь кружек в ряд  
В глотку царственную влились...  
Вот как русские лечились  
Двести лет тому назад.

Много натворив чудес,  
Он процарствовал счастливо...  
«Борода не *surgetmäss*»\*,—  
Раз решил за кружкой пива.  
С треском бороды летят...  
Пытки, казни... Все в смятеньи!..  
Так вводилось просвещение  
Двести лет тому назад!

А сегодня в храм святой  
Незлопамятны, смиренны,  
Валят русские толпой  
И, коленопреклоненны,  
Все в слезах, благодарят  
Вседержителя благого,  
Что послал царя такого  
Двести лет тому назад.

30 мая 1872

ЗЛОПАМЯТНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

Петр Первый не любил попов. Построив Питер,  
Он патриарха сократил...  
Через двести лет ему Кустодиев пресвитер  
Своею речью всё отмстил.

30 мая 1872

---

\* не по-придворному (нем.).

С. Я. ВЕРИГИНОЙ

Напрасно молоком лечиться ты желаешь,  
Поверь, лечение нелегко:

Покуда ты себе питье приготавлиаешь,  
От взгляда твоего прокиснет молоко...

1872

МОЛИТВА БОЛЬНЫХ

От взора твоего пусть киснет шоколад,  
Пусть меркнет день, пусть околет пудель,  
Мы молим об одном — не ездь ты в Карлсбад,  
Боймся убо мы, чтоб не иссякнул ширдель.

*Май или июнь 1872*

\* \* \*

«Жизнь пережить — не поле перейти!»  
Да, правда: жизнь скучна и каждый день скучнее,  
Но грустно до того сознания дойти,  
Что поле перейти мне все-таки труднее!

1874

ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Антракт. В театре тишина,  
Ни вызовов, ни гула,  
Вся зала в сон погружена,  
И часть певцов заснула.  
Вот я зачем спешил домой,  
Покинув Рим счастливый!  
На что тут годен голос мой:  
Одни речитативы!  
Но петь в отчизне долг велит...  
О Шашина родная!  
Какое сердце не дрожит,  
Тебя вспоминая!

Хвала вам, чада новых лет,  
Родной страны Орфеи,  
Что мните через менуэт  
Распространять идеи!



Кого я вижу? Это ты ль,  
О муж великий, Стасов,  
Постигший византийский стиль,  
Знаток иконостасов?  
Ты — музыкальный генерал,  
Муж слова и совета,  
Но сам отнюдь не сочинял...  
Хвала тебе за это!

Ты, Кóрсаков, в ведомостях  
Прославленный маэстро,  
Ты впрямь Садко: во всех садках  
Начальник ты оркестра! \*  
Ты, Мусоргский, посредством нот  
Расскажешь всё на свете:  
Как петли шьют, как гриб растет,  
Как в детской плачут дети.  
Ты Годунова доконал —  
И поделом злодею!  
Зачем младенца умерщвлял?  
Винить тебя не смею!

Но кто сей Цезарь, сей Кюи?  
Он стал фельетонистом,  
Он мечет грозные статьи  
На радость гимназистам.  
Он, как Ратклиф, наводит страх,  
Ничто ему Бетховен,  
И даже престарелый Бах  
Бывал пред ним виновен.  
И к русским мало в нем любви:  
О, сколько им побитых!  
Зачем, Эдвардс, твой меч в крови  
Сограждан знаменитых?

Ты, Афанасьев, молодец,  
И Кашперов наш «грозный»...  
И Фитингоф, Мазепы льстец,—  
Вам дань хвалы серьезной!  
О Сантис, ты попал впросак:  
Здесь опера не чудо,  
В страну, где действовал Ермак,  
Тебе б уйти не худо!  
О Бородин, тебя страна  
Внесла в свои скрижали:  
Недаром день Бородина  
Мы тризной поминали!

---

\* Намек на то, что Корсаков был назначен начальником всех морских оркестров.  
(Примеч. А. Н. Апухтина.)

О Рубинштейн! Ты подчас  
Задать способен жару:  
Боюсь, твой Демон сгубит нас,  
Как уж сгубил Тамару!  
Не голос будет наш страдать,  
А больше поясница:\*  
Легко ль по воздуху летать?  
Ведь баритон не птица!  
Но ты века переживешь,  
Враги твои — дубины;  
Нам это доказал Ларош,  
Создатель «Кармозины»!

И ты, Чайковский! Говорят,  
Что оперу ты ставишь,  
В которой вовсе не попад  
Нас в кузне петь заставишь!  
Погибнет в ней певца талант,  
Оглухнем мы от гула:  
Добро б «кузнечик-музыкант»,  
А то — «Кузнец Вакула»!  
Не обездоль нас, Петр Ильич,  
Ведь нас прогонят взащей:  
Дохода нет у нас «опричь»  
Того, что в глотке нашей!

Пока же, други, исполать  
Воскликнем дружно снова,  
И снова будем мирно спать  
Под звуки «Годунова».  
Один ты бодрствуешь за всех,  
Наш капитан-исправник,  
По темпу немец, родом чех,  
Душою росс — Направник!  
Подвластны все тебе, герой:  
Контральто, бас, сопрано,  
Смычок, рожок, труба, гобой.  
Ура! Опоковано!

1875

#### ДИЛЕТАНТ

Была пора: что было честно,  
Талантливо в родном краю,  
Сходилось дружески и тесно  
В литературную семью;

---

\* При постановке «Демона» говорили, что А. Г. Рубинштейн хотел, чтобы Демон все время летал на воздухе. (Примеч. А. Н. Апухтина.)

Назваться автором решался  
Тогда не всякий спекулянт...  
И как смешон для всех казался  
Уединенный дилетант!

Потом пришла пора иная:  
Россия встала ото сна,  
Литература молодая  
Ей оставалась верна:  
Добру, отчизне, мыслям чистым  
Служил писателя талант,  
И перед смелым публицистом  
Краснел ненужный дилетант!

Но всё непрочнo в нашем веке...  
С тех пор как в номере любом  
Я мог прочесть о Льве Камбеке  
И не прочесть о Льве Толстом,  
Я перестал седлать Пегаса —  
Милей мне скромный Росинант!  
Что мне до русского Парнаса?  
Я — неизвестный дилетант!

Я родился в семье дворянской  
(Чем буду мучиться по гроб),  
Моя фамилья не Вифанский,  
Отец мой не был протопоп...  
О хриях, жупеле и пекле  
Не испишу я фолиант,  
Меня под праздники не сёкли...  
Что ж делать мне, я дилетант!

Я нахожу, и в том виновен,  
Что Пушкин был не идиот,  
Что выше сапогов Бетховен  
И что искусство не умрет,  
Чту имена (не знаю, кстати ль),  
Как, например, Шекспир и Дант...  
Ну, так какой же я писатель?  
Я дилетант, я дилетант!..

На площадях перед народом  
Я в пьяном виде не лежал,  
Стрижом, лукошком, бутербродом  
Своих противников не звал;  
Болезнью, брюхом или носом  
Их не корил, как пасквилянты,  
И не входил о них с доносом...  
Я дилетант, я дилетант!..

В грехе покаюсь сугубом  
(Хоть не легко сознаться в том):  
Знаком я с графом Соллогубом  
И с князем Вяземским знаком!..  
Не подражая нравам скифов,  
Белье меняю, хоть не франт...  
Мне не родня Гиероглифов...  
Я дилетант, я дилетант!..

Я не ищущ похвал текущих  
И не гонюсь за славой дня,  
И Лонгинов веков грядущих  
Пропустит, может быть, меня.  
Зато и в списке негодяев  
Не поместит меня педант:  
Я не Булгарин, не Минаев...  
Я, слава богу, дилетант!..

*Начало 1870-х годов*

#### ЭПИГРАММА

Тимашев мне — *ni froid, ni chaud\**,  
Я в ум его не верю слепо:  
Он, правда, *лепит* хорошо,  
Но министерствует *нелепо*.

*1870-е годы*

#### К НАЗНАЧЕНИЮ В. К. ПЛЕВЕ

Знать, в господнем гневе  
Суждено быть тако:  
В Петербурге — Плеве,  
А в Москве — Плевако!

*Между 1881 и 1884*

#### НАДПИСЬ НА СВОЕМ ПОРТРЕТЕ

Взглянув на этот отощавший профиль,  
Ты можешь с гордостью сказать:  
«Недаром я водил его гулять  
И отнимал за завтраком картофель».

*22 марта 1884*

---

\* ни холодно, ни жарко (*фр.*).

## ПОСЛАНИЕ

ГРАФУ А. Н. ГРАББЕ  
ВО ВРЕМЯ ЕГО КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ  
НА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ЯХТЕ «ТАМАРА»

Княжна Тамара, дочь Гудала,  
Лишившись рано жениха,  
Простой монахиною стала,  
Но не спаслася от греха.  
К ней по причине неизвестной  
Явился демон — враг небес —  
И пред грузинкою прелестной  
Рассыпался как мелкий бес.  
Она боролась, уступая,  
И пала, выбившись из сил...  
За это ангел двери рая  
Пред ней любезно растворил.

Не такова твоя «Тамара»:  
С запасом воли и труда  
Она вокруг земного шара  
Идет бесстрашна и горда;  
Живет средь бурь, среди тумана,  
И, русской чести верный страж,  
Несет чрез бездны океана  
Свой симпатичный экипаж.  
Британский демон злобой черной  
Не нанесет ущерба ей  
И речью льстивой и притворной  
Не усыпит ее очей.  
Ей рай отчизны часто снится,  
И в этот рай — душой светла —  
Она по праву возвратится  
И непорочна, и цела.

*12 декабря 1890*

## П. ЧАЙКОВСКОМУ

К отъезду музыканта-друга  
Мой стих минорный тон берет,  
И нашей старой дружбы fuga,  
Всё развиваяся, растет...

Мы увертюру жизни бурной  
Сыграли вместе до конца,  
Грядущей славы марш бравурный  
Нам рано волновал сердца;

В свои мы верили таланты,  
Делились массой чувств, идей...  
И был ты вроде доминанты  
В аккордах юности моей.

Увы, та песня отзвучала,  
Иным я звукам отдался,  
Я детонировал немало  
И с диссонансами сжился;

Давно без счастья и без дела  
Дары небес я растерял,  
Мне жизнь, как гамма, надоела,  
И близок, близок мой финал...

Но ты — когда для жизни вечной  
Меня заруют под землей,—  
Ты в нотах памяти сердечной  
Не ставь бекара предо мной.

1893 (?)





**ПРОЗА**









## НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

В те времена, когда из Петербурга по железной дороге можно было доехать только до Москвы, а от Москвы, извиваясь желтой лентой среди зеленых полей, шли по разным направлениям шоссе в глубь России,— к маленькой белой станции, стоящей у въезда в уездный город Буяльск, с шумом и грохотом подкатила большая четырехместная коляска шестерней с форейтором. Вероятно, эта коляска была когда-то очень красива, но теперь являла полный вид разрушения. Лиловый штоф, которым были обиты подушки, совсем вылинял и местами порвался; из княжеского герба, нарисованного на дверцах, осталось так мало, что самый искусный геральдик затруднился бы назвать тот княжеский род, к прославлению которого был изображен герб. Старый, осанистый кучер был одет, несмотря на лето, в армяк зимнего покроя, а в должности форейтора состоял дюжий парень в красной рубахе и лаптях. Лошади были разнокалиберные, сбруя сборная, кое-где торчали веревки. Лакей в ливрее и картузе сидел на местечке, приделанном сзади коляски. На крыльце станции черноволосый человек в белом нанковом сюртуке, приложив руки ко лбу в виде зонтика, всматривался в подъезжавший экипаж. Это был смотритель, обруселый еврей, известный всей округе своим искусством делать кулебяки и какие-то необыкновенные битки в сметане.

— Матушка, ваше сиятельство, по какому случаю пожаловать изволили? — подобострастно залепетал он, сбегая с крыльца и помогая лакею отворить коляску.

Не без труда оттащили они общими усилиями разбухшую дверцу и вынули из коляски пожилую тощую даму, с усталым и недовольным видом. Впрочем, с первого взгляда никак нельзя было определить ее лет. И лицо, и прическа, и платье — все в ней как-то вылиняло и потерялось. Только большие черные глаза говорили о прежней красоте.

— Здравствуй, здравствуй, Абрамыч,— отвечала она, с трудом попадая ногами на ступеньки коляски,— сына встретить приехала. Ведь мальпост<sup>1</sup> еще не пришел?

— Никак нет, ваше сиятельство, с минуты на минуту ожидаем; пожалуйте на станцию.

Вслед за пожилой дамой легко и грациозно выскочила из коляски молодая девушка в розовом ситцевом платье. Ей было лет шестнадцать; она, видимо, еще не вполне сложилась, черты лица были неправильны, румяный загар покрывал ее смуглые щеки. Глаза — большие и черные, такие же, как у пожилой дамы, смотрели далеко не по-детски.

Было жаркое июльское утро. Комната, в которую вошли путешественницы, украшалась двумя жесткими диванами, обитыми черной кожей; перед каждым диваном стоял стол из карельской березы; в простенке висело большое зеркало, сверху донизу исцарапанное проезжающими. Несмотря на отворенные окна, было невыносимо душно; целые мириады мух жужжали кругом и нисколько не смущались тем, что на каждом окне стояла тарелка с мухоморами.

— Ох, устала же я! — говорила княгиня, опускаясь на диван,— ты, Соня, как хочешь, а я подремлю немножко. Да вот что, Абрамыч: ты нам к приезду мальпоста биточков приготовь, да побольше, а то Сережа с дороги проголодается. Ты моего Сережу не узнаешь — совсем большой стал. Шутка ли, зимой уж выйдет из лица, чиновник будет.

— Будьте покойны, ваше сиятельство, голодными не отпустим.

Абрамыч пошел распоряжаться; княгиня задремала. Соня вышла на крылечко и, усевшись под тенью навеса, вынула из кармана маленькую книжку. Это был один из французских романов, которые Соня систематически выкрадывала из отцовской библиотеки. С жадностью начала она читать; некоторые страницы так ей нравились, что она останавливалась и перечитывала их снова. Время от времени она сходилась с крылечка и пытливо всматривалась в дорогу. Она с нетерпением ждала брата: он был ее единственным другом и поверенным всех ее тайн. Они ничего не таили друг от друга и даже переписывались особенным условным языком... Жар усиливался. Кругом все окончательно замерло и заснуло. Только несколько белесоватых кур неумолимо клевали что-то посреди дороги; между ними важно прогуливался большой петух и по временам пронзительно выкрикивал.

Прошло более часа. Старый ямщик, с кнутом в руке, подошел к Соне.

— Взгляните-ка, барышня, на «сошу»: кажись, дилижанец идет. У меня глаза плохи стали, не разберу.

С горы медленно спускалась какая-то черная масса.

— Он, он и есть! — повторил ямщик,— надо ребят будить.

Станция зашумела. Соня, осторожно спрятав книгу в карман, разбудила мать, которая, жалуюсь на усталость, выплыла на крылечко. Через несколько минут раздался трубный звук, и совсем заморенные лошади подвезли тяжелую почтовую карету.

— А вот и Сережа! — вскрикнула Соня, выбегая на дорогу.

Из наружных мест мальпоста вылезала лицейская фуражка. Лица нельзя было разглядеть — до того оно было покрыто густым слоем пыли. В два прыжка Соня очутилась около лицеиста, обвила его шею руками и звонко поцеловала в губы. Потом она отшатнулась, едва не упала с приступки и, прошептав: «мамочка, это не он!» — убежала на станцию. Лицеист, вытирая почти черным платком лицо, остановился на полдороге в величайшем смущении. Замешательство его было так велико, что он уже занес одну ногу назад, чтобы спрятаться на прежнее место. Княгиня остановила его.

— Молодой человек, простите мою ветреницу: она вас приняла за брата. Ну, что же вы стоите на приступке? *Descendez donc à la fin!* \* Разве мой сын, князь Брянский, не приехал с вами?

— Извините меня, княгиня,— забормотал бедный лицеист, решившийся, наконец, спуститься на землю: — я так запылен... Сережа, то есть, виноват, Брянский, не достал места в мальпосте и решил с одним товарищем ехать на перекладной...

— А! Это, верно, с Горичем? Сережа писал, что привезет его в деревню. А ваша как фамилия?

— Угаров, я товарищ вашего сына и Горича.

Между тем они вошли в станционный дом.

— Соня, рекомендую тебе: Угаров, товарищ Сережи... Как имя и отчество?

— Владимир Николаевич.

Соня, еще не оправившаяся от постигшей ее катастрофы, церемонно присела, но в то же время пытливо всматривалась в вошедшего. Среднего роста и довольно плотный лицеист был очень некрасив собой. Непричесанные белокурые волосы торчали на голове какими-то вихрами, липкая пыль лежала пластами на лице, глаза — добрые, но красивые, выражение лица было симпатично и в ту минуту глубоко несчастно. Княгиня не переставала допекать его.

— Позвольте, молодой человек, вы говорите, что сын мой решил ехать на перекладной, но в таком случае он был бы здесь раньше вас. Отчего же его нет?

— Вот видите, княгиня,— оправдывался Угаров,— Сережа и Горич встретили в Москве одну знакомую, то есть, виноват, одного знакомого, и согласились вместе обедать, а из Москвы выехать в ночь...

— Да, знаю я этих знакомых! — процедила сквозь зубы княгиня,— теперь застрянет в Москве на несколько дней.

Разговор замолк. Всем было неловко.

В это время появился в дверях Абрамыч с блюдом битков.

— С приездом, честь имею поздравить,— громко пробасил он и, обратясь к Соне, прибавил: — ну, и молодец же ваш братец — весь в вас.

Соне показалась так смешна мысль, что этот безобразный лицеист похож на нее, что она не выдержала и громко расхохоталась. Княгиня также кисло засмеялась и предложила Угарову позавтракать. При этом она спросила его, не сын ли он бывшего медлянского

---

\* Спускайтесь же, наконец! (*фр.*)

предводителя, и заявила, что с матушкой его встречалась когда-то на выборах, а с отцом была хорошо знакома.

Вообще с приездом мальпоста княгиня оживилась. Она подозвала к окну седенького старичка-кондуктора с сумкой через плечо и потребовала у него список пассажиров. Все внутренние места кареты были взяты «под генеральшу Кублицеву», которая ехала вдвоем с компаньонкой. Компаньонка эта — толстая, красная девица, изнемогавшая под тяжестью голубого шерстяного платья, не замедлила появиться на станции и заказала лимонад для генеральши. Княгиня поговорила и с ней, назвала себя и даже выразила желание повидаться с почтеннейшей Анной Ивановной Кублицевой, с которой она была давно знакома. На это предложение компаньонка только замахала руками.

— Нет, ваше сиятельство, это никак, никак невозможно: вот уж четвертую станцию Анна Ивановна находятся в очень нервном состоянии; я даже доложить не смею.

И, подтвердив распоряжение о лимонаде, она торопливо направилась к спущенным шторам кареты. В наружных местах, рядом с Угаровым, значился надворный советник Придошенский.

— Ах, боже мой! — воскликнула княгиня, — да это Тимофеич... Где же он?

Оказалось, что Придошенский спал в мальпосте, и княгиня приказала немедленно разбудить его.

Между тем биточки стыли на столе, и никто до них не дотрогивался.

— Ваш товарищ Горич... — заговорила Соня, — скажите, какой он человек?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, княжна, — о нем самые различные мнения. Во всяком случае, он очень, очень умен.

— А он красив собой? Кто лучше: он или Сережа?

— Красивее Сережи у нас никого нет. Сережа очень похож на вас.

— Вот как! вы уже говорите мне комплименты.

Угаров покраснел как рак. Он и не воображал, что говорит комплимент. Замечание это вырвалось у него совершенно искренно.

На выручку ему явился Придошенский. Заспанный и грязный, с заплывшим лицом и сизым носом, он был верным снимком приказного допотопных времен. Когда-то он был заседателем змеевской гражданской палаты, сколотил на этом месте порядочный капиталец, вышел в отставку и был известен по всей Змеевской губернии как искусный ходатай и нужный человек по всевозможным делам.

— Хорош Тимофеич! — говорила, смеясь, княгиня, — чуть не проспал нас.

— Мог ли я ожидать встретить здесь мою повелительницу? — завопил сиплым басом Тимофеич и подошел к ручке к княгине, потом к Соне.

— А мне как раз нужно дать тебе маленькое поручение в Змеев...

Но оказалось, что у княгини был для Тимофеича целый ворох поручений. Он должен был поговорить с купцом Лаптевым о процентах, взыскать с купца Авилова деньги за овес, передать преосвящен-

ному Никанору жалобу княгини на благочинного, выведать в губернаторской канцелярии, когда губернатор поедет на ревизию в Буяльск и не заедет ли он к ней, в Троицкое, зайти в кондитерскую к Мальвинше и заказать ей десять фунтов конфет к Ольгину дню, да чтоб Мальвинша туда побольше помадки положила, и т. д., и т. д. Придошенский только пыхтел и завязывал узелки на своем огромном клетчатом платке, от которого так и разило табаком и спиртом.

За другим столом разговор, видимо, оживился.

— Как странно мы с вами познакомились, Владимир Николаевич! — говорила Соня, щуря глазки. — Но это, может быть, к лучшему. Так скучно все, что обыкновенно. Ведь вы на меня не рассердились?

— Помилуйте, княжна, могу ли я за это сердиться?

— Ну, а если не сердитесь, исполните одну мою просьбу. Оставайтесь здесь и поедemте с нами в Троицкое.

— Этого я никак не могу сделать.

— Отчего?

— Оттого, что матушка ждет меня и, вероятно, выедет навстречу ко мне в Медлянск.

— А где это Медлянск? Далеко отсюда?

— Около ста верст, это за Змеевом.

— Ну, так вот что: в Ольгин день мамины именины, и у нас бывает много гостей. Обещайте, что к этому дню вы непременно к нам приедете.

— О, это с величайшим удовольствием, если только княгиня мне позволит...

— А вы очень любите вашу матушку?

— Да, очень: я никого не любил так, как ее.

— И вы уверены, что это всегда так будет, что вы никого не полюбите больше ее?

Угаров подумал немного и сказал:

— Да, совершенно уверен.

Соня хотела еще что-то сказать, но в это время под окнами раздался гневный голос голубой компаньонки.

— Генеральша приказала спросить, — приставала она к кому-то, — что это значит? Лошади давно заложены, а мы не двигаемся... Анна Ивановна очень-очень сердятся и непременно будут жаловаться...

Пришлось расставаться. Княгиня проводила Угарова до кареты и подтвердила ему приглашение побывать у них в Троицком. Когда кондуктор уже прилаживал свою трубу, чтобы дать сигнал к отъезду, княгиня вдруг неожиданно вскрикнула: «Стой, стой!» Оказалось, что она забыла дать Придошенскому какое-то очень важное поручение к губернскому землемеру. Княжна смотрела из окна на отъезжавшую карету и думала, что этот Угаров совсем не так дурен, как показалось ей в первую минуту. Княгиня вернулась в комнату совсем усталая и очень недовольная тем, что даже издали ей не удалось увидеть «эту дурищу Кублицеву, которая бог знает что о себе воображает...»

Через четверть часа после отъезда мальпоста к подъезду подкатила лихая тройка с колокольчиком и бубенцами. Соня не успела подбежать к окну, чтобы посмотреть, кто приехал, как уже очутилась

в объятиях брата. Вслед за Сережей вошел другой лицеист, небольшого роста брюнет, с изящными, хотя слишком самоуверенными манерами и насмешливым взглядом. Обнимая брата, Соня успела шепнуть ему: «Представь себе, Сережа, я сегодня поцеловала Угарова». Сережа не выразил никакого изумления, но, представив матери своего товарища, выскочил с сестрой на крыльцо, где долго шептался с ней. Они, видимо, спешили наскоро сообщить друг другу важнейшие секреты. Княгиня тем временем расспросила Горича о всех его родных. С отцом его — лицейским профессором — она познакомилась, когда отдавала Сережу в лицей. Опять появился Абрамыч со свежими биточками, которые на этот раз имели полный успех. Сейчас же приказано было закладывать лошадей, но кучер куда-то скрылся, и его долго не могли найти. Потом явилась необходимость двух лошадей подковать, потом вздумалось княгине пить чай в городском саду, потом послали форейтора верхом на почту узнать, нет ли писем. Наконец, коляска была подана. Подсаживая княгиню, Абрамыч шепнул ей:

— А за кушанье и за корм лошадей прикажете в счет записать?

— Конечно, в счет,— отвечала княгиня совсем усталым голосом,— когда пришьешь в Троицкое за маслом и мукой, тогда сосчитаемся.

В заключение произошла долгая борьба с дверцей. Несмотря на соединенные усилия всего общества, она ни за что не хотела захлопнуться, так что пришлось привязывать ее веревками. Почти уже стемнело, когда знаменитый рыдван съехал с шоссе на проселочную дорогу, по направлению к селу Троицкому, до которого от станции было, по мнению княгини, «верст пятнадцать и никак не больше восемнадцати», а по мнению Абрамыча — «двадцать пять с хвостиком».

## II

Угаров уселся на свое место совсем ошеломленный встречей с Соней. Влюбчивый от природы, он уже в течение трех лет любил свою соседку, Наташу Дорожинскую, дочь медянского предводителя. Слова: в течение трех лет — надо понимать буквально, т. е. он влюблялся в нее только летом, а зимой он как-то забывал ее и усердно ухаживал за разными петербургскими барышнями, с которыми ему приходилось встречаться. В последнюю зиму он особенно часто бывал у своего товарища Миллера, и сестра его, голубоглазая и сентиментальная Эмилия, сразу ему приглянулась. Они вместе читали стихи, играли в четыре руки на фортепиано и говорили о любви. Весной, готовясь к экзамену вместе с Миллером, Угаров раза три украдкой поцеловал пухленькую ручку Эмилии, вследствие чего решил, что он действительно влюблен. На прощание Эмилия подарила ему закладку для книг: по черному фону она разными шелками вышила слово «Souffrance»\*.

\* Страдание (фр.).

Эту закладку Угаров не решался уложить в чемодан, а держал в кармане куртки и на железной дороге несколько раз прижимал ее к сердцу. В Москве, пересев в мальпост, он невольно вспомнил свое прошлогоднее путешествие, и Наташа Дорожинская начала понемногу чередоваться в его воображении с Эмилией. Встреча с СонеЙ вытеснила обеих, и Угаров, глядя на спящего Придошенского, старался вспомнить и шептал все слова, сказанные княжной. Он чувствовал ее горячий поцелуй на своих губах, хотя и повторял про себя, что поцелуй этот был предназначен для другого и никогда не повторится.

Придошенский, проснувшись, конечно, сейчас же заговорил о семействе Брянских. Он осыпал их всех большими похвалами, но похвалы его как-то более относились к прошедшему. Князь Борис Сергеевич Брянский был когда-то очень умный человек и хороший генерал, но лет шесть тому назад его разбил паралич, и он теперь живет только в тягость и себе и другим. Княгиня Брянская, из рода Карабановых, когда-то была первой красавицей в губернии, но так как Господь одарил ее хорошей памятью, то она «этой своей прежней красоты никак забыть не может». Состояние у них когда-то было огромное, но со времени болезни князя сильно порасстроилось. «Ну, что бы им дать мне полную уверенность! — прибавил он с наивной откровенностью. — Я бы, конечно, поживился, но и у них дохода было бы не меньше прежнего». Кроме Сережи и Сони, у Брянских была еще старшая замужняя дочь, Ольга, красавица и любимица князя. Муж ее, гусар Маковецкий, был «прекрасный человек, даром что поляк», но в последние годы, получая меньше содержания от князя, пустился в игру и разные аферы. О Сереже Тимофеич сказал: «Ну, этого вы знаете лучше меня!» — а о Соне выразился так: «Вот с княжной Софьей Борисовной попробуйте сто лет в одном доме прожить, и то не раскусите. В Древней Греции девиц таких сфинксами называли». И, очень довольный высказанной им эрудицией, Придошенский вынул из табакерки огромную щепотку «цареградского».

Верст за десять не доезжая до Змеева, мальпост остановился у маленького мостика, соединявшего шоссе с широкой проселочной дорогой, обсаженной раkitами. За мостом стояла карета генеральши Кублицевой, и громадный дом ее, с зеленым куполом, виднелся на горе. Ее сын, молодой, но уже почти лысый полковник, в флигель-адъютантском сюртуке, почтительно держа в руке фуражку, отворил дверцу кареты. Анна Ивановна поздоровалась с ним сухо и, подозревая стоявшего поодаль приказчика, начала распекать их таким зычным голосом, которого никак нельзя было ожидать от слабой и нервной дамы. «Вот как вы меня бережете и покоите! — кричала она, — в самый день отъезда я узнаю, что дормез<sup>2</sup> сломан, и мне пришлось прожить лишних два дня в Москве, а потом ехать в этом мерзком ковчеге и еще черт знает с кем». При этом ее гневный взор скользнул по наружным местам, а Придошенский, толкнув Угарова в бок, прошептал ему: «Вот и нам с вами перепало». Наконец, бесчисленные сундучки и узлы были вынесены из кареты, и Анна Ивановна, несколько успокоившись, начала вылезать из мерзкого ковчеге.

В это время голубая компаньонка сочла нужным вмешаться в разговор, и хотя речь ее клонилась как бы в пользу приказчика, но красное приказчище лицо при первых звуках ее голоса выразило сильнейшее беспокойство:

— Осмелюсь доложить вам, Анна Ивановна, что Прокофий в дормезе не виноват, он еще осенью об этом писал. Тоже вот насчет того архитектора...

— Ах, да, я забыла об архитекторе. Как ты смел...

Снова разразилась буря, но мальпост в это время тронулся, а Придошенский, высунувшись из своего места, произнес вполголоса: «Прощай, матушка, спасибо тебе, что ты и нас, бедных странников, внесла в свое поминанье».

В Змееве Придошенский вышел, обещав навестить своего спутника в течение лета. Оставшись единственным путешественником, Угаров, по предложению кондуктора, перешел в карету, всю пропитанную запахом одеколона и разных лекарств, отворил окна и заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, солнце уже зашло. Вместо лекарственного воспоминания о генеральше Кублищевой, в окна кареты врвался свежий вечерний ветерок, внося с собою сильный запах смолы. Карета ехала между двумя стенами густого леса. Угаров знал, что, только что этот лес кончится, до Медлянска останется не более двух верст. Теперь никаких любовных мечтаний у него не было — все мысли были заняты предстоящим свиданием с нежно любимой им матерью. Подъезжая к станции, он высунулся из окна, надеясь, как всегда, увидеть ее на крылечке. Но ее не было, только старый его слуга, Андрей, с письмом в руке торопливо подходил к мальпосту.

— Что матушка? здорова? — закричал Угаров, выскакивая из кареты.

— Не так-то здоровы, батюшка Владимир Николаевич, с приездом имею честь поздравить, — говорил Андрей, подавая ему письмо и целуя на лету его руку.

Письмо было от тетки Угарова — Варвары Петровны, жившей с его матерью. Она писала:

«Милый Володя, прежде всего не пугайся. Мари не совсем здорова, и я уговорила ее не ехать на станцию. Пожалуйста, если найдешь в ней какую-нибудь перемену, не говори этого при ней. Твоя Варя».

Тарантас, запряженный тройкой, стоял у подъезда. Угаров быстро перенес в него, с помощью Андрея, свой чемодан и, усевшись в тарантасе, велел ехать как можно скорее. Лошади помчались. Страшная тоска сжимала ему сердце. В первый раз случилось, что мать не выехала к нему навстречу; он знал, что только серьезная болезнь могла остановить ее. Больше же всего пугали его слова записки: «не пугайся». «Верно, меня готовят к большому несчастью, — думал он. — Что, если ее уже нет в живых?» Воображение его разыгрывалось, и, проехав верст шесть, он уже представлял себе, как найдет ее в зале на столе. Несколькими раз пытался он допрашивать Андрея, но от этого выжившего из ума, хотя преданного человека не мог добиться никакого толка: «больны-то больны, только не



совсем», — твердил он. Подъехав к «капитанскому» мосту, тарантас остановился.

— Извольте выходить, Владимир Николаевич! Я Марье Петровне перед образом побожился, что не повезу вас в тарантасе через мост.

Угаров нехотя повиновался. Мост этот назывался «капитанским», потому что лет сорок тому назад на нем провалился и утонул какой-то капитан; с тех пор его много раз строили вновь, но никак не могли построить порядочно: он дрожал даже под ногами пешехода. Божба перед образом, о которой рассказал Андрей, несколько успокоила Угарова. «Значит, матушка жива», — подумал он. От капитанского моста оставалось пять верст. Вот миновали они бесконечно тянувшееся казенное село Городище, казавшееся очень красивым при лунном освещении; вот и дубовая роща, после которой начинались владения Угарова. Теперь каждый куст, каждая извилина дороги были ему знакомы, но на всем лежал, как ему казалось, зловещий отпечаток. Большие деревья сада бросали на светлую дорогу какие-то исполинские, причудливые тени; окна большого дома как-то вопрошительно взглянули на него с крутой горы. Едва отвечая на приветия встречавшей его дворни, Угаров быстрыми шагами вбежал в залу, в которую из противоположных дверей входила высокая женщина в белом ночном капоте. Угаров едва не вскрикнул — до того осунулись и изменились черты его матери.

— Ну, что, Володя? Очень я переменялась? — говорила она, судорожно сжимая его в объятиях.

— Нет, мама, ничего, очень мало! — лепетал он, едва удерживая рыдания.

— Ну, а теперь, Мари, спать! — властным голосом заговорила тетя Варя, на руку которой опиралась больная. — Петр Богданыч позволил тебе встретить Володю с условием, чтобы ты сейчас же шла спать; завтра вдоволь наговоритесь.

— Да, да, я пойду, а ты, дружок мой, скушай что-нибудь, ты, верно, проголодался в дороге.

В столовой был приготовлен целый ужин, но Угаров не мог есть. Уложив больную, тетя Варя пришла к нему и рассказала ему подробно о болезни Марьи Петровны. Она заболела довольно серьезно с месяц тому назад, но запретила писать об этом Володе, «чтобы не помешать его экзаменам». Потом она начала выздоравливать, но в последние дни ей опять сделалось хуже. По ночам она не могла спать и не переставала говорить о том, что с Володей во время дороги должно случиться какое-нибудь несчастье; особенно беспокоилась она в этот последний день. После получасового разговора тетя Варя вышла и, вернувшись с известием, что больная спит совсем хорошо, убедила Володю съесть цыпленка и выпить чаю. Долго еще беседовала она с племянником, потом проводила его в «детскую», заново отделанную к его приезду. Оставшись один, Угаров бросился на колени и начал горячо молиться. Очень набожный в детстве, он теперь считал себя неверующим и давно уже не молился: он и теперь не знал, кого и о чем он молит, но какое-то неизъяснимо-отрадное чувство проникло в его душу после молитвы. Угаров сам удивился этому чувству, которого

он бы не мог испытать в Петербурге, которое было возможно и уместно только здесь, в этом старом доме, в этой комнате, где он так много и горячо молился ребенком, где из каждого угла на него смотрело его чистое, невозвратно минувшее детство...

### III

Марья Петровна Угарова была очень счастливая и в то же время очень несчастная женщина. Обстоятельства ее жизни складывались довольно удачно. Дочь небогатого, хотя и заслуженного генерала Дорожинского, она одна из сестер попала в Смольный монастырь, где окончила курс с шифром<sup>3</sup>. Не будучи красивой, она имела необычайный дар всем нравиться и уже не первой молодости сделала, как говорится, «блестящую» партию. Муж ее, Николай Владимирович Угаров, был очень добрый и очень богатый человек, любивший ее без памяти. Несчастье же ее заключалось в том, что она жила не действительной, а какой-то эфемерной, мечтательной жизнью. Дни ее катились светло и ровно, но она всегда умела выдумать какое-нибудь горе и терзаться им. Так, например, она была уверена в безграничной любви мужа, а между тем измучила вконец и его и себя нелепой ревностью. Однажды она чуть не сошла с ума от горя, найдя случайно в бумагах мужа какое-то любовное письмо, полученное им за десять лет до женитьбы. Люди, ее знавшие, думали, что смерть Николая Владимировича убьет ее наверное, но, к их удивлению, Марья Петровна перенесла этот удар сравнительно спокойно. Те, которые живут постоянно в воображаемом горе, легче переносят настоящее. Марья Петровна столько раз представляла себе болезнь и смерть мужа в то время, как он был совсем здоров, что грозная действительность не удивила ее, а только еще более убедила в несомненности ее предчувствий. Угаров еще при жизни перевел на имя жены все свое огромное состояние, а потому после его смерти Марья Петровна очутилась в очень затруднительном положении, ничего не понимая ни в хозяйстве, ни в ведении дел; но тут провидение послало ей неожиданную помощь в лице сестры ее, Варвары Петровны. Очень схожие между собою лицом, сестры представляли, по своим внутренним свойствам, совершенною противоположность. Насколько одна парила в небе, настолько другая твердо жалась к земле. Привыкнув с детства управлять домом и небольшим имением отца, Варвара Петровна осталась старой девой и по смерти Угарова переехала жить к сестре. Мало-помалу она забирала в руки бразды правления и через год неограниченно властвовала над сестрой и всем ее имуществом. Она сама объезжала многочисленные угаровские поместья, рассеянные по разным губерниям, входила во все мелочи, сменяла приказчиков, быстро понявших, с кем они имеют дело, и в несколько лет настолько увеличила доходы сестры, что могла без угрызений совести принять от нее в подарок небольшую деревушку Жохово, которую та купила ей в семи верстах от Угаровки. Варвара Петровна переименовала Жохово — в Марьяин-Дар и деятельно занималась постройкой в нем дома и разведением сада.

Сдав все заботы по имению сестре, Марья Петровна исключительно занялась воспитанием своего единственного семилетнего сына. Она любила его такой страстной и беспокойной любовью, что чувство это сделалось для нее новым источником непрерывного горя. Каждый его шаг казался ей рискованным, в его будущем она видела один длинный ряд опасностей всякого рода. Эта постоянная нервность неволью сообщалась мальчику, но и тут помогло благотворительное, отрезвляющее влияние Варвары Петровны. По ее настояниям и после долгой борьбы Марья Петровна решилась поместить сына в лицей. Поездка ее для этого в Петербург и разлука с сыном составляли самую яркую и грустную эпопею ее жизни. При ее большом состоянии ей, конечно, было легко переселиться в Петербург, но странно, что мысль покинуть свое насиженное гнездо даже ни разу не пришла ей в голову. Чуть не обезумев от горя и страха за Володю, вернулась она в свою Угаровку и посвятила себя самой широкой деревенской благотворительности. Два раза в неделю она получала письма от сына, и вся внутренняя жизнь ее проходила в ожидании и перечитывании этих писем. В течение шести лет она привыкла к разлуке с Володей, но опасения за его будущее усиливались с каждым годом...

На другой день после приезда Угаров был разбужен громким голосом уездного доктора, старого друга их дома.

— Ну, молодец Володька, нечего сказать! — кричал Петр Богданьч, стаскивая с него одеяло. — Приехал на каникулы, чтобы у меня хлеб отбивать! Да ты с одного визита так помог матери, что мне и ездить к ней не нужно... Она и ночь проспала отлично, и теперь чай пьет на балконе. Этак ты у меня всю практику отобьешь!

Пока Угаров умывался и одевался, доктор рассказывал ему весь ход болезни Марьи Петровны.

— Я всегда говорил, что ничего серьезного не было. Правда, около печенки есть кое-какие беспорядки, но главное дело в нервах и воображении. Старайся только, чтобы она чем-нибудь не расстроилась — другого лечения не нужно.

Марья Петровна сидела на балконе, в большом кресле, обложенном подушками. Лицо ее было бледно, но выражало счастливое настроение людей, чувствующих, что они выздоравливают. Доктор представил Володю, как своего ассистента, которому он сдает больницу, и, объявив, что у него есть более серьезные больные, уехал. Среди рассказа об экзаменах и путешествии Володя вспомнил о встрече в Буяльске, а при этом воспоминании вдруг что-то жгучее кольнуло его в сердце. Он передал матери поклон княгини Брянской и спросил, что это за женщина.

— Ну, что, бог с ней! — сказала Марья Петровна.

Володя знал, что в устах его матери эта фраза была самым сильным осуждением, и потому промолчал о своем намерении ехать в Троицкое. Зато он очень распространился об Эмилии, о которой его мать уже знала по его письмам. Он даже показал «Souffrance». При виде этого вышитого шелками страдания, Варвара Петровна разразилась гомерическим хохотом, а Марья Петровна, неволью улыбаясь, заметила:

— Ты всегда, Варя, смеешься над чувствами, а эта бедная девушка, может быть, в самом деле страдает.

Марья Петровна была всегда поверенным сердечных тайн своего сына и до некоторой степени им сочувствовала. Конечно, какое-нибудь серьезное увлечение преисполнило бы ее сердце ревностью, а когда ей приходила мысль о его женитьбе, это казалось ей хотя отдаленным, но чудовищным горем. Афанасий Иванович Дорожинский был ее двоюродным братом, а потому любовь Володи к его дочери, Наташе, не беспокоила Марью Петровну: брак между родственниками она признавала совершенной невозможностью.

Тихо и радостно катились дни для Угарова.

Вставал он поздно, Марья Петровна все утро бывала занята больными, стекавшими к ней в огромном количестве из окрестных сел и деревень. Она не только лечила их, но снабжала иногда бельем и деньгами, что больше всего способствовало ее медицинской популярности. Варвара Петровна ежедневно ездила в свой Марьин-Дар и возвращалась к обеду. Вечер все проводили вместе на балконе, откуда открывался широкий вид на окрестные леса и усадьбы; а если было сыро на воздухе, они усаживались в уютной диванной, любимой комнате Марьи Петровны, в которой она зимой привыкла коротать у камина свои длинные одинокие вечера. Варвара Петровна читала вслух какой-нибудь роман; только когда в трогательных местах она замечала, что в голосе ее прорывается слезливая нотка, она передавала книгу Володе, жалуясь на усталость. Более всего на свете она боялась, чтобы ее не заподозрили в чувствительности. А когда все в доме укладывались спать, Володя приказывал оседлать своего Фортунчика и уезжал на несколько часов далеко-далеко в поле. Эти часы он всецело посвящал Соне. Иногда она представлялась ему в привлекательных, но неясных чертах; но бывали минуты, когда он сознавал себя бесповоротно под властью этого нового, сильного чувства. Он был убежден, что все решится 11 июля, но — как устроить эту поездку? Сначала, во время болезни матери, он не решался говорить о предстоящем ему путешествии, чтобы не расстроить ее; но вот Марья Петровна совсем выздоровела, а Володя все не мог решиться. Случай помог ему.

Несколько раз Марья Петровна, гуляя по саду с сыном, начинала говорить: «А у меня к тебе, Володя, большая, большая просьба...», потом останавливалась и прибавляла: «нет, об этом как-нибудь после поговорим». Однажды, — это было уже в начале июля, — они сидели на балконе, в ожидании обеда. Тетя Варя, только что вернувшаяся из Марьиного-Дара, взглянув на сестру, сказала:

— А у тебя, Мари, глаза нехороши, ты опять дурно спала. Да скажи же ему наконец, что тебя беспокоит. Что за охота мучиться и молчать?

Володя воспользовался этим случаем и сказал, что у него также большая просьба к матери.

Тогда Марья Петровна решилась высказать опасение, мучившее ее несколько месяцев и, вероятно, бывшее одной из причин ее болезни.

Большая грозная туча войны со всех сторон надвигалась на Россию;<sup>4</sup> весной был объявлен новый рекрутский набор. В одном из писем Володя, говоря о патриотическом настроении, охватившем лицей, сказал, что все его товарищи, при первой возможности, полетят на защиту отечества. Из этих строк Марья Петровна заключила, что сын ее решился выйти в военную службу. Целый месяц она тщетно ждала, что Володя заговорит об этом, и, наконец, решилась сама просить его, чтобы он не губил ее старости, идя на верную смерть.

Володя сознался, что действительно у него было это намерение, что его уговаривали некоторые товарищи, особенно братья Константиновы — славные ребята, любимые всем классом, но что, во всяком случае, он не сделал бы такого важного шага без позволения матери. Кончилось тем, что он дал торжественное обещание выйти из лицея в гражданскую службу. Марья Петровна горячо обняла сына, говоря, что он целую гору свалил с ее души, и просила его поскорей сказать, в чем заключается его просьба, которая, конечно, будет исполнена.

— Видишь, мама,— начал Володя, чувствуя, что краснеет, а оттого еще более смущаясь,— мой товарищ и друг Брянский несколько лет уже приглашает меня приехать к нему в деревню, а теперь и княгиня пригласила меня на одиннадцатое июля. Я знаю, что ты меня не будешь удерживать, но, понимаешь, я поеду только тогда, когда ты мне скажешь, что решительно ничего, ничего против этого не имеешь...

При этих неожиданных словах что-то тревожное зашевелилось в сердце у Марьи Петровны, но она превозмогла это ощущение и спокойно отвечала:

— Конечно, поезжай, мой дружок; я даже рада, что ты рассеешься... Только вернись ко дню твоего ангела.

— Еще бы, мама, я вернусь двенадцатого, самое позднее — тринадцатого утром...

— Ну и отлично, что объяснилось! — воскликнула Варвара Петровна.— Теперь пойдемте обедать.

Но в это время раздался стук подъезжавшего экипажа, и на балкон, семена ножками, вбежала Наташа Дорожинская. Высокая, рыжая англичанка шла, едва поспевая за ней.

— Bonjour, ma tante! \* — лепетала Наташа, целуя руку у Марьи Петровны.— Хотя папá еще не вернулся из Петербурга, но мне так хотелось узнать о вашем здоровье, что я уговорила мисс Рэг приехать к вам сегодня. Вы нам позволите остаться?

— Какой смешной вопрос, Наташа, ведь мы не чужие! — обиженным голосом отвечала Марья Петровна, очень строгая в вопросе родственных отношений.

— Bonjour, ma tante! — продолжала Наташа, обращаясь к Варваре Петровне несколько холоднее, потому что знала, что та ее недолюбливает.— Bonjour, mon cousin! \*\* — сказала она уже совсем холодно Володе и протянула ему один палец.

---

\* Здравствуйте, тетушка! (фр.)

\*\* Здравствуйте, кузен! (фр.)

Холодность к Володе была наказанием за то, что он в целый месяц не собрался приехать к Дорожинским.

Наташа была небольшого роста, довольно полная блондинка и с первого взгляда могла показаться хорошенькой, но, проведя с ней целые сутки, вы на другой день могли не узнать ее: до того все черты лица ее были неопределенны и бесцветны. Маленькие глазки, которые она то шурила, то вскидывала вверх, уже начали заплывать легким жиром. Ее речь, походка, выражение лица,— все состояло из каких-то недомолвок и намеков.

Обед прошел вяло. Мисс Рэг, видимо, на что-то негодовала, и хотя она умела с грехом пополам говорить по-французски, но на все обращенные к ней вопросы отвечала какими-то односложными междометиями. Наташа продолжала убивать Володю холодностью, беспрестанно вскидывала на него своими маленькими глазками, а встретив его взор, немедленно отворачивалась. Тем не менее тотчас после обеда она предложила ему пойти вместе к пруду, чтобы посмотреть, как принялись молодые липки. На полдороге, у большого клена, она остановилась и, сев на скамью, сочла своевременным начать объяснение.

— Вот и правду говорят, *mon cousin*, что времена переменчивы. Прежде, бывало, вы на другой день приезда были у нас, а теперь...

Угаров стоял перед ней и в душе совершенно соглашался с ее мнением о переменчивости времени. Сколько раз на этой самой скамейке он клялся ей в вечной любви, а теперь он смотрел на нее и никак не мог понять, что ему могло в ней нравиться. Он, конечно, начал оправдываться болезнью матери.

— Это правда, но теперь *ma tante* здорова, приезжайте к нам в день именин моей крестницы Ольги, к этому дню и папá вернется...

— Я бы с удовольствием приехал, но как раз в этот день я обещал быть на именинах у одного товарища по лицую...

— Вот как! Я и не знала, что у нас по соседству завелись лицеисты, да еще такие, которые бывают именинниками в Ольгин день. Кто же этот товарищ?

— Товарищ этот — Брянский, то есть не он именинник, а его мать — княгиня Брянская.

— Вы как-то путаетесь в ответах; но все это вы мне объясните дорогой. Ведь мы поедем верхом в дубовую рощу? Я привезла амазонку. Велите оседлать лошадей.

Угаров с грустью пошел делать распоряжение о лошадях, но мисс Рэг выручила его, решительно запретив прогулку верхом. Наташа пробовала взять ее кротостью, потом начала возвышать голос, но англичанка вдруг разразилась таким потоком шипящих и свистящих слов, что амазонка притихла и смирилась. После этого прошло еще несколько томительных часов. Мисс Рэг окончательно вознегодовала, не произносила никаких междометий и с упорным презрением смотрела на клумбу георгинов и душистого горошка. Наташа без умолку рассказывала о том, как ее отец богатеет ежегодно и какие он изобре-

тает улучшения по хозяйству. Тетя Варя изредка ее останавливала и слегка язвила. Марья Петровна и Володя почти не принимали участия в разговоре, но они так были счастливы своими утренними разговорами, что даже и не испытывали скуки. А все-таки, когда они, проводив Наташу до экипажа, уселись в диванной, вздох облегчения вырвался у них одновременно.

— Ах, как хорошо без гостей! — воскликнула Варвара Петровна и, придвинув к себе лампу, вынула из своего объемистого кармана небольшой томик «Давида Копперфильда»<sup>5</sup> во французском переводе.

#### IV

Десятого июля в десятом часу вечера Угаров подъезжал к ярко освещенному дому села Троицкого. Молодой, проворный казачок, встретивший его у подъезда, повел его в отдельный флигель, где помещался Сережа. Угаров тщательно вымылся, причесался, надел мундир и чистые перчатки и с замиранием сердца отправился в большой дом. Он попросил доложить о нем княгине или вызвать Сережу, но казачок объяснил ему, что все молодые господа уехали кататься, а княгине докладывать нечего. «Пожалуйте!» — Угаров вошел в огромную залу, в два света с хорами. Голоса слышались справа из гостиной и слева с большого балкона, выходящего в сад. Угаров пошел направо. Княгиня сидела спиной к двери и играла в карты с двумя старичками. На другом конце большой гостиной у раскрытого окна сидел флигель-адъютант Кублищев и также играл с каким-то гусаром. Угаров несколько раз расшаркивался перед княгиней, но та была так погружена в игру, что даже не замечала его. Угаров хотел уже удалиться, но гусар — красивый блондин, с изящно расчесанными бакенбардами, заметив эту сцену, пришел ему на помощь.

— Вы, вероятно, к Сереже, — сказал он, любезно протягивая ему руку, — его дома нет. Позвольте мне представить вас хозяйке дома.

И, спросив его фамилию, гусар подвел его к княгине.

— Матап, monsieur Угаров...

Княгиня устремила на него усталый взор.

— Ах, боже мой, да мы знакомы! Очень мило, что вы к нам приехали... Вот, если бы вы пошли в черви, — немедленно обратилась она к одному из старичков, — то Иван Ефимыч был бы без двух.

— Ну, княгине теперь не до нас, — сказал гусар с улыбкой, — Сережа сейчас вернется, а пока позвольте познакомить вас с его старшей сестрой. Я ее муж — Маковецкий.

Балкон, на который они вошли, был весь заставлен цветами и разнокалиберной мебелью. Посередине длинного стола, покрытого всякими яствами, стояла большая карсельская лампа<sup>6</sup> с белым матовым колпаком. Яркий свет падал от этой лампы на усыпанную песком дорожку сада и захватывал часть газона, расстилавшегося зеленым ковром перед балконом. Из-за чайного стола поднялась молодая, стройная женщина.

Ольга Борисовна Маковецкая была на шесть лет старше Сережи. По некоторым, едва уловимым очертаниям губ и по складу лица она напоминала мать и сестру, но она была блондинка, да и по общему впечатлению, производимому всей ее изящной фигурой, принадлежала к другому типу. Ни в одном ее движении не было и тени кокетства; голубые глаза смотрели прямо и ласково.

— Сережа очень будет рад вас видеть, — сказала она, приветливо протягивая руку Угарову, — он вас ждал. Саша, — обратилась она к мужу, — когда же вы кончите с Simon ваш несносный пикет? У нас гораздо веселее.

— Мы сейчас придем, — ответил Маковецкий и исчез за дверью.

Общество, которое Угаров застал на балконе, состояло из четырех лиц. Возле Ольги Борисовны сидел небольшого роста довольно полный господин, которого она назвала Иваном Петровичем Самсоновым, — с мягкими, почти рыхлыми чертами лица, с добродушной улыбкой и подслеповатыми глазками. Впрочем, ни на него, ни на его жену, пожилую даму с лицом, покрытым веснушками, Угаров не обратил особенного внимания, потому что оно было всецело поглощено человеком очень большого роста с умным, энергическим лицом. Он задумчиво смотрел в сад. Огромная голова его оканчивалась целой гривой черных с проседью волос, не особенно тщательно причесанных, длинная борода была почти седая. Звали его Николаем Николаевичем Камневым; одет он был в плисовые шаровары и армяк из тонкого синего сукна.

— Присутствие молодого лицеиста не будет здесь лишним, — заговорил он громким, звучным басом, когда все опять уселось, — так как я только что хотел прочитать вам стихотворение, принадлежащее перу одного лицеиста.

И, эффектно откинувшись на спинку кресла, он, понизив голос, начал:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье...<sup>7</sup>

Когда он кончил, Угаров робко спросил, какой лицеист был автором этих стихов. Камнев задумчиво облокотился на стол и отвечал глухим голосом:

— Лицеист этот плохо учился, плохо служил, плохо женился и даже, как утверждали под конец его жизни иные критики, плохо писал... Лицеист этот был Пушкин.

При последних словах Камнев победоносно и строго вскинул глазами на Угарова.

Угаров, знавший наизусть Пушкина, сознался, что это стихотворение он слышал в первый раз.

— Мало ли чего еще вы не знаете и не можете знать! — воскликнул Камнев и прочитал несколько стихотворений Пушкина, бывших тогда под строгим запретом цензуры<sup>8</sup>.

— Иван Петрович, теперь ваша очередь, — сказала Ольга Борисовна, — вы нам давно ничего не читали.



Самсонов заволновался и закачался на своем стуле.

— Право, не знаю, что бы вам такое прочитывать; вот разве...

Но Камнев, любивший больше говорить, чем слушать, поспешил прервать его:

— Не знаю, рассказывал ли я вам, Иван Петрович, о моей последней встрече с Пушкиным у Чаадаева...

В это время в зале послышался целый хор молодых голосов и Соня первая, запыхавшись, с соломенной шляпой в руке вбежала на балкон.

— Выиграла, выиграла пари! — закричала она, увидев Угарова.— Представьте себе, мы подъезжаем к дому и видим возле конюшни неизвестный экипаж; я прямо говорю: вы! Горич говорит: не вы! Яков Иванович, я с вас выиграла пари.

— Что делать, княжна, я теперь в вашем распоряжении; можете приказать мне, что хотите,— говорил Горич, входя на балкон с одной из дочерей Самсонова.

— И прикажу, будьте спокойны.

Вслед за ними вошли еще две барышни Самсоновых, хорошенькая Варя Спицына, дочь одного из старичков, игравших в карты, Сережа и два молодых артиллериста из батареи, стоявшей в Буяльске. Шествие замыкалось Христиной Осиповной, старой гувернанткой, с незапамятных времен жившей в доме Брянских.

Ольга Борисовна спросила, не хочет ли кто чаю, но Соня ответила за всех, что и без того жарко, и предложила молодежи идти на гигантские шаги<sup>9</sup>, устроенные на небольшой поляне, среди больших столетних дубов. Она называла это место своим царством. Там она тайно читала не дозволенные книги, совещалась с Сережей, мечтала и иногда плакала.

Угаров шел под руку с Соней и решительно не знал, о чем говорить с ней. Целый месяц он жил мечтой об этом свидании, и вот свидание состоялось, но как-то совсем не так, как он себе представлял его. Соня болтала без умолку, но тоже не находя предмета разговора, и несколько раз благодарила его за то, что он приехал.

Угаров отказался занять лямку, потому что от гигантских шагов у него кружилась голова, но не мог оторвать глаз от Сони и воображал себя действительно в каком-то царстве, никогда не виданном и волшебном. Огромные дубы, как сказочные великаны, неподвижно стояли кругом, луна ударяла прямо в белый столб и придавала летающим людям какой-то совсем фантастический оттенок. Вдоволь налетавшись, все уселись на скамье и начали петь хоровую песню, но Соня вдруг остановила пение и объявила Горичу, что он сейчас должен будет выполнить пари. Она отозвала его в сторону и что-то приказывала ему; он отнекивался; наконец призвали судьей Сережу, и торжествующая Соня командовала возвращаться домой, говоря, что всем будет большой сюрприз. Когда молодая ватага подошла к балкону, на нем по-прежнему раздавался густой бас Камнева:

— Вот что сказал мне великий Гумбольдт<sup>10</sup>, когда он посетил меня в Москве...

Но на этот раз слушатели не узнали того, что сказал Гумбольдт, потому что произошло нечто неожиданное. Горич подошел к Самсонову, стал перед ним на колени и с комической торжественностью произнес:

— Вы слышали, Иван Петрович, что я проиграл княжне пари à discrétion \*. Поэтому она приказала мне стать перед вами на колени и просить вас от имени всего общества прочесть нам «Скупого рыцаря».

Самсонов совсем заволновался и зашатался на стуле.

— Помилуйте, как же это «Скупого рыцаря»? Я сто лет его не читал, я, верно, забыл...

— Это как вам будет угодно,— продолжал спокойно Горич,— но только я должен стоять на коленях до тех пор, пока вы не пообещаете...

— Ну, что же, если это общее желание, я попробую...

Соня в два прыжка очутилась в гостиной.

— Мама, Александр Викентьевич, Семен Семеныч, идите все на террасу: Иван Петрович будет читать «Скупого рыцаря».

Все повиновались. Княгиня по рассеянности вышла даже с картами в руках. Задвигались стулья, все обступили Ивана Петровича. Соня сбежала в сад и, став на скамью, прислоненную к балкону, впилась глазами в Самсонова. Угаров смотрел на этого робкого, пухлого отца трех некрасивых дочерей и не понимал причины общего оживления.

Между тем это оживление видимо доставляло Ивану Петровичу большое удовольствие, потому что он радостно улыбался. Потом он облокотился на стол и на минуту закрыл лицо руками, как бы собираясь с силами и входя в роль. Когда он поднял голову, Угаров не узнал его. Добродушная улыбка исчезла, все лицо исказилось каким-то страстно-хищническим выражением:

Как молодой пovesа ждет свиданья...—

начал он разбитым старческим голосом, но, по мере чтения, этот голос все рос и возвышался и бесповоротно овладел слушателями, то доходя до какой-то дикой силы, то превращаясь в слабый, отчаянный шепот... Скоро Угаров совсем перестал видеть Ивана Петровича. Он видел только мрачный подвал, раскрытые сундуки с грудами золота и страшного старика, который тем страшнее, чем тише говорит. Когда этот старик, с воплем отчаяния в голосе, заговорил про совесть:

...совесть,

Когтистый зверь, скребящий сердце...—

невольный стон вырвался у кого-то из слушателей, но никто на это не обратил внимания. Когда монолог кончился, в течение секунды длилось мертвое молчание, уступившее место шумным восторгам. Камнев с чувством потрясал руку Ивана Петровича, повторяя:

---

\* Пари, условия которого устанавливает выигравший (фр.).

— Превосходно, действительно превосходно, вы давно так не читали.

От этих восторгов первая опомнилась княгиня и предложила своим старичкам пойти кончить пульку. Маковецкий и Кублищев объявили, что после этого чтения они в пикет играть не могут, и остались. Начался настоящий турнир. Камнев и Самсонов поочередно читали и старались превзойти друг друга. Чувствуя себя побежденным, Камнев перешел в область французской поэзии, более удобной для его декламации, и воспроизводил целые сцены из драм Виктора Гюго<sup>11</sup>, Самсонов не остался в долгу и с большим блеском прочел монолог из «Сида»<sup>12</sup>. Общее настроение достигло, наконец, такой высоты, что все почувствовали потребность спуститься на землю. По просьбе Ольги Борисовны, Кублищев прочел несколько отрывков из путешествий госпожи Курдюковой<sup>13</sup>. После стольких серьезных впечатлений это чтение, как контраст, имело большой успех. Только Камнев, нагнувшись к Ивану Петровичу, сказал ему вполголоса:

— Никогда не понимал я этого юмора; это не юмор, а буффонство...

Время летело так незаметно, что все были очень удивлены, когда в дверях появился степенный дворецкий и сонным голосом проговорил:

— Кушать пожалуйте.

Во время ужина раздался колокольчик, и в столовую ввалился Придошенский, встреченный общим дружным смехом. Но Придошенский был серьезен; он привез важное известие. Князь Холмский, змеевский губернатор, должен был произвести ревизию в Буяльске в середине августа; но утром 10 июля он получил какую-то эстафету из Петербурга, после чего призвал правителя канцелярии и велел ему немедленно готовиться в путь. Завтра он приедет к обеду в Троицкое, а с 12-го начнется ревизия.

Княгиня притворилась равнодушной к этому известию, однако сейчас же велела позвать в переднюю повара Антона и долго совещалась с ним о завтрашнем обеде. Камнев заявил, что известие, привезенное Придошенским, вероятно, помешает ему приехать, так как в прошлом году проконсул<sup>14</sup> сделал ему выговор через предводителя за то, что встретил его однажды в русском платье. Впрочем, после всеобщих протестов он обещал порыться в сундуках — и приехать, если найдет какую-нибудь «старую, глупую европейскую хламиду». После ужина княгиня пошла оканчивать свою пульку, которую все еще не успела доиграть. Из гостей уехал один Камнев, живший в пяти верстах от Троицкого; остальные гости были свободно размещены по разным комнатам громадного княжеского дома. Когда Угаров и Горич пришли в свой флигель, они, к удивлению, увидели Сережу, только что вертевшегося в зале, уже лежащим в постели и укутанным с головой в белое одеяло. Едва они улеглись и потушили огонь, в комнату вбежал казачок Филька с письмом и карандашом в руке. Растолкав барина, он зажег свечу и сказал:

— Сергей Борисович, княжна ждет ответа.

Сережа лениво поднялся, прочитал записку, потом тщательно сжег ее на свече и начал писать ответ.

— Ну, опять началась «почта духов»<sup>15</sup>, — сердито проворчал Горич, — точно мало вам целый день шептаться.

И, повернувшись лицом к стене, он захрапел.

А Угаров, несмотря на усталость, долго не мог заснуть. Стихи, дорога, луна, летающие люди, Соня, «Скупой рыцарь» — все разнообразные впечатления дня путались в его голове и заставляли сердце его биться какой-то сладкой тревогой.

## V

В Троицком жилось беспорядочно и весело. Не было ни определенных занятий, ни определенных часов для каких бы то ни было занятий. Единственная аккуратная женщина в доме — Христина Осиповна — ежедневно в 9 часов утра являлась в столовую и до самого завтрака рассылала чай и кофе по разным комнатам и флигелям. Завтракали — кто где хотел. Когда у знаменитого Антона, сорок лет исполнявшего в Троицком должность повара, спросили, в котором часу его господа обедают, он совершенно серьезно отвечал: «в три — в шестом»; но Антон был артист, и никакой беспорядок не мог его смутить.

На одиннадцатое июля ему был отдан такой приказ: завтрак — когда вернутся от обедни; обед — тотчас по приезде губернатора.

К обедне, в назначенный час, пришла одна Ольга Борисовна; княгиня прислала сказать священнику, что у нее разболелась голова и чтоб ее не ждали. К концу обедни пришел Кублицев и, выходя из церкви, поздравил Ольгу Борисовну.

— Я, надеюсь, первый...

— Нет, милый Семен Семеныч, — прервала она с усмешкой, — муж уже поздравил меня.

Утро было не особенно жаркое, и Ольга Борисовна предложила идти домой дальней дорогой, то есть через парк.

— Боже мой, сколько хороших и тяжелых дней напоминает мне это место! — говорил Кублицев, входя в тенистую липовую аллею, — вот, если у вас хорошая память, Ольга Борисовна, скажите мне, что было в этот день пять лет тому назад?

— Пять лет тому назад в этот день были мои именины.

— И только?

— Какой вы смешной, Семен Семеныч, неужели вы думаете, что я могу забыть хоть одну подробность этого дня? Все помню, поверьте. Помню, как вы вошли с незнакомым гусаром, как Саша покраснел, когда вы его мне представили. Помню, что вы его шутя называли молодым последователем Костюшки;<sup>16</sup> помню, что после обеда он играл полонез и два ноктюрна Шопена. Вы видите, я ничего не забыла.

— Да, хорошая у вас память, Ольга Борисовна; но, раз мы коснулись прошедшего, ответьте мне откровенно на один вопрос.

Если бы вы... одним словом, если бы я не привез к вам тогда Александра Викентьевича, были бы вы теперь моею женой?

Ольга Борисовна ответила не сразу.

— Видите ли, на этот вопрос ответить очень легко, если хочешь ответить что-нибудь, что попало, но я не могу говорить так с вами. Была ли бы я вашей женой? Право, не знаю. Отец сердился за то, что наша свадьба была отсрочена на несколько месяцев, что ваша матушка соглашалась на нее как-то нехотя... Да и зачем теперь раздумывать об этом? Ведь мы с вами друзья, настоящие друзья, не правда ли? Поверьте, это чувство нельзя променять ни на какое другое. В том, другом чувстве,— и голос Ольги Борисовны слегка дрогнул, когда она произнесла это слово,— всегда бывает столько недосказанного, столько лишнего и мучительного, а в дружбе все так хорошо и ясно.

Ольга Борисовна остановилась.

— Ну, а теперь, мой милый Simon,— сказала она, протягивая ему руку,— поставимте точку и не будем никогда говорить о прошлом.

Кублищев потупил голову и молча поцеловал протянутую ему руку.

Проходя мимо гигантских шагов, они услышали какой-то монотонный голос и сквозь просветы между деревьями увидели на скамейке Соню с работой в руках. Горич сидел на песке у ее ног и читал ей вслух французский роман. Ольга Борисовна слегка нахмурила брови и задумалась.

— Боюсь я за Соню,— сказала она, подходя к дому.

— Мне кажется, вы преувеличиваете, Ольга Борисовна: княжна такой еще ребенок!

— Нет, нет, Simon, вся беда в том, что она слишком мало ребенок.

В доме в это время еще не все поднялись. Сережа только что проснулся и предложил Угарову пойти выкупаться в реке. Послали казачка Фильку за Горичем, но тот его не нашел, а взамен его привел артиллеристов, вставших, по привычке, в семь часов и не знавших, куда им деваться. После купанья Сережа потребовал завтрак во флигель, потом пошел показывать гостям парк, а также конюшни и другие постройки. Все было грандиозно и запущено. Придя после продолжительной прогулки на балкон, они застали там все общество, кроме барышень, которые ушли одеваться к обеду. Через несколько минут раздался в зале мерный и сухой деревянный стук.

— Вот и князь Борис Сергеевич идет,— сказал Кублищев.

При этих словах Угаров вспомнил, что в Троицком живет хозяин, которого он еще не видал, а Горич одним прыжком перескочил четыре ступеньки и исчез в зелени сада.

Стук медленно приближался, и, наконец, в дверях показалась высокая, сгорбленная фигура князя Брянского в сером пальто и военной фуражке. Угарова прежде всего поразили темный, почти земляной цвет лица и седые брови, повисшие над впалыми потухшими глазами. Левая, отнявшаяся рука была беспомощно уложена в карман пальто, одной ногой князь также владел плохо, но, видимо, желал

это скрыть, а потому шел очень тихо, опираясь на большой черный костыль. В это утро он был не в духе, довольно холодно поздоровался со всеми и очень сухо поздравил княгиню с днем ангела. Усевшись в большом кресле и увидав незнакомого лицеиста, он спросил вполголоса у Сережи:

— Это еще кто?

Сережа подозвал Угарова и представил его отцу.

— Говори громче, не слышу.

Сережа повторил. Князь уставил на Угарова тусклый и пристальный взгляд.

— Не родственник ли вы покойному Николаю Владимировичу Угарову?

— Как же, князь, я его сын.

— Прекрасный, достойный был человек ваш батюшка, и с вами я очень рад познакомиться.

Князь ласково протянул руку Угарову, лицо его как-то посветлело. Он начал рассказывать о своей молодости, которую провел с отцом Угарова, шутил с гостями и даже — что было признаком совсем хорошего расположения духа — передавал свои разговоры с маленьким Борей, трехлетним сыном Ольги Борисовны, которого он любил без памяти. После получасового разговора он объявил, что ему пора домой, «а то, пожалуй, адораторы<sup>17</sup> и поздравители княгини Ольги Михайловны начнут съезжаться». Он хотел встать молодцом и слабо оперся на костыль, который вследствие этого скользнул по полу. Князь едва не упал, все лицо его исказилось молчаливым страданием. Ольга Борисовна быстрым движением поддержала отца и, совершенно спокойно сказав ему: «мы с тобой вместе зайдем разбудить Борю», незаметно поправила ему костыль.

Когда их шаги затихли, княгиня начала благодарить Угарова.

— Только благодаря вам сеанс сегодня прошел благополучно. Вы не поверите, как мой бедный муж сделался раздражителен. Например, он так невзлюбил Горича, не знаю за что, что тот должен прятаться при его появлении.

Поздравители действительно начали скоро съезжаться. Соседи приезжали — молодые и старые, с детьми и без оных. Из Буяльска явился барон Кнопф, высокий, рыжий командир батареи, с милостивой женой и молодым адъютантом, тоже бароном. Одним из последних приехал Камнев. Ему не удалось отыскать в своих сундуках старой хламиды, но зато он нашел очень изящный фрак, причесался, подстриг бороду, даже повесил на жилетку золотой лорнет, — одним словом, явился тем элегантным Камневым, который был украшением всех «умных» московских салонов тридцатых годов<sup>18</sup>. В пятом часу вбежал взволнованный исправник и объявил, что через несколько минут прибудет губернатор. Княгиня, бывшая в зале, при этом известии ушла в гостиную для сохранения своего достоинства. Наконец, высокая губернаторская коляска остановилась у подъезда и из нее бодро вышел очень толстый генерал с одуловатыми щечками и крашеными щетинистыми усами. Сережа встретил его на крыльце и повел в гостиную.

— *Quelle charmante surprise, cher prince!*\* — сказала княгиня, поднимаясь с дивана.

Губернатор поцеловал руку княгини и объявил, что привез ей в виде подарка очень приятную новость, но скажет ее за обедом, выпив ее здоровье. Князь Холмский был змеевским губернатором уже более десяти лет, а потому знал почти все общество. Увидев Камнева, он покосился на его бороду, но, успокоенный видом фрака, подал этому беспокойному человеку два пальца. Угарова и Горича, тотчас же ему представленных, он удостоил легким кивком. Вскоре после его приезда дворецкий своим обычным тоном возвестил: «кушать пожалуйте», — и княгиня, подав руку губернатору, отправилась с ним в первой паре в большую залу, где был накрыт стол на пятьдесят человек.

Обед начался очень чопорно и скучно. Князь Холмский много ел и пил, а потому говорил мало; другие несколько стеснялись его присутствием и разговаривали сдержанно. Самый обед удался на славу и в кулинарном и в архитектурном отношении; Антон превзошел себя по части орнаментов. Ростбиф был подан под каким-то величественным балдахином из теста, овощи были сервированы в виде звезд и разных зверьков, даже из моркови было наделано несколько человеческих фигурок. Когда разлили шампанское, губернатор предложил тост за здоровье дорогих именинниц, после чего торжественным голосом произнес:

— Ну, а теперь, милая княгиня, самое время поднести вам мой подарок.

При этом он вынул из кармана письмо, полученное им накануне эстафетой из Петербурга и; еще возвысив голос, прочитал, что граф Василий Васильевич Хотынцев назначен министром.

Известие это произвело потрясающий эффект. Граф Хотынцев был женат на Олимпиаде Михайловне, родной сестре княгини Брянской. Он давно уже был кандидатом на этот высокий пост, но считался либералом, и его всякий раз «обходили». Все гости вскочили с мест и подходили с бокалами в руках поздравлять княгиню. Вне себя от радости, она закричала, указывая на лицеистов:

— Вот кого надо поздравлять! Теперь их карьера обеспечена, они все трое поступят к Базилю.

Когда все вернулись по местам, поднялся Камнев, которого княгиня заранее упросила сказать маленький спич в честь губернатора. Спич этот был бы очень хорош, если бы оратора не погубила страсть к историческим справкам, вследствие чего он счел уместным вспомнить, что когда-то, в тяжелую эпоху Руси, она была разделена на опричнину и земщину<sup>19</sup>. Воспоминание об опричниках почему-то обидело князя Холмского, и он захотел отплатить оратору колкостью. Поблагодарив за тост, которым заканчивался спич Камнева, он прибавил:

— Еще радуюсь и тому, что вижу земщину одетой как следует.

---

\* Какой очаровательный сюрприз, дорогой князь! (*фр.*)

Камнев, может быть, проглотил бы молча эту проконсульскую выходку, но, на беду, одна из барышень Самсоновых громко хихикнула, а этого оратор простить не мог. Переждав несколько секунд, он обратился к губернатору:

— Скажите мне, князь, ведь князья Холмские происходят от Рюрика? <sup>20</sup>

— Ну да, от Рюрика,— ответил неохотно тот, почуяв что-то недоброе,— что за вопрос?

— Вопрос мой вызывает другой вопрос. Почему присутствие князя Рюрикова дома заставляет другого столбового дворянина променять одежду, полученную им в преемство от своих предков, на одежду по шутовскому образцу <sup>21</sup>, как выразился наш гениальный Грибоедов?

Князь Холмский побагровел от гнева и не знал, что ответить. Только глаза его усиленно моргали и толстые пальцы барабанили по тарелке. Неловкое молчание, воцарившееся в зале, было прервано Кублицевым.

— Позвольте мне, многоуважаемый Николай Николаевич,— начал он своим мягким голосом,— высказать по этому поводу свое мнение, то есть даже не мнение, а мое личное ощущение. Я, как вам известно, всю жизнь носил военный мундир; теперь матушка требует, чтобы я вышел в отставку и поселился с нею. Я должен буду исполнить ее желание... конечно, если не будет войны,— прибавил он в сторону князя Холмского.— И вот я себя спрашиваю: какую одежду следует мне носить в отставке? Вы изволили употребить выражение: по преемству. Мне кажется, что именно в силу этого самого преемства я должен носить ту одежду, которую носил мой отец, а не ту, которую носили мои отдаленные предки.

— Прекрасно сказано! прекрасно сказано! — закричал обрадованный губернатор,— совершенно согласен!

Камнев откинулся на спинку стула и начал гладить свою бороду, что доказывало, что он готовит громовый ответ. Ольга Борисовна, бывшая его соседкой, наклонилась к нему и прошептала:

— Николай Николаевич, прошу вас, прекратите этот спор. После обеда мы пойдем на балкон и вместе отделаем Simon, а теперь не возражайте,— сделайте это для меня.

Слова ее смягчили сурового оратора.

— Так и быть, откладываю на несколько часов казнь этого преторианца <sup>22</sup>. Чего только не сделаю я для вас, моя Мадонна —

Чистейшей прелести чистейший образец!<sup>23</sup>

Последний стих он продекламировал уже громко.

Остальная часть обеда прошла благополучно. С края, где сидела молодежь, слышался непрерывный смех; скоро все разговоры слились в один нестройный и оживленный гул. Антон к концу обеда приберег свою затейливую «штучку». Мороженое было подано в виде огромного зеленого холма, увенчанного княжеской короной. Этот каламбурный комплимент по адресу князя Холмского был встречен



шумными знаками одобрения. По общему желанию Антон был вытребован в залу, и губернатор ласково потрепал его по плечу.

Тотчас после обеда губернатор ушел на пять минут, «чтобы засвидетельствовать свое почтение князю Борису Сергеичу», но пробыл у него более часа. Оказалось, что князь Брянский показывал и объяснял гостю планы предстоящей войны, которая очень его занимала.

— Все шло хорошо,— рассказывал потом губернатор княгине, опорожня большую рюмку коньяку,— только я сам испортил дело. Надо вам сказать, что князь Борис Сергеич расписал на своем плане не только корпусных командиров, но даже роздал дивизии и полки тем, кого по старой памяти считал способными. Не помню, какой корпус он дал Звягину, Николаю Иванычу; тут черт меня и дернул сказать ему, что Николай Иваныч умер. «Когда?» — Да уж третий год! — Ну, что тут произошло, вы и представить себе не можете. Закричал, затопал ногами... «Вы, говорит, видите, что у меня за семейка: такие люди, как Звягин 2-й, умирают, а мне два года об этом никто не скажет!..» Вы понимаете, что после этого все назначения надо было начинать сызнова,— вот я и засиделся.

Княгиня предложила князю Холмскому партию в вист, но тот отказался, говоря, что должен поспешить в Буяльск, «чтобы всех там застать врасплох». Развеселившийся и слегка подвыпивший, губернатор, видимо, хотел быть приятным и каждого обласкать на прощание.

— *Sans rancune, n'est-ce pas?*\* — говорил он, добродушно пожимая руку Камнева.— Ну, так как же, по преемству, а? По преемству? Хорошо преемство!

И он залился громким смехом.

— Хорошо преемство, нечего сказать! — повторял он уже в передней, потрясая смехом свои густые эполеты.— По-нашему это — кучерской армяк, а по-ихнему это называется преемство.

Почти вся молодежь вышла на крыльцо провожать князя. Усевшись в коляске, он снял фуражку, послал общий воздушный поцелуй, и губернаторская четверка помчалась, нагоняя исправника, который сломя голову летел в Буяльск вестником приближающейся грозы.

Вечер начался музыкой. Маковецкий сел за фортепиано и сыграл ригурнель<sup>24</sup>. Все взоры обратились к Фелиците Ивановне, старшей из девиц Самсоновых. Она начала было отговариваться, но мать довольно грозно прикрикнула на нее, и Фелицата спела бесконечный французский романс, состоявший из спряжения во всех временах и наклонениях глаголов *aimer* и *souffrir*\*\*.

Потом Маковецкий сыграл сонату «*Quasi una fantasia*»<sup>25</sup>. Княгиня объявила, что от серьезной музыки у нее голова болит, и увела своих старичков играть в преферанс. Четвертым они взяли барона Кнопфа. Едва только барон скрылся за дверь, Сережа подсел

\* Не будем злопамятны, хорошо? (фр.)

\*\* любить и страдать (фр.).

к баронессе и начал ей что-то нашептывать. Сережа вообще говорил мало, но, вероятно, речь его была убедительна, потому что баронесса слушала его с улыбкой, а перед концом сонаты незаметно встала и перешла на балкон. Сережа последовал за нею.

После сонаты раздался голос Сони, певшей романс Глинки: «Уймись, волнения страсти»<sup>26</sup>. Она никогда не училась петь, но ее густые, бархатные, контральтовые ноты имели чарующую прелесть, и пела она с таким выражением, какого никак нельзя было ожидать от шестнадцатилетней девушки, почти ребенка. Вне себя от восторга, Угаров подбежал к ней и просил ее спеть еще что-нибудь.

— Нет, пожалуйста, княжна, не пойте ему больше! — сказал Горич, вертевшийся возле фортепиано, — а то вы и второе пари выиграете с меня...

— Я и без того выиграю... если захочу! — отвечала Соня, победно взглянув на Угарова.

Угаров начал расспрашивать, в чем состояло пари, но Маковецкий перебил его.

— Ну, Соня, ты сегодня так пела, что мне хочется поцеловать тебя. Можно?

Соня быстрым взглядом окинула залу и, сказав: «да, теперь можно», кокетливо подставила ему лоб для поцелуя. Угаров тоже оглянулся и увидел, что в эту минуту Ольга Борисовна входила из гостиной в залу. Эта маленькая сцена почему-то больно уколола его.

Между тем Александр Викентьевич уже играл вальс, и Кублицев, подойдя к Соне, открыл с нею бал. Угаров не любил танцевать, и при виде танцев ему всегда делалось немного грустно. Теперь же у него еще кружилась голова от вина, выпитого за обедом, — он пошел в сад. В левом, темном углу балкона Сережа тихо, но оживленно разговаривал с баронессой. Направо, около лампы, Камнев громко говорил Самсонову:

— Позвольте заметить вам, милейший Иван Петрович, что вы это место не так читаете. Ведь вы знаете, что стих: «И дым отечества нам сладок и приятен» — не принадлежит Грибоедову<sup>27</sup>. Чацкий произносит его как цитату, а потому его нельзя говорить просто, а надо именно декламировать...

«Боже мой, сколько нового узнал я в эти сутки, и какие тут все умные люди!» — думал Угаров, подходя к гигантским шагам и усаживаясь на скамейке. Но свежесть и красота тихой летней ночи невольно перевели его мысли на Соню.

«Как это странно, — думал он, — что в течение целых суток я почти не думал о Соне и только сейчас почувствовал, до какой степени люблю ее. Что это за чудное создание... только зачем она так кокетничает со всеми и даже с Маковецким и какое пари держала она обо мне с Горичем?»

Вдруг Угарову послышались какие-то шаги. Он встал со скамьи. Две тени появились у входа. Тихий голос прошептал: «здесь кто-то есть», потом все скрылось, и Угарову показалось, что при бледном свете луны он узнал стройную фигуру Сони. Сердце его застучало, почти бегом вернулся он в дом. На балконе по-прежнему раздавались

сдержанный голос Сережи и густой бас Камнева. В доме все были налицо, кроме Сони и Горича. Через несколько минут они вошли из разных дверей. Угарову сделалось невыразимо тяжело. Он ушел во флигель, разделся и бросился в постель. Напрасно он повторял себе, что он не имеет никакого права ни ревновать, ни сердиться на Соню, что он для нее совсем чужой человек. «Нет, не чужой», — шептал ему какой-то другой, внутренний голос, и все, что с ним случилось, казалось ему невыносимой обидой. Угаров слышал, как через несколько часов пришли Сережа и Горич, но, не желая разговаривать с ними, притворился спящим. В эту минуту он глубоко их ненавидел. Он ненавидел еще и Соню, и всех этих барышень Самсоновых, и всех этих умных людей, говорящих так хорошо, и даже барона Кнопфа, голоса которого он не слышал, но о рыжих баках которого не мог вспомнить без отвращения.

## VI

Семейство Самсоновых, гостившее в Троицком более двух недель, должно было уехать 12 июля, а потому все общество собралось к прощальному завтраку. Угаров должен был выехать вечером вместе с Придошенским, у которого было дело в Медлянке и который был очень рад найти попутчика. Только что все уселись за стол, в столовую вошел Дементий, старый камердинер князя Бориса Сергеевича, бывший некогда его денщиком. Дементий никогда почти не выходил из половины князя и на остальные комнаты дома смотрел с оттенком презрения. Княгиня его не любила и слегка боялась, потому что он знал многое, что было тайной для всех. Подойдя к Угарову, Дементий громким голосом произнес:

— Его сиятельство просят вас пожаловать фрыштыкать к ним в кабинет.

Если бы в эту минуту пошел снег, это менее удивило бы присутствующих, чем слова Дементия. Завтракать с князем — было постоянной прерогативой Ольги Борисовны. Иногда в старину приглашался туда Маковецкий, но в этом году и он ни разу не был удостоен этой чести.

Войдя в кабинет, Угаров увидел князя сидящим в большом кресле перед круглым столиком, накрытым на четыре прибора. Возле князя помещалась Ольга Борисовна, а напротив его, на высоком стуле, сидел Боря. Старая няня стояла за ним и разрезывала для него на мелкие куски куриную котлетку. Лицо у князя было спокойное и довольное.

— Садись, — сказал он ласково Угарову, указывая на пустое место. — Я не хотел, чтобы сын моего друга уехал, не побывав у меня. Ведь там ты не у меня; только здесь ты видишь мою, настоящую мою семью.

Ольга Борисовна при этих словах нахмурила брови, но промолчала.

Выпив шампанского за здоровье вчерашней именинницы, князь еще повеселел и велел Дементию снять со стены большую картину

в старинной раме красного дерева. Картина изображала группу офицеров, и князь предложил Угарову найти между ними его отца. Угаров, видевший множество портретов отца в молодости, сейчас нашел его.

— Молодец! — воскликнул князь, — ну, а теперь найди меня!

Угаров всмотрелся в лицо и указал на молодого, стройного офицера в расстегнутом сюртуке и со стаканом в руке.

— Правда, это я; но неужели же я похож теперь на этот портрет?

— Я узнал вас, князь, по сходству с Ольгой Борисовной.

— Видишь, Оля, видишь! — закричал обрадованный князь, — вот чужой человек, — и тот прямо по сходству узнает нас. Да, мой милый, и по сходству, и по душе это единственная моя дочь. Она меня любит, она не холодна ко мне, как те другие...

Ольга Борисовна не выдержала, лицо ее покрылось ярким румянцем.

— Послушай, папа, ты сейчас назвал Владимира Николаевича чужим человеком... Зачем же ты при чужом человеке заставляешь меня сказать тебе, что ты говоришь неправду? И Сережа и Соня любят тебя так же, как я; не они к тебе, а ты к ним и холоден, и несправедлив.

— Ну, довольно, довольно, Оля, прости меня, если я тебя огорчил, но мнения моего ты не изменишь... Борька! — воскликнул он вдруг, чтобы переменить разговор, — на кого ты похож?

— Я похос на маму, — отвечал Боря, отрываясь от котлетки.

— А мама на кого похожа?

— Мама похожа на дедуску.

— А дедушка на кого похож?

Два первые вопроса, вероятно, предлагались Боре не раз, а потому он отвечал на них бойко. Но третий вопрос застал его врасплох. Внимательно посмотрев на князя, он после некоторого раздумья отвечал:

— Дедуска похос на обезьяну.

— Ах, какой стыд! ах, какой срам! — закричала няня, всплеснув руками. — Разве можно так говорить? Ты должен сказать: я дедушку люблю и почитаю больше отца родного, а ты вдруг: на обезьяну! Ну, осрамил ты меня, Боренька, на старости лет!

Но дедушка заливался громким, веселым смехом.

— Молодец, Борька, правду сказал, не слушай няньку! Ты великий сердцеведец: дедушка твой именно обезьяна, старая, негодная обезьяна.

Боря обратил к няне свои серьезные глаза.

— Видись, няня, я казал тебе, дедуска похос на обезьяну.

В новом порыве негодования няня схватила на руки великого сердцеведца и унесла его из кабинета.

В это время в спальне нягини, куда она после завтрака уехала Приидошенского, происходил следующий разговор.

— Как же, благодетельница, с Лаптевым? Он мне прямо сказал, что подаст ко взысканию, если я не привезу процентов.

— Да откуда же я возьму денег? К мужу приступить нельзя. Если бы третьего дня Христина Осиповна не выклянчила у него триста рублей, я бы не знала, как и обернуться.

— Да вы, благотельница, рассчитывали на симбирское имение.

— Приезжал приказчик на прошлой неделе, привез, говорят, восемь тысяч, да я, на грех, в тот день поздно встала. А князь, как узнал, что приказчик тут, потребовал его в кабинет, отобрал все деньги и велел сейчас же ехать обратно в Симбирск. Когда я проснулась, его и след простыл.

— Да-с, это штучка. Что же князь Борис Сергеевич делает с деньгами?

— Прячет, все прячет в свой письменный стол; там у него десятки тысяч лежат, а тут плати проценты...

— Не отдает ли он денежки Ольге Борисовне?

— Нет, Оля сказала бы, она не такая. Да, Тимофеич, каждый день с ним все труднее и труднее жить. Какие-то капризы, странности. Сегодня, ты слышал, зачем-то Угарова потребовал...

— А вот, благотельница, к слову сказать: не прозевайте этого женишка для княжны, как прозевали Кублицева для Ольги Борисовны...

— Какого женишка? Угарова? Да он, кажется, и не богат совсем.

— Ну нет, матушка, у Марьи Петровны Угаровой денег куры не клюют, да и имение богатейшее, и сын один. Владимир Николаевич, пожалуй, будет со временем самый богатый жених в губернии.

Княгиня задумалась.

— Как же, благотельница, насчет Лаптева?

Переговоры насчет Лаптева кончились тем, что Придошенский обязался внести проценты и, сверх того, дал княгине несколько пятидесятирублевых серий, а княгиня подписала «заемное письмо», которое у Тимофеича было заготовлено на всякий случай.

Когда Угаров ушел от князя, он застал в гостиной целую баталию. Девушки Самсоновы, подкрепляемые всем остальным обществом, уговаривали мать пробыть еще несколько дней в Троицком. Иван Петрович соблюдал нейтралитет, но супруга его была непреклонна; наконец, у нее вырвалось согласие пробыть еще один лишний день, а так как следующий день приходился на тринадцатое число, то было решено, что они едут непременно 14 июля утром. Потом все приступили с такой же просьбой к Угарову, который сопротивлялся слабо и скоро сдался. Княгиня пошла писать к Марье Петровне извинительное письмо, которое Придошенский взялся завезти сам на следующий день в Угаровку. Со своей стороны и Угаров написал матери коротенькую записку.

Теперь все помыслы Угарова были устремлены на то, чтобы объясниться с Соней. Он не знал, в чем именно будет состоять объяснение, но чувствовал его необходимость. Как нарочно, случая не представлялось. С утра накрапывал дождь, гулять было немислимо, все общество поневоле находилось вместе. Соня вовсе не говорила с Угаровым и не обращала на него никакого внимания. Княгиня, напротив того, была с ним любезна. За обедом она по-

садила его около себя и тихонько допрашивала его, что он делал у князя и зачем тот приглашал его. К концу обеда княгине понадобилось спросить что-то у Сережи, но, ко всеобщему удивлению, его за обедом не оказалось. Никто из прислуги не мог сказать, куда делся молодой князь, которого после завтрака никто не видел. Соня также, по-видимому, ничего не знала; но, когда княгиня выразила опасение, не утонул ли Сережа, купаясь, и хотела послать людей на реку, Соня успокоила мать, сказав, что брат, *кажется*, уехал в Буяльск к барону Кнопфу и что, *вероятно*, он часам к девяти вернется. Действительно, около этого времени Сережа вернулся и привез с собой артиллеристов. Опять начались танцы. Угаров совсем упал духом и смотрел на танцующих с таким мрачным лицом, что Соня, вероятно, сжалилась над ним. Когда в антракте между кадрилими ее попросили петь, она, проходя мимо Угарова, сказала ему:

— Видите, я не забыла вашу вчерашнюю просьбу, я спою для вас.

Этого слова было достаточно, чтобы Угаров воскрес. Он неистово аплодировал поющим, танцевал без устали и остальную часть вечера провел чрезвычайно весело, отложив объяснение до следующего дня.

На следующее утро погода прояснилась, а потому было решено не завтракать, а обедать в два часа, и после обеда ехать всем обществом к Камневу. К трем часам у подъезда стояли: знаменитый рыдван, долгуша, кабриолет и несколько верховых лошадей. Княгиня, выйдя на крыльцо, почувствовала внезапную усталость и решила остаться дома. Соня первая вскочила в кабриолет и взяла в руки вожжи. Горич, вертевшийся около кабриолета, хотел последовать ее примеру, но княгиня скомандовала с крыльца:

— Владимир Николаич, садитесь с Соней; вы еще не видели, как она хорошо правит.

Соня сделала недовольную гримасу, убившую мгновенно Угарова. Впрочем, она скоро повеселела. Благодаря вчерашнему дождю пыли не было, кабриолет катился быстро по гладкой дороге и далеко оставил за собою остальные экипажи. Соня болтала, очень верно передразнивала все общество, особенно хорошо подражала пению Фелицаты Самсоновой. Въехав на небольшой пригорок, она заявила, что половина дороги уже сделана. «Как только спустимся с пригорка,— подумал Угаров,— начну объяснение». Но они проехали еще с версту, прежде чем он решился. Наконец, он начал очень запутанной и неуклюжей фразой.

— Знаете, княжна, когда кто-нибудь кем-нибудь интересуется, он делается очень наблюдателен и проницателен. Вот я заметил, что вы были недовольны, что я сел в кабриолет, потому что хотели ехать с кем-нибудь другим.

— Что я была недовольна, это правда,— отвечала Соня, сдерживая лошадь,— но вовсе не оттого, что хотела ехать с другим. Я вообще не люблю, чтобы мной распоряжались, как вещью. Я, может быть, хотела сама пригласить вас...

Эта фраза совсем воскресила Угарова, и после нескольких подходов он решился спросить, какое пари Соня держала о нем с Горичем.

— Вы слишком любопытны, а впрочем, я, пожалуй, скажу. Я держала пари, что вы уедете отсюда влюбленным... в кого — это все равно... хотя бы в Фелицату.

Кабриолет ехал шагом. Увидев, что экипаж приближается, Соня ударила лошадь вожжей и спросила:

— Ну, что же, я выиграю или проиграю?

— Право, не знаю. Может быть, я уже приехал сюда влюбленным.

— Это невозможно: вы с Фелицатой не были знакомы.

— Зачем вы смеетесь, княжна, над чувством, которого вы не знаете? Впрочем, смейтесь, сколько хотите, но теперь я выскажу все, что накопилось у меня в душе...

Кабриолет повернул налево и остановился у одноэтажного белого дома с крыльцом из резного дуба.

— Ну, вот мы и приехали! — воскликнула Соня, выскакивая из экипажа. — *Suite au prochain numéro\**.

Камнев, обедавший по обычаю предков очень рано, пил кофе на балконе с *m-lle Léontine*, смазливой швейцаркой, жившей у него *en qualité de lectrice\*\**. Хотя гости не извещали его о приезде, но были встречены у подъезда изящным лакеем в штроблетах и ливрее. Когда молодая ватага с шумом и криком ворвалась на балкон, *m-lle Léontine* встала, скромно поклонилась и немедленно исчезла. Камнев встретил гостей с большою радостью и пошел показывать тем из них, которые были у него в первый раз, свой дом. Дом был небольшой, но уютный, и казался перенесенным из города. Во всех комнатах стояла дорогая мебель, везде были мягкие ковры, бронза, статуи. Две большие комнаты были заняты библиотекой, которую хозяин собирал неумоимо с самых молодых лет. В простенках между окнами висели портреты всевозможных знаменитостей — древних и новых; последние были большею частью с собственноручными подписями. Пока гости осматривали дом, Иван Петрович Самсонов увидел на балконе новую, только что полученную с почты книжку «Современника». Разрезав прежде всего страницы, на которых были напечатаны стихотворения, он остался ими недоволен, принялся за критический отдел и сразу напал на очень меткую и злую статью против славянофилов<sup>28</sup>. Когда он прочитал ее Камневу, тот вознегодовал, и у них начался ожесточенный спор, а Соня объявила себя хозяйкой дома и повела всех гостей в сад. Сад, как и дом, свидетельствовал об изящном вкусе и сибаритских наклонностях его обладателя. Услышав невдалеке от дома какую-то веселую хоровую песню, гости пошли на эти голоса и при входе в большую аллею серебристых тополей увидели несколько красивых баб в пестрых поневах и с большими кичками на головах; на их

---

\* Продолжение в следующем номере (фр.).

\*\* в качестве чтицы (фр.).

обязанности было чистить дорожки, и они составляли садовый штат под начальством старого садовника-немца, выписанного Камневым из Риги. Старичок-садовник не замедлил тоже появиться и предложил гостям зайти в грунтовый сарай и заняться вишнями. Потом он повел их в оранжерею, где показал несколько редких экземпляров камелий. Целые сотни деревьев ломились под тяжестью золотых, еще не дозревших слив и зеленых, слегка зарумянившихся персиков. Потом были осмотрены парники, огород и дальний фруктовый сад за рекой, которую надо было переезжать на пароме. Подходя к дому после двухчасовой прогулки, гости услышали чей-то громкий декламировавший голос.

— Не стихи ли опять читают? — спросил один из артиллеристов.

— Ну нет, вы их не знаете, — отвечала Фелицата, — теперь им не до стихов. Уж если они заспорят, этому конца не будет. Вот увидите, что Николай Николаич поедет с нами в Троицкое, чтобы переспорить отца.

Спорщики сидели на балконе с красными воспаленными лицами, пот лил с них градом.

— Подобный вздор, — кричал Камнев, — мог сказать только такой неисправимый западник, как вы...

— Да позвольте! — кричал также обозлившийся Иван Петрович, — вы гораздо более западник, чем я. Приезжайте ко мне в деревню, и вы увидите чисто русскую усадьбу — почти в том же виде, в каком она стояла полтора-два года тому назад. А как назвать то место, где мы теперь находимся? Это вилла — бесспорно, красивая, но все-таки вилла, это — chalet\*, все что угодно, но не русская усадьба. У меня прислуга вся русская, а у вас садовник — немец, повар — француз, чтица — швейцарка. Правда, платье на вас русское, да и то, я думаю, потому, что оно вроде халата, и вам в нем просторнее.

— Вот, вот она, привычка западников останавливаться на поверхности вещей! — перебил Камнев. — Я действительно заимствую у Европы удобства жизни, но поймите, что суть дела не в этом, а в миросозерцании, в воззрениях, — одним словом, в духовной жизни человека...

— А армяк и плисовые шаровары — это что такое: поверхность или внутренняя жизнь?

Обязанности хозяина помешали Камневу ответить на этот вопрос. Он пригласил гостей перейти в столовую, где уже был накрыт стол с чаем, фруктами, мороженым и всевозможными вареньями. Там, однако, спор возобновился и уже не прерывался вплоть до отъезда. Предсказание Фелицаты не сбылось, т. е. Камнев не поехал в Троицкое, но зато Иван Петрович остался у Камнева и вернулся один только к утру.

Угаров беспрестанно смотрел на часы и с нетерпением ждал минуты отъезда. Теперь он обдумал все фразы своего объяснения

---

\* швейцарский домик (фр.).



и был уверен, что не смутится, произнося их. Но его ждал неожиданный удар. Выйдя на крыльцо, Соня предложила Фелицате сесть в кабриолет и посадила с ней артиллериста, к которому та была равнодушна, а сама схватила за руку Кублищева и повлекла его в рыдван, где уже сидела мать Фелицаты с Маковецким. Угаров поневоле очутился в долгуше кавалером Ольги Борисовны. Он не умел владеть собой, и лицо его выразило такое страдание, что Ольга Борисовна, пристально взглянув на него, улыбнулась своей доброй, полной участия улыбкой. Угаров поблагодарил ее в душе за эту улыбку и с восторгом проговорил с нею всю дорогу, повторяя про себя, что она красивее и добрее своей сестры и что с этого вечера он непременно полюбит ее.

— Пожалуйста, Владимир Николаевич,— сказала она ему, между прочим,— не придавайте значения тем словам, которые отец говорил вчера при вас. Это не он говорил, а его болезнь.

В Троицком, в передней висела военная шинель. Соня тотчас угадала, что это шинель барона Кнопфа. Действительно, барон сидел в гостиной и играл в преферанс с княгиней и Христиной Осиповой. Приехал же он в Троицкое для того, чтобы пригласить все общество на бал, который он устраивал в честь губернатора на следующий день в буяльском городском саду. Опять начались приставания к госпоже Самсоновой, чтобы она отложила свой отъезд. Она не соглашалась, ссылаясь на отсутствие мужа, без которого она будто бы ничего не может решить; но когда Кнопф ей заявил, что, в случае ее отказа, он должен будет отменить бал, этот аргумент так на нее подействовал, что она положила остаться еще два дня, но уже без дальнейших проволочек, в последний раз. Угаров на приглашение Кнопфа отвечал решительным отказом.

— Однако, я не вижу, что вы выиграли пари,— говорил через час после этого Горич, ходя с Соней по бальной зале.— Если бы он был влюблен, он исполнил бы вашу просьбу.

— Во-первых,— отвечала Соня, покраснев от досады,— я его не просила. А во-вторых, если я его попрошу, то он, конечно, согласится.

— Ну, хорошо, мы так и решим. Если Угаров будет завтра на балу, я проиграл; если не будет, проиграли вы.

Горич знал отношения, существовавшие между Угаровым и его матерью, и думал, что он играет наверняка.

Угаров в это время стоял в дверях балкона и инстинктивно следил за Соней.

— Владимир Николаевич, мне нужно поговорить с вами,— сказала ему мимоходом Соня, сходя в сад.

Они направились к гигантским шагам.

— Вы, кажется, на меня обиделись? — спросила ласковым голосом Соня, когда они уселись на скамье,— но, право, я не виновата. Фелицата просила меня уступить ей кабриолет. Не могла же я отказать ей.

— Я не могу обижаться на вас,— отвечал Угаров голосом, полным обиды.— Но мне больно, что вы даже не хотели выслушать

все то, что меня мучило эти дни, что вы, видимо, смеетесь надо мною... Когда я приехал к вам, вы были так со мной любезны, но потом все переменилось. Чем я провинился перед вами?

— Я буду с вами откровенна, Владимир Николаевич. У вас иногда такое мрачное лицо, что мне, право, страшно подойти к вам. Неужели, когда любишь, надо сейчас принимать похоронный вид? Неужели любовь всегда драма?

— Значит, вы поняли, что я люблю вас, и не сердитесь за это? — воскликнул Угаров в полном блаженстве.

— Да, я поняла и не сержусь, и даже считаю себя вправе поэтому обратиться к вам с большой просьбой. Вы ее исполните?

— Если вы потребуете мою жизнь, и та в вашем распоряжении.

— Нет, я ее не потребую, а только прошу вас потанцевать со мною мазурку завтра у Кнопфа.

Угаров побледнел.

— Это совершенно невозможно. Вы ведь знаете, что я уже просрочил два дня. Будет непростительно гадко, если я не проведу с матушкой день моих именин.

— Вы поспеете, ведь бал в Буяльске. Тотчас после бала Абрамыч даст вам свою лучшую тройку...

— Не мучьте меня, княжна; это совершенно невозможно.

— Ну, а если... — начала Соня и замялась.

То, что она собиралась сказать, показалось ей и страшно и стыдно. Она хотела встать и уйти, но после продолжительной борьбы с собою осталась. Очень уж ей было обидно понести поражение перед Горичем.

— Ну, а если, — сказала она почти шепотом, — если повторится то, что было на станции в Буяльске, тогда вы останетесь?

Угаров задрожал, как в лихорадке, и ничего не ответил.

Соня схватила его голову обеими руками, поцеловала его в лоб и убежала, прежде чем он пришел в себя.

Через минуту она тихими, беззвучными шагами взшла на балкон и, проходя мимо Горича, сказала совершенно спокойно:

— Яков Иваныч, вы проиграли пари.

## VII

Марья Петровна весело простилась с сыном и старалась сохранить наружное спокойствие при сестре, но, оставшись одна, она заперлась в спальне, уселась в красное сафьяновое кресло, долго служившее ее покойному мужу, и дала полную волю слезам и горьким думам. Имя Брянских напоминало ей очень тяжелую эпоху жизни. Князь Брянский был другом Николая Владимировича, нередко посещал его в Угаровке, и Марья Петровна питала к нему большое расположение; но все это изменилось с тех пор, как на выборах в Змееве она встретилась с княгиней Брянской — первой красавицей и кокеткой в губернии. Ей показалось, что муж ее неравнодушен к княгине, и чувство ревности — самое сильное, какое она

когда-либо испытала в жизни, — отравило ей целый год существования. Самая крупная ссора с мужем произошла как раз в этот день, 10 июля — семнадцать лет тому назад. Он собирался ехать на бал в Троицкое, несмотря на слезы, мольбы и упреки Марьи Петровны, длившиеся целую неделю. Кончилось тем, что она, как и всегда, победила. Николай Владимирович не поехал, но с тех пор все отношения между Угаровыми и Брянскими прекратились. До Марьи Петровны доходили, правда, темные слухи о похождениях княгини; говорили, что и болезнь князя была последствием семейных огорчений, но Марья Петровна не любила слушать сплетни. «Ну что, бог с ней», — говорила она о княгине и старалась забыть о ней.

И вот, через восемнадцать лет, опять это ненавистное имя врывается в ее жизнь, благодаря Володе. К ее великому огорчению, она даже не знала, из кого состоит семейство Брянских. Она не могла допустить, чтобы Володя поехал за сто верст из дружбы к товарищу, о котором прежде никогда не упоминал ни в рассказах, ни в письмах. Очевидно, кто-нибудь помимо товарища интересуется его в этой семье, — но кто именно? Она не хотела допрашивать сына перед отъездом, и теперь этот вопрос не давал ей покоя. Когда на другой день она сообщила свои волнения Варваре Петровне, та очень спокойно ответила ей:

— О чем же тут беспокоиться, Мари? Завтра Володя вернется и сам расскажет нам.

— Как завтра? — воскликнула Марья Петровна. — Володя сказал, что вернется двенадцатого или тринадцатого. Надо всегда предполагать худшее...

— Ну, в таком случае узнаем послезавтра.

Тринадцатого июля, во время вечернего чая раздался у подъезда звон колокольчика. Марья Петровна бросилась встречать Володю и, к великому разочарованию, увидела Приидошенского. Тимофеич принадлежал также к категории лиц, о которых Марья Петровна говорила: «Бог с ним». Он сам инстинктивно чувствовал это и, чтобы обеспечить себе хороший прием, поспешил заявить, что приехал «с добрыми вестями от Владимира Николаевича», причем подал два письма. Володя писал, что ему очень весело и что он придет непременно 14-го к вечеру. Письмо княгини, написанное крупным корявым почерком, было пространно и безграмотно. Она напоминала Марье Петровне об их старом знакомстве и извинялась в том, что насильно удержала Володю на два лишних дня. К этому она прибавляла: «Впрочем, это ваша вина, что вы воспитали такого милого и прекрасного молодого человека во всех отношениях. Мой бедный муж по своей болезни никого не любит видеть, но и он проводит целые часы в разговорах с Владимиром Николаевичем, и мне было жаль отнять у моего страдальца это утешение». Последняя фраза несколько примирила Марью Петровну с княгиней, а похвалы Володе невольно тешили ее материнское самолюбие. Приидошенский весь вечер расхваливал семейство Брянских, особенно распространялся о красоте и других качествах Сони, которая, по его наблюдениям, очень приглянулась Володе. Марья Петровна была любезна как никогда

с Тимофеичем, накормила его ужином и даже предложила ему ночевать в Угаровке, но он отказался и, уезжая, получил приглашение отпраздновать вместе Володины именины.

На следующий день Володя, по расчету Марьи Петровны, должен был приехать часам к восьми вечера, но уже десять часов пробило, и чай был отпит, а его не было. Марья Петровна сидела с сестрой в диванной на своем любимом месте и раскладывала пасьянс. Ночь была так тиха, что пламя свечей стояло неподвижно, несмотря на широко открытые окна. Пасьянс все не удавался; выходило, что Володя сегодня не придет. Марья Петровна загадала, придет ли он завтра — опять не вышло. Тогда она пустилась на хитрость и загадала, проведет ли он завтрашний день у Брянских, — и пасьянс, несмотря на умышленную рассеянность, вышел блистательно. Марья Петровна с негодованием бросила карты.

— Не понимаю я, Мари, из-за чего ты убиваешься, — сказала Варвара Петровна. — Ну, положим, что Володя не придет, что он влюбился в эту княжну Брянскую, даже женится на ней — какое же в этом несчастье? Ведь должен же он когда-нибудь жениться, ведь Володе двадцать лет...

— Нет, Варя, нет, не говори этого. Ты слышала вчера, она, говорят, похожа на свою мать, а когда я вспомню эти черные глаза, эту вызывающую улыбку... нет, пусть бы он лучше женился на первой горничной... Двадцать лет проводила я вместе с Володей день его ангела, и вдруг из-за этой девчонки...

— Да он, вероятно, еще придет, зачем горевать заранее?

Марья Петровна передвинула кресло к окну. Две липы и несколько кустов сирени отделяли окно от забора, за которым виднелась широкая проезжая дорога. Каждый далекий звук явственно выделялся среди глубокой тишины ночи. Вот где-то далеко-далеко прозвенело что-то вроде колокольчика, прозвенело и замолкло. Вот зашелестели листья, и какая-то большая птица точно свалилась с дерева, сделала перед самым окном круг по воздуху, потом высоко взвилась и исчезла. Какая-то собака хрипло завывала в поле; целый хор собак отвечал ей со стороны деревни долгим пронзительным лаем. Разбуженный собаками сторож ударил два раза в чугунную доску. Потом опять все замолкло...

— Однако, Мари, пойдем спать, — сказала, зевая, Варвара Петровна. — Ведь оттого, что мы проведем ночь без сна, Володя не придет.

— Погоди, Варя, вот теперь наверное кто-то едет. Слышишь?

Хотя очень далеко, но явственно раздавался звон колокольчика, который то замолкал, то приближался; это продолжалось минут десять. Потом послышался стук экипажа, переезжавшего мосток внизу, потом экипаж медленно стал подниматься на крутую гору. Марья Петровна уже ясно слышала храп лошадей, мешавшийся с побрякиванием колокольчика, и скоро увидела высокую фигуру ямщика, курившего трубку, а потом поднятый верх экипажа — не то коляски, не то тарантаса. «Эй, вы, любезные!» — крикнул ямщик,

стегнув кнутом лошадей, и тройка пронеслась мимо ворот по светлой и ровной дороге.

Марья Петровна решила наконец, что Володя не приедет, и ушла в спальню, но долго не могла заснуть. Ей беспрестанно чудился звон колокольчика и слышались какие-то голоса. Только к утру заблудилась она тяжелым тревожным сном.

Первая мысль ее при пробуждении была: не приехал ли Володя, но, увидев грустное лицо своей старой и верной горничной Лукерьи, она даже не решилась спросить об этом. Марья Петровна немедленно оделась и пошла в церковь, построенную ее мужем в нескольких шагах от дома. Когда она подошла к кресту, отец Василий нанес ей первый удар, спросив ее о причине отсутствия дорогого именинника. Второй подобный же удар был нанесен ей Придошенским, приехавшим очень рано. Потом приехал с дочерью Афанасий Иванович Дорожинский, только что вернувшийся из Петербурга. Это был очень видный и представительный господин большого роста, с пышными белокурыми усами, в которых уже пробивалась седина. Он держал голову высоко, манеры имел серьезные, иногда величавые. Варвара Петровна уверяла, что прежде, когда он был простым Афоней Дорожинским, в которого она была влюблена в детстве, манер этих у него не было; но, женившись на дочери откупщика Кабанова, которая скоро умерла, оставив ему большое состояние, Афанасий Иванович начал поднимать голову все выше и выше. «Дайте ему еще немного разбогатеть,— прибавляла Варвара Петровна,— и вы увидите, что глаза у него совсем переедут на затылок». Специальностью Афанасия Ивановича была выгодная покупка имений; увидев Придошенского, он сейчас же повел его в сад, чтобы узнать от него кое-какие нужные ему сведения по этой части.

— Как это странно, *ma tante\**,— говорила тем временем Наташа,— как это странно, что Володя не приехал. Ведь он знает, как вы его любите, как этот день дорог для вас... Нет, это просто непростительно.

Каждое слово Наташи точно ножом резало сердце Марьи Петровны, но она отвечала спокойно:

— Вероятно, что-нибудь важное задержало его. Я не могу и мысли допустить, что Володя сделал это по невниманию или равнодушию...

— Но позвольте, *ma tante*, что же могло быть для него важнее вашего спокойствия? Он этих Брянских почти не знает. Ведь он должен знать, как вы его ждали, как...

— Послушай, Наташа,— заговорила вдруг Варвара Петровна, потерявшая терпение.— Отчего ты так беспокоишься об отсутствии Володи? Если это оттого, что тебе некому закатывать глазки, то успокой себя, пойди в сад, пококетничай с Придошенским. Чем он не мужчина?

Наташа собиралась ответить на это какую-то убийственной дерзостью, и лицо ее уже приняло соответствующее выражение, но, взглянув на Варвару Петровну, она струсила и промолчала.

---

\* тетушка (фр.).

Последним приехал ближайший сосед Угаровых, Степан Степанович Брылков, плотный, коренастый человек с ярко-красным лицом, одетый в синюю венгерку с черными жгутами. Брылков считался родством с целой губернией; Марью Петровну он называл кумой, Дорожинского — братцем. С Придошенским ему было невозможно найти какую-нибудь степень родства, — он называл его земляком. Брылков был очень веселый и добродушный человек, но и он как-то чувствовал себя не в своей тарелке.словно какая-то темная туча висела над всем обществом.

Пробило четыре часа, и Марья Петровна пригласила гостей перейти в столовую, как вдруг раздался стук подъехавшего экипажа и на балкон вбежал Володя с запыленным, но сияющим и радостным лицом.

— Слава богу, поспел к обеду! — воскликнул он, бросаясь на шею к матери.

Перецеловавшись со всеми, Володя ушел переодеться, а Марья Петровна бросилась в спальню. Целый день она делала невероятные усилия, чтобы казаться спокойной и скрывать свое горе, но внезапной радости нервы ее вынести не могли: в судорожных рыданиях упала она на кровать. Через минуту Варвара Петровна стояла уже около нее со стаканом воды и какими-то каплями.

— Полно, Мари, успокойся, выпей это, сейчас пройдет. Будь же молодцом до конца, — уговаривала она ее, как ребенка.

С приездом Володи туча рассеялась, и обед прошел весело. Афанасий Иванович Дорожинский, питавший в душе разные честолюбивые планы, ежегодно ездил в Петербург, чтобы «нюхать воздух», как он выражался. Теперь он тоном снисхождения сообщал свои петербургские впечатления. Там все разговоры были полны близкой войной и посольством князя Меншикова в Константинополь. Манифест о занятии княжеств нашими войсками уже вышел, и война была неизбежна. Что Англия и Франция подстрекали Турцию не исполнять наших предписаний, это казалось всем очень естественным; сердились только на Австрию за ее неблагодарность и двусмысленный образ действий<sup>29</sup>.

— Выбор Меншикова очень удачен, — говорил важно Афанасий Иванович. — Это человек чрезвычайно проницательный, его никто не проведет. Уже после венгерской кампании он предложил выбить медаль крайне остроумную: с одной стороны изобразить портрет государя и надпись: «С нами бог», а с другой стороны портрет австрийского императора и надпись: «бог с ними».

— Bravo! bravo! — закричал Брылков, — да это он, братец, украл у Марьи Петровны. Кума у нас тоже, когда ей кто-нибудь не по нраву, только и говорит: «Бог с ними!»

— Оно и лучше, — отозвалась Марья Петровна. — Не судите, да не судимы будете.

— Ну, это вы, кума, напрасно. Судите или не судите, — это ваше дело, а вас другие все-таки пересуживать будут. На том свет стоит.

Остальную часть обеда Брылков посвятил приставаниям к Придошенскому.

— Ну, насмешил меня сейчас Тимофеич,— рассказывал он с громким хохотом.— Надо вам сказать, что когда я еще мальчишкой был, он, бывало, все клянчил у покойного батюшки: «Дайте мне, Степан Петрович, четверичок яблочков для моих ребятишек». Только представьте себе, сегодня пред обедом просит он меня, чтобы я ему позволил прислать к Успеневу дню работника за яблоками. Я его спрашиваю: «зачем тебе яблоки?» А он мне опять: «для ребятишек, Степан Степаныч!» Ну, объясни ты теперь нам всем, землячок: какие такие ребятишки у тебя могут быть? Сорокалетние, что ли?

— Что делать, Степан Степаныч, одарил бог плодородием,— отшучивался Придошенский, порядочно выпивший к концу обеда.

Когда гости разъехались, а Варвара Петровна ушла в свою комнату, чтобы не мешать «влюбленным», как она называла мать и сына, Угаров дал Марье Петровне подробный отчет о своем путешествии. Он рассказал ей все, решительно все... кроме своей любви к Соне. Почему это так случилось, он и сам не понимал: какая-то непреодолимая сила удерживала его всякий раз, как он хотел коснуться того, что составляло главный интерес его жизни. Раз он едва не выговорил страшного слова, но как нарочно в эту минуту Марья Петровна остановила его.

— Ну, завтра еще наговоримся, дружок мой Володя, а теперь ступай спать, ты ведь двое суток не спал...

Володя действительно чувствовал сильное утомление, но спать ему не хотелось, и, когда он пришел в свою комнату, ему показалось там так тесно и душно, что он сошел в сад и незаметно дошел до своего любимого места, около пруда. Он улегся на траву, прислонил голову к стволу старой липы и долго лежал так, с жадностью вдыхая свежесть ночи, слушая неугомонное, беспокойное кваканье лягушек и глядя на усеянное звездами небо. Он был в том особенном состоянии полусна и полубдения, когда физическая усталость одолевает человека и когда в то же время ему жаль заснуть, жаль потерять нить приятных мыслей и воспоминаний. Но и воспоминания Угарова были также чем-то вроде сладкого пятидневного сна. Самой светлой точкой этого сна был последний, вчерашний день. И все утро в Троицком и вечером в Буяльске Соня была с ним очаровательно ласкова. Она, видимо, оценила жертву, которую он ей принес, и хотела показать ему это. И как она была красива в белом бальном платье! Ободренный ее лаской, Угаров вполне «объяснился», сказал, что безумно ее любит, что вся жизнь его принадлежит ей. Теперь ему казалось непостижимым, как он решился произнести эти слова. По окончании мазурки она сама напомнила ему о том, что пора ехать, и оказалось, что у Абрамыча, по просьбе Сони, была уже приготовлена для него тройка. За это теперь он был ей особенно благодарен, потому что в Буяльске он был в таком сердечном опьянении, что мог совсем не уехать. Последние слова ее были: «До свидания! нет, лучше — до многих свиданий».

Правда, были в этом светлом сновидении кое-какие черные точки. Самой черной точкой был Горич. Вообще и в лицее у Угарова были странные отношения с Горичем: он то был с ним дружен

и откровенен как ни с кем, то чувствовал к нему охлаждение, граничившее с ненавистью. Теперь он испытывал к нему страшную, безумную ревность; более всего обидно ему было то, что Соня говорила с Горичем каким-то условным, для них одних понятным языком. Что она переговаривалась так с Сережей, это Угаров допуская; но какие намеки, какие тайны могли существовать между нею и Горичем? Второй черной точкой была княгиня; в последние дни она вела себя как-то непонятно. Она сделалась до того приторно-любезна с Угаровым, что он несколько раз готов был обидеться, принимая ее выходку за насмешку. Вчера, когда во время мазурки Горич выбрал Соню, а Угаров беспокойными взорами следил за уходившей парой, княгиня подошла к нему и сказала ему с улыбкой:

— Вижу, вижу, молодой человек, как вы любуетесь Соней. Не краснейте, тут ничего дурного нет. Вот так-то ваш батюшка когда-то любовался мною... Что делать, всем свой черед...

Этот намек княгини на любовь к ней Николая Владимировича Угарова,— любовь, о которой он что-то слышал в детстве, был ему очень неприятен. Но и Горич и княгиня тонули в том море счастья, которое он чувствовал вокруг себя. Шесть дней тому назад он так же сидел у этой липы и так же мечтал о Соне. Но какая разница! Тогда это было только смутное предчувствие того, что теперь уже осуществилось.

Наконец, Угаров решил, что пора идти спать. Подходя к дому, он увидел в спальне матери свет, блеснувший ему ярким упреком. «Боже мой,— думал он, стоя перед этим освещенным окном,— зачем я не рассказал всего той, которая живет только для меня, которую я сам люблю больше всего на свете? Двадцать лет мы жили душа в душу; неужели же любовь к Соне может поколебать это святое чувство? Я воображаю, как она мучилась вчера, ожидая меня, и — что же? Я не услышал ни одного слова упрека, не увидел строгого или недовольного взгляда. Вот и теперь она не спит, все обдумывает, может быть, догадывается... Да и отчего мне не рассказать ей всего? Ведь любовь — самый лучший цвет, самая светлая радость жизни... Моя мать может быть только счастлива моим счастьем...»

Володя решительным шагом вошел в дом и постучался в спальню матери.

— Это я, мама, можно войти?

— Войди, войди, Володя... Что с тобою? — раздался встревоженный голос Марьи Петровны.

Она сидела на своем красном кресле и перебирала старые письма. Володя придвинул маленький табурет и сел возле нее.

— Милая мама,— сказал он, целуя у нее руку,— прости меня. В первый раз в жизни я обманул тебя, то есть не обманул, а хотел скрыть то, чего не должен и не могу скрыть. Я люблю Соню всеми силами души моей, моя жизнь принадлежит ей, рано или поздно она будет моей женой.

Если бы Володя Угаров мог быть посторонним и беспристрастным наблюдателем того, что происходило в спальне Марьи Петровны, он никак бы не догадался, что между сыном и матерью шла речь



о лучшем цвете, о самой светлой радости жизни. Сам он рыдал, прильнув головой к плечу матери, а Марья Петровна, в белом капоте и белом чепце, из-под которого беспорядочно выпадали пряди седых волос, с побелевшим от испуга лицом, крестила его дрожащей рукой, как крестят человека, обреченного на верную и неминуемую гибель...

## VIII

На следующий день, за утренним чаем, Марья Петровна рассказала сестре сцену в спальне с таким трагическим освещением, так красноречиво повествовала о слезах и отчаянии Володи, что даже Варвара Петровна несколько смутилась. Вообще Марья Петровна смотрела на сына как на тяжкобольного. Был отдан строгий приказ не будить Володю и мимо его комнаты ходить не иначе как на цыпочках. Осведомившись у сестры, какой она заказала обед, и узнав, что заказаны окрошка и бараний бок с кашей, Марья Петровна пришла в ужас, велела все это отменить и сделать самый легкий обед. Около одиннадцати часов вошел старый Андрей и с таинственным видом сообщил, что молодой барин изволили проснуться и позвонить и что Павлушка пошел к ним. Марья Петровна заволновалась.

— Андрей, снеси сейчас Владимиру Николаевичу чаю... Нет, погоди, принеси сначала вишневого варенья...

Пока Андрей ходил за вишневым вареньем, Марья Петровна передумала.

— Нет, Андрей, ты лучше войди и спроси, хочет ли Владимир Николаевич пить чай у себя или, может быть, придет к нам...

Через минуту Андрей вернулся с известием, что «Владимир Николаевич изволили взять простыню и пошли с Павлушкой купаться».

— Ах, боже мой, как же это купаться? Хорошо ли это при душевных потрясениях?

Волноваться пришлось Марье Петровне недолго. Скоро Володя вошел такой свежий, здоровый и веселый, каким его давно не видали. Тетя Варя, посмотрев на него, невольно расхохоталась и махнула рукой на сестру. Снова начались рассказы о поездке — более подробные, чем вчера. Марья Петровна, очень любившая музыку и стихи, отнеслась с большим сочувствием к препровождению времени в Троицком. Камнева она не знала, но много о нем слышала и была очень довольна тем, что Володя был у такого замечательного человека. Через несколько дней она примирилась и с Соней, и любовь Володи уже интересовала ее как роман. По его просьбе она написала княгине очень любезное письмо, в котором благодарила за гостеприимство, оказанное ее сыну. Впрочем, в самых искренних признаниях всегда бывает какой-нибудь уголок картины, тщательно скрываемый рассказчиком; так и Володя промолчал о втором поцелуе и о словах княгини относительно его отца.

После долгих обсуждений на семейном совете Володе было объявлено следующее решение. До выпуска он не должен ни говорить,

ни думать о женитьбе. После выпуска, который совпадет с его совершеннолетием, он придет в Угаровку, объедет все свои владения, и Варвара Петровна сдаст ему дела, а сама поселится на покой в Марьином-Даре. Конечно, первое время она будет руководить его хозяйственной деятельностью. Затем, после ввода во владение, Володя, если к тому времени чувства его не переменяются, может сделать предложение княжне Брянской. Володя согласился на эти условия, но протестовал против того, чтобы сделаться собственником при жизни матери.

— Неужели, мама, ты считаешь меня недостойным быть твоим управляющим? — сказал он обиженным голосом.

— Ну это, Володя, как хочешь, — отвечала Марья Петровна, — за кем бы ни считалось наше состояние, оно все равно твое. Ведь я замуж не выйду.

В начале августа совершенно неожиданно приехали в Угаровку Сережа Брянский и Горич. Сережа сразу пленил обеих хозяек. Молчаливый дома, он в гостях болтал без умолку и очень мило пел французские песенки Надó<sup>30</sup>, входившие тогда в моду в Петербурге. Горич сначала понравился меньше и показался фатом; сверх того, Марья Петровна, уже вполне вошедшая в сердечные интересы своего сына, не забывала ревности, мучившей Володю. Но Горич был так остроумен и умел в легком разговоре выказать столько разнообразных познаний, что с ним скоро примирились, и через три часа после приезда он уже вступил в оживленный спор с Варварой Петровной о литературе. Сам Володя совсем забыл свою ревность и от души был рад приезду товарищей. Невольно краснея, он спросил: здоровы ли все в Троицком? Ему ответили, что Троицкое совсем опустело, что в конце июля Ольга Борисовна уехала в Польшу, где тогда стоял полк, которым командовал ее муж, и увезла с собой Сою. Это известие как громом поразило Угарова: он надеялся, возвращаясь в Петербург, хоть на несколько часов заехать в Троицкое.

На другой день Марья Петровна, хлопотавшая о том, чтобы доставлять развлечения своим гостям, предложила им съездить к Дорожинским, у которых ни она, ни Володя не были все лето. Варвара Петровна наотрез отказалась от поездки.

— Вас как раз четверо, чтобы ехать в большой коляске, — отговаривалась она, — а запрягать для Афоньки два экипажа не стоит.

Усадьба Афанасия Ивановича Дорожинского была такая, какая часто бывает у уездных предводителей дворянства, желающих попасть в губернские. Старый каменный дом был и сам по себе слишком велик для помещика, живущего с одной дочерью, но к дому еще примыкали с двух сторон большие деревянные пристройки недавнего происхождения, с крытыми галереями и красивыми павильонами по бокам. Флаги и гербы красовались везде, куда только можно было их поместить. Иные комнаты, еще не вполне отделанные, как бы говорили гостям: «Вот увидите, как мы разукрасимся, когда вы почтите нашего хозяина своим выбором». Афанасий Иванович

встретил гостей с великой любезностью; Наташа убежала переодеться и через несколько минут вошла в обольстительно-небрежном летнем платье, извиняясь за свой костюм и говоря, что ее застали врасплох. Желая окончательно покорить Володю, она начала кокетничать с красивым князем; Сережа по привычке выказывал ей полную взаимность, и к обеду Наташа была уже по уши влюблена в него. Обедать приехал еще Иван Иванович Койров, предводитель одного из дальних уездов — толстый, плешивый старик, с прыгающими глазами и очень короткой шеей. Афанасий Иванович принял его с большим почетом, так как он пользовался неограниченным влиянием в своем уезде.

Не успели еще отпить кофе после обеда, как Наташа, узнав, что Сережа поет, увела его в свою маленькую гостиную, чтобы разучить вместе какой-нибудь дуэт; к величайшей ее досаде, мисс Рэг последовала за ними. Наташа пела с большим чувством и охотно фальшивила, а мисс Рэг, относившаяся вообще к своей воспитаннице весьма строго, обожала ее пение. Дуэта подходящего не оказалось, но Наташа пропела почти весь свой репертуар. По-видимому, фальшивые ноты не жили слух суровой англичанки, потому что она все время одобрительно покачивала в такт головой, а когда певица кончила свой любимый романс очень высокой нотой, причем взяла его полутонем ниже и страшно закатила глаза, мисс Рэг не могла сдержать своего восторга и несколько раз повторила: «Oh, splendid, splendid!..»\*

Афанасий Иванович тем временем развивал на балконе свои хозяйственные теории.

— Вот жаль, что моя милая кузина не любит ходить, а то бы я предложил вам пойти посмотреть на новую веялку, которую я выписал из Англии. Я знаю, что есть люди, которые смеются над моими реформами в хозяйстве (под этими людьми он разумел Варвару Петровну). Они говорят: надо хозяйничать по старине, новизна не привьется. А я говорю: надо только уметь привить ее. Мужик не умеет действовать машиной — на это есть мастера и учителя; мужик не любит машину и умышленно ее портит — на это есть меры строгости. Вот у меня в одном имении действительно мужики испортили американский плуг, но я так с ними расправился, что вперед, не беспокойтесь, портить не станут ни в одной моей деревне. В политике я, конечно, крайний консерватор, но в хозяйстве могу себе позволить быть прогрессистом.

Афанасий Иванович долго говорил на эту тему, приводя разные примеры и хвастая добытыми результатами. Он поочередно обращался ко всем гостям, но говорил исключительно для Володи. Он давно решил, что Володя женится на Наташе, и захотел заранее внушить ему свои хозяйственные воззрения и поколебать авторитет Варвары Петровны.

— Не так ли, почтеннейший Иван Иванович? — обратился он в заключение к Койрову.

---

\* О, великолепно, великолепно!.. (англ.)

Койров, все время сопевший на большом кресле, которое для него перетащили из гостиной, ответил нехотя:

— Так-то так, а все-таки скажу, что все эти иностранные сеялки и веялки гроша медного не стоят...

Афанасий Иванович не захотел спорить с влиятельным предводителем и предложил ему посмотреть на выводку лошадей. Пришлось переселиться на другой балкон, выходящий на большой двор, усыпанный песком и щебнем. Марья Петровна смотрела на эти выводки как на необходимое, но тяжкое зло; она говорила, что все лошади, по ее мнению, на одно лицо, и что все кучера притворяются, будто еле могут их сдерживать. Выводка перед балконом была со стороны Дорожинского уступкой для Марьи Петровны: он предпочитал водить гостей к коншням.

— У вас большой завод, Афанасий Иванович? — спросил Сережа, с детства знавший толк в лошадях.

— Не то чтобы большой, а так, есть кое-какие лошаденки, — отвечал тот с ложным смирением.

— Да, да, рассказывайте! — воскликнул Койров. — Я столько слышал про ваш завод, что, по правде сказать, только для того и приехал к вам, чтобы посмотреть...

Дорожинский мог бы обидеться за эти слова, но они доставили ему такое удовольствие, что он даже не в силах был скрыть его и самодовольно улыбнулся.

Выводка началась со ставки трехлеток, сначала серых и вороных, а потом караковых, гнедых и рыжих. Соблюдалась постепенность относительно роста: самые большие приберегались под конец. Потом перешли к заводчикам и маткам. Афанасий Иванович зорко всматривался в гостей при каждой новой выводке. Если они сейчас же начинали восхищаться, он только мотал головой в знак согласия и скромно прибавлял: «от Вязочура и Стрелки» или: «этот заводчик Шишкинский»; если же гости медлили с похвалами, он не выдерживал характера и восклицал сам: «какая сухость! что за нога!» или: «прошу обратить внимание на подпругу, кость». Если особенно хвалить лошадь было невозможно, Афанасий Иванович напирал на ее породистость или резвость.

— Этот Атласный ведь сын знаменитого Лебеда, и представьте себе, что уже теперь он четвертушки делает без двух.

— Какие четвертушки? Что это значит, Наташа? — спросила шепотом Марья Петровна.

— Ах, та tante, как же вы этого не понимаете? Это значит, что лошадь делает четверть версты в минуту без двух секунд.

По поводу Атласного Сережа упомянул с похвалой о малинском заводе, бывшем верстах в тридцати от Троицкого.

— Полноте, полноте, князь! — воскликнул с укором Афанасий Иванович, — какой же это завод! При покойном Петре Гавриловиче Малинине у них, бесспорно, были хорошие лошади, а теперь ничего не осталось. Я в прошлом году заезжал туда и видел пресловутого Полкана, которым они так гордятся. Ну да, конечно... он элегантен,

видна верховая кровь, но в нем тела мало, да и спины нет. Впрочем, вся эта порода — бесспинная.

Сереза счел долгом заступиться за малининский завод, очень популярный в северных уездах Змеевской губернии. Это привело Афанасия Ивановича в крайнее раздражение, которое обрушилось на конюха, выводившего в эту минуту рослого рыжего жеребца.

— Васька, отчего Луч плохо вычищен? — произнес он спокойным, но строгим голосом, подходя к лошади.

Васька побледнел и выпустил несколько невнятных слов.

— Разве так чистят? Ты даже не выбрал из-под копыта... Позвать мне Семена!..

Смотритель завода, Семен, маленький, толстый и рябой человек в кучерском армяке, немедленно подбежал к Афанасию Ивановичу, который что-то шепнул ему, указывая на Ваську.

Гости догадались, что бедному Ваське грозило немедленное наказание. Догадка эта подтвердилась, когда Дорожинский, возвращаясь к балкону, сказал как бы в виде извинения:

— Что делать! с этим народом иначе поступать нельзя.

Затем он с улыбкой начал разъяснять качества рыжего жеребца, уже переданного Васькой в руки другого конюха.

— Этот Луч представляет интересное явление. Отец его, Геркулес, был вороной, а мать, Пава, серая; дед, Удалой, которого вы, Иван Иванович, может быть, помните — он взял несколько призов в Москве, — был также вороной, и только прадед, знаменитый Кролик, был рыжий...

По окончании выводки Афанасий Иванович предложил гостям пойти взглянуть на табун. Койров с радостью согласился, но Марья Петровна объявила, что хочет доехать засветло домой, и уехала со своими спутниками. Наташа на прощанье заставила Серезу обещать ей, что будущим летом он приедет к Дорожинским на несколько дней и привезет с собой пять-шесть дуэтов.

Когда Угаров рассказал тетке сцену выводки лошадей и эпизод с Васькой, Варвара Петровна пришла в большое негодование.

— Врет он, нагло врёт, что с народом нельзя поступать иначе. Я больше тридцати лет занимаюсь хозяйством, да и как занимаюсь! Не из гостиной или кабинета, как иные помещики, а сама лично вхожу в каждую мелочь. И что же? во все тридцать лет мне ни разу не пришлось присудить кого-нибудь к телесному наказанию.

— Вы-то, конечно, не присуждали, — возразил Горич, — а можете ли вы поручиться за то, что ваши приказчики и управляющие никогда не драли мужиков?

— Конечно, не могу поручиться. Скажу более: я даже убеждена, что драли, это у них уже вошло в систему, но повторяю, что сама никогда не видела в этом надобности. Да ведь вот что всего противнее в этом Афоньке, — продолжала она, более и более раздражаясь: — я скорей еще понимаю, что человек вспылит, выйдет из себя и тут же ударит другого человека — благо, может это сделать безнаказанно... но отдавать подобные приказания спокойно и хладнокровно, сохраняя

свои величавые манеры, и улыбаясь, и читая родословные таблицы своих поганых жеребцов,— вот что гнусно!

— А не лучше ли так устроить, Варвара Петровна,— продолжал Горич,— чтобы ни хладнокровно, ни в пылу раздражения нельзя было бить других людей безнаказанно?

— Вы говорите про «волю»? Я об этом и читала и много говорила и, по правде сказать, очень бы желала, чтобы это устроилось. Но только поверьте, что мы с вами этого не увидим, и дети ваши не увидят; но ваши внуки — те, может быть, увидят.

Горич начал доказывать своевременность «воли»; возник ожесточенный спор. Марья Петровна, беспокойно озиравшаяся с тех пор, как начался этот опасный разговор, убедила их спорить, по крайней мере, по-французски. Спор продолжался до двух часов ночи, и все остались при своих мнениях.

После ужина Сережа уехал, говоря, что ему нужно быть рано утром в Змееве, чтобы совершить какую-то купчую крепость, а также исполнить и другие поручения княгини. Горич остался еще на одни сутки в Угаровке.

— С каких пор Сережа сделался таким деловым человеком? — спросил Угаров у Горича, когда они улеглись спать.

— Однако ты наивен, Володя! — отвечал Горич.— Неужели ты всему этому поверил? Да если Сережу хорошенько позэкзаменовать насчет купчей крепости, он недалеко уйдет от той барыни, которая сказала, что это такая крепость, из которой купцы стреляют. А на самом деле он завтра в Змееве собирается скорее брать крепость, чем совершать ее. Надо тебе сказать, что, по случайному стечению обстоятельств, баронесса Кнопф придет завтра в Змеев делать некоторые покупки, необходимые для похода; ни муж, ни его адъютант не могут ее сопровождать, потому что у них, тоже по странной случайности, назначен завтра смотр.

— Да, ну, теперь я понимаю... Так, пожалуй, я и вашим приездом обязан баронессе?

— Ну нет, мы и без того к тебе собирались, но только, конечно, баронесса поспособствовала... Опять-таки надо правду сказать, что после отъезда Ольги Борисовны и княжны в Троицком началась невыносимая тоска. Старый князь целый день стучит костылем, сжимает кулаки, прокликает и ругается скверными словами...

— На кого же он так сердится?

— Добро бы сердился на кого-нибудь из нас, тогда можно бы было что-нибудь предпринять, чтобы его успокоить, а то, представь себе, он сердится на Австрию; согласись сам, что тут мы уж ничего не можем сделать. Дошло до того, что накануне нашего отъезда он велел отслужить благодарственный молебен... как ты думаешь, за что? За то, что шесть лет тому назад его хватил «кондрашка». Мы думали, что он окончательно с ума спятил, но потом он нам разъяснил все. «Понимаете ли,— говорит,— если бы со мною тогда не произошло удар, я бы наверно участвовал в венгерской кампании<sup>31</sup>, и теперь совесть меня бы мучила, что я хоть одного венгерца убил в пользу этих подлецов и мерзавцев...»

— Ну, а с тобою стал любезнее?

— Да, теперь помирился, может быть, оттого, что я ему стал нужен. Чтобы следить за войной, он выписал все газеты; вот мы и читаем ему по очереди с Сережей. Сам он читать не может; княгиня как прочтет десять строк, так сейчас засыпает, а у Христины Осиповны немецкий акцент, которого он не переносит, да, сверх того, она дура невообразимая. Читает она ему на днях из «Северной пчелы»: <sup>32</sup> «Советуем французам вспомнить пример Карла-хи...» Князь начинает сердиться: «Кто такой Карл-хи?» — «Не знаю, князь, так напечатано». — «Не может быть, покажите...» Оказалось, что речь шла о Карле XII <sup>33</sup>, а Христина римских цифр не знает и прочитала «хи», и из-за этого «хи» произошла целая катастрофа... Умора, да и только!

— А скажи, пожалуйста, Горич, отчего Соня, то есть княжна, уехала из Троицкого?

— Не знаю; это произошло по каким-то высшим соображениям Ольги Борисовны; она настояла на этом.

— Но ведь Ольга Борисовна такая умная и прекрасная женщина; у нее, вероятно, были веские причины...

— Не сомневаюсь ни в великих качествах Ольги Борисовны, ни в вескости ее причин, но только этих причин не знаю.

— Ну, а сама княжна желала уехать?

— Вот видишь, Володя, если ты мне дашь ключ к уразумению того, что желает и чего не желает княжна Софья Борисовна, я тебе при жизни памятник воздвигну.

— Признайся, Горич, ты влюблен в княжну?

— Прощай, Володя, пора спать.

После отъезда Горича время полетело с такой ужасающей быстротой, что Угаров не заметил, как настал день отъезда и для него.

— В последний раз вижу тебя лицеистом,— говорила ему на прощанье Марья Петровна,— и молю бога только об одном, чтобы ты и в своей свободной жизни остался таким же, каким был и до сих пор.

Какое-то грустное, щемящее чувство испытывал Угаров в Буяльске, проезжая мимо городского сада, где он в последний раз видел Соню, и входя на станцию, где он впервые узнал о ее существовании. Абрамыч сообщил ему, что Сережа и Горич еще третьего дня уехали в Москву и что вчера княгиня завтракала на станции вместе с Христиной Осиповной, после чего уехали куда-то на две недели. В Троицком, где месяц тому назад было так многолюдно и весело, оставался теперь один князь Борис Сергеевич, окруженный газетами, которых никто ему и читать не мог.

В Петербурге, в лицее, жизнь потекла для Угарова обычным порядком. Несколько раз в течение осени он получал поклоны от Сони через Сережу, бывшего в деятельной переписке с сестрой. Раз Сережа показал ему письмо, в котором было сказано: «Если Угаров не забыл меня, скажи ему, чтобы он мне написал, как он проводит время». Через три дня после этого Угаров вручил Сереже, для пересылки сестре, послание в восемь страниц большого формата. Это

послание, на сочинение которого Угаров употребил более двух суток, было, по его мнению, очень остроумно и в то же время очень нежно, хотя о любви не было упомянуто ни слова. На это послание ответа не последовало, и поклоны прекратились. Потом подошли экзамены, заказы платья, совещание о будущей службе, наконец — выпуск и акт, и все эти важные события если и не изгнали совсем из его сердца, то все-таки значительно заслонили пленительный образ девушки-сфинкса.

## IX

В начале января, в пятом часу морозного и ясного дня, к подъезду известного ресторана Дюкро, на Большой Морской, то и дело подъезжали простые извозчики, а изредка и красивые «собственные» сани. Из саней выходили молодые люди, по всем признакам только что оперившиеся. Иные, небрежно сбросив шинели или пальто на руки швейцара, останавливались на минуту у большого зеркала и, приведя в порядок волосы, самоуверенно шли дальше, выказывая полное знание местности; другие, никогда не бывшие прежде в этом ресторане, бросали кругом растерянные взгляды и не знали, куда им деваться. Старый татарин, стоявший у буфета, указывал им дверь в коридор и говорил: «пожалуйста наверх». В общей комнате, налево от входа, сидел ротмистр Акатов, известный всему Петербургу под именем Васьки, — один из самых преданных посетителей ресторана: можно смело сказать, что он жил у Дюкро, отлучаясь только по делам службы или в театр.

— Абрашка, — спросил он у старого татарина, — что это у вас так много народу сегодня?

— Это, ваше сиятельство, лицеисты свой выпуск празднуют. В большой зале на двадцать восемь персон обед заказан.

— Экие болваны! — обругал их неизвестно за что Акатов. — Туда же... празднуют выпуск, а от двух рюмок, верно, все будут лежать под столом.

— Оно точно, ваше сиятельство, дело молодое, непривычное... Скоро над головой Акатова раздалось стройное пение.

— Это еще что такое?

— Это, ваше сиятельство, молитва. Так у них заведено: как, значит, в лицее было, так и здесь.

— Скажите, пожалуйста! Тоже... певцы...

Васька Акатов был не в духе. Он много пил, но ничего не ел за завтраком и уже давно поджидал какого-нибудь приятеля, с которым мог бы пообедать. Наконец ему надоело ждать.

— Абрашка, принеси мне обед — тот, что для этих дураков заказан.

— Осмелюсь доложить, — сказал татарин почтительным шепотом: — это тот самый двухрублевый обед, что по карте написан; хозяин только названия переменял и кой-куда трюфелю положил, а берет по пятнадцать рублей с персоны, без вина.



— Все равно, принеси... И бутылку заморозь.

Акатов начал есть, прислушиваясь от скуки к тому, что происходило наверху. Когда там возвышались голоса, двигались стулья или раздавалось громкое «ура», он пожимал плечами и презрительно заглядывал на потолок, крутя свои длинные рыжеватые усы.

Акатов заблуждался. Много там наверху предложено тостов, много выпито рюмок и стаканов, но никто из обедавших не валялся под столом. Только глаза разгорелись и речи делались оживленнее. Их было двадцать семь человек — в свежих сюртуках и пиджаках, со свежими, еще не помятыми жизнью лицами; трое из них были в военных мундирах. Двадцать восьмой был воспитатель Иван Фабианович, сидевший на почетном месте, — полный, плешивый господин, с золотыми очками и чальми бакенбардами, зачесанными кверху. Центром средней группы был Андрюша Константинов — любимец всего выпуска, едва не подбивший всех поступить в военную службу. По его же инициативе лицеисты сложились и собрали 1500 рублей на военные потребности — пожертвование, которое тогда наделало много шума. Он был среднего роста и не особенно красив, но во всем его смуглом лице, а особенно в больших карих глазах было столько доброты и отваги, что обаяние, им производимое, делалось понятно с первого взгляда. Рядом с ним помещался маленький рыженький Гуркин, которого в лицее звали адъютантом Константинова: он, очевидно, и теперь оставался верен своему званию и ехал вместе с Андрюшей в действующую армию. Третий военный был младший брат Константинова — высокий и стройный юноша, с нежными, почти детскими чертами лица. Он сидел поодаль, пригорюнившись, и тихо разговаривал с двумя товарищами. Несколько раз в течение обеда на его глазах навертывались слезы, которые он поспешно вытирал то платком, то салфеткой. Ему, видимо, не хотелось уезжать, и он отправлялся на войну, только подчиняясь авторитету брата.

— Где-то мы будем с тобой завтра, Андрюша, в это время? — говорил Гуркин, опоражнивая залпом стакан шампанского.

— Завтра-то будем на железной дороге, это не хитро угадать, а вот через две недели, в это время, может быть, нас и совсем не будет.

— Что с тобою, Константинов, — возразил аккуратный Миллер, — через две недели вы никак не можете попасть в сражение. Считай по пальцам. Завтра вы выезжаете — день; послезавтра вы в Москве — два...

— Ну, что там считать, — отвечал, вставая, Константинов и пошел к группе, сидевшей во главе стола.

Рядом с Иваном Фабиановичем помещался барон Кнопф, первый воспитанник, вышедший с золотой медалью; несколько других, преимущественно из благонравных, окружали их.

— Вы, господа, меня довольно знаете, — говорил воспитатель, вытирая клетчатым платком лицо и лысину, — я никогда вам не льстил и теперь скажу правду: напрасно вы директора не пригласили на обед. Он хороший, очень хороший человек.

— Да мы были бы очень рады пригласить его, Иван Фабианович, — отвечал Кнопф, — но многие были против него за то, что он

сбавил три балла из поведения Козликову. Тот вышел двенадцатым классом...<sup>34</sup>

— Это жаль, очень жаль, но Козликов сам виноват: он получил шестерку из уголовного права; директор тут ни при чем.

— Не кривите душой, Иван Фабианович! — сказал подошедший в это время Константинов. — Вы знаете очень хорошо, что Козликов перестал заниматься оттого, что ему все равно не хватило бы баллов на десятый класс. Нет, уж вы не оправдывайте директора. За два месяца до выпуска сбавил три балла, да еще за какой вздор: за курение, — это черт знает что!

Козликов, о котором шла речь, сидел один на противоположном углу стола и даже не прислушивался к тому, что о нем говорили. Целых два месяца козликовская история была у всех на устах, но ему от этого не было легче. Отец у него был очень строгий и, узнав о том, что сын выходит двенадцатым классом, запретил ему показываться на глаза. Теперь Козликов занимался тем, что беспрестанно подливал в свою чашку кофе и отпивал большими глотками. Константинов подсел к нему.

— Ну, что, козленок, нюни распустил? Все перемелется, — поверь мне.

— Нет, голубчик Андрюша, для меня не перемелется, — такой я уж несчастный человек.

— Знаешь что, козленок, поедем с нами завтра на Дунай; отличишься на войне, так и Кнопфа перегонишь.

— Ах, как бы это было хорошо, Андрюша! Да нет, это невозможно, у меня и денег нет ни копейки.

— Вот вздор какой! Коли для трех довольно, так и четвертому хватит. Приедем к дяде, он тебя прямо в свой полк примет.

— Спасибо тебе, Андрюша, только это невозможно: отец проклянет меня; я совсем несчастный человек.

— Ну, как хочешь, только помни одно: если слишком скверно будет, пиши ко мне или приезжай прямо. Я все устрою...

Константинов налил два стакана, чокнулся и облобызался с Козликовым и пошел дальше к группе, в которой ораторствовал Горич. Между тем татары убрали со стола посуду и пустые бутылки и внесли громадную чашу для жженки. Иван Фабианович перешел со своей компанией к фортепиано, у которого уже сидел цветущий и радостный Сережа Брянский и напевал вполголоса:

J'étais lorette, j'étais coquette,  
Mais qu'ils sont loin, mes beaux jours d'autrefois!  
La république démocratique  
A détrôné les reines et les rois! \*

— Нет, Горич, уши вянут от того, что ты говоришь, — раздался голос Константинова. — Господа, послушайте: Горич уверяет, что единственной целью нашей жизни должна быть карьера...

\* Я была лореткой, я была кокеткой,  
Но как далеки эти прекрасные дни!  
Демократическая республика  
Свергла королей и королей! (фр.)

— Позволь, Константинов, я никогда этого не говорил, будь добросовестен. Я говорил, что целью *моей* жизни будет карьера...

— Это все равно.

— Нет, это большая разница. Во-первых...

Но Константинов не слушал возражений.

— Я еще понимаю, если это говорят люди хотя почтенные, но старые, одним словом, отцы наши. Но в двадцать лет пренебречь всеми идеалами добра и самоотвержения для карьеры — это свинство и гадость.

Горич переменялся в лице, но тотчас сдержал себя и продолжал спокойно:

— Если ты хочешь ругаться — ругайся; а если хочешь говорить серьезно, то слушай, по крайней мере.

— Ну, хорошо, я слушаю.

— Видишь ли, идеалы жизни должны сообразоваться с обстоятельствами. У тебя большое состояние, родителей нет, и ты, вместо того чтобы кутить и веселиться, едешь на войну... Это, конечно, самоотвержение, но оно тебе легко. Будь я на твоём месте, я, может быть, сделал бы то же самое. Я говорю: может быть, потому что хочу быть совсем добросовестным. Мое положение совсем другое... да, впрочем, что скрывать между товарищами? Мой отец — дряхлый старик, живет одной пенсией. Что же я должен делать? Отнимать у него последние гроши и заниматься самоотвержением, или добывать хлеб самому, иначе говоря — делать карьеру? Вот я и выбрал карьеру.

— Выбрал, выбрал... Надо, чтобы она тебя выбрала... Почему ты так уверен, что сделаешь карьеру?

— Уверен, потому что сильно этого хочу.

— Ну, уж это — извини меня — самонадеянность.

— Да, самонадеянность, и я имею на нее право. Вспомни, кем я был, когда поступил в лицей. Профессорским сыном, самым, что называется, замарашкой. Все надо мной смеялись, никто из вас не мог пройти мимо, чтобы не дать мне тумака. Когда мне пошел шестнадцатый год, я осознал свое положение, решил изменить его, и — что же? Под конец не только не смеялись надо мной, но меня же многие считали фатом и забиякой. Так вот, если я пятнадцатилетним мальчиком решил радикально изменить и себя и свои отношения с целым классом и достиг этого, то и в двадцать лет могу велеть себе сделать карьеру...

— Но ведь ты знаешь, что такое значит: сделать карьеру? Это значит: стараться нравиться начальству, творить всякие подлости и гадости... Отвечай: согласен ты на это?

— Позволь, пожалуйста...

— Нет, ты отвечай одним словом: да или нет.

— Я не могу отвечать одним словом на два вопроса. Согласен ли я стараться нравиться начальству? Да, согласен. Согласен ли я творить всякие подлости и гадости? Нет, не согласен и не буду.

— А разве подольщаться к начальству не есть подлость?

Спор начал опять обостряться. Константинов 2-й напомнил брату, что пора варить жженку. Тот быстро сбросил мундир, засучил рукава

рубашки и велел потушить все свечи. Одно бледное синее пламя освещало большую залу. Все вдруг почему-то притихли и начали говорить чуть не шепотом. Кто-то подошел к Горичу и дотронулся до его плеча.

— Горич, можно тебе предложить молчаливый тост? Выпьем... ты знаешь сам — за кого.

Подошедшим был Угаров. С самого начала обеда воспоминания о Соне нахлынули на него с такой силой, что он не принимал никакого участия в разговорах и тщетно искал случая поговорить о ней хоть с Сережей. Пользуясь темнотой, он подкрался к Горичу и предложил ему выпить ее здоровье. При полном освещении он ни за что не решился бы на такой подвиг.

— Выпьем, Володя, выпьем,— отвечал, внутренне смеясь, Горич,— конечно, я знаю, за кого. Да, кстати, и я хочу сказать тебе два слова.

— Не говори здесь, пойдем: я не хочу, чтобы нас слышали.

Они вышли в маленькую гостиную, которая после темной залы показалась им ярко освещенной. На диване, обитом желтым штофом, как пласт, лежал злополучный Козликов. Сюртук его валялся на полу, воротник рубашки был расстегнут, лицо было бледно, как у мертвеца. Угаров приподнял его голову, свесившуюся с дивана, и уложил ее на подушку.

— То, что мне хочется тебе сказать,— говорил Горич, расхаживая большими шагами по мягкому ковру,— я, конечно, мог бы и не говорить, ну да сегодня я вообще расстегнул жилет своей откровенности<sup>35</sup>, как говорил наш французский учитель. Я очень хорошо вижу и давно знаю, что ты влюблен в Соню... Все равно, будем сегодня называть ее Соней. Ты в чувствах упрямец, ты, вероятно, надеешься жениться на ней. Так вот, как товарищ, как друг, говорю тебе: брось ты это дело!

— Как бросить? — воскликнул ошеломленный Угаров.— Если ты это хотел мне сказать, лучше было бы не приходиться сюда.

— Да, ты прав, пойдем пить жженку.

— Нет, погоди, погоди,— просил Угаров, усаживая Горича в кресло.— Поговорим спокойно. Отчего я должен все бросить? Ты этим хотел сказать, что Соня не может полюбить меня, сделаться моей женой?

— Нет, сделаться твоей женой она может, а полюбить тебя действительно не может.

— Значит, она любит кого-нибудь другого. Может быть, тебя?

— Ах, Володя, Володя, какой ты подозрительный и ревнивый! Поверь, что мое положение гораздо хуже. К тебе она равнодушна, а меня ненавидит...

— Ненавидит... за что же?

— А за то, что я отчасти понял и раскусил ее. А между тем, Соня — единственное существо в мире, перед которым я бессилён. Она одна могла бы заставить меня свернуть с той дороги, которую я наметил себе для жизни.

— А, значит, ты ее любишь? Я всегда был уверен в этом... А я...  
Боже мой, как я ее люблю!

И Угаров начал говорить шепотом, потому что Козликов выказал кое-какие признаки жизни. Впрочем, через минуту он опять обратился в труп.

— Ну, прости меня, Володя, если я огорчил тебя,— сказал в заключение Горич.— Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что от столкновения таких характеров, как ты и Соня, не может выйти для тебя ничего хорошего. А, впрочем, об этом еще успеем наговориться, а теперь лучше пойдем и выпьем.

Когда Угаров и Горич вернулись в залу, она была опять освещена, и жженка, сваренная Константиновым, гуляла по рукам и головам. Все языки развязались, все старые симпатии выплывали наружу, все старые ссоры прощались от души. Пир был в разгаре — пир молодости, которую мудрая жизнь еще не успела научить ни расчетам, ни притворству, ни злобе. Увидев Горича, Константинов бросился ему на шею и повел его «мириться». За этим примирением было выпито множество стаканов, и возобновился спор о карьере, но уже в шутивно-добродушном тоне.

— Сколько тебе лет нужно «для этого»? — спрашивал Константинов.— В десять лет берешься сделать карьеру?

— Берусь.

— Ну, так вот, предлагаю тебе пари на дюжину шампанского, что не сделаешь. Ровно через десять лет, то есть третьего января тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года, мы все соберемся здесь обедать, и товарищи решат по большинству голосов, кто из нас выиграл.

— Идет.

Миллер сейчас же записал условия пари и, заставив спорящих подписать бумагу, спрятал ее в свой объемистый портфель. Тут же было решено, что помимо 19-го октября — общей лицейской годовщины,— каждый год 3-го января весь выпуск будет обедать у Дюкро, и Горич был выбран распорядителем будущих обедов. Понемногу все отдельные группы соединились в один большой кружок, центром которого оставался Константинов. Невольно разговор перешел к отъезжающим товарищам, а следовательно, к политическому положению России. Оно было не легко; западные державы еще не объявили войну формально, но каждый день надо было ждать этого объявления. Австрия и Пруссия колебались, но самое колебание было равносильно угрозе. Молодежь, конечно, не сознавала опасности, угрожавшей отечеству, и относилась к врагам с насмешками и презрением. Барон Кнопф — первый воспитанник и брат артиллериста, командовавшего батареей в Бульске — при всеобщем смехе прочитал стихотворение, только что сочиненное кем-то и потом облетевшее всю Россию:

Вот в воинственном азарте  
Воевода Пальмерстон  
Поражает Русь на карте  
Указательным перстом <sup>36</sup>.

— Господа,— говорил докторальным тоном Иван Фабианович,— поверьте моей опытности: Франция с нами драться не будет...

— Да, как бы не так! — возразил Константинов.— Разве вы не знаете, что соединенный флот уже в Черном море? <sup>37</sup>

— Очень знаю, но во французской ноте по этому случаю прямо сказано, что это делается в интересах мира.

— А вы верьте побольше их нотам. Скорее с другими поладим, а уж с французом будем драться.

— Непременно будем,— прибавил Грибовский, сын экс-министра и члена Государственного Совета.— Третьего дня отец мой сам слышал на выходе, как государь, обратившись к кавалергардам, упомянул о Фершампенуазе и Кульме <sup>38</sup>. Это уж, поверьте, недаром.

— Нет, господа,— крикнул рыженький Гуркин,— вы попросите Андриюшку, чтобы он прочитал стихи, которые он вчера написал... Вот так стихи!

Константинов не заставил себя просить и задыхающимся от волнения голосом начал:

Меж тем как все в моей отчизне  
На брань с неверными спешит  
И ни имущества, ни жизни  
Для чести Руси не щадит,  
Хочу в порыве вдохновенья  
Героев наших превознести... <sup>39</sup> и т. д.

Стихотворение было очень длинно и плохо в литературном отношении, но по своему содержанию оно произвело страшный фурор.

— Bravo, ура! — раздавалось со всех сторон.— Качать Константинова!

Патриотическое одушевление, охватившее всех, было так сильно, что если бы в эту минуту кто-нибудь предложил молодежи ринуться в немедленный бой с неприятелем, ни один человек не остался бы в зале.

Между тем жженка, которая казалась неиссякаемой, делала свое дело, туманя и веселя головы. Начались самые интимные лицейские воспоминания, передразниванья профессоров, директора и прочего начальства, причем Иван Фабианович не то чтобы повернулся спиной к столу, а сел как-то боком, показывая этим, что он хотя и не протестует против такого представления, но и не одобряет его. Горич, не любивший передразниванья профессоров, потому что видел в этой забаве косвенную насмешку над своим отцом, отставным профессором, предложил спеть старую лицейскую хоровую песню.

— Брянский,— скомандовал он,— марш за фортепиано!

Но Брянского не оказалось. Из расспросов татар выяснилось, что Сержу вызвала какая-то дама, приехавшая в карете, и он уехал с ней, обещав вернуться через час. Раздались насмешливые голоса:

«Как же, так он и вернется, держи карман!.. Экая bestия этот Брянский!»

— Господа! — воскликнул Константинов, — по правде сказать, и нам нечего тут киснуть. Предлагаю поехать куда-нибудь за город и провести всю ночь вместе. Ведь бог знает, придется ли опять когда-нибудь свидеться.

— Да, да, конечно, едем! — раздалось со всех сторон.

Послали за тройками, а пока усиленно принялись кончать жженку. Начались тосты совсем неожиданные. Пили за процветание ресторана Дюкро и за жену Ивана Фабиановича — старую, сварливую немку, которой никто из лицеистов никогда не видал, но голос которой был известен многим, так как она целый день ругалась то с кухаркой, то с мужем. Попробовали поднять Козликова, но все усилия разбудить его остались без успеха; Горич торжественно произнес над ним: «Покойся, милый прах, до радостного утра»<sup>40</sup> — и поручил его попечениям татар. В последнюю минуту Иван Фабианович решил также ехать за город, и это почему-то несказанно всех обрадовало. Несколько человек схватили его на руки и понесли вниз по узкой витой лестнице. Иван Фабианович очутился в очень неприятном положении. Очки на нем разбились; его толстые, кривые ноги беспрестанно ударялись о перила лестницы, а главное, он боялся, что его уронят, и визгливо стонал, но стоны его не были слышны среди оглушительных криков «ура» бежавшей за ним толпы. Абрашка бросился к лестнице и хотел направить шествие в боковой подъезд, обещая, что туда сейчас вынесут шинели и калоши, но его не послушали и пошли прямо к главному выходу, мимо знаменитой общей комнаты, которая теперь была совершенно полна. Против двери на своем обычном месте восседал Васька Акатов; у стола его примостились два молодых офицера и рассматривали карту ужина. Остальные столы также были заняты. Нельзя сказать, чтобы общая комната отнеслась сочувственно к победоносному выходу лицеистов. Особенно были недовольны князь Киргизов, маленький желчный старичок во фраке и белом галстуке, захавший из оперы выпить чаю к Дюкро и немилосердно ругавший и оперу, и чай, и всех знакомых, встреченных им в театре.

— Боже мой, что за безобразие! — прошипел он, когда последний лицеист вышел на улицу, — а все это оттого, что их мало секли в лице.

— Вы совершенно правы, князь, — отозвался Акатов, — а глупее всего то, что эти мальчишки вечно выпьют на двугривенный, а кричат на сто рублей...

Старичок, не любивший, чтобы его собеседники, даже соглашавшиеся с ним, открывали для его приговоров новые горизонты, отвечал с неудовольствием:

— Нет-с, это не так-с. Мошенник Дюкро такой счет им влепит, что тут не двугривенным пахнет. Впрочем, дело не в том-с, а в том, что их, как я уже имел честь сказать вам, недостаточно пороли в лице. Да-с, мало секли, и больше ничего-с!

Через несколько дней после выпускного обеда, в десять часов утра, Угаров и Брянский поднимались по узкой лестнице большого дома на Фонтанке. Взобравшись в четвертый этаж, они позвонили у двери, к которой была прибитая медная дощечка с надписью: «Иван Иванович Горич, профессор». Пожилой рябой лакей с суровым выражением лица и длинными волосами, зачесанными за уши, отворил им дверь.

— Здравствуй, Аким,— сказал Брянский,— Яков Иваныч еще спит?

— Как можно, давно с папашей чай кушают. Пожалуйте в столовую.

Первая комната, в которую вошли Угаров и Брянский, была когда-то гостиной; вдоль стен стояли мягкие диваны и кресла, но теперь вся мебель была покрыта книгами. Книги валялись на окнах и на полу. Большой письменный стол отчасти загораживал дверь в столовую, в которой сидели за самоваром отец и сын Горичи.

— Однако вы рано за мной заехали, господа,— вскричал сын, пожимая руку товарищам,— я еще не одет. Ведь у министра надо нам быть к двенадцати часам.

— Что ты, что ты, Яша,— заговорил отец,— разве можно упрекать дорогих гостей в том, что они рано приехали? Что за беда! Мы чайку поьем, побеседуем. Только вы, господа, уж извините меня, что такой беспорядок в квартире. Я из своего кабинета переделал комнату для Яши, а сам перебрался в гостиную, да не успел устроиться. Да, кстати, и за костюм мой извините.

Горич-отец был облечен в старый меховой халат и плисовые сапоги. На подбородке, давно небритом, торчали жесткие седые волосы. Все лицо его было до того изрыто морщинами, что две небольшие впадины между краями глаз и ушами, происшедшие от многолетнего ношения очков, казались также морщинами.

— Ну, что нового, господа, на белом свете? — спросил он, наливая чай гостям,— ведь мы здесь живем, как в провинции, ничего не знаем. Правда ли, что Орлов не поедет в Париж, а остановился в Вене? <sup>41</sup>

— Говорят, что остановился, а наверное никто не знает,— отвечал Угаров.— Вот это именно всего досаднее, что ничего не знаешь, разве попадетсЯ какая-нибудь иностранная газета.

— Ну, да и иностранные газеты врут здорово! — воскликнул Яша Горич.— Ведь всем известно, что война началась нападением турок на Михайловское укрепление, а они уверяют, что мы начали войну Синопом <sup>42</sup>.

— Да, господа,— говорил Горич-отец, покачивая головой,— трудно добиться правды даже и в текущих делах, а что вы можете узнать достоверного о прошедшем? Вот я сорок пять лет преподавал историю и все искал правды... а как ее найдешь? В последние годы я, конечно, попризывк, не относился к делу с таким жаром; а в молодости, бывало, готовишься к лекции о каком-нибудь герое,



которого особенно полюбил, так, право, чуть не плачешь от умиления. Потом стараешься читать о нем во всевозможных источниках... и что же? — оказывается, что любимый герой, которого я представлял слушателям, как идеал добра и чести, делал всякие гадости не хуже другого... А то вдруг натолкнешься на какое-нибудь исследование, по которому выходит, что герой этот вовсе не существовал на свете... Давно ли, например, была первая французская революция? С небольшим полвека прошло с тех пор. А попробуйте прочитать французских историков, писавших о ней, — можете ли вы составить какое-нибудь определенное понятие о деятелях революции? Я уже не говорю об историках-роялистах, — от этих нельзя и требовать беспристрастия, — а говорю об историках, более или менее сочувствовавших революции... Ламартин<sup>43</sup> в восторге от жирондистов; Мишле восхищается Дантоном; Луи-Блан — Робеспьером; Тьер<sup>44</sup> стоит на коленях пред Наполеоном... А заметьте, что еще живы люди, лично знавшие этих деятелей. Как же вы разберетесь во временах более отдаленных?

Разговор долго продолжался на эту тему. Старик оживился, глаза его засверкали; ему казалось, что он читает лекцию.

— Мне идет восьмой десяток, — сказал он в заключение, — и я знаю, что скоро умру. Но я твердо верю в загробную жизнь и верю в то, что узнаю правду после смерти. Только одна эта мысль утешает и поддерживает меня.

— Ну, опять ты заговорил о смерти, — воскликнул Яша, — а еще вчера обещал мне не говорить о ней. За это я тебя сейчас выдам товарищам. Знаете ли, господа, какой первый вопрос решил отец сделать на том свете? Он спросит, кто был Железная Маска?<sup>45</sup>

— Не смейся, Яша, это очень, очень интересно. Я, знаете ли, начал вписывать в особую тетрадь все сомнительные исторические факты, так, поверите ли, всю тетрадь исписал и бросил.... Оказывается, что почти все сомнительно...

Когда Яша, облекшись в вицмундир и белый галстук, возвестил, что пора ехать, отец осмотрел его очень внимательно.

— Смотри же, Яша, не скажи министру, — говорил он, крестя его на прощание, — чего-нибудь лишнего. Помни, что первое впечатление очень много значит; сегодня важный момент в твоей жизни...

— Не бойтесь, Иван Иванович, — воскликнул Сережа, — мой дядя добрый человек и нас не съест.

Когда вновь испеченные чиновники вошли в обширную приемную графа Хотынцева, она была пуста. На диване у окна дремал дежурный чиновник. Это был молодой человек с наружностью франтоватого писаря. Волосы его были густо напوماжены, на шее болтался черный шарф, в который была воткнута булавка с огромным, хотя фальшивым бриллиантом. Услышав шум шагов, он вскочил с места.

— Что вам угодно, господа? — спросил он, шуря брови, чтобы придать себе важный вид. — Министр принимает по пятницам; сегодня я не могу доложить о вас.

— Правитель канцелярии велел нам быть здесь в двенадцать часов, — отвечал Угаров.

— Да, если Илья Кузьмич приказал, это другое дело. Он в кабинете у министра. Я сейчас доложу.

Дежурный чиновник очень развязно прошел по приемной комнате, но, войдя в коридор, в конце которого был кабинет министра, он убавил шаг. К кабинету он подошел совсем скромно и что-то прошептал одному из курьеров, стоявших у заветной двери. Курьер сначала приложил ухо к двери, потом привычным движением нажал без шума ручку замка и исчез за дверью. Через несколько минут в приемную вошел Илья Кузьмич Шрамченко — еще не старый, но успевший облысеть на службе правитель канцелярии. Его смуглое лицо с выдающимися скулами выражало какую-то смесь добродушия и лукавства. Он ласково поздоровался с молодыми людьми.

— Молодцы, ни на одну минуту не опоздали; видно, что будете исправными чиновниками. Ну, пойдете на пропятие к нашему громовержцу; он вас ожидает.

Кабинет министра вовсе не имел того характера строгой деловитости, которого ожидали новые чиновники. Это была очень изящно убранная комната, обитая мягким бархатным ковром. Только огромный письменный стол, заваленный бумагами, указывал на ее назначение. Посредине кабинета стоял человек небольшого роста, с круглым брюшком и румяным, гладко выбритым лицом, напоминавшим крымское яблоко. Белокурые с проседью волосы в мелких завитушках были зачесаны назад и покрывали чрезвычайно искусно сделанную накладку.

Поза графа Хотынцева действительно напоминала громовержца. Голова была закинута назад, левой рукой он опирался об стол, а в правой держал золотой лорнет, через который внимательно осматривал вошедших.

— Очень рад, господа, с вами познакомиться, — сказал он медленно, как бы отчеканивая каждое слово. — Лицей всегда давал нам не только хороших чиновников, но и вполне благовоспитанных людей.

Затем он вопросительно взглянул на правителя канцелярии, который представил ему Угарова.

— Вы вышли, не правда ли, с медалью? Ваш директор с особенной похвалой отозвался о вас. Где вы предпочитаете служить: в канцелярии или в одном из департаментов?

Угаров объяснил, что он единственный сын у матери, от которой по случаю своего совершеннолетия должен принимать все дела, а потому просил дать ему должговременный отпуск.

— Хорошо-с, я разрешаю вам уехать на одиннадцать месяцев. Надеюсь, что по возвращении вы наверстаете потерянное время.

Граф Хотынцев опять бросил взгляд на правителя канцелярии, который назвал Горича.

— Вы потомок того... этого... — начал министр, ища выражений и опять наводя на Горича свой лорнет, — одним словом, одного из сподвижников великой Екатерины?

— Ваше сиятельство, — отвечал Горич с сдержанной улыбкой, — вероятно, говорите о Семене Гаврилыче Зориче<sup>46</sup>, но я не Зорич, а Горич.

— Ах, боже мой, извините меня, это всегда Илья Кузьмич меня подведет... Илья Кузьмич, когда же вы, наконец, бросите вашу ужасную привычку искажать фамилии?

Ни один мускул не шевельнулся на лице Ильи Кузьмича. Две вещи он знал несомненно: во-первых, что в подобных случаях он всегда виноват, и во-вторых, что выговор начальства никогда не имеет последствий.

— Отчего же вы догадались,— спросил после небольшого раздумья министр у Горича,— что я говорил о Зориче? Разве в лицее читают о нем с кафедры?

— Нет, ваше сиятельство, в лицее нам ничего о нем не говорили, но отец мой был когда-то профессором истории, и у него много разных мемуаров. Я с детства любил читать их, особенно те, которые касались Екатерины Великой...

— О да, вы правы. Это было славное царствование... Et puis quelle femme s'était!\* — прибавил он, как бы про себя.

Граф Хотынцев впал в минутное раздумье, но сейчас же, опомнившись, перешел в строгий начальнический тон.

— Где вы предпочитаете служить: в одном из департаментов или в канцелярии?

— Ваше сиятельство,— отвечал Горич, невольно краснея,— может быть, моя откровенность покажется вам неуместной, но я должен сознаться, что кроме службы я не имею никаких средств существования, а потому я желал бы поступить туда, где скорее могу получить штатное место.

— В ваших словах нет ничего неуместного; откровенность ваша мне нравится. Илья Кузьмич, вакансия Иванова в канцелярии еще не занята?

— Никак нет, ваше сиятельство, но только графиня Олимпиада Михайловна приказали мне вчера назначить на это место барона Бликса...

Граф Хотынцев вспыхнул.

— Какая графиня? Что такое графиня? При чем тут графиня? — заговорил он, постепенно возвышая голос и даже топнув ножкой, обутой в лакированную ботинку.— Вы, кажется, думаете, Илья Кузьмич, что жена моя — министр, а не я. Потрудитесь немедленно составить доклад о назначении господина... Борича на место Иванова, и чтобы через час доклад был на этом столе. Слышите?

И, очень довольный сделанным им проявлением власти, министр перевел победоносный взор на Сережу.

— Quant à vous, mon cher Сережа, vous écrirez souvent à votre mère; c'est la seule commission que j'ai à vous donner pour le moment\*\*.

И, сделав общий кивок головой в знак прощания, министр взял под руку Сережу и пошел с ним во внутренние апартаменты.

---

\* И потом, какая это была женщина! (фр.)

\*\* Что касается вас, мой любезный Сережа, вы будете часто писать вашей матушке, это единственное поручение, которое я намерен вам дать теперь (фр.).

Когда он вышел, Илья Кузьмич обратился к Горичу:

— Хотелось бы мне поздравить вас с назначением, мой юный сослуживец, но по совести не могу еще этого сделать. Теперь ваша участь зависит от того, проболтается ли граф Василий Васильевич за завтраком, или нет. Если он промолчит, дело в шляпе, и через два часа доклад будет подписан; если же он по рассеянности расскажет графине о вашем назначении... ну, тогда еще все может перемениться.

— А этот барон Бликс, вероятно, очень способный юноша? — спросил наивно Горич.

— Какой способный — совершенный чурбан, а графиня хлопочет за него, потому что ее просила об этом какая-то ее приятельница. Я, признаюсь, нарочно при вас сказал, что графиня приказала назначить Бликса: вот нашего громовержца-то и разобрало... Ну, а теперь пойдете вместе строчить доклад о вашем назначении.

В столовой, куда граф Хотынцев привел Сережу, уже завтракали его жена и племянник — красивый белокурый гусар Алеша Хотынцев. Графиня Олимпиада Михайловна Хотынцева была на два года моложе княгини Брянской и в молодости также слыла красавицей, но, выйдя замуж очень рано, она после первых родов потеряла сразу и красоту и ребенка. Может быть, это обстоятельство было причиной того, что в ней вовсе не развились те карабановские инстинкты, которые так мучили бурную жизнь княгини Брянской. Она не думала о новых победах, а хлопотала только о том, чтобы не выпустить из рук сердце своего мужа. Детей у нее не было; честолюбие овладело всеми ее помыслами. Хотя граф Хотынцев принадлежал, по рождению, к самому знатному кругу петербургского общества, но сам он придавал этому очень мало значения, слыл жуиром и даже либералом, а Олимпиада Михайловна всю жизнь мучилась тем, что не могла занять подобающее ей место в свете. Будучи женщиной ограниченной, она обладала большой дозой хитрости и пронырства и все пружины этого «второго ума» пускала в ход для служебного возвышения мужа. Успех увенчал ее усилия: теперь, как жена министра и в то же время графиня Хотынцева, она могла считать себя одной из первых дам в городе. Но долгая борьба прошла ей не даром. Ее большие черные глаза потускнели, цвет лица сделался совсем желтый. Зато по стройности стана, по грации и гибкости всех ее движений ее можно было принять за молодую женщину.

Она встретила мужа выговором.

— Ты не можешь, Базиль, не опоздать к завтраку. Ведь ты знаешь, что сегодня вторник, что у меня заседание в приюте, что сегодня приемный день у княгини Кречетовой — я уж три вторника пропустила, — что мне надо еще сделать несколько визитов.

Она начала перечислять дам, которым должна визиты; но муж ее не слушал, он думал о чем-то другом. После какого-то вопроса жены, он вместо того, чтобы ответить ей, неожиданно обратился к Сереже.

— Как это странно, что твой этот... Вторич... угадал мои мысли...  
Oh, il doit être très intelligent...\*

— Какой Вторич? — спросила ошеломленная графиня.

— Ma tante, это не Вторич, а Горич,— вмешался Сережа.— Это мой товарищ по лицу, он поступил на службу к дяде; мы сегодня вместе представлялись.

— Боже мой! Вторич, Горич... Какие имена! — воскликнула графиня.— Как можно принимать в лицей людей с такими фамилиями! Comme cela sonne bien dans un salon!\*\*

— Позволь тебе заметить, ma chère Olympe\*\*\* — кротко возразил граф,— что задача лицей — готовить молодых людей не для салонов, а для службы, и что поэтому лицей не может состоять из одних Рюриковичей...

— Ах, à propos de la\*\*\*\* служба... Могу я сказать сегодня баронессе Блендорф, что ее cousin, Бликс, получил место?

Судьба Горича висела на волоске: граф уже начал проговариваться, как вдруг вошел дворецкий и, подавая графине письмо на подносе, произнес торжественно:

— От княгини Кречетовой.

Графиня с лихорадочным нетерпением разорвала конверт.

— Ах, боже мой, как это хорошо, как это весело! — заговорила она, пробежав записку.— У княгини сегодня вместо обыкновенного приема будут с двух часов щипать корпию в пользу раненых... Княгиня просит приехать пораньше и привезти когонибудь из молодежи. Вот и прекрасно... Сережа, ты поедешь со мной...

— Мне, ma tante, сегодня нельзя, я обещал...

— Вздор, вздор, поезжай сейчас домой, сними этот противный вицмундир, надень une redingote boutonnée...\*\*\*\*\* впрочем, тебя учить нечего. Из приюта я пришлю за тобой карету, и мы поедем вместе. У княгини Кречетовой на будущей неделе большой бал, тебе необходимо представиться... Вам, Alexis, нечего и предлагать — вы, конечно, откажетесь?

И, не дожидаясь ответа, графиня грациозно вскочила и легкой девичьей походкой побежала одеваться. Сережа с грустным выражением лица вышел вслед за ней. Дядя и племянник закурили сигары.

Алеша Хотынцев был племянником и наследником Василия Васильевича. Он сам имел большое состояние, но так как его расходы значительно превышали доходы, ему часто приходилось прибегать к дядюшкиному кошельку. И в это утро он приехал для того, чтобы испросить субсидию. Когда он высказал свою просьбу, граф поморщился.

---

\* О, он, должно быть, очень умен... (фр.)

\*\* Как же это мило прозвучит в гостиной! (фр.)

\*\*\* дорогая Олимпия (фр.).

\*\*\*\* кстати о... (фр.)

\*\*\*\*\* сюртук (фр.).

— Хорошо, я тебе дам, но знай, что ни в этом, ни в следующем месяце лишних денег у меня не будет. *Modérez vos transports, mon cher\**.

— Не беспокойтесь, дядюшка, до лета не буду вас тревожить.

Граф подошел к двери, тщательно ее запер и подсел к племяннику.

— Ну, а как твои дела с этой немецкой актрисой?

— С Шарлоттой? Да ничего, я вчера был у нее вечером.

— Ах, был? Ну, и что же? и как же? Расскажи подробно. *Tu sais que j'aime les détails\*\**.

— Да ничего не было. Сидели у нее все время какие-то штатские. Но зато сегодня она обещала завтракать со мною у Дюкро в два часа. Глазки у графа заблестали.

— Экий счастливцев! Как я тебе завидую!

— Так что же, дядюшка. Приезжайте туда, я вас познакомлю.

— Нет, как я могу приехать? Там будут незнакомые...

— Никого не будет, кроме Васьки Акатова, которого вы знаете. Еще я пригласил Сережу, да его тетушка переманила. Вот уж можно сказать, что человек предполагает, а тетушка располагает. Вместо того, чтобы завтракать с Шарлоттой, он будет щипать корпию в «монде». Одолжила тетушка бедного Сережу!

— А не поехать ли мне в самом деле? — сказал, подумавши немного, граф. — Я кстати давно не был у Дюкро. Ты понимаешь, мне ведь только хочется взглянуть на нее вблизи. Я приеду туда как бы случайно и через четверть часа уеду.

— Ну, и отлично.

Граф вынес племяннику деньги, велел заложить сани и пошел переодеваться. Через час он вошел в свой министерский кабинет в коротеньком и очень изящном пиджачке — сияющий и раздушенный, помолодевший лет на пять. Илья Кузьмич уже ждал его с бумагами.

— Вы видите, мой почтеннейший Илья Кузьмич, — говорил граф, подписывая доклад о Гориче, — что я — ваш министр и что никто не может раздавать места, кроме меня... А это что за фолиант вы тащите из портфеля?

— Это, граф, дело Скворцова, которое непременно надо кончить сегодня.

Когда Илья Кузьмич был наедине с графом, он никогда не называл его: ваше сиятельство.

— Да это совершенно невозможно! — воскликнул граф, смотря на часы. — У меня сегодня комитет.

— Вы ошибаетесь, граф, комитет завтра.

— Да, завтра само собою, а сегодня экстренное заседание...

— Как вам угодно, но я по вашему приказанию написал князю Алексею Федоровичу, что дело будет отправлено сегодня непременно.

— Ну, что же делать, читайте; придется немного опоздать.

Илья Кузьмич начал читать, как казалось графу, невыносимо медленно. Граф слушал рассеянно. Он не мог даже вникнуть в де-

---

\* Умерьте ваши восторги, мой милый (фр.).

\*\* Ты же знаешь, я люблю подробности (фр.).

ло, потому что воображение рисовало ему картины, не имевшие ничего общего с скворцовским делом. Наконец он не выдержал.

— Илья Кузьмич, это я уже слышал. К чему повторения!

— Это, граф, доводы противной стороны.

Но так как в эту минуту обе стороны были графу равно противны, он попросил правителя канцелярии немедленно перейти к заключению. Выслушав его без всяких возражений, он торопливо взял перо для подписи. Видя, до какой степени министр торопится, Илья Кузьмич вынул из портфеля и подsunул ему еще две бумаги весьма сомнительного свойства. Граф подписал их, не читая, и выбежал, как школьник, вырвавшийся на свободу.

Илья Кузьмич долго и громко хохотал один в кабинете и по своему обычаю проговорил вслух:

— Хорош, я воображаю, тот комитет, в который ты попер в своей кургузой курточке и для которого ты так надушился, что все мои бумаги будут целый месяц вонять фиалками!..

И Илья Кузьмич с негодованием плюнул на ковер.

Между тем как граф Хотынцев заседал в комитете у Дюкро с Шарлоттой, а Сережа с ожесточением щипал корпию в салоне княгини Кречетовой, Угаров, свободный и счастливый, садился в вагон Николаевской железной дороги<sup>47</sup>. При первом взгляде на сидевших с ним пассажиров Угаров сразу вспомнил о том, о чем в последнее время почти забыл в шуме петербургской жизни, то есть о войне. Все лица были серьезные; тут были и офицеры, ехавшие на войну, и помещики, у которых на войне были сыновья и братья. Они громко роптали на сделанные ошибки и выражали опасение за будущее. Начиная от Москвы, общее настроение показалось Угарову еще угрюмее. Уже не было и помину о прошлогоднем упоении нашими будущими победами, о закидании шапками всех наших врагов. Враги все умножались; огромные массы войск отправлялись к западной границе, а дунайская армия давно слонялась по княжествам без побед и, по-видимому, без определенной цели. В Буяльске станционный смотритель встретил путешественника неизбежными биточками и сообщил ему сведения о Брянских, о которых Угаров почему-то избегал говорить с Сережей: «У князя с месяц тому назад был опять удар, теперь он поправляется; а княгиня с дочкой где-то там, в Польше». На Угаровке лежала печать уныния, которую не мог снять даже неожиданный приезд Володи.

Со всех угаровских имений надо было поставить более тридцати человек в рекруты. Марья Петровна не щадила ни утешений, ни денег; каждый вечер вопрос этот обсуждался на совещаниях с приказчиками; плач и вой не прекращались в сенях угаровского дома. Летом, объезжая с Варварой Петровной свои поместья, Угаров был поражен тем интересом, который возбуждала война в бесправном, закрепощенном народе. Проездом в одну дальнюю деревню он, входя на станцию, услышал громкое чтение. Молодой ямщик по складам читал газету; другие ямщики слушали его с таким напряженным вниманием, что не услышали подъезжавшего экипажа. 25 сентября Угаров в этой самой деревне узнал о высадке англичан и францу-

зов в Крыму, об Альминском сражении и об обложении Севастополя<sup>48</sup>. Севастополь был почти неукрепленным местом; его, конечно, возьмут на днях, а потом... что будет потом? Никто не решался ответить на этот вопрос; безнадежное уныние, как всегда бывает на Руси, сменило прежнюю заносчивую гордость.

В тот самый день, как Угаров узнал о высадке союзников, продавцы газет громко выкрикивали на улицах Парижа: «Grande victoire, prise de Sébastopol!..» \* Вечером столица Франции была иллюминирована; на другой день «Moniteur»<sup>49</sup> объявил, что радостное известие не подтвердилось. Через неделю известие это снова облетело город и снова было опровергнуто. Проходили недели и месяцы, тратились миллионы, люди гибли тысячами, а беззащитная крепость все стояла перед удивленными врагами. Иностранная пресса выражала полное недоумение: «Что же все это значит? Нам известно, что русские ружья не стреляют, что черноморский флот затоплен, что Севастополь вовсе не был укреплен... Отчего же не берут его? Quel diable de sorcier se mêle de l'affaire? \*\*

И действительно был такой колдун, которого враги наши хорошо знали когда-то, но успели забыть. Этот колдун был тот же бесправный тогда русский народ.

И вот понемногу, незаметно для самого себя, этот колдун начал и сам сознавать свою силу. Каждый лишний севастопольский день отзывался за тысячи верст пробуждением бодрости и подъемом народного духа. К концу 1854 года, после четырехмесячной геройской защиты Севастополя, совсем новое настроение охватило Россию. Это не было прежнее, легкомысленно-насмешливое отношение к врагу,— это была твердая вера в будущее, основанная на сознании честно исполняемого долга. Никакие тягости войны не возбуждали ропота, никакие жертвы не пугали. Все русские глаза были устремлены на одну далекую точку. Во всех русских сердцах, от царя до последнего ратника, шевелилась одна заветная мысль, неблагоразумная и неотвязная: «Только бы не отдать Севастополя, а там будь что будет!»



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Угаров так втянулся в хозяйственные и сельские интересы, что ему не хотелось уезжать в Петербург, и он уже заговорил о том, чтобы выйти в отставку и навсегда поселиться в деревне, но этому энергично воспротивилась Марья Петровна. Она была убеждена, что сыну ее предстоят блистательные успехи на всевозможных

---

\* Большая победа, Севастополь взят! (фр.)

\*\* Что за нечистая сила вмешалась в это дело? (фр.)



поприцах, решила «принести себя в жертву для его счастья» и теперь ни за что не желала расстаться с ролью жертвы. Угаров был неисправимым мечтателем от природы, а потому не мудрено, что понемногу радужные надежды матери сообщились и ему.

В продолжение всего пути это будущее счастье светило ему, как маяк среди темной ночи, но принимало различные очертания и краски. Иногда оно являлось ему в виде женщины ослепительной красоты, которая его полюбила. Глаза этой женщины напоминали ему глаза Сони Брянской, но она была выше ростом, обладала всевозможными качествами ума и сердца и сияла царским величием. Впрочем, на любовных мечтах он останавливался недолго. Он то неизменно богател и наделял всех бедных деньгами и хлебом, то делался в весьма короткое время министром и сочинял мудрые законы. Но чаще всего успех представлялся Угарову в виде военных подвигов. Сначала он никак не мог согласовать своих мечтаний с действительностью, так как война происходила на юге, а он ехал на север, но, вспомнив, что на Балтийском море слоняется английская эскадра, он успокоился, и его будущие лавры полководца получили некоторое правдоподобие. Уже совсем подъезжая к Петербургу, он спасал этот город, бросаясь во главе своих товарищей в самую критическую минуту на англичан, и собственноручно брал в плен адмирала Непира<sup>50</sup>.

Неблагодарный Петербург поразил Угарова своим равнодушием. Не говоря уже о деревне, где его встречали целыми селениями с хлебом и солью, но даже в московских гостиницах швейцары в русских поддевках бросались сломя голову при его появлении; здесь же, в гостинице Демута, где он остановился, ему отвели номер с таким видом, как будто делали ему величайшее снисхождение. Наскоро напившись чаю, он надел вицмундир и поехал в министерство, смущаясь тем, что просрочил пять дней. Но этой просрочки никто не заметил. Илья Кузьмич в ответ на его извинения сказал:

— Господи, какое несчастье! Да если бы вы пять недель просрочили, и то беды бы никакой не было!

Илья Кузьмич был в это утро в дурном расположении духа и желт, как лимон.

— Поневоле начинаешь завидовать людям, у которых есть своя деревня,— говорил он, разглядывая Угарова,— а в этом богоспасаемом граде ничего не наживешь, кроме неприятностей и геморроя. А вас мы поместим в департамент к Висягину Сергею Павловичу. Вы его знаете? Он также лицеист и человек обходительный.

Илья Кузьмич позвонил и велел узнать, приехал ли Висягин. Оказалось, что его еще нет.

— Еще бы! — процедил он сквозь зубы,— как же ему можно приездать вовремя! Ведь он у нас аристократ.

Угаров хотел удалиться, но Илья Кузьмич попросил его посидеть с ним. Ему, видимо, хотелось излить перед кем-нибудь частичку своей желчи.

— Вот тоже цветок петербургской флоры — это наши понятия об аристократах! Положим, министр наш может считать себя

аристократом: по рождению там, что ли, или по доблести предков... Хотя, между нами сказать, его предки были и не особенно доблестны — ну, да бог с ними... но Висягин... Я вас спрашиваю: что такое Висягин? Отца его я знал: это был чуть не мелкопоместный помещик, который на последние гроши воспитал сыновей в лицее... Ну, вот, и вышел из лицей Сереженька, заказал фрак у Шармера, вставил стеклышко в глаз, раскрыл рот до ушей (при этом Илья Кузьмич показал на своем лице, как Висягин раскрывает рот и вставляет стеклышко) и объявил себя аристократом. И ведь что глупее всего — все ему поверили: аристократ, да и только! Ему все позволено, для него закон не писан, все лучшие места и награды принадлежат ему по праву... Да если бы я смолоду знал эти обычаи, и я бы мог, пожалуй, объявить себя аристократом.

— А посмотрите, ведь как эти господа презирают нашего брата труженика,— продолжал Илья Кузьмич, все более и более раздражаясь,— особенное прозвание для нас придумали: чижамы нас называют. Ну, что ж, чижы так чижы, а без чижей им бы плохо пришлось. Вот графиня Олимпиада Михайловна всунула-таки к нам в канцелярию своего Бликса, но этот уж таким идиотом оказался, что даже и я не ожидал. Хорошо еще, что успел устроить Горича на место, которое предназначалось для этого барона. Спрашивает его на днях графиня, что он делает в канцелярии, а он ей отвечает: «я сочиняю входящие бумаги». Как вам это нравится!

И Илья Кузьмич залился продолжительным, задышающимся смехом.

— А как служит Горич? — решил спросить Угаров.

— Ну, этот, я вам скажу, малый не промах, так влез в душу графу, что тот без него жить не может. Каждый день за ним посылает, вместе изучают историю, читают какие-то мемуары... К Пасхе мы для него даже новое место создаем: секретаря по особо важным делам. А у нас, по правде сказать, не только особенно важных, но и никаких важных дел нет. Да, подвернись какой-нибудь этакий Горич лет восемь тому назад, я бы ему такую подножку подставил, что он у меня кубарем полетел бы со своими мемуарами... А теперь мне что! Через два года мне выходит полный пенсион, и тогда меня никакими калачами не удержат на службе. И вот, помяните мое слово, что никому другому, как Горичу, я сдам должность...

— Но ведь он будет еще слишком молод,— возразил Угаров,— и через два года он еще не достигнет чина...

— Ну, это не беда! назначат его сперва исправляющим должность, а за чинами дело не станет. Для таких...

Илья Кузьмич вдруг замолк, вспомнив, вероятно, что Угаров товарищ Горича, и продолжал в более мягком тоне:

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что я что-нибудь имею против Горича; он прекрасный и вполне достойный молодой человек. Я с вами говорю так откровенно, потому что сразу вижу, что вы не из таких, которые выносят сор из избы.

А когда сторож громко известил, что «его превосходительство Сергей Павлович изволили проследовать в свой кабинет», Илья Кузьмич уже добродушно смеялся и, взяв под руку Угарова, сказал:

— Ну, и мы проследуем в его кабинет.

Сергей Павлович Висягин был красивый, стройный брюнет с вьющимися волосами и пышными бакенбардами, доходившими до половины щек, и хотя ему было за сорок лет, но на вид никто не дал бы ему более тридцати. Он беспрестанно вставлял в глаз стеклышко, но смотрел через это стеклышко не на того, с кем говорил, а куда-то вбок. Он принял Угарова как любезный начальник, но только что Илья Кузьмич вышел за дверь, тотчас перешел на товарищески-фамильярный тон, запретил Угарову называть себя превосходительством и посоветовал ему поехать послушать Тамберлика в «Пророке»<sup>51</sup>.

— Как, вы никогда не слышали «Пророка»? В таком случае я вам, как начальник, предписываю сегодня же вечером отправиться в театр, тем более что Тедеско в первый раз поет партию Фидес. А чтобы вы не отлынивали, я распоряжусь сам.

Сергей Павлович позвонил.

— Позвать мне Онуфрия Ивановича. Кстати, я вас помещу к нему в стол.

Вошел маленький, лысенький, робкий столоначальник из породы чистокровных «чижей».

— Онуфрий Иваныч, рекомендую вам нового сослуживца, господина Угарова; он прикомандировывается к вашему столу. А для первого знакомства садитесь сейчас в мои сани, поезжайте в Большой театр и возьмите для него кресло на нынешний вечер в «Пророка».

Угаров ужасно сконфузился и начал клясться, что сам возьмет кресло, но Сергей Павлович был непреклонен.

— Нет, нет, вы не достанете хорошего билета, Онуфрий Иваныч родственник кассиру.

Онуфрий Иваныч вышел, но тотчас вернулся.

— Ваше превосходительство, не случилось бы ошибки: сегодня идет «Осада Гента».

— Ну, да это то же самое. «Пророк» запрещен, а дают его под именем «Осады Гента»... Главное, Онуфрий Иваныч, не распускайте.

Через минуту в кабинет вбежал без доклада господин, которого Угаров сейчас же признал за брата Сергея Павловича: то же стеклышко, те же пучки бакенбард, тот же взгляд вбок, только он был на несколько лет моложе и одет в мундир другого ведомства.

— Что это значит, Митя? — спросил Сергей Павлович.

— Я забежал к тебе, чтобы сообщить важную новость.

Угаров, уже выходящий из кабинета, невольно остановился. Ему пришло в голову: не взят ли Севастополь?

— Представь себе: Петька Шорин объявлен женихом.

— Не может быть! — воскликнул Сергей Павлович и выронил стеклышко из глаза.

В приемной Угаров столкнулся с Горичем, который бежал куда-то с портфелем под мышкой и имел очень озабоченный, самодовольный вид.

— А, Володя! — воскликнул он, останавливаясь, — прости меня, теперь у меня свободной минутки нет, а приходи сегодня к нам обедать в пять часов...

И, не дождавшись ответа, побежал дальше.

Своего начальника, Онуфрия Ивановича, который, по капризу Висягина, сделался его комиссионером, Угаров прождал довольно долго. Онуфрий Иванович привез билет, а когда Угаров начал извиняться за беспокойство, невольно ему причиненное, он добродушно ответил:

— Помилуйте, какое же это беспокойство? Мне только доставило удовольствие прокатиться в санях Сергея Павловича; я кстати и еще кое-куда заехал... Вот только не знаю, куда вас посадить, вы видите, у нас все переполнено... Знаете что, — сказал он, подумав, — теперь уже середина декабря, до праздников вам сюда ходить не стоит, а в январе милости просим: мы и место вам приготовим, и придумаем занятие какое-нибудь...

Угаров вышел из министерства неудовлетворенный и почти печальный. Все произошло как-то не так, как он воображал себе. Правда, с ним были все очень любезны, но он мечтал о серьезной работе, а с ним обращались, как с ребенком, которого надо развлекать игрушками.

Подъезжая к своей гостинице, Угаров услышал знакомый голос, который его окликнул. Это был его товарищ Миллер. Они вместе вошли в номер.

— погоди! — закричал Миллер, сбрасывая пальто. — Прежде всего отдай мне одиннадцать рублей тридцать копеек, которые я внес за тебя в лицей за книги.

— За какие книги?

— За те книги, которые ты потерял или испортил в течение шести лет. Изволь платить сейчас, а то после забудешь.

Аккуратный Миллер внимательно сосчитал и спрятал деньги, после чего сказал:

— Ну, а теперь поцелуемся.

Встреча с Миллером была благодеянием для Угарова. Марья Петровна снабдила его большим кушем денег для устройства квартиры, но он решительно не знал, как приступить к этому делу. Миллер взялся помочь ему; он потребовал карандаш и бумагу, долго писал и соображал какие-то цифры и, наконец, объявил, что ровно через месяц — раньше никак нельзя — Угаров будет водворен в своей квартире.

Около пяти часов Угаров входил к профессору Горичу. Яши не было дома; Иван Иванович встретил его в плюсовом сюртуке и с какой-то важностью, которой прежде у него не было.

— Здравствуйте, мой любезнейший, — сказал он, приподнимаясь с большого сафьянового кресла, — очень рад вас видеть. Яша прислал мне записку с курьером, что вы откусываете нашего хлеба-соли. Ну, что же, очень рад, чем бог послал.

Прежнего беспорядка в квартире не было; она имела очень уютный вид; на ней, как и на хозяйине, лежала печать довольства. Только один Аким не изменился: он по-прежнему был в нанковом сюртуке и с волосами, зачесанными за уши.

— Да, хорошо, очень хорошо, что вы устроили свои дела в деревне,— говорил Иван Иванович, после того как Угаров рассказал ему все, что было в течение года.— А все-таки скажу: жаль, что целый год вы потеряли даром. Потерять год службы — это важная вещь. Ну да ничего, с помощью Яши мы как-нибудь это поправим.

— Я слышал, что Яша идет хорошо по службе,— сказал Угаров.

— То есть, как *хорошо*? сказать *хорошо* — очень мало. Он идет блистательно. Я всегда надеялся, что Яша будет оценен по достоинству, но признаюсь, что такого успеха не ожидал. Граф Хотынцев души в нем не чаёт, советуется с ним по всем важным вопросам. Теперь я умру спокойно: у Яши есть второй отец. Да вот, чего же лучше...

Иван Иванович закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Видно было, что рассказ свой он уже передавал многим и что все эффекты были заучены.

— Сижу я в прошлом месяце в этом самом кресле и перелистываю Нибура<sup>52</sup> — это моя настольная книга,— вдруг звонок. Аким докладывает: «Граф Хотынцев». Я говорю: верно, к Якову Иванычу, и думаю, что это племянник графа — гусар есть такой. Аким говорит: «нет, вас спрашивают». — Ну, проси.— Встаю я с кресла, и вдруг — кто же передо мной? Сам министр, граф Василий Васильевич Хотынцев. Я долго глазам своим не верил, и тут только вспомнил, что на мне халат, начал извиняться... Он говорит: «Помилуйте, как же дома иначе сидеть, как не в халате?» И начался у нас чрезвычайно любопытный разговор...

Рассказ старика был прерван сильным звонком. Вбежал Яша, извиняясь за опоздание и говоря, что он умирает с голоду. За обедом Иван Иванович говорил без умолку, перескакивая с одного предмета на другой и постоянно возвращаясь к графу Хотынцеву. Под влиянием радостного возбуждения, в котором он жил в последнее время, память его вдруг пошатнулась, и он немилосердно путал лица и события. При этом он беспрестанно подливал себе мадеры из бутылки, которую Яша незаметно переставил к концу обеда подальше. Когда Аким подал кофе, Иван Иванович предложил угостить дорогого гостя коньяком, но Яша поспешил ответить, что Угаров не пьет коньяку. Иван Иванович совсем осовел и говорил уже слегка охриплым голосом.

— Да, господа, граф Хотынцев это — светлая личность, это — высокий государственный ум. Довольно с ним полчаса поговорить, чтобы убедиться в этом. Сижу я в прошлом месяце в кабинете и перелистываю Нибура — вдруг звонок... Впрочем, я, кажется, вам уже это рассказывал...

И, слегка сконфузившись, Иван Иванович перешел к кардиналу Ришелье<sup>53</sup>, в котором, по его мнению, было много сходных черт с графом Хотынцевым.

Когда в восемь часов Угаров собрался в оперу, Яша убедил его заехать домой и переодеться, говоря, что порядочные люди иначе не ездят в оперу, как во фраке.

— Что делать, мой любезнейший,— прибавил Иван Иванович.— *Usus — tygannus\**.

Переодевание заняло так много времени, что Угаров приехал в театр по окончании первого акта. Привыкнув к деревенской тишине, Угаров при входе в залу был совсем ошеломлен блеском люстры, обнаженных плеч и бриллиантов и немолчным, хотя и негромким говором многолюдной светской толпы. Сверх того, он устал с дороги, последнюю ночь в вагоне почти не спал и вследствие всех этих причин музыка «Пророка», которую он слышал в первый раз, не произвела на него особого впечатления. Во втором антракте подбежал к нему на минуту Сережа Брянский — еще более красивый и элегантный, чем прежде, и взял с него слово приехать после оперы ужинать к Дюкро.

— Никого не будет,— говорил Сережа,— кроме моего друга Алеша Хотынцева, который очень хочет с тобой познакомиться, и двух молодых женщин...

Когда в третьем акте Тедеско появилась в виде нищей и, севши в глубине сцены, запела:

*Pietà per l'alma afflitta...\*\*—*

ее голос, проникнутый глубокою скорбью о потерянном сыне, страстно взволновал Угарова. Из-за покрывала, надетого на голову Фидес, ему вдруг померещились знакомые черты Марьи Петровны, и это воспоминание окончательно отвлекло его от оперы и унесло в родное, только что покинутое гнездо. Под этим впечатлением он даже не поехал ужинать к Дюкро, а вернулся домой и написал длинное письмо Марье Петровне. Припоминая впечатления своего первого дня в Петербурге, Угаров улыбнулся при мысли, что на нем в этот день были четыре костюма: сначала дорожный, потом вицмундир, сюртук и фрак, тогда как в Угаровке он шесть месяцев носил все тот же серый пиджак, за что подвергался горячим нападкам Варвары Петровны. Другое различие между деревней и Петербургом было еще разительнее: он видел множество людей, в театре вслушивался в разговоры, которые раздавались кругом,— и ни разу никто даже не упомянул о Севастополе. Казалось, что в Петербурге забыли или не хотят думать о том, что где-то на юге ежедневно льется русская кровь и наши братья погибают в непосильной борьбе,— и невольно припоминалось ему, как накануне его отъезда из Угаровки была получена почта, как тетя Варя вырвала у него из рук «Русский инвалид»<sup>54</sup>, как Андрей и Лукерья, притаившись за дверью, слушали чтение и как через полчаса вбежал Степан Степанович Брылков со словами: «Не томите, кума, скажите поскорее: сдались или еще держимся?»

\* Привычка — тиран (*лат.*).

\*\* Жалость к пострадавшей душе... (*ит.*)

Третьего января Угаров праздновал у Дюкро первую годовщину своего выпуска. Собралось с Иваном Фабиановичем шестнадцать человек. Трое были в Севастополе, шестеро служили в провинции; из живших в Петербурге один не приехал по болезни, двое — по неизвестным причинам. Некоторых товарищей Угаров увидел в первый раз с приездом и почти во всех нашел какую-нибудь перемену. Жизнь уже наложила на них свой первый слой. Меньше всех изменился Сережа Брянский: он остался тем же «много болтавшим и мало говорившим», как называл его Гуркин в лицее, то есть тщательно скрывал от всех, что делал, и ни о чем не высказывал своего мнения. Первый воспитанник, Кнопф, уже отпустил жиденькие бакенбарды. Он служил в Сенате и пространно рассказывал разные уголовные казусы, беспрестанно цитируя наизусть статьи уложения о наказаниях. Злополучный Козликов имел вид совсем благополучный; он примирился с отцом, очень потолстел и, по-видимому, благоденствовал во всех отношениях. В середине обеда он уже был пьян, сыпал остротами и рассказывал нескромные анекдоты, что несколько коробило Ивана Фабиановича. Раз, когда он начал какой-то уже совсем неприличный рассказ, Иван Фабианович, чтобы замять его, спросил, возвысив голос, у своего соседа:

— Скажите, Кнопф, что Грузнов... дельный сенатор?

Горич старался держать себя скромно и ничего не говорил о своих служебных успехах, но самодовольство его несколько раз вырывалось наружу.

— Ну, что знаменитая твоя карьера? — спросил у него Козликов. — Выиграешь ты пари или проиграешь?

— Не знаю, — отвечал Горич, — может быть, проиграю, а впрочем, если желаешь также подержать за Константинова, я согласен удвоить куш.

— Нет, зачем же? Кто бы из вас ни проиграл, я все равно буду участвовать в питье... А чужое шампанское как-то вкуснее.

Более всех преобразился сын экс-министра Грибовский.

Он очень кичился тем, что ездит в свет, приобрел какие-то изнеженные манеры, говорил слегка в нос и растягивал слова. К Дюкро он приехал во фраке и белом галстуке и несколько раз повторял, что после обеда едет в театр, в ложу княгини Зизи.

Воспользовавшись минутным молчанием, он через стол спросил у Сережи:

— Брянский, ты вчера долго оставался у княгини Кречетовой?

Сережа, которому было очень неприятно, что все узнали, где он был накануне, отвечал с досадой:

— Зачем ты об этом спрашиваешь, когда мы вышли вместе?

— Ах, да, я и забыл...

Грибовский не унялся и через минуту опять обратился к Сереже:

— Брянский, ты будешь в воскресенье у Антроповых?

— Право, не знаю, — отвечал неохотно Сережа, — до воскресенья далеко.

— А я вряд ли поеду. Там бывает слишком смешанное общество.

— Еще бы не смешанное,— брякнул Козликов.— Уж если тебя принимают, так, значит, смешанное.

Все рассмеялись. Грибовский хотел было обидеться, но потом также засмеялся и, подбежав к Козликову, шутя взял его за ухо.

— Отстань, убирайся! — говорил Козликов, вливая в себя стакан вина.— Подержи лучше за ухо княгиню Зизи. Мне один верный человек говорил, что она это любит...

— Ах, какой он смешной! — сказал Грибовский и уселся на свое место.

Вообще обед прошел оживленно и весело, но о той задушевности, которой был проникнут прошлогодний обед, не было и помину. Тогда обедала семья, теперь собрались хорошие знакомые. Один только раз прозвучала на обеде сердечная нотка, когда Кнопф провозгласил здоровье товарищей-севастопольцев. Миллер вынул из портфеля четвертушку серой бумаги и громко прочел письмо Константинова от 20 октября:

«Спасибо, дорогой друг Миллер, за твое длинное и обстоятельное письмо; к сожалению, могу ответить тебе только несколькими строками. Пишу в землянке, лежа на полу, то есть на земле, и насилу мог достать клочок бумаги. А между тем я видел столько высокого и вместе с тем столько ужасного и гадкого, что исписать обо всем этом можно бы целые томы. Если бог даст свидеться, расскажу подробно. Признаюсь, что в первые дни было здесь очень жутко, так что я несколько раз мысленно обзывал себя трусом, но потом привык, и теперь, идя на бастион, право, не чувствуешь страха больше, чем, бывало, перед латинским экзаменом. Брата ты бы не узнал: до того он вырос и возмужал во всех отношениях. За Балаклаву он, вероятно, получит Георгия<sup>55</sup>, да и действительно он держал себя таким молодцом, что нельзя было не полюбоваться им. На другой день, то есть четырнадцатого октября, он ходил на вылазку с батырцами и ранен пулей в левую ногу (немного выше колена). Рана, впрочем, пустая, и дней через десять он выпишется из госпиталя. Гуркин со мной неразлучен, и мы, конечно, беспрестанно вспоминаем о вас, дорогих и милых. Не поминайте нас лихом и не забудьте чокнуться с нами третьего января. Впрочем, до тех пор я еще много раз буду писать тебе».

Константинов не исполнил своего обещания, и с 20 октября о нем не было никакого известия.

У многих при чтении письма навернулись слезы.

## II

В середине февраля у графини Хотынцевой был утренний прием. Гости уже разъезжались; в гостиной сидела только баронесса Блендорф — высокая рыжеватая блондинка с несколькими лошадиным лицом,— которую графиня уговорила остаться обедать. Рядом с ней сидел ее двоюродный брат барон Бликс, очень на нее похожий, с лицом совсем лошадиным и с моноклем в глазу. Графиня уже прика-



зала, чтобы больше никого не принимали, как вдруг раздался с лестницы громкий звонок, и лакей возвестил о приезде Петра Петровича — некогда начальника, а теперь приятеля графа. Вошел высокий, сухощавый старик, одетый по-старомодному, в длинном сюртуке и с огромным черным галстуком, подпиравшим ему щеки. Рассеянно поздоровавшись с дамами, он сейчас же вызвал графа в залу и сказал ему вполголоса:

— Вы знаете, граф, ужасную новость? Государь умирает<sup>56</sup>.

— Не может быть! — воскликнул граф Хотынцев. — Кто это сказал вам, Петр Петрович?

— Между докторами произошло разногласие: Мант уверяет, что нет никакой опасности, а другие говорят, что нет никакой надежды. Вы ведь, кажется, хороши с Анной Аркадьевной, — продолжал он еще тише, — она должна знать наверное. Поедьте к ней, я вас подожду в карете.

Петр Петрович никогда не делал визитов, и приезд его означал что-нибудь необычайное, а потому графиня насторожила уши по направлению к залу, но, услышав слово «разногласие», успокоилась.

— Ну, конечно, я так и знала, — обратилась она с улыбкой к баронессе, — у них в комитете произошло какое-то разногласие, и они теперь волнуются из-за каких-нибудь глупостей. И отчего это может возникнуть разногласие? Кажется, все так ясно...

Когда же лакей объявил, что его сиятельство «уехали с Петром Петровичем и приказали, чтобы их не ждали кушать», графиня не на шутку рассердилась.

— Да уж, конечно, мы не будем умирать с голоду от их разногласия. А вот, кстати, и Сережа... *Chère baronne, acceptez le bras de ce mauvais sujet\**, и пойдете в столовую.

Граф возвратился к концу обеда, бледный и расстроенный. Вести, им полученные, были неутешительны. Когда он сообщил о них присутствовавшим, графиня не выдержала и раскричалась:

— Надо быть сумасшедшим, чтобы распускать такие нелепые слухи! *Si au moins vous ne racontiez pas vos bêtises devant les domestiques!\*\** У меня сегодня была княгиня Марья Захаровна, и я все знаю подробно от нее. Государь действительно простудился, но теперь ему гораздо лучше, и он завтра будет смотреть какой-то полк, который пришел из Ревеля или идет в Ревель. Что-то в этом роде...

Вечером курьер, посланный графом Хотынцевым во дворец, привез известие, что государю «как будто немного лучше». Тем не менее граф почти не спал всю ночь, встал поздно и вышел только к завтраку. Графиня сидела недовольная и говорила колкости Горичу, которого очень не любила. Граф опять послал курьера во дворец, но посланный не успел еще вернуться, как в комнату вбежал правитель канцелярии со словами:

— Ваше сиятельство, страшная новость: государь скончался!

---

\* Дорогая баронесса, примите руку этого шалопаю (фр.).

\*\* По крайней мере не рассказывали бы вы ваших глупостей в присутствии слуг! (фр.)

Слова эти произвели невыразимое впечатление. Казалось, что все услышали что-то ужасное и в то же время непонятное. Граф вскочил и тотчас упал на стул, закрыв лицо руками. Несколько минут все молчали. Первая заговорила графиня:

— Ах, боже мой, это ужасно, ужасно!.. Как же, Базиль, ты мне раньше не сказал, что государь так болен?

Граф даже не ответил на этот упрек, несмотря на его явную несправедливость. Прошло несколько минут.

— Что же теперь будет? — начала размышлять вслух графиня.— Теперь, конечно, Петр Петрович уйдет. Кто же будет назначен на его место? Разве князь Бельский... Послушай, Базиль, у Бельского много шансов, как ты думаешь?

— Ах, право, не знаю, Олуэре. Не все ли равно?

Из ответа мужа графиня увидела, что надо сосредоточиться. На минуту она успокоилась, но ее подвижная натура не выдержала, она вскочила и порывисто позвонила.

— Приготовь мне черное платье и скорее закладывать карету! — скомандовала она вбежавшему лакею.

— Куда ты?

— Надо купить побольше черного крепа,— завтра ни за какие деньги не достанешь,— и, кроме того, заехать к княгине Бельской. Она, может быть, еще не знает...

— Приходите, *mon cher* \*, вечером,— сказал граф Горичу,— а теперь я не в силах разговаривать.

И граф Хотынцев заперся в своем кабинете.

Когда Горич вошел вечером в этот кабинет, в нем, кроме графа, сидел генерал Дольский, частый посетитель Хотынцевых, имевший в обществе репутацию бонмотиста, умного скептика и «злого языка». Он был среднего и плотного сложения, переходившего в тучность, с коротко остриженными волосами и большими баками, в которых пробивалась седина. На нем был мундир генерального штаба; эполеты и аксельбанты были зашиты в черный креп. Через минуту вошел Петр Петрович и горячо обнял графа, как бы выражая этим молчаливым поцелуем их общую скорбь. Вошла графиня с предложением перейти в столовую, но Петр Петрович, узнав, что у нее гости, попросил разрешения пить чай в кабинете.

— Да, господа,— сказал он, усаживаясь в кресле,— мы переживаем важную историческую минуту. Смело можно сказать, что в нынешнем столетии ничья смерть в Европе не произвела такого впечатления...

— Кроме разве смерти Наполеона,— небрежно откликнулся Дольский.

— Действительно,— отвечал Петр Петрович,— если бы Наполеон умер на троне, на высоте своего могущества, его смерть могла бы произвести еще большее впечатление. Но я живо помню то время и могу вас уверить, что известие о его смерти прошло почти бесследно. Да и какое значение могла иметь смерть бессильного изгнанника,

---

\* дорогой (*фр.*).

тогда как сегодня ушел со сцены мира человек, который тридцать лет держал в своих руках судьбы Европы<sup>57</sup>, который по величю был настоящим Агамемноном — царем царей.

— Вот за это величие мы теперь и расплачиваемся,— процедил сквозь зубы Дольский.

— Еще неизвестно, кто в конце концов заплатит,— возразил уже раздражительным голосом Петр Петрович.— Во всяком случае, не нам упрекать государя за то, что он возвел Россию на такую высоту, которой она не достигала ни в одну историческую эпоху. Справедливо сказал известный персидский поэт, Фазиль-хан, в своей оде к покойному государю: «Твое решение есть решение судьбы всемогущей; повеления твои суть главы в книге предопределения»<sup>58</sup>.

Дольский протянул свои толстые ноги и лениво произнес:

— Да, я знаю эту оду, в ней есть и такая строфа: «не только мир тебе подвластен, но даже и Паскевич»<sup>59</sup>.

Граф Хотынцев улыбнулся. Петр Петрович строго посмотрел на всех через очки. Взгляд этот говорил: в такой день нельзя ни говорить забавные вещи, ни улыбаться.

— Если мы обратимся к внутренней политике покойного государя,— заговорил он, успокоившись и отпив глоток чаю,— мы не найдем в ней ни уступок, ни колебаний, какие были при его предшественнике. Можно сказать, что в течение тридцати лет царила одна строгая и стройная система<sup>60</sup>.

— Это бесспорно,— прервал Дольский.— Но если отнестись критически к этой системе...

— Не время, генерал, не время! — вскричал запальчиво Петр Петрович.— Предоставим критику истории, а в тот самый день, как закрылся взор, перед которым вы дрожали, нехорошо бросать слова порицания в открытую могилу.

— Критика не есть порицание,— ответил спокойно Дольский.— Критика есть уяснение. Если вы хвалите какую-нибудь систему, то этим самым вы также подвергаете ее критике...

— Генерал, в другое время я оценил бы остроумие ваших софизмов и все ваши диалектические фокусы, но теперь нам, право, не до того. Теперь, заплатив дань непритворной скорби прошедшему, мы должны посмотреть в глаза близкому будущему. Мне кажется, что непосредственных последствий нынешнего ужасного дня будет два: прекращение войны и воля крестьянам.

— С первым положением вашего высокопревосходительства я согласиться не могу: война не прекратится.

— Почему вы так думаете?

— Если я понял мысль вашего высокопревосходительства, хотя вы и не изволили ее формулировать, вы хотели сказать, что Европа начала войну не против России, а против императора Николая. Это верно, и мир был бы заключен немедленно, если бы не стояло на пути к миру непреодолимое препятствие: Севастополь. Мы принесли на этот алтарь огромные жертвы, но жертвы, принесенные союзниками, еще значительно, так что теперь вопрос народной чести заключается для них в том, чтобы взять, а для нас в том, чтобы от-

стоять. А перед этой фикцией народной чести, или, если хотите, народного упорства, бледнеют все химеры гуманности, братства народов и космополитизма.

Дольский закурил сигару и продолжал, очень довольный тем, что ему, наконец, удалось завладеть разговором.

— Что такое космополитизм? Это утлая ладя, в которой можно кататься по морю в ясную погоду. Но вот ветер, — и первая волна опрокинет ничтожную лодку. Хотя вы, Петр Петрович, и считаете меня либералом, я не менее вас скорблю о постигшей нас великой утрате. Однако есть в России действительно либеральные кружки — и их, поверьте, не мало — где эта утрата произведет несколько иное впечатление. Но вряд ли в самом либеральном кружке найдется один истинно русский человек, который бы обрадовался при известии, что Севастополь не существует. Тут уже кровь заговорит, а кровь — сильнее идеи.

— Да, это так, — сказал Петр Петрович.

Услышав слово одобрения, Дольский решил, что он может доказать ту мысль, которая была прервана так грубо, но по правилам военной науки сделал искусное обходное движение. Голос его приобрел какие-то мягкие, почти нежные тоны.

— Император Николай Павлович, как человек, всегда будет предметом удивления и поклонения. Это был, в полном смысле слова, джентльмен на троне. Вы знаете его ненависть к парламентаризму, а между тем в тридцатом году он написал Карлу Десятому замечательное письмо, в котором уговаривал короля не нарушать конституции:<sup>61</sup> он не понимал, как можно не исполнить данного слова. Даже его крупные политические ошибки происходили из того же рыцарского источника. Он не мог признать ни узурпаторов, вроде Луи-Филиппа<sup>62</sup>, ни жонглеров, вроде теперешнего повелителя Франции<sup>63</sup>. Во всей истории трудно найти монарха, в котором чувство долга перед своей страной было развито более, чем в покойном государе, и который бы меньше думал о личном счастье, чем он. Все свои часы, все свои помыслы он отдал России. Но зато...

Дольский перевел дух и возвысил голос.

— Но зато он требовал, чтобы вся Россия думала, как он; зато всякую независимую мысль он преследовал, как преступление. Вот где корень той гибельной системы, которая привела нас к тому, что в минуту роковой борьбы мы оказались неприготовлены и бездарны. Мы привыкли исполнять, но отвыкли думать. До сих пор за самое полное выражение абсолютизма признавались слова Людовика Четырнадцатого: «L'état — c'est moi!» \* Император Николай выразился, на мой взгляд, сильнее: он сказал однажды: «Мой климат».

После этого разговор получил более частный характер. Вспоминались разные случаи из жизни покойного государя, рассказывались анекдоты, передавались трогательные подробности его кончины. Графиня Олимпиада Михайловна несколько раз входила в кабинет и, прикладывая к глазам батистовый платок, садилась на диван; потом, услышав какую-нибудь фразу, вскакивала и убегала сообщить

---

\* Государство — это я! (фр.)

ее в столовую, где около самовара сидели две старые фрейлины Кублицевы и баронесса Блендорф с неизбежным Бликсом. В столовой, впрочем, умы были заняты не столько будущими судьбами отечества, сколько близкими переменами в административных и придворных сферах. Все кандидаты на министерские и другие важные должности были найдены и проведены ареопагом довольно согласоно. Только один жгучий вопрос остался без разрешения: обе ли дочери княгини Кречетовой будут сделаны фрейлинами или только старшая? Под конец вечера до столовой долетали такие громкие крики Петра Петровича, что графиня не решалась войти в кабинет. Там разговор зашел об освобождении крестьян, в котором Дольский видел спасение России, а Петр Петрович — ее гибель. Тут уже никакие софизмы и фланговые движения генерала не могли привести к соглашению и предотвратить бурю. Кончилось тем, что Петр Петрович, не помня себя от гнева, назвал Дольского мальчишкой, на что тот отвечал с улыбкой:

— Для человека наполовину седого такое наименование может быть только приятно...

Было уже три часа ночи, когда Горич вернулся домой. Иван Иванович, поджидая сына, дремал в кресле с Нибуром в руках. Горич, не проронивший ни одного слова из вчерашнего разговора, передал его во всей подробности отцу и желал узнать его мнение.

— Вот видишь, Яша,— отвечал, подумавши, Иван Иванович: — тут, очевидно, встретились два разнородных течения, и очень трудно решить, на чьей стороне истина. По правде сказать, и там и тут есть доля правды. Но все-таки... если хорошенько вникнуть... и говоря совершенно беспристрастно, я более согласен с графом Хотынцевым,— это государственный человек.

Яша невольно улыбнулся такому беспристрастию: он не передавал отцу ни одного мнения графа Хотынцева, который молчал весь вечер.

Впечатление, произведенное смертью императора Николая в России, было действительно громадно. Сначала это был какой-то ошеломляющий удар, какое-то чувство вроде того, что вся жизнь прекратилась, что вот-вот сейчас все погибнет. Потом, после первых минут столбняка, русским обществом овладело лихорадочное, неудержимое желание высказаться. Казалось, что вырвавшаяся из-под гнета мысль силилась наверстать долгие годы невольного молчания. И чем дальше от Петербурга, тем впечатление это было сильнее. Защитники Севастополя узнали о кончине своего царя от врагов. В двадцатых числах февраля, после одной жаркой вылазки, было заключено трехчасовое перемирие для уборки тел. Во время этого перемирия французские офицеры передали нашим роковое известие, дошедшее до них по подводному кабелю. Наши не поверили и увидели в этом хитрую уловку, изобретенную врагами для того, чтобы их смутить. Официально севастопольцы узнали о кончине императора только 28 февраля, но, если французы действительно думали их смутить, расчет их оказался неверен: уже в ночь на 3 марта волынцы и камчадалы (как звали в других полках Камчатский полк) доказали зуавам<sup>64</sup> на

деле, что никакое известие не могло их поколебать и изменить неприятный образ действий.

Первым последствием пробудившейся общественной мысли были повсеместные разговоры о предстоящем освобождении крестьян. Теперь трудно проследить и объяснить происхождение этого слуха. Правда, новый государь, еще будучи наследником престола, не раз высказывал свое отвращение к крепостному праву, но это могло быть известно только близким к нему людям, а между тем несомненно, что в самых дальних захолустьях разговоры о «воле» начались с первых дней нового царствования. Молодежь, литература, все мыслящие люди, не принадлежавшие к помещичьему сословию, горячо приветствовали «зарю освобождения», но большинство дворянства отнеслось к этой заре с недоверием и ужасом; на первых порах реформа казалась помещикам равносильной потере всего имущества. Провинция оживилась. Люди, никогда не выезжавшие из своих деревень, начали усердно ездить в города и совещаться между собою о том, какие меры следует предпринять ввиду грозящей беды. Афанасий Иванович Дорожинский, покупавший в это время новое огромное имение около Саратова, вдруг отказался от покупки и потерял значительный задаток. Только те, в пользу которых должна была совершиться реформа, молчали по обыкновению, но и в этой безличной массе, какою оказался народ, начали проявляться кое-какие признаки нетерпения. Целые селения являлись в уездные города с требованием, чтобы их записали в ополчение, потому что кто-то пустил слух, что все ратники и их семейства получают после войны волю. В некоторых губерниях нетерпение народа выразилось так называемыми «крестьянскими бунтами», которые, впрочем, большею частью заключались в пассивном неповиновении местному начальству и прекращались очень быстро. Правительство, занятое войной, сочло нужным успокоить умы, и 28 августа министром внутренних дел был разослан губернским предводителям циркуляр, в котором было сказано: «Всемиловитейший государь наш повелел мне ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». По прочтении этого циркуляра Афанасий Иванович опять возобновил переговоры о покупке саратовского имения, но, впрочем, дать новый задаток не рещался.

Успокоение продолжалось недолго. В марте 1856 года государь сказал в Москве депутатам дворянства знаменитую речь<sup>65</sup>, после которой вопрос освобождения крестьян был решен бесповоротно в принципе. Оставалось найти способ, чтобы почин освобождения исходил от самого дворянства.

Так как эта речь была сказана через несколько дней после заключения мира и опровергала циркуляр 28 августа, то в среде недовольного дворянства возникла легенда, очень долго державшаяся, что освобождение крестьян потребовано Наполеоном и внесено в одну из секретных статей Парижского трактата<sup>66</sup>. Ожесточенные помещики, еще не смевшие открыто порицать правительство, осыпали громкими проклятиями Наполеона, который, как виновник войны, и без того был предметом общей ненависти и презрения. Дети

и внуки тех, которые не иначе называли первого Наполеона, как антихристом, предоставляли теперь охотно этот титул его племяннику.

Афанасий Иванович Дорожинский также бесповоротно начертил себе план будущих действий. Он заговорил о капитализации, твердо решил не покупать никаких имений, отказался от всяких хозяйственных реформ и даже исподтишка продал очень дешево две дальних деревушки, приносившие ему мало дохода.

### III

Аккуратный Миллер не мог сдержать своего обещания, и только в начале марта Угаров перебрался на собственную квартиру в Шестилавочной улице, в нижнем этаже большого дома, в котором сам Миллер с матерью и сестрой занимал бельэтаж. Войдя в свое новое жилище, Угаров сразу почувствовал, что жить ему в нем будет невесело. Все было ново и чисто, но как-то безвкусно и уныло. Комнат было больше, чем нужно, но не было ни одного уютного уголка. Тем не менее Миллер был очень горд блистательно исполненным поручением. Да и действительно, все практически нужное он предусмотрел до последних мелочей и не без торжества вручил своему товарищу четыреста рублей сделанной им экономии против сметы. В квартире были две совсем лишние комнаты, и Угаров никак не мог понять их назначения.

— Вот видишь, любезный друг, — пояснил Миллер, — теперь эти комнаты не нужны, это правда; но вдруг ты вздумаешь жениться, — тогда у тебя все готово и на первый год ты не должен искать новой квартиры.

Особенно недоволен оказался Угаров своей спальней. Это была узкая, косая комната, с окнами, выходившими на длинный и грязный двор.

Недовольство Угарова разделял вполне его крепостной человек Иван, бывший когда-то камердинером его отца и теперь приставленный к нему в качестве дядьки. Когда Иван в первый раз пришел будить барина в новой квартире, лицо его было сурово и мрачно.

— Ну, что, Иван, доволен ли ты своим помещением? — спросил, потягиваясь, Угаров.

— Да мне что! — отвечал Иван, по старой привычке собственноручно обувая барина, — я везде помещусь. А только позвольте вам доложить, Владимир Николаевич: какая же это барская квартира? Да у нас при покойном барине — царство ему небесное! — в таких флигелях приказчики живали. Теперь опять насчет дров... Гораздо бы нам лучше на своих дровах жить, а хозяйские дрова — извольте сами посмотреть — разве это дрова? Так, гниль какая-то, одно название, что дрова...

— Ну, не ворчи, Иван, как-нибудь проживем.

Немало также смущала Угарова близость, в которой ему придется жить с семейством Миллеров. Лицеистом он к ним ездил очень

часто и ухаживал усердно за Эмилией Миллер. В последний год, когда он вернулся в Петербург влюбленный в Сою Брянскую, ему казалось неловко вдруг перестать ухаживать за Эмилией, а притворяться было противно. Так прошла зима, и он не решился поехать к ним. А в этом году ему было неловко ехать оттого, что он не был ни разу в ту зиму. Теперь, живя под одной крышей, он уже не может не посетить их.

«И зачем это Миллер заговорил вчера о моей женитьбе? — размышлял, одеваясь, Угаров.— Неужели он хочет женить меня на своей сестре? А с другой стороны, он не только не приглашал меня к себе, но ни разу в два года даже не попенял, что я так давно не был... А вдруг я пойду, и меня не примут...»

Не без волнения Угаров поднялся на лестницу и позвонил у знакомой двери.

Вдова генерала Миллера, рожденная баронесса фон Экштадт, была в молодости известной красавицей. Теперь она представляла собою громадную массу застывшего белого жира. Несмотря на это, ее маленькие заплывшие глазки блестя, движения сохранили относительную легкость и грацию, и она часто говорила о своей красоте, хотя и в ироническом тоне. Увидев Угарова, она всплеснула руками.

— Боже мой! Кого я вижу! Миля, Миля, посмотри, кто пришел, явился беглец от нас... Миля, иди же скорее...

Эмилия тихо вошла и просто, по-дружески, протянула руку Угарову.

— Вы видите, что Карлуша был прав,— сказала она, обращаясь к матери.— Когда вы напомнили ему, чтобы он поскорее пригласил к нам Владимира Николаевича, Карлуша сказал: зачем приглашать? захочет, и так придет.

— О, да, Карлуша всегда прав,— сказала генеральша со вздохом.

Эмилия Миллер была очень симпатичная и очень красивая девушка с голубыми глазками и роскошными пепельными волосами, но ей очень вредило ее фатальное сходство с матерью. Всякому невольно приходило в голову, что через несколько лет она делается такую же тушею, как генеральша. За два года, что Угаров не видел Эмилии, она уже сделала несколько шагов по пути к этому образцу. Какие средства ни пробовала она, чтобы остановить ожирение, борьба ее с этим семейным недугом была бессильна.

— Ах, как вы хорошо выглядите, monsieur Угаров! — говорила между тем генеральша,— вы стали совсем прекрасный молодой человек. А отчего же вы мне не говорите, что я похорошела? Когда вы видите такую красивую молодую даму, как я, вы должны сказать ей что-нибудь приятное...

Через пять минут Угаров чувствовал себя как дома. Вся неловкость его исчезла.

На прощанье генеральша выразила надежду, что такой близкий сосед будет часто навещать их.

— Я не могу приглашать вас к обеду, потому что у нас слишком простой стол, но каждый вечер вы можете найти у нас одну чашку чаю и теплый прием.



Эмилия громко рассмеялась.

— Отчего же вы обещаете Владимиру Николаевичу только одну чашку чаю? Он может пить и две, и три, и сколько ему вздумается...

— А ты, Миля, рада случаю посмеяться над моим русским языком. Что же я должна сделать, monsieur Угаров? Я в душе совсем русская, дети мои православные, одним словом, я русская до моих последних костей... Но язык ваш такой трудный, такой трудный. А по-немецки я говорить не смею: за каждое немецкое слово Миля берет с меня фант...

Уходя от Миллеров, Угаров вспомнил, что на его совести еще визит к одному дальнему родственнику — двоюродному дяде Марьи Петровны — и заодно отправился к нему.

Иван Сергеевич Дорожинский был очень старый генерал-адъютант и занимал нижний этаж собственного дома на Большой Морской. Когда Угаров маленьким лицеистом являлся, бывало, к нему на поклон рано утром, его вводили в дядюшкину спальню, где в большом кресле сидел седой, лысый и сгорбленный старик, с длинной трубкою и «Русским Инвалидом» в руках. В таком виде он оставался каждый день до одиннадцати часов, после чего приступал к туалету, длившемуся часа полтора. Крепостной куафёр брил его и слегка завивал черный паричок, сделанный так искусно, что многие принимали его за собственные волосы Ивана Сергеевича. Другой крепостной камердинер красил барские усы и брови и прилаживал челюсть с великолепными белыми зубами. Затем Иван Сергеевич стягивался корсетом, надевал всегда щегольской с иголки сюртук и, слегка позавтракав, входил в гостиную бодрым и свежим генералом средних лет. Там он садился в кресло, стоявшее на возвышении у большого окна, и смотрел на улицу. Все его знакомые знали это и, проходя или проезжая мимо, кланялись ему, а иногда заходили посидеть четверть часа на перепутьи. Иных, нужных ему людей, он зазывал сам, делая размашистые жесты обеими руками. «Ну, что вчера в клубе? — спрашивал он одного. — Кто выиграл: Грузнов или Локтев? Сколько они заплатили штрафа?» — «Ну, что было вчера на рауте? — допрашивал он другого. — Кто там был?» Но если проезжал мимо кто-нибудь из свиты, бывший накануне дежурным, Иван Сергеевич чуть не выскакивал на улицу, чтобы позвать его. Допрос был самый подробный. Кто представлялся, о чем говорили, сколько минут продолжался доклад такого-то министра, — все ему нужно было знать. Таким образом Иван Сергеевич один из первых в городе узнавал о чьей-нибудь смерти, свадьбе или о каком-нибудь скандале. В четыре часа он садился в карету и делал визиты и развозил по городу наиболее интересные известия. Вечером он заезжал в Английский клуб, где узнавал новости текущего дня, играл три роббера в вист, а в одиннадцать часов уже всегда лежал в постели. Бодрого генерала средних лет не было и в помине; оставался седой, беззубый старик, стонущий от усталости, облепленный фонтанелями и мушками и ни для кого невидимый до второго часа следующего дня.

Угаров, конечно, застал дядюшку на его наблюдательном посту.

— Здравствуй, племяшка,— сказал Иван Сергеевич, подставляя ему щеку для поцелуя.— Ну, что мать? Здорова? Пиши ей почаще.

— Я, дядюшка, пишу два раза в неделю.

— Это хорошо, мать забывать не следует. А Варя что? Все сидит в девках! сама виновата, смолоду была смазливенькая, и женихи были хорошие... Зачем привередничала? Ну, и сиди теперь в девках! Поделом!

Тираду о тете Варе Угаров знал наизусть, потому что дядюшка произносил ее при каждом свидании.

— А у меня отчего давно не был?

Угаров начал рассказывать, но дядюшка на первой фразе прервал его.

— Нет, какова Марья Захаровна! — кричал он, указывая перстом на проехавшую коляску,— едет мимо и отворачивается. И на что она могла смотреть на той стороне? Все тот же мебельный магазин, который мне десять лет глаза мозолит. А вот Шарлотта проехала в красной шубе... Дура! Ну, значит, сейчас мы и Алешу Хотынцева увидим... вон видишь, видишь, пролетел гусар в санях — это он! А! и кавалергард на сером рысаке... Хороший рысак. Не знаешь ли, кто этот кавалергард? Вот уж пятый день как он за Шарлоттой гоняется.

— Не знаю, дядюшка, я никого не знаю из этого общества.

— Напрасно, мой друг. В твои лета и с твоим состоянием надо всюду ездить и всех знать. Вот погоди, на будущей неделе я позову тебя обедать и кое с кем познакомлю...

У Ивана Сергеевича был прекрасный повар, известный всему Петербургу, и он всех знакомых обнадеживал своим приглашением на обед, но устраивал этот обед очень редко.

— Да, вот кстати, чтоб не забыть. Я на днях рассматривал кандидатские списки в клубе — ты теперь сорок третий кандидат, так что лет через пять-шесть можешь попасть в члены.

— Зачем же, дядюшка? Я в карты не играю...

— Вот вздор какой, точно у нас одни игроки. У нас иной своих детей при рождении записывает в кандидаты. Да, вот, родственник наш, Афанасий Иванович,— ждет не дождется своей очереди. Он теперь двадцатый.

Вдруг Иван Сергеевич вскочил с кресла и почтительно поклонился. Мимо проезжали щегольские сани с кучером, одетым в траурный армяк. Сидевший в санях молодой офицер посмотрел на окно и с приветливой улыбкой приложил руку к фуражке.

— Видишь, видишь, племяша, какие лица внимание мне оказывают! — говорил весело Иван Сергеевич,— а княгиня Марья Захаровна изволила мебель рассматривать... А вот и Демьян Иваныч заехал ко мне из совета.

У подъезда остановилась карета, и из нее медленно вылезал тучный генерал в каске. Угаров взялся за шляпу.

— Ну, прощай, заходи ко мне, когда свободен.

И дядюшка снова подставил свою щеку.

— Постой, постой! — закричал он, когда Угаров был уже в другой комнате, — пиши почаще матери, забывать родителей — большой грех.

От дядюшки Угаров зашел к Сереже Брянскому, который жил через несколько домов. Швейцар, получивший раз навсегда приказ от Сережи всем отказывать, объявил, что князя нет дома; но, на беду, Сережа как раз в эту минуту сходил с лестницы. Пришлось вернуться. Квартира, которую он занимал вместе с Алешей Хотынцевым, была очень дорогая, но содержалась в большом беспорядке. Видно было, что хозяева иногда в нее приезжают, но не живут в ней. В комнате, в которую Сережа ввел Угарова, было холодно и пахло дымом. Чтобы посадить гостя, Сережа сбросил с кресла большой лакированный сапог. На письменном столе стояли пустые бутылки, по персидскому ковру были рассыпаны окурки папирос. На всех стенах в золотых рамах висели гравюры с изображением лошадей.

— Видишь, какой у нас беспорядок, — извинялся Сережа, — но это оттого, что я никогда не сижу дома, а у моего сожителя три квартиры: здесь, в Царском и у Шарлотты. А, да вот и он, кажется, приехал...

В передней раздалось громкое звяканье сабли, и Алеша Хотынцев вошел в сопровождении огромного датского пса.

— Очень рад с вами познакомиться, — говорил он, крепко пожимая руку Угарова. — *Les camarades de nos amis sont nos camarades* \*. Эй, Денисов!

В дверях появился денщик с широким заспанным лицом.

— Привезли приказ?

— Приказание принесли, ваше высокоблагородие, а приказ еще не вышел.

— Этакая тоска! — сказал Хотынцев, взглянув на четвертушку серой бумаги, которую подал ему денщик, — завтра опять с первым поездом надо ехать в Царское. Денисов, порядок знаешь?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

Денисов исчез и через минуту появился опять, неся на подносе бутылку и три стакана. Угарову не хотелось пить, но Хотынцев опять повторил: «*Les camarades de nos amis sont nos camarades*», и заставил его выпить два стакана теплого шампанского. Потом все трое пошли обедать к Дюкро, где в красной комнате Шарлотта уже ждала Хотынцева. Шарлотта была полная, высокая блондинка, с роскошными формами тела и грубо подрисованными глазами. С лица ее обильно сыпалась пудра. Говорила она на плохом французском языке с немецким акцентом и показалась Угарову очень глупой женщиной. Прежде всего она обругала Хотынцева за то, что он заставил ее прождать десять минут, потом забраковала обед и заказала новый, причем старалась выбирать самые дорогие блюда. Угарову было невыносимо скучно. За обедом много пили и говорили о лицах, которых он не знал, и о вещах, которых он не понимал. После обеда

---

\* Друзья наших друзей наши друзья (фр.).

Шарлотта, уже успевшая выведать от Сережи, что Угаров очень богат, пригласила его пересесть к ней на диван.

— Viens m'embrasser, mon petit, tu as une mine si triste que j'ai envie de te consoler. Vois-tu, mon petit,— шептала она, нагибаясь к нему и царапая перстнями его шею,— j'ai une amie, une charmante petite femme, qui voudrait se caser. Je te présenterai à elle, et alors tu ne seras pas seul, et alors tu ne seras pas triste\*.

С Сережей Шарлотта целовалась очень продолжительно и нежно. Хотынцев не выражал никакой ревности, но только очень громко хохотал во время этих поцелуев. Когда же он подошел к Шарлотте и хотел также поцеловать ее, она замотала головой и сказала:

— Non, non, avec toi plus tard, à la maison\*\*.

Хотынцев начал потягиваться и напомнил, что с первым поездом ему надо ехать в Царское. Шарлотта на прощанье обещала известить Угарова о возвращении в Петербург ее подруги, которая уехала по делам в Москву. Сережа повел Угарова в общую комнату и познакомил его с постоянными посетителями ресторана — les amis de la maison\*\*\*, как называла их m-me Дюкро. Все были налицо: и Васька Акатов, окруженный свитой молодых офицеров, и маленький желчный старик князь Киргизов, и не старый, но совсем лысый советник министерства иностранных дел Менцель, изумлявший даже иностранцев своей цветистой французской речью, и богатый поляк, граф Строньский, приехавший в Петербург хлопотать по какому-то процессу и потому старавшийся как можно правильнее говорить по-русски. Князь Киргизов с молодых лет привык заезжать к Дюкро после театра. Он появлялся часа на полтора, пил чай с коньяком, иногда ужинал, ругал все и всех и пользовался в ресторане большим уважением. Теперь театры были закрыты, никаких увеселений и вечеров в городе не было, а потому князь повадился ходить каждый вечер и просиживал в общей комнате до поздней ночи. Вследствие этого его авторитет упал, и Акатов «показывал» его для развлечения публики. Подметив его крайнюю раздражительность, он натравливал его на кого-нибудь из присутствующих, и когда старичок, по своему обычаю, вскакивал с места и подбегал к своему противнику, Акатов доливал его стакан коньяком до краев. Князь в жару спора не замечал этого, выпивал стакан залпом, горячился все более и более и доходил до невозможных нелепостей. В тот вечер он был стравлен с Менцелем; спор шел о нашей дипломатии, в которой князь видел причину всех наших бедствий.

— Бумаги бы не хватило,— говорил он, бегая по комнате,— если бы описать все случаи, когда наши дипломаты едва не погубили Россию своими нотами, конференциями, протоколами и прочей дребеденью...

— Например? — спросил небрежно Менцель.

---

\* Обними меня, малыш, у тебя такой печальный вид, что мне хочется тебя утешить. Видишь ли... у меня есть подруга, очаровательная женщина, которая хотела бы пристроиться. Я представляю тебя ей, и ты не будешь больше одинок и печален (фр.).

\*\* Нет, нет, с тобой позже, дома (фр.).

\*\*\* друзья дома (фр.).

— Например, например! — передразнил его князь.— Вы сами знаете примеры. Ну, вот вам Венский конгресс...<sup>67</sup>

— Ну, что же Венский конгресс?

— А то, что мы были победителями, спасли Европу, а на Венском конгрессе, благодаря нашим дипломатам, нас оплели.

— То есть почему же оплели?

— Сами вы знаете, почему оплели... А все это отчего? Оттого, что почти все наши дипломаты немцы<sup>68</sup>. Разве немец может понять и защитить русские интересы? Вот когда во главе нашей дипломатии были настоящие русские люди, они высоко держали русское знамя. Зато их имена мы произносим с благоговением.

— Кто же это такие?

— Как кто? Вы сами знаете, кто.

— Ну, однако, назовите кого-нибудь.

— Извольте-с, назову. Ну, вот вам: Каподистрия...<sup>69</sup>

— Благодарю вас; он именно был не русский.

— Да он, по крайней мере, немцем не был, поймите это! — завопил князь, подбегая к Менцелю с сжатыми кулаками,— и за это одно ему великое спасибо. Ведь все зло от немцев, ведь они все хриstopродавцы, начиная с Иуды.

— Иуда тоже был немец?

— Да-с, он был немец, и я вам это докажу.

Менцель поспешил заявить, что ему это безразлично, потому что сам он, Менцель, русский, хотя и носит немецкую фамилию.

Угаров вернулся домой в четвертом часу ночи, усталый и измученный. Голова у него трещала от вина и от всех впечатлений дня. Впечатления не были симпатичны, но, однако, на другой день в пять часов он входил к Дюкро, успокаивая свою совесть тем, что надо же где-нибудь пообедать. Скоро он втянулся. Недели через две, при расплате, оказалось, что у него не было мелких денег, и он вручил Абрашке сторублевую бумажку. Татарин принес ее обратно, извиняясь, что в кассе разменять ее нельзя, и передал Угарову предложение m-me Дюкро завести в ресторане счет. Угаров не нуждался в кредите, но это предложение показалось ему удобным, и он согласился. Акатов поздравил его с официальным вступлением в «друзья дома», и он должен был по этому случаю угостить шампанским всех присутствовавших. Несмотря на это экстраординарное угощение, разговор не клеился. Акатов уже целый час беседовал о производстве с усатым полковником, приехавшим на несколько дней из Варшавы. Это был его товарищ по выпуску, и потому он называл его по школьному прозвищу «Сапогом».

— Да пойми ты, Сапог, что если бы Петька Горев не сел мне на шею, то я был бы теперь таким же полковником, как и ты. Ведь из-за этого проклятого Петьки я восемь лет просидел поручиком.

— Ну, полковником ты бы вряд ли был теперь,— отвечал Сапог,— а только в самом деле, что же это за порядок? Одно из двух: или не ходи в академию, или, если уж пошел, не возвращайся в полк. Такой же случай был у нас в Варшаве...

Князь Киргизов молча пил свой чай с коньяком и угрюмо поглядывал в сторону Менцеля, лысина которого чуть-чуть виднелась из-за огромной газеты, только что присланной ему из министерства.

Когда Угаров уехал, Акатов почтительно обратился к князю Киргизову:

— Скажите, князь, нравится ли вам новый член нашего клуба?

— Кто это? Угаров? Ничего, он, кажется, скромный...

— Абрашка, бутылку! — закричал Акатов. — Господа, я сегодня в первый раз в жизни слышал, что князь кого-нибудь похвалил, а теперь предлагаю выпить вам за преобразование князя Киргизова!..

— Я нахожу этот тост и неуместным, и несправедливым, — заметил сухо князь. — Во-первых, я могу и хвалить и порицать, кого мне заблагорассудится, а во-вторых, я и не думал хвалить этого Угарова. Я только сказал, что он скромный... разве это неправда?

— Скромный-то он скромный, — продолжал Акатов, подливая Сапогу, — но, знаете ли, князь, иногда наружность бывает обманчива. Недаром говорится, что в тихом омуте черти водятся. Иной очень скромен на вид, а поройся в нем хорошенько — такая шельма окажется, что не приведи господи!

— Это совершенно справедливо, — согласился князь, которого уже начинала раздражать желчь, — и я вам скажу больше: мне кажется, что Угаров именно принадлежит к типу таких ложных скромников...

— Еще бы! Это сейчас видно.

Через четверть часа князь, хлебнув сразу полстакана чаю, немилосердно ругал Угарова, назвал его разбойником и заявил, что он с первого взгляда почувствовал к нему недоверие, потому что терпеть не может рыжих людей.

Из другого угла комнаты раздался громкий хохот Менцеля.

— Oh, elle est forte, celle-là, — говорил он, роняя на пол газету. — Ce pauvre Ougaroff peut-être un brigand — je ne dis pas non — mais il n'est pas roux, par exemple... Je suppose, que vous avez la berlue...

— C'est vous, monsieur, qui avez la berlue, et encore la pire de toutes — la berlue diplomatique...\*

Опять на сцену явились дипломаты, Венский конгресс и немцы. Князь расвирепел, глаза его налились кровью, и он так нервно забегал по комнате, что Акатов не на шутку за него испугался. Он встал с дивана и неожиданно схватил за локоть князя, сказав ему вполголоса:

— Послушайте, князь, не пора ли спать? Скоро четыре часа...

— Действительно, пора, — ответил спокойным голосом князь и ушел, ни с кем не простившись.

На другой день он явился в свой обычный час и очень дружелюбно поздоровался с Угаровым, Менцелем и прочими «друзьями дома», а через два часа, подбиваемый Акатовым, осыпал ругательствами усатого

---

\* Но это уж слишком... бедняга Угаров, может быть, и разбойник, я не отрицаю, но он не рыжий, у вас временное помрачение зрения...

Это у вас, месье, помрачение зрения, и самое худшее из всех, помрачение дипломатическое... (фр.)

полковника, который в это время безмятежно спал в вагоне, возвращаясь обратно в Варшаву, и которому даже и присниться не могло, какое негодование и какую злобу он возбудил во вчерашнем собеседнике...

#### IV

Дни проходили за днями. События громадной важности, переплетаясь с мелочами и дрязгами жизни и иногда подчиняясь их влиянию, уносились куда-то, оставляя за собой едва заметные следы, заметаемые очень скоро новыми событиями и новыми дрязгами. Нелепая война, поглотившая столько миллиардов и столько неповинных людей, кончилась Парижским миром<sup>70</sup>, то есть сравнительно — ничем. Побезденные защитники павшего Севастополя могли без краски стыда в лице возвращаться на родину, и русское общество встречало их как триумфаторов. Великий писатель, сражавшийся сам в рядах их и написавший несколько гениальных очерков Севастополя, впоследствии отнесся критически к этим овациям и встречам<sup>71</sup>. Конечно, в них было много восторженно-детского, но это вовсе не было упоение победой, а радостное сознание честно исполненного долга. И в то же самое время, как резкий диссонанс в этом хоре общего ликования, уже начиналось дело о неслыханных злоупотреблениях комиссариатского ведомства...

Пышные торжества коронации<sup>72</sup> были последней гранью между невозвратно ушедшим прошлым и новой, широко раскрывавшейся жизнью.

Что же даст эта новая жизнь? Вся Россия замерла в лихорадочном ожидании. Одни надеялись, другие боялись; но так как ничего определенного еще не было известно, то надеялись на слишком многое, — и боялись всего.

В Петербурге, где самые мелкие явления жизни принимают иногда в глазах общества грандиозные размеры, ожидание это не было очень заметно. В свете избегали говорить о таком неприятном предмете и склонялись к мысли, что, может быть, эта «чаша» пройдет мимо; да и личные интересы огромного большинства не были так задеты предстоящей реформой, как в провинции.

«Черт ли мне в реформе?! — размышлял Сергей Павлович Висягин. — Отберут у меня или не отберут те восемьдесят душ, которые мне приходится по разделу с братом, — это мне почти все равно. А вот, дадут ли мне на Пасху Белого Орла<sup>73</sup>, — это мне всего интереснее...»

Возвратясь поздно ночью с какого-то бала, графиня Хотынцева прошла прямо в комнату мужа, зажгла все свечи и, растолкав графа, сказала:

— Базиль, могу сообщить тебе важную новость. Сейчас княгиня Марья Захаровна сказала мне, что никаких перемен больше не будет. Правительство и без того дало много свободы. Теперь за границу может ехать всякий, кто хочет, офицеры гуляют в пальто и фуражках, и все курят на улице... Чего же им больше? А мужиков

решено освободить через пятьдесят лет. Я нарочно тебя разбудила, чтоб ты мог спать спокойно.

Граф Василий Васильевич еще протирали глаза, чтобы решить, — видит ли он все это во сне, или наяву, как графиня исчезла.

— О, господи, какой крест я несу! — ворчал он про себя, ища ногами туфли и вставая с постели, чтобы потушить свечи.

Первый Севастополец, увиденный Угаровым, был Семен Семенович Кублищев. Пробыв все одиннадцать месяцев в Севастополе и получив Георгия, он приехал в Петербург с прошением об отставке «по домашним обстоятельствам». Его мать, у которой уже открылась водяная, настоятельно требовала от него этой жертвы. Флигель-адъютант, просящийся в отставку, представлял совсем новое явление. Он был отпущен с неудовольствием, но все-таки получил звание шталмейстера. Накануне отъезда он завернул поужинать к Дюкро. Все «друзья дома» были с ним знакомы. Угарова он в первую минуту не узнал, но потом вспомнил о совместном пребывании с ним в Троицком и очень долго перед ним извинялся. Конечно, весь вечер он должен был рассказывать о Севастополе. О себе он вовсе не упоминал в рассказах, но о других, особенно о моряках, говорил с пафосом, переходившим в декламацию. Чувствовалось, что он говорит искренно, но что рассказы свои он тщательно обдумал и приготовил заранее, так как рассказывать ему приходилось в очень высоких сферах. Когда же князь Киргизов, по духу противоречия, попробовал высказать кое-какие сомнения, Семен Семенович, донельзя мягкий в обращении, остановил его очень резко. Князь отыгрался на интендантских чиновниках. Он ругал их всласть, и Кублищев за них не заступался.

С большой похвалой отозвался Семен Семенович и о товарищах Угарова, которых близко знал. Андрей Константинов, ставший и в Севастополе, как в лицее, предметом общей любви, был убит 27 августа, выбивая французов из редута Шварца<sup>74</sup>. Гуркин был так потрясен смертью друга, что не захотел вернуться в Петербург и зарылся в своей деревне, где-то в Херсонской губернии. Второй Константинов — Дмитрий, несколько раз раненный и увешанный знаками отличия, был взят в адъютанты одним важным генералом и уехал за границу лечиться.

Угаров уже знал о смерти Константинова; это была первая смерть, от которой болезненно сжалось его сердце. До тех пор смерть представлялась ему чем-то страшным, но в то же время и чем-то мифическим, не имеющим никакого отношения к нему и к близким ему людям. После торжественной панихиды, отслуженной в лицее всем выпуском, Угаров несколько дней ни о чем другом и думать не мог. Понемногу это впечатление побледнело, но под влиянием рассказов Кублищева оно воскресло с новой силой. Всю ночь мерещилось Угарову смуглое симпатичное лицо погибшего товарища. Добрые глаза смотрели на него с укором и как будто говорили: «Вот ты живешь, пользуешься обществом других людей, ужинаешь у Дюкро, спишь в теплой постели, а я лежу один в сырой и темной яме... За что?»



И Угарову казалось, что он в чем-то виноват перед Константиновым, что он недостаточно ценил его при жизни. Совесть упрекала его и за то, что после выпускного кутежа он проспал все утро и не приехал проводить Константинова на железную дорогу.

Вообще Угарову жилось невесело. Те мечты о счастье, с которыми он ехал в Петербург, понемногу разлетались, как дым. Женщина «ослепительной» красоты не появлялась, любовь не приходила. Одно время он задумал опять ухаживать за Эмилией Миллер и начал каждый вечер ходить наверх. Эмилия держала себя с большим достоинством и не делала никакого шага для возобновления прежних отношений, а Угаров испытывал странное ощущение: когда он не видел Эмилию, она представлялась его воображению красавицей, но при каждом новом свидании он находил, что она опять подурнела. Иногда у Миллеров бывали необычайно скучные гости, но, когда их не было, Угаров чувствовал себя хорошо в этом простом и тихом доме, несмотря на шуточные заигрывания и мещанские выходки генеральши. Стоило ему, например, похвалить какой-нибудь ковер, генеральша сейчас же заявляла:

— О, это прекрасный ковер, он стоит сорок шесть рублей.

Передавая ему стакан чаю в подстаканнике, она прибавляла:

— Посмотрите, какой отличный мельхиор!

Раз они сидели за чаем втроем. Карлуша, державший и мать и сестру в ежовых рукавицах, почти никогда не бывал дома по вечерам. Раздался звонок, и в залу скорыми шагами вошла девушка небольшого роста в темном дорожном платье, с саквояжем в руках. И мать, и дочь бросились ее целовать с самыми шумными изъяснениями радости. Эмилия сейчас же увела ее в свою комнату, откуда скоро явилась горничная с просьбой прислать чай туда. Угаров успел только заметить, что приехавшая была некрасива и худа, но глаза у нее были очень умные.

— Это моя племянница, Вильгельмина фон Экштадт,— пояснила генеральша.— Она к нам приехала из Ревеля. О, эта девушка будет играть большой роль в нашем семействе...

Генеральша остановилась, ожидая вопроса; но Угаров молчал, не считая приличным расспрашивать. Генеральша не выдержала.

— Владимир Николаевич,— заговорила она почти шепотом,— я вас считаю, как за родственника, и сейчас вам скажу, какой роль будет играть Вильгельмина в нашем семействе. Она — невеста Карлуши.

— Как! Карлуша женится? — воскликнул Угаров.— Он ничего мне об этом не говорил.

— О, ради бога, не говорите ему, что я вам сказала... Это — большой, большой секрет. Их свадьба будет через два года.

— Только через два года? Отчего же это?

— Это оттого, что Карлуша надеется быть тогда столоничником, и ему обещали в одной компании место с два тысяча жалованья, и еще наш дядя Рудольф фон Экштадт завещал Вильгельмине двадцать тысяч серебром, с условием, что Вильгельмина может

трогать свой капитал, когда ей будет двадцать пять лет. С процентами будет двадцать один тысяч шестьсот рублей. А теперь им было бы трудно, очень трудно жить.

— Но ведь и ждать им трудно, Эмилия Федоровна. Мало ли что может случиться в два года. Они могут разлюбить друг друга, изменить намерение...

— О нет, Владимир Николаевич, нет! нет! Когда они дали свои слова перед богом, они ничего изменить не могут.

Не желая мешать семейной радости, Угаров ушел домой. На другой день он решил, что остывшее чувство не может быть разогрето, и начал опять проводить все свои вечера у Дюкро.

Шарлотта познакомила его со своей подругой Полиной — хорошенькой и болтливой француженкой, но знакомство это не имело больших последствий. Как раз накануне Полина столкнулась у Дюкро и познакомилась с графом Строньским. Сметливая парижанка рассчитала, что ей выгоднее заняться приезжим богатым поляком, а Угаров никогда не уйдет. Тем не менее она изредка принимала его по утрам, когда граф ездил ради своего нескончаемого процесса в Сенат или просиживал долгие и скучные часы в министерских приемных.

Второе разочарование постигло Угарова на службе. Походив около года в департамент без всяких занятий, он получил место младшего помощника столоначальника и в течение шести месяцев вел алфавитный реестр входящих и исходящих бумаг. Это была чисто механическая работа, не представлявшая ни малейшего интереса. Через полгода, так как департамент был переполнен и по службе не предвиделось никакого движения, Угарову предложили быть старшим помощником сверх штата, то есть без жалованья. Он с радостью согласился, и ему начали поручать кое-какие доклады. Одно из первых порученных ему дел было большое зотовское дело, наделавшее много шума в Петербурге. Оно уже длилось много лет и теперь было прислано из другого министерства на заключение графа Хотынцева. При первом знакомстве с этим делом Угаров убедился как в вопиющих злоупотреблениях местных властей, так и в неверном, пристрастном взгляде министерства, производившего дознание. Угаров перевез это многотомное дело к себе на дом, окружил себя сводами законов и просиживал за работой целые ночи. В затруднительных случаях он обращался к Миллеру, который очень скоро разрешал все недоумения и хвалил его работу.

— Ты вообще смотришь на дело правильно, но слишком размазываешь. Главное: сокращай и сокращай...

По окончании работы Угаров употребил еще несколько дней на сокращение, и все-таки исписал довольно мелким почерком десять листов. Когда он сдал дело в стол, Онуфрий Иванович почесал у себя затылок и сказал:

— Н-да... У нас давно не было таких больших докладов. Сергей Павлович продержит его, пожалуй, с неделю.

Но прошло две недели, а судьба доклада была неизвестна. Угаров нетерпеливо ждал результата и уходил из министерства

последним. Иногда от скуки он заходил в кабинет к Илье Кузьмичу, который очень его любил и часто удивлял своей откровенностью.

— Почитайте и уважайте меня, Владимир Николаевич, яко пророка,— сказал однажды правитель канцелярии.— Помните ли, что я вам года два тому назад говорил насчет Якова Иваныча?

Теперь все министерство уже называло Горича не иначе, как Яковом Иванычем.

— Вы, кажется, говорили, что Горич со временем сменит вас...

— Так-с, память у вас хорошая. Ну, так вот граф уже говорил со мной об этом. Это была, можно сказать, комедия в трех актах, и я вам сейчас изображу ее. Первый акт начался с того, что третьего дня граф присылает за мной вечером. Я вхожу и вижу, что лицо у него глубокомысленное и в то же время хитрое: видимо, хочет меня провести.

Илья Кузьмич сделал из своего лица гримасу, напомнившую несколько графа Хотынцева, и заговорил совсем его голосом:

— «Вы знаете, Илья Кузьмич, что я бы хотел всю жизнь не расставаться с вами, но вы сами несколько раз заявляли, что хотите уходить, а потому нам необходимо заранее подумать о вашем преемнике. Кого бы вы думали назначить?» Я молчу, а громовержец продолжает еще хитрее: «Я, признаюсь, охотно бы назначил Горича, но ведь он слишком молод... а, как вы думаете?» — «Да, граф, действительно он молод». Граф видит, что я не ловлюсь, и переходит в другой тон. «Впрочем, Горич не по летам развит и вполне дельный человек, да и, кроме того, какой он работник. А, как вы находите?» — «Да, действительно, он работник хороший». Громовержец обрадовался и этому. «Ну, да, так вы советуете мне назначить Горича? Впрочем, мы об этом еще поговорим». Второй акт происходил вчера. Рано утром посылает за мной графиня Олимпиада Михайловна и принимает меня в лиловом будуаре, в утреннем костюме, в каких-то обольстительных кружевах. «Илья Кузьмич, неужели это правда? Вы требуете от Базиля, чтобы он на ваше место назначил Горича? Ради бога, не вмешивайтесь в это дело; я сама найду ему правителя канцелярии, это моя прямая обязанность. А пока, умоляю вас, не уходите. Если вы не можете сделать это для Базиля, то принесите жертву для меня...» Как вам это нравится, Владимир Николаевич? Я почему-то обязан приносить жертвы противному кружевному истукану! Ну, а третий акт я уж сам сыграл сегодня. Сообразив положение дела, я напрямик объявил графу, что жить на одну пенсию мне будет тяжело и что я уйду только тогда, когда он выхлопочет мне аренду в две тысячи.

Через несколько дней Угаров застал Илью Кузьмича в припадке неудержимого смеха.

— Поздравьте меня, Владимир Николаевич, я сделал важное открытие. Я узнал, в чем заключаются исторические занятия нашего министра. Подхожу я сейчас к его кабинету и, заглянув мимоходом в зеркало, вижу, что у меня галстук развязался. Я стал его поправлять, а дверь в кабинет была немного отворена, и вдруг я слышу — граф самым своим глубокомысленным тоном спрашивает у Горича:

«Скажите, топ срег, как вы думаете: Потемкин был в связи с графиней Браницкой, или это была платоническая любовь?» — Я, знаете, после этого не имел духу войти к нему, а прибежал сюда, вот, и хохочу до сих пор.

Наконец, Угарова позвали к директору. Сергей Павлович ласково протянул ему руку.

— Садитесь, пожалуйста. Хотите курить?

Когда папиросы были закурены, Сергей Павлович начал внимательно всматриваться в окно, выходящее во двор министерства, вставил стеклышко и заговорил своим звучным голосом:

— Я прочитал вашу первую серьезную работу и должен отдать вам полную справедливость: вы отнеслись к делу добросовестно, потратили на него много труда и таланта, но... но спрашивается: к чему все это?..

Лицо Угарова выразило полное недоумение.

— Вы опровергаете мнение министра, приславшего нам дело. Неужели вы думаете убедить его вашими доводами? Какие бы были последствия, если бы граф утвердил ваш доклад? Тот министр через несколько времени вернул бы дело опять к нам, но при этом написал бы графу такое частное письмо, что мы бы были должны изменить наш отзыв. Впрочем, он может обойтись и без этого, может провести дело в комитете министров или войти с особым докладом... Во всяком случае, он поступит по своему мнению, а не по вашему.

— Но что же мне было делать, Сергей Павлович? — спросил Угаров. — Неужели я должен был писать против своего убеждения?

— Нет, зачем же? Вы могли высказать свои убеждения, но в иной форме. Вы могли бы, например, начать так: «Хотя на это можно возразить то-то и то-то»... ну, и высказать свои убеждения — только, конечно, на пяти-шести, а не на сорока страницах, а в конце все-таки сказать, что мы, тем не менее, не находим препятствий... Да и потом надо всегда обращать внимание на то, откуда к нам поступило дело. Если оно прислано на заключение каким-нибудь завалищим министром, ну, тогда можно, пожалуй, немного поумничать... Но ведь зотовское дело прислано князем Василием Андреичем, и с ним бороться трудно. Ему можно отвечать только так, как я ответил. Я после вас, конечно, не хотел поручать дело кому-нибудь другому и сам занялся им.

И Сергей Павлович с торжеством начал читать великолепно переписанный и совсем готовый доклад, на котором не хватало только подписи графа Хотынцева.

— «Вследствие отношения вашего сиятельства за номером тысяча двести сорок четвертым...» ну, тут идут формальности... «Рассмотрев с полным вниманием вышеозначенное дело, я нахожу...» И после этого я почти целиком выписал мнение самого князя Василия Андреича, которое вы видели в деле. Ну, конечно, я немного изменил некоторые фразы и рассыпал, раг-сі, раг-ла \*, эти ничего не значащие словечки, которые я называю канцелярскими арабесками, как-то:

---

\* тут и там (фр.).

«Независимо сего», или: «нельзя, с другой стороны, не обратить внимания и на то...», или вот эту фразу (и Сергей Павлович ткнул в нее пальцем): «Переходя затем от общих оснований дела к вопросу о нарушении казенного интереса...» *Au fond tout ça ne dit rien, mais ça fait dans le paysage* \*.

— Позвольте мне, Сергей Павлович, сделать один вопрос,— сказал робко Угаров.— Зачем же в таком случае нам присылают дела на заключение? Ведь это — ненужная формальность.

— Зачем? — повторил Висягин, рассматривая что-то на потолке.— А затем, мой юный друг, чтобы нам можно было получать жалованье и не умереть с голоду. Если бы уничтожить все то, что может вам показаться ненужной формальностью, тогда могли бы упразднить все наше министерство и довольствоваться одним Ильей Кузьмичом с двумя писцами.

Угаров вышел как ошпаренный из директорского кабинета. После этого он написал еще несколько докладов по рецепту Сергея Павловича, но работа эта была ему противна, а так как он считался чиновником сверх штата, то скоро совсем перестал ходить в департамент.

Чтобы чем-нибудь наполнить свои досуги, Угаров абонировался в книжном магазине и библиотеке для чтения Овчинникова. В библиотеке был большой выбор русских и французских книг, за которыми Угаров заходил раза два в неделю. Главный приказчик оказался очень любезным человеком, сам выбирал для Угарова книги и охотно вступал в разговор о прочитанном. Это был маленький, коренастый человек, лет тридцати, очень белокурый и бледный. Глаза у него были маленькие, взгляд пронизательный и быстрый, усы почти белые. Звали его Орестом Ивановичем Сомовым. Раз вечером, перед самым закрытием магазина, Угаров принес старые «Отечественные записки», где ему очень понравилась статья о Пушкине.

— Еще бы! — воскликнул Сомов.— Это статья Белинского <sup>75</sup>.

Угаров смутно знал что-то о Белинском. Это имя не произносилось ни на кафедре, ни в печати. Сомов начал говорить о нем, глаза его заблестели, на лице появился румянец. Между тем девять часов давно пробило, приказчики разошлись, сторож потушил все лампы и несколько раз входил в магазин, намекая этим, что пора его запереть. Одна свеча стояла на конторке Сомова, но и та грозила сейчас догореть и погаснуть. Вдруг за конторкой отворилась дверь, и на пороге показалась молодая женщина с платком на голове.

— Орест Иванович,— сказала она вполголоса.— Самовар давно подан, сейчас погаснет.

Угаров со вздохом взялся за шляпу. Сомову также было досадно прервать разговор.

— Что же,— сказал он нерешительно,— если вам не хочется спать, вы, может быть, зайдете в мою каморку.

Комната, которую Сомов назвал каморкой, была так мала, что не заслуживала другого названия. Большой продавленный диван

---

\* В сущности, это ничего не значит, но придает живописность (фр.).

и несколько ветхих стульев составляли ее убранство. За белой кисейной занавеской помещался большой кованный сундук и была еще дверь, за которой скрылась женщина в платке. Стол перед камином был накрыт белой скатертью. На столе вместе со всеми чайными принадлежностями стояла холодная закуска. Все было очень опрятно и просто. Разговор продолжался и от Белинского перешел к другим писателям. Сомов имел колоссальную память и говорил наизусть не только стихи, но и целые страницы прозы. В оценке писателей произошло разногласие. Угаров боготворил Пушкина, а Сомов, очень хорошо понимая художественную сторону поэзии, предпочитал стихи с «направлением». Его любимый поэт был Некрасов, и он с восторгом прочитал несколько стихотворений этого поэта, ходивших тогда еще в рукописи<sup>76</sup> и поразивших Угарова своей силой. Рукописей у Сомова было множество; весь сундук был наполнен ими. Время летело незаметно, и в пятом часу утра Угаров ел выборгский крендель и колбасу с таким удовольствием, какого ему не доставляли никакие салымы и рагу французской кухни. Через несколько дней вечер повторился, потом Угаров пригласил Сомова к себе. Тот долго отнекивался, но все-таки пришел. Угаров приготовил такую же скромную закуску и прибавил только бутылку вина, от которого Сомов решительно отказался.

— Я себя знаю,— сказал он откровенно.— Если я выпью рюмку, то запью на несколько дней; а в моем положении это невозможно.

Скоро они стали видеться почти ежедневно, заходя по вечерам друг к другу, но оба предпочитали беседовать в «каморке». Там говорились лучше и сиделось дольше. Иногда к Сомову заходили его земляки, братья Пилкины — добрые, простые ребята. Один был медиком, другой — студентом. Способности у Сомова были такие же блестящие, как и память. Еще в детстве он почти самоучкой выучился французскому языку и теперь знал французскую литературу так же основательно, как и русскую. Однажды, говоря о нелепости французских трагедий, он для доказательства отыскал в библиотеке том Расина и прочитал вслух две сцены, но при этом так коверкал язык, что Угаров не выдержал и разразился гомерическим хохотом. Смех этот подействовал заразительно и на тещу, и часто потом, когда разговор принимал слишком мрачное направление, Сомов добродушно говорил:

— А что, Владимир Николаевич, не почитать ли мне что-нибудь по-французски?

Угаров от души полюбил Сомова и незаметно для самого себя подчинился его влиянию. Оба страстно следили за ходом крестьянского дела. Угаров приносил известия из официального мира, а Сомов поставлял заграничные брошюры и листки, наводнявшие тогда Россию всевозможными путями. В конце лета он с торжеством вынул из сундука первый номер «Колокола»<sup>77</sup>. С каждым днем Сомов делался все радикальнее и резче; он сам, видимо, жил под чьим-то сильным влиянием. Часто в спорах он ссылался на какого-то Покровского, который, по его словам, был человек гениального ума

и таланта, но по цензурным условиям не мог ничего печатать в России. Натура Угарова противилась этим крайностям; столкновение между друзьями было неизбежно. Произошло оно из-за письма Герцена к Линтону<sup>78</sup>. Письмо это, напечатанное во французских газетах в 1854 году, появилось в русском переводе гораздо позже. Угаров не мог допустить, чтобы русский человек, каких бы он ни был убеждений, мог обращаться к врагам с советами, каким путем вернее разгромить Россию. Со своей стороны Сомов не мог допустить, чтобы Герцен был неправ. Спор по этому поводу длился в течение нескольких вечеров. Братья Пилкины разделились: медик был на стороне Угарова, студент поддерживал Сомова.

— Скажите откровенно, Орест Иванович,— спросил в жару спора Угаров,— что вы почувствовали при известии о взятии Севастополя?

— Сказать по правде,— отвечал, подумавши, Сомов,— целый день мне было как-то не по себе: не то грустно, не то стыдно. Но на другой же день я себя выругал за это и решил, что это остатки допотопного воспитания. Патриотизм — такой же глупый предрасудок, как и все другие.

Несмотря на эту обрисовавшуюся разность в убеждениях, Угаров горячо превозносил своего нового друга. Дружба эта очень не нравилась Горичу.

— Не понимаю я, Володя,— говорил он, идя по Невскому с Угаровым,— какое удовольствие ты можешь находить в ежедневном обществе этого приказчика...

— А я не понимаю,— возразил Угаров,— как при твоём уме ты можешь так узко смотреть на вещи. Ты охотно проводишь время с идиотами и убежишь на край света от умного и хорошего человека только оттого, что он — приказчик...

— Вовсе не убегу. Сделай милость, покажи мне этого гения.

— Ну, хорошо. Он будет у меня сегодня вечером. Заходи часов в десять, и ты сам убедишься...

— Ладно, зайду.

— И я зайду,— сказал Миллер, шедший с ними.

Угаров пришел домой в начале десятого часа. Сомов уже ждал.

— Орест Иванович,— сказал, входя, Угаров,— я должен вас предупредить, что сегодня вы увидите у меня двух моих товарищей. При этом известии Сомов переменялся в лице.

— Это с вашей стороны нехорошо,— проговорил он взволнованным голосом.— Вы должны были предупредить меня заранее.

— Если бы я знал, что вам это будет так неприятно, я бы совсем не пригласил их. Но что же вы имеете против них?

— Ничего не имею против, но и общего с ними у меня нет ничего. К чему же это знакомство? С вами мы сошлись как-то нечаянно,— ну и слава богу! — я об этом не жалею, а, напротив того, очень этому рад, но присоединять к нам новые элементы — бесполезно.

— Однако я у вас познакомился с Пилкиными, и от того не произошло ничего дурного.

— Да, это правда.

Сомов успокоился и заговорил о новом, только что полученном номере «Колокола», но при первом звонке вскочил и убежал так стремительно, что едва не спиб с ног Миллера в темной передней. Угаров после долго размышлял об этом поступке Сомова и не знал, чему приписать его: избытку ли смирения или избытку гордости?

v

В начале октября, рано утром, Угаров был разбужен сильным звонком, и в спальню его вошел Горич.

— Вот в чем дело,— сказал он, не снимая пальто и шляпы,— нам надо вместе предпринять что-нибудь относительно Сережи. Весь город говорит о его кутежах и безумных тратах, о каком-то пикнике, который он устраивает...

— Да, это совершенно верно. Я даже слышал, что он на днях подписал крупный вексель ростовщику Розенблюму...

— Ну, вот видишь — его надо остановить, иначе он совсем погибнет... Но где же его найти? Я его три дня ищу, как булавку. У графа он не бывает вовсе, в канцелярии тоже; сегодня я в восемь часов был у него, даже хотел подкупить швейцара, но тот божится, что князь «уехамши». Не ломиться же к нему силой!

— Самое лучшее,— сказал Угаров,— поймать его у Дюкро. Приходи туда в пять часов; мы пообедаем в отдельной комнате, а потом вызовем его и поговорим серьезно.

— Ну, и прекрасно, а теперь я бегу... Прощай!..

Программа удалась как нельзя лучше. Сережа, вызванный товарищами, пришел к ним с большой радостью.

— Вот молодцы, что вздумали послать за мной! — сказал он, усаживаясь на диване.— Я с удовольствием посижу часок с вами, мы сто лет не виделись.

Но когда Сережа узнал, что его вызвали по важному делу, радость его мгновенно исчезла. Он опустил голову и усиленно начал тереть одну ладонь о другую. Он даже сделал попытку улизнуть, но Горич напомнил, что он обещал посидеть часок, и для большей верности сел между Сережей и дверью.

— Что же такое случилось? — спросил Сережа, не поднимая головы.

— Случилось то,— отвечал Горич,— что мы, как твои товарищи и друзья, решили предостеречь тебя от верной гибели. Ты мотаешь и сорешь деньгами, как крез какой-нибудь; ты за один пикник у Дорота заплатил более четырехсот рублей...

— Это неправда,— возразил Сережа.— За пикник на каждого пришлось по двести сорок рублей...

— Ну, положим, двести сорок. Но разве ты можешь тратить по двести сорок рублей в вечер? Сколько ты получаешь из дома?

— Я был очень благодарен тебе, если бы ты мне сказал, сколько я получаю. Мне присылают — сколько захотят и когда захотят.



— Во всяком случае,— вмешался Угаров,— тебе не присылают и десятой доли того, что ты тратишь...

— Да что вы пристали ко мне? — спросил Сережа, слегка бледнея.— Я воровством не занимаюсь, ни у кого на содержании не живу, фальшивых бумажек не делаю...

— Так где же ты берешь деньги?

— Беру их там же, где берут все, у кого их нет — занимаю.

— Но ведь, занимая, надо платить. Каким же способом ты думаешь расплатиться?

— Господи боже мой, да ведь будет же когда-нибудь состояние в моих руках,— тогда и расплачусь.

— Да пойми ты, несчастный, что к тому времени долгов у тебя будет столько, что состояния не хватит на уплату. Всего опаснее — написать первый вексель. Ты выдал вексель в пятьсот рублей: к сроку денег нет, пятьсот обратились в тысячу, и так далее. Французы говорят: *c'est comme une boule de neige*\*...

Сережа вдруг рассмеялся.

— Чему ты смеешься?

— Представь себе, что все, что ты мне говоришь сегодня, я вчера слово в слово говорил Алеше Хотынцеву. Ну, разве это не смешно?

— А если ты сам это говорил,— заметил Угаров,— ты должен сознаться, что поступаешь неблагоразумно.

— Эх, Володя, да разве я уж такой идиот, что не могу различить, что благоразумно и что безрассудно? Но, видишь ли, если всякую минуту справляться с благоразумием, то и жить не стоит... Дай мне пожить несколько лет в свое удовольствие; что за беда, что состояние мое уменьшится к тому времени, что я буду стариком...

— Ты был бы прав,— прервал Горич,— если бы дело шло только о твоём будущем благосостоянии; им ты можешь располагать, как хочешь. Но дело идет о твоей чести. Продолжая жить, как ты живешь, ты можешь очутиться в таком безвыходном положении, в котором уже трудно различить черту, отделяющую безрассудное от бесчестного...

— Пока я эту черту вижу ясно.

— Вот поэтому тебе и надо остановиться, пока еще есть время. Скажи, по крайней мере, сколько у тебя долгу?

Сережа молчал. Ладони с ожесточением терлись одна о другую.

— Послушай, Сережа, ты, видимо, недоволен нашим вмешательством в твои дела. Поверь, что мы спрашиваем тебя не из любопытства, а с целью помочь тебе. У меня, как ты знаешь, ничего нет, но Угаров сейчас сказал мне, что с удовольствием заплатит твои долги. Ты считаешься с ним впоследствии, а теперь, конечно, дашь нам слово, что новых долгов делать не будешь.

Сережа подошел к Угарову и с чувством пожал ему руку.

— От всей души благодарю тебя, Володя; но, право, мне теперь это не нужно. Если подойдет крайность, я сам прибегну к тебе. Но, во всяком случае, очень, очень благодарю тебя.

---

\* это как снежный ком... (фр.)

— Стоит ли благодарить меня, если ты даже не хочешь сказать нам, сколько у тебя долгу...

— Как не хочу? Вы знаете, что я от вас обоих решительно ничего не скрываю. Но, право, мне невозможно сказать это сразу. У меня есть книжка, где все долги записаны аккуратно.

— А книжку эту ты можешь нам показать?

— Конечно, могу, когда хотите.

— Ну, так вот что: будем завтра обедать здесь втроем в пять часов; ты принесешь знаменитую книжку, и мы вместе что-нибудь решим.

— С большим удовольствием.

— Дай честное слово, что придешь.

— Изволь, даю честное слово, если без этого ты мне не веришь.

На следующий день Угаров и Горич пришли к Дюкро задолго до пяти часов, но Сережи и в пять не было. Прошло еще минут десять.

— Он способен надуть,— сказал Горич.

— Нет, если дал честное слово, то не надует.

— Конечно, не надую,— сказал, входя, Сережа.— Но только вот в чем дело: извините меня, я обедать с вами никак не могу.

— Это отчего? — спросил Угаров.

— Зачем ты его спрашиваешь? — прервал его с гневом Горич.— Ты лучше спроси у меня, и я тебе отвечу. Князь Брянский плюет на товарищей и на данное слово, потому что его пригласили какие-нибудь кокетки...

— Смотри, Горич,— сказал несколько торжественным тоном Сережа,— как бы тебе не стало совестно за то, что ты сейчас сказал. Знай же, что я обедаю сегодня с сестрами.

— С какими сестрами?

— У меня их две: Ольга и Софья.

— Как, твои сестры здесь? — воскликнули одновременно Угаров и Горич.— С каких пор? Зачем?

— Сестры здесь уже с неделю: Маковецкий получил место при главном штабе и переселился в Петербург, а Соня, вероятно, прогостит у них всю зиму.

— О, скала скрытности! о, кладезь молчания! — завопил Горич.— Отчего же ты вчера не сказал нам об этом?

— Право, не знаю, отчего не сказал. Так, не пришлось к слову, вы же все время приставали ко мне с моими долгами. А главное оттого, что они только сегодня переехали из гостиницы в свою квартиру. Вы понимаете, что мне нельзя не обедать у них на новоселье...

— Где же их квартира? Или, может быть, это тоже секрет?

— Какой же секрет! Литейная, дом Тупикова. Самое лучшее: приезжайте туда после обеда.

— Ну, это будет слишком бесцеремонно. Вероятно, они и не устроились на новой квартире...

— Какой вздор! Все они будут очень рады вас видеть. Ольга еще в день приезда поручила мне известить вас обоих.

— И ты отлично исполнил ее поручение... Ну, бог с тобой, убирайся. Кланяйся от нас, а мы явимся завтра утром, благо и день будет воскресный.

Сережа исчез, очень довольный тем, что разговор о его долгах был отсрочен, а Угаров и Горич после его отъезда несколько минут молча смотрели друг на друга.

— Ну, что скажешь, Володя? — заговорил очень тихим голосом Горич. — Никогда нельзя предвидеть сюрпризов, которые нам готовит судьба. Давно ли ты жаловался на скуку и уверял, что ничем не можешь наполнить пустоту жизни? С тех пор прошло полчаса, и жизнь твоя уже наполнена. Не спорю, что тебе, может быть, будет подчас и грустно, и больно, но уж скучно наверное не будет.

— А тебе?

— Я — дело другое. Мне некогда ни грустить, ни скучать.

Чувство, которое испытал Угаров при этом неожиданном известии, было невыразимое смущение. Он смутился гораздо больше, чем обрадовался. Словно он узнал что-то такое, что налагало на него известного рода обязанности. Прежде всего, он должен сделать визит; но кроме этой обязанности, он должен еще что-то почувствовать и пережить. И немедленно из глубины души его поднялся протест против этой обязанности.

«Что за вздор такой! — размышлял он, возвращаясь от Дюкро пешком домой, — почему Горич вообразил себе, что моя жизнь теперь будет наполнена? Ну, да, действительно, я был влюблен в Соню Брянскую, но с тех пор прошло четыре года; почему это должно продолжаться? Мало ли в кого я был влюблен! И в Наташу Дорожинскую, и в Эмилию. Да Эмилия и теперь мне очень нравится. Она милая, очень милая девушка, и умная, и добрая. Сегодня же вечером пойду к ней, непременно пойду... Что за беда, что ее мать будет расхваливать свой мельхиор; зато я знаю наверное, что все обрадуются моему приходу; а Соня, бог ее знает, может быть, не обратит на меня никакого внимания, — ведь у нее все зависит от каприза... Да, впрочем, не все ли равно мне это, какое мне дело до ее капризов? Этот дурак Горич только взбаламутил меня... Сам влюблен, как кот, и валит с большой головы на здоровую...»

В этих размышлениях Угаров дошел до Литейной. На углу стоял городской. Чтобы не искать завтра Маковецких, Угаров кстати спросил, где дом Тупикова...

— Пятый дом направо, — ответил городской.

Угарову следовало идти налево, но как-то машинально он пошел направо и остановился перед домом Тупикова. Это был большой дом в несколько этажей, с двумя подъездами. «Жаль, что я не знаю, в каком этаже; ну, да все равно, узнаю завтра». Какая-то фигура шмыгнула из ворот в подъезд.

— Швейцар! — крикнул Угаров. — Здесь живет Маковецкий?

— Здесь, ваше сиятельство, пожалуйста. Во втором этаже направо, второй номер.

— Нет, я завтра зайду. Как тебя зовут?

— Степан, ваше сиятельство.

Угаров опустил руку в карман пальто и, найдя там сорок копеек, по неизвестной причине отдал их швейцару.

Уходя, он взглянул в окна второго этажа: они были ярко освещены. «Очень можно бы зайти и сегодня; почему этот дурак Горич сказал, что это будет слишком бесцеремонно? Вовсе не бесцеремонно, если Сережа приглашал... Ну, да все равно, тем лучше; я сегодня пойду к Миллерам... Какая славная девушка Эмилия!»

Но только что Угаров вошел в свою квартиру, ему вдруг перестало хотеться идти к Миллерам. «Вероятно, там какие-нибудь скучные гости», — подумал он для собственного оправдания. Он разделся, надел халат и, сев у письменного стола, раскрыл книжку «Современника», где его очень интересовала статья об общинном владении землею. Прочитав несколько строк, он опрокинулся на спинку кресла и задумался. Никаких определенных мыслей у него не было; ему просто было приятно сидеть одному и думать. Несколько раз он принимался читать и задумывался снова. Он слышал, как в столовой пробило двенадцать часов, потом час, потом два, наконец три. «Однако пора спать», — решил Угаров. Из статьи об общине он прочитал только три страницы.

Горич обещал заехать за ним в час, чтобы ехать вместе к Маковецким; но так как в половине второго его еще не было, Угаров отправился один. Швейцар встретил его с шумным изъяснением радости и, взбежав наверх, сам позвонил во втором номере. Маленький, румяный человечек в непомерно широком сюртуке отворил ему дверь, помог снять пальто и, чтобы его не приняли за лакея, поспешил рекомендоваться: «Сопрунов-с, Иван Сопрунов, обойщик...» Вся передняя была загромождена сундуками и чемоданами, между которыми валялись куски обоев. Сильно пахло клеем, щетиной и свежей краской. В первой комнате Угаров увидел Александра Викентьевича, стоявшего без сюртука на деревянной лесенке и вбивавшего гвоздь в стену. Увидев Угарова, он соскочил и хотел надеть лежавший на стуле адъютантский сюртук. Угаров насилу убедил его продолжать работу и вошел в залу, где был встречен Ольгой Борисовной.

— Наконец-то, Владимир Николаевич, вы приехали навестить старых друзей... Впрочем, не извиняйтесь; Сережа сознался, что он только вчера сказал вам.

Но Угаров, чувствовавший потребность в чем-нибудь извиниться, счел долгом сказать, что он приехал бы раньше, но ждал Горича.

— Вы бы его могли долго ждать. Он здесь с одиннадцати часов убирает Сонину комнату.

Ольга Борисовна была еще очень красива, но уже приближалась к тому периоду, когда о красивой женщине перестают говорить: «как она хороша!» — и начинают говорить: «как она симпатична!» Около нее жался семилетний курчавый мальчик в плисовой безрукавке.

— Боря, ты помнишь Владимира Николаевича? — спросила Ольга Борисовна. — Помнишь, мы вместе завтракали у бабушки?

Боря посмотрел на Угарова большими недетскими глазами и сказал:

— Да, мне кажется, что помню.

— Сопрунов! — раздался из кабинета голос Маковецкого.— Зачем ты повесил здесь картину? Ведь я тебе сказал, что она должна висеть в гостиной.

— Осмелюсь доложить, это совсем не годится. Кабы в гостиной были красные шпалеры...

— Ну, не рассуждай, неси туда.

— Сопрунов! — раздался откуда-то голос Горича,— иди сюда!

И Сопрунов, взвалив на плечи большую картину, пронесся через залу.

— Вот незаменимый человек этот Сопрунов! — сказала Ольга Борисовна.— Он не только квартиру нам устраивает, но даже дает советы Соне, какие платья ей к лицу. А вот и она.

Угаров оглянулся. Перед ним стояла именно та женщина ослепительной красоты, о которой он иногда мечтал. Но это вовсе не была Соня. От Сони остались только глаза да еще ее чарующая улыбка. Она очень выросла, плечи ее округлились, особенную прелесть ее красоте придавали белые ровные зубы, «ряд жемчужин»,— промелькнуло в голове Угарова устарелое сравнение. Нежные руки с прозрачными продолговатыми пальцами также поразили его, как неожиданность. Конечно, у Сони и прежде были те же зубы и те же руки, но Угаров почему-то не заметил их тогда. Он смотрел и не двигался с места.

— Вы, кажется, не узнаете меня, Владимир Николаевич? Неужели я так переменялась?

Вошел Горич с засученными рукавами сюртука и с черным столиком на голове.

— Куда прикажете поставить? — спросил он у Ольги Борисовны.— В комнате у княжны решительно нет более места.

— А вот здесь, здесь,— залепетал Сопрунов,— возле фуртапьян поставьте, на него можно ноты класть, тут ему самое настоящее место.

— Поздравляю вас, княжна, с новой победой,— сказал Горич.— Сейчас Сопрунов заявил мне, что в Петербурге нет ни одной барышни лучше вас.

— Вот как перед истинным богом! — начал Сопрунов и побежал в переднюю, потому что кто-то позвонил.

Соня засмеялась от удовольствия, но вообще манеры ее изменились: она старалась держать себя сдержанно и солидно.

— Министрша приехала,— возвестил, вбегая, швейцар,— графиня Хотынцева, и спрашивает, можете ли вы их принять?

Но графиня, не дожидаясь ответа, по следам швейцара влетела в залу, шумя платьем и браслетами и подмешивая к запаху краски какой-то сильный запах духов.

— Здравствуйте, мои милые! — говорила она, обнимая племянниц и подавая через их головы руку Маковецкому, который почтительно приложился к ней.— Я заехала на минуту посмотреть, как

вы тут устраиваетесь... А, наконец-то, я вижу Борю... *Quel joli garçon!* \* Оля, он весь в тебя. Ну, здравствуй, Боречка (при этом графиня грациозно нагнулась и расцеловала Борю), познакомься с твоей тетушкой, даже не тетушкой, а бабушкой... Вы не можете себе представить, как мне смешно, что я уже бабушка... Что делать, à chacun son tour. *Et la petite* Аня *dort?* \*\* Я все-таки зайду посмотреть на нее. Ну, что же, зала очень хороша; рояль на месте... Только зачем эти портьеры? Это портит резонанс. Тут лучше всего сделать голубые шелковые шторы в сборках... *C'est élégant et léger* \*\*\*.

Гостиной графиня осталась недовольна.

— Нет, Оля, эти обои ужасны. Тут нужны или темно-красные обои, или золотые с разводами.

— Вот и я тоже говорю,— раздался в дверях голос Сопрунова.— В гостиной непременно должны быть красные шпалеры...

— Какие шпалеры? Я говорю про обои.

— Это, ваше сиятельство, все одно,— сказал Сопрунов, приближаясь.— По-вашему — обои, а по-нашему — шпалеры.

— *Qui est cet homme?* \*\*\*\* — с ужасом спросила графиня.

— Сопрунов-с, Иван Сопрунов, обойщик,— сказал он, подойдя совсем близко.— Мы даже с вашим сиятельством очень знакомы; мы в прошлом месяце у вас в спальне гардины вешали...

— *Oh, mon Dieu! Je crois qu'il sent le vin!* \*\*\*\*\* — воскликнула графиня и убежала в другую комнату.

Через четверть часа графиня Хотынцева перевернула всю квартиру вверх дном. Она забрала мебель в детской, большой диван из гостиной велела немедленно перенести в кабинет, а вместо него обещала, как подарок на новоселье, прислать несколько низеньких кресел. Кабинет Александра Викентьича она приказала устроить в комнате, назначенной для столовой, и очень удивилась, увидев несколько ломберных столов.

— Неужели у вас будут играть в карты? *J'ai en horreur les cartes!* \*\*\*\*\* и даже эти столы не могу видеть без отвращения. Впрочем, иногда, поневоле, надо устраивать партию...

При этих словах Ольга Борисовна не могла удержать глубокого вздоха.

С Угаровым, представленным ей Ольгой Борисовной, министерша обошлась очень милостиво — может быть, в пику Горичу, которому не сказала ни слова. Она приказывала Угарову переносить из комнаты в комнату разные столики и табуреты, и хотя упорно называла его не Угаровым, а Уваровым, но на прощанье ласково кивнула ему головой и сказала, что она принимает по четвергам.

— Ну, прощайте, мои душки,— говорила она, целуя племянниц,— мне еще надо сделать десять визитов до обеда. Не забудьте, что

---

\* Какой красивый мальчик! (фр.)

\*\* каждый в свою очередь. А маленькая... спит? (фр.)

\*\*\* Это придает элегантность и легкость (фр.).

\*\*\*\* Кто этот человек? (фр.)

\*\*\*\*\* О, боже, мне кажется, от него пахнет вином! (фр.)

\*\*\*\*\* Я ненавижу карты (фр.).

вы обедаете у меня. Да скажите этому несносному Сереже, чтобы он тоже пришел. Я его совсем не вижу и не знаю, где он проводит свое время.

— Нет, нас он пока балует,— сказал Маковецкий.— Мы его видим каждый день. Но сегодня вряд ли он зайдет до обеда.

— А здесь что будет? — спросила графиня, входя по пути в пустую комнату, оклеенную серенькими обоями.

— А здесь, *ma tante*, мы думаем поместить гувернантку, которую придется взять для Бори.

— Боже мой, какой здесь тяжелый воздух! *Alexandre*, прикажите непременно сделать в этой комнате форточку.

Как из-под земли вырос перед графиней Сопрунов.

— Ваше сиятельство,— заговорил он с отчаянием в голосе,— форточка не поможет. В этой комнате всегда будет вонять, потому здесь сейчас за стеной, осмелюсь доложить...

Маковецкий схватил за плечи словоохотливого обойщика и вытолкнул его из комнаты.

— *Qu'est-ce qu'il dit, cet homme?* \* — спросила графиня.

— *Rien, ma tante, il dit des bêtises* \*\*.

После отъезда графини Маковецкий с помощью гостей, обойщика и двух людей, пришедших наниматься в лакеи, поспешил привести квартиру в прежнее состояние.

— Знаешь, Саша,— сказала Ольга Борисовна,— мне кажется, что относительно большого дивана тетушка права. Он действительно неуместен в гостиной, тем более что она пришлет какие-то кресла...

— Ну, матушка, извини меня. Когда она пришлет, тогда мы диван опять вынесем. А я, признаюсь, этим подаркам не особенно верю. Тетушка обещала же прислать какого-то комиссионера, который нам отыщет чудную квартиру, и если бы мы его ждали, то до сих пор сидели бы в гостинице...

Подводя ночью перед сном итоги пережитого дня, Угаров пришел к двум заключениям: во-первых, что он нисколько не влюблен в Сою, и во-вторых, что он страшно ревнует ее к Горичу. В этих заключениях было явное противоречие, которого Угаров не мог уничтожить; тем не менее он был твердо убежден в правоте своего взгляда. На Горича он больше всего сердился за его предательство, то есть за то, что, сговорившись ехать вместе с ним к Маковецким, он явился туда один двумя часами раньше. Угаров положил отомстить ему тем же. На следующий день Сося пригласила их обоих к трем часам, чтобы развешивать портреты в ее комнате. Но так как Горичу невыносимо было вырваться из министерства раньше трех часов, то Угаров твердо решил предупредить его. В начале второго часа он уже был одет и готов, но это показалось ему слишком рано. Сося могла куда-нибудь выехать и еще не вернуться. К двум часам он не в силах был ждать боль-

---

\* Что говорит этот человек? (*фр.*)

\*\* Ничего, тетушка, он говорит глупости (*фр.*).

ше и уже надевал пальто, как вдруг перед носом его раздался звонок. «Ну, если это Миллер,— решил Угаров,— я не вернусь...» Дверь отворилась — перед ним стояла высокая фигура Афанасия Ивановича Дорожинского.

— Вот, можно сказать, удача,— говорил он, трижды лобызая Угарова,— опоздай я на минуту и не застал бы вас, мой дорогой. Но вы куда-то уходили; впрочем, я вас не задержу...

Он вошел в гостиную и, усевшись на диване, прежде всего вынул из кармана письмо Марьи Петровны, которая по старой привычке любила писать «с оказией».

— Да, ждет, не дожидается вас старушка: давно вы не были в деревне... Да и я, Владимир Николаевич, удивляюсь, что вам за охота киснуть в Петербурге, когда в провинции открывается для людей с вашим образованием широкое поле деятельности, когда вся Россия, можно сказать, накануне полного обновления...

Услышав слово «обновление», Угаров ужаснулся.

Афанасий Иванович, посещавший и прежде Петербург, чтобы нюхать воздух, теперь ездил туда беспрестанно, лелея в своей честолюбивой душе самые разнообразные планы. Заветной мечтой его было по-прежнему — попасть в губернские предводители, но он был не прочь и от губернаторского места. Когда оно от него отдалялось, он говорил исключительно о священных правах дворянства; когда же ему подавали в министерстве хоть слабую надежду, он охотно разговаривал об обновлении. Угаров, знавший по опыту, что на эту тему он неистощим, перестал его слушать и мысленно считал минуты. Теперь ему казалось страшно важным — приехать раньше Горича.

В столовой пробило три часа.

— А я от вас еду к нашему почтенному дядюшке, Ивану Сергеичу,— сказал Дорожинский.— Между нами сказать, он вами недоволен: напрасно вы так редко ездите к старику. Ведь он — патриарх всего рода Дорожинских, он — наш, так сказать, Шамбор...<sup>79</sup> Поедемте-ка к нему вместе сейчас...

— Сегодня, Афанасий Иванович, мне никак нельзя; я непременно должен сделать один визит.

Афанасий Иванович взялся за шляпу. Угаров рассчитывал, что Горич может приехать в одно время с ним, но никак не раньше. Проходя мимо письменного стола, Афанасий Иванович увидел «Современник» и остановился.

— Это, вероятно, последняя книжка. Прочли ли вы в ней статью об общинном владении?<sup>80</sup>

— Да, я только что ее начал...

Афанасий Иванович сел в кресло, стоявшее перед письменным столом.

— Начало статьи весьма остроумно.

Он прочел вслух первую страницу, после чего сказал:

— Впрочем, начало вы уже читали. Но дальше есть одно место поистине примечательное.— Он долго искал это место, наконец нашел и с большим чувством прочитал две страницы.



— Теперь вам это место непонятно, так как вы не знаете предыдущего, но когда вы прочтете все, то увидите, что это действительно примечательно.

Наконец, Афанасий Иванович уехал, обещав побывать еще раз и посидеть подольше.

Когда Угаров вошел в Сонину комнату, портреты были развешаны, и Соня рассматривала с Горичем какой-то альбом.

— Как, без меня?! — воскликнул он с непритворным горем.

— Вы сами виноваты, — отвечала Соня. — Яков Иваныч гораздо исправнее вас.

— О да, конечно, — заметил Угаров. — Он даже слишком исправен.

## VI

Графиня Хотынцева всю жизнь жила под влиянием каких-то симпатий и антипатий, приходивших без всякой причины и исчезающих почти без повода. В последний год она привязалась к баронессе Блендорф и не могла прожить дня, не повидавшись с нею. Это многих удивляло, так как баронесса не отличалась ни умом, ни любовью и даже не занимала видного положения в свете. Когда графиня узнала о приезде племянниц, ей показалось, что она их страстно любит. Ольгу Борисовну она действительно всегда любила и даже изредка ей писала, но Соню она видела в последний раз десятилетним ребенком. Племянницы были приняты с энтузиазмом; на них, как из рога изобилия, посыпались самые заманчивые обещания и планы. Маковецкий через несколько месяцев получит место с огромным жалованьем; Боря будет зачислен в пажи; Соня к концу сезона может попасть в фрейлины и во всяком случае сделает блестящую партию, а пока все они немедленно познакомятся с высшим обществом. От последнего Ольга Борисовна наотрез отказалась.

— Мы не так богаты, — сказала она, благодаря тетку, — чтобы ездить в свет, да меня он и не привлекает. Вот Соня — другое дело, и вы будете очень добры, если иногда дадите ей случай повеселиться.

— Еще бы! — воскликнула графиня, — Соня будет выезжать со мной всюду; а тебя, Оля, я прошу только об одном: съездить со мной к княгине Марье Захаровне; больше я к тебе приставать не буду. Это очень важно. Бывать у Марьи Захаровны — значит принадлежать к обществу.

Княгиня Марья Захаровна была очень древняя и очень величавая, замечательно сохранившаяся женщина. В молодости она имела много похощений легкомысленного свойства, но эти грехи были давно забыты, и она представляла в обществе несомненный и незабываемый авторитет. Несколько уцелевших друзей души в ней не чаяли; остальные ее боялись. При дворе она держала себя независимо и гордо, к светским женщинам относилась с покровительственной любовью, а мужчинам кланялась, откидывая голову назад, и только

иногда, в виде особой милости, протягивала кому-нибудь из них руку, конечно, не для пожатия, а для почтительного поцелуя.

Княгиня Марья Захаровна благоволила к графине Хотынцевой, потратившей много годов и усилий, чтобы приобрести это благоволение, а потому племянниц ее приняла очень ласково. Представляя Ольгу Борисовну, графиня сказала: «*ma piéce, la comtesse Makovetzka*»\*. Ольга Борисовна сгорела от стыда и, усевшись в калитку, спросила:

— *Ma tante*, отчего вы дали мне фальшивый титул? Я не графиня.

— *Qu'est-ce que ça fait, ma chère?* — отвечала графиня и махнула рукой. — *D'ailleurs tous les Polonais sont plus ou moins comtes*\*\*.

Приезд Сони был действительно по многим причинам большой радостью для графини. Она много ездила в свет, но могла бы ездить еще больше. На некоторые танцевальные вечера ее затруднялись приглашать. Теперь, когда она будет вывозить Соню, конечно, ни один вечер без нее не обойдется. Кроме того, Соня оживит ее утренние четверговые приемы, которые как-то не ладились. Она велит поставить в большой гостиной чайный стол (совершенно так же, как у княгини Кречетовой), и Соня будет разливать чай. А главное, приезд Сони даст ей возможность осуществить давнишнюю мечту, то есть дать бал. С тех пор, как Хотынцевы переселились в громадную министерскую квартиру, у них не было больших приемов. Бывали, правда, обеды, очень ценимые в Петербурге как по качеству, так и по выбору приглашенных, но ведь обеды можно давать и в маленькой квартире. Каждый год перед великим постом графиня начинала заговаривать о рауте, но граф решительно на это не соглашался, находя, что давать раут — слишком самонадеянно и скучно. Теперь дать бал почти необходимо и, конечно, граф протестовать не будет. Графиня даже назовет свой праздник не балом, а *une petite sauterie*\*\*\*, — это и скромнее, и удобнее, так как даст возможность не пригласить тех, кого не хочешь иметь на балу. Но весь город будет знать, что это настоящий бал, о нем будут говорить и при дворе... и кто знает?.. на второй бал, может быть, приедут такие лица, что у графини, при одной мысли о подобном счастье, захватывало дух и темнело в глазах.

Каждое утро заезжала она за Соней и возила ее по своим многочисленным знакомым. За одну неделю Соня насчитала тридцать визитов, и когда у нее спросили, какое впечатление сделало на нее общество, она отвечала очень откровенно:

— Лица разные, но разговоры во всех тридцати домах совершенно одни и те же... Слово в слово...

По вечерам она еще иногда сидела дома, и это были самые счастливые вечера для Ольги Борисовны. К ним приходил кое-кто из старых знакомых Маковецкого, преимущественно музыканты.

---

\* моя племянница, графиня Маковецкая (фр.).

\*\* Ну и что же, моя милая. К тому же все поляки в той или иной степени графы (фр.).

\*\*\* небольшой танцевальный вечер (фр.).

Соня очаровательно пела, несмотря на строгое запрещение известной госпожи Плиссен, у которой она начала брать уроки пения; раза три составлялись квартеты. Ежедневным посетителем их был и Угаров. Нисколько не влюбленный в Соню, — по крайней мере, он сам убеждал себя в этом, — он таял от каждого ее слова и от каждой ее нотки и мгновенно упал духом, когда Соня уезжала. Впрочем, не он один упал духом; такое же чувство испытывала и Ольга Борисовна, потому что в отсутствие Сони музыка заменялась картами. Когда играли в зале, засиживались недолго; но иногда Маковецкий заперался с гостями в кабинете; это значило, что игра затевалась серьезная и что гости просидят, по крайней мере, до того времени, когда Соня вернется с бала. В таких случаях Ольга Борисовна и Угаров просиживали целые часы наедине и большею частью молчали. Обоим было не до разговоров, оба понимали друг друга, и молчание их не тяготило.

— Отчего вы сами не едите в свет? — спросила однажды Ольга Борисовна. — Молодому человеку, как вы, легко проникнуть всюду.

— В том-то и дело, Ольга Борисовна, что я не умею проникать, хотя с удовольствием сделаю все, что нужно для этого. Ну, научите, с чего мне начать?

— Начните с того, что поезжайте в первый четверг к тетушке. Она при мне вас пригласила; с тех пор больше месяца прошло, и вы не сделали ей визита.

— Боюсь я вашей тетушки. На нее какой стих найдет...

— Не бойтесь, она во всяком случае обрадуется вашему приезду. По четвергам она мысленно считает гостей, и чем их больше, тем ей приятнее. Она мне вчера с торжеством объявила, что в последний четверг было сто двадцать человек. Вообще ее четверги в моде. Соня очень мило исполняет должность хозяйки.

После этого разговора прошла еще неделя, и, наконец, Угаров решил. Подъехав около четырех часов к дому министра, он увидел множество экипажей, стоявших по обеим сторонам подъезда. В швейцарской его поразила целая толпа ливрейных лакеев с шубами и мантильями. Угарову пришло в голову: не удрать ли подобру-поздорову? Но в это время толстый, почтенного вида швейцар спросил его фамилию и адрес. После этого бегство было невозможно, и Угаров пошел по широкой лестнице вслед за двумя кавалергардами, вошедшими вместе с ним. Пройдя большую, совсем пустую залу, они очутились в дверях ярко освещенной гостиной, из которой неся громкий, оживленный говор. Графиня приветствовала их одним общим поклоном и пригласила перейти к чайному столу. Но сделать этот переход было не совсем легко: все пространство между дверью и столом было занято; пришлось остаться у двери. Угаров сейчас же увидел у серебряного самовара улыбающееся лицо Сони; она передавала чашку Сергею Павловичу Висягину, который, по-видимому, рассыпался в любезностях. Кроме Сони и Висягина, в комнате было более сорока человек, — и ни одного знакомого ему лица. Между тем гости все прибывали, некоторые уезжали; воспользовавшись передвижением, юркие кавалергарды уже стояли около Сони; Угаров не

решался двинуться с места. Одиночество начало так томить его, что он страшно обрадовался, когда мимо него молодцеватой походкой прошел Иван Сергеевич Дорожинский. Ему сейчас же очистили место, дамы его окружили, и он начал им рассказывать что-то смешное, потому что все смеялись. Иван Сергеевич нигде долго не засиживался; не прошло десяти минут, как он встал, кое с кем поздоровался, кое-кого потрепал по плечу и очутился у двери. Графиня, в знак особого уважения, провожала его.

— Здравствуйте, дядюшка,— сказал Угаров.

— А, Володька, и ты здесь,— отвечал ласково дядюшка, очень обрадованный тем, что мог на него облокотиться и перевести дух.— Графиня, ведь это мой племянник, прошу любить и жаловать. Прекрасный малый, только одним нехорош: старика дядю забывает и матери не пишет... ну, да теперь вся молодежь такая.

И, внезапно выпрямившись, Иван Сергеевич бодро пошел дальше, а графиня повела Угарова к высокой блондинке, только что вошедшей и севшей неподалеку. «Как она меня назовет: Угаровым или Уваровым?» — мелькнуло в его голове, но графиня никогда в таких случаях не стеснялась.

— Monsieur Dorojinsky, le neveu du général que vous connaissez \*,— проговорила она скороговоркой и бросилась встречать княгиню Марью Захаровну, которая входила в гостиную величавой поступью и с благосклонной улыбкой на устах. За ней очень бойко и развязно шла маленькая рыженькая барышня — Варенька, или, как ее называли в свете, Бэби Волынская, дальняя родственница княгини Марьи Захаровны. Она уже третью зиму выезжала с княгиней, которая начинала этим тяготиться и всеми силами старалась выдать ее замуж. Это казалось делом легким, так как Бэби была очень богата, но женихи почему-то не являлись. Бэби была некрасива, и красоту старалась заменить бойкостью походки и языка.

Блондинка, которой был представлен Угаров, оказалась иностранкой, женой какого-то секретаря посольства, только что назначенного в Россию. Она не только никогда не слыхала о генерале Дорожинском, но почти никого не знала в Петербурге и просила Угарова называть ей лиц, наружность которых почему-нибудь возбуждала в ней интерес; но так как ее кавалер никого не мог назвать и, смущенный этим, не выказывал вообще никакой наклонности к обмену мыслей, она посмотрела на него с глубокой грустью и спросила:

— Et vous, monsieur... vous avez beaucoup voyagé sans doute? \*\*

Какой-то седенький дипломат подошел к ней в эту минуту, и Угаров, радостно уступив ему место, чуть не бегом бросился вон из гостиной, так и не дойдя до Сони. В зале он столкнулся с графом Хотынцевым, который, конечно, его не узнал, но приветливо пожал ему руку и спросил, не хочет ли он покурить у него в кабинете. Через два дня граф отдал ему визит. Отдание визитов происходило у графа

\* Господин Дорожинский, племянник известного вам генерала (фр.).

\*\* Вы, сударь, верно, много путешествовали? (фр.)

оригинальным образом. Швейцар у всех четверговых гостей спрашивал адреса и после приема составлял список тех, которые были в первый раз в доме. В воскресенье графа сажали в карету и развозили по этому списку, причем выездной лакей оставлял загнутые карточки графа. От министра, обремененного делами, больше нельзя было и требовать. Граф даже не знал, к кому он едет, и сравнивал себя с капитаном Куком, отправляющимся в неведомые страны. Впрочем, он довольно любил эти воскресные выезды и называл их наименьшей из всех жертв, приносимых им на алтарь семейного счастья.

Соня очень смеялась, когда Угаров рассказал ей о своем светском дебюте под именем Дорожинского. Она издали его видела и все ждала, что он подойдет к ней. Вообще Соня обходилась с Угаровым подружески, не замечала его влюбленных взглядов и поверяла ему свои светские впечатления. Впрочем, кроме сестры и Угарова, ей не с кем было говорить дома: Горич вдруг прекратил свои посещения, Маковецкий проводил все время за картами, а Сережа забегал очень редко и имел вид крайне озабоченный. Несмотря на свою крайнюю осторожность, он был замешан в историю, о которой говорил весь город.

Алеше Хотынцеву предстоял какой-то смотр в Царском, и он давно решил, что уедет туда накануне. Выйдя довольно поздно от Шарлотты, он заметил, что лошадь хромает, велел кучеру ехать домой шагом и кликнул извозчика. Извозчик оказался очень плохой, Алеша опоздал на поезд и вернулся к Шарлотте. В швейцарской он с удивлением увидел чье-то пальто.

— Кто здесь? — спросил он у швейцара.

— Князь Сергей Борисыч.

Алеша удивился еще больше. Сережа уехал домой спать за пять минут до него, жалуясь на усталость и головную боль. Алеша застал его и Шарлотту в столовой за ужином. По всему было видно, что ужин был задуман и заказан заранее. Одна бутылка шампанского была уже выпита, другая стояла в вазе со льдом. Увидя Алешу, оба донельзя смутились и начали бормотать какие-то бессвязные слова. Шарлотта, впрочем, скоро оправилась и сказала, что она ждет Подину, которая непременно хотела провести вечер с Сережей. Алеша присел к столу, пристально посмотрел обоим в глаза и вдруг расхохотался. Он смеялся очень продолжительно и громко, не сводя глаз с Шарлотты, потом встал и, не говоря ни слова, уехал к цыганам, где пил всю ночь вплоть до первого поезда. Через день он получил от Шарлотты письмо, полное клятв и орфографических ошибок. В конце письма была приписка от Полины, которая также клялась, что Шарлотта устроила ужин по ее просьбе. Получив это письмо, Алеша отправился в Петербург, заехал к ювелиру и модистке Шарлотты, заплатил ее долги и взял с них расписки; потом положил эти расписки в конверт вместе с письмом Шарлотты и хотел сам написать ей что-то, но раздумал, заклеил конверт и, бросив его швейцару Шарлотты, вернулся в Царское. Два дня он был очень мрачен, а когда на третий день его товарищ и друг Павлик Свирский заговорил с ним о случившемся, он сказал:

— Что делать, душа моя! *Les maîtresses de nos amis sont nos maîtresses!* \*

Открыв эту новую аксиому, Алеша повеселел и начал ревностно заниматься службой. С Сережей он остался в прежних отношениях, но виделся с ним редко, так как безвыездно жил в Царском.

Об этом происшествии узнали в Петербурге в тот же вечер. Шарлотта сейчас полетела советоваться к Полине, та рассказала графу Строньскому, а Строньский нарочно заехал к Дюкро, чтобы рассказать «друзьям дома». На другое утро Васька Акатов, гуляя по Морской, зашел сообщить об этом Ивану Сергеичу Дорожинскому, который уже знал о разрыве Шарлотты с Алешей из двух источников. По одной редакции Алеша застал у Шарлотты графа Василия Васильевича и уже начал рубить его саблём, но, к счастью, его отташили. По другому источнику выходило как-то так, что дядя рассердился на племянника, проклял его и лишил наследства. Услышав рассказ Акатова, Иван Сергеич пришел в недоумение.

— Позвольте, при чем же тут граф Василий Васильевич?

— Граф Василий Васильевич решительно ни при чем.

— Нет, это, однако, невыносимо! — воскликнул генерал, всплеснув руками. — Так все изолгались, что жить нельзя на свете. Ну, как я теперь буду рассказывать эту историю? Впрочем, сегодня суббота, и Василий Васильевич обедает в клубе. Заеду туда пораньше и порасспрошу его самого.

Граф Хотынцев, пообедав очень плотно, еще допивал свою чашку кофе с коньяком, когда Иван Сергеич приехал в клуб. Немедленно устроив себе партию в вист, он с участием подошел к графу.

— Как поживаете, граф? Мы давно не видались.

Граф вскочил с места и предложил Ивану Сергеичу свой стул, показывая этим, что считает себя совершенным мальчишкой перед маститым генералом.

— Сидите, сидите, не беспокойтесь! — говорил Дорожинский, опускаясь на стул, придвинутый ему дворецким. — Скажите, давно ли вы видели Алешу? Он здоров?

— Я видел его дня три тому назад, когда он был здоров. Но отчего сегодня все меня спрашивают об Алеше? Вы четвертый... Дорожинский наклонился к уху графа.

— Он, говорят, разошелся с Шарлоттой. Это правда?

— Очень может быть. Я бы был этому очень рад, но решительно ничего не знаю.

«Хитрит, наверное хитрит, это сейчас видно», — говорил про себя Иван Сергеич, направляясь к ожидавшим его партнерам, но на пути его остановил Афанасий Иванович Дорожинский.

— Дядюшка, не можете ли вы представить меня графу Хотынцеву?

— Отчего же нет, — отвечал генерал и, вернувшись, представил племянника графу.

---

\* Любовницы наших друзей наши любовницы! (*фр.*)

— Давно желал иметь честь представиться вашему сиятельству,— пробормотал Афанасий Иванович с таким низким поклоном, какого никак нельзя было ожидать от его высокой и представительной фигуры.

— Очень рад с вами познакомиться,— сказал приветливо граф.— Присядьте. Вы недавно из провинции. Ну, что там?

В числе вещей, наиболее привлекавших Афанасия Ивановича в Петербурге, был Английский клуб. Он уже давно был кандидатом и надеялся скоро попасть в члены, а пока ездил в качестве гостя и представлялся разным знаменитым и влиятельным лицам. Беседовать с ними было для него наслаждением. Он так заговорил графа Хотынцева, что тот несколько раз щипал себя за ногу, чтобы не заснуть, наконец, вскочил и уехал из клуба. Тогда Афанасий Иванович подошел к дядюшке и шепнул ему на ухо:

— Дядюшка, не можете ли вы по окончании партии представить меня Семену Иванычу Крупову?

— Отчего же нет? Представляю. А пока посиди около меня, третий роббер проигрываю.

Семен Иванович Крупов был самый обыкновенный генерал, проводивший всю жизнь в клубе. Как клубный старожил, он очень громко кричал и был запанибрата со всеми министрами. По этим признакам Афанасий Иванович счел его за очень влиятельного человека и давно наметил в числе тех, которым нужно представиться.

Семен Иванович Крупов играл в вист в соседней комнате и был в отличном расположении духа. Он уже записал большую партию, сдал себе огромную игру и соображал, будет ли у него шлем, или только пять леве, когда Иван Сергеич тихонько коснулся его плеча.

— Племянник мой, Афанасий Иваныч Дорожинский.

— Давно желал иметь честь представиться вашему превосходительству...

Крупов поднялся с места и начал любезно пожимать руку Афанасия Ивановича, но в это время противник его пошел с туза пик, а он второпях не рассмотрел, что у него есть маленькая пика, и побил туза козырем. За этот ренонс у него отобрали три взятки, и он проиграл роббер.

— Отроду никогда не делал ренонсов,— кричал он, вращая зрачками от гнева,— а все от этого проклятого Дорожинского. Черт бы его побрал с его представлением!

История эта сейчас же разнеслась по клубу, и когда кто-нибудь из старичков делал ренонс, другие ему говорили:

— Что это с вами сделалось, батюшка Демьян Иванович, или, может быть, вам тоже Дорожинский представился?

Шутка эта была в таком ходу, что иногда самый ренонс называли «Дорожинским».

В этот день Афанасию Ивановичу было суждено приносить несчастье. Граф Хотынцев, уехавший вследствие его болтовни раньше обыкновенного из клуба, как раз наткнулся на свою супругу, возвратившуюся от всеобщей. Графиня прямо прошла в кабинет мужа.

— Скажи, пожалуйста, Базиль: правда ли, что Алеша разошелся с Шарлоттой?

— Да, я слышал об этом в клубе. А почему это может интересовать тебя?

— Я сейчас видела у всенощной княгиню Марью Захаровну, и она просила узнать все подробности.

Граф рассердился, что с ним случилось редко.

— Нет, знаешь, это очаровательно, c'est tout à fait classique! \* Ну, какое дело Марье Захаровне до Шарлотты? Как она любит совать всюду свой римский нос! Подумаешь, ей досадно, что в ее лета уже нельзя, как прежде...

— Пожалуйста, не говори глупостей. Марья Захаровна — святая женщина.

— Не спорю, что она — святая, но святость у вас понимается как-то совсем оригинально. У вас чем святее женщина, тем она больше интересуется греховными делами...

Это неосторожное слово вызвало бурю. На другой день графиня отвернулась от мужа и не отвечала на его вопросы. Граф, ненавидевший междоусобие, попросил прощения.

Между тем дело об Алеше Хотынцеве продолжало распространяться и волновать умы. Дня через два виновность Сережи Брянского сделалась очевидна, и неприкосновенность графа Василия Васильевича к этому делу признана всеми. Разногласие продолжалось только относительно места и исхода дуэли. Одни рассказывали, что дуэль была на Черной речке и что князь Брянский был убит; другие, только что видевшие Брянского живым, утверждали, что, напротив того, Хотынцев смертельно ранен около Любани. Понемногу остановились на следующей редакции: дуэль происходила в Кузьмине, около Царского, и Хотынцев легко ранен в ногу. Упорное пребывание Алеши в Царском подтверждало этот рассказ. Называли даже секундантов и удивлялись, почему никто не арестован.

Что касается до нравственной оценки события, общественное мнение отнеслось к Алеше Хотынцеву насмешливо и строго. Сережу осуждали весьма немногие, а дамы сделали с ним гораздо любезнее, и баронесса Блендорф немедленно пригласила его на очень интимный обед. По прошествии недели недоброежелательство к Алеше обрисовалось ярче. Заговорили о каких-то денежных счетах, о том, что Шарлотта была обманута; появился на сцену какой-то подложный вексель. Наконец, княгиня Кречетова, ненавидевшая Алешу за то, что он не женился на ее дочерях, начала шепотом рассказывать какие-то скабрзные подробности, дававшие новую окраску всему делу. В этом направлении сплетня могла развиваться и держаться очень долго, если бы не случилось в Петербурге двух совсем неожиданных происшествий. Во-первых, на Литейной среди белого дня появился бешеный волк и искусал двадцать человек. Весь Петербург единодушно заговорил о волке. Впрочем, для прекращения дела о Хотынцеве

---

\* всегда одно и то же! (фр.)



этого было бы еще недостаточно. Разговор о бешеном волке, хотя он явление редкое, мог быть исчерпан в два дня, и после двухдневного перерыва просвещенное внимание общества могло опять вернуться к Алеше; но как раз в конце второго волчьего дня по городу разнеслась весть, что Петька Шорин, женившийся два года тому назад, разъехался с женою и подал прошение о разводе. Дом Шориных был одним из самых гостеприимных домов в Петербурге; в течение двух лет весь город перебивал на их балах и спектаклях, друзей у них было столько же, сколько знакомых,— все были их друзьями,— и вдруг такой неожиданный скандал!

Очень понятно, что благородное общество, захлебываясь от счастья, занялось скандальными подробностями шоринского дела, а дело об Алеше Хотынцеве, о мнимой дуэли и о других мнимых его поступках сдало окончательно в архив.

## VII

К Новому году в министерстве графа Хотынцева произошли большие перемены. Товарищем министра очень долго был человек болезненный и старый и до того боязливый, что никогда не подписывал самых мелких денежных ассигновок, не осенив себя предварительно крестным знаменем. Предстоящие реформы пугали его даже своим названием, и он охотно променял свое место на менее ответственный пост — неприсутствующего сенатора, — конечно, с сохранением прежнего содержания. Вместо него товарищем министра был назначен Сергей Павлович Висягин. Он был младший из директоров департамента, потому назначение это всех удивило. Объяснялось оно только покровительством княгини Марьи Захаровны, которая очень любила обоих братьев Висягиных: второго, Дмитрия Павловича, она даже собиралась женить на Бэби Вольнской. В числе награжденных к Новому году был и Угаров, получивший Станислава 4-й степени; Горич и Сережа Брянский были сделаны камер-юнкерами.

Все ожидали к Новому году отставки Ильи Кузьмича, но ее не последовало: остановка вышла из-за аренды. Упрямый хохол не верил никаким обещаниям и твердил одно: «выйдет аренда, и я выйду!» Чтобы поощрить графа к хлопотам об аренде, Илья Кузьмич не покидал ворчливо-недовольного тона, которого тот не выносил, и даже начал слегка грубить своему министру. Тактика эта удалась: граф из кожи лез, чтобы скорее устроить аренду; хлопоты эти усложнялись еще тем, что он должен был держать их в глубокой тайне от своей супруги. Графиня, чуявшая что-то недоброе, стояла настороже, но когда Новый год миновал, она успокоилась и решила, что в течение великого поста найдет сама подходящего человека. Наконец в середине января вышла аренда и вслед за ней вышел и Илья Кузьмич, а камер-юнкер Горич был назначен исправляющим должность правителя канцелярии.

Граф Хотынцев имел настолько мужества, чтобы совершить *coup d'état* \*, но не настолько, чтобы объявить о нем супруге. Когда графиня узнала от баронессы Блендорф, что Горич уже водворен на новом месте, гнев ее на мужа был так велик, что она решила вовсе не говорить с ним, а послала сейчас же за прежним правителем канцелярии, чтобы высказать ему свое неудовольствие. Илья Кузьмич, которому теперь графиня представлялась, как он выражался, «не выше своей натуральной величины», пришел с веселым лицом и только что она заговорила о его черной неблагодарности, остановил ее словами:

— Вы совершенно правы, графиня: нет на свете более неблагодарного животного, как наш брат чиновник. Вот хоть бы Горич: уж как вы о нем заботитесь, а вряд ли и он будет вам когда-нибудь благодарен.

Эта выходка так поразила графиню, что она прекратила сцену неудовольствия и потом сказала баронессе Блендорф:

— *Savez-vous, ma chère, que ce Кузьмич avec son masque de bonhomme est parfois très mordant!* \*\*

Наказание для мужа графиня придумала ужасное: в течение двух дней она его не видела вовсе и даже не обедала дома. Граф на этот раз не просил прощения и переносил опалу с полным спокойствием, на что у него была особая причина. В начале февраля у них был назначен бал, и граф был уверен, что жена его не выдержит долго своей молчаливо-негодующей роли. Он не ошибся. На третий день утром графиня прислала ему следующую записку, писанную карандашом: «Нужно ли приглашать бразильского посланника? Жена его у меня была, но он еще не сделал визита. Прошу ответить письменно». Граф не ответил письменно, а сейчас же пошел к жене, поцеловал, как всегда, ее руку и заговорил о бразильском посланнике, который таким образом сделался невольным медиатором враждующих сторон. О Гориче между ними не было сказано ни слова.

Приготовления к балу начались почти с самого Нового года. Из канцелярии был откомандирован к графине, для составления списка приглашенных, чиновник Васильев, известный своим красивым почерком. Встав с постели, графиня окружала себя старыми приглашениями, записками и визитными карточками. Карточки избранных, назначаемых к приглашению, она отсылала к Васильеву, который вносил их в список. Этот список читался за завтраком, обсуждался, исправлялся, перемарывался и дополнялся. На следующий день к завтраку приготавливался новый список. Несмотря на такое всестороннее изучение вопроса, многие необходимые лица не были званы, а несколько недостойных получили приглашения. Дней за пять до бала, граф, по настоянию жены, в сотый раз просматривал список.

---

\* государственный переворот (фр.).

\*\* Знаете ли, моя милая, этот... несмотря на свой добродушный вид бывает очень язвителен! (фр.)

— Кто эта княгиня Лыкова? — спросил он у графини. — Я ее не знаю.

— И я не знаю. Ты, вероятно, не так прочитал фамилию.

— Нет, очень явственно написано: княгиня Лыкова. Это весьма старинный княжеский род, теперь захудалый. Я даже думаю, что он совсем прекратился.

— Боже мой, что я наделала! — воскликнула вдруг графиня. — Эта княгиня Лыкова — та бедная, которая несколько раз приходила ко мне за пособием, помнишь — в разорванном салопе, с пластырем на щеке... Она для памяти дала мне свою карточку с адресом, а я вчера, в рассеянности, вероятно, послала ее Васильеву. Вычеркни ее поскорей!

— Поздно вычеркивать. В списке значится, что приглашение уже послано.

— Как! Послано? — закричала графиня в неподдельном ужасе. — Базиль, ради бога, поезжай к ней сейчас и запрети ей приезжать или пошли ей двести, триста рублей, сколько она хочет, только бы она не приезжала. Я пошлю к ней Илью Кузьмича, — он ее знает.

Графиня бросилась к звонку, граф удержал ее.

— Во-первых, Илью Кузьмича послать нельзя, потому что он уже в Полтаве. А во-вторых, о чем ты волнуешься? Она, конечно, не придет.

— Придет, непременно придет. Ты, Базиль, этих бедных не знаешь, — им все нипочем, для них ничего нет святого. Придет и войдет на мой первый бал со своим ужасным пластырем... Я не знаю, как поправить дело, лучше уж отменить бал.

— Полно, Олуэре, не волнуйся. Поправить очень легко. Положи в конверт пятьдесят рублей и пошли к ней с лакеем. Лакей извинится, что перепутал конверты, и приглашение отберет, а деньги оставит. Поверь, что эта несчастная княгиня Лыкова останется очень довольна обменом.

Графиня одобрила план и произнесла задумчиво:

— Когда ты захочешь, у тебя являются иногда умные мысли.

Впрочем, этот план не пришлось приводить в исполнение. Вечером графиня получила от княгини Лыковой письмо, в котором та слезно благодарила за оказанное ей внимание, но извинялась, что на бал никак не может приехать, так как у нее нет не только бального платья, но даже не хватает денег на покупку теплых ботинок. В заключение она напомнила графине ее обещание похлопотать о добавочной пенсии.

Получив место правителя канцелярии, Горич опять появился у Ольги Борисовны. Маковецкий, чтобы отпраздновать это событие (а кстати и камер-юнкерство Сережи), устроил пир, на который, конечно, был приглашен и Угаров. Горич имел вид совершенно счастливого человека, но Соня встретила его чрезвычайно сухо, вовсе не разговаривала с ним и ни разу не взглянула на него во время обеда. Эти периоды холодности больше всего волновали Угарова.

«Из-за чего,— думал он,— могут происходить ссоры между Горичем и Соней? Она на него не смотрит, но, очевидно, все время думает о нем и назло ему делается любезна со мной. Нет, мне гораздо приятнее самая большая ее любезность к Горичу, чем эта непонятная холодность...» После обеда Горич нашел-таки возможность поговорить наедине с Соней, и холодность как рукой сняло. Опять начались у них шушуканья, перебеганья из комнаты в комнату и какие-то странные разговоры с непонятными для других намеками. Угарова эти намеки приводили в полное отчаяние; теперь он находил, что гораздо приятнее, когда Соня дуется на Горича и наказывает его холодностью. Делая характеристики своих танцоров, Соня упомянула о красивом кавалергарде князе Бельском.

— А что, он червонный? — спросил Горич.

— Нет, он трефовый, с маленькими бубновыми крапинками.

— Княжна, умоляю вас,— заговорил Угаров,— объясните мне хоть это. Что значит червонный и бубновые крапинки?

Угаров произнес эти слова с таким глубоким горем, что княжне стало жаль его.

— Хорошо, Владимир Николаевич, я объясню вам это во время мазурки, послезавтра. Вы хотите танцевать со мной мазурку?

— Что же спрашивать об этом? Конечно, хочу, но только я до сих пор не получал приглашения.

— Получишь,— отвечал Горич.— Я видел твое имя в списке.

Два дня провел Угаров в ожидании этого приглашения. Оно не приходило, да и не могло прийти. За неделю до бала Горич, по собственному побуждению, просил графа пригласить Угарова. Граф сейчас же потребовал список, собственноручно внес в него Угарова и для пущей важности дважды подчеркнул его. Эти черточки и погубили Угарова. Через полчаса графиня зачем-то потребовала список и, увидя подчеркнутое имя, внесенное без ее ведома, рассердилась и немедленно его вычеркнула.

Наконец, наступил день бала. Угаров знал, что так поздно приглашений не присылают, но все-таки ждал и не выходил из дома все утро. В восьмом часу вечера он вспомнил, что надо известить как-нибудь об этом Соню, и пошел к Горичу. Аким сказал ему, что Яков Иваныч вышли, но бесприменно зайдут домой перед балом, «чтобы переодеться». Ивана Иваныча Угаров застал в его обычном кресле, но уже без Нибура в руках. Его ноги, завернутые в плед, лежали на высокой подушке, он страшно осунулся и похудел. Свет от свечи, падавший на его лицо из-под зеленого абажура, придавал ему совсем мертвенный вид.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый,— залепетал он слабым, слезливым голосом,— сядьте сюда, поближе. Как я рад, что вы, наконец, забрели к нам. Вы не поверите, как тяжело сидеть вот так одному. Все один да один... как-то жутко становится. Яшу винить, конечно, нельзя, ему некогда, он теперь большой человек стал. Вы знаете, ведь он на днях министром будет... Да, министром... Что же делать? А тут к тому же и горе меня ужасное посетило.

— Какое горе? — спросил с участием Угаров.

— Как, вы разве не слышали? Верунька-то моя бедная скончалась. В каких-нибудь два дня господь прибрал ее.

Верунькой Иван Иваныч называл свою покойную жену. Она умерла, когда Яше было два года. Большой портрет ее, висевший в гостиной, был всегда задернут черной тафтой, и Иван Иваныч редко говорил о ней. Теперь при воспоминании о жене он начал всхлипывать. Несколько слезинок упали на руку Угарова, которую старик не выпускал из своих холодных костлявых рук.

— Да ведь это было так давно,— сказал растерявшийся Угаров.

— Как давно? Совсем не так давно, еще на прошлой неделе она сидела вот тут, где вы теперь сидите... Нет, она сидела за фортепиано и пела свой любимый романс... Боже мой, как же слова? Я сейчас вспомню. «Ангел неба благодатный...» — благодатный, благодатный... нет, дальше не помню, память начинает мне изменять... А вам забывать ее не следует: покойница вас любила больше всех Яшиных товарищей... А меня-то как она любила! Какая она была тихая, кроткая! Я ее называл своей Агнессой Сорель<sup>81</sup>, да и лицом она ее напоминала... И вдруг, без всякой причины, в каких-нибудь два дня...

Старик начал судорожно рыдать. Угарову сделалось страшно. Он не знал, что ему делать, и очень обрадовался, услышав звонок.

При виде сына Иван Иваныч сейчас же пришел в себя.

— А ты, Яша, на бал сегодня? Ну, что ж, поезжай, танцуй. Я тебя ждать не буду, меня что-то ко сну клонит.

— Конечно, ложись, папа. Зачем же ждать меня? Завтра утром все тебе расскажу.

Горич очень удивился, узнав, что Угаров не получил приглашения.

— Это какая-нибудь ошибка, я сам видел тебя в списке. Я сейчас съезжу к графу и привезу тебе приглашение.

— Ну, нет, на это я не согласен. Откровенно скажу тебе, что мне очень хотелось туда ехать, но проситься на бал: «пустите меня Христа ради!» — это — такая гадость, на которую я неспособен.

— Это, Володя, нам с непривычки кажется гадостью, а в свете смотрят на это совсем иначе. Сегодня одна из неприглашенных дам, да еще титулованная, приехала к графине в десять часов утра. Графиня поняла, в чем дело, и не приняла ее. Представь себе, она ворвалась в кабинет графа, начала плакать и умолять, чтобы ее пригласили. А граф сидит в халате и без парика... Ты видишь эту картину?

— Ну, что же, граф пригласил?

— Очевидно, пригласил и уверял, что приглашение было готово, но не послано по ошибке. Да он бы не только ее, а все ее племя пригласил, чтобы отделаться...

— Ну, прощай, тебе пора одеваться. Объясни же княжне, что мазурку я не танцую с ней, потому что меня не пригласили, и что она все-таки должна мне объяснить, что значат «бубновые крапинки».

Полиция суежилась у подъезда, украшенного тамбуром; съезд начинался. Подъезжали еще большею частью сани, из которых выскакивали офицеры в киверах и касках; изредка с тяжелым грохотом подкатывала четырехместная карета.

Хотя гостей на балу было очень мало, но графиня, в великолепном гри-перлевом платье, покрытом дорогими старыми кружевами, уже стояла в маленькой гостиной подле лестницы и принимала входящих с разнообразными, глубоко обдумантыми оттенками любезности и почета. Граф, которого она, к великому его неудовольствию, заставила стоять возле себя, одинаково приветливо встречал всех гостей, хотя половину из них не узнавал. Начало бала ознаменовалось весьма неприятным эпизодом. Выбор дирижера очень озабочивал графиню. Ей хотелось пригласить конногвардейца Волынского, который часто дирижировал при дворе, но граф на это не согласился, потому что Волынский не бывал в их доме. После долгих обсуждений выбор остановился на кавалергарде князе Бельском, который принял предложение с большой радостью: он слегка ухаживал за Соней. Между тем накануне бала графиня поехала за последними инструкциями к княгине Марье Захаровне и встретила у нее Волынского.

— Вот вам, милая графиня, настоящий дирижер,— сказала Марья Захаровна,— уж лучшего вы не найдете.

Графиня пришла в восторг от этой мысли и немедленно пригласила Волынского. В карете она вспомнила о Бельском и решила послать ему извинительную записку, свалив вину на графа. Но дома ее ждали кондитер и модистка, с которыми пришлось долго разговаривать, потом Соня приехала примерить бальное платье, и графиня совсем забыла о Бельском. И Волынский, и Бельский приехали в начале бала почти в одно время, и когда выяснилось, что оба они приглашены дирижировать, Бельский сейчас же уехал, а Волынский просил уволить его от этой приятной обязанности, так как это поставило бы его в неловкие отношения к кавалергарду. Конногвардейцы и кавалергарды постоянно соперничали во всем и должны были соблюдать большую осторожность, чтобы чем-нибудь не обострить кисло-сладких отношений, установившихся между их полками. Графиня совсем растерялась. Помощь явилась ей с такой стороны, с которой она никак не могла ее ожидать.

Алеша Хотынцев после выпуска из Пажеского корпуса усердно ездил в свет, но года через два это ему надоело, он пустился в кутежи, начал посещать дам полусвета, а настоящий свет покинул совсем, называя его с оттенком презрения «мондом». Ему очень не хотелось ехать на бал к дяде, и дней за пять он нарочно приехал к нему, чтобы узнать — «нельзя ли ему отбойриться».

Граф Василий Васильевич сказал ему прямо:

— Видишь, мой милый, мне будет совершенно все равно, если ты не приедешь. *Entre nous soit dit\** — у нас будет такая скука, что я сам с удовольствием удрал бы на этот вечер к тебе в Царское... Но помни, что Оупре никогда тебе этого не простит.

---

\* между нами говоря (фр.).

Из этих слов Алеша вывел заключение, что приехать необходимо, и, обедая в день бала в полковой артели, выпил вдвое против обыкновенного для храбрости. Он продолжал пить и после обеда, пренебрег железной дорогой и на лихой тройке, вместе со своим другом Павликом Свирским, прискакал из Царского прямо к дядюшкину подъезду. Войдя в балльную залу после полуторачасовой езды на морозе, Алеша почувствовал нечто вроде приятного изумления. Ощущения тепла и света, вид красивых полураздетых женщин,— все это было вовсе не так дурно, как он думал, или, вернее, как он говорил. Проходя мимо буфета, около которого еще никого не было, он услышал голос дворецкого:

— Попробуйте, ваше сиятельство, хорошо ли мы клико заморозили.

Алеша выпил залпом два стакана шампанского, и это окончательно привело его в отличное расположение духа. Узнав от Сережи о недоразумении с дирижерами, он подошел к графине и, нагнувшись к ее уху, сказал:

— Ma tante, я в первый год офицерства недурно дирижировал. Если хотите, могу попробовать сегодня...

Графиня посмотрела на него с недоверием, но делать ей было нечего.

— Попробуйте, Alexis, очень вам благодарна,— и начните поскорей. Давно пора.

Алеша отцепил саблю, дал оркестру знак начинать и, подойдя к Соне, сделал с нею первый тур вальса. Он был представлен Соне дней за пять до бала, видел ее тогда так мало, что не успел рассмотреть. Теперь он вдруг очаровался ею и сейчас же пригласил ее на мазурку. Соня отвечала, что на мазурку у нее уже есть кавалер.

— Заметьте, княжна,— сказал Алеша, нисколько не смущаясь ее отказом,— что я прошу не милости, а справедливости. Сама судьба хочет, чтобы вы танцевали со мной. Я дирижер, а вы хозяйка, или, по крайней мере, виновница всего торжества.

— Но что же мне делать, если у меня есть кавалер?

Горич, торчавший всегда неподалеку от Сони, услышал этот разговор и передал Соне извинения Угарова.

— Вы видите, княжна, что судьба за меня,— сказал весело Алеша и принялся вальсировать со всеми барышнями по порядку.

С этой минуты все пошло как по маслу. Через два часа графиня уже могла сознавать, что ее бал удался. Все приглашенные съехались; большие министерские салоны были полны, но ни тесноты, ни духоты не было. Благодаря Алеше, оживление в танцах не прекращалось ни на мгновение. Словно радуясь своему возвращению из «кабацкой» жизни в более свойственную ему сферу, Алеша был бесконечно весел, и веселье это сообщалось другим. Дирижировал он не совсем по светскому шаблону: Волынский с видом знатока нашел в его дирижировании слишком много удали, trop d'abandon \*. Казалось, что вот-вот еще немножко,— и строгое приличие бала будет нарушено,

\* слишком непринужденно (фр.).

но опасная черта не переступалась, и самые смелые фигуры не выходили из должных пределов. Во время мазурки графиня с торжеством ходила из комнаты в комнату и сама любовалась своим балом. Она была в эту минуту совершенно свободна. Для особенно важных гостей она, несмотря на свою ненависть к картам, устроила несколько партий в большой гостиной, мужчины играли в кабинете графа, а все маменьки, чтобы удобнее следить за дочками, частью проникли в бальную залу, а частью примостились в дверях. Увидев графа Василия Васильевича, графиня подозвала его и сказала:

— *Aleša est un ange; il est d'un entrain et d'une élégance tout à fait remarquables* \*.

Графа Василия Васильевича во всем этом празднике интересовала только одна вещь — ужин. Он уже два раза ходил сам на кухню, а теперь шел совещаться с дворецким относительно того, в какое именно время и в какие двери вносить столы для ужина.

— *Погоди, Базиль*, — сказала графиня, удерживая его за рукав фрака. — *Посмотри на Алешу и Сою: неправда ли, какая славная парочка? Знаешь ли, мне пришло в голову, что хорошо бы их поженить... Что ты скажешь на это?*

Граф только махнул рукой.

— *Пусти, Olympe*, мне нужно видеть дворецкого.

— *Нет, подожди одну минуту. Посмотри направо: видишь эту пару за большим зеркалом? Они теперь не танцуют.*

— *Ну, вижу, Дмитрий Павлович Висягин и племянница княгини Марьи Захаровны.*

— *Да, Бэби. И что же, ты не видишь в ней ничего особенного?*

— *Вижу, что она дурна, как смертный грех.*

— *Полно, Базиль, она сегодня очень интересна.*

Граф расхохотался.

— *Этого только недоставало! Рыжая, вся в веснушках... Что ты нашла в ней интересного?*

— *Ну ты ничего не понимаешь. Посмотри, посмотри: они опять пропустили свою очередь.*

— *Ну, так что же из этого?*

— *Ступай к своему дворецкому!* — сказала с соболезованием графиня и с довольным видом перешла в большую гостиную. Проходя мимо стола, за которым играла княгиня Марья Захаровна, графиня сказала вполголоса:

— *Notre jeune amie danse bien peu et cause beaucoup* \*\*. Хороший знак, княгиня.

«*Дай-то бог*», — отвечал взор княгини, устремленный к небу.

Мазурка еще не была кончена, когда Бэби вошла в гостиную и, подойдя к княгине, произнесла каким-то особенным голосом:

— *Il fait bien chaud, ma tante* \*\*\*.

---

\* ...ангел, в нем замечательно сочетаются живость и элегантность (фр.).

\*\* Наша юная подруга мало танцует, но много беседует (фр.).

\*\*\* Здесь жарко, тетушка (фр.).



Княгиня притянула племянницу к себе и, целуя ее в лоб, произнесла:

— Je te félicite, mon enfant \*.

В то же время княгиня многозначительно взглянула на Сергея Павловича Висягина, сидевшего рядом. Он вскочил с места и сказал:

— Княгиня, я забыл поблагодарить вас за книгу, которую вы мне прислали.

И, схватив руку княгини, он дважды чмокнул ее губами.

— Дай бог, чтобы эта книга принесла счастье,— сказала княгиня.

Хотя свидетели этой небольшой сцены могли бы ничего не понять в ней, но через минуту по всем комнатам графини Хотынцевой, как электрическая искра, пробежала весть, что Дмитрий Павлович Висягин сделал предложение Бэби Вольтинской.

Брак этот давно был решен княгиней Марьей Захаровной. Помехой была старинная связь Дмитрия Павловича с какой-то женщиной из среднего круга, «une bourgeoise de peu» \*\*, как выражалась княгиня. Дмитрий Павлович долго боролся и медлил, наконец, на балу графини Хотынцевой дело было решено к общему удовольствию.

За ужином Дмитрий Павлович и Бэби сидели рядом. Все к ним подходили и пили их здоровье, но ни один человек их не поздравил. Поздравлений они принимать не могли: свадьба не была объявлена. Объявление должно было происходить на следующий день за обедом у княгини Марьи Захаровны...

Ужин удался на славу как в кулинарном отношении, так и в смысле порядка. Всем было хорошо и просторно, никакой суматохи не было заметно. В свою очередь, граф Василий Васильевич торжествовал, сознавая, что такого ужина во весь сезон не было ни у кого. Он был так доволен, что даже хотел протанцевать тур вальса во время котильона, но вспомнил, что он — министр, и удержался.

В шесть часов утра Алеша Хотынцев сходил с лестницы, держась за перила, но уверяя в то же время, что он не устал нисколько. Его тройка стояла у подъезда. Алеша и Свирский вскочили в сани, и прозябшие кони вихрем помчали их в Царское.

— А знаешь, Павлик,— говорил Алеша, закутываясь плотнее в шинель,— иногда и на балах можно приятно проводить время. Право, эти девчонки вовсе не так глупы, как кажутся с первого взгляда. Вот, например, эта княжна Брянская... Она в два часа сказала мне больше умных вещей, чем Шарлотта в два года.

— А кстати, где Шарлотта?

— Черт ее знает... Говорят, какой-то купчик увез ее в Москву для практики французского языка... Нечего сказать, хорошо будет говорить купчина после такого учителя.

Алеша зевнул, и через пять минут оба друга спали богатырским сном.

Для графини Хотынцевой ее бал имел то последствие, что в один вечер она нажила больше врагов, чем во всю свою жизнь. Врагами

---

\* Я поздравляю тебя, дитя мое (фр.).

\*\* почти мещанкой (фр.).

ее сделались: во-первых, все те дамы, которых она не пригласила; во-вторых, маменьки тех барышень, которые имели меньше успеха на балу, и в-третьих, все те дома, у которых балы не были так блестящи, как у нее. Но так как никто из них не выражал графине своей вражды открыто, а, напротив того, все сделались с нею вдвое любезнее в ожидании будущих балов и приемов,— то она была в полной уверенности, что балом своим приобрела всеобщую любовь и окончательно упрочила за собой почетное место в петербургском свете.

## VIII

На следующее утро Миллер пил чай у Угарова, когда раздался звонок, и в комнату вошел высокий, стройный офицер в адъютантском мундире. Угаров встал и с недоумением глядел на вошедшего. Тот остановился среди комнаты и также не произносил ни слова.

— Боже мой! — воскликнул Миллер.— Да это Константинов!

— Наконец-то узнали! — со смехом сказал Константинов, обнимая товарищей.

Да и трудно было в этом молодцеватом адъютанте с матово-бледным лицом и довольно большими усами узнать того розового и нежного Митю Константинова, который четыре года тому назад плакал на выпускном обеде. Теперь он напоминал старшего брата, только был красивее его и выше ростом. Севастополь и физически и нравственно переродил его, но его хрупкая натура не выдержала такой насильственной ломки. Константинов делал впечатление человека, постоянно играющего какую-то роль; во всех его движениях и речах было что-то неестественно-театральное. Иногда во время разговора он вдруг останавливался на полуслове, глаза его начинали усиленно моргать, и все лицо передергивалось нервной судорогой; это продолжалось с минуту, после чего ему нужно было еще несколько минут, чтобы вполне овладеть собою.

Константинов только накануне приехал из-за границы, где он сначала лечился от ран, а потом «изучал военное дело». Генерал, при котором он служил адъютантом, повез его вечером на бал к графу Хотынцеву, где от Сережи Брянского он узнал адреса всех товарищей. Через пять минут Константинов подробно рассказывал все свои подвиги в Севастополе; для наглядности он даже чертил карандашом на обертке книги наши и неприятельские позиции. Разговор зашел о Гуркине, и Константинов никак не мог понять его продолжительного горя.

— Поверьте, господа, что я любил своего брата не меньше, чем Гуркин, но я только мог радоваться его смерти, потому что он умер настоящим героем.

И он начал рисовать редут Шварца, при отбитии которого был убит Андрей Константинов. Его последняя фраза прозвучала такой фальшивой нотой, что Угаров, желая переменить разговор, спросил, хорош ли был бал у графа Хотынцева.

— Чтобы решить, хороша ли какая-нибудь вещь, надо ее сравнивать с другими однородными вещами,— произнес докторальным тоном Константинов,— а я сравнивать не могу, я был на балу в первый раз в жизни, да, вероятно, и в последний. И представь, что со мной случилось. Разговариваю я во время мазурки с генералом Дольским,— весьма замечательным человеком,— с ним я только что познакомился,— вдруг подлетает ко мне сестра Брянского и предлагает протанцевать с ней тур мазурки. Я должен был отказать ей. Она, видно, рассердилась, но что же мне делать, если я не умею танцевать...

— Помилуй, ты был лучший танцор в лицее.

— Да, но с тех пор прошло около пятнадцати лет, если считать месяц Севастополя за год...

— И ты не извинился перед княжной?

— Нет, конечно, извинился; она меня простила и посадила около себя за ужином. Возле нее, по другую сторону, сидел какой-то гусар и нес такую дичь, что нам нельзя было разговариваться. Но после ужина она таки заставила меня протанцевать с ней котильон и даже представила своей сестре, какой-то госпоже Могилевской.

— Маковецкой,— поправил Угаров.

— Да, именно Маковецкой... ты ее знаешь? Теперь мне приходится этой Маковецкой делать визит, хотя я приехал в Петербург вовсе не для того, чтобы танцевать котильон и делать визиты...

И он сообщил товарищам, что не нынче завтра вспыхнет большая европейская война и что он занят разработкой плана кампании для русской армии. В академию он не пойдет — он ее презирает, и что может дать ему академия?! Он прочел сам всю военную литературу, он лично знаком со всеми иностранными знаменитостями военного дела, а главное, он начал с практики, которую потом проверил теорией. Опять начались чертежи, причем Константинов забросал товарищей целым градом терминов, которых они не понимали.

После отъезда Константинова его товарищи впали в долгое раздумье. Свои мысли Миллер выразил следующей фразой:

— Знаешь, Володя, если бы *этот* был убит, *тот* не сказал бы, что радуется смерти брата.

— Да, конечно,— отвечал рассеянно Угаров.

Он думал совсем о другом; его поразил эпизод с Соней. Он уже начал кое-что понимать в причудах этого странного характера. Очевидно, Константинов заинтересовал ее только тем, что отказался протанцевать с ней тур мазурки.

Вообще Угаров уже ни о чем не мог думать, кроме Сони. Отказавшись от мысли ездить в свет, он пользовался каждой минутой, когда мог ее видеть у Маковецких, и не умел скрывать того, что испытывал. Соня, видимо, тяготилась его страдальческим видом; но если он ее не видел, он страдал еще больше. Вдруг до него дошли смутные слухи о том, что она выходит замуж за Алешу Хотынцева.

Винницей этих слухов была графиня. Когда какая-нибудь фантазия забиралась в ее голову, она для осуществления этой фантазии принимала самые энергические меры. Не прошло трех дней после

бала, как она с этой целью устроила маленький обед. За полчаса до обеда она вошла в кабинет мужа.

— Я не понимаю, Базиль,— сказала она, усаживаясь с ногами на диван,— почему ты против этой свадьбы. Во-первых, они будут очень счастливы, а во-вторых, это будет очень удобно и для нас. Ведь мы с тобой написали друг для друга завещание,— или, как ты это называешь,— *on ne sait pas trop pourquoi* \*, пожизненное владение. А с этим пожизненным владением может потом выйти большая путаница.

— Какая путаница? — спросил с удивлением граф.

— А такая путаница, что потом будет трудно разобрать, кто умер и кто нет. Ах, боже мой, какие глупости ты заставляешь меня говорить иногда... Я хотела сказать, что трудно будет разобрать, кому все пойдет после нашей смерти. А если Алеша женится на Соне, мы сделаем их нашими наследниками, и это будет гораздо проще. Разве это неправда?

— Это действительно будет просто,— да я вообще несколько не против этой свадьбы. Я только нахожу, что *они* должны желать свадьбы, а не *мы*.

— О, они без ума друг от друга, это сейчас видно. Да вот спроси сам у Алеши... Ты понимаешь, что мне неудобно делать ему такие вопросы...

И, однако, это был первый вопрос, который сделала графиня, когда Алеша вошел в комнату. Алеша отвечал,— и это была правда,— что княжна ему очень понравилась.

— В таком случае,— сказала, улыбаясь, графиня,— вас можно поздравить с полной взаимностью. Соня только и бредит последней мазуркой.

Соню графиня уже уверила накануне, что Алеша без ума влюблен в нее. Последствием этой тактики было то, что Соня причислила Хотынцева к числу уже готовых поклонников, на которых не стоит обращать особенного внимания.

За обедом Алеша рассказал тетке, что с ее легкой руки на него посыпались со всех сторон приглашения. Даже княгиня Кречетова пригласила его на завтрашний бал.

— А вы поедете? — спросила Соня.

— Да, если вы обещаете танцевать со мной мазурку.

— Не могу,— тетушка мне строго запретила танцевать с одним и тем же кавалером две мазурки сряду.

Графиня поспешила дать разрешение.

— На этот раз ты можешь сделать исключение. Ведь вы почти родственники.

— *Les neveux de nos tantes...* \*\* — начал было Алеша, но никакой аксиомы не вышло.

Для графини этого было довольно. Вечером она написала длинное письмо княгине Брянской. Она извещала сестру, что Соня почти

---

\* неизвестно почему (*фр.*).

\*\* Племянники наших тетушек... (*фр.*)

невеста, и уговаривала ее сейчас же ехать в Петербург. Княгиня Брянская, изнывавшая от скуки в Троицком, отправила это письмо с Христиной Осиповной в Змеев к Придошенскому, заняла у него тысячу рублей и очень быстро собралась в путь. Ольга Борисовна очень удивилась, получив от матери депешу о ее выезде, и наскоро отделила для нее комнату, предназначавшуюся для гувернантки, но графиня на это не согласилась. Она сама поехала на железную дорогу и привезла княгиню к себе. Встреча была самая трогательная; нежности с обеих сторон продолжались целый день. Вечером, когда все улеглись, графиня в ночном костюме пришла в комнату к сестре и долго сидела возле ее кровати. Они вспоминали свою молодость, вспоминали и судили тех, кого уже не было в живых. В пятом часу утра графиня, растроганная воспоминаниями, пришла в спальню и написала длинное письмо баронессе Блендорф. Она рассказывала ей о своем счастье и приглашала баронессу приехать на другой день обедать, чтобы познакомиться с Olette, «которая не женщина, а ангел...».

Как бы поздно ни легла спать графиня, в полдень она, как заведенные часы, всегда сидела за завтраком. Княгиню долго не могли разбудить; проснувшись, она потребовала завтрак к себе в комнату, и когда графиня вошла к ней, то увидела, что Olette, сидя в постели, держит обеими руками котлетку и что кофточка ее закапана соусом. Это невольно покорило графиню. После семейного обеда, на котором присутствовал Алеша Хотынцев, княгиня сказала графу Василию Васильевичу, что недурно бы сыграть пульку в преферанс. Граф, очень любивший поиграть в картишки и отказавшийся от этого занятия только в угоду супруге, сейчас же велел подать в гостиную стол и карты. Графине это было тем более неприятно, что третьим сел играть Маковецкий, а поэтому никто не мог аккомпанировать Соне. Она беспрестанно приставала к игрокам, что пора им кончить, а когда все пошли пить чай в столовую, собственноручно стерла записи и велела убрать стол. Княгиню это распоряжение очень огорчило.

— Видно, уж такое мое несчастье,— сказала с упреком она сестре,— я всю жизнь проигрываю; сегодня мне как нарочно повезло, я была в малине, а ты, Олупре, все расстроила. Вперед ни за что не пойду к чаю, пока не кончу пульку.

«Что же это такое? — подумала графиня.— Неужели она каждый день будет играть в карты?..»

Вечером графиня опять пришла поболтать с сестрой, но посидела всего четверть часа, находя, что Olette разговаривает совсем не так интересно, как накануне.

Каждый день приносил новое разочарование. Особенно сердили графиню посетители княгини Ольги Михайловны. У княгини оказалось в Петербурге множество друзей обоего пола и самых разнообразных возрастов. Друзья эти приезжали в разные часы и водворялись в гостиной надолго, так что графиня не могла никого принять из боязни, чтобы ее гости не увидели этих «моветонов». По воскресеньям и праздникам являлись четыре кадета, до того похожие между

собой, что различать их можно было только по росту. У всех были одинаково огромные носы и щетинистые волосы, торчавшие вихрами. Это были сыновья генеральши Хрипковой, с которой княгиня подружилась в Польше, где Маковецкий служил под начальством генерала. Кадеты являлись спозаранку, называли княгиню бабушкой, съедали весь завтрак, трогали все вещи и пачкали ковры грязными сапогами. Один из них даже разбил фарфоровую куклу, которую графиня очень дорожила. В одно прекрасное утро посетила княгиню сама генеральша Хрипкова. Это была очень полная, высокая и обидчивая дама. Вся жизнь ее протекала в заботе, как бы кто-нибудь «не манкировал» ей, рассказы ее большею частью заключались в том, что она одну «срезала», другую «оборвала», третью «поставила на свое место». Обиделась она уже в швейцарской. Пока докладывали о ней княгине, швейцар пожелал внести в книгу ее адрес.

— Это зачем? — воскликнула генеральша. — Ты, кажется, принимаешь меня за просительницу, что требуешь мой адрес...

— Я ничего не смею требовать, ваше превосходительство, — сказал особенно тихим голосом швейцар, — а только у нас заведен такой порядок...

— Очень глупый порядок, — отрезала генеральша и начала раздраженно взбираться на лестницу.

В зале ей попался навстречу граф Василий Васильевич, но она смерила его с головы до ног таким уничтожающим взглядом, что он поспешил юркнуть в свой кабинет. Шумно облобызавшись с княгиней, генеральша выразила желание немедленно познакомиться с ее сестрой, впрочем, обошлась с ней надменно, боясь уронить свое достоинство, а чтобы министерша не очень зазнавалась, выпалила в нее целым зарядом имен высокопоставленных лиц, с которыми она была знакома. Тут же совсем некстати она сообщила, что ее крестным отцом был граф Аракчеев.

— Dieu, comme elle est commune! \* — вырвалось у графини, когда генеральша Хрипкова уехала.

— Да, конечно, — возразила усталым голосом княгиня, — у нее мало светского лоска, но зато это такая достойная и такая умная женщина. С ней никогда не соскучишься. Это не то, что твоя баронесса, с которой двух слов нельзя сказать.

— Однако я говорю с ней по целым часам, — заметила сухо графиня. — Впрочем, может быть, и я глупая...

Через несколько дней сестры глубоко ненавидели друг друга. Катастрофа между ними не произошла только оттого, что раз вечером, когда княгиня была у дочери, маленький Боря заболел. У него сделался сильный жар, и его уложили в постель. Воспользовавшись этим предлогом, княгиня, как добрая бабушка, осталась ночевать на Литейной, а утром послала за своими вещами. Графиня узнала об этом с большой радостью. Olette уже давно перестала быть ангелом и называлась не иначе, как «cette Mégère» \*. По прошествии недели графиня

---

\* Боже, как она зауядна! (фр.)

\*\* эта мегера (фр.).

опять полюбила сестру и приглашала ее переехать снова к ней, но княгиня решительно от этого отказалась. У Маковецких жить ей было гораздо привольнее: она могла принимать кого хотела и целые дни проводила за картами.

Между тем дело свадьбы не подвигалось, хотя графиня придумывала всевозможные предлоги, чтобы Алеша и Соня виделись как можно чаще. Они встречались и разговаривали с большим удовольствием, но скорее имели вид добрых приятелей, чем влюбленных. Тем не менее графиня нисколько не сомневалась в успехе своего плана и думала, что это только вопрос времени. «En principe c'est une chose décidée» \*,— говорила она ежедневно кому-нибудь по секрету. Угаров с нетерпением ждал поста, надеясь, что будет чаще видеть Соною, но горько ошибся. На первой неделе Соня говела и два раза в день ездила с графиней в домовую церковь княгини Марьи Захаровны; со второй недели начались концерты, *soirées causantes* \*\* и рауты. А слухи о замужестве Сони то затихали, то воскресали с новой силой. Угаров обратилась за разъяснением к Горичу.

— Не волнуйся,— отвечал тот уверенным тоном.— Свадьба не состоится.

— Почему ты так думаешь?

— По двум причинам. Во-первых, графиня Олимпиада Михайловна слишком об этом старается, а во-вторых, княжна занята теперь совсем другим человеком.

— Кем же это?

— Во всяком случае не тобой и не мной.

Больше ничего Угаров не добился от Горича.

Томление его росло с каждым днем. «Когда же все это кончится? — размышлял он, сидя в своей неуютной гостиной.— Надо что-нибудь предпринять. Надо объясниться с Соней или уехать в деревню, уехать надолго, навсегда...»

В таких размышлениях застал его Афанасий Иванович Дорожинский. Передавая ему обычное письмо Марьи Петровны, он сказал:

— А я, дорогой мой, прибавлю то, чего, вероятно, в письме этом нет. Плоха старушка, изныла по вас. Понять я вас не могу, Владимир Николаевич. Добро бы еще служили, карьеру делали, а то — что вам за охота оставаться здесь без дела? Опять, состояние ваше нешуточное, заняться им не мешает. Вы знаете, я никогда не одобрял управление Варвары Петровны,— ну, да прежде куда ни шло! А теперь время не такое, мужики от рук отбились, а Варвара Петровна состарелась, совсем с ними справиться не может. Вы мне простите, мой дорогой, что я позволяю себе вам советовать...

— Помилуйте, Афанасий Иванович, я вам от души благодарен, вы говорите совершенную правду.

И Угаров с чувством пожал руку.

— Ну, а если вы с этим согласны, за чем же дело стало? Я в начале страстной уезжаю, могли бы сговориться и ехать вместе. Как

---

\* В общем, это дело решенное (фр.).

\*\* вечера бесконечных бесед (фр.).

раз успели бы в Угаровку к празднику. То-то был бы там светлый праздник!

Афанасий Иванович и прежде не раз читал ему подобные наставления, но Угаров пропускал их мимо ушей. Теперь они пришлось чрезвычайно кстати, когда он сам думал об отъезде. «Это — повеление судьбы»,— решил Угаров, суеверный, как все нервные люди. «Будь, что будет, а я или добьюсь чего-нибудь, или уеду. А то в самом деле закиснешь... Сегодня вечером Соня дома,— сегодня же объяснюсь с ней непременно». План объяснения так занял Угарова, что он пропустил час обеда. В восемь часов он входил в дом Тупикова.

Швейцар объявил ему, что «старая княгиня и Александр Викентьевич дома, а Ольга Борисовна с княжной уехали к министерше. Министерша за ними карету присылала, и человек ихний сказал, что у нее нынче француз фокусы показывает».

Это известие ошеломило Угарова. «Впрочем, все равно,— думал он, шагая по мокрому тротуару,— объяснюсь завтра или послезавтра; я, во всяком случае, решился,— но куда мне деться сегодня?»

Угаров зашел к Горичу и не застал его дома, потом поехал в гостиницу, где всегда останавливался Афанасий Иванович Дорожинский, но и того не застал. Идя мимо книжного магазина Овчинникова, он зашел к Сомову.

Он так давно там не был, что Сомов встретил его с удивлением. В каморке, кроме братьев Пилкиных, сидел еще один господин, которого Угаров не знал. Молодая и довольно миловидная женщина, в шерстяном платье, разливала чай; Угаров сейчас же признал в ней женщину в платке, которую он видел мельком, когда в первый раз был у Сомова.

— Моя жена,— сказал коротко Сомов.

Незнакомца он не считал нужным называть, но по тону почтения, с каким все к нему относились, Угаров догадался, что это был тот самый Покровский, о котором так много слышал от Сомова.

— При нем можно продолжать,— сказал Сомов Покровскому, когда Угаров уселся и получил чашку чаю.

Покровский кивнул головой в знак согласия, и Сомов вынул из-под скатерти тоненькую книжку «Голосов из России»<sup>82</sup>.

Во время чтения Угаров жадно всматривался в Покровского. Это был довольно красивый брюнет неопределенных лет, с небольшой бородой, одетый с претензией на щеголеватость. Угаров жаждал прочесть в его лице признаки гениальности, но теперь это лицо с полукрытыми глазами выражало утомление и скуку. Раза два он открывал глаза и устремлял на Угарова пытливый и пронизательный взгляд.

— Решительно ничего не вижу хорошего в этой статье,— сказал он, когда Сомов дочитал последнюю страницу.— Надо быть очень наивным, чтобы радоваться освобождению крестьян.

— Но, однако, тут есть кое-какие верные мысли,— робко заметил Сомов.

— Одно из двух,— продолжал Покровский тоном, не допускавшим возражения: или освобождение крестьян будет фиктивное, и тог-



да вся эта реформа — одна насмешка над честными людьми; или освобождение будет настоящее — и тогда еще хуже: тогда революция будет отсрочена на много лет.

— Но если освобождение будет настоящее,— спросил Угаров,— зачем же тогда революция?

При этих словах Угарова все остальные переглянулись, как будто он сказал что-то совсем неприличное. В другое время это смутило бы Угарова, но в этот вечер он был полон энергии и храбро начал развивать свою мысль. Покровский совсем закрыл глаза и не удостоил его ни одним возражением, потом нервно зевнул и сказал, не смотря на Угарова:

— Ну, знаете, батенька, человек с такими идеями, как ваши, может дойти до всего. Вперед, если встречу с вами, буду осторожнее, чтобы не сказать при вас чего-нибудь лишнего.

После такого намека Угарову оставалось одно — уйти. Сомов поднялся было, чтобы его проводить, но раздумал и сел на свое место. Надевая пальто в передней, Угаров слышал сдержанный смех братьев Пилкиных...

Было одиннадцать часов. Взволнованный всеми неприятными впечатлениями дня, Угаров не хотел идти домой; голод его мучил, он зашел к Дюкро, где также не был очень давно. Вход его произвел некоторую сенсацию.

— Абрашка! — закричал Акатов.— Неси нам всем телятины: блудный сын вернулся.

Но отчий дом произвел, вероятно, более сладостное впечатление на блудного сына, чем общая комната Дюкро на Угарова. Те же лица на тех же местах, на которых он привык их видеть в течение двух лет, показались ему невыносимыми, и он удивлялся, как одно время он мог приходить сюда каждый вечер.

На этот раз князь Киргизов был стравлен с графом Строньским. Спор начался у них очень невинно — с трюфелей. Граф Строньский похвастал, что в его имении Больших-Подлипинках родятся трюфели не хуже французских. Князь Киргизов опровергал это и признавал только те трюфели, которые привозятся из Перигора<sup>83</sup>. Понемногу спор от трюфелей перешел в область политики и истории.

Князь Киргизов сидел на своем месте, скрестив на груди руки, говорил весьма тихим голосом и смотрел на своего противника в упор. Его поза и голос доказывали, что он хочет быть терпелив и сдержан. Строньский сильно размахивал руками и имел вид победителя.

— Но, однако,— заметил он ядовито,— вы же сами присягали Владиславу и звали его на царство...<sup>84</sup>

— Неправда! Вздор! Никогда не присягал! Никогда не звал на царство! очень нужен ваш Владислав!

— Ну, да, конечно,— пошутил Строньский,— вы, то есть князь Киргизов, персонально его не приглашали, но Москва присягала и звала...

— И это вздор! и Москва не присягала! Москва не звала! Очень ей нужен ваш Владислав!

— Но позвольте, князь, так спорить нельзя. Даже Карамзин говорит...

Руки князя разжались. Терпение лопнуло.

— Врет Карамзин! — крикнул он, вскакивая с места.

— Нет, князь, это уже слишком! вы опровергаете факт, помещенный в каждом учебнике истории, а Карамзин...

— Да что вы тычете в меня вашим Карамзиным? — кричал князь, бегая по комнате.— Мало ли что писал Карамзин! Знайте, милостивый государь, что он не кончил своей истории, а потому и не успел исправить всех ошибок. Знаете ли вы, какими словами оканчивается история Карамзина: «Орешек не сдавался»<sup>85</sup>. Слышите ли: Орешек не сдавался! А между тем всем известно, что Орешек сдался. После этого нечего ссылаться на Карамзина...

— Позвольте, позвольте, князь,— раздался голос Менцеля.— Вы увлекаетесь. Карамзин — наш русский писатель, которым мы должны гордиться...

Князь грозно остановился перед Менцелем.

— Этого только недоставало, чтобы вы вздумали меня учить! Точно я не знаю, что Карамзин — великий русский писатель. Но поляки все равно не должны и читать его, потому что все равно не поймут.

В свою очередь, Строньский потерял терпение.

— Прошу вас, князь, взвешивать ваши выражения,— сказал он, задрожав от гнева.— Иначе вы поставите меня в необходимость потребовать от вас сатисфакции...

— Что такое?! сатисфакции? — заревел князь.— Извольте, я вам даю сатисфакцию, и не одну, а пять, десять, сто сатисфакций! И с большим удовольствием, и сию минуту, если хотите!.. Ишь чем вздумали напугать меня... Сатисфакция! Точно Самойлов в «Свадьбе Кречинского»!<sup>86</sup>

Акатов увидел, что дело может кончиться плохо, и поймал князя за локоть.

— Послушайте, князь, вы не чувствуете ничего особенного?

— Ничего. Что это значит?

— Ну, а мне что-то нехорошо. Мне кажется, что судак, который мы ели, был не совсем свежий.

— Вы очень нежно выражаетесь. Не совсем свежий!.. Он был совсем тухлый... Я это заметил сразу.

— Но согласитесь, князь, что это очень нелюбезно со стороны Дюкро — подавать нам такую гадость.

— Нет, вы замечательно нежно выражаетесь сегодня. «Нелюбезно!» Это более, чем нелюбезно,— это гнусно, отвратительно, подло! Помилуйте, мы просиживаем здесь все вечера и ночи, тратим тысячи, а он осмеливается кормить нас гнилью! И вот попомните мое слово, что пройдет два-три года, этот мерзавец вывезет во Францию миллиона полтора франков, купит замок, заживет баринном и будет смеяться над нами, северными варварами... Да будь он проклят вместе со своей почтенной супругой, с чадами и домочадцами и со всеми своими гнилыми судаками! Да будь я проклят сам, если когда-нибудь нога моя ступит в это заведение...

Князь начал подробно перечислять все преступления Дюкро, совершенные в течение многих лет. При этих воспоминаниях он несколько раз ссылаясь на графа Строньского, совсем забыв о сатисфакции. У Строньского всякий раз, что князь обращался к нему, нижняя губа вздрагивала от гнева, но понемногу успокоился и он.

Мадам Дюкро, сидевшая за конторкой и не в первый раз слышавшая эти проклятия, немедленно наказала князя Киргизова, вписав в его счет несколько лишних рюмок.

## IX

Около этого времени с графом Хотынцевым произошла странная метаморфоза. Он, считавшийся всю жизнь либералом и сам называвший себя «свободным мыслителем», вдруг оказался ретроградом. В заседании Государственного Совета один из новых министров так прямо и назвал его мнение «ретроградным». Кроме того, он получил неизвестно от кого по городской почте номер «Колокола», в котором красным карандашом была подчеркнута статья: «Холопы реакции». В конце этой статьи находились следующие строки: «К этой почтенной компании примкнул и граф Хотынцев, которого правильнее можно бы назвать графом Хапынцевым, потому что, будучи нижегородским губернатором, он хапнул здоровый куш с раскольников, да и теперь, говорят, хапает с живого и мертвого»<sup>87</sup>.

Граф так был поражен этой статьей, что даже не заметил, как в кабинет вошла графиня.

— Базиль, я к тебе с просьбой. Марья Захаровна рекомендовала мне на службу очень милого молодого человека, князя Буйского. Нельзя ли ему дать место?

Граф послал за Горичем, который сказал, что в настоящую минуту места нет, но что этого Буйского он будет иметь в виду.

— Ну, а это место, которое вы прежде занимали... секретаря важных дел... оно еще свободно? — спросила графиня.

— Граф велел уже назначить на это место чиновника канцелярии, Сергеева...

— Какого это Сергеева? — воскликнула графиня. — Уж не того ли, который в прошлом году был замешан в это грязное дело? Он украл какую-то шубу, или что-то в этом роде...

— Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у него украли шубу.

— Ну, это совершенно все равно, он ли украл или у него украли... Главное то, что он был замешан в гадком деле, une affaire de vol\*, а потому очень странно назначать его на такое видное место... Впрочем, я забыла, что в нашем министерстве теперь люди, как Сергеев, имеют больше успеха, чем люди нашего общества.

Графиня вышла, сильно хлопнув дверью.

---

\* дело о краже (фр.).

Граф Василий Васильевич плотно затворил дверь и, подойдя к Горичу, сказал ему вполголоса:

— Как вам это нравится, *mon cher*? Все равно: он ли украл или у него украли...

И, хихикая про себя, граф уселся за письменный стол.

— Как же прикажете, граф? Доклад о Сергееве уничтожить?

— Нет, *mon cher*, погодите. Может быть, еще обойдется как-нибудь... Да вот, кстати, прочитайте, что я получил сегодня по почте. Мне по поводу этого «Колокола», да и по другим разным поводам хотелось бы поговорить с вами... Знаете что, не пообедаете ли вы сегодня со мной у Дюкро?

— У Дюкро? С вами?

— Что же это вас так удивляет? Я, как и всякий другой, не лишен этого права. Приезжайте туда часу в шестом и займите красную комнату внизу...

Граф Василий Васильевич вошел к Дюкро с бокового подъезда, озираясь по сторонам, как тать в ночи, и с высоко поднятым воротником пальто. Он сейчас же отвергнул карту, почтительно поданную ему Абрашкой, и приступил к сочинению «простого и вкусного» обеда. Выбор супа занял минуты две.

— Ты мне дашь,— сказал он внушительно Абрашке,— во-первых, *tortue claire* \*.

— Для вас одних, ваше сиятельство, или для двух прикажете?

— Конечно, для двух... Потом ты мне дашь...

Граф глубоко задумался.

Граф пошел поболтать с Угаровым, который обедал в общей комнате. Возвращаясь, он увидел в коридоре графа, разговаривающего с мадам Дюкро. Граф говорил тихо, но с таким жаром поднимал и опускал руки, что Горичу пришло в голову, не было ли между говорившими когда-нибудь более важных отношений. Проходя мимо, он услышал следующие слова:

— *Surtout, chère madame, n'abusez pas du citron. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Rien qu'un soupçon de citron.*

— *Soyez tranquille, monsieur le comte, vous serez servi comme par le bon vieux temps... \*\**

— *Oh, oui, c'est ça... le bon vieux temps... \*\*\**

И граф, вслед за Горичем, вошел в красную комнату.

Пока татары подавали закуски, он важно разлегся на диване и счел нужным поговорить о политике.

— Читали ли вы последнюю речь принца Наполеона <sup>88</sup> в законодательном корпусе? Это верх безумия. Удивляюсь, как его не посадили до сих пор в маленькие домики.

---

\* черепаховый суп (*фр.*).

\*\* Главное, не злоупотребляйте лимоном, мадам. Вы меня понимаете, не так ли? Только капельку лимона.

Будьте спокойны, господин граф, вас обслужат, как в старые добрые времена (*фр.*).

\*\*\* Да, да, как в добрые старые времена... (*фр.*)

Хотя граф считал себя знатоком русского языка, но нередко грешил подобными галлицизмами.

К обеду он приступил с лицом серьезным и даже строгим; первые три блюда ел с большим аппетитом, запивая их соответствующими винами, и не был способен ни к какому обмену мыслей, кроме разговора об обеде. Насытившись, он до остальных пустяков — блюда тричетыре, не больше — еле дотрогивался, и то скорее из любознательности, чтобы узнать, так ли они приготовлены, как он объяснял.

— Ну, что, *mon cher*, — спросил он, окончив с чувством стакан лафита 1848 года, — прочли вы, как меня отделали?

— Да, граф, прочел; но неужели эта глупость могла вас рассердить или огорчить?

— Действительно, она меня более удивила, чем рассердила. Уж если они хотели про меня написать какую-нибудь гадость, то могли бы выдумать что-нибудь более правдоподобное. В Нижнем я не только не мог ничего хапать, но в три года, что я там был губернатором, я истратил около ста тысяч своих на балы и обеды, потому что жена моя хотела непременно перецеголять губернскую предводительшу. А предводителем был Пронин, известный миллионер. Но дело не в том, а я хочу на эту статью написать возражение. Как вы посоветуете мне это сд лать?

— Я бы вам посоветовал вовсе не отвечать. Да и где же можно печатать возражение? В Лондоне печатать не захотят, а у нас о «Колоколе» запрещено даже упоминать в печати. Да не стоит и отвечать на такую глупость, которой не только никто не поверит, но и на которую никто даже не обратит внимания...

— О, как вы ошибаетесь в этом! как видно, что вы неопытны и юны! Начать с того, что многие поверят. Есть люди, которые верят всему гадкому. А другие хотя и не поверят, но все-таки будут меня считать как бы опозоренным. Люди, ко мне расположенные, *se qu'on appelle les amis* \*, — будут меня защищать, но все-таки не удержатся, чтобы не рассказать про этот пасквиль тем, которые еще не знают. Поверьте, *mon cher*, что если бы мой тезка дон Базилио<sup>89</sup> пожил в Петербурге, он бы еще более убедился в могуществе клеветы...

После спаржи, которою граф остался недоволен, так как она была слишком разварена, разговор его принял еще более меланхолический характер.

— В странное время живем мы, *mon cher*. Быть министром теперь то же, что лишиться всех прав... В старину, когда я начал служить, у нас была известная система. Я вовсе не сторонник этой системы, но, по крайней мере, мы — слуги правительства — знали, как нам поступать, и всегда могли рассчитывать на поддержку. Теперь нас ругают со всех сторон, а поддержки у нас никакой, и мы даже не знаем, чего от нас хотят. Вот слободский предводитель подал по крестьянской реформе проект, в котором пошел дальше той точки, на которой теперь стоит правительство... И что же? Его сослали административным порядком. Скажу вам про себя. Я нисколько не

\* так называемые друзья (*фр.*).

ретроград и рад сочувствовать всяким новым мерам, но дайте мне право рассматривать эти меры и не заставляйте меня бежать слепо за тем, кто громче кричит. А тут еще кругом какие-то подпольные интриги... Я хотел взять себе в товарищи Дольского. Вы его знаете, это — человек умный, дельный и проникнутый самыми современными идеями; но против него начался целый крестовый поход, и эта старая карга, княгиня Марья Захаровна — *n'en déplaît à ma femme* \*, которая ее обожает,— подсунула мне Сергея Павловича Висягина — известного ретрограда. Ну, чем же я виноват?

— Почему вы называете Сергея Павловича ретроградом? Он теперь только и бредит реформами и на днях рассказывал одному губернатору, что в молодости был совсем красный...

— Ну, знаете, теперь не разберешь: кто красный, кто белый, кто консерватор и кто либерал. Я знаю только одно, что пора мне убраться подобру-поздорову, а то, пожалуй, дождешься вот этого...

И граф сделал рукой выразительный жест, изображающий, как выталкивают за дверь.

Когда подали кофе, граф пожелал выпить рюмку *fine champagne*\*\* . Дюкро сам принес бутылку, всю покрытую песком и пылью, объясняя, что этот коньяк такого времени, когда даже название *fine champagne* не существовало. Выпив две рюмки этого необыкновенного коньяку, граф не то чтобы опьянел, но как-то размяк.

— Вы не поверите, *mon cher*,— говорил он, закуривая огромную сигару,— как мне приятно вот так пообедать с вами и поговорить на свободе. Ведь я совсем не рожден быть министром. Все эти почести я никогда не ставил в грош... Моим идеалом всегда была тихая, беззаботная жизнь, хорошая книга, хороший обед, несколько приятелей, с которыми можно поболтать приятно,— *de temps en temps le sourire d'une jolie femme*... \*\*\* Вот и все. И не только ничего этого у меня нет, но я не имею даже того, что имеет каждый столоначальник, то есть спокойного домашнего очага... Я не могу пожаловаться на свою жену, это во многих отношениях достойная женщина, но у нее столько причуд, столько капризов, такие странные мысли... Образчик ее воззрений вы слышали сегодня утром, а меня она каждый день угощает чем-нибудь в этом роде. Но это бы еще куда ни шло, а главное — *ce qui me rend la vie dure* \*\*\*\*,— это ее невыносимый деспотизм. Ведь она следит за каждым моим шагом, она...

— Мне кажется, граф, что вы преувеличиваете,— остановил его Горич, боявшийся, что граф, под влиянием вина, пустится в признания, в которых потом сам раскается.— Мы говорили с вами о Висягине...

— Нет, позвольте, *mon cher*, я не преувеличиваю нисколько, я даже многого не хочу говорить. Но чтоб вы видели, в каком я положении, расскажу вам, так и быть, один факт. Вот мы с вами обедали

---

\* да не прогневается моя жена (*фр.*).

\*\* шампанский коньяк (*фр.*).

\*\*\* время от времени улыбка хорошенькой женщины... (*фр.*)

\*\*\*\* что делает трудной мою жизнь (*фр.*).

у Дюкро, а где я сегодня обедал официально, как вы думаете? В Царском Селе.

— Отчего в Царском Селе?

— Оттого, что скажи я, что обедаю у Дюкро, особенно с вами, она ни за что бы меня не пустила, и я должен был ехать в своей карете сначала на царскоесельскую машину<sup>90</sup>, а оттуда в извозчичьей карете сюда. Ну, разве это не унижительно?

— Право, граф, вы смотрите в увеличительное стекло. Конечно, графине, может быть, приятнее, что вы в Царском у вашего племянника...

— Как, у Алеши? Оборони бог! К Алеше она бы пустила меня еще менее. Я должен был ей сказать, что еду к Петру Петровичу. Вы знаете, что Петр Петрович вышел в отставку и будирует правительство. В старину *les mécontents* \* поселялись обыкновенно в Москве, где представляли известную силу, имели *prestige* \*\*. Но теперь времена не те, да и состояние у него не такое, чтобы можно было *faire figure* \*\*\* в Москве. Там для этого им большое состояние нужно или разве уж такие заслуги, как у Ермолова...<sup>91</sup> Вот Петр Петрович переселился в Царское Село, будирует оттуда и составляет оппозицию.

— Но отчего же графиня одобряет ваши поездки к Петру Петровичу? Сколько я знаю, у нее воззрения крайне консервативные и не допускают никакой оппозиции...

— Вот этого, *mon cher*, я и сам понять не могу. Назвал кто-то Петра Петровича: *le vénérable exilé* \*\*\*\* — с тех пор это и пошло в ход. А какой же он *exilé*, когда каждую субботу ездит в Петербург и обедает в Английском клубе? Все к нему ездят в Царское на поклонение и, как говорит моя супруга: «*c'est bien vu dans le monde*» \*\*\*\*\*. А кем это — *bien vu*, почему *bien vu*, — кто их разберет.

— Чем же занимается Петр Петрович в Царском?

— Он пишет мемуары, и в этом — *entre nous soit dit* — весь секрет его успеха. Всякий думает: «а ну, как он отшлепает меня в своих мемуарах?» — и спешит задобрить его на всякий случай. А Петр Петрович, когда захочет отшлепать, сумеет это сделать, да и вообще умеет заставить почитать себя. В клубе ему теперь такое почтение оказывают, что вы себе представить не можете. У нас все так. Григорий Иваныч в таком же положении, как и он: также вышел в отставку, но живет себе тихо и скромно, и никто на него внимания не обращает. А Петр Петрович объявил, что он — оппозиция, и из него героя сделали. Но я вас спрашиваю: какая же это оппозиция, когда он исправно получает от правительства двенадцать тысяч в год?

Граф выпил еще одну «последнюю» рюмку и опять заговорил о своей супруге.

— Знаете, *mon cher*, — система графини Олимпиады Михайловны самая ложная. Когда за вами такой бдительный надзор, всегда хочется

\* недовольные (фр.).

\*\* престиж (фр.).

\*\*\* занимать видное положение (фр.).

\*\*\*\* почтенный изгнанник (фр.).

\*\*\*\*\* быть на хорошем счету в обществе (фр.).

его обмануть. Мне всего приятнее сидеть здесь именно оттого, что она считает меня в Царском. Если бы не мои лета и положение, я бы даже предложил вам поехать к какой-нибудь кокотке. Вот до чего может довести ее деспотизм. Поверите ли, иногда этот гнет доводит меня до таких мыслей, что потом мне самому делается страшно.

Граф оглянулся на дверь и произнес вполголоса:

— Il y a des moments, où je commence à comprendre les révolutions! \*

Потом граф начал рассказывать разные любовные похождения своих молодых лет. На камине раздался бой часов.

— Сколько бьет, mon cher? Восемь?

— Нет, граф, уже десять.

— Как! неужели десять? Позвоните, mon cher. Абрашка, давай счет — и как можно скорее.

— Отчего вы так заторопились, граф?

— Как мне не торопиться? Вы забываете, что я должен ехать на царкосельский вокзал. Поезд приходит в одиннадцать часов, а карета моя приедет раньше, следовательно, я должен приехать еще раньше, потом вмешаться в толпу и идти как будто из Царского. Dieu, quel ennui! \*\*

Горичу сделалось и смешно, и жалко. Он предложил графу проводить его на вокзал.

— Как это мило, что вы меня не покинули! — говорил граф, брезгливо усаживаясь в грязную, оборванную четырехместную карету, — будьте до конца свидетелем моего печального или, если хотите, смешного положения. Это мне напоминает какие-то стихи, — кажется, Пушкина:

Всё это было бы смешно,  
Когда бы не было так грустно... <sup>92</sup>

Извозчики лошади, несмотря на понукания кучера, ехали почти шагом.

— Боже мой! — волновался граф. — Мы никогда не доедем. Вот увидите, моя карета приедет раньше, и при входе я буду встречен моим глупым Иваном. Cela sera du progrès! \*\*\* Ну, да и карета хороша. Это какой-то гроб, а вовсе не карета. Знаете ли, таких лошадей и такой экипаж нигде в мире нельзя найти, кроме наших железных дорог...

Однако они приехали вовремя. В одиннадцать часов пришел поезд, но вмешаться в толпу граф не мог, потому что ее не было. Приехало не более десяти пассажиров. Первым выскочил из вагона Алеша Хотынцев.

— Где вы сидели, дядюшка? Я в Царском обшарил все вагоны и не нашел вас.

— Вот видишь, мой друг, я по рассеянности вошел в вагон второго класса, да и остался там. А отчего ты знал, что я в Царском?

---

\* Бывают моменты, когда я начинаю понимать смысл революций! (фр.)

\*\* Господи, какая долука! (фр.)

\*\*\* Ну и дела! (фр.)



— Мне об этом тетушка написала. Она прислала в Царское курьера с просьбой приехать вместе с вами и ужинать у нее. Что у вас такое?

— Право, не знаю; я ни о каком ужине не слышал.

Горич видел, как граф и Алеша сели в карету и как глупый Иван, с пледом в руке, перебежал на другую сторону кареты и отворил дверцу.

— Что ты тут делаешь? — раздался голос графа.— Отстань, пожалуйста.

— Ваше сиятельство, графиня мне приказала непременно укутать ваши ножки.

Мысль об ужине явилась графине внезапно после отъезда мужа, и она немедленно привела ее в исполнение. Матримониальная нерешительность Алеши ей надоела, и она решилась покончить с ним в этот вечер. Предлог для ужина был очень хороший: обеды у Петра Петровича были скудны, и граф, возвращаясь из Царского, всегда жаловался на голод. Теперь, когда граф был переполнен яствами и винами Дюкро, один вид изящно накрытого стола, уставленного бутылками, привел его в содрогание.

— Нет, знаешь, Olympe,— сказал он, усаживаясь в столовой около жены,— сегодня обед у Петра Петровича был очень недурен, а главное, пресытный, так что я вряд ли буду в силах есть что-нибудь...

— Вот вздор какой! Что же было за обедом?

— Был суп *tortue claire*, потом — *soudac à la normande*, потом — *selle de mouton\**, потом — еще кое-что...

— С чего же это наш бедный Петр Петрович так раскутился? Но есть ты все-таки будешь, потому что я велела приготовить твои любимые блюда.

Поневоле графу пришлось притворяться, что он ест, но пить он отказался наотрез, ссылаясь на головную боль. Зато Алеша ел с большим аппетитом и пил за троих. Графиня была с ним очаровательно любезна и даже выпила бокал шампанского за его здоровье. Когда подали кофе, графиня выслала людей и сочла своевременным начать атаку.

— Кстати, Alexis, вы знаете, что весь город говорит о том, что вы женитесь на Соне?

— Да, *ma tante*, я слышал об этом,— отвечал, слегка покраснев, Алеша.

— Что же вы скажете об этом?

— Что же я могу сказать? Я могу только дать честное слово, что я в этих слухах не виноват, что я ни одному человеку об этом не говорил.

— Конечно, я не могу сомневаться в вашем честном слове, но однако... откуда же взялись эти слухи?

— Послушай, Olympe,— вмешался граф,— не обвиняй, по крайней мере, Алешу в этих сплетнях. Я несколько раз просил тебя быть осторожнее...

---

\* черепаховый суп... судак по-нормандски... седло барашка (*фр.*).

— Ну, да, я так и знала. Я одна окажусь виноватой. Что бы ни случилось, я всегда виновата во всем.

Составляя утром план действий, графиня решила даже не подать вида, что она желает этой свадьбы. Она только попросит Алешу прекратить ухаживание за Соней, и это заставит его высказать свои чувства. Но вмешательство графа так ее рассердило, что все мысли ее спутались, и она обратилась с горькими упреками к Алеше.

— Что мой муж ко мне несправедлив,— это в порядке вещей. Обязанность каждого мужа — быть несправедливым к жене. Но почему вы против меня, этого я не могу понять... Погодите, не перебивайте меня. Я всю жизнь доказывала вам свое расположение. Когда вы еще были пажом, и Базиль сердился на вас за шалости, я всегда за вас заступалась. Наконец, еще недавно, когда все были против вас, — *à propos de cette femme que je ne veux pas pommer\**, — я одна стояла за вас горой. Я сделала бал, просила вас дирижировать, чтобы сблизить вас с обществом, *pour vous réhabiliter aux yeux du monde... \*\** И что же? Вы не только не цените моего расположения, но даже не щадите мою бедную Соню. Разве вы не знаете, что это ухаживание, *sans but\*\*\**, и эти толки о свадьбе могут погубить молодую девушку в глазах света?

— Но что же я могу сделать? — воскликнул с непритворным отчаянием Алеша.— Просить руки княжны я не смею, потому что не имею никакой надежды...

— Боже мой, какая скромность! Отчего же это?

— Оттого, что я вижу, что княжне многие нравятся гораздо больше, чем я.

— Кто же это, например?

— Ну вот, например, Константинов.

— *Pardon, Alexis*, но вы начинаете говорить глупости. Что такое Константинов? *Il s'est bien battu à Sébastopol, il raconte joliment про Федюхины горы<sup>93</sup>, mais voilà tout\*\*\*\**. Вспомните этот его ужасный тик, а главное, — *le nom qu'il porte...\*\*\*\*\** Разве это имя? *Le joli plaisir de s'appeler madame\*\*\*\*\** Константинов!

«А не хватить ли мне сейчас предложение? — мелькнуло в голове у Алеши.— Во-первых, тетушка от меня отстанет (самым горячим желанием Алеши было в эту минуту, чтобы тетушка отстала). Во-вторых, княжна действительно прелестная девушка, а в-третьих, я никогда еще не был женат; может быть, это и не так дурно».

— Вот видите, *ma tante*, я прежде всего съезжу в Москву, чтобы устроить кое-какие денежные дела,— начал было Алеша; но графиня поспешила прервать его речь и этим испортила все дело.

---

\* из-за этой женщины, которую я не хочу называть (фр.).

\*\* чтобы реабилитировать вас в глазах света... (фр.).

\*\*\* беспечное (фр.).

\*\*\*\* Извините, Алексей... Он отважно сражался в Севастополе, он хорошо рассказывает... но это и все (фр.).

\*\*\*\*\* его имя... (фр.).

\*\*\*\*\* Хорошенькое дело называться мадам (фр.).

— Что касается ваших денежных дел, мой милый Alexis, то о них вам беспокоиться нечего. Вы считаетесь наследником Базиля, но у меня свое довольно большое состояние, которое я оставлю Соне, так что в случае вашей женитьбы вы получите все...

При этих словах графини Алеша весь вспыхнул. Ему показалось ужасно обидным, что его соблазняют деньгами. Он хотел ответить, что он себя не продает, но нашел, что это будет слишком грубо, и удержался. Потом он хотел сказать, что княжна Софья Борисовна слишком привлекательна сама по себе, чтобы нуждаться для привлечения женихов в тетушкином состоянии, но этот более мягкий ответ пришел ему в голову слишком поздно. Потом — как это всегда с ним бывало при сильных душевных потрясениях — ему захотелось громко смеяться, но он удержался и от этого, не произнес более ни одного слова и, как-то странно улыбаясь, смотрел на графиню. Графиня одна говорила пространно и красноречиво на тему семейного счастья и ужасного положения неженатых молодых людей. Граф Василий Васильевич не мог выдержать этого потока красноречия и неожиданно захрапел. Графиня посмотрела на него с сожалением и сказала:

— Это всегда с ним бывает, когда он обедает в Царском. *Le chemin de fer le fatigue trop...\**

Алеша встал, молча поцеловал руку графини и исчез. Графиня разбудила мужа.

— Базиль, можешь меня поздравить, дело кончено. Не позже как через неделю Алеша сделает предложение.

Через неделю Алеша Хотынцев получил четырехмесячный отпуск и уехал с Павликом Свириком на охоту в свою казанскую деревню, ни с кем не простившись в Петербурге.

## Х

В пятницу на шестой неделе поста назначен был в Дворянском собрании концерт Контского<sup>94</sup>. Накануне этого дня Ольга Борисовна и Соня просили Угарова достать им билеты. Исполнить эту задачу было не так-то легко. Концерт был очень интересный, последний в сезоне, и все места были разобраны за неделю. Угаров хлопотал все утро, ездил к самому Контскому, и, наконец, ему удалось достать четыре билета. Один оставил для себя, остальные с торжеством повез к Маковецким.

Швейцар объяснил ему, что все пошли в Гостиный двор на вербы<sup>95</sup> и что дома одна княжна Софья Борисовна, только что вернувшаяся от министерши. Угаров быстро взбежал на лестницу. «Теперь или никогда,— подумал он,— такой случай больше не повторится...» Соня сидела в зале за роялем и разбирала какой-то новый вальс. Поблагодарив Угарова за билеты, она сказала ему:

\* Железная дорога его слишком утомляет... (фр.)

— Вы знаете, Владимир Николаевич, что я во всю жизнь не проиграла ни одного пари. Вот и теперь. Вчера кто-то уверял, что вы не достанете билетов, а я предложила пари, что достанете непременно.

— Отчего же вы были так уверены в этом?

— Оттого что... не знаю сама, отчего. Оттого, что я знала, что вам будет приятно доставить удовольствие... сестре и мне... одним словом, вашим друзьям... Послушайте, какой прелестный вальс...

И Соня заиграла снова.

— Я действительно ваш друг,— сказал Угаров, облокачиваясь на рояль,— а потому решаюсь спросить у вас: справедливы ли те слухи, которые ходят о вас в городе?

— Какие именно?

— Слухов так много, что в них не разберешься. Одни говорят, что Хотынцев сделал вам предложение и что вы ему отказали; другие говорят, что на святой вы уезжаете и что свадьба будет в деревне...

Соня звонко рассмеялась и сказала, не прекращая своего вальса:

— На святой я не уезжаю,— свадьбы в деревне не будет,—

Хотынцеву я не отказала: предложения он мне не делал. Вы видите: все неправда.

— Значит, вы свободны? — воскликнул Угаров.— В таком случае, княжна, будьте моей женой!

Вальс вдруг оборвался. Угаров пришел в такой ужас от звука произнесенных им слов, что с отчаянием схватил какую-то огромную нотную тетрадь и спрятал за ней лицо.

— Простите меня, княжна,— заговорил он, не смея взглянуть на Соню,— ради бога, не говорите ни слова. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что вы подумаете и чтобы я подождал. Но я не могу ждать, я слишком долго ждал и мучился. Конечно, если вы не хотите,— что же делать!.. Только умоляю вас: не говорите. Если вы согласны, не ездите в концерт и останьтесь дома. Я увижу, что Ольга Борисовна вошла одна, подойду к вам, и мы переговорим обо всем... Ну, а если вы войдете в концерт, тогда — что же делать!..

Раздался звонок. Угаров, как пуля, вылетел из залы.

— Вы разве не обедаете с нами? — спросил его в передней Маковецкий.

— Нет, извините, мне некогда, я еду в концерт. Сегодня концерт Контского.

— Что с ним сделалось? Оля, ты слышала? — сказал Маковецкий.— Право, он, кажется, сошел с ума. Концерт в восемь часов, а теперь четыре...

В семь часов Угаров уже входил в длинную и узкую комнату, прилегающую к большой зале Дворянского собрания. У дверей залы за столом, покрытым зеленым сукном, сидел господин во фраке и раскладывал программы концерта. Против входа, прислонясь к окошку, стоял караульный офицер в каске. Этих людей Угаров видел в первый и в последний раз, но лица их так врезались ему в память, что всю жизнь он не мог их забыть. Очень скоро начал

появляться первый слой публики: гимназисты и технологи<sup>96</sup>, бледные девицы в красных кофточках, молодые люди в пиджаках, дамы в широких домашних блузах. Все это люди, имевшие билеты на хорах и явившиеся заблаговременно, чтобы занять места получше. Около половины восьмого наплыв их уменьшился; в течение нескольких минут Угаров опять не видел никого, кроме караульного офицера и господина во фраке. В три четверти восьмого прошла величавая дама в черном бархатном платье, с жемчугом на шее, потом появился генерал в мундире и звездах, потом опять дама, также в черном бархатном платье, менее величавая, но зато с тремя дочерьми, потом уже непрерывной цепью повалила остальная элегантная публика. Угаров приютился за господином во фраке и, закрывшись большой программой, не сводил глаз со входной двери. При первых аккордах увертюры, раздавшихся в зале, он увидел вдаль высокую фигуру и расчесанные бакенбарды Маковецкого. Угаров невольно зажмурился на секунду. Сердце его уже не билось, а стучало, как маятник. Когда он открыл глаза, бакенбарды были в пяти шагах от него; еще ближе к себе он увидел стройную фигуру Ольги Борисовны. Рядом с ней шла Соня. Лицо ее было серьезно и строго. Никогда еще оно не казалось Угарову так красиво и так ненавистно. «Тем лучше»,— сказал он сам себе и стремительно бросился вниз, в швейцарскую, к удивлению и негодованию изящной публики, поднимавшейся по лестнице сплошной стеной. «Тем лучше»,— сказал он громко, вскакивая на извозчика.

Приехав домой, он послал швейцара за Миллером и объявил Ивану, что на следующее утро они едут в Угаровку.

— Это никак невозможно,— сказал Иван, почесав затылок,— у нас все белье в мытье.

— Ну, возьми белье от прачки...

— Как же я возьму белье? Ведь оно будет совсем сырое, а прачка деньги потребует, как за настоящее.

— Делай как знаешь, но завтра в одиннадцать часов утра мы выезжаем.

Иван еще продолжал ворчать, когда вошел Миллер.

— В чем дело?

— Я получил важные известия из деревни и завтра уезжаю.

— Надолго?

— Может быть, навсегда. Будь так добр, сдай кому-нибудь мою квартиру,— срок контракта через полтора года,— и продай мебель.

— Ну, за нее много не дадут.

— Это мне все равно. Я готов даже отдать ее даром хозяину, если он уничтожит контракт. Как ты думаешь, он согласится?

— Конечно, согласится, но это будет слишком глупо. Завтра поговорим с ним вместе.

— Я завтра уезжаю, в одиннадцать часов.

— А отпуск взял?

— Нет, не взял.

— Так как же ты уедешь без отпуска? Поезжай послезавтра.

— Нечего делать, придется отложить. Впрочем, мне надо еще заплатить кое-какие счета; поеду послезавтра.

— Ну вот, оно так-то будет лучше,— сказал Иван, любивший подслушивать.— По крайности, белье просохнет.

Миллер начал ходить взад и вперед по гостиной в глубокой задумчивости. Потом он зажег свечу и обошел все комнаты, соображая что-то.

— Ну, прощай, завтра утром зайду.

А Угаров отворил все ящики своего письменного стола и начал перечитывать и рвать письма, накопившиеся у него со времени приезда в Петербург. Письма Марьи Петровны он хотел сохранить и откладывал в особую шкатулку. Вдруг он вздрогнул. Ему попалась под руку единственная записка, полученная от Сони: «Сегодня в девять часов у нас играют квартет Бетховена, который вы так любите. С. Б.» Он скомкал эту записку и хотел изорвать ее с ожесточением, но рука его как-то машинально бросила ее в шкатулку. «Изорву потом»,— оправдывался он перед собою.

В первом часу ночи раздался звонок. Вошел Миллер.

— Я к тебе по делу. Согласен ли ты на следующие условия: квартиру ты передашь сейчас же, за мебель тебе дадут половину того, что она тебе стоила, но только деньги ты получишь через год.

— Как же мне не согласиться? Я лучших условий не желаю.

— Ну, в таком случае дело кончено. Твою квартиру я беру для себя.

Миллер ушел и через минуту вернулся опять.

— Еще забыл сказать одно условие. Завтра в пять часов ты должен у меня обедать и, если тебе все равно, надень фрак.

На следующее утро Угаров прежде всего отправился в министерство. Горич устроил ему отпуск в несколько минут, и хотя спросил о причине его внезапного отъезда, но ему показалось, что Горич знает все. Эта мысль была так ему невыносима, что он поспешил уйти и даже не сказал о дне своего отъезда, чтобы избежать дальнейших свиданий с Горичем. Потом он отвез в магазин Овчинникова оставшиеся у него книги. Сомов очень внимательно сосчитал их, возвратил Угарову залог и попросил расписаться в получении денег.

— Что же, Орест Иванович,— спросил Угаров, расписываясь в большой книге,— и вы тоже думаете, что при мне надо остерегаться, как бы не сказать чего-нибудь лишнего?

— Нет, я этого не думаю,— отвечал, потупив глаза, Сомов,— потому что я не считаю вас способным на какую-нибудь подлость. Но только опять и то правда, что видеться нам бесполезно, потому что убеждения у нас слишком различны. Да и дороги наши разные,— прибавил он каким-то особенно грустным тоном и поспешил перейти к какой-то толстой даме, которая уже давно приставала к приказчику, чтобы он дал ей «Education maternelle» \* с картинками.

Хотя Угаров никогда не нуждался в деньгах, но в течение трех лет у него накопились кое-какие мелкие долги в магазинах. Заезды

---

\* «Материнское воспитание» (фр.).

в эти магазины, а также к портному заняли у него много времени. Счет у Дюкро оказался на тысячу рублей более, чем он предполагал, так что половину долга он обещал выслать из деревни. Мадам Дюкро очень просила этого не делать и выразила готовность ждать хоть десять лет. От Дюкро Угаров зашел сделать прощальный визит дядюшке. Иван Сергеевич Дорожинский сидел на своем обычном месте, но в другом, более широком кресле, перенесенном из спальни и обложенном подушками. Он простудился и уже несколько дней не выезжал из дома.

— Впрочем, это вздор,— сказал он бодро,— доктор обещал через три дня меня выпустить.

Но, взглянув на его осунувшееся лицо и тускло-равнодушные глаза, Угаров подумал, что вряд ли дядюшке придется когда-нибудь выезжать из дома.

Афанасий Иванович, сидевший также у дядюшки, весь сиял каким-то особенным ореолом.

— Как я рад, мой дорогой,— сказал он Угарову,— что мы вместе едем завтра, но это чистая случайность. Я должен был уехать сегодня и остался только оттого, что сегодня у нас в клубе стерляжья уха.

Хотя он слегка подчеркнул слова «у нас в клубе», но Угаров этого не заметил, а потому Афанасий Иванович поспешил разъяснить их:

— Ведь я в прошлую субботу избран в члены Английского клуба.

— И прекрасно прошел,— сказал Иван Сергеевич.

Впрочем, избрание Афанасия Ивановича прошло не без протеста. Во время баллотировки кто-то сострил, что баллотировается «ренонс»<sup>97</sup>, и эта шутка доставила Афанасию Ивановичу несколько черных шаров. Тучный и красивый генерал, с глазами навывкате, уже выпивший три стакана холодной жженки, подойдя к ящику Дорожинского, воскликнул:

— Какой это Дорожинский? Тот, что всем представляется? Налево ему!

Старшина, шедший за генералом с тарелкой шаров в руке, сказал бесстрастным голосом:

— Предлагают Иван Сергеевич и Петр Петрович.

— Ну, в таком случае, нечего делать, положу направо. Пускай себе представляется на здоровье.

В день баллотировки Афанасий Иванович не имел права обедать в клубе, а просидел несколько часов в своем номере у Демута в таком волнении, что даже не мог обедать. В одиннадцатом часу ему прислали из клуба членский билет. Афанасий Иванович хотел сейчас же ринуться в клуб, но, не желая выказать слишком большой торопливости, остался дома. Более всего радовала его мысль, что он каждую минуту может поехать в клуб. Как скупой рыцарь, он мог сказать:

С меня довольно  
Сего сознанья...<sup>98</sup>

Зато каким наивным самодовольством, каким скромным торжеством дышала вся фигура Афанасия Ивановича, когда на другой день, на паре великолепных рысаков, он подъезжал к Английскому

клубу. Он испытывал такое чувство, как будто въезжал в одно из своих имений. Ему казалось, что даже часть Демидова переулка принадлежит ему<sup>99</sup>. Он приехал за час до обеда, в клубе еще никого не было. Афанасий Иванович вошел в читальню. «И книги, и журналы, и газеты, все это мое,— подумал он.— Бильярд тоже мой»: Он посидел и в бильярдной. «И кегли мои»,— но в кегельную не пошел, потому что было бы слишком смешно сидеть там одному. Как всякий вновь поступающий в члены клуба, он пожертвовал большой куш в пользу прислуги, но, независимо от этого, щедро награждал каждого поздравлявшего его лакея.

С другими членами клуба отношения его радикально изменились. С этой минуты он никому не представлялся, он только знакомился.

В пять часов Угаров, облекшись во фрак, входил к Миллеру. Он застал там множество баронов Экштадтов, фон Экштадтов, фон Миллеров и всяких других «фонов». Из знакомых Угарова был только его товарищ Кнопф, но и того звали здесь фон Кнопфом. Генеральша Миллер была в пышном лиловом платье, полудекольте, с тюлевой накидкой, приколотой бриллиантовой брошкой.

— Обратите внимание на этот бриллиант,— сказала она Угарову.— В нем больше трех каратов.

Бедная Эмилия так растолстела, что миловидность ее совсем исчезла, и она казалась почти одних лет с матерью. Вильгельмина фон Экштадт, в белом платье, с блестящими глазами и с лицом, сияющим от счастья, была, напротив того, очень миловидна. В конце невыносимо длинного обеда генеральша провозгласила тост за жениха и невесту. Поднялся пастор и очень долго говорил по-немецки, после чего Карлуша Миллер и Вильгельмина поцеловались. Тотчас после обеда жених и невеста захотели посмотреть свое будущее жилище. Угаров предложил им сопутствовать, но они предпочли идти одни. Генеральша начала благодарить Угарова.

— Если бы вы не уехали в деревню, мои бедные дети ждали бы еще целый год, а теперь они будут счастливы, и этим счастьем они обязаны вам...

— Однако они слишком долго остаются в вашей квартире,— сказал шутя Угарову старейший из гостей, барон Рейнгольд фон Экштадт.

— О, это ничего! — воскликнула генеральша.— Они строят в разных комнатах станции своего будущего счастья.

Это чужое счастье невольно волновало Угарова, и со дна души его поднимались горькие мысли. Он рано пошел домой. Когда он увидел свою полуразоренную квартиру, с выдвинутыми ящиками и раскрытыми столами, с веревками и газетами, валявшимися на полу, вся его трехлетняя петербургская жизнь предстала ему в своей неприглядной наготе. Три года влачил он эту пустую, эфемерную, кабацкую жизнь, без всякой пользы для других, без всякой радости для себя. Был один дом, в котором он отдыхал душой, была одна девушка, которая могла составить его счастье. И вот теперь, без всякой причины, без всякой вины, этот дом навсегда закрыт для него, эту девушку он никогда не увидит.



«Хоть бы написала мне два слова,— думал Угаров,— хоть бы что-нибудь объяснила, подала какую-нибудь надежду. Правда, я сам просил ее ничего не говорить, но все-таки она должна была это сделать. А то прогнала меня молча, как сгоняют с руки назойливую муху, и поехала в концерт». В течение суток Угаров крепился и беспрестанно говорил себе: «Тем лучше»; кроме того, приготовления к отъезду и всякие хлопоты поглощали его внимание. Теперь, когда без всякого дела он остался один с своими мыслями, невыносимая горечь обиды охватила его сердце.

В таком же мрачном настроении приехал он и на следующее утро на железную дорогу. Афанасий Иванович был также в дурном расположении духа. Две губернаторские вакансии проскочили у него мимо носа, а накануне в клубе из разговора с одним влиятельным лицом он убедился, что фонды его в министерстве стояли вообще невысоко. Едва усевшись в вагон, он уже начал высказывать свое недовольство существующим порядком.

— Вся беда, мой дорогой Владимир Николаевич, в том, что у нас не умеют ценить людей. По теперешнему времени правительству нужны люди знающие и энергичные. И они есть, но их не видят или не хотят замечать. Везде протекция, везде все та же старая опричнина. Что же остается нашему брату, коренному дворянину? Нам остается одно: крепко сплотиться и действовать воедино против общего врага, чиновника...

Поезд тронулся. По обеим сторонам дороги, как последний привет Петербурга, стояли безобразные фабрики с закоптелыми трубами и черным, валившим из них дымом. Но вот фабрики кончились, перед глазами раскинулось черное поле. Свежий весенний ветерок врывался в окно вагона, в больших лужах играло яркое солнце, молодая травка зеленела по краям канавы. Вздох облегчения вырвался из груди Угарова, как у человека, очнувшегося от долгого кошмара. Он не слушал Афанасия Ивановича, который все говорил, говорил без конца; он прислушивался к какому-то внутреннему голосу, который шептал ему: «Полно тебе унывать и приходить в отчаяние. Ну, да, тебе теперь обидно и больно, но что же из этого? Жизнь не кончена, вся жизнь впереди. Еще много испытаешь радости и горя, еще успеешь пожить и для других и для себя!»

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Осень и зима 1858 года были очень оживлены в губернском городе Змиеве. В начале осени ожидался приезд нового губернатора, в ноябре должны были происходить дворянские выборы, а в декабре — заседания дворянского комитета по улучшению быта крестьян.

Князь Холмский, более десяти лет управлявший Змиевской губернией, оказался при новых порядках далеко не на высоте своего призвания. Он не только не сочувствовал никаким реформам, но, говоря о них, выражался так: «с позволения сказать, реформы». Он считал эту шутку очень остроумной и, произнеся ее, всегда громко хохотал сам. Двух чиновников своей канцелярии он выгнал со службы за то, что они публично говорили о неизбежности освобождения крестьян. Весной 1858 года он был назначен сенатором в Москву, и Змиевская губерния управлялась вице-губернатором Андреем Николаевичем Бубликовым. Это был человек хороший, но мнительный и огорченный. Он был переведен на службу в Змиев еще раньше князя Холмского, когда начальником губернии был генерал Крамп, сразу невзлюбивший нового вице-губернатора. Князь Холмский обращался с ним так же высокомерно, как с последним писцом своей канцелярии. Все это наложило на его безбородое лицо печать вечного уныния. Выражения его глаз никто не видел, потому что с молодых лет он носил четырехугольные синие очки, над которыми поднимались и опускались густые брови, выражая полную безнадежность. Пятнадцать лет он жил надеждою попасть в губернаторы, но одна влиятельная особа, проезжавшая через Змиев, сказала про Бубликова: «Il n'est pas du bois dont on fait les gouverneurs» \*, и этот приговор, вызванный несчастной наружностью, а отчасти и смешной фамилией вице-губернатора, положил предел его дальнейшей карьере. После десятилетнего пребывания в Змиеве Бубликов женился на Ольге Ивановне Койровой, дочери местного помещика . . . . . \*\*

---

\* Он сделан не из того теста, из которого делаются губернаторы (фр.).

\*\* На этом рукопись обрывается.



## АРХИВ ГРАФИНИ Д\*\*

*Повесть в письмах*

### 1. ОТ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЖАЙСКОГО

*(Получ. в Петербурге 25 марта 18..)*

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Согласно данному мной обещанию, спешу написать Вам тотчас по приезде в мое старое, давно покинутое гнездо. Я уверен, что мои письма не могут интересовать Вас и что Ваше приказание писать было только любезной фразой; но я хочу доказать Вам, что всякое Ваше желание для меня закон, хотя бы оно было высказано в шутку.

Прежде всего отвечу на вопрос, с которого начался наш последний разговор у Марьи Ивановны, т. е. почему и для чего я покидаю Петербург? Я тогда отвечал уклончиво; теперь скажу Вам всю правду. Я уехал потому, что разорился; я уехал для того, чтобы спасти остатки моего когда-то большого состояния. Петербург затягивает, как болото, и, пока живешь в нем, нет никакой возможности что-нибудь поправить. Вот я и решился на радикальную меру, которая, по правде сказать, не стоила мне больших усилий, потому что петербургская жизнь порядочно мне надоела.

Но по какой-то непонятной иронии судьбы последний день, проведенный мною в Петербурге, заставил меня глубоко раскаяться в моем решении. Утром я заехал в английский магазин, чтобы купить дорожную сумку, и встретил там Марью Ивановну, которая пригласила меня приехать к ней вечером. На этом вечере Вы были со мной так очаровательно любезны, Вы выказали мне столько внимания, столько сердечного участия, что едва не поколебали мою решимость. И вспомнил я, как два года тому назад, на вечере у той же Марьи Ивановны, Вы так же ласково разговаривали с Кудряшиным, и как я мучительно ему завидовал. «Дмитрий Кудряшин,— думал я тогда,— мой товарищ, он столь же мало аристократ, как и я... За что же ему такое исключительное внимание от царицы петербургских красавиц? Неужели никогда не пробьет и мой час?» Увы! мой час пробил слишком поздно, но, во всяком случае, я от души благодарю ту, которая этим часом вознаградила меня за годы петербургского холода и скуки.

Я не смею надеяться, многоуважаемая графиня, что Вы захотите ответить на это письмо, но на всякий случай прилагаю мой адрес: губернский город Слободск. Мое имение в двадцати верстах от Слободска, и почту я получаю ежедневно.

С глубоким уважением имею честь быть искренно Вам преданным.

А. Можайский

## 2. ОТ НЕГО ЖЕ

(Получ. 3 апреля.)

Как мне благодарить Вас, многоуважаемая графиня, за Ваши теплые, дружеские строки? Не зная Вашего почерка, я равнодушно разорвал конверт, но, посмотрев на подпись, вскочил с места от восторга. Вы удивляетесь тому, что, живя так долго в одном городе, я до сих пор не замечал Вас... О, как жестоко Вы ошибаетесь! Каждая встреча с Вами оставляла в моем сердце глубокий след, какую-то смесь восхищения и горечи... Да и как можно не заметить этой строгой античной красоты, этой царственной поступи, этого задумчивого взгляда, до того проникающего в душу, что, когда Вы опускаете глаза в землю, Вашему собеседнику кажется, что Вы продолжаете смотреть на него сквозь закрытые веки... Но что же я мог сделать, чтобы высказать мои восторги? Вы казались так недоступны, так мало обращали на меня внимания... Раз я преодолел свою робость, сделал Вам визит, конечно, не застал дома и через три дня нашел у себя карточку графа. На этом наше знакомство остановилось.

Вы спрашиваете, почему я заговорил о Кудряшине, и желаете знать мое мнение о нем. Кудряшина я знаю с детства, мы воспитывались вместе в лицее. Он был тогда очень красивым и добрым малым и бесшабашным кутилой; таким же он был после в гусарах, таким же остается и теперь в отставке. В нем нет ничего возвышенного, он слишком *terre-à-terre* \*, — вот почему я удивлен был Вашим вниманием к нему, и вот почему я заговорил о нем. Никакой другой цели у меня при этом не было.

Теперь все мои помыслы устремлены на то, чтобы поскорее кончить устройство или даже расстройство моих дел и иметь возможность приехать зимой в Петербург. Вместе с Вашим письмом пришло ко мне письмо от известного одесского богача Сапунопуло. Он на днях проездом был у меня, подробно осматривал мое имение и теперь вызывает меня в Одессу, предлагая какую-то очень хитрую комбинацию. Завтра я уезжаю, а дней через десять надеюсь вернуться, — и кто знает? — может быть, на своем письменном столе найду маленький конверт с графской короной. Поверьте, что при распечатывании этого конверта я особенного равнодушия испытывать не буду.

---

\* заурядный (фр.).

А что значит загадочная фраза: «Может быть, увидимся раньше, чем вы ожидаете»? Припоминаю, что Вы говорили мне о какой-то старой, больной тетушке, живущей в Слободской губернии. Не собираетесь ли Вы посетить ее? Вот было бы счастье! Какая досада, что я не спросил у Вас фамилию этой тетушки,— я бы, конечно, разыскал ее и с блаженством покрыл поцелуями ее сморщенные руки, потому что она Ваша тетушка, потому что она так стара и больна и потому что я чувствую себя опять молодым и способным жить и наслаждаться.

А пока, за неимением сморщенных тетушкиных рук, позвольте мне мысленно приложиться почтительно к той белоснежной ручке, которая будет держать это письмо.

Бесконечно Вам преданный

*А. Можайский*

### 3. ОТ НЕГО ЖЕ

*(Получ. 15 апреля.)*

Ура! милая, дорогая графиня,— я не в силах называть Вас только «многоуважаемой»,— ура! я отгадал: Вы собираетесь навестить тетушку. Лучше этого Вы ничего не могли придумать. Если б я знал, что тетушку зовут Анной Ивановной Кречетовой, я давно мог бы дать Вам о ней самые точные сведения. Правда, я никогда ее не видал, но с раннего детства много о ней слышал, потому что она имела какой-то процесс с моим отцом. Она живет все в той же деревне, в которой протекла часть Вашего детства, т. е. в Красных Хрящах (какое ужасное название!). Эти Хрящи в тридцати верстах от Слободска, но в другую сторону от моей Гнездиловки. Впрочем, если, минуя город, ехать проселком, между нами будет не более тридцати двух или тридцати трех верст.

Вчера, получив Ваше письмо, я, конечно, сейчас поскакал в город исполнять Ваше поручение. Отыскать Вашу подругу детства мне было очень легко, так как я с Надеждой Васильевной хорошо знаком; ее муж управляет у нас палатой государственных имуществ. Надежда Васильевна была очень тронута Вашим воспоминанием; сегодня я снарядил ее в Хрящи, чтобы зондировать тетушку. О результатах этой поездки имею честь почтительнейше донести.

Тетушка, узнав, что вы собираетесь к ней приехать, выразила безумную радость. Она сказала, что Вы ее ближайшая родственница, что она любила Вас, как дочь, что ссора с Вами была самым сильным горем ее жизни, но что теперь, если Вы решились забыть прошлое, она примет Вас с распростертыми объятиями. Она сама напишет Вам об этом, если хватит силы. Она действительно очень стара и больна. У нее живут две ее двоюродные племянницы, княжны Пыщечки, на которых, по замечанию Надежды Васильевны, известие о Вашем приезде произвело не особенно приятное впечатление. Эти княжны, вероятно, боятся потерять тетушкино наследство,—

очень оно Вам нужно! Кроме того, при тетушке живет давно,— Вы, может быть, видали ее в детстве,— какая-то Василиса Ивановна Медяшкина. Это простая приживалка, но забрала такую власть над тетушкой, что распоряжается решительно всем.

Мне остается ответить на два пункта Вашего письма. Поездка моя в Одессу была не бесплодна. Операция заключается в том, что Сапунопуло сразу уплачивает все мои долги и за это берет меня, т. е. все мое имущество, в кабалу на неопределенное число лет. Мы спорим о подробностях, но, вероятно, придем к соглашению. Ликвидация усложняется тем, что у него есть дочь Сонечка, которая очень со мною кокетничает. Мне кажется, что во мне ей нравится не столько наружность, сколько придворное звание. Эта девица немногим моложе меня, дурна, как смертный грех, и имеет всевозможные претензии: говорит на пяти языках, играет на фортепиано и на арфе; кроме того, поет и даже пишет стихи. В такую энциклопедическую кабалу я, конечно, не пойду.

Зачем Вы непременно хотите знать, от кого и что я слышал о Вашей дружбе с Кудряшиным? Клянусь же Вам, что я решительно ничего не слышал, а упомянул о Кудряшине потому, что раз действительно ему завидовал, видя, как Вы были с ним любезны. Да и что такое я мог слышать? Вы не только царица по красоте,— Вы и во всех других отношениях стоите на такой недосыгаемой высоте, что никакая злая клевета не может дотянуть до Вас своего змеиного жала.

А теперь позвольте мне на время забыть и Кудряшина, и Сапунопуло с дочерью, и все остальное, чтобы предаться одному занятию: считать дни и часы до того счастливого мгновения, когда приезд Ваш окончательно сведет с ума и без того уже безумного, но искренно Вам преданного

*А. Можайского.*

#### 4. ОТ ВАСИЛИСЫ ИВАНОВНЫ МЕДЯШКИНОЙ

*(Получ. 17 апреля.)*

Ваше Сиятельство. Тетушка Ваша и моя благодетельница Анна Ивановна приказали мне написать Вам, что они будут ждать Вас с радостью и нетерпением; сами же они писать не могут по причине большого ослабления. А я-то как буду рада повидать Вас! Вы, конечно, меня забыли, а я хорошо помню, как Вы здесь бегали такой миленькой крошкой и своими невинными ручонками били меня по щекам и приговаривали: «Вот тебе, Селися!» А еще просят Вас Анна Ивановна привезти им черносливу французского в синих коробках. Здесь этого чернослива ни за какие деньги достать нельзя, а тетушка его очень любит, и он помогает ихнему пищеварению.

Целую ручки Вашего сиятельства и остаюсь рабски Вам преданная *Василиса Медяшкина.*

Приезжай скорее, друг мой Катя.

*Твоя Анна Кречетова*

## 5. ДЕПЕША ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО

*(Получ. в Москве 22 апреля.)*

Умоляю не телеграфировать тетушке о приезде; встречу на станции с дормезом и лошадьми, которые помчат Вас, куда прикажете.

*Можайский*

## 6. ОТ НЕГО ЖЕ

*(Получ. в Красных Хрящах 29 апреля.)*

Нужно ли говорить Вам, милая, дорогая графиня, что день, проведенный с Вами, никогда не изгладится из моей памяти, что тяжелые яства Надежды Васильевны показались мне самым тонким обедом, что те три часа, которые я провел потом с Вами в ожидании лошадей, были счастливейшими часами моей жизни? Вы спросили меня на прощанье, отчего я не предложил Вам провести этот день в Гнездиловке? Боже мой! отчего... отчего... Да, конечно, оттого, что не посмел! Неужели же Вы думаете, что я не желал этого? Неужели Вы не видите, что вся моя жизнь принадлежит бесповоротно Вам? Я ничего у Вас не прошу, ни на что не надеюсь, мое счастье — чувствовать себя Вашим рабом и знать, что у меня есть какая-нибудь цель в жизни.

Вы, конечно, не забыли, милая графиня, своего обещания обедать у меня завтра с Надеждой Васильевной. Представьте себе, что этот обед приходится отложить, потому что Ваша подруга заявила, что она ехать ко мне без мужа не может (какая провинциальная чопорность), а муж встречает какого-то сановника, который в 6 часов проезжает через Слободск. Надежда Васильевна просит перенести обед на послезавтра, и я надеюсь, что Вы против этого ничего не имеете, но тут является следующая complicация. Вы сговорились ехать на лошадях Надежды Васильевны, а тетушкины одры должны были отдыхать в городе, но так как Надежда Васильевна едет с мужем на двухместном фазтоне и для Вас места нет, то не согласитесь ли Вы, не заезжая в город, приехать ко мне прямо проселком? Маршрут Ваш будет следующий: до парома Вы доедете по известной Вам дороге, после переправы Вы повернете налево на Селихово и Огарково, потом свернете на большую дорогу и на седьмой версте увидите направо от дороги старый гнездиловский дом, который весь расцветет, когда Вы переступите его порог, как расцвело мое еще не старое, но уже помятое жизнью сердце. Выезжайте пораньше, часов в девять. Мы позавтракаем в той беседке, в глубине сада, о которой я Вам говорил, и терпеливо будем ждать добрую, но скучную Надежду Васильевну и ее столь необходимого для нее мужа.

Это письмо я решаюсь послать со своим приказчиком. Жду на коленях милостивого ответа.

*А. Можайский*

## 7. ОТ НЕГО ЖЕ

(Получ. 4 мая.)

Милая моя Китти, ради бога позволь мне приехать в Хрящи и представь меня тетушке; а это ужасно — жить от тебя так близко и в то же время так далеко. Будь спокойна, я буду вести себя примерно, не выдам ни себя, ни тебя.

Твой А. М.

## 8. ОТ ГРАФА Д.

(Получ. 6 мая.)

Наконец-то, милая Китти, получил я твое извещение о благополучном прибытии в тетушкины Хрящи. Решительно не понимаю, что ты могла так долго делать в Москве. Впрочем, Москва, как говорил мой приятель, тем и отличается от Петербурга, что в Петербурге живем мы, а в Москве живут наши родственники. А от московских родственных обедов отбояться трудно. Как странно, что тетушка не получила твоей депеши из Москвы, и какое счастье, что ты встретила на станции этого Можайского, который достал тебе карету и лошадей. Какой это Можайский? Камергер, бывший лицеист? Я его встречал на выходах во дворце и кое-где в обществе, но решительно не помню, чтобы он когда-нибудь был у нас и чтобы мне приходилось отдавать ему визит. Впрочем, тот ли это Можайский или какой-нибудь другой, — во всяком случае, большое ему спасибо.

Очень рад, что твои первые впечатления приятны и что чернослив понравился тетушке. Я велел Смурову<sup>1</sup> высылать ей каждую неделю по две коробки. Как Генрих IV сказал: «Paris vaut bien une messe»\*, так и я скажу: тетушкины Хрящи стоят нескольких коробок чернослива. Положим, мы с тобой имеем довольно и своего, но сорок лишних тысяч дохода никогда не мешают. А у нее, я думаю, не меньше.

Через час после твоего отъезда ко мне вбежала Марья Ивановна, или, по-твоему, Мери, вся растрепанная, в сильном волнении, и начала шарить в твоих ящиках, ища какую-то очень важную записку. Напрасно я ей объяснял, что твой архив ведется в таком порядке, какого можно пожелать любому государственному архиву, что он под семью замками, так что и мне невозможно в него «запустить глазнапы», как говорят моветоны у нас в клубе, — она все продолжала шарить, ничего не нашла и уехала в большом горе. Я воображаю, какая это важная записка!

У нас никаких особенных новостей нет. Во вторник, возвратясь из клуба, я был очень удивлен, увидя в швейцарской целую гору карточек; я совсем забыл, что это был твой приемный день. Швейцар

\* Париж стоит мессы<sup>2</sup> (фр.).



по твоему приказу говорил просто: сегодня приема нет. Я не совсем понимаю, отчего ты пожелала окружить свою поездку какой-то тайной. Если бы ты уезжала на пять дней, это бы еще можно было скрыть, но как ты скроешь, если тебя не будут видеть две-три недели? Да и теперь уже кое-кто знает, и вчера баронесса Визен,— эта вестница Европы<sup>3</sup>, как я ее называю,— спрашивала меня: правда ли, что ты поехала получать большое наследство? На завтра мы приглашены обедать в австрийское посольство. О тебе я написал, что ты нездорова, а самому придется ехать, как это ни скучно. В городе опять усиленно заговорили об Обществе спасания погибающих девиц. Хотят выбрать председательницей княгиню Кривобокую, но она, говорят, колеблется, потому что еще не знает, как на это Общество смотрят en haut lieu \*. Игра моя в клубе идет хорошо; вчера встретил на Морской Софью Александровну, которая пригласила меня завтра играть у нее в винт запросто, в сюртуке.

Прощай, милая Китти, приезжай поскорее, но, конечно, если увидишь, что полезно еще пожить у тетушки, не стесняйся. Впрочем, не мне тебя учить, при твоём уме и такте. С такой женой, как ты, можно спокойно спать во всех отношениях. Дети здоровы и целуют тебя.

Твой муж и друг Д.

Если встретишь Можайского, поблагодари его от моего имени за все, что он сделал для тебя.

## 9. ОТ МАРЬИ ИВАНОВНЫ БОЯРОВОЙ

(Получ. 7 мая.)

Я так обрадовалась письму твоему, милая Китти, что у нас вышла целая семейная драма. Мы сидели за завтраком, когда принесли письмо. Узнав твой почерк, я вскрикнула и покраснела от радости. Ипполит Николаевич сейчас же «возымел некоторое подозрение», как он выражается, и, когда дети ушли, начал приставать, чтобы я показала ему письмо. Я рассердилась и промучила его целый час; он все время читал наставления и говорил колкости. Наконец, когда он сравнил меня с Клеопатрой<sup>4</sup>, с женой Пентефрия<sup>5</sup> и еще с кем-то, я показала ему твою подпись. Он был очень сконфужен, et à mon tour je lui ai dit des choses pénibles \*\*. Я сказала, что такого тупого, подозрительного человека и с таким кислым лицом никогда не назначат министром и что он всю жизнь останется товарищем. Это его самое больное место.

В день твоего отъезда у меня случился целый переполох с запиской Кости Неверова, которую я привозила показать тебе утром. Я вообразила, что забыла эту записку у тебя, и перерыла все твои

\* в высших сферах (фр.).

\*\* в свою очередь я наговорила ему неприятных вещей (фр.).

ящички. Граф уверял меня, что твой архив под семью замками, но это меня несколько не успокоило: не могла же ты поместить в свой архив письмо ко мне! *Je ne puis pas te cacher, qu'à cette occasion ton mari m'a fait un brin de cour\**. Я была в отчаянии, что Костина записка могла попасть в чужие руки, car ce billet compromettait tout autant son maître d'orthographe que moi\*\*, и предстать себе, что на следующее утро наша ее на полу у себя в спальне.

Ну что ты подделываешь у своей тетушки? Я отсюда вижу, как ты спрятала *tes airs de reine\*\*\** и вошла с опущенными глазками, с видом Мадонны, и как тетушка и все ее приживалки были к вечеру пленены и околдованы тобою. Что Можайский? Отчего ты не пишешь мне никаких подробностей? Кто лучше: он или Кудряшин? Если бы мне велели выбрать одного из них, я бы выбрала Кудряшина. Можайский *n'est qu'un poseur\*\*\*\** и все время рисуется, а у Кудряшина вся душа нараспашку. Впрочем, тебе это лучше знать, а мне не надо никого, кроме моего Кости. Я никогда не думала, что полюблю его так сильно. Он проводит у меня целые дни, и Ипполит Николаич *avec la perspicacité qui le caractérise n'en est nullement jaloux\*\*\*\*\**. Новый учитель наш, Василий Степаныч, которого, кажется, ты видела, начинает немного в меня влюбляться, и у Кости происходят с ним каждый день презабавные стычки. Василий Степаныч большой либерал, а Костя страшный консерватор, и оба говорят такие глупости, что просто уши вянут. Мне стыдно сознаться,— но ведь я ничего от тебя не скрываю,— что никогда я не люблю Костю так сильно, как в то время, когда он говорит свои глупости. Лицо его разгорится, глаза блестят, он смотрит на своего противника так грозно и с такой отвагой, что я уже не слушаю, а только люблюсь им. Я несколько не ослеплена насчет Кости. Я знаю, что он не особенно умен, *son éducation laisse à désirer;\*\*\*\*\** я знаю, что глупо так привязаться к нему, но что же делать, *c'est plus fort, que moi\*\*\*\*\**. Вчера он привозил ко мне своего брата Мишу, камер-пажа, который через два месяца будет также офицером. Этот Миша тоже очень красив, но ни лицом, ни манерами несколько не напоминает брата: *il est très doux, très blond et très distingué\*\*\*\*\**. Я пари держу, что они от разных отцов. *On dit que la vieille madame Неверов ne se refusait rien dans le temps\*\*\*\*\** и только под старость сделалась святой женщиной.

---

\* Не могу скрыть от тебя, что по этому случаю твой муж немножко поволочился за мной (*фр.*).

\*\* так как эта записка компрометировала не только его учителя орфографии, но и меня (*фр.*).

\*\*\* надменный вид королевы (*фр.*).

\*\*\*\* всего лишь позер (*фр.*).

\*\*\*\*\* несмотря на свойственную ему пронизательность, несколько не ревнует (*фр.*).

\*\*\*\*\* его воспитание оставляет желать лучшего (*фр.*).

\*\*\*\*\* это сильнее меня (*фр.*).

\*\*\*\*\* он очень мягкий, очень светлый и очень изыскан (*фр.*).

\*\*\*\*\* говорят, что старая госпожа... в свое время себе ни в чем не отказывала (*фр.*).

У нас ничего нового нет, все идет по-старому. Много говорят о Нине Карской, которая все живет за границей и выдвывает бог знает что. Тот парижский скандал, которому ты еще не хотела верить, оказывается совершенной правдой; баронесса Визен рассказывает его со всеми подробностями... Только от кого она могла узнать все это? Не сама же Нина ей написала!

Ну, прощай, милая Китти, надо кончить письмо, а то я буду болтать с тобой до завтра. Пиши мне почаще и продолжай соединять полезное с приятным. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной, но то, что ты сделала теперь, это — *comble* \* ловкости. Исполнить свой минутный каприз и за это получить сорок тысяч дохода — *c'est un trait de génie, ou je ne m'y connais pas* \*\*.

Твоя Мери

#### 10. ОТ ГРАФА Д.

(Получ. 15 мая.)

Ну, ты, кажется, совсем застряла у тетушки, моя милая беглянка. Я не смею роптать, потому что, если ты там остаешься, значит, так нужно, но все же тяжело переносить разлуку с такой красивой и милой женой. Да и ты, я думаю, соскучилась по мне... Кто там тебя, бедную, приласкает.

Все, что ты мне пишешь о тетушке, заставляет меня надеяться, что разлука наша, по крайней мере, не будет бесплодна. Особенно знаменательны слова тетушки: «Все, что твое,— мое», но только мне кажется, что она должна была сказать наоборот. Теперь позволь мне дать тебе совет относительно распределения подарков при твоём отъезде. Княжны Пыщецкие — наши враги, их все равно ничем не купишь, а потому я думаю, что им можно не давать никаких подарков. Василиса — дело другое, ее можно и должно купить, но только таким людям давать сразу много не следует, им нужно больше показывать перспективу будущих благ. Платье отдай ей теперь, а шаль можно будет прислать к празднику, да, если можно, сунь ей что-нибудь деньгами.

Я, кажется, писал тебе, что Софья Александровна приглашала меня на партию винта, запросто, в сюртуке. Оказалось, что она говорила это всем своим знакомым, которых встречала в течение трех дней. Я приехал в одиннадцатом часу и нашел человек пятьдесят, которые барахтались в ее маленькой квартирке, одним словом, вечер *en forme*\*\*\*. К счастью, я в тот день обедал в австрийском посольстве, а потому одет был не запросто, а как следует. Видел там твою Мери и с большим удовольствием поговорил с ней, потому что она косвенно напоминала мне тебя. Только зачем при ней неотлучно состоит эта

---

\* верх (*фр.*).

\*\* это гениально, или я ничего в этом не смыслю (*фр.*).

\*\*\* по всей форме (*фр.*).

громадная каланча Неверов? Мери слишком умная женщина, чтобы находить удовольствие в его обществе.

Третьего дня я был очень встревожен тем, что твоя моська целый день ничего не ела и как-то странно стонала. Я сейчас же послал за ветеринаром; он ее чем-то вымазал и дал лекарство; сегодня она, слава богу, совсем здорова. Дети здоровы и целуют тебя.

Твой муж и друг Д.

## 11. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ

(Получ. 16 мая.)

Спасибо, милая Китти, за твое большое дружеское письмо.

Даже такая непроницаемая для всех женщина, как ты, и та чувствует потребность иметь кого-нибудь, с кем можно говорить à cœur ouvert\*. Кого же тебе и выбрать, как не меня, которая обожает тебя с детства? Mais pourquoi me recommandes-tu la discretion? \*\* Про себя я разболтаю все, что хочешь, но если дело касается тебя, то умею молчать. Архива у меня нет, и все твои письма я как прочту, так сейчас же рву. Мне также надо рассказать тебе много смешного и много грустного. Во-первых, у нас опять произошла семейная драма. Ипполит Николаич, просматривая учебные тетради Мити, вероятно, заглянул в ящик учителя и открыл послание в стихах, в котором Василий Степаныч объяснялся мне в любви. Я думаю, что он никогда не решился бы поднести мне эти стихи, а писал их для своего собственного удовольствия, mais il a eu la sottise de placer mes initiales à la tête\*\*\*. Ипполит Николаич, конечно, сейчас же возымел подозрение, рассчитал учителя и велел ему через час покинуть наш дом, потом пришел делать сцену мне. Я была еще в постели и спросонья испугалась, думая, что он узнал что-нибудь про Костю, но когда он начал читать преступное стихотворение, я не могла удержаться от хохота. Каковы эти стихи, можешь судить по последнему куплету:

Сбрось этот бархат, эти блонды<sup>6</sup>,  
Услышь, услышь любовь мою  
И пред могуществом природы  
Склони головку ты свою.

Как я ни уговаривала Ипполита Николаича примириться с учителем, он остался непреклонен, уверяя, что поэзия имеет страшное влияние на слабое сердце женщины. Я думаю, во всем мире не было еще такого примера, чтобы какая-нибудь женщина изменила мужу из-за стихов, особенно таких, в которых блонды рифмуют с природой. И зачем ему понадобились эти блонды? Я их отроду не носила. Боясь,

\* по душам (фр.).

\*\* Но почему ты просишь меня сохранить все в тайне? (фр.)

\*\*\* но он имел глупость поместить мои инициалы в начале (фр.).

что по своим «принципам благоразумной экономии» Ипполит Николаич обсчитал учителя, я послала ему через Митю пакет с деньгами, но он деньги сейчас же послал обратно, причем написал мне, что сохранит обо мне самое светлое воспоминание на всю жизнь. Мне жаль Василия Степаныча: он говорил иногда много глупостей и писал плохие стихи, но человек был хороший. Костя также его жалеет, потому что ему теперь некого громить и уничтожать после обеда. Впрочем, Костя такой консерватор, что даже моего мужа считает либералом, и как-то заявил мне, что не мешало бы Ипполита Николаича согнуть в *бараний рог*. Этот бараний рог так ему понравился, что он повторил его раз пять, прибавляя, что это отличный каламбур. Я вовсе не разделяла этого мнения; разные грубые выходки Кости в подобном роде давно меня коробили, но на этот раз я опять промолчала. Наконец, я потеряла терпение, и мы поссорились серьезно. Надо тебе сказать, что на вечеру у Софьи Александровны я встретила твоего мужа. Он приехал с какого-то обеда, *très élégant et très jeune* \*, он остригся под гребенку, и это к нему очень идет, потому что уменьшает седину. Он сейчас же подсел ко мне и начал самым настоящим образом за мной ухаживать. Меня это забавляло, но Костя вдруг так насупил брови и начал смотреть такими зверскими глазами, что я, боясь какого-нибудь скандала, поспешила уехать. На другой день я шутя распекла Костю за такую мимику, но он совершенно серьезно начал обвинять меня в кокетстве и кончил тем, что я такая женщина, «которая готова вешаться на шею всякому штатскому». Я не вытерпела и высказала ему все, что у меня в последнее время накипело на душе. Он рассердился и уехал, не простившись, а я всю ночь думала о том, какие мы, женщины, жалкие существа. В самом деле, кем мы увлекаемся, для кого мы жертвуем всем на свете?! К утру я твердо решила прекратить мою связь с Костей, и, если бы он приехал на другой день в свой обычный час, клянусь тебе, что теперь все было бы кончено между нами. Но его что-то задержало, он не приехал ни утром, ни к обеду. Тогда я вообразила, что он бросил меня и никогда больше не придет. Эта мысль показалась мне так обидна, что тотчас после обеда я написала ему, прося приехать для решительного объяснения, но его нигде не нашли, и записка вернулась ко мне в девять часов. Мне нужно было ехать к княгине Кривобокой, но я не имела силы пойти одеваться и просидела весь вечер в маленькой гостиной в каком-то оцепенении. Все мои обиды, все решительные планы разлетелись, как дым. У меня было одно желание: увидеть его на секунду, убедиться, что мы не в ссоре. Наконец, в двенадцатом часу раздался сильный звонок. Это мог быть или он, или Ипполит Николаич, который иногда делает мне эти сюрпризы и приезжает из клуба раньше двух часов. Я вся замерла в ожидании, но — что было со мной, когда раздалась Костины шаги в зале, когда я увидела это милое лицо, улыбавшееся какой-то виноватой улыбкой!.. Вот видишь, Китти, за такие минуты можно много перестрадать и все простить! Не брани, а пожалей

твою бедную *Мери*.

---

\* ...очень элегантный и помолодевший (*фр.*).

Р. S. Петербург пустеет, почти все разъехались. Послезавтра мы переезжаем в Петергоф. Я все надеялась, что Ипполит Николаич сделается расточителен и возьмет большую дачу возле твоей; но, увы! пока он размышлял и взвешивал, ее наняли. Кончилось тем, что я буду жить очень далеко от тебя — в старом Петергофе, а платить мы будем трямястами рублей дороже. Вот что значат принципы благоразумной экономии.

## 12. ОТ ГРАФА Д.

*(Получ. 18 мая.)*

Милая Китти. Сейчас за мной присылала княгиня Кривобокая и объявила, что она соглашается быть председательницей Общества спасения погибающих девиц. Вместе с тем она предлагает тебе быть вице-председательницей. Я отвечал, что напишу тебе об этом и что, вероятно, ты не откажешься. Впрочем, я дал ей твой адрес, и она сама тебе напишет завтра, после выборов. По моему мнению, отказываться тебе нельзя. Уж если княгиня согласилась быть председательницей, значит, на это Общество смотрят благосклонно. Хотя княгиня и слывет придурковатой, но на этот счет, не беспокойся, не ошибется. Положим, это вовлечет тебя в кое-какие издержки, но мы эти расходы вернем с избытком. В нашем большом доме бельэтаж всю зиму стоял пустой, я уже вернул княгине словечко: нельзя ли взять для Общества эту квартиру? Она отвечала: «Отчего же не взять, особенно если ваша жена будет моей помощницей».

Надеюсь, милая Китти, что это мое последнее письмо в Красные Хрящи. Будет с тебя этих Хрящей, лучше поехать как-нибудь в другой раз. Дети здоровы и целуют тебя.

Твой муж и друг Д.

## 13. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

*(Получ. 19 мая.)*

Милая графиня. Извещаю Вас, что сегодня в заседании Общества спасения погибающих девиц я предложила Вас в вице-председательницы, и Вы были выбраны через восклицание<sup>7</sup>, без всякой баллотировки. Я люблю думать, что после такого лестного избрания Вы отказываться не будете. А я одна с этим делом никак справиться не могу; у меня от одних домашних забот голова кругом идет.

Как Вы счастливы, милая графиня, что у Вас только двое детей, да и те сыновья, а меня бог наградил пятью дочерьми, с которыми приходится всю жизнь возиться. Есть такая старинная сказка о пяти дурах;<sup>8</sup> я думаю, что она про меня написана. Вы скажете, что мне роптать — грех, потому что четверых я разместила по хорошим людям, но поверьте, что с Наденькой хлопот у меня больше, чем

со всеми остальными. Ведь ей пошел уже двадцать четвертый год... Кажется, отчего бы ей не найти жениха? И невеста богатая, и собой недурна, а вот, подите же, не выходит, да и только! Я думаю, это оттого, что воспитана она слишком хорошо, а нынешние молодые люди этого не любят. Вот графиня Анна Михайловна это очень понимает. Устроила она в позапрошлом году у себя живые картины и поставила свою Катю изображать Орлеанскую Деву. Поднимается занавес, и вижу я Катю почти что совсем раздетую. Ну, думаю себе, какая же это Орлеанская Дева? Это, напротив того, Прекрасная Елена! А Анна Михайловна при этом еще поясняет мне: «Костюм Катин — вполне исторический; вы видите: и шлем, и латы лежат на земле; но только моя Катя выбрала такой момент, когда Орлеанская Дева хочет прилечь и отдохнуть». Вот и не удивительно, что после этого ее Катя оставалась недолго Орлеанской Девой, и в тот же вечер за ужином этот дурачок Федя Вараксин, который до того ухаживал за Наденькой, сделал предложение Кате. Что значит удачно выбрать момент.

До свидания, милая графиня, я через неделю еду в деревню, а мне хотелось бы до отъезда лично переговорить с Вами обо многом. Приезжайте поскорее, а пока заставьте играть телеграф<sup>9</sup> о Вашем согласии.

Преданная Вам *Е. Кривобокая*

#### 14. ДЕПЕША ОТ ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА КУДРЯШИНА.

(Получ. 21 мая.)

Буду ждать в Москве; где остановлюсь — не знаю; об адресе справиться у цыган в Стрельне<sup>10</sup>.

*Кудряшин*

#### 15. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. в Петербурге 1 июня.)

Я только что узнала от твоего мужа, что ты приезжаешь завтра. Наконец-то! Я надеюсь, что ты завтра же переедешь в Петергоф,— теперь в городе делать нечего. Вели людям все перевозить, а сама с мужем и детьми приезжай обедать к нам. Как я счастлива, что ты приезжаешь,— сколько мне нужно рассказать тебе.

*Твоя Мери*

#### 16. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

(Получ. 1 июня.)

Милая графиня. К сожалению, я никак не могу дождаться Вас и уезжаю в деревню. К Вам в Петергоф явится некто Иван Иванович Оптин, мой бывший управляющий, которого я назначила секре-

тарем нашего Общества. Церемоний с ним никаких соблюдать не нужно. Я его сажаю, но руки не даю. Он передаст Вам все бумаги и расскажет, что нужно. До моего возвращения Вы будете председательницей; впрочем, особенных хлопот Вам не будет. Летом общих собраний не будет, а к концу августа я уже возвращусь в Петербург, потому что Оля должна родить. Вот посудите из этого, милая графиня, какой крест я несу из-за моих дочерей. Покидать деревню в самое лучшее время,— и для чего? Кажется, не хитрое дело — рожать, а без меня и этого сделать не могут. Но это бы все ничего, если б только Наденька вышла замуж поскорее. Воспитания она, действительно, прекрасного, но характер у нее самый несносный. Вот теперь надо укладываться, голова кругом идет, а она так и жужжит надо мной! Напишите мне в Знаменское, милая графиня; ни с кем я так не люблю говорить, как с Вами. По крайней мере, душу отводишь.

Преданная Вам *Е. Кривобокая*

Р. S. Вчера я получила очень радостное известие: мой старый духовник и друг, преосвященный Никодим, вызван в Синод и проведет зиму в Петербурге. Это человек такого ума и такой святой жизни, что Вам непременно нужно с ним познакомиться. Под его руководством наше Общество пойдет хорошо, я ничего не буду делать без его благословения.

#### 17. ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО.

*(Получ. в Петергофе 6 июня.)*

Сейчас только получил я, милая Китти, твою депешу с известием о благополучном прибытии в Петербург. Решительно не понимаю, что ты могла так долго делать в Москве. Уж не заболела ли ты там? Еще менее я могу понять, почему ты так решительно запретила мне проводить тебя до Москвы. Как бы я ухаживал за тобой, если ты была больна, и как бы мы повеселились, если ты была здорова! Но что делать! этого теперь не вернешь, как не вернешь и тех чудных майских дней, которые промелькнули, как сон, и о которых я могу повторить стихи Жуковского:

Не говори с тоской: их нет,  
Но с благодарностию: были <sup>11</sup>.

Проводив тебя, я вернулся в Гнездиловку и просидел там безвыездно все это время. Каждый день ходил я в нашу беседку. Та сирень, которая охватывала ее со всех сторон, врывалась в ее окна и всю ее наполняла своим благоуханием, теперь отцвела. Да и все кругом отцвело и поблекло для меня. Мою одинокую, темную жизнь неожиданно озарил луч яркого солнца, но прошло мгновение,— и это солнце где-то далеко, освещает и греет других.

Вот проза жизни,— та не проходит, не дает отдохнуть. Вчера я получил ультиматум от Сапунопуло: или я должен сдать на



все его предложения, другими словами, сделаться его рабом, или он отказывается совершенно, и тогда все мое состояние улетает в трубу. Придется поехать в Одессу и сдать. Выговорю только одно условие, чтобы мне можно было сейчас же ехать в Петербург и пробыть там хоть один последний год, а там — будь что будет!

До свидания же, до скорого свидания, моя богиня, мое солнце, моя милая, несравненная Китти.

Твой до последнего дыхания А. М.

#### 18. ОТ В. И. МЕДЯШКИНОЙ.

(Получ. 15 июня.)

Ваше Сиятельство матушка Графиня Екатерина Александровна. Сейчас Ваша тетушка и моя благодетельница получили Ваше письмо, в котором Вы Их благодарите за оказанное Вам гостеприимство. Анна Ивановна приказали Вам ответить, что не Вам Их, а Им Вас благодарить следует за то, что Вы почти целый месяц Им пожертвовали и, можно сказать, усладили Их последние дни. А еще Тетушка приказали Вам написать, что Вы в этом добром деле не раскаетесь.

А какое уныние началось у нас после Вашего отъезда,— Вы себе и представить не можете! Если я как-нибудь нечаянно загляну в ту комнату, которую Вы занимали, слезы так и текут сами собою. Взгляну на платье, которое Вы мне подарили,— и опять плачу и не знаю, когда я эту прелесть надену. Разве в Светлый праздник. А Вы еще по своему великодушию обещали мне прислать шаль к Новому году. Не надо мне этого, ей-богу, не надо! Я до Нового года, может быть, и не доживу, а вот если бы Вы теперь прислали мне что-нибудь, что Сами носили, это был бы мне настоящий подарок.

И весь дом по Вас тоскует. Уж на что наши княжны девицы язвительные и тугие, даже и те от Вас в восхищении. Недавно я подслушала, как старшая княжна хвалила Вас сестре: «Это, говорит, такой бонтон, какого и за границей не во всякое время встретить можно. Она, говорит, вся состоит только из одного бонтона». И это правда, матушка Графиня, сушая правда!

Припадая к стопам Вашего Сиятельства, целую ручки Ваши и остаюсь по гроб жизни преданная

*Василиса Медяшкина.*

#### 19. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 20 июня.)

Милая Китти. Ради бога, пригласи Ипполита Николаевича к себе пить чай после музыки и устрой ему партию в винт.

*Твоя Мери*

(Получ. 29 июня.)

От души благодарю Вас, милая графиня, за Ваше милое письмо. Вы пишете, что Оптин кажется Вам человеком сомнительным. Меня это нисколько не удивляет, а только доказывает Ваше большое познание людей и вещей. Я должна Вам сознаться, что прогнала его из управляющих за воровство, но у него семь человек детей, и я через жалость назначила его секретарем Общества, пока он не найдет себе места. Но мы его долго держать не будем, и я хочу его рекомендовать графине Анне Михайловне, которая, говорят, ищет управляющего.

У нас в Знаменском большое оживление: съехались все дочери, кроме Оли, с детьми и мужьями. Дочерям, а особенно внучатам, я очень рада, но мужей, конечно, лучше бы им оставить дома. Даже Петр Иванович, который два года меня будировал<sup>12</sup> и не клал ко мне ногу<sup>13</sup>, пожаловал сюда, но продолжает будировать и почти не говорит со мною. Я не обращаю на это никакого внимания, и только два раза в день, когда он очень продолжительно целует мою руку, я отворачиваюсь и стараюсь целовать воздух вместо его лба, потому что от него так и разит смазными сапогами. Представьте, что теперь выдумали новые духи *cuir de Russie\** и Петр Иванович нарочно обливается ими, чтобы сделать мне неприятность. Я очень большая патриотка, иначе не говорю и не пишу, как порусски, согласна даже любить дым отечества, но вонь переносить не могу.

Объясните мне, милая графиня, отчего теща считается таким отверженным существом, которое все должны ненавидеть? Но в других семьях тещу, по крайней мере, признают человеком, а для моих зятьев я даже не человек, а просто индейка с трюфелями. И, право, мне иногда кажется, что они стоят вокруг меня с вилами и ковыряют меня со всех сторон, чтобы достать трюфель покрупнее. А ведь все они порядочные люди, и, если б они мне были чужие, все шло бы прекрасно и я с удовольствием принимала бы их в Знаменском, а Петр Иванович не носил бы в кармане<sup>14</sup> кожаного завода. Только бы дал бог поскорее выдать замуж Наденьку, — отдам им все, а себе оставлю какие-нибудь тридцать тысяч дохода, чтобы только не умереть с голода, и поселюсь во Флоренции или в Риме. А кстати: что Вы скажете о римских делах? Бедный папа!<sup>15</sup> Хочу вышить туфли и послать от «неизвестной из России». Прощайте, милая графиня, пишите мне почаще.

Искренно Вам преданная *Е. Кривобокая*

Р. S. Сегодня за обедом Петр Иванович назвал мне назвал папу идиотом за его непрактичность. Я на это сказала: «Не всем же быть такими практическими людьми, как статский советник Бубновский».

\* русская кожа (фр.).

А надо Вам сказать, что Бубновский — ростовщик, которому Петр Иванович много должен. За это он наказал меня тем, что ушел спать, не простившись, а я этим воспользовалась и написала Вам письмо, потому что мои руки не пахнут сапогами.

21. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 10 июля.)

Милая Китти, мне необходимо ехать в город; я оставила Ипполиту Николаичу записку, что ты просила меня съездить по делам нашего Общества. *Si tu le vois, invente quelque chose* \*.

*Mery*

22. ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО.

(Получ. 16 июля.)

Милая Китти. Я, может быть, очень виноват перед тобою. Вероятно, у меня в деревне лежит твое письмо, а я все не могу выбраться из Одессы. Ликвидация моих дел подходит к концу, я на все согласился, поступить иначе было невозможно. Недели через три надеюсь появиться на твоей петергофской даче, а пока меня перевезли на великолепную дачу Сапунопуло на берегу моря и всякими способами дают мне понять, что мне следует жениться на греческой девице. Ее тетка — отвратительнейшее существо, которую я прозвал «девой Евменидой», раз даже прямо посоветовала мне попытаться, обнадеживая, что, может быть, отказа не будет. Еще бы был отказ! Я пока не высказываюсь, не говорю ни да, ни нет, но когда все будет закреплено нотариальным порядком, немедленно улечу с таким увлечением, что напомуно им знаменитого их земляка «быстрого Ахиллеса».

До скорого свидания, моя дорогая Китти. Пиши мне в Одессу.

Твой А. М.

23. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 19 июля.)

Милая Китти, ради бога, удержи у себя Ипполита Николаича до последнего поезда. Если он не играет в карты, предложи ему прокатиться в Монплеzir. Часов в двенадцать я приеду туда и готова сидеть до восхода солнца.

Твоя *Мери*

---

\* Если ты его увидишь — придумай что-нибудь (фр.).

24. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

(Получ. 15 августа.)

Милая графиня. Я только что ввалилась в Петербург и не чувствую своих ног от усталости. Я нашла Олю в хорошем положении, но она страшно боится родов, а потому я никак не могу уехать на несколько часов и навестить Вас в Петергофе. Будьте любезны, как всегда, и приезжайте ко мне завтра обедать. Вы сладите мне дела, и мы наговоримся вдоволь.

Не можете ли Вы, милая графиня, взять от меня Наденьку на неделю или на две, чтобы она погостила у вас в Петергофе до Олиных родов? Вы меня очень этим обяжете, а характера ее не бойтесь: она несносна только со мной, а у Вас будет прекроткая. Это сущий ангел, когда захочет.

Искренно Вам преданная *Е. Кривобокая*

P. S. Если вы услышите, что кто-нибудь из Ваших петергофских знакомых собирается похитить Наденьку, чтобы с ней обвенчаться, прошу Вас делать глухое ухо<sup>16</sup>. Пускай себе венчается, я заранее прощаю и благословляю.

25. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 29 августа.)

Милая Китти. Мы так быстро собрались переехать в город, что я не успела заехать к тебе проститься. Костя неожиданно объявил мне, что через неделю отправляется на два месяца в деревню. Его брат Миша вышел в тот же полк, и старуха Неверова потребовала, чтобы они приехали к ней для раздела имения. Ты понимаешь, что, расставаясь надолго с Костей, мне в эти последние дни хотелось видеть его почаще. А Ипполиту Николаичу так надоело ездить каждое утро из Петергофа в министерство, что он очень обрадовался моему предложению переехать. Да и тебе пора перебираться: в такую погоду, как теперь, Петергоф нестерпим.

Неужели эта несносная Наденька все еще гостит у тебя? Когда мы в последний раз обедали у тебя, она так кокетничала с Костей, что совестно было смотреть. Костя с тех пор уверяет, что она ему очень нравится. Конечно, он говорит это, чтобы дразнить меня... Что же в ней хорошего?

*Твоя Мери*

26. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 2 сентября.)

Милая Китти. Сейчас княгиня Кривобокая сказала мне, что завтра ты привозишь к ней Наденьку, а потому прошу тебя непременно обедать у меня. Кстати, ты увидишь Мишу Неверова. По-моему,

он премиленький офицерик, но мне интересно знать твое мнение. Угадай, кто у меня был вчера? Нина Карская! Я думала, что после ее парижских скандалов она не посмеет появиться в обществе. Я, конечно, ее не приняла; надеюсь, что и ты не примешь. Она приехала в Петербург так рано для того, чтобы отделывать совсем заново свой дом. Она собирается много принимать зимой, но кто же к ней поедет? Надо же, наконец, делать различие между развратными женщинами и... другими.

Твоя *Мери*

27. ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО.

(Получ. 4 сентября.)

Милая Китти. Греки перехитрили. Недаром в летописи Нестора сказано: «Суть бо греци льстиви даже до сего дне»<sup>17</sup>. Я все еще не могу напомнить им быстроногого Ахиллеса, а Сапунопуло уже напомнил мне хитроумного Одиссея. Он так опутал, оплел меня своими сделками и комбинациями, что я совершенно в его руках.

С лихорадочным нетерпением ждал я твоего письма, надеясь найти в тебе нравственную поддержку, и — что же? Ты советуешь мне жениться! Совершенно справедливо, что браков по любви у нас в свете почти не бывает и что во всяком браке есть какой-нибудь расчет... Но ведь ты знаешь, Китти, что такое девица Софья Сапунопуло. Оставайся она так же дурна и желта, но будь при этом существом симпатичным, а главное — спокойным, я бы еще мог примириться с необходимостью, но ведь она на секунду не может остаться в покое. Это не женщина, а какая-то ходячая желтая лихорадка. Вот тебе для примера наше препровождение времени последних трех дней. В среду был на даче спектакль, на который съехался весь одесский grand-monde\* (и тут есть свой grand-monde — без этого нельзя). Давали, между прочим, proverbe\*\* ее собственного сочинения: «Ce que femme veut, le mari le voudra»\*\*\*. Само собою разумеется, что я играл роль мужа, что десять раз я должен был целовать ее руку и что эта невыносимая дребедень имела колоссальный успех. Третьего дня было сделано распоряжение — гостей не принимать, и вечер был посвящен чтению Эсхила в подлиннике. Понимаешь ли ты весь ужас этих трех слов: Эсхил в подлиннике! В течение пяти часов она с пафосом читала трагедию на незнакомом мне языке, переводя каждую фразу на французский; и я должен был этому верить, хотя убежден, что древнегреческий язык она понимает немного больше, чем я. А когда выходило уж очень хорошо, она протягивала мне руку, которую я пожимал, причем тетушка Евменида закрывала глаза

\* большой свет (фр.).

\*\* маленькая пьеса (фр.).

\*\*\* То, чего хочет жена, хочет и муж (фр.).

и одобрительно качала головой. Вчера опять наехало множество гостей, и мы катались по морю в костюмах. Я изображал турецкого пашу и сидел в лодке с чалмой на голове и с кальяном в руке!!! Я все это переносу терпеливо, потому что Сапунопуло дал мне «свое честное греческое слово», что 15 сентября все будет кончено и он отпустит меня в Петербург с пятью тысячами... А если он надует опять, назначит новый срок и снова надует? Неужели же мне в самом деле жениться?

Нет, Китти, нет! это невозможно, этому не бывать! Никогда я не продам себя так бесславно, никогда этот золоченый гречкий орех не будет привит к старому родословному дереву Можайских! Лучше надеть суму нищего и идти просить подаюния или пустить пулю в лоб, чем исполнить эту жалкую роль, которую она начертила мне в своем гнусном провербе.

Прощай, моя милая Китти, или ты увидишь меня через две недели счастливым и забывающим около тебя об одесской Элладе, или не увидишь вовсе, потому что меня не будет на свете. В таком случае, не поминай лихом горячо тебя любившего

А. М.

## 28. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

*(Получ. 26 сентября.)*

Что вы можете до сих пор делать в Петергофе, милая графиня! Я по Вас соскучилась, да и заседания наши идут без Вас как-то вяло. Эти дамы ничего не решают и понемногу ссорятся между собою. От графини Анны Михайловны житья нет. Ее зятя Вараксина не сделали камер-юнкером к 30 августа<sup>18</sup>, и она ходит злющая-презлющая. А тут еще на беду этот дурак Оптин в одном протоколе назвал ее Анной Федоровной, так ведь она так обиделась, что мне пришлось к ней ехать извиниться. Но самая большая история случилась из-за Нины Карской. Меня уверили, что ее не следует принимать, но она начала с того, что прислала мне в пользу нашего Общества 500 рублей, а на другой день приехала с визитом. Ну, как же было ее не принять? Конечно, она захотела быть членом Общества, но, когда я на первом заседании заикнулась об этом, — Анна Михайловна так на меня накричала, что я должна была замолчать. Что мне было делать? Отсылать деньги назад не хотелось: Оптин представляет мне счета, как от аптекаря, и наша касса всегда пуста. А оставить деньги и не выбрать в члены — тоже неловко. Вот я и пустилась на хитрость и назначила вчера заседание в 8 часов; я знала, что так рано Анна Михайловна не придет. Как только баронесса Визен и Вера Белевская вошли, я объявила, что заседание открыто, и прямо предложила Нину. Эти дамы согласились: Вера через доброту, а баронесса, чтобы разозлить Анну Михайловну, и я велела Оптину сейчас же внести в протокол. В девять приехала Анна Михайловна, и когда ей

прочли про баллотировку, она позеленела от злости. Интересно, как она встретится с Ниной послезавтра; приезжайте, милая графиня, на заседание.

Ваша *Е. Кривобокая*

Р. С. Баронесса Визен сказала мне по секрету, что Петр Иванович называет наше общество «Обществом спасения на несколько часов от тещи». Можно подумать, что я так часто надоедаю ему своими посещениями!

29. ДЕПЕША ОТ Д. Д. КУДРЯШИНА.

(Получ. в Петербурге 10 октября.)

Приезжаю завтра на один день; остановлюсь — где всегда; буду ждать известий с десяти часов вечера.

*Кудряшин*

30. ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО.

(Получ. 16 октября.)

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Имею честь известить Вас, что вчера я сочетался законным браком с девицею Софьей Сократовной Сапунопуло. Это оповещение я делаю по настоятельной просьбе моей жены.

Неизменно Вам преданный

*А. Можайский*

MADAME LA COMTESSE.

L'admiration tout à fait exceptionnelle que professe pour Vous mon mari et l'amitié, dont Vous l'honorez, me donnent le courage de me recommander à Vos bontés. Comme nous avons le projet de passer une partie de l'hiver à S.-Petersbourg, permettez-moi d'espérer que Vous voudrez bien guider mes premiers pas dans le monde qui, dit-on, est si sévère et si froid pour les nouveaux-arrivés. Une rose alpestre supporte difficilement le souffle glacial du Nord.

En attendant veuillez agréer, Madame la Comtesse, l'assurance de ma haute considération.

*Sophie de Mojaisky, née de Sapounopoula \**

---

\* Многоуважаемая графиня. То величайшее восхищение, которое испытывает к Вам мой муж, и дружба, которой Вы его одариваете, позволяет мне довериться Вашей доброте. Так как мы предполагаем провести часть зимы в С.-Петербурге, позвольте мне надеяться, что Вы сообразовите руководить моими первыми шагами в свете, который, как уверяют, так строг и холоден к новичкам. Альпийская роза с трудом переносит ледяное дыхание севера.

В ожидании ответа прошу принять уверения, многоуважаемая графиня, в моем глубококом почтении.

*Софи Можайски, урожденная Сапунопуло (фр.).*

Я разрываю конверт, чтобы исправить редакцию моего извещения. Надо читать так: «Александр Васильевич Можайский с душевным прискорбием извещает о кончине всех своих дорогих и заветных идеалов, последовавшей 10 октября в городе Одессе, после тяжелой и продолжительной борьбы».

А. М.

31. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 3 ноября.)

Милая Китти, сейчас я получила приглашение на вечер Нины Карской, хотя до сих пор не отдала ей визита. Она просит ответа, и я не знаю, что мне делать. Напиши мне, поедешь ли ты к ней; я поступлю, как ты. *Après tout* \*, я не знаю, отчего бы нам не ехать. Мне говорили, что княгиня Кривобокая, ее дочери и вся ее *coterie* \*\* там будет. А главное — у меня есть прелестное платье от Ворта <sup>19</sup>, которое мне хочется поскорее надеть. Когда еще дождешься больших приемов?

Твоя *Мери*

P. S. Костя приезжает послезавтра; он пишет, что его брат Миша все время бредит тобою. А ведь видел тебя всего один раз. *En voilà une charmeuse!* \*\*\* Какое счастье, что Костя тебе не нравится, а то давно бы ты его отбила у меня.

32. ДЕПЕША ОТ В. И. МЕДЯШКИНОЙ.

(Получ. 10 ноября.)

Анна Ивановна скончалась вчера в десять часов вечера; похороны в пятницу.

*Медяшкина*

33. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ

(Получ. 10 ноября.)

В каком я отчаянии, милая Китти, что ты уезжаешь и что наша *partie de plaisir* \*\*\*\* расстроилась! Так как вчера выпал снег, мы с Костей решили просить тебя ехать вчетвером не в театр, а на острова на тройке, и там где-нибудь поужинать. Вот было бы наслаждение! Костя уверяет, что его брат ждал этого дня с таким же нетерпением,

---

\* В конце концов (*фр.*).

\*\* компания (*фр.*).

\*\*\* Вот обольстительница! (*фр.*)

\*\*\*\* увеселительная прогулка (*фр.*).



как производства в офицеры. И вдруг все это расстроилось из-за каких-то пустяков! Я не понимаю, что тебе за охота ехать на похороны так далеко. Ведь тетушка твоя уже умерла и ничего переменить не может. Кроме того, у Нины Карской на будущей неделе большой обед, вечером будут петь итальянцы. Ее первый вечер был, как уверяет баронесса Визен, une colombe d'essai; \* она хотела знать, на кого может рассчитывать. Теперь на концерт она приглашает только самых избранных, а большой бал даст в январе. Нельзя не сказать, что она все это устраивает очень ловко. Кто мог думать, что она опять всплывет? Больше всего помог ей Никодим, который, по известной причине, имеет такое громадное влияние. Ну, да и Нина тоже не мало пожертвовала денег в его больницу! Везде и всюду деньги, с ними можно все себе позволить. Это грустно, но это так!

Баронесса говорит, что ты в списке приглашенных, а ты еще уезжаешь от такого интересного вечера. Отправь лучше на похороны твоего мужа: графу проветриться будет недурно, он сто лет не выезжал из Петербурга. Дай ответ.

Твоя *Мери*

#### 34. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 10 ноября.)

Так как твой муж уезжает, то не лучше ли нам после катанья в тройке вернуться к тебе? Закажи ужин дома, это гораздо приятнее, чем в ресторане.

*Мери*

#### 35. ОТ ГРАФА Д.

(Получ. 18 ноября.)

Милая Китти, я пишу тебе сутками позже, чем обещал, потому что вчера вечером, придя в свою комнату, буквально свалился от усталости и заснул, как убитый. Доехал я вполне благополучно. От Москвы ехал с Бубликом-Белевским, и мы всю дорогу играли в пикет. В Слободск приехал в 11 часов вечера, лошади ждали меня на станции, но ехать было невозможно по причине сильнейшей метели. Пришлось подождать, и только в 9 часов утра я приехал в Красные Хрящи. Похороны назначены были в 10, но начались гораздо позже, потому что ждали архиерея, который опоздал по случаю метели. Все было в высшей степени торжественно, собралось множество соседей и слободских чиновников; видно, что покойницу очень уважали. В три часа начался утомительнейший поминальный обед в двух залах. Соседкой моей была госпожа Можайская, которая с утра впилась

---

\* пробный (фр.).

в меня как пиявка и не отпускала от себя ни на минуту! Вот удивительный субъект! Если б она не была так желта, ее бы можно было назвать вполне синим чулком. Она забросала меня именами сочинений и авторов, о которых я слышал в первый раз в жизни, и очень приставала ко мне, нет ли в Петербурге какого-нибудь египтолога, так как она теперь специально занимается изучением египетских древностей. Она через месяц едет в Петербург и, кажется, очень рассчитывает на тебя, чтобы пролезть в общество, но, вероятно, ошибется в своих надеждах. *Ce n'est pas une femme à orner le salon comme le tien* \*. Ее муж произвел на меня также очень странное впечатление: он ходит как потерянный; а когда я поблагодарил его за любезность, которую он сделал тебе весной, он в ответ начал бормотать какие-то несвязные слова. Впрочем, я из этих Можайских извлек-таки пользу: они наняли в нашем большом доме бельэтаж, который вторую зиму стоит пустой, а так как цену они дали очень хорошую (по тысяче рублей в месяц), то прошу тебя сейчас же призвать управляющего и велеть ему квартиру почистить, оклеить новыми обоями и т. д. Сколько мне помнится, во второй комнате мебель слишком стара, вели ее убрать, а вместо нее перевезти с дачи голубую атласную. К Новому году все должно быть готово, они приезжают в самом начале января. Представь себе, что обед тянулся почти до шести часов; после жаркого архиерей и попы встали и с бокалами шампанского в руках запели: «Со святыми упокой». Я испугался, думал, что они перепились, но оказывается, что это старинный русский обычай, сохранившийся в этих местах до сих пор. Соседка моя уверяла, что и в Египте было что-то в этом роде. Гости оставались еще долго после обеда, и только в 10 часов меня привели в ту самую комнату, которую ты занимала весной.

Я надеялся, что сегодня вскрыют завещание, но это произойдет завтра или послезавтра. Мне неловко об этом расспрашивать, но кажется, что ждут какого-то душеприказчика. Родственников покойной собралось здесь видимо-невидимо; все это люди простые, но довольно приятные. *Tout le monde est charmant pour moi, on m'entoure de petits soins* \*\*, по всему видно, что на меня уже смотрят как на хозяина. Княжны Пыщечки показались мне очень симпатичны, особенно вторая. Если тетушка ничего им не оставила, надо будет что-нибудь для них сделать, сыскать им какое-нибудь место в Петербурге. *La fameuse Василиса est d'un ridicule achevé, mais bonne femme au fond, elle a une véritable adoration pour toi* \*\*\*

Сегодня утром я пошел осмотреть кое-что по хозяйству. Конюшни, флигеля, каретный сарай,— все это очень ветхо, и все это придется перенести куда-нибудь подальше от дома. К сожалению, о парке я не могу составить себе никакого понятия. Хотел посмотреть оранжереи, но вчера навалило столько снега, что пройти туда невозможно.

---

\* Это не та женщина, которая могла бы украсить такой салон, как твой (фр.).

\*\* Все очень милы и стараются угодить мне (фр.).

\*\*\* Эта пресловутая... ужасно смешна, но в сущности она очень добрая женщина и поистине обожает тебя (фр.).

В доме много прекрасной старой мебели. Одна этажерка красного дерева так мне понравилась, что я хочу взять ее с собой и поставить в твоём будуаре.

Я замечаю, однако, что мысленно уже распоряжаюсь в Красных Хрящах, как хозяин, а между тем они, может быть, достанутся кому-нибудь другому. Впрочем, кому же? Во всяком случае, оставила ли нам тетушка все или даже ничего не оставила,— на это была ее полная воля,— я от души рад, что не поленился приехать на похороны этой святой, достойной женщины,— и, конечно, пробуду здесь до девятого дня. Ведь Анна Ивановна была тебе одно время вместо матери, а в нашей ссоре,— надо сказать правду,— мы были виноваты больше, чем она. Конечно, были у старушки свои странности и причуды, но мы должны были отнестись к ним иначе. Какое счастье, что мы загладили нашу вину в последний год ее жизни, и как я тебе благодарен за то, что ты вздумала съездить к ней весной. Приобретем ли мы что-нибудь от твоего путешествия,— еще неизвестно, но то, что мы уже приобрели, т. е. спокойствие совести, гораздо дороже всякого наследства. Ведь и мы когда-нибудь умрем; это, конечно, истина избитая, но как часто мы ее забываем!

Девятый день приходится 18 ноября. Отдав последний долг усопшей, я выеду в тот же день вечером, проведу денек у брата в подмосковной, а к твоим именинам, во всяком случае, буду дома. Прощай, милая Китти, дети здоровы и целуют тебя.

Твой муж и друг Д.

Р. S. Ты собиралась сделать вечер в Екатеринин день, но только ловко ли это будет? Положим, что эту тетушку никто в Петербурге не знал, но когда мы получим большое наследство, тогда все про нее узнают. По-моему, тебе даже не мешает надеть траур месяца на два, тем более что интересные балы начнутся только в январе.

Перечитывая письмо, я заметил, что в рассеянности передал тебе поклон от детей. Это доказывает, как я о них постоянно думаю. Расцелуй их за меня.

36. ОТ ГРАФА Д.

*(Получ. 20 ноября.)*

Сегодня, в 9 часов утра, вскрыли завещание. Красные Хрящи достались старшей княжне, Пензенское имение — второй княжне. Деньгами: Василисе 30 тысяч, разным родственникам, на прислугу и на похороны всего около восьмидесяти, остальные деньги (больше 300 тысяч!) на монастыри и богоугодные заведения. Тебе — бриллианты и другие драгоценные вещи. Это могло быть недурно, потому что к Анне Ивановне перешли все кречетовские бриллианты, да и сама она всю жизнь покупала хорошие вещи, но предать себе, что все это исчезло. Когда сняли печати, в наличности оказалась одна паршивая брошка, да еще в огромном количестве всякие бусы, четки и тому

подобная гадость. Я глубоко убежден, что грабеж совершен Василисой, потому что все это было на ее руках. Я — не наследник, мое дело сторона, а потому я не выразил никакой претензии, но ты, как наследница, можешь написать Василисе и припугнуть ее судом: авось она хоть что-нибудь из награбленного отдаст. Я старался *faire bonne mine au mauvais jeu* \*, быть веселым и любезным со всеми, и это сначала мне удавалось, но во время завтрака привезли почту, и представь себе, что первая вещь, которую я увидел, были смуровские коробки с черносливом. При виде этого чернослива такое бешенство меня охватило, что я убежал в свою комнату, чтобы скрыть досаду, и пишу тебе это письмо. Пожалуйста, пошли немедленно сказать Смурову, чтобы он перестал высылать туда чернослив, я вовсе не желаю улучшать пищеварение этой подлой Василисы!

Конечно, я никакого девятого дня ждать здесь не буду, *j'ai assez de tout ce monde à interlope* \*\*. Да, по правде сказать, глупо было приезжать на похороны. Мы с тобой слишком большие идеалисты и о других людях судим по себе. Избави меня бог осуждать покойницу, но надо же сказать правду: чудачкой прожила весь век, чудачкой и померла. И заметь, что все эти старые девы таковы. При каждой из них непременно состоит какая-нибудь Василиса, которая делает с ними, что хочет, потому что знает хорошо приключения их молодости. А у тетушки было в молодости, как тебе известно, походов не мало. Я, конечно, вспоминать о них не буду и, как христианин, от души желаю, чтобы господь простил ей все, между прочим, и ее неблагодарность относительно нас.

Я уезжаю сегодня в ночь, проведу дня три в подмосковной у брата и накануне твоих именин буду в Петербурге. Я в прошлом письме писал тебе о трауре, но теперь он кажется мне совсем лишним. Рассылай приглашения на 24-е, если тебе хочется устроить вечер.

Твой муж и друг Д.

### 37. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

(Получ. 3 декабря.)

Милая графиня. Если Вы едете сегодня на бал к англичанам, то не возьмете ли под свою протекцию Наденьку? Вы знаете, я не люблю отпускать ее даже с замужними сестрами. Вы единственная женщина, которой я решаюсь верить это сокровище. А сама я не еду, во-первых, потому что утром у меня был Петр Иванович, и, значит, я расстроена на целый день, а во-вторых, из патриотизма, потому что англичане, где могут, везде кладут палки в наши колеса. Вообще политическое положение Европы мне не нравится. Хотя никаких особенных известий нет, но я убеждена, что Бисмарк опять что-то замышляет. Что именно,— я еще не знаю, и это меня беспокоит.

Искренно Вам преданная Е. Кривококая

\* делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

\*\* с меня достаточно этого сомнительного общества (фр.).

*(Получ. 7 декабря.)*

Милая Китти, постарайся, пожалуйста, выведать у Миши Неверова, где был Костя вчера от восьми до двенадцати. Он меня уверял, что едет с братом в оперу, а баронесса Визен была в опере и ни одного из них не видала. Согласись сама, что не заметить в театре Костю трудно. Ты не поверишь, как эти обманы меня сердят... Ну, отчего не сказать правду? А с возвращения из деревни он уже несколько раз меня обманывал.

Твоя *Мери**(Получ. 15 декабря.)*

Ваше Сиятельство. Кончина моей незабвенной благодетельницы была таким тяжким для меня горем, что я думала: больше не будет в моей жизни никакого другого горя, но письмо Ваше доказало, что нет предела испытаниям, если господа угодно послать их. Вы меня спрашиваете, куда делись бриллианты? Да почему же, Ваше Сиятельство, я могу это знать? Ключ от бриллиантов находился всегда при Тетушке, покойница могла их дарить, кому ей было угодно, а родственников, друзей и знакомых у ней было много. А могло быть и то, что бриллианты кто-нибудь украл, но только уж, конечно, не я. Больше сорока лет служила я верой и правдой Анне Ивановне и воровкой никогда не была. Но, к несчастью моему, кто-нибудь оклеветал меня перед Вами, потому что в одном месте Вы как будто намекаете, что можете привлечь меня к ответу. Что ж, милости просим, я суда не боюсь. Я в свидетели своей невинности вызову всю губернию, начиная с Вашего друга Александра Васильевича Можайского, у которого, как я недавно узнала, Вы даже несколько раз были в деревне. Я, конечно, об этом молчу, потому что уверена, что ни на что дурное Вы неспособны, но на суде молчать не буду, потому что по закону обязана говорить всю правду. Впрочем, может быть, в Вашем письме никакой такой угрозы нет и мне только почудилось, что Вы намекаете на суд. В таком случае, прошу великодушно меня простить,— с горя мало ли что почудиться может!

Я очень понимаю, Ваше Сиятельство, что Вам неприятно лишиться наследства, на которое вы так рассчитывали, но ведь я тут ни при чем! Впрочем, Вы можете себе большое утешение найти в том, что господь послал Вашей Тетушке такую прекрасную, истинно христианскую кончину. Несколько раз Анна Ивановна вспоминала и благословляла Вас. Слов, правда, нельзя было разобрать, но я слишком хорошо знала покойницу, чтобы ошибиться. Последнее слово, которое она произнесла, было: чернослив. Старшая княжна бросилась к окошку и принесла новую, еще не начатую коробку. Анна

Ивановна взяла черносливенку, но кушать уже не могла, а помяла ее в ручке и уронила на пол. Вероятно, она этим хотела показать, что благодарит Вас за чернослив, который Вы выслали ей так аккуратно. Впрочем, доктор Ветров, которого мы выписывали из Москвы, сказал на консилиуме, что этот чернослив сделал покойнице самый большой вред.

С истинным почтением имею честь быть, Ваше Сиятельство, готовая к услугам

*В. Медяшкина*

#### 40. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

*(Получ. 20 декабря.)*

Милая Китти, вчера Костя целый день у меня не был и теперь уверяет, что был дежурным. Между тем, я в полковом приказе прочла, что дежурить должен был Сироткин 2-й. Попроси Мишу объяснить, что это значит и кто же, наконец, был дежурным? Вот до какого унижения я дошла: даю деньги Костину денщику, чтобы он приносил мне приказы; но что же делать, если он постоянно меня обманывает?.. Я не желаю стеснять его ни в чем, но я хочу, я *должна* знать, что он делает.

*Твоя Мери*

#### 41. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

*(Получ. 31 декабря.)*

Милая графиня, представьте себе, какой я получила сюрприз к Новому году! Оптин мне объявил, что не только нет ни копейки в кассе, но еще я должна около четырех тысяч. Как это могло случиться, — я решительно понять не могу. Правда, я подписывала какие-то бумаги, которые он мне подсовывал, но я делала это вовсе не с той целью, чтобы потом платить по ним. Как Вы были правы, предупреждая меня насчет платина, и как он смеет называться Оптиным, когда есть такой монастырь<sup>20</sup>, который я очень чу и где похоронен мой дядя Василий. Конечно, во всем этом отчасти виновата я сама, но и тут насолила мне графиня Анна Михайловна: возьми она Оптина в управляющие, ничего бы не случилось.

Приезжайте ко мне, милая графиня, и помогите мне разобраться в этих бумагах. Голова моя уходит, я решительно ничего не понимаю, а тут опять эта Наденька жужжит надо мною. Жду Вас с большим нетерпением.

*Е. Кривобокая*

P. S. Нечего сказать — хорошо Общество! Ни одной погибающей девицы не спасли, а четыре тысячи с меня стянули.

(Получ. 4 января.)

Милая графиня. Мы сегодня приехали в Петербург, и швейцар, по Вашему приказанию, встретил нас хлебом-солью. Не знаю, как благодарить Вас за это внимание. Квартира, на мой взгляд, превосходна во всех отношениях, но жена пожелала прибавить еще кое-какие украшения, и мы отправились делать покупки. Шляние по магазинам продолжалось до шести часов, и я не мог найти минутку, чтобы урваться к Вам. Теперь она переодевается к обеду, а мне поручила просить Вас назначить день и час, когда Вы можете принять нас. Убейте ее великодушием и приезжайте к нам просто вечером; я знаю, что Вы не придаете никакого значения всем этим глупостям. По первоначальной программе первый наш петербургский вечер мы должны были провести в театре, но, по счастью, нигде не нашли логи. Если б Вы знали, какую я чувствую безумную жажду услышать звук Вашего голоса, увидеть на одну секунду Вашу улыбку!

А. М.

(Получ. 5 января.)

Милая Китти, я все эти дни была нездорова, а потому не поехала сегодня в общее собрание. Сейчас прямо оттуда заехала ко мне баронесса Визен и рассказала во всех подробностях, как княгиня Кривобокая отказалась от председательства и как тебя единогласно выбрали на ее место. Если б я могла предвидеть эти события, я бы, конечно, преодолела свою болезнь и поехала посмотреть на твое торжество. От души поздравляю тебя с этим новым успехом.

Я забыла спросить у баронессы, была ли ты вчера на балу у Нины Карской. *La baronne m'a dit, qu'en général c'était très brillant\**. Я собиралась ехать, но вдруг почувствовала себя хуже, да и, по правде сказать, у меня слишком тяжело на душе, чтобы таскаться по балам. Костя в свете теперь почти не говорит со мной, он уверяет, что не хочет меня компрометировать. Как странно, что прежде он вовсе не думал об этом, а теперь, когда мне все равно, что будут обо мне говорить, и когда я готова все отдать за каждое его ласковое слово, он начал заботиться о моей репутации. Да и ко мне он ездит все реже и реже. Ты говорила мне, что я сама в этом виновата, что я слишком надоедаю ему своими приставаниями, ревностью и шпионством, что я должна быть всегда спокойной и веселой, если хочу удержать его... Но откуда же мне взять это спокойствие, как мне притворяться веселой, когда кошки скребутся

---

\* Баронесса сказала мне, что было великолепно (фр.).

в сердце? Ты говоришь: *ревность*, но я решительно ни к кому его не ревную. Он, кажется, ни за кем не ухаживает в свете, а на балах танцует все с такими барышнями (как, например, Наденька Кривобокая), что ревновать было бы смешно. Если б я узнала, что он любит другую женщину, я бы скорее примирилась с этим, но видеть, что он бросает меня так, без всякой причины,— вот что ужасно!

Баронесса рассказала мне очень интересную вещь про графиню Анну Михайловну. При тебе, кажется, был в заседании Общества скандал, что она отвернулась от Нины Карской, не ответила на ее поклон и торжественно вышла из залы. После этого, месяца два, они встречались и не кланялись. Потом, *quand Nina a repris sa place dans le monde avec plus d'éclat que jamais*\*,— Анна Михайловна начала в ней заискивать, перед Новым годом сделала ей визит и через разных лиц стала хлопотать, чтобы получить приглашение на ее бал. Нина поступила очень умно: визита ей не отдала, но приглашение ей послала, *et pour l'humilier davantage*\*\* , послала накануне бала. И представь себе, что она поехала с обеими дочерьми и уехала с бала последняя. *Voilà ce qui s'appelle avoir du toupet!*\*\*\*

Твоя *Мери*

#### 44. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

(Получ. 19 января.)

Сейчас получила я, милая графиня, записку о переменах, которые Вы думаете сделать в Обществе, и очень ценю то, что Вы считаете нужным советоваться с такой глупой старухой, как я. Все, что Вы предлагаете, прекрасно, и я только жалею, что мне раньше это не пришло в голову. Впрочем, я и сама думала, что секретарь должен служить без жалованья и быть из нашего круга, но, на беду, тогда мне подвернулся этот Оптин с семью человеками детей, и я через жалость назначила ему полторы тысячи жалованья в год. Вот и показал он мне жалость!

Моя закадычная приятельница, графиня Анна Михайловна, к концу зимы непременно сойдет с ума, каждый день слышишь про нее что-нибудь новое. Вчера баронесса Визен заехала к ней утром и еще на лестнице услышала какие-то рыдания. Вбегает она по своему обычаю без доклада в гостиную и видит, что Анна Михайловна катается по ковру и в истерике воет. В это время входит Варя — тоже вся в слезах — и объясняет: «Представьте себе, что мы сегодня не приглашены на маленький бал. На маму это так подействовало оттого, что это случается с ней в первый раз в жизни». Но лучше всего то, что все эти слезы лились понапрасну. Просто вышла какая-то ошибка; перед самым обедом принесли приглашение, и через

---

\* когда Нина вновь появилась в свете еще более блистательная, чем раньше (фр.).

\*\* а чтобы унижить ее еще больше (фр.).

\*\*\* Вот уж что называется наглость! (фр.).



несколько часов этих всех скорбящих повезли на бал с опухшими глазами. Зная хорошо графиню Анну Михайловну, я вполне верю этой истории, но тоже не могу не сказать: какая счастливая эта баронесса! Ведь попадет же она всегда на такую сцену, о которой потом может трубить целую неделю. Отчего это со мной никогда не случается?

Ваша *Е. Кривобокая*

45. ОТ А. В. МОЖАЙСКОГО.

(Получ. 20 января.)

Милая графиня. Сейчас, воротясь из театра, мы нашли у себя официальную бумагу, в которой Вы уведомляете жену об избрании ее в члены Вашего Общества и предлагаете мне исполнять «безвозмездно» должность секретаря. Жена моя в восторге, и завтра мы поедем вместе Вас благодарить, а пока не могу не выразить Вам моего восхищения перед гениальностью этой мысли. До сих пор я буквально не мог вырываться из дома, но теперь поневоле придется возить к председательнице всякие доклады и сметы. Обещаю служить хотя и безвозмездно, но очень усердно. Очень также хорошо, что Вы наняли помещение для Общества на Васильевском острове — подальше от нескромных взоров. Будем надеяться, что в эти частные заседания не проникнут даже всевидящие очи баронессы Визен.

Вы вчера спросили у жены, откуда у нее это жемчужное ожерелье, которое произвело такой фурор на большом балу, и она ответила, что получила его от бабки. Это неправда. Она купила его в Слободске почти даром (за 3500 р.) у Медяшкиной, приживалки Вашей покойной тетушки. Медяшкина уверяла, что только крайность заставляет ее расстаться с подарком ее благодетельницы, и обязала жену клятвой, что она никому не скажет об этой покупке. Но я не клялся, а потому могу сказать правду.

Как низкопоклонный секретарь, лобзаю подобострастно руку моего нового начальства.

*А. М.*

*Р. S.* Если бы мне теперь посчастливилось еще найти какого-нибудь египтолога, который согласился бы разбирать с женой иероглифы, тогда моя семейная жизнь устроилась бы совсем хорошо.

46. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 2 февраля.)

Вот уже почти две недели, что я тебя не видала, моя милая Китти. Я, конечно, не могу упрекать тебя, потому что знаю, как ты занята выездами и делами Общества, которое под твоим управлением начинает, кажется, приносить пользу. Но все-таки, если ты

найдешь свободную минуту и приедешь навестить больную, то это будет настоящее доброе дело. Я все еще очень слаба.

Костю я почти не вижу. Я пробовала последовать твоему совету и в последний раз, что он был у меня, не расспрашивала его ни о чем, не сказала ни одного упрека, стараясь казаться веселой,— ну, и что же? Он уехал, с тех пор прошла неделя, и я не имею о нем никакого известия. Даже в полковом приказе не упоминалось ни разу его имя.

Нет, Китти, во всем этом никакой моей вины нет. Прежде я и приставала к нему, и ссорились мы до слез, и все-таки он приезжал на другой день. Тут произошло что-то такое, чего я не знаю и что постепенно каждый день уносит мое счастье. Я это почувствовала уже давно,— в первые дни после его возвращения из деревни. Ты будешь смеяться над моим поэтическим сравнением и опять назовешь меня русской *madame Girardin*<sup>21</sup>, но мне это счастье представляется какой-то большой, очень красивой птицей, которая когда-то высоко летала над землей и у которой каждый день кто-то вырывает перо из крыльев. Она взлетает все ниже и ниже и скоро совсем перестанет летать.

Через два дня начнется масленица, у меня куча приглашений, но я никуда не поеду и буду беречь силы для *folle-journée*\*. Надеюсь, что меня пригласят, как в прежние годы. Не знаю — отчего, но мне ужасно хочется быть на *folle-journée*. Может быть, оттого, что это последний бал сезона, а до следующего сезона мне дожить не суждено. В последний раз посмотрю на этот блеск, на эту суету, которую я так любила когда-то, а потом... Что будет потом? Как-то страшно и думать. Близкой смерти я не жду,— ведь никакой серьезной болезни у меня нет,— но все-таки у меня такое чувство, что вот-вот что-то оборвется и после ничего не будет. Может быть, жизнь моя тоже вроде той птицы, о которой я говорила; кажется, и у нее перьев остается немного.

Сегодня я проснулась здоровая и веселая, какую была год тому назад. Первая мысль, как всегда, о Косте, посмотрела на часы; десять часов,— значит, он приедет через два часа с четвертью. Это состояние длилось с минуту, потом я опомнилась, мне сделалось невыносимо горько, я упала опять на подушки и долго лежала с закрытыми глазами. Мне хотелось остаться так на целый день и никого не видеть, однако приехал доктор, пришлось встать, потом было еще несколько неинтересных гостей. Перед обедом заехала баронесса Визен и привезла целый короб всяких сплетен. Она очень смешно рассказывала, как наши дамы осаждают преосвященного Никодима, который не знает, куда от них спрятаться, как Анна Михайловна совещалась с ним о туалетах своих дочерей, а Катя Вараксина назвала его «преждеосвященный владыко», как княгиня Кривобокая спрашивала, нет ли у него особой молитвы о скорейшем замужестве дочери, как Нина Карская пригласила его на обед, за которым пре-

---

\* безумный день; здесь в значении: день (обычно последний день масленицы), наполненный веселыми забавами и развлечениями (фр.).

освященный ничего не ел, потому что все блюда были мясные, и т. д.— все в этом роде. Меня эти глупости немного развлекли; потом был обед, во время которого Ипполит Николаич несколько раз бросал на меня строгий, испытующий взгляд. Он не знает, в чем дело, но на всякий случай смотрит строго. Потом прошел долгий, томительный вечер. Я почему-то имела слабую надежду, что сегодня придет Костя, но никто не приехал. Наконец, дети улеглись спать, Ипполит Николаич уехал в клуб, я осталась одна и нашла себе утешение — поболтать с тобой. Я бы еще долго писала тебе, но меня опять начинает знобить и вся голова в огне. Заезжай ко мне завтра, если можешь. Я не смею звать тебя обедать, но как бы я была этому рада. *Ne m'abandonne pas, ma chère, ma bien bonne Kitty! Si tu savais à quel point je suis seule et misérable!*

A toi comme toujours *Mery* \*

#### 47. ОТ КНЯГИНИ КРИВОБОКОЙ.

(Получ. 12 февраля.)

Милая графиня. От большой радости я не могу спать; встала с постели, зажгла свечи и хочу этой радостью поделиться с Вами. Сейчас, возвращаясь с *folle-journée*, Наденька мне объявила, что она невеста Кости Неверова. Завтра в час он придет ко мне делать предложение, а до тех пор я не засну от нетерпения. Еще сегодня, когда я Вам указала на них во время мазурки, Вы пожали плечами и сказали: «Ну, здесь ничего не выйдет». Вот видите, милая графиня, Вы гораздо умнее меня, а в иных случаях сердце бывает пронизательнее ума, особенно сердце матери, изнывшее от долгого ожидания.

Конечно, если взглянуть на все это беспристрастно, нельзя сказать, чтобы партия для Наденьки вышла очень блестящая. Имя он несет хотя и старое дворянское, но совсем незнатное, родства тоже никакого нет. С его матерью я была знакома в молодости, она и тогда уже начинала пошаливать; но когда она бросила свой чепец через мельницу<sup>22</sup>, я перестала ее видеть. Теперь она женщина благочестивая и почтенная, преосвященный Никодим знает ее хорошо. Состояние у нее очень большое, но неизвестно, что она даст сыну. Осенью она вызывала сыновей для раздела имения, но потом передумала и отложила. По правде сказать, я в своем зяте вижу два достоинства: сложение у него богатырское и танцует отлично. Об остальном лучше не будем говорить, хотя Наденька и жужжала мне в карете: «Он очень, очень умен, только он от всех скрывает это нарочно, а мне открыл». Ну, и слава богу, что открыл! Будь Неверов постарше и начини он ухаживать за одной из моих первых дочерей, я бы затворила ему свою дверь, а для Наденьки и этот хорош: ведь

---

\* Не покидай меня, моя милая, моя добрейшая Китти! Если бы ты только знала, до какой степени я одинока и несчастна! Твоя как всегда *Мери* (фр.).

ей — теперь можно сказать правду — не двадцать четвертый год, а двадцать шесть с хвостиком. Опять и то правда, что всякий брак — потеря. Уж, кажется, завидные были женихи мои четыре зятя, а никак с ними ладить не могу: авось полажу с тем, который поплоше.

Хотя у нас уже начался пост, но откладывать объявление о такой радости я не в силах, а потому прошу Вас пожаловать ко мне вместе с графом во вторник, в 7 часов, на постный обед, чтобы выпить здоровье жениха и невесты. Ведь шампанское — не скоромное. За этим обедом вы увидите, до какой степени будет мил и обворожителен Петр Иванович, и, вероятно, удивитесь этой загадке, а загадка в том, что я дала обещание заплатить все его долги (в третий раз), как только Наденька будет объявлена невестой.

Итак, до свиданья, моя милая графиня, искренно Вам преданная

*Е. Кривобокая*

Р. S. Ваша приятельница Марья Ивановна будет, может быть, недовольна этой свадьбой, ну, да что делать: на всех не угодишь.

#### 48. ОТ ИППОЛИТА НИКОЛАЕВИЧА БОЯРОВА.

*(Получ. 12 февраля.)*

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Простите, что беспокою Вас в столь ранний час. Жена моя, не выезжавшая около месяца, вдруг собралась вчера на *folle-journée*, но когда она оделась, ее начала бить такая лихорадка, что я почти силой удержал ее дома. Вечером у нее был бред, но часам к пяти утра она успокоилась и заснула. Сегодня в десять часов приехала эта несносная баронесса Визен, ворвалась в спальню жены, разбудила ее и, вероятно, чем-нибудь расстроила, потому что после ее отъезда Мери пришла в такое ужасное нервное состояние, что я совсем потерял голову. Она решительно не желает видеть доктора и неотступно требует Вас. Ради бога, приезжайте сейчас. Вы одна можете ее успокоить. Для скорости посылаю Вам карету, которая была заложена для меня.

Глубоко Вам преданный

*И. Бояров*

#### 49. ОТ БАРОНЕССЫ ВИЗЕН.

*(Получ. 12 февраля.)*

Милая графиня, теперь только первый час, а Вы уже ускакали из дома! Я заехала, чтобы сообщить Вам очень интересную новость: старший Неверов женится на Наденьке Кривобокой; это решилось вчера на *folle-journée*. Он в этом году непременно должен был

на ком-нибудь жениться, потому что иначе его мать не соглашалась выделить ему курское имение. Il parait, que ce vieux renard de Никодим а aussi manigancé dans cette affaire \*, недаром княгиня Кривобокая ездила к нему каждое воскресенье. Excusez mon griffonage: \*\* пишу у Вас в швейцарской, на клочке бумаги, и очень тороплюсь, j'ai encore une masse de courses à faire.

Bien à Vous *Cathèrine Wiesen*\*\*\*.

Р. С. Нина Карская после своей триумфальной зимы уезжает завтра за границу, но скрывает это от всех, чтобы избежать расспросов: куда, зачем и т. д. С графиней Анной Михайловной произошел опять смешной случай. На днях она написала князю Борису Ивановичу письмо, в котором просит представить ее зятя Вараксина в камер-юнкеры непременно к пасеке, но от сильного волнения ошиблась и вместо камер-юнкера написала: в камер-пажи. Князь, которому она смертельно надоела, ответил ей, что с этим прошением она должна обратиться в Пажеский корпус. Vous voyez d'ici sa fureur! \*\*\*\*

50. ОТ И. Н. БОЯРОВА.

(Получ. 25 февраля.)

Многоуважаемая и добрейшая графиня Екатерина Александровна. Согласно моему обещанию, спешу написать Вам о нашей бедной больной. Ее душевное состояние в продолжение всей дороги внушало мне самые серьезные опасения. Она упорно молчала, а если ей случалось ответить на какой-нибудь обращенный к ней вопрос, то каждая ее ничтожная фраза переходила в истерическое рыдание. Отъезд наш произошел так внезапно, что я не успел послать нужные распоряжения в деревню, где мы не были пять лет. Управляющий получил мою депешу за несколько часов до нашего приезда и должен был уступить нам свой флигель, потому что остановиться в нетопленном доме было немислимо. Первые три дня мы жили все с детьми, гувернанткой и учителем в четырех маленьких клетушках и очень бедствовали; теперь понемногу все пришло в порядок. По счастью, в десяти верстах от нас, в уездном городе живет наш старый друг доктор Флешер, которого Мери знает с детства и у которого согласилась лечиться. Главное лекарство, которое он прописал,— моцион на чистом воздухе, и Мери исполняет это охотно. Погода у нас чудесная: все время 2—3 градуса мороза без ветра. Сегодня ровно неделя, что мы здесь, и жене видимо лучше. У нее появился аппетит, спит она больше, разговаривает о разных предметах, и хотя все ее

---

\* Кажется, что эта старая лиса... тоже руку приложил к этому делу (фр.).

\*\* Прошу прощения за каракули (фр.).

\*\*\* мне еще надо побывать во многих местах. Искренне Ваша Катрин Визен (фр.).

\*\*\*\* Можете вообразить ее ярость! (фр.)

суждения отзываются крайним пессимизмом, но это легко объяснить долгим напряжением нервов. Примечательно, что с самого выезда из Петербурга у нее не было ни одного приступа лихорадки.

Теперь я не знаю, какими словами благодарить Вас, добрейшая графиня, за то горячее участие, которое Вы приняли в Мери, и за ту энергию, с которой Вы убедили и ее и меня немедленно уехать из Петербурга. Флешер говорит, что это ее спасло и что каждый лишний час, проведенный в Петербурге, мог повести к большим осложнениям. Жена сознает всю цену Вашей услуги и несколько раз порывалась Вам писать. Вчера она даже принялась за письмо, но, написав две-три фразы, не могла удержаться от рыданий, так что я уговорил отложить это до другого дня и принял на себя ответственность за ее молчание, которое при других обстоятельствах было бы непростительно.

По мнению Флешера, которое я вполне разделяю, болезнь Мери произошла оттого, что ее слабый организм не мог выдержать нелепого светского образа жизни и сопряженных с этою жизнью бессонных ночей. Надо надеяться, что с будущей зимы моя жена, умудренная горьким опытом, поведет свою жизнь иначе.

Если ее выздоровление будет идти такими же верными шагами вперед, я предполагаю дней через десять ехать в Петербург, куда меня призывают служебные обязанности, а в конце апреля взять отпуск и приехать сюда на все лето. Само собой разумеется, что в день приезда я явлюсь к Вам и сообщу Вам все подробности на словах.

Безмерно Вам преданный

*И. Бояров*

#### 51. ОТ ГРАФА Д.

*(Получ. 10 марта.)*

Милая Китти, посылаю тебе ключ от моего письменного стола. Вынь, пожалуйста, две тысячи и пришли их мне в клуб. Я в большом проигрыше и не хочу оставаться должен. Но так как Григорий болен, а с другими людьми посылать опасно, то попроси Мишу Неверова — он, вероятно, торчит у тебя — свезти пакет в клуб и вызвать меня в швейцарскую. Деньги лежат налево, под большим синим конвертом.

#### 52. ДЕПЕША ОТ Д. Д. КУДРЯШИНА.

*(Получ. 11 марта.)*

Стеща, Маня, Пиша, Паша, весь хор и все чавалы, а в числе их и я, Мигька, пьем здоровье нашей обожаемой графини и напоминаем ей обещание посетить опять нашу матушку-Москву белокаменную.

*Кудряшин*

(Получ. 11 марта.)

Любезнейшая сестра о господе и Сиятельная Графиня. Щедрый Ваш дар в пользу страждущих, попечению моему вверенных, я получил и шлю Вам мое усердное благодарение, хотя небезызвестно мне, что скромность Ваша чуждается благодарности... Что я говорю? Не только чуждается, но еще всемерно оную умаляет и отвергает.

Но если бы и довольно было скромности скрыть вовсе под своей завесой тьму тем благотворений Ваших, то самая Ваша жизнь к счастью и назиданию человечества под сим желаемым Вами спудом оставаться не может. Верная и добродетельная супруга, чадолюбивая и нежная мать, послушная и усердная дочь единой истинной церкви, Вы, как некий светильник, стоите на месте горнем, для всех взоров открытом, и мимо идущие люди недоумевают, чему более им дивиться надлежит: красоте ли внешней сего бесценного сосуда, или же его внутреннему негасимому свету.

О пожертвованной Вашим Сиятельством сумме будет завтра доложено мною известной Вам Высокой Особе.

Посылая Вам мое пастырское благословение, остаюсь Ваш смиренный слуга и богомолец

Никодим

## 54. ОТ М. И. БОЯРОВОЙ.

(Получ. 25 марта.)

Более месяца собиралась я писать тебе, мой милый, дорогой друг Китти, и всякий раз перо вываливалось из рук. Я столько передумала и перечувствовала за это последнее время, мне хочется все передать тебе, и я не знаю, с чего начать. Сегодня я, наконец, собралась с силами и начну с того, что от всего сердца благодарю тебя. Ты положительно спасла меня тем, что уговорила моего мужа немедленно увезти меня в деревню. Это доказывает, как хорошо ты знаешь меня и как глубоко ты понимаешь тот свет, в котором мы живем. В самом деле, что бы было со мной, если б я осталась в Петербурге? Запереться от всех было невозможно, а принимать приятельниц, которые приезжали бы ко мне, чтобы узнать о моем здоровье, но в сущности для того, чтобы посмотреть, как я страдаю и мучусь, выслушивать их притворные соболезнования и ядовитые намеки...

Знаешь, трех дней такой жизни было бы довольно, чтобы сойти с ума! Я не буду тебе писать о нашем путешествии и деревенской жизни, а также и о моем здоровье. Ипполит Николаич наверное был у тебя и все рассказал подробно. Я должна отдать справедливость Ипполиту Николаичу, он все время был очень деликатен и добр со мной, *il me soignait comme une véritable soeur de charité* \*, и хотя,

---

\* он ухаживал за мной, как настоящая сестра милосердия (фр.).

вероятно, догадался обо всем, но не сделал даже никакого намека. Только в день своего отъезда он сказал мне, как будто мимоходом: «Не напишете ли Вы несколько слов княгине Кривобокой? Вам следует поздравить ее с замужеством дочери, я сам отвезу ей ваше письмо». И я покорно уселась за письменный стол и поздравила эту ведьму и написала: «Je fais des vœux bien sincères pour le bonheur de Nadine...» \* Клянусь тебе, Китти, что солгала в последний раз!

Но разве можно жить в свете и не лгать? Я даже не могу себе представить вполне честной, правдивой жизни в этом омуте лицемерия и лжи. Мне и прежде приходили в голову такие мысли, но постоянный шум светской суеты заглушал голос совести, а теперь я вижу это сознательно и ясно. Не думай, что я нападаю на свет, чтобы оправдать себя. Я не ищу никаких оправданий, и даже прежде, когда моя жизнь проходила в каком-то тумане, я не считала себя правой. В Екатеринбург день, после твоего большого обеда, я поехала на вечер к другой имениннице — баронессе Визен. Когда я вошла, меня поразил состав общества; конечно, это произошло случайно. Нас было семь или восемь женщин, из которых у каждой была связь в свете, и каждая знала, что другие это знают. Мужчины, бывшие на вечере, конечно, знали также; разве какой-нибудь иностранец из дипломатов мог не знать, да и то вряд ли. Дипломаты, посещающие баронессу, знают все. Ну, кажется, чего бы уж тут гордиться? А между тем как величаво мы кланялись и переходили с места на место, какой был высокоподнятый тон разговора, как строго мы судили о лицах нашего круга и с каким высокомерным презрением относились ко всему остальному человечеству. Между прочим, речь зашла об этой бедной девушке... Ну знаешь, которая была лектрисой у графини Анны Михайловны и погибла из-за любви к ее сыну... Боже мой, какие громы негодования посыпались на эту несчастную! И странно, что больше всех негодовала и кричала Нина Карская, которую три месяца перед тем никто не хотел принимать в Петербурге. Я также сказала какую-то фразу осуждения в общем тоне, но тотчас почувствовала, что не имела права так говорить. И долго потом эта вырвавшаяся у меня фраза тяготила мою совесть, и я всякий раз краснела, когда вспоминала о ней. Когда я на днях сообщила часть этих мыслей Ипполиту Николаичу, он сказал мне: «Вы напрасно считаете ложь и лицемерие исключительной принадлежностью нашего общества; эти пороки присущи всем обществам и народам». Очень может быть, что присущи, но я других обществ не знаю, я говорю о нашем, которое знаю хорошо. А если это действительно так, то все-таки какое право имеем мы презирать других людей за то, что они так же дурны, как и мы?

Но свет не только лицемерен и лжив, он еще жесток и безжалостен. Наш прежний учитель Василий Степаныч объяснял мне теорию какого-то известного ученого, по которой выходит, что все в природе должно бороться, чтобы существовать<sup>23</sup>. Мы в свете ведем такую же ожесточенную борьбу, но только с той разницей, что для нашего

---

\* Я от всей души желаю счастья Надин... (фр.)



существования она вовсе не нужна. Каждый твой успех, каждый маленький проблеск счастья уже мешает жить другим, но пока еще тебе везет,— все за тебя. Зато ты чуть пошатнулась, чуть счастье тебе изменило,— тогда уж пощады не жди! А наши наряды и все эти украшения, на которые мы тратим такие сумасшедшие деньги,— какая их цель, какой *raison d'être*? \* Говорят, что все это делается для соблазна мужчин, но это неправда. Большинство их даже не замечает, что на нас надето. Конечно, им нравится, когда мы одеты к лицу, но ведь одеваться к лицу мы бы сумели и на гроши. Нет, эти наряды — наши орудия борьбы друг с другом, это наши ружья и пушки. Победа наша в том, чтобы приятельница А. покраснела от досады, чтобы приятельница Б. побледнела от злости... Вот видишь, Китти, когда я подумаю, что всю жизнь я прожила в этом крошечном аду и опять должна в него вернуться, холодные мурашки пробегают у меня по спине. Я сказала Ипполиту Николаичу, что хочу навсегда остаться в деревне; он отвечал, что это — фантазия выздоравливающей женщины, что я должна, ради воспитания детей и его служебной карьеры, жить зимой в Петербурге. Но только, с каким лицом я появлюсь в обществе, подумай, что будет со мной, когда я встречу Костю... Я не могу больше писать, окончу письмо завтра.

Третьего дня, когда я начала это письмо, была ужасная погода: шел мокрый снег и дул такой страшный ветер, что нельзя было выйти на балкон. Вчера взошло горячее, яркое солнце, и у нас началась весна. Если бы ты знала, какой восторг — начало весны в деревне! Это какое-то особенное чувство, я испытывала его в детстве, потом забыла. Только обыкновенно весна приходит понемногу, вчера же все как-то сразу зашевелилось и запело кругом. *Le printemps est entré sans s'annoncer, comme la baronne Wiesen* \*\*. Третьего дня гора была совсем белая, а сегодня верхушка ее уже почернела, и кое-где маленькие голубые цветочки приютились между голыми деревьями. Вчера мы провели целый день на воздухе. Вечером, когда все улеглись спать, я хотела продолжать это письмо, но меня неудержимо потянуло опять на воздух. Я закуталась в большой плед и несколько часов просидела в каком-то чаду на ступеньках балкона. Давно у меня не было так легко на душе. Так приятно было вдыхать этот воздух и свежий, и сильный, и в то же время какой-то ласковый, так загадочно мигали мне сверху яркие звезды; так отчетливо раздавался в глубокой тишине ночи немолчный говор бесчисленных ручейков! Ручьи тихо журчали и справа и слева от балкона и падали с шумом где-то там внизу, в глубине сада. И все они, казалось, говорили мне: «Слышишь, как мы бежим, словно дело делаем и спешим куда-то, а завтра от нас и следа не останется. Поверь, точно так же утечет и исчезнет все, что теперь тебя так волнует и мучит. Да и самая жизнь также уйдет и не оставит следа. Стоит ли вспоминать и загадывать, стоит ли роптать

---

\* смысл (*фр.*).

\*\* Весна пришла, не докладывая о себе, как баронесса Визен (*фр.*).

и томиться? Не жалею о том, что прошло, не бойся того, что будет... Успокойся, прости, забудь!»

Не смейся надо мной, Китти; не думай, что я стараюсь писать высоким слогом; право, я тебе пишу все, что чувствую на самом деле. Это не то, что в Петербурге, где мы, бывало, так восхищались природой на словах, а думали в это время совсем о другом. Есть и другое чувство, о котором я много говорила прежде, но которое испытала в полном объеме только теперь, это — любовь к детям. Конечно, я и прежде любила детей, но много думать о них мне просто было некогда. Моему Мите идет одиннадцатый год, и я только теперь узнала, как он умен и мил. Каждый день он или поражает меня каким-нибудь метким замечанием, или делает мне такой вопрос, который ставит меня в тупик, и я потом роюсь в книгах, чтобы ответить ему. Одно меня удивляет и мучит: перебирая со мной всех наших знакомых, он ни разу не произнес имени Кости. Неужели и он что-нибудь понимает? Несколько раз я хотела прекратить эту неловкость и сама заговорить о нем, но какая-то непреодолимая сила меня удерживала. А что, если я покраснею, назвав его? А что, если покраснеет Митя? Пытливый взгляд этих десятилетних глаз смущает меня больше, чем насупленные брови и важная осанка Ипполита Николаича.

Но довольно говорить о себе, позволь мне сказать несколько слов о тебе. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной во всех отношениях. Все успехи и почести, которых другие добиваются всю жизнь, приходят к тебе как-то сами собою. Всякий свой каприз ты приводишь немедленно в исполнение и без колебания переходишь ту черту, перед которой другая остановилась бы в страхе. В тебе живет какое-то убеждение, что никто и подозревать тебя не может. До сих пор это тебе удавалось, но ведь ты знаешь, милая Китти, *les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas* \*. Помнишь, что ты мне ответила раз ночью в Монплезире, когда я спросила, что тебе за охота беречь все эти письма, которые могут тебя скомпрометировать? Ты мне сказала: «Мой муж так во мне уверен, что если б даже он увидел меня в чьих-нибудь объятиях, он не поверил бы глазам своим». Но ведь это — большое преувеличение, Китти, *au fond ce n'est qu'une phrase* \*\*. Какая-нибудь неосторожность, какой-нибудь пустяк может тебя выдать, и тогда все здание рухнет, и муж возненавидит тебя тем сильнее, чем больше тебе верил, и свет накинется на тебя с ожесточением, чтобы отомстить за то поклонение, которым он так долго окружал тебя. Свет не любит тех, кому поклоняется добровольно. Послушайся меня, мой милый, добрый друг Китти: сожги свой знаменитый архив, а с ним вместе и все то, что делает этот архив интересным для тебя; одним словом, будь действительно такою, какою считают тебя другие. Тебе это не будет стоить особенных усилий: я ведь знаю, что у тебя не было ни одного серьезного увлечения. Расставаясь со своими «капризами», ты ведь не испытываешь и сотой доли того, что выстрадала я из-за моего первого и последнего увлечения. Оно

\* дни проходят за днями, но они не похожи друг на друга (фр.).

\*\* в сущности это всего лишь фраза (фр.).

длилось около двух лет, но на него ушло у меня столько сил и чувства, что эти два года казались мне целой жизнью, и я сначала не понимала, как все это могло кончиться. Теперь я не понимаю, как оно могло начаться, и, конечно, отдала бы половину того, что мне осталось прожить, только за то, чтобы оно никогда не начиналось.

Не сердись, дорогая моя Китти, что твоя взбалмошная, безумная Мери дает тебе советы, но поверь, что советы эти идут из глубины сердца, полного любви и благодарности к тебе. Ты докажешь, что не сердишься, если напишешь мне такое же длинное письмо, как мое. Напиши мне, что делается у вас в свете. Когда Ипполит Николаич сядет на своего министра, он целый день повторяет: «Уйду в частную жизнь». Вот и я ушла в частную жизнь, но все эти светские мелочи интересуют меня, как актера, который кончил свою роль, пришел в зрительную залу и с любопытством следит за тем, как доигрывают его товарищи. Напиши, много ли говорят обо мне в обществе? *On me déchire à belles dents, n'est-ce pas?* \* Я воображаю, как старается баронесса Визен! Ты, конечно, будешь на свадьбе Кости, опиши мне все, все до мельчайших подробностей. Я нисколько не сержусь на него, бог с ним, — может быть, все к лучшему, но только мне от души жаль его: он не будет счастлив. Где же это глупой Наденьке любить, как я любила когда-то! Я написала: когда-то... А давно ли это было? Крепко тебя целую.

Твоя Мери

P. S. Поклонись от меня очень Меше Неверову, он славный, добрый мальчик. Неужели и его испортит свет? Я никогда не забуду выражения его лица, когда он приехал проводить меня на железную дорогу и передавал мне извинения брата. Он сказал: «Мой брат сегодня дежурный», и при этом покраснел до ушей. Он даже еще не умеет лгать, не краснея! А что это была ложь, — я знала очень хорошо, потому что накануне прочла в приказе, что дежурным на этот день назначен Сироткин 1-й. Эти братья Сироткины ужасно меня интересовали, потому что беспрестанно дежурили всю зиму — то один, то другой. Увижу ли я когда-нибудь этих Сироткиных и будут ли они опять также дежурить в будущем году? Да и вообще, что будет со мной зимою? Придется ли мне играть какую-нибудь роль в комедии вашего света или я останусь безучастной зрительницей этой бесцельной суеты, этой вечной борьбы всевозможных самолюбий и интересов? Кто знает? *Qui vivra — verra* \*\*.

---

\* Мне перемывают косточки, не так ли? (фр.)

\*\* Поживем — увидим (фр.).



## ДНЕВНИК ПАВЛИКА ДОЛЬСКОГО

6 ноября

Вчера я пережил очень странное впечатление. Мне уже с неделю нездоровится. Не то чтобы начиналась серьезная болезнь, а так, чувствую себя как-то не по себе: то головная боль, то кашель, по ночам бессонница, днем какая-то непонятная слабость. Вчера я решил пригласить доктора, которого часто встречаю у Марьи Петровны. Доктор проделал все, что в подобных случаях проделывают доктора. Он осмотрел и прослушал меня вдоль и поперек, определил температуру тела, постучал грудь какими-то палочками, полюбоществовал насчет языка и пульса, нашел, что все в порядке, и уселся в раздумьи за письменный стол. Не дописав рецепта, он вскочил и начал опять прикладывать голову к моему сердцу, причем неодобрительно качал головой. Я попросил объяснения.

— Видите ли,— начал он, запинаясь и ища выражений,— положим, что сердце у вас в порядке, но — как вам сказать?.. посмотрите на ваши туфли: вы их давно носите и можете еще долго проносить, а между тем кончики у них побелели. Износились. То же и с сердцем, ведь и оно может износиться. Вам который год?

— Который год? Мне?

— Ну да, вам. Отчего мой вопрос вас так удивляет?

— Да потому, что он мне никогда не приходил в голову. Мне за сорок.

Доктор засмеялся.

— Я не сомневаюсь в том, что вам за сорок, но сколько именно? Не ближе ли к пятидесяти?

— Пожалуй, что и так.

— Ну, вот видите! Человек в пятьдесят лет должен сказать, что он старик, и не удивляться тому, что его сердце работает слабей, чем в молодые годы.

И, с уверенностью подойдя к письменному столу, доктор навалил целых три рецепта.

— Можно ли мне, по крайней мере, выехать сегодня? — спросил я с робкой мольбой.

— Ни под каким видом! Завтра принимайте каждый час обе микстуры поочередно, на ночь втирайте мазь, а послезавтра я заеду.

— Но я обещал непременно обедать у Марьи Петровны. Вы знаете, что сегодня приезжает к ней племянница...

— Это ничего не значит! Я от вас еду к Марье Петровне и скажу ей, что запретил вам выезжать... А племянницу посмотреть успеете: она прогостит у Марьи Петровны всю зиму.

И, небрежно сунув в карман бумажку, которую я вручил ему как-то крадучись,— точно совершал какое-нибудь постыдное дело,— доктор важно удалился.

Этот докторский визит навел меня на самые грустные размышления. Как же это так? С тех пор как я себя помню, я всегда чувствовал себя молодым, и вдруг оказывается, что я старик! Еще вчера я пил, ел, спал и волочился за женщинами, как молодой человек, теперь все должно пойти иначе.

Сейчас, роясь в своем письменном столе, я нашел старую, порывевшую от времени тетрадь с заголовком: «Записки о моей жизни. Дрезден». Я начал писать эту тетрадь много лет тому назад, живя за границей, в самом тревожном настроении духа. Выписываю оттуда последние строки: «Пора кончить. Я вижу, что не понимаю ни себя, ни окружающей меня жизни. Придет время, когда все уляжется в душе, наступит эпоха грустной старости,— тогда, может быть, примусь опять за эти записки».

По-видимому, эта эпоха наступила. Давно все улеглось в душе, жизненный путь почти пройден, пора подводить итоги. Я ведь не только ел, спал и волочился: я еще всю жизнь наблюдал и размышлял, мне хочется уяснить себе результат этих

Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет...<sup>1</sup>

Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этих записок; во всяком случае, я рад, что нашел для себя подходящее занятие.

Но все-таки, почему же я старик? Это чистейший вздор! Лицо у меня молодое, нет ни одного седого волоса, на балах я танцую, маменьки смотрят на меня как на жениха, а главное — все зовут меня Павликом Дольским. Только люди совсем мало знакомые называют меня Павлом Матвейчем, а то все Павлик да Павлик... Не станут же звать Павликом старика! Еще на днях в клубе я слышал, как один господин говорил старичку, искавшему партию в вист: «Да вот, у вас есть Павлик Дольский...» Меня тогда эта фамильярность даже несколько покорибила, потому что этого господина я почти не знаю, но теперь вижу, что он был совершенно прав. Что же ему делать, когда все меня так называют? А этот противный доктор, который сам молодится и бросает нежные взгляды на Марью Петровну, уверяет, что я старик. Вздор, вздор и вздор!

Сегодня я вынул из письменного стола коллекцию моих портретов, которую я вывез из деревни после смерти матушки, и начал ее рассматривать. Первый портрет — дагерротип, сделанный в тот год, как меня привезли в Петербург. Он уже совершенно выцвел, вместо лица какое-то белое пятно. Второй портрет уже фотография, я изображен в камер-пажеском мундире. Какой, однако, я был молодец тогда! Потом я в гусарском ментике, потом во фраке с цепью мирового посредника<sup>2</sup>, потом в камергерском мундире и еще в нескольких группах. Одна группа, с Алешей Оконцевым и его женой,— вызвала в моей душе самые тяжелые воспоминания и разбудила мою давно заснувшую совесть. Долго я не мог оторваться от этого немного свидетеля минувших бурь, потом сел перед зеркалом и начал сравнивать свое лицо с портретами. По моему мнению, больше всего у меня сходства с пажеским портретом. Почти то же лицо, только у меня теперь большие усы, которых тогда не было, да, по правде сказать, волос стало меньше. Зато взгляд, выражение — все то же самое. За этим занятием застал меня доктор.

— Ну, скажите, Федор Федорович,— спросил я его,— похож я на этого пажа? Не правда ли, что почти нет разницы?

— Ну, кое-какая разница есть. Во-первых, у пажа нет морщин...

Этот доктор решительно сведет меня с ума. Конечно, слово «морщины» давно мне знакомо, и я не раз употреблял его в разговоре, но никогда не отдавал себе ясного отчета, что это собственно такое.

— Где же у меня морщины? — воскликнул я с отчаянием.

Доктор указал где.

— Да какие же это морщины? Это просто случайные углубления кожи.

— Положим, но когда вы были пажом, этих случайностей у вас не было, а теперь есть.

— Это плоды размышлений, долгих дум...

— Да, долгих дум, а главное — долгих лет. Ну, не волнуйтесь, успокойтесь и дайте мне послушать ваше юное сердце.

У покойной матушки, которая была женщина больная, и у Марьи Петровны, которая постоянно здорова и всю жизнь лечится, я насмотрелся на разные типы докторов. Федор Федорович принадлежит к самому противоположному типу: это доктор острящий и иронизирующий. Я всегда боюсь, что в рецепте он пропишет какой-нибудь латинский каламбур, от которого потом не поздоровится.

19 ноября

Сегодня посетила меня Марья Петровна в сопровождении доктора.

Марья Петровна весьма курьезная женщина; какой-то серой ниткой прошла она чрез всю мою жизнь. Я, кажется, был влюблен в нее в детстве. Это обстоятельство я, может быть, давно бы забыл, если бы она сама по временам не напоминала о нем, начиная свою

фразу так: «Vous qui m'avez tant aimée...» \* Мы с ней одного возраста, но в прошлом году из ее слов оказалось, что я старше ее на пять лет. Я был ее шафером, когда она выходила замуж за пожилого генерала Кунищева, умершего шесть лет после свадьбы и оставившего ей на Сергиевской дом, в котором она живет зимой, и большое имение около Рязани, куда она уезжает на лето. Теперь это довольно полная, свежая блондинка, прекрасно сохранившаяся не только для настоящих, но даже для своих фиктивных лет. Она женщина неглупая, но казалась бы много умнее, если б не была так рассеянна. Она внимательно следит за литературой, а «Revue des deux Mondes»<sup>3</sup> читает от доски до доски и долго думает о прочитанном, так что из ее разговора я всегда безошибочно могу заключить, на какой статье она остановилась. Раз за обедом, когда речь шла о новой французской актрисе, она вдруг прервала разговор, обратясь ко мне с неожиданным вопросом: «Не правда ли, Paul, какая странная женщина была эта византийская императрица Зоя?»<sup>4</sup> В другой раз она спросила у одного дальнего родственника ее покойного мужа, Коли Кунищева, ходившего к ней в отпущ из юнкерской школы: «Что вы думаете, Nicolas, о положении феллахов в Египте?»<sup>5</sup> Тот в ответ только звякнул шпорой.

Я вижу с Марьей Петровной почти ежедневно. Мне с ней большею частью скучно, но меня тянет к ней, как в тихую, надежную и привычную пристань. Мы просиживаем с ней иногда целые вечера, говоря о поэзии и любви и слегка перебирая городские сплетни. Она любит музыку и охотно играет ноктюрны Шопена, но исполняет их с таким чувством и так замедляет темп, что их узнать нельзя, а иногда от рассеянности настукивает всякую дребедень. Я заметил, что когда ей особенно грустно, она начинает играть «Les cloches du monastère» \*\*. При первых звуках этой плачевной пьесы меня немедленно клонит ко сну.

Любовь Марья Петровна допускает только платоническую. С упомянутым выше Колей Кунищевым случился в прошлом году у нее характерный эпизод. Когда он вышел в офицеры, с ним началась необычайная возня. Марья Петровна беспрестанно его приглашала и даже устраивала для него вечера, несмотря на свою нелюбовь к большим приемам. Я тогда даже порадовался за нее, думая, что, проговорив всю жизнь о любви, она наконец сама влюбилась как следует. Кончилось это тем, что однажды рано утром подали мне лаконическую записку: «Mon cher Paul, venez me voir, j'ai à vous parler» \*\*\*. Я застал Марью Петровну в слезах, окруженную микстурами и примочками.

— Я просила вас приехать,— начала она слабым голосом,— потому что считаю вас истинным другом. Вы не поверите, как тяжело разочаровываться в людях. Я совсем разочаровалась в Nicolas — он меня не понял...

— Но что же такое он сделал?

— Я не могу вам сказать, что он сделал, но скажу одно: он совсем, совсем меня не понял...

---

\* Вы, кто меня так любил... (фр.)

\*\* «Монастырские колокола»<sup>6</sup> (фр.).

\*\*\* Милый Поль, приезжайте ко мне, мне нужно с вами поговорить (фр.).

Не добившись толку, я поехал к Коле. Тот принял сначала мои расспросы довольно сурово.

— Да поймите, Коля,— сказал я ему,— что я вовсе не приехал производить следствие: в сущности, дело это вовсе меня не касается. Я просто, как друг Марья Петровна и... ваш, хочу прекратить недоразумение, возникшее между вами. Что такое у вас произошло?

— Да, право же, ничего не произошло,— отвечал он, засмеявшись чему-то.— Я просидел у тетушки весь вечер, она все играла ноктюрны, потом подали ужин, потом не знаю, почему... ну, одним словом, я, может быть, лишний раз поцеловал у нее ручку... Она рассердилась и ушла.

— Вполне верю, что вы не хотели оскорбить Марью Петровну, но так как ее все-таки оскорбили, то что вам стоит извиниться перед ней?

— Помилуйте, да я готов сто, тысячу раз извиниться.

Я сейчас же повез виноватого к Марье Петровне. Он почтительно извинился, получил прощение, но с тех пор почти прекратил свои визиты к тетушке. На этот раз он ее понял совсем хорошо.

Сегодня Марья Петровна вошла ко мне вся в черном и с лицом, с которым входят на панихиду. Осмотрев меня, она несколько просяла.

— Я нахожу, Paul, что вы не так плохи, как говорил мне Федор Федорович.

Доктор сделал ей выразительный знак, который совсем не исполнил своего назначения, потому что она его не заметила, а я заметил.

— Правда, Paul немного осунулся, но посмотрите: у него даже есть румянец... И знаете, Федор Федорович, мне кажется, что его совсем не надо лечить этими вашими сильными средствами... Ему бы можно дать *pulsatilla* или *mercurius solubilis* \*. Как вы думаете?

— Вы знаете, Марья Петровна,— отчеканил резко доктор,— мое мнение о гомеопатии...

— Ах, да, *pardon*, я забыла, что вы здесь, но все-таки я думаю, что *pulsatilla* не может повредить.

— Если не может повредить, то не может и помочь, а если может помочь, то может и повредить... это *cercle vicieuse* \*\*, из которой вы не выйдете...

— Сколько раз я вам говорила, Федор Федорович,— заметила тоном нежного упрека Марья Петровна,— что *cercle* мужского рода и что надо говорить: *cercle vicieux*, а не *vicieuse*...

Доктор, раздосадованный поправкой во французском языке, к которому имеет непобедимое пристрастие, а главное — упоминанием о гомеопатии, объявил, что у него есть опасно больной, к которому он должен немедленно ехать. Марья Петровна, несмотря на мои просьбы, не решилась остаться одна и также уехала. Вероятно, она ожидала и от меня какой-нибудь выходки вроде Коли Кунищева.

---

\* Названия гомеопатических лекарств: сон-трава, рутутная (*lav.*).

\*\* порочный круг (*фр.*).



Впрочем, у нее нашелся для этого отличный предлог — племянница. Об этой племяннице, только что вышедшей из института, она протрубила мне уши с самого приезда из деревни. Она вообразила, что она ужасно ее любит, хотя видела ее в последний раз, когда той было три года. Теперь она уверяет, что племянница ее очаровательна, называет ее «l'enfant de mon coeur» \* и очень жалеет, что мне еще не удалось ее видеть. А я об этом не сожалею нисколько. Это, вероятно, какая-нибудь сантиментальная белобрысая институтка вроде нее самой.

1 декабря

Вот уж и три недели прошли с начала моей болезни. Я испробовал множество всяких микстур и мазей; после каждого нового средства доктор уверяет, что оно подействовало, а между тем все не выпускает меня из-под домашнего ареста. По вечерам меня посещали кое-какие приятели, сегодня не пришел никто, и я с радостью принимаюсь за эти записки.

Чтобы подводить итоги прошлой жизни, прежде всего надо решить, какой я собственно был человек: хороший или дурной, умный или глупый, счастливый или несчастный. Я закурил сигару, уселся на диван и часа два размышлял о первом вопросе. Я пришел к заключению, что это вопрос неразрешимый даже для правдивейшего из людей. Когда человек старается припомнить свою прежнюю жизнь, ему сейчас же необычайно ярко представляются его хорошие поступки: тому-то сделал добро, того-то спас, тогда-то мог сделать гадость и воздержался. Воспоминания о дурных поступках несравненно бледнее. Если же на вашей совести вдруг встанет какой-нибудь несомненно скверный поступок, то та же услужливая совесть делается немедленно вашим собственным присяжным поверенным и спешит придумать всевозможные оправдания, как будто боится, что в случае, если вы признаете себя виновным, вас немедленно сошлют в места хотя и не столь отдаленные, но все же недостаточно центральные. Такое чувство испытал я сейчас и испытываю всякий раз, когда вспоминаю об Алеше Оконцеве... Но об этом когда-нибудь после.

Оценить свои свойства еще труднее, чем поступки. Когда мы судим других людей, у нас и тогда в запасе целый лексикон оттенков, из которых мы выбираем любой, смотря по надобности. Вот три человека, одинаково блюдущих свою собственность. Из них первый — нам симпатичен, мы его называем бережливым, благоразумным; второго мы не любим — он на нашем языке скупой; третьего мы терпеть не можем — он скряга. Историки в своих приговорах большею частью руководствуются подобной симпатией, или, лучше сказать, капризом. Не погрешая против истины, они всегда могут выбрать оттенок, могут назвать известное историческое лицо строгим или жестоким, добрым или слабым. Само собою разумеется, что при суждении о своих собственных свойствах человек, наиболее

---

\* дитя моего сердца (фр.).

желающий остаться правдивым, будет выбирать наиболее нежные оттенки. Впрочем, бывали примеры, что люди изображали в самых черных, умышленно сгущенных красках свое прошедшее. Для таких публичных покаяний нельзя лучше выбрать эпиграфа, как известное изречение: «Смирение паче гордости». Из глубины этих авторских исповедей выглядывает горделивая мысль: «Вот вы видите, читатели, до какой степени я строг к своему прошедшему; из этого посудите, каким совершенством я стал теперь». До завтра.

2 декабря

Умен я или глуп? Если бы мне врасплох предложили подобный вопрос о любом из моих знакомых, я бы затруднился на него ответить сейчас же, без размышления. Я не говорю о гениях или об идиотах, но ведь и тех и других немного. Тем более мне трудно произнести приговор о себе. Вообще понятия об уме весьма разнообразны. В обществе большею частью называют умным того, кто знает наизусть много французских каламбуров, или того, кто всех ругает. В ученном мире считается умным тот, кто имел терпение или досуг прочитать наибольшее количество ненужных книг; в деловых сферах тот, кто надул наибольшее количество людей. Назвать кого-нибудь умным или глупым — решительно ничего не стоит; это часто зависит от расположения духа. Вот я назвал Марью Петровну неглупой, хотя и рассеянной женщиной, но, когда я это писал, я был в благодушном настроении. Будь я тогда на что-нибудь зол, я бы смело мог назвать ее глупой, — и, право, был бы недалек от истины. Вчера она-таки прислала мне гомеопатические крупинки со строжайшим приказом не говорить об этом доктору. Сегодня Федор Федорович вошел ко мне с вопросом:

— Ну, что, помогла ли вам *pulsatilla*?

— От кого вы это знаете?

— Конечно, от Марьи Петровны.

По моему мнению, логика — единственное мерило ума, и с этой точки зрения я не могу признать себя умным. Часто я делал не то, что говорил, что думал. А между тем могу поклясться, что никогда не лгал умышленно, с расчетом. Моя старая тетушка Авдотья Марковна, распекая меня однажды за какую-то отроческую шалость, сказала: «Сам-то ты умный, да башка у тебя глупая». Мне кажется, что она была права.

Я родился в дворянской, строго консервативной семье. Воспитание в корпусе и служба в полку еще более укрепили это направление. Вследствие главного и единственного романа моей жизни, о котором речь впереди, я вышел в отставку, поселился в деревне и попал в мировые посредники. Наша губерния отличалась необыкновенно либеральными посредниками, и в числе их я был одним из самых либеральных. Как это случилось, я теперь объяснить не могу. Впрочем, в то время все эти понятия перепутались до смешного; каждый мог считать себя чем угодно. С детства мне внушали, что консерватор должен следовать правительственному направлению, а тут случилось,

что правительство было либеральнее общества. Наш губернатор, когда-то один из самых жестоких помещиков, теперь плакал от умиления при слове «освобождение». Конечно, если бы правительство задумало опять закрепить крестьян, его слезы умиления текли бы еще обильнее. Подобно этому губернатору я громил и карал гнусных плантаторов и крепостников во имя либерального направления, которое для сокращения тогда называлось просто «честным». Был ли я вполне искренен? И да и нет, как говорит одна моя знакомая дама, желающая дать понять, что она все знает, и боящаяся попасть впросак. Иногда на меня находили минуты тяжелого раздумья. Вот, думал я, дядя Платон Маркович... до семидесяти лет прожил он рыцарем чести; доброты он необычайной, крестьяне в нем души не чают. Но он человек старого закала, ему с новыми идеями освоиться трудно, он боится для своих детей полного разорения. Что же мудреного, если он отстывает, сколько может, свои интересы? Неужели и его следует признавать нечестным. Но эти минуты раздумья заглушались шумом общих совещаний, газетных статей, а главное — моды, и мы громили и карали и терроризировали губернию, не делая никакого различия между людьми вроде Платона Марковича и настоящими корифеями и виртуозами крепостного права. Очень может быть, что такое страстное, а следовательно, несправедливое отношение к делу было необходимо для той исторической роли, которую нам пришлось сыграть. Когда эта роль кончилась, мы сошли со сцены, и я совсем естественно возвратился в прежний круг людей и понятий. В прошлом году несколько бывших террористов сошлись в Петербурге. Я сохранил с ними дружеские отношения, и мы сговорились вместе обедать в ресторане. Сначала мы чувствовали какую-то неловкость, но, под влиянием вина и старых воспоминаний, это ощущение прошло, и к концу обеда пошли опять «крепостники», «честное направление», «борьба с плантаторами» — весь этот арсенал когда-то страшных, теперь ненужных слов. Мы вообразили себя опять калифами на несколько часов. Был ли я искренен на этот раз? Опять отвечу словами знакомой дамы: и да и нет. Понятия, сопряженные с этими словами, давно отошли в область анахронизма. Прежде эти слова представляли собой наплыв новых идей, ломку всей жизни; теперь это вопрос терминологии.

6 декабря

На очереди стоит вопрос: был ли я человеком счастливым или несчастным? С общей точки зрения, я, без сомнения, был очень счастлив, потому что имею независимое состояние и то, что очень неопределенно называют положением в обществе. Но ведь деньги — благо отрицательное; о них, как о здоровье, думаешь только тогда, когда их нет. В достижении именно того, чего нет, и заключается, по моему мнению, счастье, а потому оно длится одну минуту. Едва человек достиг того, чего добивался, он уже желает большего. Да и эта минута бывает обыкновенно отравлена вмешательством в жизнь друзей или врагов, что почти одно и то же.

Что такое друзья и что такое враги? Настоящая дружба, основанная на долговременном знакомстве, на взаимной любви и уважении, встречается в жизни каждого человека крайне редко, а для тех отношений, при которых людей называют приятелями, не требуется ни уважения, ни любви. По-французски и друзья и приятели называются *les amis*, по-русски оттенок имеет большое значение. Приятели — такие люди, которые считают обязанностью рыться в вашей душе и жизни, которые при каждой встрече с вами выражают большую радость и которые весьма мало печалются, если вас постигнет неудача или даже горе. Я заметил, что приятельские отношения возникают гораздо чаще вследствие общих пороков, чем вследствие общих добродетелей. Общие добродетели или таланты возбуждают соревнование, а следовательно, и зависть. Человеку же, сознающему в себе какой-нибудь порок, приятно встретить этот порок в других людях и свойственно находить этих людей прекрасными, чтобы оправдать самого себя.

Вражда иногда возникает между людьми при столкновении их взаимных интересов. Это вражда естественная, это вражда двух собак из-за брошенной между ними кости. Но часто причины вражды также эфемерны и случайны, как и причины дружбы. Вы первый раз встречаете в знакомом доме господина NN и говорите при нем, что певица Сольфеджио поет фальшиво. Если бы NN промолчал или согласился с вами, вы, может быть, были бы с ним всю жизнь в приятельских отношениях. Но NN влюблен в певицу Сольфеджио и возражает вам довольно резко. Вы удивлены тоном возражения и со своей стороны говорите какую-нибудь колкость, не выходящую из пределов вежливости. Этого довольно: NN ваш враг до гроба, он следит за каждым вашим словом, подмечает ваши слабые стороны, не остановится, может быть, и перед клеветой.

Как часто такая эфемерная вражда позорит более высокие умственные сферы. Вот известный, уважаемый литератор Икс напечатал статью об общине. Другой не менее уважаемый литератор Зет не любит общины и возражает на статью Икс, выражая, впрочем, полное уважение к таланту автора. Икс, тем не менее, недоволен и в своем ответе заявляет, что Зет недостаточно знаком с предметом, о котором взялся писать. Зет со своей стороны уличает Икса в неверности приведенной им цитаты. Полемика разгорается все более и более; в конце концов, обмен мыслей приводит Икса к тому, что он намекает на двусмысленное положение жены Зета, а Зет весьма прозрачно рассказывает о том, как Икса побили при открытии какого-то увеселительного заведения. Об общине в этих статьях, к удивлению и негодованию публики, не упоминается вовсе.

Но в том-то и дело, что публика нисколько не удивляется и не чувствует негодования. Большинство публики гораздо менее интересуется вопросом об общине, чем вопросом о побитии Икса и о шашнях Зетовой жены.

Однако я отдалился от предмета моих рассуждений не хуже Икса и Зета. Возвращаясь к вопросу о счастье, я опять невольно припоминаю ту эпоху моей жизни, о которой не раз упоминал здесь,—

эпоху лихорадочной деятельности и так называемого безумного счастья, отравившего всю мою последующую жизнь. Постараюсь завтра правдиво рассказать эту историю, которая может дать ответ на многие предложенные мной вопросы.

7 декабря

Алеша Оконцев был мой ближайший сосед, дальний родственник и самый близкий друг моих детских и отроческих лет. Я никогда не встречал человека более симпатичного. Оригинальный ум соединялся у него с самым нежным, отзывчивым и младенчески доверчивым сердцем. Ему было двадцать три года, когда он женился на московской барышне из богатой и знатной семьи. Никогда не забуду я моей первой встречи с Еленой Павловной. Я взял в полку трехмесячный отпуск и ехал в свою Васильевку устраивать дела по случаю «эмансипации»<sup>7</sup>, как тогда выражались. Проездом в Москве я зашел в Троицкий трактир и увидел в глубине залы, почти возле органа, Алешу с молодой и стройной женщиной. Он бросился мне на шею и представил меня жене.

— Ведь вот, Лиля,— сказал он в непритворной радости,— у тебя, должно быть, было какое-нибудь предчувствие, что мы его встретим здесь. Недаром ты так заинтересовалась им по моим рассказам! Представь себе, Павлик, целый день вчера она приставала ко мне, чтобы непременно сегодня завтракать в трактире. Я понять не мог, отчего ей взбрела в голову такая фантазия...

— Никакого предчувствия у меня не было,— отвечала, улыбаясь, Лиля.— Я просто никогда не слышала органа и уже давно решила, что как только выйду замуж, непременно поеду завтракать в трактир.

Завтрак прошел очень весело. Помню, что с первого раза красота Елены Павловны не произвела на меня особенного впечатления. Меня только поразил ее взгляд, странный, загадочный, устремленный вдаль. Казалось, что в этих зеленоватых глазах застыл какой-то вопрос, на который никто не мог дать ответа. После завтрака ей пришла в голову новая фантазия: ехать в фотографию и снять группу в память завтрака. Мы, конечно, исполнили ее желание, и эта группа, которую я потом назвал пророческой, остается у меня единственным памятником прошлого. В тот же день вечером мы выехали вместе из Москвы в деревню. Между нашими усадьбами было не более четырех верст, и мы, конечно, виделись ежедневно. Месяца через два я стал замечать, что загадочный взгляд останавливается подолгу на мне... Что я влюбился в Елену Павловну, в этом нет ничего удивительного, но почему она меня полюбила, это до сих пор остается для меня загадкой. Алеша был гораздо красивее меня, а во всех других отношениях я даже не смею сравнивать себя с ним... И роман наш начался, когда еще полугодом не прошло с их свадьбы.

После, когда я обсуждал мое тогдашнее поведение, меня утешала мысль, что я долго боролся со своим чувством. Увы! должен сознаться, что если я и боролся, то борьба была не особенно упорна. Будь я вполне честным человеком, я бы уехал, не дождавшись конца отпуска. Но

я не уехал, потом взял отсрочку, потом вышел из полка, принял должность мирового посредника и два года прожил в деревне. Эти два года — самая интересная и самая позорная эпоха всего моего существования. Я жил полной жизнью, я не всего себя отдал Елене Павловне; обязанности мирового посредника занимали более половины моего времени, любовь была мне скорее отдыхом и развлечением, следовательно, я даже не имею оправдания в силе и могуществе увлечения. Зиму Оконцевы проводили в губернском городе; я нанял флигель во дворе того дома, который они занимали, и ездил к ним, пользуясь каждой свободной минутой. Не могу сказать, чтобы совесть моя оставалась все время спокойна. Иногда я без ужаса не мог смотреть на доброе, доверчивое лицо Алеши, но самое это сознание глубины моего преступления, вместе с постоянным страхом быть пойманным, придавало всему роману какую-то особенную, скверную прелесть.

В конце второй зимы Алеша простудился и заболел очень серьезно. Елена Павловна не отходила от его постели и с замечательным самоотвержением исполняла обязанности сиделки; но, когда Алеша стал выздоравливать, она не могла скрыть своей тяжелой, постоянно возраставшей тоски. Дело в том, что доктора потребовали, чтобы Алеша непременно уехал на год в теплый климат. Отправить его одного Елена Павловна не могла, а перенести разлуку со мной ей казалось невозможно. Напрасно я уверял ее, что приеду летом за границу,— она была неутешна. Наконец, в конце апреля Алеша был признан окрепшим для путешествия, и отъезд был назначен через два дня. В этот день я засиделся у Оконцевых очень поздно. Вечер был такой теплый, что дверь на балкон была отворена, и Алеша с наслаждением вдыхал в себя свежий весенний воздух. На этот раз Елена Павловна оживилась, весело болтала о предстоявшем путешествии, потом приготовила мужу лекарство и с улыбкой сказала мне, что пора и честь знать. Я был уже за дверью, когда Алеша опять позвал меня.

— Вот видишь, Павлик,— сказал он, крепко сжимая мою руку,— я хотел сказать тебе... Ты не можешь себе представить, как я счастлив тем, что могу ехать, но мне очень тяжело расстаться с тобой. Дай мне слово непременно приехать к нам летом.

Никакие горькие упреки Алеши не перевернули бы так мою душу, как эти простые дружеские слова. Какой-то камень всю ночь давил мне сердце, смутное предчувствие неизвестной и неизбежной беды не давало мне спать. Только к утру я забылся тяжелым, тревожным сном.

Я был разбужен известием, что Алеша умер. Доктора совсем потеряли голову при этом неожиданном исходе болезни; потом решили, что это произошло от острого рецидива, и успокоились. Главной виновницей рецидива была признана отворенная дверь балкона. На панихидах бывал весь город и все были поражены глубокой, доходившей до отчаяния скорбью Елены Павловны. Мне и в голову не приходило усомниться в ее искренности, потому что я сам буквально изнемогал под тяжестью стыда и горя. На похоронах она билась головой о стенки гроба и грохнулась в обмороке со ступеней ката-

фалка. Я не знал, удобно ли мне ее посетить в этот день, но она вывела меня из затруднения, написав, что будет ждать меня в девять часов. Я застал ее бледной, но спокойной, в новом белом капоте с кружевами. Она встретила меня словами:

— Какое счастье, что все это, наконец, кончилось!

И с улыбкой протянула мне руку.

Я так был ошеломлен этими словами, и улыбкой, и костюмом, что не мог произнести ни слова. Мне казалось, что я стою в темном-темном месте и что какая-то бездна шевелится у меня под ногами. Вдруг яркий, зловещий свет осветил этот мрак и эту бездну. В мою отуманенную голову с необычайной ясностью ворвалась мысль, что Елена Павловна отравила Алешу. В ту самую минуту, как я это подумал, она произнесла французскую фразу, смысл которой заключался в том, что женщина, когда полюбит, то не остановится ни перед какой жертвой, а мужчины (я помню, что она сказала: «vous autres» \*) даже не умеют оценить такую жертву...

Теперь, если бы Елену Павловну судили за убийство мужа и я бы был присяжным, я по сести не решился бы признать ее виновной. Но в тот ужасный день сказанная ею фраза так совпала с моей мыслью, что у меня не оставалось и тени сомнения. Я хотел броситься на нее и вынудить сознание, хотел бежать и потребовать, чтобы немедленно вырыли и вскрыли тело Алеши... Ничего этого я не сделал. Я совладал с собою, извинился головной болью и ушел, обещая Елене Павловне прийти к ней на следующее утро. Кажется, я даже поцеловал ее в лоб на прощанье. На следующее утро я с рассветом ускакал в Васильевку, наскоро сдал дела и уехал за границу. Четыре года я слонялся по Европе, переезжая с места на место и нигде не находя покоя. Мысль, что я хотя косвенный, но настоящий убийца Алеши, преследовала меня всюду. Елена Павловна пробовала мне писать, сначала умоляя меня вернуться, а потом осыпая меня упреками,— я не отвечал ей. Я думаю, что если бы она где-нибудь неожиданно явилась передо мною со своей загадочной улыбкой, я бы опять бросился к ее ногам и поверил бы каждому ее слову; но письма ее были желчны и черствы,— и только укрепляли мои подозрения. Об этих подозрениях она не упомянула ни разу; может быть, она ничего не знает до сих пор...

Наконец, время взяло свое. Я вернулся в Россию, поселился в Петербурге, поступил вновь на службу, записался в клуб и начал ту праздную светскую жизнь, при которой день проходит за днем, не принося с собой ни радости, ни горя, убаюкивая разум и совесть однообразным шумом и по временам волнуя сердце самой мелкой борьбой самых крохотных самолюбий. В Васильевку я ездил только раз, когда получил известие о тяжелой болезни матушки. Елену Павловну я там не застал. Мне сказали, что года через два после смерти Алеши она вступила в новый брак с каким-то польским графом, вскоре овдовела снова и жила в своих новых польских поместьях. Потом, в течение пятнадцати лет, я не имел о ней никаких известий. В начале

---

\* ваш брат (фр.).

прошлой зимы я сидел на утреннем приеме у княгини Козельской и уже собирался уезжать, когда возвестили графиню Завольскую.

— Это моя старая московская приятельница,— пояснила нам хозяйка дома.— Мы вместе выезжали, *elle était bien belle alors* \*. Теперь она приехала сюда, чтобы вывозить дочерей.

Вошла дама в черном платье, с желтым лицом и потухшими глазами, без всяких признаков красоты. За ней шли две очень изящно одетые барышни.

— *Chère Hélène, quel bonheur de vous voir enfin* \*\*,— произнесла княгиня, шумно поднимаясь своим грузным телом навстречу госте.

При первых звуках голоса черной дамы я невольно вздрогнул. Это была Елена Павловна. Княгиня представила ей гостей, между прочим, и меня.

Елена Павловна смерила меня быстрым и пристальным взглядом и, не подавая мне руки, сказала, обращаясь к княгине:

— *Nous nous connaissons de longue date. Monsieur a été très lié avec mon premier mari* \*\*\*.

С тех пор я часто встречал Елену Павловну в свете. Обращение ее со мною было сухо почти до невежливости. Раз на вечере у той же княгини Козельской я нечаянно попал в ее партию. Первый роббер прошел благополучно, но когда ей пришлось играть со мною, она подозвала старичка-генерала и передала ему свои карты, говоря, что очень устала. Ее младшая дочь от второго брака некрасива, хотя несколько напоминает Елену Павловну в молодости; зато старшая — прелестна. И лицом и манерами она совершенный портрет Алеши; часто мне хотелось подойти к ней и узнать ее покороче, но, вероятно, в силу инструкций, полученных от матери, она смотрит на меня так, как будто перед ней вместо меня было пустое пространство.

Ну, вот, я вкратце рассказал мой роман... Неужели его можно назвать счастьем? Мое поведение во всей этой истории было и нечестно и неумно. Могу оправдываться тем, что многие на моем месте поступили бы так же. Но разве это оправдание?

25 декабря

Вчера, после пятидесятидневного заключения, меня, наконец, выпустили на свободу. Первый мой выезд был на елку к Марье Петровне. Об этой елке шли разговоры целый месяц. Как я уже говорил, Марья Петровна терпеть не может устраивать большие приемы, потому что думает, что у нее все скучают. Судит она по себе: занимая мало знакомых гостей, она никак не может преодолеть нервной зевоты и даже лечится от этого гомеопатией, но безуспешно. Говорят, что однажды, занимая в маленькой гостиной трех маменек, дочери которых танцевали в зале, она самым настоящим образом заснула.

---

\* в то время она была очень хороша собой (*фр.*).

\*\* Дорогая Элен, какое счастье видеть вас наконец (*фр.*).

\*\*\* Мы давно знакомы. Господин был связан узами тесной дружбы с моим первым мужем (*фр.*).



Эту елку она решила устроить для своей племянницы, что одно уже доказывает, как она ее любит.

В последнее время я так привык к одиночеству и к моей лампе с темным абажуром, что, войдя к Марье Петровне, был совсем огорочен блеском свечей и многолюдством. Было множество детей всякого возраста, но еще больше взрослых. В дверях залы, как *tempe to mogi* \*, стоял мой доктор. Он был в самом модном фраке с какими-то крылышками, в белом атласном галстуке, и на груди его сияла запонка с огромным бриллиантом, вероятно, фальшивым. Он осмотрел меня с ног до головы, покровительственно потрепал по плечу и сказал:

— Ну, ничего, хорошо, только не ешьте мороженого.

До Марьи Петровны я насилу добрался. Она была в настроении не то чтобы скучающем, но скорее меланхолическом. Я спросил о причине.

— Ах, вы знаете, Paul, как я люблю детей, и бог не дал мне этого счастья. Что бы я дала, чтобы все эти дети были мои!

— Тогда было бы очень для вас нехорошо, Марья Петровна, вам не могло бы быть меньше полутора лет...

— *Vous avez toujours le mot pour rire...*\*\* Как вам понравилась моя племянница?

— Я ее не видал.

— Неужели? Я вас сейчас познакомлю. Миша, пожалуйста, найдите Лиду и позовите ее ко мне.

Миша Козельский, высокий, красивый камер-паж, с веселым улыбающимся лицом, отправился на поиски. Через минуту подбежала к нам прехорошенькая девочка с вздернутым носом и черными задорными глазками. Ей уже семнадцать лет, но на вид не больше пятнадцати. Это был мне большой сюрприз, вроде подарка на елку: я почему-то никак не мог себе представить, чтобы у Марьи Петровны была такая очаровательная племянница. От ее раскрасневшегося лица так и веяло непритворным весельем. Она сделала серьезную мину и церемонно присела передо мной, но не могла долго выдержать и через секунду рассмеялась.

— Я вас давно знаю, у тети много ваших портретов, и вы очень похожи на Костю.

— Кто этот Костя?

— Это мой дядя. Я его зову Костей, потому что очень его люблю. Хотите конфетку? Эта нехороша, я вам принесу шоколадную.

— Лидия Львовна,— сказал, подбегая, Миша Козельский,— баронесса с дочерьми приехала, идите их встречать.

Лидя сделала опять серьезное лицо, какое подобает делать хозяйке дома, и степенно пошла к баронессе, но по дороге схватила толстого мальчугана в белой курточке и нахлобучила ему на голову зеленый колпак из бумаги.

А меня доктор повел знакомить со своей супругой. Вообще доктор был страшно развязен и всеми способами хотел показать,

---

\* помни о смерти (*лат.*).

\*\* Всегда вы шутите... (*фр.*)

что он — близкий друг дома. Он говорил очень громко и, конечно, по-французски. В последнее время он лечил какую-то французскую кокотку и изучал у нее отборный парижский жаргон. Во всех углах залы беспрестанно раздавался его голос: «Consi-consi, madame», «Eh voilà une gaffe, par exemple» \* и т. д. Но это не мешало ему ошибаться в артиклях, например, он говорил: «L'arbre est très belle» \*\*. Что делать, с артиклями он совладать не может, это его ахиллесова пята. Жена его — маленькая, бесцветная женщина, очень просто одетая и, вероятно, забытая. К ней беспрестанно подбегали две дочери с длинными белокурыми волосами и приносили конфеты, апельсины и разные безделушки с елки. Все это она аккуратно укладывала в большой сафьяновый ридикюль.

Не успел я разговориться с моей новой знакомой, как передо мной очутилась Лида, держа в руке розовый бумажный колпачок. Целая ватага молодежи остановилась шагах в двух за ней.

— Вот Соня Козельская,— начала она, опустив голову и бросая на меня исподлобья лукавый взор,— Соня Козельская говорит, что я не посмею надеть на вас эту шапочку, а я говорю, что посмею. Вы не рассердитесь?

— Нисколько, если это вам доставит удовольствие.

— Вот какой вы добрый, тетя правду говорила... Только лучше этого не делать: это будет неприлично, и мисс Тэк меня разберит.

— Кто это мисс Тэк?

— Как? Вы не знаете мисс Тэк? Это моя гувернантка, она очень строгая. Лучше я вам принесу мороженого.

— Благодарю вас, доктор запретил мне есть мороженое.

Доктор подумал глубокомысленно и сказал:

— Ничего, при мне можно.

Лида побежала за мороженым, а розовый колпак, который она из вежливости называла шапочкой, надела себе на голову, к великой радости молодежи.

— Лидия Львовна,— сказал я, получив от нее блюдечко с красной жидкостью, которая когда-то была мороженым,— вы так меня угощаете сегодня, что я тоже считаю себя вправе привезти вам конфет. Какие вы больше любите?

— Розовые тянушки.

В розовом платье, с розовым колпаком на голове, с раскрасневшимися щечками, она сама казалась не то розовым цветком, не то розовой конфеткой.

К одиннадцати часам елку разорили, маленьких детей увезли спать, а взрослые дети начали танцевать. Танцы не прекращались ни на минуту и велись с таким оживлением, что даже и Марья Петровна на этот раз не могла бы сказать, что у нее скучают. Я сделал с Лидой два тура вальса, после чего она мне сказала:

— Знаете, вы танцуете очень хорошо, гораздо лучше, чем все молодые... кроме Миши.

---

\* «Так себе, мадам», «Какая бестактность, например» (фр.).

\*\* Дерево красивая (фр.).

— Лидия Львовна, за что вы меня обижаете? Разве я старик?  
— Нет, вы не старик, но все-таки в годах...  
— Докажите, что вы не считаете меня стариком, и протанцуйте со мной мазурку.

Лида не успела ответить, как несносный доктор счел нужным вмешаться в наш разговор:

— Ну, нет, батенька, это вы уж, ах! оставьте. Извольте-ка отправляться домой, на первый раз довольно. Ни танцевать мазурку, ни ужинать вам нельзя.

Я робко протестовал, но доктор был неумолим.

— Посмотрите на себя в зеркало... На кого вы похожи?

Пришлось повиноваться. Проходя через столовую, в которой никого не было, я остановился перед зеркалом,— ну, и что же я увидел? Увидел очень оживленное молодежливое лицо, не похожее ни на кого, кроме Павлика Дольского, который всю жизнь ужинал и танцевал мазурку.

Вернулся я домой очень довольный своим вечером, но, вероятно, от усталости, от которой в последнее время отвык, долго не мог заснуть. Под утро мне приснилось, что я ем розовые тянушки.

28 декабря

Просидев два дня дома, я сегодня поехал обедать в клуб. Меня очень интересовало, найдут ли во мне какую-нибудь перемену. Первое впечатление было приятно. В швейцарской я столкнулся с толстым Васькой Туземцевым, на которого напяливали шубу.

— А! Здравствуй, Павлик... Что давно не был?

— Был болен почти два месяца.

— Ну, да, так тебе и поверим. Чем ты мог быть болен? Посмотри на себя — кровь с молоком! А вот за бабенками волочиться — это твое дело! Где обедаешь?

— В клубе, а ты?

— Мне жена велела дома обедать, у нас гости. Садись-ка и ты со мной в карету и пообедай с нами. Жена будет рада... Что тебе здесь киснуть?

— Нет, спасибо, сегодня мне нельзя.

— Ну, как знаешь.

Оба швейцара побежали втискивать Ваську в карету, а я, ободренный его словами, быстро взбежал на первую половину лестницы и едва не задохся от одышки. Пришлось сесть на площадке и перевести дух. В это время из читальной поднимался вверх старый и уважаемый старшина Андрей Иванович. Он также спросил, отчего я давно не был в клубе, и я должен был подробно рассказать ему весь ход своей болезни. Андрей Иванович слушал меня с большим участием, потом покачал головой и произнес как будто в сторону:

— Да, вот тоже удивительно, Степан Степаныч до сих пор жив...

Этого я уже никак ожидать не мог. Степану Степанычу за восемьдесят лет, и он второй год лежит без ног. Что же у меня с ним общего? Угнетенное состояние духа, в которое я впал вследствие этого милого

сравнения, понемногу рассеялось за обедом. Все встретили меня очень радушно, обед был отличный и разговор очень оживленный. Старички вспоминали прошлое, а так как мне в жизни случайно приходилось сталкиваться с очень интересными людьми, я также воодушевился и много рассказывал. Андрей Иваныч и тут испортил мне все дело. В конце обеда он обратился ко мне с самой любезной улыбкой:

— Вот вы, Павел Матвейч, знали столько замечательных людей. Скажите, пожалуйста, случалось ли вам встречаться с нашим знаменитым историком Карамзиным?

Я хотел было ответить: «Нет, с Карамзиным я не встречался, а вот с Ломоносовым был на «ты», но воздержался, потому что моя ирония пропала бы даром. Карамзин умер лет двадцать до того, что я родился. Как же я мог с ним встречаться? Удивительно, как это люди от старости теряют самые элементарные понятия о хронологии!

Вечером, играя в вист, я сделал несколько крупных ошибок. Отчего это? Вероятно, оттого, что давно не играл, а может быть, я и в самом деле делаю похож на Степана Степаныча, который десять лет тому назад был уже так стар, что ему прощали ренонсы<sup>8</sup>.

3 января

Дом Марьи Петровны неузнаваем. Прежде это была тихая пристань; теперь, благодаря присутствию Лиды, это какой-то непрерывный светский базар. Три княжны Козельские: Соня, Вера и Надя, Соня-вторая Зыбкина, Соня-третья (забыл фамилию), кузина Катя, кузина Лиза, еще несколько барышень, «их же имена ты веши, господи», разные пажы, лицеисты и молодые офицеры,— все это кишмя кишит в гостеприимном доме на Сергиевской. Во главе всей молодежи стоит Миша Козельский, по-видимому, влюбленный в Лиду и называющийся ее адъютантом. Марья Петровна окончательно перестала думать, что у нее все скучают, и раз даже в рассеянности проговорила, сказав мне:

— Il paraît pourtant, que cette jeunesse s'amuse chez moi\*.

Лида очень мила со мною и очень мила вообще. Я заказал несколько фунтов розовых тянушек, уложил их в розовую бонбоньерку в форме колпачка и привез ей в Новый год. Сначала она очень обрадовалась подарку и побежала показать его мисс Тэк, но вернулась с лицом, несколько отуманенным.

— Я считала вас таким добрым, а теперь вижу, что вы очень хитрый... Вы нарочно привезли мне эту бонбоньерку, чтобы напомнить мне глупый поступок на елке... Ведь правда?

— Правда, но только я совсем не хотел вас обидеть. Шутка за шутку,— вот и все. А если вы рассердились, Лидия Львовна, простите меня...

— Нет, я не рассердилась, а только вперед буду знать, что вы хитрый... Можно вас называть Павликом?

— Конечно, можно, а я буду вас называть Лидой.

\* Похоже, однако, что молодежи весело у меня (фр.).

— Отлично, я очень рада. А теперь хотите протанцевать со мной тур вальса?

— Что с тобой, Лида? — вмешалась Марья Петровна. — Как же можно танцевать по ковру и без музыки?

— Ничего, тетя, Павлик отлично танцует.

— Нет, вздор, вздор! Да и вообще ты себе много позволяешь. Ведь Paul не мальчишка, чтобы исполнять все твои капризы...

Увы, хотя я и не мальчишка, однако я положил шляпу, встал с места и, вероятно, исполнил бы каприз Лиды, но в эту минуту в гостиную ворвались Соня Зыбкина и кузина Катя с двумя гувернантками и тремя юнкерами. Вся эта ватага наскоро поздоровалась с нами и стремительно убежала в залу.

— *Quelle bonne et charmante enfant* \*, — сказала вслед Лиде Марья Петровна, — но только вы, Paul, напрасно ее так балуете. Ее и так все избаловали.

22 февраля

Вопреки опасениям и предсказаниям моего остроумного эскулапа, я так бодр и здоров, как давно не был. Я провожу целые дни у Марьи Петровны и чувствую себя таким же молодым, как Миша Козельский. Иногда мне кажется, что я по-прежнему камер-паж, что я никогда не был ни офицером, ни мировым посредником, ни камергером, что все это было каким-то глупым сном, от которого я только что очнулся. Лида с каждым днем делается все очаровательнее и милее. Она назначила меня вторым адъютантом, и я с блаженством исполняю все ее поручения. На мне лежит обязанность доставать логи, устраивать разные поездки и уговаривать Марью Петровну, когда она чего-нибудь не позволяет. Круг моего знакомства совсем изменился. Я сделал визиты матери Сони Зыбкиной и отцу кузины Кати. В особенно тесной дружбе я состою со всеми гувернантками. Благодаря гувернантке кузины Лизы, я записался в члены благотворительного общества в Лозанне, а для гувернантки Сони-третьей (всегда забываю фамилию) я начал собирать почтовые марки. Сама ледяная и длиннозубая мисс Тэк немного оттаяла для меня и поверяет мне свои семейные тайны. Правда, я собираю для нее окурки от сигар, которые она ежемесячно через посольство отправляет в Англию.

Из моих прежних знакомых я посещаю только княгиню Козельскую. Вчера я танцевал у нее на балу.

Это был прелестный *bal d'adolescents* \*\*. Нечего и говорить о том, что Лида была царицей бала и распоряжалась всем. По ее приказанию я дирижировал танцами и — могу сказать без хвастовства — дирижировал хорошо, по преданиям доброго старого времени. В былые годы это была моя специальность. Так как кузина Лиза очень некрасива и часто остается без кавалеров, я должен был протанцевать с ней подряд две кадрили; зато мазурку я танцевал с Лидой. Ее

\* Какое доброе и очаровательное дитя (фр.).

\*\* молодежный бал (фр.).

беспрестанно выбирали, и мне мало пришлось говорить с нею. Но как было весело следить за ее движениями и знать, что она все-таки сейчас вернется ко мне!

Очень, очень хороший был вечер, но на прощание княгиня Козельская удивила меня слишком большой дозой благодарности, отпущенной на мой пай.

— Merci, merci, милый Павлик,— повторила она несколько раз,— vous avez dansé comme un ange\*, дайте я вас за это поцелую.

И она коснулась моего лба своими жирными губами. Положим, это любезно, но слишком признательно. Что же особенного в том, что я танцевал на балу? Вместе со мной уходили два кавалергарда, и она их не благодарила вовсе. Вообще у княгини странные понятия. «Vous avez dansé comme un ange». Где она вычитала, что ангелы танцуют?

4 марта

Всего десять дней прошло с того дня, как я написал последнюю страницу моих записок,— и все переменялось. Я опять начал кашлять и не сплю по ночам, желчь разливается, бодрость моя исчезла и на душе скверно. Почему все это произошло — не знаю... Разве потому, что

Le chagrin est tenace et long,  
Mais la joie est volage et brève\*\*,—

как написал какой-то немецкий дипломат в альбом Марьи Петровны.

Особенно скверно спал я последнюю ночь, да и немудрено. Вчера было решено ехать вечером на тройках за город, а потом пить чай у Зыбкиных. Я приехал к восьми часам, все были в сборе, три тройки стояли у подъезда.

— Как? и вы едете, Paul? — спросила Марья Петровна.— Поверьте, что это будет неблагоразумно при вашем кашле. Посидите лучше со мной. Dans la dernière «Revue» il y a un article très intéressant sur les ducs de Bourgogne...\*\*\* Почитайте мне эту статью — вы так хорошо читаете.

Я, конечно, не послушался бы ни советов благоразумия, ни просьбы Марьи Петровны, но Лида отозвала меня в сторону и сказала почти шепотом:

— Павлик, милый, посидите с тетей, она так скучает одна! Мы скоро вернемся.

Я молча усадил в сани Лиду и вернулся в маленькую гостиную, где перед лампой уже лежали две тощие розовые книжки. Я сделал ре-

---

\* Спасибо... вы танцевали как ангел (фр.).

\*\* Горе упорно и продолжительно. Радость быстротечна и капризна (фр.).

\*\*\* В последнем номере «Ревю» есть интересная статья о герцогах Бургундских (фр.).

когносцировку. История Бургундских герцогов занимала в одной книжке пятьдесят страниц, в другой около шестидесяти.

— Марья Петровна! — воскликнул я в ужасе.— Мы не успеем сегодня прочитать и первую статью.

— Нет, Paul, мы прочитаем обе. Я хочу дождаться Лиды, а у Зыбкиных, кажется, танцуют!

Это был мне новый удар. Зачем Лида от меня скрыла, что у Зыбкиных будут танцы? И еще обещала скоро вернуться!

Началось чтение. С тех пор как я живу на свете, я ничего не читал скучнее этой статьи. В сравнении с ней годовой отчет Вольно-экономического общества показался бы самым игривым романом. Два часа пытки я вынес, больше не мог. Я пустился на хитрость и начал пропускать по несколько строк, а потом по полстранице. Увидя, что это проходит безнаказанно, я сразу перевернул восемнадцать страниц, так что из всех подвигов Карла Смелого Марья Петровна узнала только то, что он умер<sup>9</sup>. Впрочем, вряд ли она вообще что-нибудь слышала. Сначала она прерывала чтение одобрительными восклицаниями, потом закрыла глаза и, кажется, задремала. Наконец, наступила минута, когда я почувствовал, что вот-вот сейчас книга вывалится у меня из рук; мне почудилось, что Марья Петровна играет «Les cloches du monastère». Я остановился. Она открыла глаза.

— Décidément on danse chez les Zibkines ce soir \*. Знаете, не отложить ли нам чтение до завтрашнего вечера?

Я не заставил себя просить и выскочил на улицу. Кареты моей еще не было, я побежал домой пешком. Мокрый снег валил хлопьями; я промочил ноги и продрог до костей.

5 марта

Вчера я написал, что не знаю, отчего все переменялось, но я слухавил,— я знаю. Постараюсь выяснить свое положение и привести в порядок свои мысли.

Для этого я прежде всего должен высказать то, в чем до сих пор не решался сознаться перед самим собой. Я безумно влюблен в Лиду.

Но во всех других вопросах я еще не вполне сумасшедший, а потому я очень хорошо знал, что не могу рассчитывать на взаимность. У меня просто была потребность видеть ее ежедневно, я радовался тому, что она так дружески относилась ко мне; с меня было довольно и этого. Отчего же все переменялось?

Говорят, что уроки истории никогда нейдут впрок государствам и народам. То же самое можно сказать об опыте жизни по отношению к отдельным лицам. Этот опыт жизни очень полезен в теории, но поступают люди почти всегда вопреки тому, чему их учит опыт. Так случилось и со мной. Опыт жизни говорил мне, что если я хочу сохранить хорошие, дружеские отношения с Лидой, то ни в каком

---

\* Определенно у Зыбкиных сегодня танцы (фр.).

случае я не должен выдавать секрета моей любви. Пусть Лида будет уверена в моей безусловной преданности, но элемент влюбленности должен быть глубоко затаен в душе,— иначе я пропал. Долго я не выдавал себя, наконец выдал.

Случилось это дня через два после бала Козельских. По необыкновенному стечению обстоятельств мы очутились наедине с Лидой; разговор у нас шел об этом бале, и Лида сказала, что все очень были довольны тем, как я дирижировал мазуркой.

— Ну, не все,— заметил я смеясь,— ваш первый адъютант был не совсем доволен мазуркой.

— Кто? Миша? Вот пустяки! Мы и без того видимся довольно часто.

— Не слишком ли часто, Лида!

При этом я должен заметить, что ненавижу этого Мишу всеми силами души моей. Мне в нем противно все: его голос, манеры, ухаживанье за Лидой, даже его красота. Особенно красота: он как-то слишком картинно красив и слишком это знает. Когда я заговорил о Мише, какой-то внутренний голос опыта жизни напомнил мне: «Перестань, остановись!» Я не послушался этого голоса, я старался выставить своего соперника в смешном виде, говорил о его неразвитости и бессердечии, предостерегал, советовал, умолял,— одним словом, сыграл будто по суфлеру роль влюбленного ревнивца. Когда я взглянул на Лиду, лицо ее выражало такой испуг и такое страдание, что я сам испугался.

— Если вы меня хоть немного любите,— сказала она, вставая с места,— никогда не говорите мне дурно про Мишу. Это мой друг. И тихо вышла из комнаты.

Вот с этого-то дня все переменялось. Прежде Лида любила, чтобы я участвовал во всех удовольствиях молодежи, теперь ей, видимо, стало неприятно видеть меня вместе с Мишей. Меня это мучило, я потерял свое оживление, сделался раздражителен и мрачен, а вследствие этого Лида положительно начала избегать меня. Если изредка она и принимает со мной прежний дружеский тон, как, например, было вчера, это делается с какой-нибудь целью. Вчера эта позолоченная пилюля была отпущена мне для того, чтобы я не поехал с ней на тройке, а остался у Марьи Петровны.

Сегодня я, вероятно, не поехал бы на Сергиевскую, но мне нужно было кончить чтение Бургундской истории. Впрочем, в душе я, кажется, был рад этому предлогу. У подъезда стояло много экипажей, и еще с лестницы я услышал громкое пение. Мною вдруг овладела такая непонятная робость, что я, не входя в залу, пошел окольным путем к Марье Петровне. Идя по столовой, я явственно расслышал песню, которую пел за фортепиано своим противным баритоном Миша Козельский. Это был известный цыганский мотив, а слова он, вероятно, сочинил сам:

Лидия Львовна  
Слишком хладнокровна,  
А Мельхиседек  
Прекрасный человек<sup>10</sup>.



Хор барышень визгливо повторял: «прекрасный человек».

Чтение не состоялось, потому что у Марьи Петровны тоже были гости, и мне сейчас же вручили карту для винта. Но перед тем чтобы начать игру, я решил войти в залу. При моем появлении шум и крики не то чтобы совсем умолкли, а как-то притихли. Я шутиливо упрекнул Лиду за то, что она накануне меня обманула, но моя шутка не удалась: слишком в ней много сквозило обиды и горя. Лида что-то пробормотала в ответ, я ничего не понял и отошел в угол гувернанток. В это время Миша Козельский, как-то особенно раскачиваясь и выпячивая грудь, подошел к Лиде и громко спросил у нее:

— Лидия Львовна, вы очень любите Мельхиседека?

Кругом раздалось громкое хихиканье барышень. Ответа Лиды я не расслышал, но мне показалось, что она рассердилась. «Кто же этот Мельхиседек? — соображал я про себя.— Вероятно, какой-нибудь новый поклонник... Как, однако, я отстал! Прежде я всех поклонников знал наизусть. По сходству имен это может быть конногвардеец Мельховский, но ведь Мельховский до сих пор ухаживал за Надей Козельской». Меня так заинтересовал этот вопрос, что я уже хотел за разрешением его обратиться к Лиде, но меня позвали играть в винт.

Никогда в жизни я не играл так скверно, как сегодня; партнеры на меня страшно сердились, и я был этому рад, потому что смотрел на них как на врагов. За стеной в зале раздавались громкие, веселые голоса молодежи, которая еще недавно мне казалась так симпатична. Теперь я им совсем чужой, а может быть, так же неприятен, как своим партнерам в винт. И вдруг мне пришла в голову странная мысль, что я теперь уже не могу сравнивать, где мне лучше, а могу только думать о том, где мне хуже. Здесь, за винтом, мне очень нехорошо, в зале хуже... А дома, вдали от Лиды, может быть, еще хуже... Нет, дома, пожалуй, все-таки легче. Едва кончилась партия, я убежал тем же окольным путем, ни с кем не простившись. В зале раздавался опять тот же цыганский мотив, но куплет был с легким вариантом:

Лидия Львовна  
Любит всех равно,  
А Мельхиседек  
Несносный человек.

«Несносный человек!» — подхватил хор.

Боже мой, какая это идиотская песня и как мне было обидно слышать серебристый голосок Лиды, выделявшийся из этого визгливого хора!

6 марта

Один древний мудрец сказал, что самый большой враг человека — он сам<sup>11</sup>. Я доказал это вчера, написав в своем дневнике, что я влюблен в Лиду. Пока это чувство существует только в сознании человека, с ним еще можно бороться, но раз оно ясно сформулировано и

высказано на словах или на бумаге, тогда борьба делается немислима. Это то же, что закрепить акт нотариальным порядком. Человек уже не владеет собой, а действует под влиянием каких-то темных, неведомых сил. Сегодня я, например, решил твердо не ехать к Марье Петровне и отправился обедать в клуб. Этот клуб, который я прежде так любил, показался мне теперь какой-то безлюдной пустыней: все те же лица, те же разговоры, тот же обед. Прежде это традиционное повторение изо дня в день мне даже нравилось, сегодня я скучал невыносимо. После обеда, проходя через бильярдную, я увидел старичка Трутнева, игравшего с маркером. Прежде я этого Трутнева почти и не замечал, но сегодня я обрадовался ему, как самому близкому человеку. Дело в том, что Трутнев — родственник Зыбкиных и часто у них бывает, а потому я мог в разговоре с ним два раза назвать Лидию Львовну. Пока я разговаривал с Трутневым, несколько удивленным моей усиленной любезностью, в дверях бильярдной показался уважаемый старшина Андрей Иванович. У меня мгновенно явилось предчувствие, что он мне скажет что-нибудь неприятное. Я не ошибся.

— Что с вами, батюшка Павел Матвевич? — спросил он с каким-то соболезнованием, потрясая мою руку. — На вас лица нет. Как вы осунулись!

— Что делать, Андрей Иванович, старость.

— Нечего сказать, хороша старость! — воскликнул Трутнев. — На днях Павел Матвевич так отплясывал, что всех молодых за пояс заткнул. Да и лет-то Павлу Матвевичу немного...

— Ну, лет довольно, — возразил неумолимый Андрей Иванович, — я таких примеров знаю много. Человек бодрится-бодрится и все себя молодым считает, а в одно прекрасное утро проснулся, глядь — старик. Ведь вот, и в пикете то же бывает: считаешь — двадцать восемь, двадцать девять, а потом вдруг шестьдесят!

И, очень довольный своей остротой, Андрей Иванович пошел разносить ее по клубу.

В это время на больших клубных часах пробило девять. Я вскочил и побежал вниз с такой поспешностью, как будто боялся опоздать на железную дорогу. «На Сергиевскую, и скорее!» — закричал я, бросаясь в сани. Отчего это так случилось, — я не знаю. Мне вдруг неудержимо захотелось увидеть Лиду. Только увидеть, — больше ничего. Я и говорить с ней не буду, а посижу с Марьей Петровной. В самом деле, какое удовольствие смотреть на мое осунувшееся, измученное лицо? Вокруг нее все такие молодые, веселые лица... Но ведь взглянуть на нее можно. Никому не запрещается смотреть на солнце, на звезды, на купол Исаакиевского собора.

Так размышлял я в санях, но и этому скромному желанию не суждено было осуществиться. Швейцар объявил мне, что молодые господа вот-вот сейчас, — еще и трех минут не будет, — как уехали на тройке, а Марья Петровна дома. Судьба словно хотела доказать мне, что и на купол Исаакиевского собора не всегда можно смотреть.

Марья Петровна была в грустном настроении, разговор у нас совсем не клеился.

— Лидия Львовна, по-видимому, уже никогда не бывает дома? — спросил я не без ехидства.

— Как никогда? Вчера она весь день оставалась дома.

— А, вы это называете быть дома, когда у вас сто человек гостей! Знаете, Марья Петровна, вы меня удивляете. Вы ведь очень любите вашу племянницу, а между тем с этими ежедневными тройками, вечерами, балаганами вы ее почти не видите...

— Да, это правда, я вижу ее очень мало, но что же делать, Paul, il faut que jeunesse se passe...\*

— Да, jeunesse, jeunesse...\*\* Это все прекрасно, но ведь есть предел всему. Мне кажется, что такой образ жизни, какой ведет Лидия Львовна, не особенно полезен для развития ума и сердца, да, пожалуй, и не совсем приличен.

— Нет, Paul, если кто-нибудь из нас должен удивляться, то это, конечно, я! Я всегда говорила то, что вы говорите теперь, и вы же всегда со мной спорили. Я была против троек, вы меня убедили, что это ничего. Общество, которое собирается у Зыбкиных, мне очень, очень не нравится, и я хотела, чтобы Лида бывала там как можно реже; вы доказывали мне, что это невозможно, потому что Соня Зыбкина была с Лидой в институте. Наконец, балаганы... Вы помните, мы чуть не поссорились с вами за то, что я не хотела пускать туда Лиду... Я так верю в ваш такт и в ваше знание света, а теперь вы меня упрекаете в том, что я вас слушалась. Право, Paul, это несправедливо.

Марья Петровна была совершенно права, но это еще более меня раздражило.

— Ну хорошо, положим, что это так. Раз вы хотите, чтобы я был виноват во всем, охотно беру вину на себя. Ну скажите, Марья Петровна, разве я когда-нибудь советовал вам, чтобы вы позволяли вашей племяннице быть на такой короткой, фамильярной ноге с молодыми людьми, называть их уменьшительными именами, проводить с ними целые дни...

— Вы намекаете на Мишу Козельского? Но ведь он родственник...

— Ах, да, виноват, я забыл это знаменитое родство! Мать княгини Козельской была троюродной сестрой Лидиной бабушки... Родство, конечно, близкое, но только, видите ли, оно ни от чего не спасает.

«Перестань, остановись!» — робко напомнил мне внутренний голос, но я уже несся на всех парах и вылил всю желчь, которая накопилась у меня в душе за последний месяц. Марья Петровна только обмахивалась веером.

— Нет, Paul, на этот раз я решительно не согласна с вами. Миша est un enfant de bonne maison\*\*\* и не позволит себе ничего лишнего. Mais vous avez une dent contre lui\*\*\*\*, я давно это заметила,

---

\* нужно, чтобы молодость прошла... (фр.)

\*\* молодость, молодость... (фр.)

\*\*\* из хорошей семьи (фр.).

\*\*\*\* Вы имеете зуб против него (фр.).

и он сам это знает. Еще вчера он говорил: «Не знаю, за что Мельхиседек на меня дуется...»

Я вскочил как ужаленный.

— Как он сказал? Кто это Мельхиседек? Я, что ли?

— Oui, c'est un sobriquet que cette jeunesse vous a donné, je ne sais pas trop pourquoi...\*

— Этого только недоставало! — закричал я, бегая по комнате и едва не свалив чайный столик, стоявший на моей дороге.— Благодарю вас, Марья Петровна! Вам мало того, что вы из своего дома сделали притон какой-то буйной молодежи, вы еще позволяете ей оскорблять ваших гостей, да и кого же? Человека, который знает вас с детства... который... который был шафером на вашей свадьбе, который...

— Да что с вами, Paul? Успокойтесь,— лепетала Марья Петровна, бегая за мной по комнате и усаживая меня, наконец, на диван.— Я решительно не понимаю, почему это вас так обижает. Если бы еще Мельхиседек был какой-нибудь злодей или известный разбойник, тогда я поняла бы. Mais je vous assure, que c'était un homme tout à fait respectable, même une espèce de saint, je crois...\*\* Я была бы очень польщена, если бы меня назвали Мельхиседеком. В прошлом году в «Revue des deux Mondes» была о нем статья, я вам сейчас отыщу...

— Нет, хоть от этого увольте! — заревел я в иступлении.— Клянусь, что этой статьи я читать не стану! Довольно с меня Бургундских герцогов... И знайте, Марья Петровна, что я ваш «Revue des deux Mondes» презираю и ненавижу от всей души! Это даже вовсе не журнал, это просто какая-то сонная артерия... что-то вроде «Les cloches du monastère», которые вы так любите...

— Да опомнитесь, Paul, что с вами? Вы начинаете говорить мне дерзости...

Я опомнился.

— Простите меня, Марья Петровна, я действительно говорю бог знает что. Но видите ли, я чувствую себя очень дурно... Голова у меня не в порядке.

— Ах, да, да, вы бледны, как мертвец. И я принесу вам ignatium — это сейчас поможет.

Я проглотил пять крупинок игнация, потом еще несколько каких-то других крупинок, но это не помогло. Лихорадка меня била. Марья Петровна велела заложить карету и послала за доктором. Меня привезли домой, уложили в постель, напоили горячим чаем. Часа через два я согрелся, но заснуть не мог. Я встал с постели и, чтобы наказать себя, записал подробно мой разговор с Марьей Петровной. Пусть это послужит мне вечным напоминанием того, как я был глуп и груб и бестактен.

Ну, хорош же и ты, дрянной мальчишка, выдумывающий прозвища для людей, которые втрое старше тебя, и сочиняющий на них глупые куплеты. Оттого, что ты раскачиваешься и выпячиваешь

---

\* Да, это прозвище, которое вам дала молодежь, я толком не знаю почему... (фр.)

\*\* Я уверяю вас, что это очень уважаемый человек, что-то вроде святого, я полагаю... (фр.)

грудь, ты думаешь, что все тебе позволено... Но ведь и я когда-то был камер-пажом, и также качался и выпячивал грудь, и был не хуже тебя, а уж умнее был наверное. А вот теперь и я беспомощен и хил и смешон. То же будет и с тобою. Незаметно пройдут года, и, когда ты будешь шамкать беззубым ртом, другой, новый камер-паж, который теперь еще не родился, будет выпячивать грудь и писать про тебя бессмысленные вирши... Теперь ты попираешь меня ногами, а я и отомстить тебе ничем не могу, но, не беспокойся, за мной стоит великий мститель — время. Тебе, вероятно, не раз говорили, и ты, как глупый попугай, повторял, что время — деньги. Но, дожив до моих лет, и ты узнаешь, что время гораздо больше, чем деньги. Время самый неподкупный судья и самый беспощадный палач!

17 марта

Несколько дней я пролежал в постели. В первый же день Марья Петровна прислала узнать о моем здоровье, что доказывает ее необычайную доброту, потому что она была вправе вместо этого предписать своему швейцару, чтобы он никогда не пускал меня в дом. А на второй день я получил записку от Лиды. Я столько раз перечитывал эту записку, что выписываю ее на память:

«Вы напрасно рассердились на Мишу. Мельхиседеком прозвала вас экономка, которая живет у Зыбкиных. Соня нам рассказала, и нам показалось смешно, но теперь, когда это вас обидело, никто никогда не будет вас так называть. Вы не поверите, как мне жаль, что вы больны, и как мне хочется поскорее вас увидеть. Ваш друг *Лиды*».

Получив эту записку, я совсем успокоился и проводил в постели самые счастливые дни. Я забыл про свою болезнь и про все окружающее, я видел перед собой одну Лиду и все время повторял про себя «Последнюю любовь» — одно из самых моих любимых стихотворений Тютчева:

О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим, суеверней!..

Именно — суеверней. Лучшего эпитета нельзя было придумать. Я внимательно рассматривал нетвердый, почти детский почерк Лиды и в очертании этих букв хотел прочесть ее характер и мою будущую судьбу. Если б я был молод, я бы жаждал иметь ее портрет; теперь мне это не нужно, я и без того ее вижу. Букву *к* она пишет с какой-то завитушкой вверх — вся, как живая, смотрит она на меня из этой завитушки.

О ты, последняя любовь,—  
Ты и блаженство и безнадежность!<sup>12</sup>

23 марта

Если бы действительно существовало царство любви, какое бы это было странное и жестокое царство! Какими бы законами оно управлялось, да и могут ли быть какие-нибудь законы для такой

капризной царицы? Сотни красивых женщин проходят мимо вас, и вы остаетесь равнодушны. Вдруг вы увидели где-нибудь смазливенькое личико и сразу чувствуете, что жизнь ваша наполнилась и что вне этого лица во всем мире нет для вас ничего. Отчего это происходит? Может быть, ваш прадед любил подобную женщину и образ ее родился вместе с вами, вошел в вашу кровь, в ваши нервы. И благо вам, если вы встретите эту женщину, когда вы молоды! Она может откликнуться на ваш зов, и тогда царица любви примет вас обоих в свои светлые чертоги.

Увы! моя молодость прошла без такой желанной встречи. Но почему же я не могу сделать ее теперь? «Вы не старик, но все-таки вы в летах», — сказала мне Лида в первый день нашего знакомства. Ну, что ж такое, что в летах? Чем же я виноват, что она родилась слишком поздно или что я родился слишком рано? Разве лета составляют преступление? Напротив того, во всех других сферах жизни человек с летами приобретает уважение и почет. Зачем же его лишать самого святого права — права любить? Если так, лучше уж прямо убивать всякого, кому перевалит за сорок лет.

«Нет, — говорит мне жестокая царица, — убивать тебя не станут и не лишат тебя права любить. Если хочешь, иди ко мне, но только не сладка тебе будет жизнь в моем царстве. Стой у ограды моих чертогов и любуйся, как я буду расточать другим свои улыбки и ласки и слезы счастья. А ты стой у ограды и молчи. Никакого уважения, ни почета ты здесь не дождешься, но не смей и вида показывать, что ты этим недоволен, иначе я и возле ограды стоять тебе не позволю. Вся твоя кровь закипит и заклокочет от обиды, а ты улыбайся заискивающей, гадкой улыбкой; все сердце перевернется от горя, а ты смейся и семени ослабевшими ножками и пляши впрыска... А главное, молчи, молчи и молчи!»

Так вот нет же, не стану молчать! Будь что будет, а я войду в эту заколдованную ограду и заговорю гордым языком свободного человека. Авось и не выгонят оттуда. Ведь не всегда же женщины любили одних молокососов. Вот, чтобы недалеко ходить за примерами, Мазепа...<sup>13</sup> Он был гораздо старше меня, а ведь полюбила же его Мария... Да и не старик же я в самом деле, не Степан Степаныч, который два года лежит без ног.

26 марта

Третьего дня доктор позволил мне встать с постели, но отнюдь не выезжать, и с этого дня в голову мою засел план решительного объяснения с Лидой. По правде сказать, мои надежды на успех основались отчасти на ее записке, — но что же доказывает эта записка? Она была вызвана исключительно желанием выгородить Мишу; теперь мне это ясно, как день, но тогда я видел в ней совсем другое. Я ходил по своей квартире в каком-то опьянении. Из последних стихов Тютчева я безнадержность как-то забыл, а думал только о блаженстве быть мужем Лиды, посвятить ей весь остаток сил и жизни. Вчера мой план окончательно созрел, а сейчас я привел

его в исполнение. Я просил доктора приехать сегодня пораньше, чтобы посмотреть на действие новой укрепляющей микстуры. Он явился в десять часов, остался очень доволен и микстурой, и моим вниманием к его лечению и выразил надежду, что дней через десять он, вероятно, позволит мне выехать. Только что он вышел за дверь, я оделся и полетел на Сергиевскую. План мой основывался на том, что Марья Петровна встает очень поздно и что в такой ранний час гостей я не застану. Расчет удался вполне. Лида сидела одна в зале за фортепиано и разучивала какую-то сонату. Она мне очень обрадовалась и хотела сейчас же бежать будить Марью Петровну; я насилу убедил ее этого не делать. Мы начали болтать о разных пустяках, время уходило; я знал, что такой удобной минуты мне долго не дожждаться, а между тем непреодолимая робость сковывала мне язык. Наконец я решился. Я начал очень издалека; заговорил о своем горьком одиночестве, о том, что Лида одна могла бы сразу прекратить все мои печали и болезни, но все-таки ничего не выходило: гордый язык свободного человека, которым я собирался говорить с Лидой, понизился на несколько тонов. Лида с самого начала моей рачей смотрела как-то особенно лукаво и все хотела что-то сказать, но не решалась. Она не выдержала, как всегда.

— Павлик, говорите яснее. Вы мне делаете предложение? Да? Ах, какой вы милый, как я рада!

Она вскочила с места и схватила меня за руки.

— Это не сон, Лида? — вскричал я, вне себя от восторга, стискивая ее пальцы, — вы соглашаетесь быть моей женой?

Лида отшатнулась и села на прежнее место.

— Ах, нет, Павлик, этого я не могу, а все-таки мне очень приятно, что вы мне сделали предложение.

— Что же это значит, Лида? За что вы меня так мучите?

— Это большой секрет, но, так и быть, я вам скажу все. Я обещала выйти за Мишу.

— Как за Мишу? Ведь он еще в корпусе.

— Через четыре месяца он будет офицером, и тогда мы сейчас же, поженимся, а если по молодости лет ему не позволят, он возьмет медицинское свидетельство и сейчас выйдет в отставку, а после опять вернется в полк. Мы это давно решили. Когда я еще была в институте, мы уже любили друг друга. Видите, как я вас люблю, какой я вам секрет открыла? Этого никто, никто не знает. Мне так стало вас жалко, когда вы заговорили про ваше это... одиночество, что если б я не обещала Мише, я бы непременно вышла за вас. Знаете что? Женитесь на тете! Мы бы тогда все жили вместе... Вот было бы весело! Не хотите? Ну, пожалуйста, женитесь хоть для меня... А я могу рассказывать, что вы мне сделали предложение?

Я молчал.

— Ну, хорошо, я не буду рассказывать; я вижу, что вы этого не хотите. Я только расскажу Мише... Мише можно?

— О, конечно, Мише можно! — воскликнул я в порыве отчаяния. — Не только можно, но и должно. Еще бы не рассказать Мише!

Он будет вашим мужем, для всякого другого человека было бы довольно такого счастья, но для Миши мало. Ему для полного торжества нужно еще вдоволь насмеяться и наглумиться над бедным стариком, у которого ничего не осталось в жизни...

Лида опять вскочила с места и обвила руками мою шею.

— Павлик, милый, простите меня, я сказала большую глупость. Нет, нет, поверьте, я никому не расскажу: ни тете, ни Мише, никому, никому. Пусть это останется тайной между нами. Вы ведь будете любить меня по-прежнему. Мы останемся друзьями?

Я почувствовал, что могу разрыдаться, как ребенок, и убежал домой.

Ну, вот и конец «моей последней любви», из которой ушло только блаженство, а безнадежность осталась вполне. Должен сознаться, что сейчас, вернувшись домой, я почувствовал какое-то облегчение. По крайней мере, все определилось, не будет больше тревог и волнений. Теперь без помехи стану продолжать эти записки. Я начал их с целью подвести итоги прошлой жизни, но увлекся текущими событиями. Теперь совсем не будет текущих событий, останутся одни итоги.

Но что мне больше всего понравилось в объяснениях Лиды, это то медицинское свидетельство, которое собирается взять Миша Козельский. Хотел бы я посмотреть на того доктора, который выдаст ему свидетельство! Он здоров, как бревно. Если бы медицинские факультеты всего земного шара собрались в Петербурге, они не могли бы, я думаю, найти в нем никакой болезни. Ведь для того, чтобы быть больным, надо все-таки быть человеком мыслящим, просвещенным... А разве у бревен бывают болезни?

27 марта

Вопреки тому, что я написал вчера, приходится настрочить еще страничку текущих событий. Вчера, едва я успел записать мой разговор с Лидой, мне подали записку от Марьи Петровны.

«Мон cher, Paul \*, я очень обрадовалась, узнав, что вы были у меня утром; я не знала, что вам позволено выезжать. Приезжайте ко мне обедать; Лида уехала на целый день, я остаюсь одна».

Мне было все равно, я поехал.

Утром я перенес свое положение довольно бодро, но когда я вошел к Марье Петровне, когда я увидел эти стены, в которых родились и погибли мои последние надежды, мне сделалось невыразимо горько. Вся душа моя заныла, как больной зуб. При таком настроении нельзя найти лекарства более успокоительного, как общество Марьи Петровны. Она так ужасалась моей бледности, лечила и жалела, что я почувствовал к ней какую-то благодарную нежность. В порыве этой нежности я решил поведать ей мое горе.

— Марья Петровна,— сказал я, когда мы уселись после 'обеда в маленькой гостиной,— мы с вами такие старые друзья, что я считаю

---

\* Мой дорогой Поль (фр.).



долгом покаяться перед вами. Вы, может быть, рассердитесь, но я все-таки скажу.

— Да, это правда, Paul, мы очень старые друзья.

— Знаете ли, зачем я приезжал к вам сегодня утром? Я сделал предложение Лидии Львовне...

Другая женщина при таком известии, по крайней мере, вскрикнула бы от удивления, но Марью Петровну ничем не удивишь. Она только спросила очень флегматично:

— Да, в самом деле? Ну, и что же?

— Конечно, получил отказ. Впрочем, иного и нельзя было ожидать.

— О, нет, вы напрасно так говорите. Если бы Лида спросила у меня, как поступить, я бы ей посоветовала принять ваше предложение. Вы были бы прекрасным мужем.

— Благодарю вас, Марья Петровна, хотя, конечно, вы это говорите только для того, чтобы утешить меня.

— Нет, вы знаете, что я никогда вам не лгшу. Будь я на месте Лиды, я согласилась бы непременно. Правда, у вас большая разница в годах, но что же из этого? Теперь так часто случается, что девушки выходят по любви за молодых людей, а потом бывают несчастны всю жизнь!

Нежность моя к Марье Петровне усиливалась все более и более. За последнюю фразу я готов был расцеловать ее. «Вот женщина,— думал я про себя,— которая меня действительно любит и ценит, она не насмеется надо мной, как та». А между тем, я сам не умел ценить ее,— как всегда бывает в жизни. И вот я должен лишиться этого последнего утешения, этой последней пристани: после того, что произошло с Лидой, мне невозможно часто бывать здесь. И вдруг мне сделалось страшно при мысли, что я должен буду возвратиться домой. Я никогда не тяготился одиночеством, но прежде дело другое: прежде были надежды. А теперь вернуться в эту пустую холодную квартиру для того, чтобы проводить бесконечные часы одному в страданиях болезни и с постоянным чувством невыносимой, горькой обиды... Нет, это слишком тяжело!

Я взглянул на Марью Петровну. Глаза ее сияли такой добротой и таким участием, что она показалась мне красавицей.

— Марья Петровна,— брякнул я вдруг совершенно неожиданно для самого себя,— если бы вы так поступили на месте Лиды, сделайте это на своем месте. Будьте моей женой!

Марья Петровна не удивилась и этому. Она помолчала с минуту, потом сказала:

— Нет, Paul, на моем месте это совершенно невозможно.

— Почему же невозможно?

— По многим причинам. Во-первых, я не хочу потерять свою свободу.

— Да на какой черт нужна вам эта свобода? — вскрикнул я, уже не выбирая выражений.— Право, можно подумать, что вы широко пользовались своей свободой. Помилуйте, вы живете, как какая-нибудь игуменья, только вместо требника читаете «Revue des

deux Mondes», что почти одно и то же... Не пугайтесь, я не буду нападать на ваш любимый журнал. Поверьте, что этой свободы я у вас не отниму. Ну, а других причин нет?

— Нет, есть и другие; главное, что теперь это слишком поздно. Зачем вы не сделали мне предложение тогда... помните, когда вы меня так любили?

— Побойтесь бога, Марья Петровна, нам тогда было по десяти лет... Разве в такие годы можно жениться?

— Нет, Paul, вы ошибаетесь, вы были тогда на семь лет старше меня.

— Ну, положим, что так, не спору. Но если я был на семь лет старше вас, то и теперь остается та же разница. Почему же это может служить препятствием?

— Нет, вы меня не так поняли. Я хотела сказать, что в мои годы страшно вступать в новую жизнь, в эту область неизвестного...

— Какая же это область неизвестного? Вы забываете, кажется, что уже были замужем и прожили довольно счастливо с вашим покойным мужем...

— Это правда, я очень любила и уважала Осипа Васильевича, но все-таки в этих супружеских отношениях есть много неприятного. Et puis je vous dirai que dans tout cela il y a un côté ridicule qui n'est pas du tout comme il faut...\*

Следовало начинать отступление, но в эту минуту потерять Марью Петровну уже казалось мне несчастьем. Я продолжал настаивать.

— Марья Петровна, выслушайте меня. Мы так давно знаем друг друга, что с помощью взаимных уступок нам будет не трудно сгладить все эти шероховатости супружеской жизни. Мы и без того видимся с вами ежедневно... Что же будет удивительного в том, что мы, наконец, вступим в брак? Это не будет брак по страсти, потому что в наши годы смешно же влюбляться безумно... по крайней мере, друг в друга. Это не будет брак по расчету, потому что у каждого из нас есть и обеспеченное состояние, и прочное положение в обществе. Это будет, если можно так выразиться, брак по удобству и по старой дружбе. Наконец, мы приближаемся к таким годам, когда нас поневоле будут посещать разные немощи и болезни. Вместо того, чтобы каждый день посылать узнавать о здоровье, не лучше ли нам ухаживать друг за другом, помогать друг другу доживать последние дни? До сих пор мы весь наш жизненный путь прошли рядом, а теперь мы пойдем рука об руку... Вот и все,— другой разницы не будет.

Красноречие мое пропало даром; Марья Петровна меня не слушала. Она, видимо, была вся погружена в свои брачные воспоминания.

— Представьте себе,— прервала она мои аргументы,— что Осип Васильевич приходил иногда ко мне в старом грязном меховом

---

\* И потом, скажу я вам, во всем этом есть смешная сторона, что не совсем прилично... (фр.)

халате и курил трубку. Mon Dieu, rien qu'à ce souvenir j'ai des pausées...\* А после, когда он уходил, его этот мех оставался на моем диване. А один раз он при мне вынул свою челюсть и тер ее каким-то порошком... Это ужасно, ужасно!

— Но ведь со мной ничего подобного не может случиться. Челюсть я при вас вынимать не буду, потому что все мои зубы сохранились, трубку я не курил никогда и могу вам поклясться, если вы этого потребуете, что вы никогда меня не увидите в халате, по крайней мере в меховом.

— Et puis il était jaloux horriblement jaloux \*\*, хотя я и не подавала никакого повода. Иногда он говорил, что уезжает, и неожиданно возвращался, думая застать кого-нибудь. Конечно, он никого не заставлял, но согласитесь, что такие подозрения очень обидны, тем более что в провинции, где мы тогда жили, это известно всем. Особенно он ревновал меня летом, когда должен был ездить на разные смотры. Alors pour m'effrayer, il inventait chaque fois de nouvelles sottises \*\*\*. Один раз его адъютант, по его приказанию, уверял меня, что есть такой закон, по которому Осип Васильевич, как только войска выступают в лагерь, имеет право расстрелять меня без всякого суда. Je me souviens très bien qu'il appelait cette stupide loi \*\*\*\* «военный регламент»... Конечно, я этому не поверила, но согласитесь, Paul, что это обидно.

— Охотно соглашаюсь, но клянусь вам, Марья Петровна, что я не буду ревновать вас ни в каком случае, даже если застану вас наедине с Колей Кунищевым, которого вы так любите.

— En voilà encore un ingrat! \*\*\*\*\* Это правда, что я его очень любила, а чем же он отплатил мне? Он не был у меня целую вечность и только в Новый год забросил карточку. En général les hommes ne savent pas apprécier un sentiment pur...\*\*\*\*\* У них у всех такие грубые инстинкты, такое желание показывать свою грубую силу! Au fond Nicolas a tout à fait le caractère de son oncle \*\*\*\*\*. Осип Васильевич был совсем, совсем такой же.

— Но ведь во мне вы не замечали этих грубых инстинктов? Скажите по правде.

Марья Петровна внимательно посмотрела на меня.

— Да, это правда, у вас я не замечала... Может быть, и вы были бы такой же... Нет, Paul, поверьте, я вас очень люблю, считаю вас своим лучшим другом, но выйти замуж не могу, не могу, не могу!

Я взялся за шляпу.

— Куда же вы уходите? Неужели мы не можем остаться друзьями без этого?

---

\* Боже мой, только при одном воспоминании мне становится дурно... (фр.)

\*\* И потом, он был ревнив, ужасно ревнив (фр.).

\*\*\* Чтобы испугать меня, он придумывал всякий раз новые глупости (фр.).

\*\*\*\* Я очень хорошо помню, что он называл этот дурацкий закон (фр.).

\*\*\*\*\* Вот и еще один неблагодарный! (фр.)

\*\*\*\*\* Мужчины вообще не умеют ценить чистого чувства... (фр.)

\*\*\*\*\* В сущности Николая унаследовал целиком характер своего дядюшки (фр.).

Я уселся на прежнее место, и мы начали молчать. Есть люди, с которыми даже молчать удобно, и Марья Петровна принадлежит именно к категории таких людей, но после разговора, который был между нами, нам было неловко, и мы оба вздрогнули от удовольствия, когда на лестнице раздался звонок.

Это был доктор. При виде меня лицо его выразило сначала неподдельный ужас, потом приобрело выражение обиды и сарказма.

— Ну-с, батюшка Павел Матвеевич, благодарю — не ожидал. Это выходит bonjour за внимание. Я, конечно, вам не отец и не опекун и не могу вам запретить уморить себя, если вам пришла такая фантазия, но тоже получать даром деньги за визиты не желаю. Поищите себе другого доктора, а затем танцуйте, наливайтесь, кутите, катайтесь на тройках, делайте все, что хотите. Одним словом, как говорят французы — *vogue le galère!* \*

— *La galère*, — кротко поправила Марья Петровна.

— Ну, уж я там не знаю: *le* или *la*, но только лечить я вас больше не могу.

— О, нет, можете, доктор! — воскликнул я с убеждением, — можете больше, чем когда-нибудь! Везите меня домой и делайте со мной все, что хотите. Даю вам честное слово, что не выеду из дома хоть целый год, если нужно. Теперь мне и выезжать некуда!

5 апреля

Кажется, на этот раз я заболел не на шутку. Доктор морщится, прописывает все более и более укрепляющие микстуры и каждый раз попрекает меня выездами из дому на прошлой неделе. Он называет этот выезд «шалостью, за которую детей секут».

Доктор прав. Это действительно была шалость не только в медицинском, но и во всех других отношениях. Как я мог надеяться на какой-нибудь успех? А если бы Лида согласилась, — какая жизнь меня ожидала? Положим, она очаровательный ребенок. Но мне ли нянчиться с этим ребенком?

Всю жизнь я говорил и думал, что нет счастья вне семейной жизни. Много встречалось на моем жизненном пути милых и привлекательных девушек, с которыми это счастье казалось возможным, и, однако, я не делал никаких серьезных попыток, чтобы создать его. Я все откладывал, все ждал чего-то необыкновенного... Ну, вот и дождался! Причина такой медлительности кроется в том, что старость никогда не входила в мои расчеты о будущей моей жизни. Когда в прошлом году кто-то назвал меня старым холостяком, я рассмеялся самым искренним смехом. Холостяк, — да, но почему же старый? И вот, прожив около полувека в платонических мечтаниях о семейном счастье, я вдруг в один и тот же день сделал два предложения. Если мою историю с Лидой по сумме страданий, которые я из-за нее вынес, можно назвать драмой, то инцидент с Марьей Петровной я смело назову водевилем для разезда<sup>14</sup>. Я долго потом

\* кривая вывезет! (фр.)

размышлял о том, что именно побудило меня сделать этот неожиданный комический шаг, и пришел к убеждению, что я бессознательно для самого себя исполнил последнее поручение Лиды: «Женитесь на тете, сделайте это хоть для меня»,— говорила наивная девочка. Она привыкла к тому, что я у нее на посылках, и посылала меня к тете. Я привык исполнять ее капризы и сунулся к тете, а тетя, вероятно, склонилась бы на мои доводы,— как это всегда бывало до сих пор, если бы я сам не испортил дела, вызвав перед ее воображением образ Осипа Васильевича с трубкой, вставной челюстью и грубыми инстинктами.

Как бы то ни было, но если уже Марья Петровна мне отказала, то кто же пойдет за меня? Приходится признать себя вечным холостяком и влачить в горьком одиночестве определенные мне судьбою дни. Есть люди, которые мирятся с полным одиночеством и находят в нем даже какую-то отраду, но эти люди слишком любят себя, а я себя любить не могу, потому что довольно жалкого о себе мнения.

Как же, однако, жить, если некого любить и не на что надеяться? В моей дрезденской тетради я когда-то высказал мысль, что каждый человек взамен личного счастья может найти утешение в любви к человечеству вообще. Теперь об этом предмете я думаю несколько иначе.

Из всех фраз, которыми себя убаюкивают люди, нет фразы более бессодержательной и фальшивой, как фраза о любви к человечеству. Я понимаю, что можно любить жену, детей, отца, мать, братьев, сестер, друзей, знакомых. Я понимаю, что можно любить страну, в которой мы родились, и, когда отечество в опасности, пожертвовать для него жизнью. Я понимаю, что можно не только ценить умом, но до некоторой степени любить и сердцем людей незнакомых, чужеземцев, если они расширили наш умственный горизонт, дали нам художественные наслаждения или поразили наше воображение какими-нибудь подвигами в различных сферах жизни. Но любить вею массу людей только потому, что они люди,— сомневаюсь, чтобы кто-нибудь действительно испытал такое чувство... Почему китайцы ближе к моему сердцу, чем те минералы, которые лежат в девственных лесах Америки? Если бы проповедовали любовь отрицательную, состоящую в том, чтобы не делать и даже не желать зла китайцам, такую любовь я допустить готов. Но ведь я и минералам не желаю ничего худого: пускай себе лежат спокойно в недрах американской земли, пускай и китайцы наслаждаются жизнью в пределах своей Небесной империи. Выходить из этих пределов я им, во всяком случае, не желаю, потому что если б они захотели в большом количестве посетить Европу, то бороться с ними было бы нелегко.

Я не знаю, отчего люди с широким и вместительным сердцем ограничиваются любовью к человечеству. Можно расширить сферу любви еще больше. Можно приходиться в восторг от любви ко всему животному царству, потом от любви к земной планете, потом от любви к солнечной системе, наконец, от любви ко всей вселенной. Я не понимаю такой всеобъемлющей любви. Пусть любит вселенную тот, кому в ней хорошо живется.

Мне все хуже и хуже. Теперь вместо одного доктора ко мне ездят два. Федор Федорович привез ко мне своего приятеля Антона Антоныча, «специалиста». Этот Антон Антоныч настолько сухощав и мрачен, насколько Федор Федорович игрив и развязен. Какая у меня собственно болезнь, они мне не сказали, но целый час говорили обо мне по-латыни, бесцеремонно тыкая в меня пальцами. Я нахожу это крайне неделикатным и с их точки зрения неосторожным. Они, конечно, убеждены в том, что из всего латинского языка мне известны только два слова: омнибус и каптенармус; между тем я знаю несколько побольше, а один мой товарищ по корпусу считается теперь одним из лучших латинистов в Европе.

Прямым последствием появления Антона Антоныча была четвертая микстура, самая что ни на есть укрепляющая. На первый раз она подействовала хорошо, и благодаря ей я могу приняться за свои записки, чего не мог делать в последние дни по причине чрезмерной слабости. Эти записки составляют единственную радость моей жизни, все остальное мне запрещено. Хорошо, что Федор Федорович ничего не знает об этом; иначе он, конечно, запретил бы мне писать.

Запретил он мне действительно все. Я не могу ни пить, ни есть, ни курить, ни читать, ни принимать знакомых. Второй доктор даже сказал мне с грустью:

— Постарайтесь поменьше думать... Впрочем, это, конечно, трудно при бессоннице.

Марья Петровна допускается ко мне по особой протекции доктора. Увы! вчера она увидела меня в халате и, вероятно, опять вспомнила Осипа Васильевича *d'impérissable mémoire* \*.

Странно, что вопрос о смерти интересовал меня с первых детских лет. Я ощущал тогда самый суеверный страх при этой мысли. Смерть мало-мальски знакомого мне человека лишала меня на несколько дней аппетита и сна. Потом этот страх исчез, но прошло много лет прежде, чем я освоился с мыслью, впрочем, довольно распространенною, что все люди умрут: и злые и добрые, и бедные и богатые, и старые и молодые. Это единственное равенство, которого могли достигнуть люди. От мысли, что все люди умрут, до мысли: «и я умру» — еще большое расстояние. До этой последней мысли я додумался только вчера.

Не могу сказать, чтобы я очень боялся смерти. Да и стоит ли бояться, когда и боящихся и небоящихся ожидает одинаковая участь? У меня был товарищ, очень боявшийся и доведший регулярность своей жизни до последних пределов. Никогда он, бывало, не съест лишнего куска за обедом, никогда не просидит лишних пяти минут перед отходом ко сну. Расстояние разных уголков его сада было измерено очень точно, и, совершая свою утреннюю прогулку, он даже тыкал ногой в старую липу, стоящую на краю аллеи, в доказательство того, что им пройдено определенное число шагов. Несмотря на

\* незабываемого (фр.).

все эти предосторожности, он умер, не дожив до сорока лет. Моя тетушка Авдотья Марковна очень смеялась над его постоянным страхом.

— Ну, не глупо ли так бояться? — говорила она ему своим бесцеремонным языком. — Ведь когда ты едешь из Москвы в Петербург, ты раздеваешься и ложишься спать в вагоне, а просыпаешься в Петербурге. То же самое и смерть: тут заснем, а где-нибудь проснемся.

Сама Авдотья Марковна ничего не боялась, не принимала никаких предосторожностей и дожила до восьмидесяти пяти лет. Но и она умерла как-то нечаянно.

Люди, желающие скрыть, что они боятся смерти, говорят, что не смерть их пугает, а предсмертные страдания. Они любят повторять известное изречение: «*Ce n'est pas la mort, qui m'effraye, c'est le mourir*» \*. Это совсем неосновательная уловка. Страдания происходят не от смерти, а от болезней, которые иногда вовсе не оканчиваются смертью. Об этом говорили мне многие доктора, это видел я и сам, присутствуя при смерти моего единственного и нежно любимого брата. За несколько часов до смерти дыхание его стало ровнее, лицо спокойнее, так что луч надежды, я помню, воскрес во мне. А в самую минуту смерти он остановил на мне удивленный, вопрошающий взгляд. Лицо его и после смерти сохраняло то же выражение, пока я не закрыл ему глаза. Мне хотелось спросить у него: «Чему ты удивляешься, мой бедный Саша? Удивило ли тебя то, что ты увидел, или ты удивляешься тому, что ничего не увидел?»

Я человек верующий, но недостаточно верующий. Я прочитал важнейшие сочинения материалистов, но недостаточно уверовал и в них. Я убедился в том, что, помимо всяких учений и книг, в глубине каждой человеческой души таится мысль, что наше существование прекратиться не может. Это какой-то внутренний голос, нерешительный и тихий, но живучий: его легко заглушить доводами разума и науки, но уничтожить нельзя. Иногда он делается громче, и люди повинуются ему бессознательно, почти против воли. Для чего мы ездим на похороны и панихиды? Я не говорю о тех светских панихидах, куда ездят для родных покойника, а иногда просто для развлечения. Однажды Марья Петровна очень огорчалась тем, что несвоевременно узнала о смерти какой-то своей приятельницы, а потому не могла быть на панихиде. Я старался ее успокоить, что она успеет это сделать на следующий день.

— Oh, c'est bien autre chose, — наивно созналась Марья Петровна, — *la première панихида est toujours plus animée* \*\*.

Но каждому из нас случалось ездить на панихиды в дом человека одинокого, у которого не было родных и где мы не могли надеяться кого-нибудь встретить. На такие панихиды я преимущественно заставлял себя ездить, говоря себе, что я обязан отдать последний долг... кому? Отдавать последний долг покойнику нелепо, потому

---

\* Не смерть меня пугает, а процесс умирания (фр.).

\*\* О, это совсем другое дело... первая панихида всегда многочисленнее (фр.).

что он этого не увидит... Но в том-то и дело, что внутренний голос говорил мне, что покойник увидит и оценит.

Еще громче говорит этот голос, когда я думаю о своей собственной панихиде. Я живо представляю себе всю картину панихиды, вижу входящих людей, слышу их разговоры, замечаю оттенки искренности или равнодушия на том или другом лице<sup>15</sup>. Одного только я придумать не могу: откуда я это все буду видеть?

Это «откуда» составляет ту загадку, над разгадкой которой мучились и вечно будут мучиться люди: и высокоразвитые и неразвитые все. Гамлет говорит:

Умереть — уснуть<sup>16</sup>.

Уснуть... быть может, видеть сны... какие? Вот в чем вопрос!

Авдотья Марковна, вероятно, никогда не читавшая Шекспира, употребила то же сравнение, но сформулировала свою мысль яснее.

Замечательно, что наука, решившая раз навсегда, что после смерти ничего не будет, все-таки силится по временам приподнять хоть край завесы, которая покрывает великую тайну. Почему многие известные ученые так увлекаются спиритизмом? Что их интересует на спиритических сеансах? Неужели одни фокусы?

От спиритизма моя мысль естественно перешла к умершим. Я долго перебирал мысленно всех близких мне людей, и оказалось, что огромное большинство их в могиле. Ну, что ж, пора и мне к ним.

Но только мне бы хотелось умереть в полном сознании, хотелось бы знать, что я умираю, и в последний раз внимательно следить за собой. Вряд ли это желание исполнится. Я, вероятно, умру в то время, когда меня будут уверять, что я почти здоров. Для чего нужна эта жалкая комедия, эта последняя бесцельная ложь?

12 апреля

Дело, по-видимому, близится к развязке. Голова моя еще довольно свежа, но силы падают каждый день, страдания по ночам делаются невыносимы. Я едва дотащился до письменного стола, и рука с трудом удерживает перо. Сегодня утром Марья Петровна советовала мне исповедаться и причаститься, а Федор Федорович предложил собрать завтра несколько докторов для консультации. Я, конечно, согласился на то и на другое. Оба при этом уверяли меня, что я вне опасности и что они предлагают эти меры только для моего личного успокоения. После их отъезда мне подали несколько карточек. На одной из них я прочитал: «Графиня Елена Павловна Завольская». Уже одна эта карточка — мой смертный приговор. Елена Павловна ни за что не приехала бы ко мне, если бы существовала хоть малейшая надежда на выздоровление. Ее визит есть не что иное, как примирение *in extremis* \*.

Теперь своевременно приступим к некрологу.

---

\* в последний момент (лат.).



Жил-был на свете человек, которого знакомые звали Павликом Дольским. Он не сделал в жизни особенного зла, но и добра у него было немного. Был он, по правде сказать, довольно пустой человек. Но все-таки он занимал, как человек, свое определенное место, мозг его работал, сердце горячо и усиленно билось. Он много передумал и перечувствовал, часто желал и надеялся, еще чаще страдал и ошибался. Главная беда его состояла в том, что он ничего не делал и слишком долго считал себя молодым. И вот, когда он в этом разубедился и захотел хоть немного осмыслить свою жизнь, ему сказали: «Нет, теперь поздно. Ты уже не будешь больше ни любить, ни думать, ни надеяться, ни желать, ни ошибаться. Из того, что ты делал прежде, можешь, пожалуй, еще пострадать в заключение, но и то недолго. А затем ты исчезнешь».

Не знаю, как другим, а мне жаль этого бедного Павлика, которого, не спросив его согласия, пустили на свет божий и которого без всякой вины высылают обратно.

5 июля

Вот уже более месяца прошло с тех пор, как меня, еще слабого и каким-то чудом спасенного от смерти, привезли в Васильевку. Тот день, в который я написал последнюю страницу моих записок, был и последним днем моего сознания. Я помню в каком-то тумане, как ко мне вошел мой духовник, отец Василий, и как я горячо молился. Еще я помню, как вошли какие-то незнакомые мне люди, как меня раздели донага, как эти люди спорили надо мной и как один из них, самый седой и лысый, сердился и кричал на Федора Федоровича. Потом я уже ничего не помню. Изредка я приходил в себя и при свете лампы с темным абажуром всегда видел перед собой Марью Петровну, подававшую мне лекарство. Только это была не та Марья Петровна, которую я знал, а какая-то другая. Я все хотел у нее спросить, отчего она так побледнела и похудела, но не успевал этого сделать. Едва я кончал прием лекарства, она исчезала, только шум ее легких шагов раздавался по ковру, и я опять забывался. Теперь мне трудно даже сообразить, сколько времени продолжалось такое состояние. Очнулся я утром, лампы с абажуром не было, яркое солнце смотрело через шторы моих окон. Я приподнялся, легкие шаги зашуршали по ковру.

— Марья Петровна, это вы? — спросил я, протирая глаза.

— Нет, я не Марья Петровна, — сказала, подходя к моей постели, маленькая, худенькая женщина с кротким и симпатичным лицом, — я сестра милосердия, но вы постоянно называли меня Марьей Петровной — продолжайте так же, это все равно.

— Но как же вас зовут?

— Я скажу вам это после, вам теперь не следует разговаривать. Примите лекарство и усните.

В то же время маленькая женщина очень ловко сняла верхнюю подушку, положила на ее место другую, и я до сих пор помню, как сладко я заснул, повалившись на эту подушку.

С этого дня началось мое выздоровление. В те редкие минуты, когда я мог думать во время моей болезни, я ясно сознавал, что я умираю, и эта мысль не особенно меня огорчала, но каждый новый фазис моего выздоровления наполнял мое сердце неизъяснимой радостью. Первый разговор с Анной Дмитриевной,— так звали сестру милосердия,— первая чашка чая, которую мне позволили выпить, первая струя свежего весеннего воздуха, когда мне позволили открыть окно,— все это было для меня целым рядом праздников. В числе других нераспечатанных писем, лежавших на моем письменном столе, я нашел письмо от Елены Павловны, объяснившее мне ее визит. Она писала, что, свято почитая память своего первого мужа, она просит прислать ей для прочтения письма Алеши, а также его портреты. К этому она прибавила в конце, что если бы, паче чаяния, у меня нашлись и ее письма, она просит присоединить их к письмам ее мужа. На эту хотя сухую, но очень вежливую записку, я отвечал самым сердечным письмом. Я просил Елену Павловну простить меня, если мое поведение в прошлом заслужило ее гнев, дал ей честное слово,— что и правда,— что никаких ее писем у меня не сохранилось, и вложил в конверт «пророческую группу», как единственный памятник прошлого. Через два часа мне принесли лоскуток серой бумаги, на котором я прочитал следующие строки, написанные крупным безобразным шрифтом: «Письмо и посылку от господина Дольского графиня Елена Павловна Завольская получила, в чем по приказанию ее сиятельства и росписуюсь. Дворецкий Яков».

Если Елена Павловна невинна в смерти своего мужа,— а я всякий раз все более и более сомневаюсь в ее виновности,— то, конечно, я страшно виноват перед нею. Гнев ее понятен, но только мне кажется, что по прошествии четверти века он мог бы несколько остыть и смягчиться. Во всяком случае, я рад, что с отсылкой пророческой группы исчезло все или почти все, что осталось у меня от этой тяжелой эпохи моей жизни. Остались угрызения совести, которых никуда отослать нельзя.

Переписка с Еленой Павловной была единственным темным пятном на светлом фоне последних двух месяцев. Мое радостное настроение возрастало с каждым днем и дошло до апогея, когда меня привезли в Васильевку. От этого старого дома, потонувшего в зелени лип и тополей, от этого громадного заглохшего сада, из которого можно бы выкроить несколько парков, на меня так и пахло незабвенной порой светлого, чистого детства. Я приехал в Васильевку ночью. Когда я на другой день проснулся и вышел на балкон, перед которым цвела и благоухала целая роща розовых кустов, и когда моя старая Пелагея Ивановна принесла мне на балкон кофе в большой голубой чашке с нарисованными пастушками, я почувствовал, что груз тяжелых годов свалился с моих плеч. Дорогой я еще по временам ощущал большую слабость; родной угол сразу возвращал мне прежние силы. Я обошел дом и легкой походкой взбежал наверх, в ту комнату, которую мы детьми занимали с братом. Эта комната почти не изменилась с тех пор. Большой черный стол, весь изрезанный перочинным

ножиком, занимает по-прежнему угол между окнами и печкой; наши детские кровати стоят, как прежде, рядом. Только обои потрескались да гардины выцвели на окнах. Я отворил большое окно, у которого просиживал, бывало, долгие часы, задумчиво всматриваясь в опушку старого дремучего леса, синевшую направо, за большой дорогой. Теперь лес вырублен, и вместо него синей лентой извивается река, которая прежде не была видна за деревьями. Вид сделался, пожалуй, красивее, но мне стало жаль старого вырубленного леса, и я с радостью обратил взор налево при виде знакомых развалин старой кухни. Мне было десять лет, когда выстроили новую, каменную; но возле нее полусгнившая деревянная кухня остается почему-то неприкосновенной до сих пор. Я обрадовался и тому, что уцелел колодец, давно засыпанный землею, что существует большой шест при входе в огород. На него сажалось чучело в черном платье, чтобы пугать ворон, но мы с Сашей боялись его больше, чем вороны...

Целый месяц прошел незаметно. Я собирался посетить кое-кого из соседей, но всякий раз откладывал эти визиты до следующего дня. Мне просто жаль нарушить мою тихую жизнь,— жизнь воспоминаний и одиноких дум. Я весь живу в прошедшем. Я отыскал здесь мои старые письма, которые я писал матушке в течение тридцати лет; в чтении этих писем проходит у меня обыкновенно все утро. Над каждым письмом я задумываюсь подолгу, я читаю не только те слова, которые написаны, но вижу между строками и то, о чем молчал. Целые эпохи прошлой жизни воскресают в моей памяти, целые вереницы людей проходят опять передо мной со своими светлыми и темными сторонами. Эти темные пятна на близких мне людях немало мучили мою душу в юношеские годы; теперь я смотрю на них спокойнее, потому что лучше их понимаю, а понять, по великому слову Шекспира, то же, что простить<sup>17</sup>.

Мое единственное развлечение — бесконечные разговоры с Пелагеей Ивановной, но и эти разговоры исключительно принадлежат прошлому. Ей далеко за восемьдесят лет, она была взята из деревни в кормилицы к матушке и с тех пор осталась в доме. Она всегда считалась членом семьи, близко знала моих обоих дедов, и рассказы ее выясняют мне многое в моем собственном характере и жизни. Из многочисленной когда-то семьи я остался один в живых.

— Только о твоём здравии и молюсь теперь,— сказала как-то мне Пелагея Ивановна,— а про всех остальных — как вспомню кого, так и приходится говорить: «Упокой, господи, душу раба твоего».

Вчера мне попала в руки эта тетрадь, я перечитал свои записки, и странно, что письма мои, писанные тридцать лет тому назад, ближе к моей душе, чем эти записки, начатые в прошлом году. Целое нравственное перерождение произошло со мной в последние два месяца. Между прочим, в начале этих записок я спрашивал себя: был ли я человеком счастливым или несчастным? и не мог ответить на этот вопрос. Теперь ответу прямо: я был несчастлив много лет, зато теперь счастлив вполне! Может быть, мои рассуждения о любви к человечеству были логичны, но не всегда верно то, что

логично. Я не могу определить точно, что именно я люблю: человечество, планету или солнечную систему... Я знаю только одно, что люблю жизнь во всех ее проявлениях, люблю самую мысль, что я живу на свете.

Сегодня очень жаркий день, такой жаркий, какого еще не было в этом году. Меня обуяла лень, мне не хотелось ни читать, ни думать, я сошел в сад и улегся под тенью широкого клена. Сверху сквозь кленовые листья просвечивало самое безоблачное небо, вокруг меня была невозмутимая тишина; все, что только могло, попряталось от зноя, все заснуло: и люди, и собаки, и деревья. Только ласточки бесшумно рассекали воздух, над головой моей кружились молчаливые мошки да изредка доносились до меня всплески воды и крики ребят-тишек, купавшихся в реке. Потом и они затихли. Увлеченный общим примером, я и сам начал дремать, но был разбужен появлением нового лица. В нескольких шагах от меня стоял большой петух и внимательно рассматривал меня. Он крикнул два раза повелительно и резко, остался чем-то недоволен, сердито отвернулся и пошел назад, осторожно ступая по траве своими тоненькими ножками, точно какой-нибудь столичный франтик, который случайно попал в деревню и боится выпачкать свои лакированные ботинки... Этот петух как будто нарочно появился, чтобы отогнать мой неуместный сон и вернуть меня к наслаждению, то есть к жизни. «Боже мой! — думал я, приходя в какое-то восторженное состояние, — как мне не благодарить тебя? Я уже был приговорен к смерти, и если бы чудо не совершилось надо мной, я лежал бы в могиле, не наслаждаясь ни этим солнцем, ни этой тенью, ни этой тишиной. Петух так же громко прокричал бы у моей могилы, и я не услышал бы его крика. Конечно, я знаю, что час недалек, но должен быть благодарен за эту отсрочку и пользоваться ею! Что бы теперь ни случилось со мной, я не могу ничего бояться. Если бы я разорился и был осужден на самые тяжелые работы, если бы мне пришлось владеть существование нищего без крова, я бы и тогда не стал роптать. Спать на голой земле все-таки лучше, чем спать под землю. Врагов у меня не может быть никаких; нет такой обиды, которую я бы не простил. Кажется, никого я так сильно не ненавидел в жизни, как Мишу Козельского, но и о нем я думаю теперь без всякой горечи. Недели через три я поеду в деревню к Марье Петровне и проведу у нее остальную часть лета. Там в конце августа состоится свадьба Лиды, я обещаю быть у нее шафером. Об этом милом ребенке я не могу вспомнить без умиления, хотя зверь влюбленности совсем заснул во мне. Надеюсь, что он и не проснется. На днях Лида писала мне: «Я все-таки поставлю на своем, и после моей свадьбы непременно уговорю тетю выйти за вас замуж...» Может быть, и в самом деле уговорит... Не все ли мне равно?

Если бы каждый человек хоть раз в жизни испытал то же, что и я, т. е. ясно почувствовал, что одна его нога была уже в могиле, то вражда совсем прекратилась бы между людьми. Человеческая жизнь заключена в таких тесных рамках неведения и бессилия, она так случайна, шатка и недолговечна, что человеку смешно еще

отравлять ее бессмысленной враждой... Какая непостижимая глупость — война! Как решаются люди истреблять друг друга? Только один и есть настоящий враг у человека — смерть. Бороться с этим врагом нельзя, но и помогать ему не следует.

А что, если этот отказ от борьбы и эти любвеобильные порывы сердца вовсе не доказательства моего нравственного перерождения, а только несомненные признаки близкого старческого размягчения? Что ж, надо примириться и с этим. Пора перестать быть Павликом, сделаться Павлом Матвеевичем и спокойно принять старость со всеми ее последствиями... Эх, ты, старик, старик!



## МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

*Фантастический рассказ*

C'est un samedi, à six heures du matin, que je suis mort.

*Emile Zola \**

### I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка еще продолжал дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь и она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь; она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

---

\* Я умер в субботу, в шесть часов утра. *Эмиль Золя*<sup>1</sup> (фр.).

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат — сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь,— говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном,— побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободился от ее объятий и усадил ее на диван.

— Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения... Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

— Ах, André, ради бога, распоряжайся всем... Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подзвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

— Это объявление ты отправишь в «Новое время»<sup>2</sup>, а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

— Ваше сиятельство,— отвечал, нагибаясь Семен,— за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкуются у подъезда. Уж мы их гнали, гнали,— не идут, да и только. Прикажете их сюда позвать?

— Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

— «Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля, в 8 часов вечера, после тяжелой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера». Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez: \* с глубокой скорбью.

Брат поправил.

— Я посылаю в «Новое время». Это довольно?

— Да, конечно, довольно. Можно еще в «Journal de S.-Petersbourg»<sup>3</sup>.

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких тревожных и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут

\* Я не выношу этого слова. Напишите. (фр.)

стоял возле нее, не желая нарушить ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

— Будьте спокойны, ваше сиятельство,— говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные,— у нас все припасено: и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей.

Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья — любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

— Слушай, Настя,— сказал ей тихо Семен,— не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе: помолилась, и довольно.

— Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали.— Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могли ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

— Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте,— сказал он раздраженным шепотом,— здесь вам не место.

— Да что с вами, Савелий Петрович!— прошипела обиженная Юдишна.— Я ведь не красть собираюсь.

— Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены,—я к столу никого не допущу. Я не даром сорок лет князю-покойнику служил.

— Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

— Молиться можете, а до стола не прикасайтесь...

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило.



«Неужели я в летаргии?» — подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть, что именно он сделал, чтобы выйти из гроба<sup>4</sup>.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия,— соображал я, пока меня облекали в чистое белье,— но что же это такое?»

Доктор сказал: «Все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем, я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решил съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь дивят его своей пустотой.

И тут в первый раз в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек,— не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

## II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий, бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны твоя, от крепости бо руки твоя аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары, и разные люди, молодые и старые, то

радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек рождается с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого осуществления. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно, как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие — одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень»<sup>5</sup>. Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой состав-

ляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались; казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь, между тем, не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник-*monstre*\* с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упростила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: «Ведь это наш граф Шамбор». Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 20-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку столько ученых мужей. Я то поправлялся, то заболел с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сегодня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы.

Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобрело для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

---

\* чудовище (*фр.*).

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья деревьев, — все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий, бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь... Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую авеню \*, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

— Какой вздор! — воскликнула жена. — Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор (la cour d'honneur \*\*), посыпанный красным песком; вот подъезд, увенчанный гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной — какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева — поразил меня как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невольно, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

— Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, — сказал я, поймав этот взгляд, — я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

— Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

---

\* подъездная дорога (фр.).

\*\* парадный двор (фр.).

— Да, но я именно жил в этом замке... Вы верите в переселение душ?

— Как вам сказать... Жена моя верит, а я не очень... А впрочем, все возможно...

— Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

— Может быть, вы перестанете смеяться,— сказал я, делая невероятные усилия памяти,— если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

— Вы совершенно правы, вот она, налево.

— А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

— Вы слишком любезны, называя эту массу воды (*cette pièce d'eau* \*) озером. Мы просто увидим пруд.

— Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

— В таком случае позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях ту картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив... Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы... Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте,— сказал я, с недоумением смотря направо,— тут должен быть еще второй пруд, потом третий...

— Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

— Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

— При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

— Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

— Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня... мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

---

\* пруды (фр.).

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

— Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...

— О, да, принесите их,— и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: *les étangs* \*.

— *Je baisse pavillon devant le vainqueur* \*\*,— произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием,— словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и склонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я — мы были оба так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным: я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

---

\* пруды (фр.).

\*\* Сдаюсь на милость победителя (фр.).

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

#### IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию березовки и вернулся окончательно ожесточенный.

— «Кая польза в крови моей, вегда сходите ми во истление», — начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем выказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это люди были простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием; лица же моего круга — даже самые близкие мне люди — относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелию, и он сделал ей строгое замечание.

— Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья, — уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

— Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоём месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

— За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен. — Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

— Знаю я этих шлюх, законных, — проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничижающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекошились от гнева и в глазах показались слезы.

— «На аспида и василиска наступиши, — читал псаломщик, — и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

— Вот вы этот аспид и есть.

— Кто это аспид? Ах, ты...

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя в свою очередь мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

— *Voyons, Zoé, mon enfant,*— уговаривала ее графиня,— *soyez ferme\**. Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— *Oui, ma tante, je serai ferme\*\**,— отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя несомненно была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

— Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?

— Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю, и мог ли я думать...

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит.

И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

— Ну, вот, Иван Ефимович,— сказал генерал,— еще у нас одним членом стало меньше.

— Да, с Нового года это уж четвертый.

— Как четвертый? Не может быть!

— Как «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч...

---

\* Ну, ну, Зоя, дитя мое... мужайся (фр.).

\*\* Да, тетушка, я буду мужественна (фр.).



— Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

— Однако он все-таки возобновлял билет.

— Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч... Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни...

— Что делать! «Не весте бо ни дне, ни часа...»<sup>6</sup>

— Да, это все отлично! Не весте, не весте,— это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

— Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

— Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: *de mortis, de mortibus...*\*

— Вы хотите сказать: «*De mortuis aut bene, aut nihil*»?\*\* Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: *de mortuis aut bene, aut male*\*\*\*. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй...

— Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш... По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрие Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек...

— К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея...

— Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

— Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпит в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему, такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников...

---

\* о смерти и о мертвых (лат.).

\*\* О мертвых следует говорить либо хорошо, либо ничего? (лат.)

\*\*\* о мертвых следует говорить или хорошо, или плохо (лат.).

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень заматавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы, я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков,— маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь... известно ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал спрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

— Видите ли, князь,— начал, запинаясь, Звягин,— я был должен покойному...

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

— Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя дружба...

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали по зале. Тут, в первый раз после смерти, я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без того денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большею частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их на лестницу.

Я всегда с особым умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой про-

нией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и въздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня, въздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении...», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

## V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал,— настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает,— и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел,— это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что создавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется, и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему, в конце концов, приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хотя некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: «*Ci-git très haute et recommandable dame...*» \* Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на котором я читаю: «*Ci-git le coeur du marquis...*» \*\* Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: «*Zo... Zo...*» Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: «*Zorobabel!*<sup>7</sup> *Zorobabel!*..» Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я — на дворе замка, в большой толпе народа. «*A la chambre du roi!.. A la chambre du roi!..*» \*\*\* — повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т.е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настагающих его охотников. В глубине комнаты — альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии<sup>8</sup>. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «*Zorobabel! Zorobabel!*» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина разворачивается передо мною.

## VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по ши-

\* Здесь покоится достойная дама... (фр.)

\*\* Здесь покоится сердце маркиза... (фр.)

\*\*\* В комнату короля! В комнату короля!.. (фр.)

рокой улице и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные, ветви молодых берез, вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой, протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настезь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно, умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завывала.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи... Но как ни напрягал я свою память, я не мог вспомнить ничего подобного. словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.

Но вот среди мертвого безмолвия раздается колокольный звон. Звук колокола такой надтреснутый и жалкий, что кажется не звоном, а голосом, выходящим из какой-то наболевшей медной груди. Я иду на этот звон и вхожу в церковь. Церковь полна молящихся, простым, серым людом. Служба идет какая-то необычайная, настроение также не такое, как всегда бывает в церкви. По временам слышатся стоны в разных углах храма; слезы текут по загорелым, грубым лицам. Я пробираюсь через толпу по неровному, продавленному полу направо, где горит множество свечей перед чудотворной иконой божией матери. Икона черная, без ризы, только золотой венчик окаймляет голову богоматери; глаза ее смотрят не то строго, не то с каким-то недоумевающим сожалением. Перед иконой развешано множество рук, ног и глаз из серебра и слоновой кости,— приношения больных, жаждущих исцеления<sup>9</sup>. С амвона раздается старческий, неотчетливый голос священника, читающего новую для меня молитву:

«Боже милосердный, воззри на рабов твоих, здесь предстоящих, и помилуй нас».

«По беззакониям нашим караешь ты нас, но слишком тяжел для нас гнев твой».

«Господи, останови карающую руку твою и смилуйся над нами».

«Лютый враг одолевает нас, у нас нет ни вождей, ни жилищ, ни хлеба».

«За грехи наши гибнем мы, но за что должны погибнуть наши неповинные дети?»

«Мы терпеливы, мы покорны воле твоей, но все же мы люди и терпеть нам не хватает силы».

«Бороться мы не можем, помощь не придет ниоткуда, и вот мы в последний раз пришли к тебе и молим: спаси нас».

«Господи, не доводи нас до ропота, не доводи нас до отчаяния. Ты дал нам жизнь, не отнимай ее до срока».

Но вот посреди молящихся послышалось движение. Толпа расступилась, и священник быстрыми шагами подошел к чудотворной иконе. Священник был маленький, старенький, с седой, всклокоченной бородкой. Старая, полинявшая риза была сшита не на его рост и волочилась по полу.

«Владычица небесная,— воскликнул он громким, взволнованным голосом.— Ты ближе к нашим людским страданиям. Ты знала, что такое мучиться и терпеть».

«Любимого и неповинного сына своего ты видела распятым на кресте. Ты видела его мучителей, издевавшихся над ним в его последний, смертный час».

«Какая скорбь может сравниться с такой скорбью?»

«Скажи же ему, сыну твоему, сыну твоему...»

Священник не мог продолжать,— голос его задрожал, и он с рыданием повалился на землю. Вслед за ним вся тысячная толпа упала на колени. Теперь стон уже не раздавался по углам церкви, он стоял сплошной массой, как стоит иногда дымный столб от ладана среди храма. Сердце мое переполнилось умилением и братским чувством общей народной скорби; я также бросился на колени и забылся.

Когда я очнулся, церковь была пуста. Все свечи в паникадилах были потушены, только маленькая лампадка горела перед темным ликом богоматери. При тусклом освещении выражение лица ее изменилось. Сожаления в нем не было, глаза ее смотрели безучастно и строго.

Я вышел из церкви с смутной надеждой кого-нибудь увидеть, встретить... Увы! вокруг меня то же безмолвие и та же пустота. По-прежнему одноцветно-серое небо, по-прежнему мелкий дождь добывает желто-бурые листья, и опять этот ветер, ужасный, несносный ветер, клонит до земли обнаженные ветви березок и надрывает душу своим однообразным свистом...

## VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых

к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то... Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то и она являлась мне во сне как наказание и упрек?

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая, конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, то есть состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение; но оно росло, крепло, побеждало все доводы,— и наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

## VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования,— мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье», и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти

миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как и понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира; <sup>10</sup> таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душевной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный, ограниченный разум! И все его усилия пропадают даром, все изобретения — часто гениальные — не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа, — об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса <sup>11</sup>. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дразги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, — но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!



О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челноке навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезывает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

## IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос, это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка,— раздался голос Софьи Францевны,— проберись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

— Да как же я туда проберусь, тетенька?— отвечала Васютка.— Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

— Ну, как-нибудь проберись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

— Ну, что? — спросил он, вбегая.

— Все благополучно, поздравляю,— произнесла торжественно Софья Францевна.

— Ну, слава тебе, господи,— сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

— Мальчик или девочка? — спросил он уже из коридора.

— Мальчик, мальчик!

— Ну, слава тебе, господи,— повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

— Нашла тоже время,— нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого глубокого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.

Через несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь...





## ПРИМЕЧАНИЯ

Первое собрание сочинений А. Н. Апухтина, в которое вошли не только стихи, но и проза, было издано в 1895 г., спустя два года после смерти автора. Оно было подготовлено друзьями поэта В. Н. Герардом и Г. П. Карцовым при участии поэта К. К. Случевского. В основу издания был положен сборник стихотворений, выпущенный самим автором в 1886 г. (2-е изд. 1889 г., 3-е — 1893 г.), и рукописи прозы, найденные по его кончине. В дальнейшем собрание расширилось как по разделу поэзии, так и прозы и к 1898 г. (3-е посмертное изд.) сложилось окончательно. Все последующие издания Апухтина (7-е — 1912 г.) по составу не изменялись.

Дважды издавались стихотворения Апухтина «Библиотекой поэта»: том Малой серии в 1938 г., том Большой серии в 1961 г. Издание стихотворений в Большой серии «Библиотеки поэта» — первое текстологически выверенное собрание поэзии Апухтина. Оно было пополнено значительным количеством неизвестных ранее стихотворений, напечатанных по автографам и авторизованным копиям, сделанным при жизни поэта его ближайшими друзьями.

Проза Апухтина, исключая повесть «Дневник Павлика Дольского», не переиздавалась.

Настоящее издание представляет собой первое в советское время наиболее полное собрание стихов и прозы Апухтина.

### УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

*ГПБ* — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

*ДМЧ* — Отдел рукописей Дома-музея П. И. Чайковского в Клину.

*Изд. 1886 г.* — Стихотворения А. Н. Апухтина. СПб., 1886.

*Изд. 1893 г.* — Стихотворения А. Н. Апухтина. Изд. 3-е, СПб., 1893.

*Изд. 1895 г., т. 1* — Сочинения А. Н. Апухтина. Изд. 4-е, доп., в 2-х томах, вступительная статья М. И. Чайковского. СПб., 1895, т. 1.

*Изд. 1895 г., т. 2* — То же, т. 2.

*Изд. 1896 г.* — Сочинения А. Н. Апухтина, 2-е посмертное доп. изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб., 1896.

*Изд. 1898 г.* — Сочинения А. Н. Апухтина, 3-е посмертное доп. изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб., 1898.

*Изд. 1961 г.* — А п у х т и н А. Н. Стихотворения. «Библиотека поэта» (Большая серия). Л., Советский писатель, 1961.

*ИРЛИ* — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

*ГМТ* — Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве.

*ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства в Москве.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

В основу поэтического раздела настоящего издания положен сборник стихотворений Апухтина в Большой серии «Библиотеки поэта», Л., 1961, в полном составе. Несколько стихотворений, включенных дополнительно, даны по изданию 1898 г., что оговорено в примечаниях.

Все поэтические произведения, в том числе переводные, расположены в порядке общей хронологии. Исключение составляют юмористические стихи, выделенные в особый раздел.

Даты, заключенные в угловые скобки (данные под текстами стихотворений), означают год, не позднее которого написано произведение. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком.

Сведения о музыкальных переложениях произведений Апухтина не претендуют на исчерпывающую полноту.

Имена, широко известные, а также мифологические имена и названия не комментируются.

**К р о д и н е** (с. 21).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 253*. Написано по приезде из Петербурга, где Апухтин учился в Училище правоведения, на первые каникулы в родное село Павлодар. Наиболее раннее из его напечатанных стихотворений. «Мне было девять лет,— рассказывал о себе молодой поэт,— когда я написал первое стихотворение, которое теперь затеряно, но содержанием которого служила, сколько мне кажется, религиозная молитва. В других стихотворениях, написанных мною дома, я воспевал то гения, то луну, то добродетель. Из этих заглавий уже видно, что я не обращал никакого внимания на собственные впечатления, а повторял с чужого голоса старые, избитые мысли... Одиннадцати лет я поступил в Училище. Целый год я не мог привыкнуть к новой жизни, в которую судьба меня забросила, и потому все, написанное мною в это время, носит на себе отпечаток грусти, жестокой безотрадной тоски» (из письма к П. А. Валуеву 14 февраля 1856 г.— *ИРЛИ*).

**Ц в е т о к** (с. 21).— Впервые — *Вестник литературы, 1919, № 12, с. 12*.

**Д в а п о э т а** (с. 22).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 278*. Возможно, навеяно лирическим отступлением в начале 7-й главы «Мертвых душ» (1842) Н. В. Гоголя.

**С т а р а я д о р о г а** (с. 23).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 279*. Повидимому, написано под впечатлением поездки по старой Калужской дороге, заброшенной после постройки Московского трамвая.

**Поэт** (с. 24).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 258*; печатается по *Изд. 1898 г. Приличьем скрашенный разврат...* — Возможно, под влиянием строки Лермонтова: «Приличьем стянутые маски» («Как часто пестрою толпою окружен...», 1840).

**Первый снег** (с. 25).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 280*. В стихотворении сказалось влияние А. С. Пушкина («Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...», 1829).

**Эпаминонд** (с. 26).— Впервые — *Русский инвалид, 1854, № 240, 6 ноября*, подпись: «А. Апухтин. Воспитанник Императорского училища правоведения 5-го класса, 14 лет». «Война... — рассказывал Апухтин полтора года спустя в письме к П. А. Валуеву, — дала новую пищу перу моему, и стихотворения, посвященные прославлению успехов русского оружия, обратили на меня внимание начальства Училища» (*ИРЛИ*). Под впечатлением событий Крымской войны 1853—1856 г. юноша Апухтин написал ряд стихотворений («Молитва русских», «Чудеса», «Мысли в домике Петра Великого» и др.). *Эпаминонд* — древнегреческий (фиванский) полководец; в сражении при *Мантинее* (362 г. до н. э.), во время которого фиванцы ценой больших потерь одержали победу над спартанцами, был смертельно ранен. *Корнилов* Владимир Алексеевич (1806—1854) — адмирал, герой Севастопольской обороны, 5 октября был смертельно ранен при обходе позиций на Малаховом кургане. *Наварин* — морское сражение 8 октября 1827 г. в Наваринской бухте полуострова Пелопоннес во время греческой освободительной войны, окончившееся поражением турецкого флота, против которого сражались русская, английская и французская эскадры. Корнилов участвовал в этом бою на особо отличившемся русском судне «Азов».

**Зимой** (с. 27).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 283*.

**Подражание арабскому** (с. 28).— Впервые — *Русский инвалид, 1855, № 71, 2 апреля*, подпись: «Воспитанник Императорского училища правоведения 5-го класса А. Апухтин». В стихотворении очевидны черты подражания Пушкину («Подражания Корану», 1824) и Лермонтову («Три пальмы», 1839). *Гяур* — иноверец у магометан. *Синай* — полуостров и гора в Аравии. *Абушер* — Бушир, город и порт на берегу Персидского залива. *Море святое* — Мертвое море.

**Голгофа** (с. 29).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 260*. В основу стихотворения положена евангельская легенда о распятии Христа и зарождении христианского вероучения. *Рамена* — плечи.

**Май в Петербурге** (с. 30).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 262*. В годы учения Апухтин часто болел и много времени проводил в училищном лазарете. *Ванька* — извозчик.

**Уженье** (с. 31).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 287*.

**Предчувствие** (с. 31).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 288*. *А. П. Апухтина* — двоюродная сестра поэта.

**Вечер** (с. 32).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 264*. *Вдали виднеются рассыпанные хаты...* — Видоизмененная строка Пушкина: «Вдали рассыпанные хаты...» («Деревня», 1819).

**Облака** (с. 32).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 289*. *Барышников* Николай Петрович — знакомый Апухтина по Болховскому уезду (видимо, дальний родственник).

Близость осени (с. 33).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 265*; печатается по *Изд. 1898 г.*

Отъезд (с. 34).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 290*. Написано в связи с отъездом из деревни после летнего отдыха на учебе в Петербург.

Няня (с. 34).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 290*.

Шарманщик (с. 35).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 292*. Здесь слышны отзвуки стихотворения Лермонтова «Умиравший гладиатор» (1836).

Петербургская ночь («Длинные улицы блещут огнями...») (с. 36).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 293*.

К с л а в я н о ф и л а м (с. 38).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 295*. *О чем шумите вы, квасные патриоты?* — Перепев первой строки стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831): «О чем шумите вы, народные витии?» *Явился белый царь...* — Имеется в виду царствование Ивана IV Грозного (1547—1584). *В Думе поп воссел...* — Речь идет о священнике Сильвестре (ум. ок. 1566), приближенном к Ивану IV государственным деятеле.

Деревенский вечер (с. 38).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 295*. Очевидно влияние стихотворения Пушкина «Зимний вечер» (1825).

Жизнь («Песня туманная, песня далекая...») (с. 39).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 270*. *К. П. Апухтина* — двоюродная сестра поэта. *Песня туманная, песня далекая...* — Перепев строки И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое...» («В дороге», 1843). Положено на музыку В. А. Бerezовским.

Шарманка (с. 40).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 297*. Посвящено матери поэта *Марии Андреевне Апухтиной* (1821—1859). Старший и любимый сын (в семье росло пятеро сыновей), Алексей был нежно привязан к матери. Он писал о ней: «Мать моя — урожденная Желябужская — женщина ума замечательного, одаренная теплым симпатичным сердцем и самым тонким изящным вкусом. Ей, сколько мне кажется, обязан я этими порывами сердца высказывать свои ощущения» (из письма к П. А. Валуеву 14 февраля 1856 г.— *ИРЛИ*).

На Неве вечером (с. 41).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 299*.

Дорогой (с. 42).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 300*.

Ожидание грозы (с. 43).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 301*. *Карпов Николай Дмитриевич* (1823—1873) — близкий друг семьи Апухтиных, знавший поэта с детских лет и имевший, по словам В. Н. Апухтина, «большое влияние на его жизнь» (письмо к А. В. Жиркевичу от 1 мая 1908 г.— *ГМТ*). См. «Памяти Н. Д. Карпова» (с. 147).

Осенняя примета (с. 44).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 301*.

Отрывок (с. 44).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 203*. Перевод отрывка из поэмы французского поэта-романтика Альфреда Мюссе (1810—1857) «La nuit de mai» (1835). Положено на музыку С. В. Рахманиновым, Н. И. Харито.

Ночь (с. 45).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 303*.

Ответ анониму (с. 45).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 272*; печатается по *Изд. 1898 г.*

Божий мир (с. 46).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 303*. *Юферов Владимир Николаевич* (1839—?) — товарищ Апухтина по Училищу правоведения.

После бала (с. 47).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 305*.

«Напрасно в час печали непонятной...» (с. 48).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 306.

22 марта 1857 года (с. 49).— Впервые — *Изд. 1961.*, с. 307. *Н. И. Мартынов* — видимо, товарищ Апухтина по Училищу правоведения.

Русские песни (с. 50).— Впервые — Библиотека для чтения, 1862, № 1, с. 161. *Володимир, князь святой* — Владимир Святославич (ум. 1015), великий князь Киевский, при нем произошло крещение Руси. С именем князя Владимира, по прозвищу Красное Солнышко, связано много произведений русского фольклора.

Первая любовь (с. 51).— Впервые — *Изд. 1961.*, с. 309.

Успокоение (с. 51).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 310.

Серенада Шуберта (с. 52).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 276. Перевод стихотворения немецкого поэта Людвиг Рельштаба (1779—1860) «*Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir*» (1827), положенного на музыку Шубергом. Апухтину не понравился известный текст «Серенады», принадлежащий Н. П. Огареву, и он написал свой вариант. Стихотворение отмечено в томе Апухтина из библиотеки Блока (*ИРЛИ*). Слова Апухтина положены на музыку М. В. Анцевым, Б. Левензоном.

«Я знал его, любви прекрасный сон...» (с. 52).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 277, без третьей строфы.

Сегодня мне исполнилось 17 лет... (с. 53).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 278; печатается по *Изд. 1898 г.*

Комета (с. 56).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 288. Перевод стихотворения П. Беранже «*La comète de 1832*» (1828). В оригинале имеется примечание Беранже: «Не следует забывать предсказания немецких астрономов, сделанные несколько лет тому назад, извещавшие о столкновении кометы с Землей и гибель этой последней в 1832 г. Ученые из Парижской обсерватории нашли нужным противопоставить свои расчеты немецким собратьям» (Беранже П.-Ж. Полн. собр. песен, т. 1. М.— Л., 1934, с. 762).

В театре («Часто, наскучив игрой бесталанною...») (с. 57).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 313.

Рассвет (с. 59).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 314.

К пропавшим письмам (с. 59).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 292, под заглавием «К утерянным письмам».

Е. А. Хвостовой (с. 60).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 295. *Хвостова* Екатерина Александровна (1812—1868), урожденная Сушкова, в юности была близко знакома с Лермонтовым, посвятившим ей несколько стихотворений. Еще будучи воспитанником Училища правоведения, Апухтин был принят в доме Хвостовых. Тетради Хвостовой с записями стихотворений Апухтина, с его пометками и автографами послужили источником большинства новых публикаций в *Изд. 1961 г.* (подробно о тетрадах Хвостовой см.: *Изд. 1961 г.*, с. 322). *Иной поэт* — Лермонтов.

Мое оправдание (с. 61).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 297. Навяно стихотворением Лермонтова «*Дума*» (1838).

В вагоне (с. 61).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 299. Положено на музыку А. А. Олениным.

Расчет («Я так тебя любил, как ты любить не можешь...») (с. 62).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 66.

А. А. Фету (с. 62). — Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 359. Извинение за пародию на Фета, опубликованную без ведома автора (см. стихотворение «Пародия», с. 234). Брат поэта В. Н. Апухтин вспоминает, что стихотворение было написано в связи с посещением А. А. Фетом и И. С. Тургеневым усадьбы Апухтиных во время их поездки на охоту: «Фет, встретив нас, младших детей, обратился со словами: «Где ваш старший брат, я приехал надрать ему уши!» И долго не могли разыскать Алексея Николаевича, пока не нашли со стихами...» (письмо к А. В. Жиркевичу, февраль 1906 г. — *ГМТ*).

«Гремела музыка, горели ярко свечи...» (с. 63). — Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 291. По воспоминаниям Е. К. Остен-Сакен (письмо А. В. Жиркевичу. *ГМТ*), это стихотворение Апухтин любил декламировать под музыкальное сопровождение А. А. Жедринского. Положено на музыку В. С. Муромцевским, П. Перацким.

Мemento mori (с. 63). — Впервые — *Современник*, 1859, № 11, с. 222.

«Глянь, как тускло и бесплодно...» (с. 64). — Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 68.

19 октября 1858 года (с. 65). — Впервые — *Современник*, 1859, № 11, с. 221. Написано во время традиционного бала в день лицейской годовщины, на который, в числе правоведов-выпускников, был приглашен и Апухтин. *Он помнил этот день...* — Имеются в виду стихотворения Пушкина, посвященные лицейским годовщинам.

Из Ленау («Вечер бурный и дождливый...») (с. 65). — Впервые — *Современник*, 1859, № 11, с. 223. Перевод стихотворения Ленау «Schilflieder, 1» (1832) из цикла «Lotte». Ленау — псевдоним австрийского поэта-романтика Николауса Нимбша фон Штреленау (1802—1850).

Из Гейне («Меня вы терзали, томили...») (с. 66). — Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 311. Перевод стихотворения Гейне «Sie haben mich gequälet...» (1823) («Buch der Lieder», цикл «Lyrisches Intermezzo»).

Из Байрона («Мечтать в полях, взбегать на выси гор...») (с. 66). — Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 513. Перевод строф XXV и XXVI из 2-й песни «Паломничества Чайльд Гарольда» (1812) Байрона.

Молодая узница (с. 67). — Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 200. Перевод стихотворения французского поэта Андре Шенье (1762—1794) «La jeune Captive» (1793). *Филомела* — здесь: соловей.

Из Гейне («Три мудрых царя из полуденных стран...») (с. 68). — Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 72. Перевод стихотворения Гейне «Die heil'gen drei Könige aus Morgenland» («Buch der Lieder», цикл «Die Heimkehr»). *Вифлеем* — город в Палестине, где, по преданию, родился Христос. *Звезда золотая их с неба вела...* — Согласно евангельской легенде три мудреца с Востока пришли поклониться младенцу Христу; путь в Вифлеем им указывала плывшая по небу звезда.

Из Гейне («Я каждую ночь тебя вижу во сне...») (с. 68). — Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 73. Перевод стихотворения Гейне «All nächtl'ich im Traume sch'ich dich...» (1823) («Buch der Lieder», цикл «Lyrisches Intermezzo»).

М-ме Вольнис (с. 69). — Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 312; печатается по *Изд. 1898 г. Вольнис* Леонтина (1811—1870) — французская актриса, в 1850—1860-е гг. играла в Петербурге в Михайловском театре.



Н. А. Неведомской (с. 70).— Впервые — Русская старина, 1906, № 12, с. 668, где в «Очерках моих воспоминаний» известная в свое время певица Надежда Алексеевна Неведомская-Динар рассказывает о своих встречах с Апухтиным: он «часто у нас бывал и, слушая меня, написал в мой альбом... стихи» (альбом с автографом Апухтина находится в ЦГАЛИ).

Деревенские очерки. Цикл из 10 стихотворений.— Впервые — Современник, 1859, № 9, с. 47—55. Строфы, изъятые цензурой, восстановлены по спискам Хвостовой.

1. *Посвящение* (с. 70).— Посвящено памяти матери. Ее кончину (23 апреля 1859 г.) Апухтин тяжело переживал. Положено на музыку П. Г. Татариновым.

2. *В полдень* (с. 71).

3. *Проселок* (с. 72).

4. *Песни* (с. 73).— В «Современнике» 4-я строфа изъята цензурой. Об этом сообщал Добролюбов в письме к И. И. Бордюгову от 20 сентября 1859 г. (*ИРЛИ*). Письмо частично было опубликовано Чернышевским в кн.: *Материалы для биографии Н. А. Добролюбова в 1861—1862 годах*, т. 1. М., 1890, с. 533—534, но замечания о стихах Апухтина в печатный текст письма не вошли.

5. *Летней розе* (с. 73).

6. «*Вчера у окна мы сидели в молчаньи...*» (с. 74).— Положено на музыку И. А. Добровейном.

7. *Грусть девушки* (с. 74).

8. *Сосед* (с. 76).

9. *Селенье* (с. 77).— В «Современнике» две последние строки 5-й строфы и полностью 7-я изъятые цензурой.

10. *Прощание с деревней* (с. 78).

*Греция* (с. 78).— Впервые — *Время*, 1861, № 3, с. 231. *Щербина Николай Федорович* (1821—1869) — поэт школы «чистого искусства», автор антологических стихотворений. *Хиосский слепец* — Гомер. *Где царь пред статуей любовью пламенел...* — Согласно древнегреческому мифу скульптор Пигмалион, царь Кипра, влюбился в созданную им статую Галатеи. *Аспазия* (V в. до н. э.) — жена греческого государственного деятеля Перикла, славившаяся красотой и умом.

«*Волшебные слова любви и упоенья...*» (с. 79).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 149. Автограф в альбоме М. Д. Жедринской (ЦГАЛИ). А. В. Жиркевич вспоминал о незабываемом чтении этого стихотворения автором (*Исторический вестник*, 1906, № 11, с. 506). Положено на музыку С. А. Зыбиной, Н. Р. Кочетовым.

*В горькую минуту* (с. 79).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 75.

«*Когда так радостно в объятиях твоих...*» (с. 80).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 316. Положено на музыку В. С. Муромцевским.

«*Мне было весело вчера на сцене шумной...*» (с. 80).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 76. Написано на следующий день после участия Апухтина в любительском спектакле «Что имеем — не храним, потерявши плачем» (водевиль С. П. Соловьева, 1843). Ряд мемуаристов (А. Ф. Кони, А. А. Стахович и др.) отмечали артистические способности Апухтина. Стахович, вспоминая о превосходном исполнении Апухтиным роли Фамусова,

сообщает, что «поэт» прошел многие ступени ролей в «Горе от ума» (Ключки воспоминаний, М., 1904, с. 122). Об исполнении роли Молчалина писал и сам Апухтин в письме к П. П. Мещерскому (ГПБ).

«Мы на сцене играли с тобой...» (с. 81).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 77.*

«Какое горе ждет меня?..» (с. 82).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 78.* Написано в связи со смертью матери.

«Ни веселья, ни сладких мечтаний...» (с. 82).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 58.* В списках Хвостовой, Карцова и М. Чайковского озаглавлено «Матери».

«Когда был я ребенком, родная моя...» — (с. 83).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 321.* В списке Хвостовой озаглавлено «На могиле», приписка: «Село Александровское». На кладбище села Александровского Болховского уезда Орловской губернии похоронена мать Апухтина. Положено на музыку Ф. Ю. Бенуа, А. И. Гуровичем.

«О боже, как хорош прохладный вечер лета...» (с. 83).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 102.* Положено на музыку Н. Н. Аmani, Г. Э. Конюсом, Д. Кайгородовым.

«Безмесячная ночь дышала негой кроткой...» (с. 84).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 80.* Стихотворение посвящено Елизавете Валериановне Сафонович (в замужестве Лазаревской), дочери В. И. Сафоновича, бывшего в 1854—1861 гг. орловским губернатором.

«Я люблю тебя так оттого...» (с. 85).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 164.* Также посвящено Е. В. Сафонович.

«Не в первый день весны, цветущей и прохладной...» (с. 85).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 81.* Посвящено сестре П. И. Чайковского Александре Ильиничне Чайковской (1842—1891). Лето 1859 г. семья Чайковских провела на даче Галова по Петергофской дороге под Петербургом, где часто бывал Апухтин и где написано стихотворение.

М а ю (с. 86).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 179.*

Весенние песни. Цикл из 7 стихотворений. Шесть стихотворений впервые — Русское слово, 1860, № 4, с. 285—287, с общей датой: 1859; «Опять весна! Опять какой-то гений...» — впервые — *Время*, 1862, № 6, с. 305, под заглавием «Весна».

1. «О, удались навек, тяжелый дух сомненья...» (с. 86).

2. «Опять я очнулся с природой!..» (с. 87).

3. «Весенней ночи сумрак влажный й...» (с. 87).— Положено на музыку И. А. Добровейном, Г. Л. Катгаром, А. А. Оленниным.

4. «Затих утомительный говор людей...» (с. 88).

5. Пробуждение (с. 88).

6. Утешение весны (с. 89).

7. «Опять весна, опять какой-то гений...» (с. 90).— Положено на музыку Г. Л. Катгаром.

Памяти Мартынова (с. 91).— Впервые — *Русский мир*, 1860, № 73, 21 сентября, с примечанием: «В этом стихотворении автор представляет себе покойного Мартынова в двух ролях: одной — комической, в комедии «Жених из долгового отделения», и другой — трагической, в драме «Гроза». Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860) — драматический актер. В комедии И. Е. Чернышева «Жених из долгового отделения» (1858)

исполнял роль Ладыжкина, в «Грозе» (1859) Островского — Тихона. Об увлечении Апухтина талантом Мартынова рассказывает П. В. Быков в кн.: Силуэты далекого прошлого, М.—Л., 1930, с. 211.

Из поэмы «Последний романтик» (с. 92).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 195. Других частей поэмы или сведений о ее замысле не обнаружено. «Chanson à boire» было положено на музыку С. И. Донауровым, М. А. Данилевской, Н. А. Шишкиным, бытовало как цыганский романс.

Актеры (с. 94).— Впервые — *Время*, 1861, № 12, с. 410, с посвящением А. Мосолову. А. Ф. Кони рассказывает, с каким воодушевлением читал Апухтин на вечерах Литературного фонда стихотворение «Актеры» (Кони А. Ф. Собр. соч., т. 7. М., 1969, с. 305).

Современным витиям (с. 95).— Впервые — *Время*, 1862, № 2, с. 524. П. В. Быков вспоминает, что Апухтин «очень дорожил этим стихотворением, пояснив, что оно написано в один из самых горьких моментов его юношества, моментов, близких к отчаянию» (Силуэты далекого прошлого, М.—Л., 1930, с. 118).

В театре («Покинутый тобой, один в толпе бездушной...») (с. 96).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 94.

Петербургская ночь («Холодна, прозрачна и уныла...») (с. 96).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 94.

Судьба (с. 97).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 190, без 4-й строфы, по-видимому, изъятой цензурой. Основная тема 5-й симфонии Бетховена — борьба с судьбой. *Судьба как грозный часовой...* — Отзвук стихотворения Пушкина «Анчар» (1828): «Анчар как грозный часовой...» Положено на музыку С. В. Рахманиновым.

Смерть Ахунда (с. 99).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 97. *Ахунд* — почтенное, уважаемое лицо, подобие священного титула у магометан.

Романс (с. 100).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 99.

Из поэмы «Село Колотовка» (с. 101).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 99. Других частей или упоминаний о замысле поэмы не обнаружено. Публикуемый отрывок написан, очевидно, в связи с пребыванием в родных местах во время службы Апухтина в Орле в 1863—1864 гг. *Как древний Вавилон...* — Согласно библейскому сказанию еврейские племена, находясь в плену в древнем Вавилоне, пребывали в состоянии уныния и скорби.

Минуты счастья (с. 104).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 144. Существует автоперевод на французский язык: «Où est le bonheur» — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 340. Положено на музыку А. С. Аренским, Г. Л. Катуаром, А. Н. Шефером, Н. И. Харито, С. Сорокиным. Входило в сборники цыганских романсов.

Пепите (с. 104).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 206. Перевод стихотворения французского поэта-романтика Альфреда Мюссе (1810—1857) «A Pèra» (1832).

Две грезы (с. 105).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 345.

Астрам (с. 106).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 178. Положено на музыку Н. А. Соколовым, К. Ю. Давыдовым, Е. Б. Вильбушевичем, С. М. Блуменфельдом, В. И. Ребиковым.

Гаданье (с. 107).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 74. В «Дневнике» А. В. Никитенко есть запись о чтении этого стихотворения Апухтиным (см. примеч. к стихотворению «Солдатская песня о Севастополе», с. 515).

В оглавлении тома Апухтина, принадлежавшего Блоку (*ИРЛИ*), заглавие стихотворения подчеркнуто. Положено на музыку И. В. Васильевым.

**Дорожная дума** (с. 108).— Впервые — Русская мысль, 1885, № 3, с. 2, в числе шести стихотворений под общим заглавием «Песни былых годов». После успеха «Года в монастыре» редакция «Русской мысли» обратилась к Апухтину с просьбой дать стихи для журнала. Сообщая об этих переговорах в письме Г. П. Карцову 10 февраля 1885 г., Апухтин писал: «Будет общее название «Песни былых годов». В мартовской книжке в эту рубрику войдут: «Моление о чаше», «Дорожная дума», «Любовь», «В убогом рубище...», «Когда Израиля...» и собственно для Александры Валериановны, как она всегда требовала *pour la bonne bouche* \* — «Я ее победил» (*ЦГАЛИ*). Печатаение «Песен былых годов» поэт предполагал продолжить, но из-за разрыва с «Русской мыслью» этот план не был осуществлен.

**Ниобея** (с. 109).— Впервые — Русская мысль, 1885, № 2, с. 369. По поводу публикации «Ниобеи» в «Русской мысли» поэт писал Г. П. Карцову 22 февраля 1885 г.: «В оглавлении сказано: заимствовано из «Метаморфоз» Овидия. Это необходимая предосторожность. Если бы не было ничего сказано, меня обвинили бы в том, что я украл у Овидия; если бы было сказано: из Овидия, меня обвинили бы, что я неточно перевел». Содержанием стихотворения послужил древнегреческий миф о Ниобее, известный в поэтической обработке римского поэта Овидия Публия Назона (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) в его книге «Метаморфозы» (8—1 гг. до н. э.).

**Я ждал тебя... Часы ползли уныло...** (с. 111).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 514. Возможно, что было написано специально как романс для солистки цыганского хора Соколова Анны Захаровны Шишкиной; впоследствии вошло в сборники цыганских романсов. Положено на музыку А. А. Олениным, А. С. Аренским, В. С. Муромцевским, М. О. Штейнбергом, В. С. Косенко, Г. Э. Конюсом, В. Бюцовым, Г. Базилевским.

**Ни отзыва, ни слова, ни привета...** (с. 111).— Впервые — *Album de madame Olga Kozlow, M.*, 1883, с. 29, с заглавием «Романс». *Козлова* Ольга Александровна — жена поэта и переводчика П. А. Козлова. Ее альбом с автографами известных русских и иностранных писателей был издан в 1883 г., в количестве 40 экз., вторично в 1889 г.— 10 экз. Положено на музыку П. И. Чайковским, Ц. А. Кюи.

**К морю** (с. 112).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 514.

**Моление о чаше** (с. 112).— Впервые — Русская мысль, 1885, № 3, с. 1, в рубрике «Песни былых годов». В основу стихотворения положен евангельский рассказ о молитве Христа перед осуждением его на казнь.

**Ночь в Монплеzure** (с. 113).— Впервые — Гражданин, 1873, № 1, с. 21, подпись: «Б.». *Монплеzure* — летний дворец Петра I на берегу Финского залива в Петергофском парке.

**Осенние листья** (с. 114).— Впервые — Гражданин, 1872, № 3, с. 79, подпись: «А.», дата: «1868» и приписка: «Село Покровское». Написано в имении Покровское-Глебово под Москвой, где поэт гостил в сентябре 1868 г.

**«Осенней ночи тень густая...»** (с. 116).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 118. Написано там же.

\* на закуску (*фр.*).

Странствующая мысль (с. 116).— Впервые — Северный вестник, 1886, № 1, с. 191.

«Мне снился сон (то был ужасный сон!)...» (с. 117).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 516.

К Гретхен (с. 118).— Впервые — Гражданин, 1872, № 7, с. 234, подпись: «А.». Написано под впечатлением представления французской оперетты «Маленький Фауст», музыка Флоримона Эрве, либретто Кремье (в русском переводе В. С. Курочкина она шла под названием «Фауст наизнанку»), поставленной в Петербурге летом 1869 г. Маргарита в «Маленьком Фаусте» изображалась кокеткой. Оперетта была воспринята как грубая профанация «Фауста» (1808) Гете и вызвала нарекания в прессе.

Солдатская песня о Севастополе (с. 118).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 67. В «Дневнике» А. В. Никитенко 14 января 1871 г. сделана запись о том, что накануне он слышал в чтении Апухтина стихотворения «Севастополь» и «Гадальщица»: «Я вообще мало доверяю стихам нынешних новых поэтов, но настоящие, к моему удовольствию, оказались прекрасными, особенно «Севастополь» (Дневник, т. 3, Л., 1956, с. 193). В списке М. И. Чайковского (ДМЧ) стихотворение озаглавлено «Введение к песням о Севастополе», и это наводит на мысль, что был задуман или существовал цикл подобных песен. Тема Севастопольской обороны была близка Апухтину. *Очаков.*— Речь идет об осаде турецкой крепости Очаков русскими войсками во время русско-турецкой войны 1787—1791 г. *Как сходили враги без числа с кораблей...* — Во время Крымской кампании 1853—1856 гг. России противостояла коалиция Англии, Франции, Турции и Сардинии. *И одиннадцать месяцев длилась резня...*— Героическая оборона Севастополя продолжалась с сентября 1854 г. по август 1855 г.

«Сухие, редкие, нечаянные встречи...» (с. 119).— Впервые — Северный вестник, 1886, № 1, с. 192.

На бале («Блещут огнями палаты просторные...») (с. 120).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 171. Стихотворение проникнуто мыслью о покойной матери.

К молодости (с. 120).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 150.

Реквием (с. 121).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 45. Эпиграфы взяты из заупокойного католического богослужения-реквиема. 1-я, 2-я и 5-я части стихотворения представляют собой поэтическое переложение отдельных мест реквиема. П. И. Чайковский в ответ на предложение сочинить музыку на текст «Реквиема» писал: «...многое в этом стихотворении Апухтина, хоть и высказано прекрасными стихами, музыки не требует, даже скорее противоречит сущности ее. Например, такие стихи, как «В это мгновение ему не сказали: выбор свободен — живи или нет...», «С детства твердили ему ежечасно...» и т. д. Вся эта тирада, проникнутая пессимистическим отношением к жизни, эти вопросы: «К чему он родился и рос?» и т. п., все, что отлично выражает бессилие человеческого ума перед неразрешимыми вопросами бытия, не будучи прямым отражением чувства, а скорее формулированием чисто рассудочных процессов,— трудно поддается музыке» (Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. 3. М., 1902, с. 637). Позднее Апухтин развивал мысли, высказанные в «Реквиеме», и в прозе («Дневник Павлика Дольского»). Стихотворение отмечено Блоком в его экземпляре сочинений Апухтина (*ИРЛИ*).

«О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом...» (с. 124).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 60. Положено на музыку В. М. Орловым, С. Лаппо-Данилевским, Л. Мейндорфом.

Ледяная дева (с. 124).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 51.

Встреча (с. 127).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 181.

«Опять в моей душе тревоги и мечты...» (с. 128).— Впервые — *Изд. 1886.*, с. 189.

Королева (с. 128).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 88.

Будущему читателю (с. 130).— Впервые — *Album de madame Olga Kozlow, M., 1883*, с. 51.

Старая цыганка (с. 131).— Впервые — *Новь, 1886*, № 10, с. 164. П. Столпянский в статье «Кое-что о цыганах» утверждал, что фабула стихотворения «не была выдумана поэтом, и «осанистый князь», и «красавица цыганка Маша» были живыми лицами; этот рассказ весь полон реальными подробностями, взятыми из цыганской жизни» (Столица и усадьба, 1915, № 34, с. 16). *Коренная* пустынь — монастырь под Курском, известный ежегодными ярмарками.

А. С. Даргомыжскому (с. 134).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 339. Многие музыкальные произведения Даргомыжского написаны на тексты Пушкина. *Мы песни ждем твоей...* — Очевидно, намек на работу Даргомыжского над оперой «Каменный гость». «*Волшебной силой песнопений...*» — Слегка измененная строка эпилога «Цыган» (1824) Пушкина: «Волшебной силой песнопенья». *Венец терновый* — выражение из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837). «*Русалка*» — опера Даргомыжского (1855), написанная на сюжет одноименной драмы в стихах Пушкина. По свидетельству М. И. Чайковского, поэт восторженно относился к «Русалке», «не пропускал ни одного представления» (*Изд. 1895 г.*, т. 1, с. XXV). *Его тоскующую тень...* — Контаминация пушкинских строк: «Его тоскующую лень» («Евгений Онегин», гл. первая, 1823) и «Его развенчанную тень» («Наполеон», 1821).

A la pointe (с. 134).— Впервые — «Складчина», Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии, СПб., 1874, с. 397. В стихотворении изображено традиционное великосветское гулянье на стрелке Елагина острова в Петербурге, происходившее вскоре после объявления франко-прусской войны. *Бисмарк Отто* (1815—1898) — в то время министр-президент и министр иностранных дел Пруссии.

«Приветствую вас, дни труда и вдохновенья!..» (с. 136).— Впервые — *Гражданин, 1873*, № 3, с. 75, с посвящением «М. В.», подпись: «Б.». Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), которому посвящено стихотворение, — товарищ Апухтина по Училищу правоведения, реакционный журналист, редактор-издатель газеты «Гражданин». Одно время Апухтин был близок с Мещерским, потом они разошлись. «Когда-то, осыпая меня преувеличенными похвалами,— писал Апухтин М. И. Чайковскому в 1885 г.,— Мещерский уговорил меня участвовать в «Гражданине», что не принесло мне ничего, кроме неприятностей. Потом без моего ведома и вопреки моему желанию поместил в своем сборнике несколько неизданных моих стихотворений, поступок беспримерный...» (*ДМЧ*). При подготовке издания 1886 г. Апухтин снял посвящение и внес некоторые изменения

в стихотворение. *Приветствую вас, дни труда и вдохновенья...*— Отзвук «Деревни» (1819) Пушкина: «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья...»

Умирающая мать (с. 136).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 199. Французский источник не установлен. Положено на музыку С. М. Блуменфельдом.

Огонек (с. 137).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 519.

«В убогом рубище недвижна и мертва...» (с. 137).— Впервые — *Русская мысль*, 1885, № 3, с. 3. Опечатка в журнальном тексте («недвижима» вместо «недвижна») рассердила Апухтина. «Это привело меня в страшное бешенство,— писал он Карцову 17 марта 1885 г.— Теперь, конечно, обвинят меня во всех газетах в незнании стихосложения...» (ЦГАЛИ).

«Истомил меня жизни безрадостный сон...» (с. 138).— Впервые — *Гражданин*, 1872, № 7, с. 234, подпись: «А.». В письме виолончелисту и композитору К. Ю. Давыдову Апухтин выразил неудовольствие по поводу переделки какого-то из его неопубликованных стихотворений для романса и, желая загладить недоразумение, предложил Давыдову это стихотворение: «Мне может быть только лестно, если такой художник, как вы, черпаете вдохновение в моих стихах» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Положено на музыку Г. Я. Фистулари, А. А. Олениным.

А. Н. Островскому (с. 138).— Впервые — *Гражданин*, 1872, № 8, с. 274, в статье «Двадцатипятилетний юбилей А. Н. Островского и его «Дмитрий Самозванец» на петербургской сцене»; приведено как «экспромт, которым на днях на скромном обеде в честь А. Н. Островского один из гостей А. Н. Апухтин приветствовал почтенного драматурга».

Твоя слеза (с. 139).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 136. Положено на музыку Б. Левензоном, Л. А. Осиповым, С. Н. Дягилевым, С. Н. Волконским, С. А. Зыбиной, Ф. Ю. Бенуа, В. Поллак.

Любовь (с. 139).— Впервые — *Русская мысль*, 1885, № 3, с. 3. Стихотворение отмечено в томе Апухтина, принадлежавшем Блоку. Положено на музыку С. В. Юферовым, известно как цыганский романс на музыку Н. А. Шишкина.

«О, смейся надо мной за то, что безучастно...» (с. 140).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 148. Французский источник не установлен. Положено на музыку П. Л. Гран-Мезоном, Г. Э. Конюсом.

А. Н. Муравьеву (с. 140).— Впервые — в кн.: Семенов М. О. Воспоминание об А. Н. Муравьеве. Киев, 1875, с. 134. *Муравьев* Андрей Николаевич (1806—1874) — писатель, автор книг по истории религии. Муравьев жил в Киеве неподалеку от Андреевской церкви, на холме, откуда открывался прекрасный вид на город.

«Черная туча висит над полями...» (с. 140).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 209. Свое настроение, созвучное тому, что выражено в стихотворении, поэт тогда же, 25 июля 1873 г., высказал в письме к П. И. Чайковскому: «Особенно люблю — просто до сумасшествия — шум деревьев; мне кажется, что они благосклонно и нежно охватывают меня своим говором, точно говорят: «Слушай нас, слушай, слушай; мы к тебе не переменимся,

мы тебя не обидим, не будем язвить тебя, и без того тебе много горя...» (ДМЧ). Положено на музыку А. А. Кошицем.

М а р и и Д м и т р и е в н е Ж е д р и н с к о й (с. 141).— Впервые — *Изд. 1898 г.*, с. 145. *Жедринская* Мария Дмитриевна — жена А. Н. Жедринского, бывшего в 1866—1881 гг. курским губернатором, с семьей которого Апухтин был очень близок. После смерти своей матери Апухтин перестает ездить в родное село Павлодар и большую часть проводит лето в имении Жедринских Рыбница Орловской губернии, где им был написан ряд произведений, в том числе «Год в монастыре».

М у х и (с. 142).— Впервые — *Новь, 1885, № 7*, с. 353. Печатается по *Изд. 1886 г.*, с. 138. Ин. Анненский посвятил памяти Апухтина стихотворение «Мухи как мысли» (1904). Стихи Апухтина положены на музыку А. В. Щербачевым, Е. Н. Грече-Соболевской, Е. Безродной, В. В. Варгиным, В. А. Иксюль, И. Эбелем.

Ш в е й ц а р к е (с. 142).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 127. Обращено к молодой француженке родом из Швейцарии, гувернантке дочери Жедринских; в ее комнате в доме губернатора в Курске Апухтин однажды останавливался проездом.

О ц ы г а н а х (с. 144).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 364, 1-я часть; полностью — *Изд. 1961 г.*, с. 150. *Гончаров* Александр Иванович — друг Апухтина. *Живодерка* — рынок в старой Москве. *Индийца бедные сыны* — цыгане. «*Няня*», «*Лен*» — цыганские романсы. *Паша поет, не для ней, вишь, весна...*— Имеется в виду цыганский романс «Не для меня придет весна».

П а м я т и Н. Д. К а р п о в а (с. 147).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 520. О Н. Д. Карпове см. на с. 508.

П а д а ю щ е й з в е з д е (с. 148).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 344.

«К а к б е д н ы й п и л и г р и м , б е з к р о в а и д р у з ь е й...» (с. 148).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 521.

П а м я т и Ф. И. Т ю т ч е в а (с. 149).— Впервые — Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины, СПб., 1876, с. 382. По свидетельству А. В. Жиркевича, «Апухтин восторгался Тютчевым, которого знал хорошо лично и которого читал вслух как-то особенно, точно священнодействуя...» (Исторический вестник, 1906, № 11, с. 499).

«В уютном уголке сидели мы вдвоем...» (с. 149).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 160. Положено на музыку А. А. Олениным, И. В. Васильевым, А. В. Щербачевым.

В е н е ц и я (с. 150).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 35. Венеция поразила воображение поэта, о ней «можно писать целые томы», — говорится в его письме к П. П. Мещерскому 21 мая <1874> г. (ГПБ). *Совет десяти* — орган правления Венецианской республики, созданный в 1310 г. и выполнявший также полицейские функции. *Роковой Лепантский бой*.— Греческий город Лепанто, принадлежавший Венеции, в 1499 г. был захвачен Османской империей. В 1571 г. в морском сражении вблизи этого города испано-итальянский флот ценой больших потерь одержал победу над турками, но из-за расхождения в лагере союзников вернуть Лепанто не удалось. *Генрих Третий* (1551—1588) — сын французского короля Генриха II, получивший польский престол; после смерти брата, французского короля Карла IX, тайно покинув Польшу, через Италию возвратился во Францию и стал французским королем. *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.



*Пытки, казни.*— История Венецианской республики характеризуется ожесточенной междоусобной борьбой аристократических родов за власть. Мост *Dei Sospirì* прилегает к зданию тюрьмы. *Марк* — собор святого Марка, знаменитый венецианский средневековый архитектурный памятник: вместе с прилегающей к нему площадью и окружающими ее зданиями образует архитектурный ансамбль — центр Венеции. *Твой лев* — геральдическое изображение льва, эмблемы Венеции.

«В темную ночь, непроглядную...» (с. 155).— Впервые — Северный вестник, 1886, № 1, с. 190. *В темную ночь, непроглядную...*— Строка из цыганского романса. Положено на музыку А. А. Олениным.

«Праздником праздник» (с. 156).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 194. «*Праздником праздник*» — название пасхи в одном из пасхальных песнопений.

«Когда Израиля в пустыне враг настиг...» (с. 156).— Впервые — Русская мысль, 1885, № 3, с. 4, в рубрике «Песни былых годов». Начало стихотворения представляет собой изложение библейского стиха, обозначенного в эпиграфе. Положено на музыку П. Г. Чесноковым.

С курьерским поездом (с. 157).— Впервые — XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, СПб., 1884, с. 315.

«В дверях покинутого храма...» (с. 159).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 193.

«Ночи безумные, ночи бессонные...» (с. 160).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 147. Положено на музыку П. И. Чайковским, Е. Б. Вильбушевичем; получило распространение как популярный цыганский романс в музыкальной обработке А. А. Спири, С. В. Зарембы, П. П. Веймарна.

Накануне (с. 160).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 155. *Самсон* — библейский герой, обладавший необыкновенной силой; был предан врагам своей возлюбленной Далилой.

«В житейском холоде дрожа и изнывая...» (с. 161).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 351. Автограф в письме к П. И. Чайковскому 25 октября 1877 г.: «Посылаю тебе маленькое стихотворение. Если найдешь возможным, напиши музыку и перешли мне. Оно написано в счастливую минуту, и я страстно желаю *петь* его. Пробовал сам написать романс — не удается» (*ДМЧ*). Положено на музыку В. С. Муромцевским.

Публика (с. 161).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 137. *Росси Эрнесто* (1827—1896) — итальянский актер-трагик, в 1877 г. впервые гастролировал в России.

П. Чайковскому («Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»...») (с. 162).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 356. 21 декабря 1877 г. П. И. Чайковский сообщил брату А. И. Чайковскому: «Получил сегодня письмо от Лели с чудным стихотворением, заставившим меня пролить много слез» (Чайковский П. И. Письма к родным, т. 1. М., 1940, с. 339).

Графу Л. Н. Толстому (с. 162).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 353. Отношение Апухтина к Толстому, выраженное в этом стихотворении, изменилось в 1880-е гг., в связи с переломом в мировоззрении Толстого. 31 октября 1891 г. Апухтин обратился к Толстому с большим письмом (опубликовано в «Литературном наследстве», № 37-38, М., Изд-во АН СССР, 1939, с. 441), где, в частности, писал: «Давно уж я смотрю на Ваше превра-

щение из художника в проповедника, как на свое личное горе...» Письмо осталось без ответа.

Над связкой писем (с. 163).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 211.

Братьям (с. 163).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 132, вместе со стихотворениями «Равнодушный» и «К поэзии», под общим заглавием «Во время войны». Написано в связи с русско-турецкой войной 1877—1878 гг.

«Птичкой ты резвой росла...» (с. 164).— Впервые — *Русский вестник*, 1891, № 2, с. 184. Положено на музыку Г. Л. Катуаром.

Две ветки (с. 165).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 518.

«Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет...» (с. 165).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 139. Читалось под музыку А. А. Жедринского (мелодекламация). Положено на музыку Р. М. Глиэром, С. С. Прокофьевым, А. В. Щербачевым, С. Голицыным.

«Снова один я... Опять без значенья...» (с. 165).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 522. Положено на музыку В. С. Муромцевским, К. Регамаэ, Э. Гранелли.

«Я ее победил, роковую любовь...» (с. 166).— Впервые — *Русская мысль*, 1885, № 3, с. 5, в рубрике «Песни былых годов». Положено на музыку К. Ю. Давыдовым, З. А. Рейснер-Куманиной.

«Средь смеха праздного, среди пустого гула...» (с. 167).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 517. Положено на музыку Г. А. Гольденбергом, В. С. Муромцевским.

«Прости меня, прости! Когда в душе мятежной...» (с. 167).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 361. Написано по мотивам старинного цыганского романса П. С. Федорова «Прости меня, прости, прелестное создание!..», известного также в обработке М. И. Глинки. Положено на музыку А. А. Олениным.

Пара гнедых (с. 168).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 368. Перевод и переделка романса на французском языке «*Rauvres chevaux*», текст и музыку которого написал Сергей Иванович *Донауров* (1839—1897) — поэт, переводчик, композитор-дилетант. Известно также музыкальное переложение Я. Ф. Пригожего.

Богиня и певец (с. 168).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 360. По-видимому, стихотворение не является переводом из Овидия, а написано по мотивам его элегии.

Цыганская песня (с. 169).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 354. Написано по мотивам известного цыганского романса на слова В. И. Красова, первая строка которого использована в качестве эпиграфа. Стихотворение Апухтина положено на музыку Н. А. Манькиным-Невструевым, С. М. Волконским, Г. Л. Катуаром.

Два голоса (с. 169).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 188. Посвящено Зыбиным Софье Александровне и ее дочери Екатерине Кирилловне, в замужестве Остен-Сакен (1845—1923). Позднее Остен-Сакен вспоминала, как на одном из музыкальных вечеров у С. Я. Веригиной «Апухтин, заслушавшись Зыбиных, экспромтом написал стихотворение «Два голоса», посвященное им и впоследствии без малейшей поправки вошедшее в его сборник» (письмо к А. В. Жиркевичу 14 января 1907 г.— *ГМТ*).

«Мне не жаль, что тобою я не был любим...» (с. 170).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 159. Положено на музыку Д. Николаевым, Н. В. Киршбаумом, А. В. Щербачевым, Д. К. Сартинским-Беем.

Разбитая ваза (с. 170).— Впервые — *Album de madame Olga Kozlow, М., 1883*, с. 153; *Новь, 1884*, № 4, с. 543, без подзаголовка. *Сюлли-Прюдом* — псевдоним французского поэта Рене-Франсуа-Армана Прюдома (1839—1907). Стихотворение Апухтина положено на музыку А. С. Аренским, А. А. Оппель.

«Когда любовь охватит нас...» (с. 171).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 366. *Как предки наши, мы с гонцами...*— Имеется в виду просьба, с которой русские послы, согласно легендарной версии, обратились к варяжским князьям: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; идите княжить и владеть нами».

Воспоминание (с. 172).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 183.

«День ли царит, тишина ли нóчная...» (с. 172).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 141. Стихотворение было положено на музыку Чайковским в числе 6 романсов, посвященных А. В. Панаевой, а июле — августе 1880 г. Положено на музыку также Ф. Ю. Бенуа, Г. Базилевским, М. И. Левитским, П. А. Пабстом, Н. Яницким.

Памятная ночь (с. 173).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 523.

На Новый 1881 год («Вся зала ожидания полна...») (с. 174).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 328.

К поэзии (с. 174).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 134, в цикле из трех стихотворений «Во время войны». Стихотворение посвящено певице Александре Валериановне *Панаевой* (1853—1942), впоследствии жене друга Апухтина Г. П. Карцова. Ей же посвящены многие другие произведения поэта, в том числе «Год в монастыре», «Певица», «День ли царит, тишина ли ночная...», «Перед судом толпы, коварной и кичливой...». Стихотворение отмечено в томе Апухтина, принадлежавшем Блоку.

Отравленное счастье (с. 175).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 326.

На Новый год («Безотрадные ночи! Счастливые дни!...») (с. 176).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 167.

«Из отроческих лет он выходил едва...» (с. 176).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 526.

Г. Карцову (с. 177).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 335. *Карцов* Георгий Павлович (1862—1930) — один из ближайших друзей Апухтина, племянник Чайковского, с 1885 г. муж А. В. Панаевой. Записи стихотворений Апухтина, сделанные Карцовым и просмотренные автором, явились источником многих посмертных публикаций Апухтина.

Письмо (с. 177).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 96. Позднее был написан «Ответ на письмо» (см. с. 206). Стихотворение получило широкое распространение и входило в эстрадный репертуар многих известных артистов.

Бред (с. 180).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 192.

Музе (с. 181).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 342.

Ссора (с. 181).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 122.

«О да, поверил я. Мне верить так отраднó...» (с. 182).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 527.

«Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных...» (с. 183).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 330.* Положено на музыку А. И. Тиме, В. С. Муромцевским, Я. Ф. Пригожим, В. А. Золотаревым, Г. А. Гольденбергом.

«О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою...» (с. 183).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 332.*

Посвящение к «Году в монастыре» (с. 183).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 351.* Обращено к А. В. Панаевой.

Год в монастыре (с. 184).— Впервые — *Русская мысль, 1885, № 1, с. 292.* А. В. Жиркевич со слов Апухтина рассказывает, как создавался «Год в монастыре» (поэт называл его поэмой): «Апухтин... не писал ее систематически, по определенному, заранее обдуманному плану, а, задавшись темой, набрасывал поэму отдельными местами, пряча исписанные листки, без всякого порядка, в особый ящик. Затем, когда таких листков набралось достаточно, рассортировал он весь этот случайный материал, привел его в известную последовательность, систему, причем кое-что поневоле должен был отбросить» (*Исторический вестник, 1906, № 11, с. 500*). В основу некоторых эпизодов поэмы положены жизненные наблюдения. Так, во время поездки летом 1866 г. с П. И. Чайковским на остров Валаам поэт был свидетелем события, которое изображено в истории послушника Кирилла. Основная работа над «Годом в монастыре» была завершена летом 1883 г. в Рыбнице. В течение осени — зимы автор неоднократно читал его в кругу друзей и лиц, мнением которых дорожил. «В скольких руках перебивала эта рукопись и скольким лицам она читалась, начиная с первого чтения на моем новоселье на Кирочной», — писал он 2 марта 1885 г. Г. П. Карцову (*ЦГАЛИ*). Только в марте 1884 г. Апухтин решил опубликовать свое произведение. По-видимому, в этом решении сыграли роль и денежные обстоятельства. Во всяком случае, Апухтин сам так объяснял, и тогда и впоследствии, свое намерение печататься после более чем десятилетнего перерыва. «А наша поэма напечатана хорошо, — писал Апухтин Г. П. Карцову 23 января 1885 г. — Есть всего одна опечатка, и то неважная...» «Год в монастыре» имел успех, «подписка на «Русскую мысль» вследствие этого усилилась» (письмо Г. П. Карцову от 3 февраля 1885 г.). «Год в монастыре» был любимым детищем Апухтина. «Ты не можешь себе представить, — писал он 2 марта 1885 г. Г. П. Карцову, — с каким особенным чувством начал перелистывать рукопись этой квасипоэмы, которую я не могу разлюбить, несмотря на то, что она обещана типографским станком. Не только каждая глава ее пережита мною, но и писание каждой главы имеет свою историю». «Годом в монастыре» открывались три прижизненные сборника Апухтина. *Приукажен* — приписан указом к месту законного жительства. *Здесь Новый год встречают в сентябре*. — По церковному (допетровскому) календарю, Новый год начинался с сентября. *Рясофорное пострижение* — первая степень пострижения в монахи с одеванием рясы. Отрывок из «Года в монастыре» — «Она была твоя...» — положен на музыку Ц. А. Кюи, А. В. Анохиным, А. Т. Гречаниновым, А. С. Аренским, М. И. Ивановым, Г. Базилевским, Г. А. Гольденбергом, С. Д. Волковым-Давыдовым. М. А. Данилевской написана симфоническая оратория «Год в монастыре» и опера «Призрак» на сюжет той же поэмы, поставленная на сцене Мариинского театра в Петербурге в сезон 1911/12 г.

«Оглашении, изыдите!» (с. 199).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 130. «*Оглашении, изыдите!*» — возглас во время литургии, обязывающий нехристиан покинуть храм.

Памяти Нептуна (с. 200).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 358.

Во время болезни (с. 201).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 370.

Певица (с. 201).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 114.

Позднее мщение (с. 202).— Впервые — *Изд. 1886 г., с. 185*.

«Письмо у ней в руках. Прелестная головка...» (с. 204).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 219. Стихи были посланы в письме к А. В. Панаевой, когда она проводила лето на берегу Волхова в Новгородской губернии.

«Два сердца любящих и чающих ответа...» (с. 204).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 219.

«О, будьте счастливы! Без жалоб, без упрека...» (с. 205).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 331. Написано к свадьбе Г. П. Карцова и А. В. Панаевой.

Пешеход (с. 205).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 220.

Ответ на письмо (с. 206).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 528. Написано в форме ответа на стихотворение «Письмо» (с. 177). В оглавлении тома Апухтина из библиотеки Блока заглавие стихотворения подчеркнуто. *И страсть, широкая, как море...*—Отзвук стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...»: «Мою любовь, широкую, как море...» Заключительный отрывок «Прости мне тон письма небрежный...» положен на музыку А. Рессером; со слов «Все спит кругом...» — Г. Э. Колюсом.

«Как пловец утомленный, без веры, без сил...» (с. 207).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 176.

Старая любовь (с. 207).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 174.

Памяти прошлого (с. 208).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 214. Положено на музыку Г. Э. Колюсом.

Перед операцией (с. 209).— Впервые — *Исторический вестник*, 1894, № 4, с. 300, с заметкой Д. Д. Оболенского о том, что стихотворение было получено от Апухтина в 1891 г. для предполагавшегося сборника в пользу голодающих.

Старость (с. 210).— Впервые — *Русское обозрение*, 1891, № 1, с. 74.

А. Г. Рубинштейну (с. 212).— Впервые — *Изд. 1886 г.*, с. 218; печатается по *Изд. 1898 г.* А. Г. Рубинштейн исполнял в России и европейских странах цикл исторических концертов, в которых давал картину развития мировой фортепьянной музыки от ее истоков до творчества современных ему композиторов.

«Проложен жизни путь бесплодными степями...» (с. 212).— Впервые — *Русский вестник*, 1891, № 2, с. 183.

Из бумаг прокурора (с. 213).— Впервые — *Вестник Европы*, 1889, № 4, с. 695. В письмах автор называл свое произведение поэмой. История ее создания изложена отчасти в воспоминаниях А. Ф. Кони (*Собр. соч.*, т. 7, М., 1969, с. 307) и вырисовывается из сохранившейся переписки Апухтина с Г. П. Карцовым, А. Ф. Кони и А. В. Жиркевичем. Когда вещь была окончена, Апухтин сообщил Кони, что не считает себя вправе «пускать ее в обращение», не прочитав ему. Кони, как писал Апухтин 9 апреля 1889 г.

Жиркевичу, «нашел поэму совсем верной в психологическом смысле» и настаивал на включении двух отрывков, в которых Апухтин сомневался (письмо опубликовано в «Историческом вестнике», 1906, № 11, с. 498).

К. Д. Нилову (с. 219).— Впервые — *Изд. 1898 г.*, с. 267. Нилов Константин Дмитриевич — морской офицер, знакомый Апухтина, впоследствии — адмирал.

«О, не сердись за то, что в час тревожной муки...» (с. 219).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 363. Положено на музыку В. С. Муромцевским.

«Прощай!» — твержу тебе с невольными слезами...» (с. 219).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 362. Положено на музыку В. С. Муромцевским, Г. Л. Катуаром.

Сумасшедший (с. 220).— Впервые — *Вестник Европы*, 1890, № 12, с. 704. Стихотворение было очень популярным в эстрадном и любительском декламационном репертуаре. С большим успехом исполнялось известным артистом П. Н. Орленевым. «Сумасшедшего» любил читать молодой Блок (в оглавлении тома из его библиотеки заглавие стихотворения подчеркнуто). В письме к А. В. Гиппиусу 25 июля 1901 г. Блок писал: «Придется играть <...> сумасшедшего — в костюме и с Машей» (*Собр. соч.*, т. 8, М., 1963, с. 17). Отрывок «Да, васильки, васильки...» получил широкое распространение как городской романс. Часть стихотворения «Сумасшедший» положена на музыку для мелодекламации Н. В. Киришбаумом.

Голос издалека (с. 222).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1*, с. 375, печатается по *Изд. 1898 г.* Положено на музыку Ф. А. Заикиным, А. А. Олениным, В. С. Муромцевским, С. В. Рахманиновым.

На бале («Ум, красота, благородное сердце и сила...») (с. 222).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 240.

«Опять пишу тебе, но этих горьких строк...» (с. 223).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 533.

«Всё, чем я жил, в чем ждал отрады...» (с. 223).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 534. Положено на музыку Г. Э. Конюсом.

«О, что за облако над Русью пролетело...» (с. 224).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 533; печатается по *Изд. 1898 г.* Предполагается, что стихотворение предназначалось для сборника в пользу голодающих, задуманного поэтом А. Коринфским в 1892 г. Издание не состоялось.

«Перед судом толпы коварной и кичливой...» (с. 224).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 534. Стихотворение было получено А. В. Панаевой вслед за ее последним посещением больного поэта.

«Вот тебе старые песни поэта...» (с. 225).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 242.

#### СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Орфей и паяц (с. 226).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 244.

К человеческой мысли (с. 226).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 244.

«Ты говоришь: моя душа — загадка...» (с. 227).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 245.

«К ней в пустую гостиную голубь влетел...» (с. 228).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 246.

«Когда, в объятиях продажных замирая...» (с. 228).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 246.

Бессонница (с. 228).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 247.

## ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Перо (с. 230).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 248. *Фиглярин* — презрительное прозвище, данное Пушкиным реакционному журналисту, агенту III Отделения Ф. В. Булгарину (1789—1859). *Лавочка в Гороховой* — на Гороховой ул. в Петербурге находился дом градоначальника. *Как меч Суворова, ты Гоголя разил...*— Реакционная критика во главе с Булгариным враждебно встретила выход первого тома «Мертвых душ» (1842), обвинив автора в безнравственности, клевете, антихудожественности и т. п.

Желание славянина (с. 231).— Впервые — *Нива*, 1918, № 30, с. 466. Перепев стихотворения Лермонтова «Узник» (1837). В стихотворении содержатся сатирические выпады против характерной для славянофилов идеализации русской старины. *Мурmolка* — меховая или бархатная шапка с плоской тульей.

Гений поэта (с. 232).— Впервые — *Нива*, 1918, № 30, с. 466. Апухтин здесь дружески высмеивает стихотворные опыты П. Чайковского.

Первое апреля (с. 232).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 380. В 4-й строфе упоминаются товарищи Апухтина по Училищу правоведения, а также петербургские кондитерские и рестораны. «*Пчелка*» — раздел газеты «Северная пчела», где помещались статьи Булгарина.

П. Чайковскому («Нет, над письмом твоим напрасно я сижу...») (с. 233).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 252. *Попов* Аполлон Андреевич (ум. 1855) — воспитатель и преподаватель истории в Училище правоведения (наш критик Пухты и Платона). *Пухта* Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, автор учебников по правоведению. *Платон* (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. *Певец любви, певец Украины* — возможно, писатель Г. П. Данилевский. *Стихи обоих «К»*.— Очевидно, речь идет о товарищах Апухтина по Училищу правоведения, писавших стихи (один из них — Каратаев). *Лего* — кондитерская в Петербурге.

Пародия (с. 234).— Впервые — *Иллюстрация*, 1858, № 12, с. 187, в журнальном обзоре, анонимно, по-видимому, без ведома автора. Пародия на стихотворение А. А. Фета «Лесом мы шли по тропинке единственной...», напечатанное во второй январской книжке «Русского вестника» за 1858 г. Одновременно в журнале были помещены стихотворения Георгия Петровича *Данилевского* (1829—1890), Алексея Николаевича Плещеева (1825—1893), подписанные А. П — в, и Аполлона Николаевича *Майкова* (1821—1897). Майков был известен неустойчивостью своих политических взглядов. Обстоятельства заставили Апухтина написать впоследствии «извинение» за пародию. См. стихотворение «А. А. Фету» (с. 62).

Русской гетере (с. 235).— Впервые — *Искра*, 1860, № 38, с. 40, подпись: «Сысой Сысоев».

О ж и д а н и е (с. 235).— Впервые — *Искра*, 1860, № 28, с. 303, подпись: «Сысой Сысоев». *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский поэт,

историк и политический деятель. Стихотворение является пародией на подражателей Ламартину, представителей «чистой поэзии» 1840—1850-х гг.

В альбом (с. 236).— Впервые — Искра, 1860, № 29, с. 312, подпись: «Сысой Сысоев». Е. Е. А. — видимо, Евдокия Евграфовна Апухтина, жена П. Ф. Апухтина, дяди поэта.

Каролине Карловне Павловой (с. 236).— Впервые — Искра, 1860, № 29, с. 312. К. К. Павлова (1807—1893) — поэтесса и переводчица, ее поэма «Кадриль» была напечатана в январских и февральских книжках «Русского вестника» за 1859 г.

Элегия (с. 236).— Впервые — Искра, 1861, № 13, с. 200, подпись: «С. Сысоев». Дютиш Оттон Иванович (1825—1863) — композитор и дирижер, его опера «Кроатка, или Соперница», поставленная в Петербурге 9 декабря 1860 г., после семи представлений сошла со сцены. *Кроатка* — хорватка. Лазарев Александр Васильевич — композитор, автор нелепых «ораторий», усиленно занимался саморекламой. Серов — см. примеч. на с. 526 (ниже).

Красному яблочку червоточинка не в укор (с. 237).— Впервые — Искра, 1862, № 49, с. 690, подпись: «Сысой Сысоев». Дюссо — ресторан в Петербурге; «*И дым отечества мне сладок и приятен*» и «*Когда подумаю, кого вы предпочли*» — цитаты из «Горя от ума» (1824) Грибоедова, первая слегка изменена. «*Сын отечества*» (1856—1861) — еженедельный журнал либерального направления, с 1862 г. — газета.

К портрету И. В. Вернадского (с. 241).— Впервые — Гудок, 1862, № 5, с. 38; подпись: «Сысой Сысоев». Вернадский Иван Васильевич (1821—1884) — профессор Петербургского университета, экономист, редактор журнала «Экономический указатель».

К портрету А. Н. Серова (с. 241).— Впервые — Нива, 1918, № 30, с. 467. Серов Александр Николаевич (1820—1871) — композитор и музыкальный критик, с 1867 г. издавал журнал «Музыка и театр», выступал по вопросам музыкальной педагогики. Ростислав — псевдоним Феофила Матвеевича Толстого (1807—1881), писателя и музыкального критика, идейного противника Серова. В стихотворении упоминаются оперы Серова «Юдифь» (1863) и «Рогнеда» (1865). Героиня первой оперы, написанной на библейский сюжет, *Юдифь*, во имя спасения своего народа проникла во вражеский стан и, притворившись влюбленной в предводителя ассирийцев *Олоферна*, убила его. Героиня второй оперы, написанной по мотивам древнерусского предания, *Рогнеда*, подстрекаемая язычниками, покушалась на своего мужа, киевского князя Владимира.

Совет молодому композитору (с. 241).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 539. «*Не так живи, как хочется*» — опера Серова, написанная на сюжет одноименной пьесы (1854) А. Н. Островского (впоследствии опера получила название «Вражья сила»).

«Когда будете, дети, студентами...» (с. 242).— Впервые — Гражданин, 1873, № 40, с. 1086, анонимно. Стихотворение представляет собой обработку студенческой песни, известной в Московском университете еще в 1840—1850-х гг. (Русское обозрение, 1896, № 1, с. 421). *Пеперменты* — мятные лепешки от кашля.

Японский романс (с. 242).— Впервые — *Изд. 1961 г.*, с. 263. Стихотворение является откликом на русско-японские отношения второй половины 1860-х гг. Усиление колонизации Сахалина русским правительством



вызвало беспокойство со стороны Японии, до этих пор беспрепятственно пользовавшейся природными богатствами острова. *Грант* Улисс Симпсон (1822—1885) — американский генерал и государственный деятель, командовавший войсками северных штатов во время Гражданской войны в США. *Сколков* Иван Григорьевич (1814—1879) — генерал, в 1866 г. возглавивший сибирскую экспедицию по расследованию положения политических ссыльных на Сахалине.

В. А. Вилламову (с. 244).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 384.* *Вилламов* Владимир Александрович (1837—1889) — поэт (псевдоним — Владимир Сулковский). *Не называй меня небесным...*— Видоизмененные строки из стихотворения Н. Ф. Павлова «Романс» («Не называй ее небесной...», 1834), положенного на музыку М. И. Глинкой.

В. А. Жедринскому (с. 244).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 265.* *Жедринский* Владимир Александрович (1851—1892) — один из ближайших друзей Апухтина, вел записи его стихов.

По поводу назначения М. Н. Лонгинова управляющим по делам печати (с. 245).— Впервые — *Нива*, 1918, № 30, с. 469. *Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф, историк литературы, в 1867—1871 гг. губернатор в Орле, в 1871 г. был назначен начальником Главного управления по делам печати. *Варле* Габриэль (1810—1867) — французский актер, играл в труппе Михайловского театра в Петербурге.

По поводу юбилея Петра Первого (с. 245).— Впервые — *Нива*, 1918, № 30, с. 467. Написано в связи с празднованием 30 мая 1872 г. двухсотлетия со дня рождения Петра I (1672—1725). В мае — июне 1872 г. Апухтин лечился на курорте в Карлсбаде, где обычно бывало много русских и где 30 мая состоялось торжественное богослужение. *Раз, приехавши в Карлсбад...*— Петр I лечился на водах в Карлсбаде в 1711 и 1712 гг. *Шпрудель* — главный минеральный источник в Карлсбаде. *С треском бороды летят...*— Петр I в 1698 г. ввел обязательную стрижку бород у придворных.

Злопамятность духовенства (с. 245).— Впервые — *Нива*, 1918, № 30, с. 467. *Он патриарха сократил...*— В 1721 г. Петр I взамен патриаршества учредил Святейший синод, подчинив церковь царю. *Кустодиев* Константин Лукич — священник православной церкви в Карлсбаде, произнесший в день двухсотлетия Петра I длинную проповедь.

С. Я. Веригиной (с. 246).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 385.* *Веригина* Софья Яковлевна (1807—1891) — петербургская светская дама, генеральша, известная меломанка, прозванная Апухтиным «Мендельсоничкой». Молочное лечение практиковалось как средство от полноты.

Молитва больных (с. 246).— Впервые — *Изд. 1961 г., с. 267.* Адресовано С. Я. Веригиной.

«Жизнь пережить — не поле перейти!»...» (с. 246).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 396*, с заглавием: «Из записок ипохондрика».

Певец во стане русских композиторов (с. 246).— Впервые — *Изд. 1895 г., т. 1, с. 388.* Пародическое использование произведения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812) имело литературную традицию, начало которой было положено пародией К. Н. Батюшкова «Певец в Беседе славянороссов» (1813). В стихотворении Апухтина имеются в виду споры, которые велись в прессе 1860—1870-х гг. вокруг новой русской музыкальной школы, известной под именем «Могучей кучки».

Споры шли, в частности, о путях развития русской оперы. В пародии эти споры освещены в какой-то мере с позиций друга Апухтина П. И. Чайковского. Расхождения во взглядах «кучкистов» и П. И. Чайковского особенно выявились к 1870-м гг. *Речитатив* широко использовался в творчестве «кучкистов». Вопрос о речитативе и мелодии в опере был одним из предметов дискуссии. *Шашина* Елизавета — композитор. *Римский-Корсаков* был инспектором морских хоров (а не начальником морских оркестров, как ошибочно указал Апухтин). *Мусоргский* в своих вокальных и фортепьянных циклах (имеются в виду скерцино «Швея», песня «По грибы» на слова Л. А. Мей, камерно-вокальный цикл «Детская. Эпизоды из детской жизни») стремился к реалистической образности музыки. Композитор и музыкальный критик, «кучкист» Цезарь Антонович *Кюи* (1835—1918) в газете «С.-Петербургские ведомости» вел музыкальное обозрение, выступая, в частности, в защиту творчества Римского-Корсакова. *Ратклиф* — «Вильям Ратклиф», опера Ц. А. Кюи, написанная на сюжет одноименной трагедии (1823) Г. Гейне. ...*Бах бывал пред ним виновен...*— Ц. Кюи в своих статьях отрицал роль классического наследия, в частности, критически относился к творчеству И.-С. Баха. *Зачем, Эдвардс, твой меч в крови...*— Перефразированные слова из старинной шотландской баллады, которую в опере «Вильям Ратклиф» поет старая ключница Маргарета. *Афанасьев* Николай Яковлевич (1820—1898) — скрипач и композитор. *Кашперов* Владимир Николаевич (1827—1894) — композитор, автор оперы «Гроза». *Фитингоф* — Фитингоф-Шелль Борис Александрович (1829—1901), композитор, автор оперы «Мазепа». *Сангис* Михаил Львович (1826—1879) — композитор; его опера «Ермак» не имела успеха. *День Бородина* — игра слов по сходству фамилии Бородина и названия знаменитого сражения Отечественной войны 1812 г. *Ларош* Герман Августович (1845—1904) — русский музыкальный критик и композитор, автор оперы «Кармозина». «*Кузнецик-музыкант*» (1859) — поэма Я. П. Полонского, автора либретто оперы Чайковского на гоголевский сюжет «*Кузнец Вакула*» (во 2-й редакции — «Черевички»). *Направник* Э. Ф., будучи капельмейстером Мариинского театра в Петербурге, руководил первыми постановками опер Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. *Опоковано* — по-видимому, искаженное чешское *ораконат* — бис.

Дилетант (с. 248).— Впервые — *Изд. 1896 г.*, с. 539, с другим расположением строк. В стихотворении пародически используется «Моя родословная» (1821) Пушкина, оно направлено против передовой демократической литературы и журналистики 1860-х гг. *Россия встала ото сна...*— Строка у Пушкина: «Россия встанет ото сна...» («К Чаадаеву», 1818). *Камбек* Лев Логинович — журналист, редактор-издатель еженедельника «Петербургский вестник» (1861—1862), известный своим обличительством мелких нелепостей общественной жизни. *П. Н. Вифанский* — беллетрист, сотрудник «Современника»; Александр Степанович *Гиероглифов* (1824—1900) — журналист, редактор еженедельника «Русский мир»; Апухтин подчеркивает недворянский характер этих фамилий. *Хрия* — семинарская риторическая речь. *Что Пушкин был не идиот, // Что выше сапогов Бетховен...*— В этих строках Апухтин высмеивает и вульгаризирует эстетические взгляды представителей демократической критики, в первую очередь Писарева. *Стрижом, лукошком, бутербродом...*— Намек на журнальную полемику

1860-х гг. «Стрижами» М. Е. Салтыков-Щедрин прозвал Ф. М. Достоевского и сотрудников его журнала «Эпоха»; «лукошко» и «бутерброд» — выражения из полемики критика «Современника» М. М. Антоновича с журналом демократического направления «Русское слово». *Соллогуб* Владимир Александрович (1814—1882), писатель, и *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик, в 1860-е гг. стояли на позициях, враждебных передовой литературе и журналистике. *Лонгинов* — цензор в 1871—1875 гг. *Минаев* Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт, сотрудник демократических изданий «Современник», «Искра», «Гудок» и др.

Э п и г р а м м а («Тимашев мне — ni froid, ni chaud...») (с. 250).— Впервые — *Изд. 1898 г.*, с. 299. *Тимашев* Александр Егорович (1818—1893) — министр внутренних дел (1868—1878), на досуге занимался скульптурой.

К назначению В. К. Плеве (с. 250).— Впервые — *Русский архив*, 1908, № 11, с. 409. *Плеве* Вячеслав Константинович (1846—1904) — реакционный государственный деятель, с 1881 г. — директор департамента полиции, с 1884 г. — товарищ министра внутренних дел. *Плевако* Федор Никифорович (1843—1908) — адвокат, славившийся красноречием.

Надпись на своем портрете (с. 250).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 395. Надпись на оборотной стороне фотографии поэта, подаренной им Г. П. Карцову.

Послание графу А. Н. Граббе во время его кругосветного плавания на великокняжеской яхте «Тамара» (с. 251).— Впервые — *Изд. 1895 г.*, т. 1, с. 397. *Тамара*, дочь *Гудала* — персонажи поэмы Лермонтова «Демон» (1838). *Граббе* Александр Николаевич — офицер, знакомый Апухтина, сопровождал великого князя Александра Михайловича во время его кругосветного путешествия в 1889 г.

П. Чайковскому («К отъезду музыканта-друга...») (с. 251).— Впервые — *Нувеллист*, 1893, № 8, с. 5. Написано, по-видимому, к отъезду П. И. Чайковского в Англию в 1893 г. В стихотворении упоминаются известные музыкальные термины. *Бекар* — нотный знак, отменяющий повышение (диез) или понижение (бемоль) звука.

## ПРОЗА

Проза Апухтина впервые была опубликована посмертно, по его автографам. Присяжный поверенный А. В. Гарф, присутствовавший при вскрытии саквояжа, опечатанного после кончины писателя, впоследствии подтвердил, что в нем были найдены «чистенько переписанные рукою Алексея Николаевича переплетенные тетради его прозы, не видевшей еще печатного станка...» (письмо А. В. Жиркевичу от 26 марта 1905 г. — *ГМТ*). Дальнейшая судьба этих тетрадей, к сожалению, неизвестна.

В настоящем издании раздел прозы печатается по текстам Собрания сочинений Апухтина 1898 г. в хронологическом порядке. Сведения о времени написания произведений, поскольку они не датированы, приводятся по данным М. И. Чайковского, друга и биографа писателя, в его вступительной статье к однотомнику (*Изд. 1898 г.*, с. XIV).

## НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

(с. 255).

Впервые — два отрывка в *Изд. 1895 г., т. 2, с. 257*. Целиком напечатано в «Вестнике Европы», 1896, № 3—6. В журнальной публикации роман получил название «Неоконченная повесть».

Некоторые сведения, связанные с замыслом этой вещи, приводит А. В. Жиркевич. Он пишет, что в 1888 г. Апухтин сообщил ему, «что задумал большой бытовой роман в прозе из эпохи Крымской кампании — «роман без всякой тенденции». Апухтин уверял при этом, что план романа у него уже готов; намечены главные действующие лица, материалов — масса; тема взята нарочно из прошлого, которому, по словам его, он «сочувствует всей душой». Далее мемуарист сообщает, что «уже в конце осени на вопрос о судьбе задуманного им романа Апухтин ответил, что роман бросил по разным причинам, главным же образом потому; что при системе долгого обдумывания каждой главы, одной за другою последовательно, которой придерживался, он не кончил бы работы и в тридцать лет» (Исторический вестник, 1906, № 11, с. 501). Роман остался незавершенным.

<sup>1</sup> *Мальпост* — почтовая карета, перевозившая пассажиров и легкую почту.

<sup>2</sup> *Дормез* — дорожная карета, в которой можно лежать вытянувшись.

<sup>3</sup> Особо отличившиеся выпускницы женского дворянского института при Смольном монастыре (Петербург) награждались *шифром* — знаком отличия в виде вензеля императрицы.

<sup>4</sup> См. примеч. 29 на с. 531.

<sup>5</sup> Роман (1850) Ч. Диккенса.

<sup>6</sup> *Карсельская лампа* — разновидность масляной лампы, усовершенствованной регулирующим механизмом Карселя.

<sup>7</sup> Начало стихотворения (1821) Пушкина, посланного им через А. Г. Муравьеву декабристам в Сибирь.

<sup>8</sup> Произведения Пушкина: ода «Вольность» (1817), «К Чаадаеву» (1818), «Деревня» (1819), поэма «Гавриилиада» (1821) и многое другое долгое время распространялось только в списках.

<sup>9</sup> *Гигантские шаги* — приспособление для гимнастической игры, состоящее из столба с вертушкой наверху, к которой прикреплены веревки с ляжками.

<sup>10</sup> *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий ученый, естествоиспытатель и путешественник, в 1829 г. посетил Россию.

<sup>11</sup> Драмы Гюго, насыщенные пафосом высоких страстей, направленные против самовластья, в России долго были под цензурным запретом.

<sup>12</sup> Трагедия (1637) П. Корнеля (1606—1684), французского драматурга, основоположника трагедии в стиле классицизма.

<sup>13</sup> Имеется в виду юмористический роман в стихах И. П. Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л'этранже» (1841) — образец «макаронического» стиля, основанного на смешении разноразличных слов.

<sup>14</sup> В Древнем Риме *проконсул* — наместник, имевший в провинции неограниченную власть. Здесь, по-видимому, намек на более высокое служеб-

ное положение губернатора в прошлом, т. к. в Риме проконсулами назначались лица по истечении срока их высоких полномочий.

<sup>15</sup> «*Почта духов*» — так назывался издававшийся И. А. Крыловым журнал (1879), построенный в виде переписки волшебника с сумасшедшим философом и духами.

<sup>16</sup> *Костюшко Тадеуш* (1746—1817) — руководитель польского национально-освободительного восстания 1794 г.

<sup>17</sup> Поклонники (от фр. adorer — обожать, поклоняться).

<sup>18</sup> Очевидно, речь идет об известных в Москве салонах в доме З. А. Волконской, Е. П. Елагиной, где постоянно собирались музыканты, литераторы — передовые и знаменитые люди своего времени.

<sup>19</sup> В целях укрепления самодержавия и для разгрома княжеско-боярской оппозиции царь Иван Грозный разделил земли России на опричнину и земщину. Опричные земли, с которых были выселены удельные князья, раздавались служилым людям — опричникам, на которых опирался Грозный, борясь с внутригосударственной изменой.

<sup>20</sup> *Рюрик* — согласно летописной легенде варяжский князь, якобы приглашенный славянскими племенами для управления ими, родоначальник старейшей княжеской династии.

<sup>21</sup> Строка из монолога Чацкого в «Горе от ума» (д. III, явл. 22).

<sup>22</sup> В Древнем Риме *преторианцами* называли солдат личной охраны полководцев; в переносном смысле так именуют наемные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

<sup>23</sup> Последняя строка из стихотворения Пушкина «Мадонна» (1830).

<sup>24</sup> Вступительный наигрыш к вокальной или танцевальной музыке.

<sup>25</sup> Лунная соната Бетховена.

<sup>26</sup> Романс М. Глинки «Сомнение» на слова Н. В. Кукольника.

<sup>27</sup> Известные строки из «Горя от ума» — переложение строки Г. Державина: «Отечества и дым нам сладок и приятен» («Арфа», 1798), которая восходит к античной поговорке: «И дым отечества сладок».

<sup>28</sup> Летом 1853 г. (время действия VI главы) в «Современнике» не было «меткой и злой» статьи против славянофилов. Апухтин мог иметь в виду одну из прежних работ Белинского, который в конце 1840-х гг. вел острую полемику со славянофилами, например, «Ответ «Москвитянину» (Современник, 1847, № 11); того же направления придерживался Чернышевский в статье «Бедность не порок» (рецензия на пьесу А. Н. Островского — Современник, 1854, № 5), в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856), но это было позднее. В связи с теми спорами, которые ведутся в романе, автор ввел упоминание об одной из таких статей со сдвигом во времени.

<sup>29</sup> К лету 1853 г. русско-турецкие отношения резко обострились. Посланный в Константинополь чрезвычайный посол князь А. С. Меншиков потребовал, чтобы православные подданные Турции были поставлены под покровительство русского царя. Турецкое правительство, поддержанное Англией и Францией, имевшими свои интересы на Ближнем Востоке, отвергло ультиматум. Дипломатические отношения с Турцией были прерваны. 14(26) июня Николай I издал манифест о вступлении русских войск в Дунайские княжества, Молдавию и Валахию, находившиеся под суверенитетом турецкого султана. Англо-французский флот, с согласия Турции, вошел в Дарданеллы.

Расчет Николая I на союзническую поддержку Австрии не оправдался. В 1849 г. русские войска помогли австрийскому императору подавить венгерскую революцию, но в ситуации, сложившейся к 1853 г., Австрия не поддержала Россию, вступив в сговор с Англией и Францией. 4(16) октября Турция объявила войну России. Союзники вступили в войну в марте 1854 г.

<sup>30</sup> *Г. Надб* (1820—1893) — известный французский шансонье, автор популярных остроумных и фривольных песенок.

<sup>31</sup> См. примеч. 29 на с. 531.

<sup>32</sup> «*Северная пчела*» (1825—1864) — ежедневная официальная литературно-политическая газета.

<sup>33</sup> *Карл XII* (1682—1718) — шведский король, потерпевший в 1709 г. под Полтавой поражение от русских войск.

<sup>34</sup> Имеются в виду чиновничьи классы табели о рангах. *Двенадцатый класс* — один из низших.

<sup>35</sup> Каламбур, связанный со значением фр. глагола *se deboutonner* — расстегиваться и быть откровенным, исповедоваться, раскрываться перед кем-то.

<sup>36</sup> *Пальмерстон* — английский государственный деятель, в 1855—1858 гг. — премьер-министр, известный своей антирусской внешней политикой. Четверостишие из стихотворения В. П. Алферьева «На нынешнюю войну» («Северная пчела, 1854, № 37).

<sup>37</sup> После того как русская эскадра под командованием адмирала П. С. Нахимова уничтожила в Синопском сражении турецкий флот (ноябрь 1853 г.), соединенный англо-французский флот в декабре без объявления войны вошел в Черное море.

<sup>38</sup> Речь идет о победоносных сражениях русских войск против армии Наполеона I во время заграничных походов, в августе 1813 г. (Кульм) и в марте 1814 г. (Фершампенуаз).

<sup>39</sup> Строфа из неопубликованного стихотворения Апухтина «Молитва русских» (январь 1854 г.).

<sup>40</sup> Строка из «Эпитафии» (1792), написанной Н. М. Карамзиным.

<sup>41</sup> Граф А. Ф. Орлов был послан в Вену с целью повлиять на Австрию, получившую в 1848 г. помощь от Николая I в подавлении венгерской революции. Миссия Орлова не удалась.

<sup>42</sup> См. примеч. 29 на с. 531.

<sup>43</sup> См. примеч. к стихотворению «Ожидание», с. 525.

<sup>44</sup> *Мишле Ж.* (1798—1874), *Луи Блан* (1811—1882), *Тьер А.* (1797—1877) — французские историки.

<sup>45</sup> *Железная маска* — таинственный узник, заключенный при Людовике XIV в Бастилию и носивший маску с железными скрепами. Множество изысканий посвящено изучению вопроса о его личности.

<sup>46</sup> *Зорич Семен Гаврилович* — один из любимцев Екатерины II, произведенный ею в генералы, по происхождению сербский крестьянин.

<sup>47</sup> Железная дорога между Петербургом и Москвой была открыта в 1851 г.

<sup>48</sup> 2(14) сентября 1854 г. англо-французский флот высадил в Евпатории мощный десант. После неудачной для русских битвы на реке Альме соединенные войска двинулись к Севастополю, осадив его с суши.

<sup>49</sup> То есть «Le Moniteur universel» — ежедневная французская правительственная газета.

<sup>50</sup> Английская военная эскадра под командованием адмирала Ч. Непера в мае 1854 г. блокировала русские порты на Балтийском море. Военные действия эскадры ограничились бомбардировками береговых укреплений.

<sup>51</sup> Опера Д. Мейербера «Пророк», написанная на героический сюжет из истории борьбы крестьян с феодалами в XVI в., шла в Петербургской итальянской опере под названием «Осада Гента». В сезон 1854/55 г. ведущие партии исполняли выдающиеся итальянские певцы: Э. Тамберлинк (1820—1889) — партию Иоанна Лейденского, Тедеско (1826—1870-е гг.) — партию героини оперы Фидес.

<sup>52</sup> Б. Нибур (1776—1831) — знаменитый немецкий историк, автор известного труда в 3-х томах «Римская история».

<sup>53</sup> Кардинал Ришелье — французский государственный деятель, фактический правитель Франции при Людовике XIII в 1624—1642 гг., много сделавший для укрепления абсолютизма.

<sup>54</sup> Ежедневная газета военного ведомства.

<sup>55</sup> В сражении под Балаклавой 13(25) октября 1854 г. русские войска одержали победу, истребив английскую легкую кавалерию.

<sup>56</sup> Первое объявление о болезни Николая I появилось 12 февраля 1854 г. Лечивший его лейб-медик Мандт уверял, что больной вне опасности. 18 февраля 1855 г. Николай I умер.

<sup>57</sup> Своей внешней политикой Николай I поддерживал старые европейские монархии в их борьбе с революционным и национальным освободительным движением, заслужив славу жандарма Европы.

<sup>58</sup> По-видимому, имеется в виду придворный певец кокандского правителя Умархана, поэт Фазли Намангани (1-я пол. XIX в.), известный своими панегирическими сочинениями. По обычаю, прибывавшие в Петербург от среднеазиатских правителей посольства наряду с подарками преподносили царям и их наследникам стихотворное послание. Была ли напечатана ода Николаю I, о которой идет речь, сейчас трудно установить.

<sup>59</sup> Паскевич И. Ф. (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, один из столпов реакционной николаевской военной системы; в 1831 г. подавил восстание в Польше, в 1848-м — революцию в Венгрии; проводил политику национального угнетения и русификации окраин России.

<sup>60</sup> Царствование Николая I, начавшееся расправой с декабристами, отличалось жестокостью мер, направленных против передовой демократической мысли; при нем было образовано III Отделение собственной канцелярии, занимавшееся надзором за инакомыслящими, введен новый цензурный устав и др.

<sup>61</sup> Известно, что Николай I предостерегал французского короля Карла X (1824—1830) от нарушений конституции, полагая, что его «ордонансы» (указы, повеления — от фр. ordonnance) могут спровоцировать революцию.

<sup>62</sup> Луи Филипп — король Франции (1830—1848), выдвинутый на престол крупной буржуазией после Июльской революции 1830 г. герцог Орлеанский. Приверженец «законной» династии Бурбонов на французском престоле, Николай I не хотел признавать Луи Филиппа, презрительно называя его «королем баррикад».

<sup>63</sup> Луи Наполеон, племянник Наполеона I; в результате переворота 2 декабря 1851 г. захватил единоличную власть и принял титул императора Наполеона III (1852—1870). Последнее обстоятельство смущало Николая I, так как зачеркивало решение Венского конгресса об исключении Бонапартов из французского престолонаследия.

<sup>64</sup> *Зуавы* — наиболее воинственные подразделения французской армии, сформированные из алжирцев или французов в алжирском обмундировании.

<sup>65</sup> На собрании дворянских предводителей 30 марта 1856 г. в Москве Александр II заявил о необходимости проведения крестьянской реформы, которая должна исходить сверху.

<sup>66</sup> См. примеч. 70 на с. 534.

<sup>67</sup> *Венский конгресс* (1814—1815 гг.), руководящая роль на котором принадлежала России, Австрии и Англии, завершил войны европейских держав с Наполеоном I и основал «Священный союз» для борьбы с революционным движением в Европе.

<sup>68</sup> В царствование Николая I министром иностранных дел был К. Несельроде, приверженец реакционных австрийских кругов; послами были бароны: в Англии — Бруннов, в Австрии — Мейндорф, в Пруссии — Будберг.

<sup>69</sup> *Каподистрия И.* (1776—1831) — граф, греческий государственный деятель, находившийся в 1809—1827 гг. на русской дипломатической службе.

<sup>70</sup> *Парижский мир*, подписанный 18(30) марта 1856 г., завершил Крымскую войну. Благодаря умелой политике русских дипломатов А. Ф. Орлова и А. М. Горчакова потери России оказались меньше, чем ожидали.

<sup>71</sup> Речь идет о Л. Н. Толстом, его «Севастопольских рассказах» и более поздней оценке состояния и умонастроения русского общества по окончании Крымской войны, данной писателем во вступлении к незаконченному роману «Декабристы» (1860).

<sup>72</sup> 17 августа 1856 г. в Москве состоялась коронация Александра II, сопровождавшаяся пышными празднествами, на которые были произведены огромные государственные затраты.

<sup>73</sup> *Белый Орел* — гражданский орден высокого достоинства.

<sup>74</sup> *Редут Шварца* — передовое инженерное укрепление 2-й линии обороны Севастополя. Его гарнизон оказал ожесточенное сопротивление противнику и в рукопашном штыковом бою 27 августа 1855 г. выбил захватившего было редут врага.

<sup>75</sup> Статьи Белинского о Пушкине печатались анонимно в «Отечественных записках» в 1843—1846 гг.

<sup>76</sup> Речь идет о стихотворениях Н. А. Некрасова «Родина» (1846), «Белинский» (1855), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Песня Еремущке» (1859) и др., первоначально распространявшихся в списках.

<sup>77</sup> «*Колокол*» — газета, издававшаяся в 1857—1867 гг. А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне и Женеве. В России распространялась нелегально. Первый номер вышел 22 июня 1857 г.

<sup>78</sup> Письмо Герцена к Линтону — «La Russie et la vieux monde» («Старый мир и Россия») — впервые опубликовано на английском языке



в журнале «The English Republic» в виде трех писем к его редактору Линтону в январе — феврале 1854 г.; в марте — апреле 1854 г. напечатано во французской газете «L'Homme». В русском переводе отдельное издание появилось в 1858 г. Одна из основных идей, проходящих через статью, — идея решающей роли, которую Россия призвана сыграть в судьбах Европы. В письмах, адресованных западноевропейскому читателю, Россия рассматривалась как страна особо благоприятных возможностей для социальных преобразований. Мысль Герцена о том, что военное поражение могло бы ускорить социальные сдвиги в России, приводится в романе не точно и превратно толкуется.

<sup>79</sup> *Граф Шамбор* (1820—1883) — последний представитель старшей линии Бурбонов, долгое время считавшийся законным претендентом на французский престол.

<sup>80</sup> В 1857—1858 гг., в период подготовки крестьянской реформы, Чернышевский, полемизируя с журналами либерально-дворянского направления, напечатал в «Современнике» ряд статей, в которых рассматривался вопрос общинного землевладения. По-видимому, в романе имеется в виду статья Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения», напечатанная в «Современнике», 1858, № 12 (автором допущен сдвиг по времени: события 5-й главы, где упоминается статья, относятся к концу 1857 г.).

<sup>81</sup> *Агнесса Сорель* (1409—1450) — возлюбленная французского короля Карла VII, отличалась красотой, ей приписывали благотворное влияние на короля.

<sup>82</sup> «*Голоса из России*» — сборники, составленные из статей, полученных от русских корреспондентов; издавались А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне в 1856—1860 гг., в России распространялись нелегально.

<sup>83</sup> *Перигор* — графство в юго-западной Франции.

<sup>84</sup> Во время польской интервенции против России в начале XVII в. русские послы, выражая мнение части русской знати, согласились принять польские условия и признать королевича Владислава (сына польского короля Сигизмунда III) русским царем. Церемония принятия присяги Владиславу в августе 1610 г. в Москве подробно описана Карамзиным в «Истории Государства Российского» (т. XII, гл. 4).

<sup>85</sup> «*Орешек не сдавался*». — Этими словами обрывается текст XII незаконченного тома «Истории Государства Российского». Основанная новгородцами в XIV в. на острове у истоков Невы крепость Орешек в 1611 г. была захвачена шведами, и около столетия — до отвоевания ее Петром I в 1702 г. — крепостью (Нотебург) владели шведы.

<sup>86</sup> *Самойлов* Василий Васильевич (1813—1887) — драматический актер. Одной из лучших ролей его репертуара была роль *Кречинского* в пьесе А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского», поставленной на сцене Александринского театра в Петербурге в 1856 г.

<sup>87</sup> Статьи с таким или подобным заглавием в «Колоколе» не было, как не могло быть и отрывка, приведенного в тексте в качестве цитаты из «Колокола», поскольку упомянутый в нем министр граф Хотынцев не историческое лицо, а вымышленный персонаж.

<sup>88</sup> Титул принца Наполеона во Второй империи носил двоюродный брат Наполеона III Жозеф Бонапарт (1822—1890). Как член законодатель-

ного собрания отличался радикализмом речей, за что получил прозвище «Красного Принца».

<sup>89</sup> *Дон Базилио* — персонаж из оперы Д. Россини «Севильский цирюльник», исполняющий знаменитую арию о клевете.

<sup>90</sup> *Царскосельская машина* — поезд железной дороги в Царское Село.

<sup>91</sup> *Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — военный и государственный деятель, генерал, отличился в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813—1814 гг. С 1819 г. возглавлял военную и гражданскую власть на Кавказе. Выделялся независимостью суждений. При Николае I вынужден был уйти в отставку.

<sup>92</sup> Строки из стихотворения Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840).

<sup>93</sup> *Федюхины горы* — высоты к юго-востоку от Севастополя, имевшие важное стратегическое значение в ходе Крымской войны. Героические усилия, предпринятые русскими войсками с целью выбить противника с захваченных им высот, успеха не имели.

<sup>94</sup> Аполлинарий *Контский* (1825—1879) — известный польский музыкант, скрипач-виртуоз, композитор; в 1852—1860 гг. был придворным солистом, жил в Петербурге.

<sup>95</sup> То есть на вербный базар, который устраивался на предпасхальной (вербной) неделе.

<sup>96</sup> *Технологи* — здесь: студенты.

<sup>97</sup> Допустить *ренонс* — значит простить ошибку в карточной игре. Здесь имеется в виду, что баллотировался старик, которому придется прощать ошибки при игре в карты.

<sup>98</sup> Строка из монолога Барона в «Скупом рыцаре» (1830) Пушкина.

<sup>99</sup> В Демидовом переулке (ныне пер. Гривцова) в 1850—1860-е гг. помещался Английский клуб, наиболее фешенебельный из русских клубов.

## АРХИВ ГРАФИНИ Д\*\*

### *Повесть в письмах*

(с. 401)

Впервые — *Изд. 1895 г., т. 2, с. 1*. В статье М. И. Чайковского повесть названа «Из архива графини Д\*\*» и датирована 1890 г.

<sup>1</sup> *Смуrow С. Г.* — купец, имевший в Петербурге торговлю колониальными товарами, фруктами и овощами.

<sup>2</sup> Выражение «*Париж стоит мессы*» приписывается королю Франции (1589—1610) Генриху IV, который в ходе религиозных войн вынужден был принять католичество в целях укрепления королевской власти.

<sup>3</sup> Каламбур, в котором обыгрывается название известного журнала «Вестник Европы».

<sup>4</sup> *Клеопатра* — египетская царица (69—30 гг. до н. э.), была возлюбленной римских императоров Юлия Цезаря, Марка Антония.

<sup>5</sup> Согласно библейскому сказанию Иосиф Прекрасный был продан в рабство телохранителю египетского фараона Пентефрию. Его жена домогалась любви Иосифа.

<sup>6</sup> *Блонды* — шелковые кружева.

<sup>7</sup> То есть голосованием.

<sup>8</sup> Возможно, под сказкой подразумевается евангельская притча о десяти девах, из которых пять было мудрых и пять неразумных; последние не взяли с собою масла для светильников и, когда жених явился в полночь, упустили его.

<sup>9</sup> *Заставьте играть телеграф* — от фр. *faire jouer* — действовать, употребить. Использование галлицизмов в прямой речи героев (устной или письменной) — характерный стилистический прием в прозе Апухтина.

<sup>10</sup> *Стрельна* — загородный московский трактир, был известен цыганскими хорами.

<sup>11</sup> Строки из стихотворения В. А. Жуковского «Воспоминание» (1821).

<sup>12</sup> *Меня будировал...* — от фр. *bouder* — дуться на кого-нибудь.

<sup>13</sup> Буквальный перевод с фр.: *il ne mettrait plus le pied*, то есть: он ко мне ни ногой.

<sup>14</sup> Иметь чистый доход (от фр. *mettre dans la poche*).

<sup>15</sup> Завершение объединения Италии в 1860-е гг. привело к ликвидации папского государства. Сложная и длительная борьба папы Пия IX (1846—1878), стремившегося сохранить за собою светскую власть, окончилась его поражением. В 1871 г. светская власть папы была уничтожена.

<sup>16</sup> Делать вид, что не слышишь, не замечаешь (от фр. *faire la sourd oreille*).

<sup>17</sup> Запись под 971 г. в «Повести временных лет», приписываемой летописцу Нестору (Полн. собр. русск. летописей, т. 1, СПб., 1846, с. 29).

<sup>18</sup> К 30 августа — дню тезоименитства Александра II объявлялись награждения и поощрения по службе.

<sup>19</sup> Чарльз *Ворт* — владелец фирмы дамского платья в Париже.

<sup>20</sup> *Оптина пустынь* — известный мужской монастырь, находившийся в Козельском уезде Калужской губернии.

<sup>21</sup> *Madame Girardin* — французская писательница и поэтесса Дельфина Жирарден (1804—1855).

<sup>22</sup> Буквальный перевод фр. идиомы *jeter son bonnet par — dessus les moulins*, что значит — пренебречь приличиями.

<sup>23</sup> Речь идет о Ч. Дарвине (1809—1882) и его теории происхождения видов.

## ДНЕВНИК ПАВЛИКА ДОЛЬСКОГО

(с. 442)

Впервые — *Изд. 1895 г., т. 2, с. 99*. По данным М. И. Чайковского, повесть написана в 1891 г.

<sup>1</sup> Строки из посвящения к «Евгению Онегину» Пушкина.

<sup>2</sup> Мировыми посредниками после реформы 1861 г. назывались лица, назначенные губернатором для решения споров между помещиками и крестьянами.

<sup>3</sup> Французский литературно-политический журнал.

<sup>4</sup> Дочь не имевшего потомков по мужской линии императора Константина (XI в.), вела постоянные интриги в связи с престолонаследием; после пятидесяти лет из династических соображений неоднократно выходила замуж.

<sup>5</sup> В 1882 г. английские войска вторглись в Египет, жестоко подавили крестьянское (феллахское) восстание и установили колониальный режим.

<sup>6</sup> Фортепянная пьеса Листа из цикла «Годы странствий».

<sup>7</sup> Имеется в виду крестьянская реформа 1861 г.

<sup>8</sup> См. примеч. 97 на с. 536.

<sup>9</sup> *Карл Смелый* (1433—1477) — герцог бургундский, беспощадно подавлял восстания нидерландских городов, входивших в герцогство Бургундское, вел борьбу с Людовиком XI против централизации французских земель; убит в битве при Нанси.

<sup>10</sup> *Мельхиседек* — библейский персонаж. В данном случае обыгрываются строки стихотворения К. Батюшкова «Изречение Мельхиседека» (1821): «Ты знаешь, что изрек... седой Мельхиседек?»

<sup>11</sup> Изречение восходит к Цицерону из его писем к Аттику.

<sup>12</sup> Не совсем точные цитаты из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1852—1854).

<sup>13</sup> *Мазепа, Мария* — герои «Полтавы» (1829) Пушкина.

<sup>14</sup> *Водвилем для разъезда* называли легкую заключительную пьесу в представлении, состоящем из нескольких пьес.

<sup>15</sup> Подобные мысли были свойственны самому Апухтину. Так, А. В. Жиркевич вспоминал, как писатель «просил дорогих лиц сказать ему заранее, в каком именно месте комнаты будут стоять они на его панихидах, веруя в то, что и в гробу не утратит он способности чувствовать их ободряющее присутствие» (Исторический вестник, 1906, № 11, с. 481).

<sup>16</sup> Слова Гамлета из III действия (1-е явление) трагедии Шекспира в переводе Н. Полевого.

<sup>17</sup> Выражение приписывается не Шекспиру, а французской писательнице де Сталь.

## МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

*Фантастический рассказ*

(с. 484)

Впервые — *Изд. 1895 г., т. 2, с. 203.* По данным М. И. Чайковского, написан в 1892 г.

<sup>1</sup> Происхождение эпиграфа установить не удалось. Не исключено, что он приведен по памяти. Апухтину мог запомниться эпизод из романа Э. Золя «Доктор Паскаль» (1893), герой которого, предчувствуя свою кончину, записывает в родословное дерево сведения о собственной смерти.

<sup>2</sup> «*Новое время*» (1868—1917) — официальная петербургская газета.

<sup>3</sup> Петербургская газета на французском языке, орган министерства иностранных дел.

<sup>4</sup> Французская повесть подобного содержания не установлена. Не исключено, что автор имел в виду повесть Эдгара По «Преждевременные похороны» (1844), с которой мог быть знаком по французскому переводу Ш. Бодлера.

<sup>5</sup> Изречение принадлежит английскому поэту Томасу Кэмпбеллу (1777—1844); оно использовано Байроном в качестве эпиграфа к его поэме «Пророчество Данте» (1819).

<sup>6</sup> Цитата из Евангелия.

<sup>7</sup> Библейский персонаж из потомков Давида, который согласно легенде вывел евреев из вавилонского плена.

<sup>8</sup> *Белая лилия* была эмблемой французской королевской власти.

<sup>9</sup> Известен народный обычай вешать на религиозные реликвии небольшие изображения человеческих органов в надежде на их исцеление или в благодарность за выздоровление.

<sup>10</sup> В XVII—XVIII вв. во французской драматургии господствовал классицизм и преобладало критическое отношение к Шекспиру; пьесы его переделывались в соответствии с правилами классицизма.

<sup>11</sup> После очередного (1877 г.) «великого противостояния» Марса, когда видимые на Марсе пятна были истолкованы как «каналы» — следы разумной деятельности марсиан, американский астроном Лоуэлл предлагал для сношения с марсианами в своей горной обсерватории устроить световой телеграф. В 1880-е гг. об этом много писали, но идея не была осуществлена.



## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Актеры («Минувшей юности своей...») . . . . .	94
«Антракт. В театре тишина...» (Певец во стане русских композиторов)	246
«Артист окончил акт. Недружно и несмело...» (Публика) . . . . .	161
Архив графини Д **. <i>Повесть в письмах</i> . . . . .	401
Астрам («Поздние гости отцветшего лета...») . . . . .	106
«Без волнения, без тревоги...» (Пешеход) . . . . .	205
«Безмесячная ночь дышала негой кроткой...» . . . . .	84
«Безотрадные ночи! Счастливые дни!..» (На Новый год) . . . . .	176
Бессонница («Проходят часы за часами...») . . . . .	228
«Блажен, блажен поэт, который цепи света...» (Два поэта) . . . . .	22
«Блещут огнями палаты просторные...» (На бале) . . . . .	120
Близость осени («Еще осенние туманы...») . . . . .	33
«Бог шлет на нас ужасную комету...» (Комета). <i>Из Беранже</i> . . . . .	56
Богиня и певец («Пел богиню влюбленный певец, и тоской его голос звучал...»). <i>Из Овидия</i> . . . . .	168
«Боже, в каком я теперь упоении...» (Пародия) . . . . .	234
Божий мир («Как на божий мир, премудрый и прекрасный...») . . . . .	46
Братьям («Светает... Не в силах тоски превозмочь...») . . . . .	163
Бред («Несется четверка могучих коней...») . . . . .	180
«Бредет в глухом лесу усталый пешеход...» (Старость) . . . . .	210
Будущему читателю («Хоть стих наш устарел, но преклони свой слух...») . . . . .	130
«Бывало, с детскими мечтами...» (Маю) . . . . .	86
«Бывало, теща ум в мечтаньях суеверных...» (Падающей звезде) . . . . .	148
«Была пора: что было честно...» (Дилетант) . . . . .	248
<b>В альбом («Вчера на чудном, светлом бале...») . . . . .</b>	<b>236</b>
«В Аравии знойной поныне живет...» (Подражание арабскому) . . . . .	28
В вагоне («Спите, соседи мои!..») . . . . .	61
В горькую минуту («Небо было черно, ночь была темна...») . . . . .	79
«В дверях покинутого храма...» . . . . .	159
«В житейском холоде дрожа и изнывая...» . . . . .	161

«В изящной Греции гетеры молодые...» (Русской гетере) . . . . .	235
В полдень (Деревенские очерки, 2. «Как стелется по ветру рожь золотая...») . . . . .	71
«В пустыне мыкаясь, скиталец бесприютный...» («Оглашении, изыдите!»)	199
«В развалинах забытого дворца...» (Венеция) . . . . .	150
«В саду Гефсиманском стоял он один...» (Моление о чаше) . . . . .	112
В театре («Покинутый тобой, один в толпе бездушной...») . . . . .	96
В театре («Часто, наскучив игрой бесталанною...») . . . . .	57
«В темную ночь, непроглядную...» . . . . .	155
«В убогом рублище недвижна и мертва...» . . . . .	137
«В уютном уголке сидели мы вдвоем...» . . . . .	149
«В час тихий вечера, над озером зеркальным...» (Ожидание) . . . . .	235
«В часы бессонницы, под тяжким гнетом горя...» (Памяти Нептуна) . . . . .	200
«В эти дни ожиданья тупого...» (К поэзии) . . . . .	174
Венеция («В развалинах забытого дворца...») . . . . .	150
С. Я. Веригиной («Напрасно молоком лечиться ты желаешь...») . . . . .	246
«Верхние ветви зеленого, стройного клена...» (Две ветки) . . . . .	165
«Весенней ночи сумрак влажный...» (Весенние песни, 3) . . . . .	87
Весенние песни (1—7) . . . . .	86
Вечер («Окно открыто... Последний луч заката...») . . . . .	32
«Вечер бурный и дождливый...» (Из Ленау) . . . . .	65
«Вечный покой отстрадавшему много томительных лет...» (Реквием)	121
«Взгляните на него, поэта наших дней...» (Поэт) . . . . .	24
«Взглянув на этот отошавший профиль...» (Надпись на своем портрете)	250
«Видали ль вы рассвета час...» (Рассвет) . . . . .	59
В. А. Вилламову («Напрасно дружеским обухом...») . . . . .	244
Во время болезни («Мне всё равно, что я лежу больной...») . . . . .	201
«Волшебные слова любви и упоенья...» . . . . .	79
Воспоминание («Как тиха эта ночь! Всё сидел бы без дум...») . . . . .	172
«Вот тебе старые песни поэта...» . . . . .	225
«Во тьме исчезнувших веков...» (К человеческой мысли) . . . . .	226
«Всё, чем я жил, в чем ждал отрады...» . . . . .	223
Встреча («Тропинкой узкою я шел в ночи немой...») . . . . .	127
«Всюду грустная примета...» (Осенняя примета) . . . . .	44
«Вся зала ожидания полна...» (На Новый 1881 год) . . . . .	174
«Вчера на чудном, светлом бале...» (В альбом) . . . . .	236
«Вчера у окна мы сидели в молчаньи...» (Деревенские очерки, 6) . . . . .	74
«Вы говорите, доктор, что исход...» (Перед операцией) . . . . .	209
Гаданье («Ну, старая, гадай! Тоска мне сердце гложет...») . . . . .	107
Гений поэта («Чудный гений! В тьму пучин...») . . . . .	232
«Глянь, как тускло и бесплодно...» . . . . .	64
Год в монастыре («О, наконец! Из вражеского стана...») . . . . .	184
Голгофа («Распятый на кресте нечистыми руками...») . . . . .	29
Голос издалека («О, не тоскуй по мне! Я там, где нет страданья...») . . . . .	222
Графу Л. Н. Толстому («Когда в грязи и лжи возникшему кумиру...») . . . . .	162
«Гремела музыка, горели ярко свечи...» . . . . .	63
Греция («Поэт, ты видел их развалины святыя...») . . . . .	78
Грусть девушки (Деревенские очерки, 7. «Жарко мне! Не спится...») . . . . .	74

«Дайте мне наряд суровый...» (Желание славянина) . . . . .	231
«Далёко от тебя, о родина святая...» (К родине) . . . . .	21
А. С. Даргомыжскому («С отрадой тайною, с горячим нетерпеньем...») 134	
Два голоса («Два голоса, прелестью тихой полны...») . . . . .	169
Два поэта («Блажен, блажен поэт, который цепи света...») . . . . .	22
«Два сердца любящих и чающих ответа...» . . . . .	204
22 марта 1857 года («О, боже мой! Зачем средь шума и движенья...») 49	
Две ветки («Верхние ветви зеленого, стройного клена...») . . . . .	165
Две грезы («Измученный тревогою дневною...») . . . . .	105
«Двести лет тому назад...» (По поводу юбилея Петра Первого) . . . . .	245
19 октября 1858 года («Я видел блеск свечей, я слышал скрипок вой...») 65	
«Денек веселый! С давних пор...» (Первое апреля) . . . . .	232
«День ли царит, тишина ли ночная...» . . . . .	172
Деревенские очерки (1—10) . . . . .	70
Деревенский вечер («Зимний воздух сжат дремотой...») . . . . .	38
Дилетант («Была пора: что было честно...») . . . . .	248
«Длинные улицы блещут огнями...» (Петербургская ночь) . . . . .	36
Дневник Павлика Дольского . . . . .	442
«Добры к поэтам молодым...» (Е. А. Хвостовой) . . . . .	60
Дорогой («Едешь, едешь в гору, в гору...») . . . . .	42
Дорожная дума («Позднею ночью, равниною снежной...») . . . . .	108
«Дрожа от холода, измучившись в пути...» (Огонек) . . . . .	137
«Едешь, едешь в гору, в гору...» (Дорогой) . . . . .	42
«Если измена тебя поразила...» (Из поэмы «Последний романтик, 2. Chan- son à boire) . . . . .	93
«Еще осенние туманы...» (Близость осени) . . . . .	33
«Еще свежа твоя могила...» (Деревенские очерки, 1. Посвящение) . . . . .	70
«Жарко мне! Не спится...» (Деревенские очерки, 7. Грусть девушки) . . . . .	74
Марию Дмитриевне Жедринской («Когда путем несносным и суровым...») 141	
В. А. Жедринскому («С тобой размеры изучая...») . . . . .	244
Желание славянина («Дайте мне наряд суровый...») . . . . .	231
Жизнь («Песня туманная, песня далекая...») . . . . .	39
«Жизнь пережить — не поле перейти!»...» . . . . .	246
«Замолкли, путаясь, пустые звуки дня...» (Ночь) . . . . .	45
«Затих утомительный говор людей...» (Весенние песни, 4) . . . . .	88
«Зачем в тиши ночной, из сумрака былого...» (Памятная ночь) . . . . .	173
«Зачем загадывать, мечтать о дне грядущем...» (Отравленное счастье) 175	
«Здравствуй, старое селенье...» (Деревенские очерки, 9. Селенье) . . . . .	77
«Зима. Пахнул в лицо мне воздух чистый...» (Зимой) . . . . .	27
«Зимний воздух сжат дремотой...» (Деревенский вечер) . . . . .	38
«Зимняя ночь холодна и темна...» (Ледяная дева) . . . . .	124
Зимой («Зима. Пахнул в лицо мне воздух чистый...») . . . . .	27
Злопамятность духовенства («Петр Первый не любил попов. Построив Питер...») . . . . .	245
«Знать, в господнем гнев...» (К назначению В. К. Плеве) . . . . .	250



«И ты осмеяна, и твой черед настал!..» (К Гретхен) . . . . .	118
Из Байрона («Мечтать в полях, взбегать на выси гор...») . . . . .	66
Из бумаг прокурора («Классически я жизнь окончу тут...») . . . . .	213
Из Гейне («Меня вы терзали, томили...») . . . . .	66
Из Гейне («Три мудрых царя из полуденных стран...») . . . . .	68
Из Гейне («Я каждую ночь тебя вижу во сне...») . . . . .	68
Из Ленау («Вечер бурный и дождливый...») . . . . .	65
«Из отроческих лет он выходил едва...» . . . . .	176
Из поэмы «Последний романтик» (1—2) . . . . .	92
Из поэмы «Село Колотовка» («На родине моей картины величавой...») . . . . .	101
«Измученный тревогою дневною...» (Две грезы) . . . . .	105
«Искусству все пожертвовать умея...» (М-ше Вольнис) . . . . .	69
«Истомил меня жизни безрадостный сон...» . . . . .	138
<b>К Гретхен</b> («И ты осмеяна, и твой черед настал!..») . . . . .	118
<b>К молодости</b> («Светлый призрак, кроткий и любимый...») . . . . .	120
<b>К морю</b> («Увы, не в первый раз, с подавленным рыданьем...») . . . . .	112
<b>К назначению В. Қ. Плеве</b> («Знать, в господнем гневем...») . . . . .	250
«К ней в пустую гостиную голубь влетел...» . . . . .	228
«К отъезду музыканта-друга...» (П. Чайковскому) . . . . .	251
<b>К портрету А. Н. Серова</b> («О музыке судя лет сорок вкось и вкривь...») . . . . .	241
<b>К портрету И. В. Вернадского</b> («Приличней похвалы ему нельзя сказать...») . . . . .	241
<b>К поэзии</b> («В эти дни ожиданья тупого...») . . . . .	174
<b>К пропавшим письмам</b> («Как по товарищу недавней нищеты...») . . . . .	59
<b>К родине</b> («Далёко от тебя, о родина святая...») . . . . .	21
<b>К славянофилам</b> («О чем шумите вы, квасные патриоты?...») . . . . .	38
<b>К человеческой мысли</b> («Во тьме исчезнувших веков...») . . . . .	226
«Как бедный пилигрим, без крова и друзей...» . . . . .	148
«Как на божий мир, премудрый и прекрасный...» (Божий мир) . . . . .	46
«Как пловец утомленный, без веры, без сил...» . . . . .	207
«Как по товарищу недавней нищеты...» (К пропавшим письмам) . . . . .	59
«Как сроднились вы со мною...» (Русские песни) . . . . .	50
«Как стелется по ветру рожь золотая...» (Деревенские очерки, 2. В полдень) . . . . .	71
«Как тиха эта ночь! Всё сидел бы без дум...» (Воспоминание) . . . . .	172
«Как я люблю тебя, дородный мой сосед...» (Деревенские очерки, 8. Сосед) . . . . .	76
«Какое горе ждет меня...» . . . . .	82
<b>Г. Карцову</b> («Настойчиво, прилежно, терпеливо...») . . . . .	177
«Классически я жизнь окончу тут...» (Из бумаг прокурора) . . . . .	213
«Княжна Тамара, дочь Гудала...» (Послание графу А. Н. Граббе во время его кругосветного плавания на великокняжеской яхте «Тамара») . . . . .	251
«Когда без страсти и без дела...» (Любовь) . . . . .	139
«Когда будете, дети, студентами...» . . . . .	242
«Когда был я ребенком, родная моя...» . . . . .	83
«Когда в грязи и лжи возникшему кумиру...» (Графу Л. Н. Толстому) . . . . .	162
«Когда в Москве первопрестольной...» (О цыганах) . . . . .	144
«Когда, в объятиях продажных замирая...» . . . . .	228
«Когда Израиля в пустыне враг настиг...» . . . . .	156

«Когда любовь охватит нас...» . . . . .	171
«Когда на землю ночь спустилась...» (Пепите). Из <i>А. Мюссе</i> . . . . .	104
«Когда на лаврах Мантиней...» (Эпаминонд) . . . . .	26
«Когда о смерти мысль приходит мне случайно...» (Memento mori) . . . . .	63
«Когда путем несносным и суровым...» (Марии Дмитриевне Жедринской) . . . . .	141
«Когда так радостно в объятиях твоих...» . . . . .	80
Комета («Бог шлет на нас ужасную комету...»). Из <i>Беранже</i> . . . . .	56
«Кончалось лето. Астры отцвели...» (Осенние листья) . . . . .	114
Королева («Пир шумит.— Король Филипп ликует...») . . . . .	128
Красному яблочку червоточинка не в укор . . . . .	237
<b>Ледяная дева</b> («Зимняя ночь холодна и темна...») . . . . .	124
«Лет двадцать пять назад спала родная сцена...» (А. Н. Островскому) . . . . .	138
Летней розе (Деревенские очерки, 5. «Что так долго и жестоко...») . . . . .	73
«Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных...» . . . . .	183
Любовь («Когда без страсти и без дела...») . . . . .	139
<b>М-ме Вольнис</b> («Искусству все пожертвовать умея...») . . . . .	69
Май в Петербурге («Месяц вешний, ты ли это?..») . . . . .	30
«Май на дворе... Начались посевы...» (Деревенские очерки, 4. Песни) . . . . .	73
«Малыгин родился в глуши степной...» (Из поэмы «Последний роман-тик», 1) . . . . .	92
Маю («Бывало, с детскими мечтами...») . . . . .	86
Между смертью и жизнью. <i>Фантастический рассказ</i> . . . . .	484
«Меня вы терзали, томили...» (Из Гейне) . . . . .	66
«Месяц вешний, ты ли это?..» (Май в Петербурге) . . . . .	30
«Мечтать в полях, взбегать на выси гор...» (Из Байрона) . . . . .	66
«Минувшей юности своей...» (Актеры) . . . . .	94
Минуты счастья («Не там отрадно счастье веет...») . . . . .	104
«Мне было весело вчера на сцене шумной...» . . . . .	80
«Мне всё равно, что я лежу больной...» (Во время болезни) . . . . .	201
«Мне не жаль, что тобою я не был любим...» . . . . .	170
«Мне снился сон (то был ужасный сон!)...» . . . . .	117
Мое оправдание («Не осуждай меня холодной думой...») . . . . .	61
Моление о чаше («В саду Гефсиманском стоял он один...») . . . . .	112
Молитва больных («От взора твоего пусть киснет шоколад...») . . . . .	246
Молодая узница («Неспелый колос ждет, не тронутый косой...») Из <i>А. Шенье</i> . . . . .	67
Музе («Умолкни навсегда. Тоску и сердца жар...») . . . . .	181
А. Н. Муравьеву («Уставши на пути, тернистом и далеком...») . . . . .	140
Мухи («Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою...») . . . . .	142
«Мы на сцене играли с тобой...» . . . . .	81
<b>На бале</b> («Блещут огнями палаты просторные...») . . . . .	120
На бале («Ум, красота, благородное сердце и сила...») . . . . .	222
«На берег сходит ночь, беззвучна и тепла...» (Ночь в Монплеzure) . . . . .	113
На Неве вечером («Плывем. Ни шороха. Ни звука. Тишина...») . . . . .	41
На Новый год («Безотрадные ночи! Счастливые дни!..») . . . . .	176

На Новый 1881 год («Вся зала ожидания полна...»)	174
«На родине моей картины величавой...» (Из поэмы «Село Колотовка»)	101
«Над водою склонялися липы густые...» (Уженье)	31
Над связкой писем («Не я один тебя любил...»)	163
«Над трупами милых своих сыновей...» (Ниобея)	109
Надпись на своем портрете («Взглянув на этот отощавший профиль...»)	250
Накануне («Она задумчиво сидела меж гостей...»)	160
«Напрасно в час печали непонятной...»	48
«Напрасно дружеским обухом...» (В. А. Вилламову)	244
«Напрасно молоком лечиться ты желаешь...» (С. Я. Веригиной)	246
«Настойчиво, прилежно, терпеливо...» (Г. Карцову)	177
«Наша мать Япония...» (Японский романс)	242
«Не в первый день весны, цветущей и прохладной...»	85
«Не веселю, братья, вам песню спою...» (Солдатская песня о Севастополе)	118
«Не знаю почему, но сердце замирает...» (Предчувствие)	31
«Не осуждай меня холодной думой...» (Мое оправдание)	61
«Не плачь, мой певец одинокой...» (Весенние песни, 6. Утешение весны)	89
«Не стучись ко мне в ночь бессонную...» (Памяти прошлого)	208
«Не там отрадно счастье веет...» (Минуты счастья)	104
«Не тоскуй, моя родная...» (Няня)	34
«Не я один тебя любил...» (Над связкой писем)	163
«Небо было черно, ночь была темна...» (В горькую минуту)	79
Н. А. Неведомской («Я слушал вас. Мои мечты...»)	70
«Недвижно безмолвное море...» (A la pointe)	134
Неоконченная повесть	255
«Несется четверка могучих коней...» (Бред)	180
«Неспелый колос ждет, не тронутый косой...» (Молодая узница). Из А. Шенье	67
«Несясь дорогою большою...» (Перо)	230
«Нет, над письмом твоим напрасно я сажу...» (П. Чайковскому)	233
«Ни веселья, ни сладких мечтаний...»	82
«Ни отзыва, ни слова, ни привета...»	111
«Ни у домашнего, простого камелька...» (Памяти Ф. И. Тютчева)	149
К. Д. Нилову («Ты нас покидаешь, пловец беспокойный...»)	219
Ниобея («Над трупами милых своих сыновей...»)	109
«Ниспослан некий вождь на пишущую братью...» (По поводу назначения М. Н. Лонгинова управляющим по делам печати)	245
«Ночи безумные, ночи бессонные...»	160
Ночь («Замолкли, путаясь, пустые звуки дня...»)	45
«Ночь близка... На небе черном...» (Ожидание грозы)	43
Ночь в Монплезире («На берег сходит ночь, беззвучна и тепла...»)	113
«Ночь давно уж царила над миром...» (Ссора)	181
«Ночь уносит голос страстный...» (Серенада Шуберта)	52
«Ну, как мы встретимся? — невольно думал он...» (С курьерским поездом)	157
«Ну, старая, гадай! Тоска мне сердце гложет...» (Гаданье)	107
Няня («Не тоскуй, моя родная...»)	34

«О, боже, как хорош прохладный вечер лета...» . . . . .	83
«О, боже мой! Зачем средь шума и движенья...» (22 марта 1857 года)	49
«О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом...» . . . . .	124
«О, будьте счастливы! Без жалоб, без упрека...» . . . . .	205
«О, возврати мне вновь огонь, и вдохновенье...» (Посвящение к «Году в монастыре») . . . . .	183
«О да, поверил я. Мне верить так отрадно...» . . . . .	182
«О друг неведомый! Предмет моей мечты...» (Ответ анониму) . . . . .	45
«О музыке судя лет сорок вкось и вкривь...» (К портрету А. Н. Серова)	241
«О, наконец! Из вражеского стана...» (Год в монастыре) . . . . .	184
«О, не гони меня,— твердит она, вздыхая...» (Старая любовь) . . . . .	207
«О, не сердись за то, что в час тревожной муки...» . . . . .	219
«О, не тоскуй по мне! Я там, где нет страдания...» (Голос издалека)	222
«О пой, моя милая, пой, не смолкая...» (Цыганская песня) . . . . .	169
«О, помнишь ли, давно,— еще детьми мы были...» (Первая любовь) . . . . .	51
«О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою...» . . . . .	183
«О, смейся надо мной за то, что безучастно...» . . . . .	140
«О, снега первого нежданное явленье...» (Первый снег) . . . . .	25
«О, удались навек, тяжелый дух сомненья...» (Весенние песни, 1) . . . . .	86
О цыганах («Когда в Москве первопрестольной...») . . . . .	144
«О чем шумите вы, квасные патриоты?..» (К славянофилам) . . . . .	38
«О, что за облако над Русью пролетело...» . . . . .	224
Облака («Сверкает солнце жгучее...») . . . . .	32
«Оглашении, изыдите!» («В пустыне мыкаясь, скиталец бесприютный...») . . . . .	199
Огонек («Дрожа от холода, измучившись в пути...») . . . . .	137
Ожидание («В час тихий вечера, над озером зеркальным...») . . . . .	235
Ожидание грозы («Ночь близка... На небе черном...») . . . . .	43
«Окно открыто... Последний луч заката...» (Вечер) . . . . .	32
«Он умирал один на скудном, жестком ложе...» (Смерть Ахунда) . . . . .	99
«Она задумчиво сидела меж гостей...» (Накануне) . . . . .	160
«Она не может спать. Назойливая, злая...» (Позднее мщение) . . . . .	202
«Опять в моей душе тревоги и мечты...» . . . . .	128
«Опять весна! Опять какой-то гений...» (Весенние песни, 7) . . . . .	90
«Опять пишу тебе, но этих горьких строк...» . . . . .	223
«Опять я очнулся с природой!..» (Весенние песни, 2) . . . . .	87
Орфей и паяц («Слушать предсмертные песни Орфея друзья собрались...») . . . . .	226
«Осенней ночи тень густая...» . . . . .	116
Осенние листья («Кончалось лето. Астры отцвели...») . . . . .	114
«Осенний ветер так уныло...» (Отъезд) . . . . .	34
Осенняя примета («Всюду грустная примета...») . . . . .	44
А. Н. Островскому («Лет двадцать пять назад спала родная сцена...») . . . . .	138
«От взора твоего пусть киснет шоколад...» (Молитва больных) . . . . .	246
Ответ анониму («О друг неведомый! Предмет моей мечты...») . . . . .	45
Ответ на письмо («Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь...») . . . . .	206
Отравленное счастье («Зачем загадывать, мечтать о дне грядущем...») . . . . .	175
Отрывок («Что так усиленно сердце больное...»). Из А. Мюссе . . . . .	44
«Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет...» . . . . .	165
Отъезд («Осенний ветер так уныло...») . . . . .	34

Каролине Карловне Павловой («Я прочитал, я прочитал...») . . . . .	236
Падающей звезде («Бывало, теща ум в мечтаньях суеверных...») . . . . .	148
Памяти Н. Д. Карпова («С тех пор, как помню жизнь, я помню и тебя...») . . . . .	147
Памяти Мартынова («С тяжелой думою и с головой усталой...») . . . . .	91
Памяти Нептуна («В часы бессонницы, под тяжким гнетом горя...») . . . . .	200
Памяти прошлого («Не стучись ко мне в ночь бессонную...») . . . . .	208
Памяти Ф. И. Тютчева («Ни у домашнего, простого камелька...») . . . . .	149
Памятная ночь («Зачем в тиши ночной, из сумрака былого...») . . . . .	173
Пара гнедых («Пара гнедых, запряженных с зарею...») . . . . .	168
Пародия («Боже, в каком я теперь упоении...») . . . . .	234
Певец во стане русских композиторов («Антракт. В театре тиши- на...») . . . . .	246
Певица («С хозяйкой под руку, спокойно, величаво...») . . . . .	201
«Пел богиню влюбленный певец, и тоской его голос звучал...» (Богиня и певец). Из Овидия . . . . .	168
Пепите («Когда на землю ночь спустилась...»). Из А. Мюссе . . . . .	104
Первая любовь («О, помнишь ли, давно,— еще детьми мы были...») . . . . .	51
Первое апреля («Денек веселый! С давних пор...») . . . . .	232
Первый снег («О, снега первого неожиданное явление...») . . . . .	25
Перед операцией («Вы говорите, доктор, что исход...») . . . . .	209
«Перед судом толпы коварной и кичливой...» . . . . .	224
Перо («Несясь дорогою большою...») . . . . .	230
Песни (Деревенские очерки, 4. «Май на дворе... Начались посевы...») . . . . .	73
«Песня туманная, песня далекая...» (Жизнь) . . . . .	39
Петербургская ночь («Длинные улицы блещут огнями...») . . . . .	36
Петербургская ночь («Холодна, прозрачна и уныла...») . . . . .	96
«Петр Первый не любил попов. Построив Питер...» (Злопамятность духовенства) . . . . .	245
Пешеход («Без волнения, без тревоги...») . . . . .	205
«Пир в разгаре. Случайно сошлись сюда...» (Старая цыганка) . . . . .	131
«Пир шумит.— Король Филипп ликует...» (Королева) . . . . .	128
Письмо («Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь...») . . . . .	177
«Письмо у ней в руках. Прелестная головка...» . . . . .	204
«Плыvem. Ни шороха. Ни звука. Тишина...» (На Неве вечером) . . . . .	41
По поводу назначения М. Н. Лонгинова управляющим по делам печати («Ниспослан некий вождь на пишущую братью...») . . . . .	245
По поводу юбилея Петра Первого («Двести лет тому назад...») . . . . .	245
«По Руси великой, без конца, без края...» (Деревенские очерки, 3. Про- селок) . . . . .	72
Подражание арабскому («В Аравии знойной поныне живет...») . . . . .	28
Позднее мщение («Она не может спать. Назойливая, злая...») . . . . .	202
«Позднею ночью, равниною снежной...» (Дорожная дума) . . . . .	108
«Поздние гости отцветшего лета...» (Астрам) . . . . .	106
«Покинутый тобой, один в толпе бездушной...» (В театре) . . . . .	96
«Помню, в вечер невозвратный...» (Романс) . . . . .	100
Посвящение (Деревенские очерки, 1. «Еще свежа твоя могила...») . . . . .	70
Посвящение к «Году в монастыре» («О, возврати мне вновь огонь, и вдох- новенье...») . . . . .	183

Послание графу А. Н. Граббе во время его кругосветного плавания на великоконяжеской яхте «Тамара» («Княжна Тамара, дочь Гудала...») 251	
После бала («Уж к утру близилось... Уныные перевозмочь...») . . . . .	47
«Посреди гнетущих и послушных...» (Современным витиям) . . . . .	95
Поэт («Взгляните на него, поэта наших дней...») . . . . .	24
«Поэт, ты видел их развалины святые...» (Греция) . . . . .	78
«Праздником праздник» («Торжественный гул не смолкает в Кремле...») 156	
Предчувствие («Не знаю почему, но сердце замирает...») . . . . .	31
«Приветствую вас, дни труда и вдохновенья!..» . . . . .	136
«Приличней похвалы ему нельзя сказать...» (К портрету И. В. Вернадского) . . . . .	241
Пробуждение (Весенние песни, 5. «Проснулся я... В раскрытое окно...») 88	
«Проложен жизни путь бесплодными степями...» . . . . .	212
Проложен (Деревенские очерки, 3. «По Руси великой, без конца, без края...») . . . . .	72
«Проснулся я... В раскрытое окно...» (Весенние песни, 5. Пробуждение) . . . . .	88
«Прости меня, прости! Когда в душе мятежной...» . . . . .	167
«Прости, прости, поэт! Раз, сам того не чая...» (А. А. Фету) . . . . .	62
«Проходят часы за часами...» (Бессонница) . . . . .	228
«Прощай, уют родной, где я с мечтой ленивой...» (Деревенские очерки, 10. Прощание с деревней) . . . . .	78
«Прощай!» — твержу тебе с невольными слезами...» . . . . .	219
Прощание с деревней (Деревенские очерки, 10. «Прощай, уют родной, где я с мечтой ленивой...») . . . . .	78
«Птичкой ты резвой росла...» . . . . .	164
Публика («Артист окончил акт. Недружно и несмело...») . . . . .	161
Разбитая ваза («Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный...»). <i>Подражание Сюлли-Продому</i> . . . . .	170
«Распятый на кресте нечистыми руками...» (Голгофа) . . . . .	29
Рассвет («Видали ль вы рассвета час...») . . . . .	59
Расчет («Я так тебя любил, как ты любить не можешь...») . . . . .	62
«Река бежит, река шумит...» (Цветок) . . . . .	21
Реквием («Вечный покой отстрадавшему много томительных лет...») . . . . .	121
Романс («Помню, в вечер невозвратный...») . . . . .	100
А. Г. Рубинштейну («Увенчанный давно всемирной громкой славой...») 212	
Русские песни («Как сроднились вы со мною...») . . . . .	50
Русской гетере («В изящной Греции гетеры молодые...») . . . . .	235
С курьерским поездом («Ну, как мы встретимся? — невольно думал он...») . . . . .	157
«С отрадой тайною, с горячим нетерпеньем...» (А. С. Даргомыжскому) 134	
«С своей походною клюкой...» (Судьба) . . . . .	97
«С тех пор, как помню жизнь, я помню и тебя...» (Памяти Н. Д. Карпова) . . . . .	147
«С тобой размеры изучая...» (В. А. Жедринскому) . . . . .	244
«С той поры, как прощальный привет...» (Странствующая мысль) . . . . .	116

«С тяжелой думою и с головой усталой...» (Памяти Мартынова) . . . . .	91
«С хозяйкой под руку, спокойно, величаво...» (Певица) . . . . .	201
«Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх...» (Сумасшедший) . . . . .	220
«Сверкает солнце жгучее...» (Облака) . . . . .	32
«Светает... Не в силах тоски превозмочь...» (Братьям) . . . . .	163
«Светлый призрак, кроткий и любимый...» (К молодости) . . . . .	120
Сегодня мне исполнилось 17 лет... («Шестнадцать только лет!» — с улыбкою холодной...) . . . . .	53
Селенье (Деревенские очерки, 9. «Здравствуй, старое селенье...») . . . . .	77
Серенада Шуберта («Ночь уносит голос страстный...») . . . . .	52
«Слушать предсмертные песни Орфея друзья собрались...» (Орфей и паяц) . . . . .	226
Смерть Ахунда («Он умирал один на скудном, жестком ложе...») . . . . .	99
«Снова один я... Опять без значенья...» . . . . .	165
Совет молодому композитору («Чтоб в музыке упрочиться...») . . . . .	241
Современным витиям («Посреди гнетущих и послушных...») . . . . .	95
Солдатская песня о Севастополе («Не веселую, братцы, вам песню спую...») . . . . .	118
Сосед (Деревенские очерки, 8. «Как люблю тебя, дородный мой сосед...») . . . . .	76
«Спите, соседи мои!..» (В вагоне) . . . . .	61
«Средь смеха праздного, среди пустого гула...» . . . . .	167
Ссора («Ночь давно уж царила над миром...») . . . . .	181
Старая дорога («Я еду. На небе высоко...») . . . . .	23
Старая любовь («О, не гони меня, — твердит она, вздыхая...») . . . . .	207
Старая цыганка («Пир в разгаре. Случайно сошлись сюда...») . . . . .	131
Старость («Бредет в глухом лесу усталый пешеход...») . . . . .	210
Странствующая мысль («С той поры, как прощальный привет...») . . . . .	116
Судьба («С своей походною клюкой...») . . . . .	97
Сумасшедший («Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх...») . . . . .	220
«Сухие, редкие, нечаянные встречи...» . . . . .	119
Твоя слеза («Твоя слеза катилась за слезой...») . . . . .	139
«Темно и пасмурно... По улице пустой...» (Шарманщик) . . . . .	35
«Тимашев мне — ni froid, ni chaud...» (Эпиграмма) . . . . .	250
Л. Н. Толстому — см. Графу Л. Н. Толстому . . . . .	162
«Торжественный гул не смогает в Кремле...» («Праздником праздник») . . . . .	156
«Три мудрых царя из полуденных стран...» (Из Гейне) . . . . .	68
«Тропинкой узкою я шел в ночи немой...» (Встреча) . . . . .	127
«Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный...» (Разбитая ваза). <i>Подражание Сюлли-Прюдому</i> . . . . .	170
«Ты говоришь: моя душа — загадка...» . . . . .	227
«Ты нас покидаешь, пловец беспокойный...» (К. Д. Нилову) . . . . .	219
«Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»...» (П. Чайковскому) . . . . .	162
«Увенчанный давно всемирной громкой славой...» (А. Г. Рубинштейну) . . . . .	212
«Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь...» (Ответ на письмо) . . . . .	206
«Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь...» (Письмо) . . . . .	177

«Увы, не в первый раз, с подавленным рыданием...» (К морю) . . . . .	112
«Уж к утру близилось... Унынье превозмочь...» (После бала) . . . . .	47
Уженье («Над водою склонялися липы густые...») . . . . .	31
«Ум, красота, благородное сердце и сила...» (На бале) . . . . .	222
Умирающая мать («Что, умерла, жива? Потихе говорите...») . . . . .	136
«Умолкни навсегда. Тоску и сердца жар...» (Музе) . . . . .	181
Успокоение («Я видел труп ее безгласный!...») . . . . .	51
«Уставши на пути, тернистом и далеком...» (А. Н. Муравьеву) . . . . .	140
Утешение весны (Весенние песни, 6. «Не плачь, мой певец одинокой...») . . . . .	89
А. А. Фету («Прости, прости, поэт! Раз, сам того не чая...») . . . . .	62
Е. А. Хвостовой («Добры к поэтам молодым...») . . . . .	60
«Холодна, прозрачна и уныла...» (Петербургская ночь) . . . . .	96
«Хоть стих наш устарел, но преклони свой слух...» (Будущему читателю) . . . . .	130
Цветок («Река бежит, река шумит...») . . . . .	21
«Целую ночь я в постели метался...» (Швейцарке) . . . . .	142
Цыганская песня («О, пой, моя милая, пой, не смолкая...») . . . . .	169
П. Чайковскому («К отъезду музыканта-друга...») . . . . .	251
П. Чайковскому («Нет, над письмом твоим напрасно я сижу...») . . . . .	233
П. Чайковскому («Ты помнишь, как, забывшись в «музыкальной»...») . . . . .	162
«Часто, наскучив игрой бесталанною...» (В театре) . . . . .	57
«Черная туча висит над полями...» . . . . .	140
«Что так долго и жестоко...» (Деревенские очерки, 5. Летней розе) . . . . .	73
«Что так усиленно сердце больное...» (Отрывок) Из А. Мюссе . . . . .	44
«Что, умерла, жива? Потихе говорите...» (Умирающая мать) . . . . .	136
«Чтоб в музыке упрочиться...» (Совет молодому композитору) . . . . .	241
«Чудный гений! В тьму пучин...» (Гений поэта) . . . . .	232
Шарманка («Я иду через площадь... Звездами...») . . . . .	40
Шарманщик («Темно и пасмурно... По улице пустой...») . . . . .	35
Швейцарке («Целую ночь я в постели метался...») . . . . .	142
«Шестнадцать только лет!» — с улыбкою холодной...» (Сегодня мне исполнилось 17 лет...) . . . . .	53
Элегия («Я видел, видел их... Исполненный вниманья...») . . . . .	236
Эпиграммонд («Когда на лаврах Мантинеи...») . . . . .	26
Эпиграмма («Тимашев мне — ni froid, ni chaud...») . . . . .	250
«Я видел блеск свечей, я слышал скрипок вой...» (19 октября 1858 года) . . . . .	65
«Я видел, видел их... Исполненный вниманья...» (Элегия) . . . . .	236
«Я видел труп ее безгласный!...» (Успокоение) . . . . .	51
«Я еду. На́ небе высоко...» (Старая дорога) . . . . .	23
«Я ее победил, роковую любовь...» . . . . .	166



«Я ждал тебя... Часы ползли уныло...» . . . . .	111
«Я знал его, любви прекрасный сон...» . . . . .	52
«Я иду через площадь... Звездами...» (Шарманка) . . . . .	40
«Я каждую ночь тебя вижу во сне...» (Из Гейне) . . . . .	68
«Я люблю тебя так оттого...» . . . . .	85
«Я прочитал, я прочитал...» (Каролине Карловне Павловой) . . . . .	236
«Я слушал вас... Мои мечты...» (Н. А. Неведомской) . . . . .	70
«Я так тебя любил, как ты любить не можешь...» (Расчет) . . . . .	62
Японский романс («Наша мать Япония...») . . . . .	242
 A la pointe («Недвижно безмолвное море...») . . . . .	 134
 Chanson à boire (Из поэмы «Последний романтик», 2. «Если измена тебя поразила...») . . . . .	 93
 Memento mori («Когда о смерти мысль приходит мне случайно...») . . . . .	 63





## СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Отрадин. А. Н. Апухтин</i> . . . . .	5
--	---

### СТИХОТВОРЕНИЯ

К родине . . . . .	21
Цветок . . . . .	21
Два поэта . . . . .	22
Старая дорога . . . . .	23
Поэт . . . . .	24
Первый снег . . . . .	25
Эпаминонд . . . . .	26
Зимой . . . . .	27
Подражание арабскому . . . . .	28
Голгофа . . . . .	29
Май в Петербурге . . . . .	30
Уженье . . . . .	31
Предчувствие. <i>А. П. Апухтиной</i> . . . . .	31
Вечер . . . . .	32
Облака. <i>Н. П. Барышникову</i> . . . . .	32
Близость осени . . . . .	33
Отъезд . . . . .	34
Няня . . . . .	34
Шарманщик . . . . .	35
Петербургская ночь («Длинные улицы блещут огнями...») . . . . .	36
К славянофилам . . . . .	38
Деревенский вечер . . . . .	38
Жизнь («Песня туманная, песня далекая...»). <i>К. П. Апухтиной</i> . . . . .	39
Шарманка. <i>М. А. Апухтиной</i> . . . . .	40
На Неве вечером . . . . .	41
Дорогой. <i>П. И. Чайковскому</i> . . . . .	42
Ожидание грозы. <i>Н. Д. Карпову</i> . . . . .	43
Осенняя примета . . . . .	44
Отрывок ( <i>Из А. Мюссе</i> ) . . . . .	44

Ночь. К *** . . . . .	45
Ответ анониму . . . . .	45
Божий мир. В. Н. Юферову . . . . .	46
После бала . . . . .	47
«Напрасно в час печали непонятной...» . . . . .	48
22 марта 1857 года. Н. И. Мартынову . . . . .	49
Русские песни . . . . .	50
Первая любовь . . . . .	51
Успокоение . . . . .	51
Серенада Шуберта . . . . .	52
«Я знал его, любви прекрасный сон...» . . . . .	52
Сегодня мне исполнилось 17 лет... . . . . .	53
Комета (Из Беранже) . . . . .	56
В театре («Часто, наскучив игрой бесталанною...») . . . . .	57
Рассвет . . . . .	59
К пропавшим письмам . . . . .	59
Е. А. Хвостовой. Экспромт . . . . .	60
Мое оправдание . . . . .	61
В вагоне . . . . .	61
Расчет («Я так тебя любил, как ты любить не можешь...») . . . . .	62
А. А. Фету . . . . .	62
«Гремела музыка, горели ярко свечи...» . . . . .	63
Memento mori . . . . .	63
«Глянь, как тускло и бесплодно...» . . . . .	64
19 октября 1858 года. Памяти Пушкина . . . . .	65
Из Ленау («Вечер бурный и дождливый...») . . . . .	65
Из Гейне («Меня вы терзали, томили...») . . . . .	66
Из Байрона («Мечтать в полях, взбегать на выси гор...») . . . . .	66
Молодая узица (Из А. Шенье) . . . . .	67
Из Гейне («Три мудрых царя из полуденных стран...») . . . . .	68
Из Гейне («Я каждую ночь тебя вижу во сне...») . . . . .	68
М-ме Вольнис . . . . .	69
Н. А. Неведомской . . . . .	70

### Деревенские очерки

1. Посвящение . . . . .	70
2. В полдень . . . . .	71
3. Проселок . . . . .	72
4. Песни . . . . .	73
5. Летней розе . . . . .	73
6. «Вчера у окна мы сидели в молчаньи...» . . . . .	74
7. Грусть девушки. Идиллия . . . . .	74
8. Сосед . . . . .	76
9. Селенье . . . . .	77
10. Прощание с деревней . . . . .	78
Греция. Посвящается Н. Ф. Щербине . . . . .	78
«Волшебные слова любви и упоенья...» . . . . .	79
В горькую минуту . . . . .	79
«Когда так радостно в объятиях твоих...» . . . . .	80

«Мне было весело вчера на сцене шумной...» . . . . .	80
«Мы на сцене играли с тобой...» . . . . .	81
«Какое горе ждет меня?..» . . . . .	82
«Ни веселья, ни сладких мечтаний...» . . . . .	82
«Когда был я ребенком, родная моя...» . . . . .	83
«О, боже, как хорош прохладный вечер лета...» . . . . .	83
«Безмесячная ночь дышала негой кроткой...» . . . . .	84
«Я люблю тебя так оттого...» . . . . .	85
«Не в первый день весны, цветущей и прохладной...» . . . . .	85
Маю . . . . .	86

## Весенние песни

1. «О, удались навек, тяжелый дух сомненья...» . . . . .	86
2. «Опять я очнулся с природой!..» . . . . .	87
3. «Весенней ночи сумрак влажный...» . . . . .	87
4. «Затих утомительный говор людей...» . . . . .	88
5. Пробуждение . . . . .	88
6. Утешение весны . . . . .	89
7. «Опять весна! Опять какой-то гений...» . . . . .	90
Памяти Мартынова . . . . .	91
Из поэмы «Последний романтик»	
1. «Малыгин родился в глуши степной...» . . . . .	92
2. Chanson à boire . . . . .	93
Актеры . . . . .	94
Современным витиям . . . . .	95
В театре («Покинутый тобой, один в толпе бездушной...») . . . . .	96
Петербургская ночь («Холодна, прозрачна и уныла...») . . . . .	96
Судьба. К 5-й симфонии Бетховена . . . . .	97
Смерть Ахунда . . . . .	99
Романс («Помню в вечер невозвратный...») . . . . .	100
Из поэмы «Село Колотовка» . . . . .	101
Минуты счастья . . . . .	104
Пепите (Из А. Мюссе) . . . . .	104
Две грезы . . . . .	105
Астрам . . . . .	106
Гаданье . . . . .	107
Дорожная дума . . . . .	108
Ниобея (Займствовано из «Метаморфоз» Овидия) . . . . .	109
«Я ждал тебя... Часы ползли уныло...» . . . . .	111
«Ни отзыва, ни слова, ни привета...» . . . . .	111
К морю . . . . .	112
Моление о чаше . . . . .	112
Ночь в Монплезиере . . . . .	113
Осенние листья . . . . .	114
«Осенней ночи тень густая...» . . . . .	116
Странствующая мысль . . . . .	116
«Мне снился сон (то был ужасный сон!)...» . . . . .	117
К Гретхен. Во время представления «Le petit Faust» . . . . .	118
Солдатская песня о Севастополе . . . . .	118

«Сухие, редкие, нечаянные встречи...» . . . . .	119
На бале («Блещут огнями палаты просторные...») . . . . .	120
К молодости . . . . .	120
Реквием . . . . .	121
«О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом...» . . . . .	124
Ледяная дева ( <i>Из норвежских сказок</i> ) . . . . .	124
Встреча . . . . .	127
«Опять в моей душе тревоги и мечты...» . . . . .	128
Королева . . . . .	128
Будущему читателю (В альбом О. А. Козловой) . . . . .	130
Старая цыганка . . . . .	131
А. С. Даргомыжскому . . . . .	134
A la pointe . . . . .	134
«Приветствую вас, дни труда и вдохновения!..» . . . . .	136
Умиряющая мать ( <i>С французского</i> ) . . . . .	136
Огонек . . . . .	137
«В убогом рубище недвижна и мертва...» . . . . .	137
«Истомил меня жизни безрадостный сон...» . . . . .	138
А. Н. Островскому . . . . .	138
Твоя слеза . . . . .	139
Любовь . . . . .	139
«О, смейся надо мной за то, что безучастно...» ( <i>С французского</i> ) . . . . .	140
А. Н. Муравьеву . . . . .	140
«Черная туча висит над полями...» . . . . .	140
Марии Дмитриевне Жедринской («Когда путем несносным и суровым...») . . . . .	141
Мухи . . . . .	142
Швейцарке . . . . .	142
О цыганах. <i>Посвящается А. И. Гончарову</i> . . . . .	144
Памяти Н. Д. Карпова . . . . .	147
Падающей звезде . . . . .	148
«Как бедный пилигрим, без крова и друзей...» . . . . .	148
Памяти Ф. И. Тютчева . . . . .	149
«В уютном уголке сидели мы вдвоем...» ( <i>М. Д. Жедринской</i> ) . . . . .	149
Венеция . . . . .	150
«В темную ночь, непроглядную...» . . . . .	155
«Праздником праздник» . . . . .	156
«Когда Израиля в пустыне враг настиг...» . . . . .	156
С курьерским поездом . . . . .	157
«В дверях покинутого храма...» . . . . .	159
«Ночи безумные, ночи бессонные...» . . . . .	160
Накануне . . . . .	160
«В житейском холоде дрожа и изнывая...» . . . . .	161
Публика ( <i>Во время представления Росси</i> ) . . . . .	161
П. Чайковскому («Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»...») . . . . .	162
Графу Л. Н. Толстому . . . . .	162
Над связкой писем . . . . .	163
Братьям . . . . .	163
«Птичкой ты резвой росла...» . . . . .	164
Две ветки . . . . .	165

«Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет...» . . . . .	165
«Снова один я... Опять без значенья...» . . . . .	165
«Я ее победил, роковую любовь...» . . . . .	166
«Средь смеха праздного, среди пустого гула...» . . . . .	167
«Прости меня, прости! Когда в душе мятежной...» . . . . .	167
Пара гнедых ( <i>Перевод из Донаурова</i> ) . . . . .	168
Богиня и певец ( <i>Из Овидия</i> ) . . . . .	168
Цыганская песня . . . . .	169
Два голоса. <i>Посвящается С. А. и Е. К. Зыбиным</i> . . . . .	169
«Мне не жаль, что тобою я не был любим...» . . . . .	170
Разбитая ваза ( <i>Подражание Сюлли-Прюдому</i> ) . . . . .	170
«Когда любовь охватит нас...» . . . . .	171
Воспоминание . . . . .	172
«День ли царит, тишина ли ночная...» . . . . .	172
Памятная ночь . . . . .	173
На Новый 1881 год («Вся зала ожидания полна...») . . . . .	174
К поэзии. <i>Посвящается А. В. Панаевой</i> . . . . .	174
Отравленное счастье . . . . .	175
На Новый год («Безотрадные ночи! Счастливые дни!..») . . . . .	176
«Из отроческих лет он выходил едва...» . . . . .	176
Г. Карцову . . . . .	177
Письмо . . . . .	177
Бред . . . . .	180
Музе . . . . .	181
Ссора . . . . .	181
«О, да, поверил я. Мне верить так отраднo...» . . . . .	182
«Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных...» . . . . .	183
«О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою...» . . . . .	183
Посвящение к «Году в монастыре» . . . . .	183
Год в монастыре ( <i>Отрывки из дневника</i> ) . . . . .	184
«Оглашении, изыдите!» . . . . .	199
Памяти Нептуна . . . . .	200
Во время болезни . . . . .	201
Певица . . . . .	201
Позднее мщение . . . . .	202
«Письмо у ней в руках. Прелестная головка...» . . . . .	204
«Два сердца любящих и чающих ответа...» . . . . .	204
«О, будьте счастливы! Без жалоб, без упрека...» . . . . .	205
Пешеход . . . . .	205
Ответ на письмо . . . . .	206
«Как пловец утомленный, без веры, без сил...» . . . . .	207
Старая любовь . . . . .	207
Памяти прошлого . . . . .	208
Перед операцией . . . . .	209
Старость . . . . .	210
А. Г. Рубинштейну. <i>По поводу «исторических» концертов</i> . . . . .	212
«Проложен жизни путь бесплодными степями...» . . . . .	212
Из бумаг прокурора . . . . .	213
К. Д. Нилу . . . . .	219

«О, не сердись за то, что в час тревожной муки...» . . . . .	219
«Прощай!» — твержу тебе с невольными слезами...» . . . . .	219
Сумасшедший . . . . .	220
Голос издалека . . . . .	222
На бале («Ум, красота, благородное сердце и сила...») . . . . .	222
«Опять пишу тебе, но этих горьких строк...» . . . . .	223
«Все, чем я жил, в чем ждал отрады...» . . . . .	223
«О, что за облако над Русью пролетело...» . . . . .	224
«Перед судом толпы, коварной и кичливой...» . . . . .	224
«Вот тебе старые песни поэта...» . . . . .	225

#### СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Орфей и паяц . . . . .	226
К человеческой мысли . . . . .	226
«Ты говоришь: моя душа — загадка...» . . . . .	227
«К ней в пустую гостиную голубь влетел...» . . . . .	228
«Когда в объятиях продажных замирая...» . . . . .	228
Бессонница . . . . .	228

#### ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Перо . . . . .	230
Желание славянина . . . . .	231
Гений поэта. <i>П. И. Чайковскому</i> . . . . .	232
Первое апреля . . . . .	232
<i>П. Чайковскому. Послание («Нет, над письмом твоим напрасно я сижу...»)</i> . . . . .	233
Пародия («Боже, в каком я теперь упоении...») . . . . .	234
Русской гетере . . . . .	235
Ожидание ( <i>Подражание Ламартину</i> ) . . . . .	235
В альбом <i>Е. Е. А.</i> . . . . .	236
Каролине Карловне Павловой. <i>По прочтении ее поэмы «Кадриль»</i> . . . . .	236
Элегия. <i>Посвящается г. О. Дютшу, автору оперы «Кроатка, или Соперница»</i> . . . . .	236
Красному яблочку червоточинка не в укор. <i>Пословица в одном действии, в стихах.</i> <i>Подражание великосветским комедиям-пословицам русского театра</i> . . . . .	237
К портрету <i>И. В. Вернадского</i> . . . . .	241
К портрету <i>А. Н. Серова</i> . . . . .	241
Совет молодому композитору. <i>По поводу оперы Серова «Не так живи, как хочешь»</i> . . . . .	241
«Когда будете, дети, студентами...» . . . . .	242
Японский романс . . . . .	242
<i>В. А. Вилламову. Ответ на послание</i> . . . . .	244
<i>В. А. Жедринскому</i> . . . . .	244
По поводу назначения <i>М. Н. Лонгинова</i> управляющим по делам печати . . . . .	245
По поводу юбилея Петра Первого . . . . .	245
Злопамятность духовенства . . . . .	245
<i>С. Я. Веригиной</i> . . . . .	246
Молитва больных . . . . .	246
«Жизнь пережить — не поле перейти!»...» . . . . .	246

Певец во стане русских композиторов . . . . .	246
Дилетант . . . . .	248
Эпиграмма («Тимашев мне — ni froid, ni chaud...») . . . . .	250
К назначению В. К. Плеве . . . . .	250
Надпись на своем портрете . . . . .	250
Послание графу А. Н. Граббе во время его кругосветного плавания на великокняжеской яхте «Тамара» . . . . .	251
П. Чайковскому («К отъезду музыканта-друга...») . . . . .	251

## ПРОЗА

Неоконченная повесть	
Часть первая . . . . .	255
Часть вторая . . . . .	318
Часть третья . . . . .	399
Архив графини Д**. <i>Повесть в письмах</i> . . . . .	401
Дневник Павлика Дольского . . . . .	442
Между смертью и жизнью. <i>Фантастический рассказ</i> . . . . .	484
Примечания . . . . .	505
Алфавитный указатель произведений . . . . .	540



**Апухтин А. Н.**

**A78**      **Сочинения: Стихотворения; Проза / Сост. и подгот. текстов**  
**А. Захаркина; Вступ. статья М. Отрадина; Примеч. Р. Ша-**  
**цевой.— М.: Худож. лит., 1985.— 558 с.**

В книгу Алексея Николаевича Апухтина вошла значительная часть его стихотворений — элегии, поэмы и, наконец, получившие широкую популярность романсы. М. Булгаков характеризовал Апухтина как «тонкого, мягкого, ироничного прозаика». В настоящем издании советский читатель впервые познакомится с прозаическими произведениями Апухтина.

**A** **4702010100-400**  
**028(01)-85**    **КБ-14-23-85**

**ББК 84P1**  
**P1**



АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
АПУХТИН  
*Сочинения*

Редактор

*В. Пересыпкина*

Художественный редактор

*Г. Масляненко*

Технический редактор

*О. Ярославцева*

Корректоры

*Г. Киселева и О. Наренкова*

ИБ № 4112

Сдано в набор 28.05.85. Подписано к печати  
25.10.85. Формат 60 × 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсет-  
ная № 1. Гарнитура «Бодони». Печать офсет-  
ная. Усл. печ. л. 35 + 1 вкл. = 35,06. Усл. кр.-отт.  
35,62. Уч.-изд. л. 37,17 + 1 вкл. = 37,2. Тираж  
100 000 экз. Изд. № II-1786. Заказ 5-220.  
Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издатель-  
ство «Художественная литература»  
107882. ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19

Книжная фабрика «Коммунист». 310012,  
Харьков-12, Энгельса, 11.